



VETERIS  
VESTIGIA  
FLAMMAE  
ГОЛОСА



ДРЕВНЕГО  
ПЛАМЕНИ  
СЛЕД  
ВРЕМЕН

СВЯЩЕННИК ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ  
Детям моим

СВЯЩЕННИК  
ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

Детям моим  
Воспоминанья  
прошлых дней  
Генеалогические  
исследования  
Из соловецких  
писем  
Завещание

Из мои книги  
(серия).

1915. IV. 20.  
Серб. Крал.  
Кр. С.

- 1) Историчане учествование о роду мое; родне и др.
- 2) Датумбо и императумбо (до 14-го века).  
Публицистика, в том числе Wahrheit u. Dichtung.
- 3) Тонор (роман о гугуице. Вспомогательное, политическое и историческое. Торжественно. Сербане под редакцией и редакцией). ("Министр")
- 4) Губернатор (роман о переносимости. Др. Сербане и др. (Воспоминания))
- 5) Академия. Переносимости и Мурсум.  
(роман в писаном. В том же раде Dichtung, poet u na osnovu pisanih upisanih).
- 6) Воспоминания о Академии.
- 7) Два Васа. Кенур.
- 8) Вспомогательное историческое Соп.
- 9) Материалы к Академии, переносимости (?)
- 10) На сценарии по поводу.



СВЯЩЕННИК  
ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

Детям моим  
Воспоминанья прошлых дней

---

ГОЛОСА



ВРЕМЕН

*Редколлегия серии:*

Г. Ч. ГУСЕЙНОВ,  
А. В. КАРЕЛЬСКИЙ,  
Ю. В. МАНН, В. А. МИЛЬЧИНА,  
А. Л. ОСНОВАТ,  
А. Г. ТАРТАКОВСКИЙ

*Художник:*

А. А. БОБРОВ

*Составители:*

ИГУМЕН АНДРОНИК (ТРУБАЧЕВ),  
М. С. ТРУБАЧЕВА, Т. В. ФЛОРЕНСКАЯ,  
П. В. ФЛОРЕНСКИЙ — вступл. СВЯЩЕН-  
НИКА НАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ФЛО-  
РЕНСКОГО

*Предисловие и комментарий*

ИГУМЕНА АНДРОНИКА (ТРУБАЧЕВА)

*Рецензент:*

ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК  
А. В. МИХАЙЛОВ



---

СВЯЩЕННИК  
ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

Детям моим  
Воспоминанья  
прошлых дней  
Генеалогические  
исследования  
Из соловецких  
писем  
Завещание



Московский  
рабочий  
1992

ББК 84Р7—4  
Ф73

*На оборотах форзаца и нахзаца помещены автографы  
П. А. Флоренского — рукописные страницы из «Воспоминаний  
прошлых дней»*

**Флоренский Павел, священник**

Ф73 Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание / Сост.: игумен Андроник (Трубачев), М. С. Трубачева, Т. В. Флоренская, П. В. Флоренский. Предисл. и комм. игумена Андроника (Трубачева).— М.: Моск. рабочий, 1992.— 560 с.— (Голоса времен).

Павел Александрович Флоренский (1882—1937), человек великих дарований и трагической судьбы, вошел в историю русской культуры как выдающийся математик, инженер, искусствовед, богослов и философ. В 1911 г. он стал священником Сергиева Посада. После революции Флоренский работал в комиссии по охране памятников искусства и старины, преподавал математику и физику, трудился в электротехнической промышленности, где совершил ряд открытий и изобретений. В 1933 г. Флоренский был арестован, отправлен в лагерь, а в 1937 г. расстрелян.

В литературном наследии Флоренского особое место занимают его «Воспоминанья прошлых дней». Это не только блестящая проза, но и интереснейший человеческий документ. Здесь Флоренский раскрывается и как писатель, и как исследователь души, талантливый психолог и педагог.

Ф  $\frac{4702010201 - 078}{M172(03) - 92}$  63 — 92

ББК 84Р7—4

ISBN 5 — 239 — 00624 — 5

© *Игумен Андроник (Трубачев)*. Предисловие, комментарий, составление, подготовка текста, 1992.  
*М. С. Трубачева*. Составление, подбор иллюстраций, 1992  
*Т. В. Флоренская, П. В. Флоренский*. Составление, 1992



# Содержание

*Игумен Андроник (Трубачев)*

Предисловие

7

## ДЕТЯМ МОИМ. ВОСПОМИНАНЬЯ ПРОШЛЫХ ДНЕЙ

I. РАННЕЕ ДЕТСТВО

24

II. ПРИСТАНЬ И БУЛЬВАР. БАТУМ

45

III. ПРИРОДА

62

IV. РЕЛИГИЯ

115

V. ОСОБЕННОЕ

152

VI. НАУКА

189

VII. ОБВАЛ

216

ДОПОЛНЕНИЯ

246

## ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФЛОРЕНСКИЕ

268

СОЛОВЬЕВЫ, УШАКОВЫ

355

ИВАНОВЫ

367

САПАРОВЫ. МЕЛИК-БЕГЛЯРОВЫ. ПААТОВЫ.  
ШАВЕРДОВЫ. АЛИХАНОВЫ. ШАДИНОВЫ. КН.  
ЧЕРКЕЗОВЫ

373

## ИЗ СОЛОВЕЦКИХ ПИСЕМ П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ

408

## ЗАВЕЩАНИЕ

440

**СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

445

**РОДОСЛОВНЫЕ РОСПИСИ**

445

РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ КОСТРОМСКОЙ ВЕТВИ  
ФЛОРЕНСКИХ И РОДСТВЕННЫХ ЕЙ РОДОВ

445

РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ СОЛОВЬЕВЫХ

455

РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ УШАКОВЫХ И РОД-  
СТВЕННЫХ ИМ РОДОВ

456

РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ МОРОЗОВЫХ

459

РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ КЛИНСКИХ ДВОРЯН  
ИВАНОВЫХ

460

РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ САПАРОВЫХ И РОД-  
СТВЕННЫХ ИМ РОДОВ

464

РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ ПЛАТОВЫХ И РОД-  
СТВЕННЫХ ИМ РОДОВ

471

РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ МЕЛИК-БЕГЛЯРОВЫХ  
И РОДСТВЕННЫХ ИМ РОДОВ

472

РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ ШАДИНОВЫХ И РОД-  
СТВЕННЫХ ИМ РОДОВ

477

**КОММЕНТАРИЙ**

480

**УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН**

530



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга, которую вам предстоит прочитать, писалась около семидесяти лет тому назад. Кое-что из нее публиковалось в разных журналах в 1970—1980-е годы, а полностью книга издается впервые лишь теперь. Одно это уже свидетельствует о том, что она выдержала самое трудное испытание — временем. Теперь, в порядке, обратном обычному ходу событий, она предстанет перед судом читателя. В этой первой встрече автора и читателя их знакомство будет иным, чем если бы оно состоялось в середине 1920-х годов. Не только читатель стал совершенно другой, но и сам автор воспринимается не таким, как если бы его книга вышла тогда, когда была написана.

Что мог знать читатель о священнике Павле Александровиче Флоренском в середине 1920-х годов? Родился в 1882 году, окончил физико-математический факультет Московского университета (1904), затем Московскую Духовную Академию (1908). Преподавал в академии историю философии, принял сан священника (1911), защитил магистерскую диссертацию, переработанную затем в известную книгу «Столп и утверждение Истины» (М., 1914). Был близок к московскому религиозно-философскому движению славянофильского направления. С 1912 года — редактор «Богословского вестника». Живет уединенно с семьей в Сергиевом Посаде.

Все, что отделялось чертой 1917 года, было покрыто почти полной неизвестностью. Узкий круг мог знать, что в 1918—1920-е годы отец Павел работал в комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, а с 1921 года стал преподавать во Вхутемасе. О книге «Мнимости в геометрии» (М., 1922) слышали в связи с той травлей, которая поднялась в печати, но мало кто мог ее прочитать, так как она была издана мизерным тиражом. Рассказывали с удивлением, что, начав работу в учреждениях системы Главэлектро, отец Павел, не изменяя своих христианских убеждений и оставаясь верным Церкви, продолжал носить одежду православного священника. В эти нелегкие времена он ее не снимал.

Теперь, когда читатель возьмет в руки воспоминания отца Павла, он может узнать обо всем этом гораздо подробнее \*.

Но кроме того, современный читатель знает и дальнейший путь отца Павла: хотя светская деятельность его с середины 1920-х годов сосредоточивалась в области электротехники, он не прекращал своего творчества как христианский мыслитель до тех пор, пока это было возможно (труды по философии искусства, 1918—1920 гг.; «Философия культа», 1918—1922; «Иконостас», 1921—1922; «Детям моим. Воспоминания прошлых дней», 1916—1925; «Имена», 1923—1926). Однако даже этот отрезок жизни отца Павла малоосмыслен и исследуется пока больше со стороны количественного увеличения знания о нем \*\*.

На существенное изменение восприятия творчества и духовного облика отца Павла особенно повлияли следующие два обстоятельства. Первое: все более открывается исповеднический путь отца Павла в советское время, завершившийся мученической кончиной после четырех лет лагерей — расстрелом 8 декабря 1937 года \*\*\*.

«Сам уроженец Кавказа,— писал протоиерей Сергей

---

\* См.: Демидов С. С. Из ранней истории московской школы теории функций; Половинкин С. М. О студенческом математическом кружке при Московском математическом обществе в 1902 — 1903 гг. // Историко-математические исследования. Вып. 30. М., 1986; Иеродиакон Андроник (Трубачев). Епископ Антоний (Флоренсов) — духовник священника Павла Флоренского // Журнал Московской Патриархии. 1981. № 9 — 10; Игумен Андроник (Трубачев). Священник Павел Флоренский — профессор Московской Духовной Академии // Московская Духовная Академия. 300 лет (1685 — 1985). Богословские труды: Юбилейный сборник. М., 1986; Он же. Священник Павел Флоренский — профессор Московской Духовной Академии и редактор «Богословского вестника» // Богословские труды. Сб. 28. М., 1987; Он же. «Голубка бедная моя...» // Литературный Иркутск. 1989. Октябрь; Трубачева М. С. Из истории охраны памятников в первые годы Советской власти. Комиссия по охране памятников старины и искусства Троице-Сергиевой Лавры 1918 — 1925 годов // Музей. Сб. 5. М., 1984; Флоренский П. А. Вопросы электроматериаловедения во Всесоюзном электротехническом институте (ВЭИ) // Социалистическая реконструкция и наука. Вып. 8. М., 1932.

\*\* См.: Андроник иеродиакон (Трубачев). К 100-летию со дня рождения священника Павла Флоренского: Указатель печатных трудов священника Павла Флоренского // Богословские труды. Сб. 23. М., 1982; Он же. Основные черты личности, жизнь и творчество священника Павла Флоренского // Журнал Московской Патриархии. 1982. № 4.

\*\*\* Свидетельство о смерти УШ-МЮ № 423815, выданное 24 ноября 1989 г. отделом загс исполкома Калининского райсовета г. Москвы. См. также: Из писем П. А. Флоренского семье (1931 — 1937) // Вопросы литературы. 1988. № 1 / Публ. П. В. Флоренского и игумена Андроника; Флоренский Павел. Письма из Соловков // Наше наследие. 1988. № 4. / Публ. П. В. Флоренского.

Булгаков об отце Павле, — он нашел для себя обетованную землю у Троицы Сергия, возлюбив в ней каждый уголок и растение, ее лето и зиму, весну и осень. Не умею передать словами то чувство Родины, России, великой и могучей в судьбах своих, при всех грехах и падениях, но и в испытаниях своей избранности, как оно жило в отце Павле. И, разумеется, это было не случайно, что он не выехал за границу, где могла, конечно, ожидать его блестящая научная будущность и, вероятно, мировая слава, которая для него и вообще, кажется, не существовала. Конечно, он знал, что может его ожидать, не мог не знать, слишком неумолимо говорили об этом судьбы Родины, сверху донизу, от зверского убийства царской семьи до бесконечных жертв насилия власти. Можно сказать, что жизнь ему как бы предлагала выбор между Соловками и Парижем, но он избрал... Родину, хотя то были и Соловки, он восхотел до конца разделить судьбу со своим народом. Отец Павел органически не мог и не хотел стать эмигрантом в смысле вольного или невольного отрыва от Родины, и сам он и судьба его есть слава и величие России, хотя вместе с тем и величайшее ее преступление» \*.

Второе: все более осознается принципиальная значимость мировоззрения отца Павла для нашего времени. Сложившись как мыслитель и ученый при сопряжении культур — европейской и народной, светской и церковной, — Флоренский предупреждал о губительности бездуховного пути культуры, отстаивал духовную ценность Православия, в котором находят свое высшее и истинное воплощение все общечеловеческие стремления. Культ человека, не ограниченного в деятельности и правах высшими, надчеловеческими духовными ценностями, неизбежно приводит в области искусства — к культу крайнего индивидуализма, в области науки — к культу оторванного от жизни знания, в области хозяйства — к культу хищничества, в области политики — к культу личности.

В то время, когда отец Павел начал писать об этом, казалось невероятным, что уже XX век приведет культуру да и все человечество к возможности самоуничтожения. И лишь спустя пятьдесят лет после кончины Флоренского, когда культура вновь обратилась к истокам и родникам подлинной духовности, мы убеждаемся, что он был прав

---

\* *Протоиерей Сергей Булгаков. Отец Павел Флоренский // Флоренский Павел, священник: Собр. соч. Т. 1. Статьи по искусству. Париж, 1985. С. 15 — 16.*

в своих тревожных прозрениях. Трагическая, по земным меркам, судьба Флоренского привела не к гибели, а к торжеству и победе устремлений его жизни. На самом деле трагична не только судьба Флоренского, трагично время, в которое он жил, трагична культура, которая оказалась неспособной принять в себя мыслителя, священника и ученого \*.

Читателю, к которому мог обратиться в середине 1920-х годов отец Павел Флоренский, были еще понятны и близки и его неторопливые воспоминания, и собирание семейных преданий, и тщательные поиски генеалогических связей. Но, пожалуй, тот читатель был несколько наивен, так как полагал подобные ценности сами собою разумеющимися, законным семейным правом.

Нынешний читатель обратится к книге Флоренского после того, как несколько поколений пережили разрушение начал не только семейных, но и религиозных, национальных, гражданских. В наш опыт вошел закон постоянной войны и борьбы: гражданской, классово-репрессивной, «холодной», экономической, экологической, за выживание. Поэтому семейная хроника Флоренских может вызвать у современного читателя двоякое чувство: и абсолютной чуждости, вплоть до раздражения, и необычайного почтительного интереса, как явление почти уникальное, забытое и нуждающееся в жизненном усвоении и литературном освоении. Стоит подчеркнуть, что хроника Флоренского произросла из соответствующего мироощущения и уклада жизни.

Документы прекрасно раскрывают, из каких мыслей и чувств рождалась данная книга. 21—22 сентября 1915 года П. А. Флоренский писал матери: «Пишу тебе по следующему поводу — с просьбой написать, и не откладывая это в долгий ящик, для Васька и для меня свои воспоминания — о доме твоего отца и его обитателях, о папе, обо мне и других детях и, главное, конечно, о самой себе. Пиши как попало и что взбредет в голову, не стараясь быть систематичной и последовательной. Иначе все это отложено будет на неопределенное далекое время. Пиши на листочках, чтобы давать мне по частям. Что вспомнишь в данный раз, то и запиши, хотя бы как-нибудь сокращенно,

---

\* См.: Андроник игумен (Трубачев), Флоренский П. В. Павел Александрович Флоренский // Литературная газета. 1988. 30 октября. № 48: Лихачев Д. С. Предисловие к кн. «Возвращение забытых имен. Павел Флоренский. Каталог выставки». М., 1989.

я уж разберу и приведу в порядок. Пожалуйста, не вздумай отказываться. А если трудно самой писать, можно диктовать кому-нибудь, хоть мне, когда приеду».

Через четыре года П. А. Флоренский писал своей тетке З. И. Флоренской-Струковской:

«Многоуважаемая Зинаида Ивановна. Неоднократно пыриался писать Вам, начинал, клал письмо в конверт, и... оно осталось среди ворохов бумаги на письменном столе. Живу, изнемогая от усталости и, главное, постоянной напряженности: ведь дело приходится делать всегда повышенной ответственности пред Богом и пред историей. Вас же хочется видеть в связи с постепенно, по мере остарения своего и по мере ухода из жизни друзей и близких, с постепенно обостряющимся сознанием, что Вы ведь, в сущности, единственная мне известная Флоренская, единственная мне известная родная со стороны моего отца, моего деда, моего прадеда. Ведь в самом же деле мы, Флоренские, до жути одиноки, не имея ни близких, ни далеких родственников и растеряв все ветви, хотя людей с нашею фамилией и немало. Что значит это зловещее одиночество, эта затерянность нашего рода? Вы скажете: «А Лидия и Варвара Ивановна?» Да; но в силу внешних, а также и каких-то внутренних обстоятельств, мне остающихся неясными, общение с ними не налаживается, и Вы все же остаетесь для меня единственной. Как хотелось бы, чтобы Вы просто пожили у нас не обыденкою, приехав повидаться, а спокойно сидели на месте, никуда не торопясь, ну хоть неделку. Неужели ж это желание не может осуществиться? Не любопытство говорит во мне, когда спрашиваю я вас и когда хочется мне запечатлеть каждую малейшую черточку прошлого, столь для меня утерянного. Нет — это чувство ответственности пред будущим, исполнение долга и почтение к прошлому, исполнение заповеди о почитании предков. И мне мучительно, знаете — как бывает мучительно и тоскливо до тошноты, мучительно думать, как утеривались и утериваются сведения о нашем прошлом, наши портреты, наши документы. Стыдно, очень стыдно напоминать Вам о своей просьбе проглядеть Ваш семейный архив и одолжить мне, что можно, для ознакомления и копирования. Знаю, нет у Вас ни времени, ни сил. И вместе с тем остро сознается и звучит в уме: «Теперь — или никогда». Да, с каждым днем может быть опоздано». Мы живем в такое время и среди такой полосы назревающих событий, когда с охранением памяти прошлого воистину надо быть



на страже. Вот почему, оставляя последние следы деликатности, я умоляю Вас сделать, что можете, для выполнения Вашего давнишнего намерения проглядеть архив и одолжить, что можно, мне. Мне дорог всякий клочок, всякая строчка, ибо и малое бросает иногда неожиданный свет на самое важное, да наконец просто дороги и милы самые мелочи. Никак не выходят из моей головы те письма деда моего, которые были у Варвары Ивановны, и самая мысль об их потере приводит меня порою в раж. Неужели и судьба того немногого, что еще уцелело, такова же? Как только подобная мысль встает в моем уме, я не могу владеть собою: ведь подобные документы — жизнь, жизнь прошлого, дорогого, последние материальные следы его на земле, и думать о гибели таких следов, и притом гибели по моей беспечности или вялости, — мне почти как думать о гибели дорогих людей, прямо нож острый.

Как-то был в Москве, месяца четыре тому назад, и пытался по памяти, ибо не захватил адреса Вашего, найти Вас. Но, протаскавшись с чемоданом по улицам, так и не нашел Вашего уютного особнячка и лишь опоздал к поезду.

Пора кончать, темно уж. Приветствую Ивана Анастасевича, Степу и Володю. Был бы благодарен Вам или им за сообщение, хотя бы в нескольких строчках, о том, как вы все живете. А Вам желаю отдохнуть душою и телом за праздники. Анна Михайловна Вам кланяется и поздравляет Вас с праздником. Сергиев Посад. 1919. 11-го апреля, конечно, старого стиля».

Прошло тридцать лет, и родная сестра П. А. Флоренского, Елизавета (Е. А. Кониашвили), 19 сентября 1948 года пишет матери почти о том же и даже почти теми же словами, что и брат, — лучшее свидетельство силы единства рода:

«...Все время думаю, что я ничего ведь не знаю о твоей жизни до того, как я сама стала осознавать, да и то частично. Твое детство, молодость, а главное, твои родные, — нет ни одного штриха, чтобы нарисовать их образ. После того, как рассказала ты мне, как после смерти мамы ты горевала о ней и выходила за ворота, ждала, не идет ли она, — я все время стараюсь представить мою бабушку и переживаю за тебя твое горе. А отец твой? Кто он, на кого похож? Я очень, очень прошу тебя; попробуй написать портреты их для меня — по возможности конкретно — и черты лица, и голос, волосы, манеры, образование, ко-

стюмы, какие ты можешь вспомнить, характеры, события. хоть какие-нибудь маленькие сценки.

Напиши, отчего умерли, долго ли болели, все, что помнишь или узнала от других. **Я очень, очень прошу тебя об этом.** И кроме того, напиши свои воспоминания о молодости и детстве и о своих сестрах и братьях. А также напиши о папе».

Судя по этому письму, воспоминания брата и собранные им семейные предания оставались для Е. А. Кониашвили неизвестными.

Данная книга включает в себя два тома предполагаемого Собрания сочинений П. А. Флоренского, которое он планировал в 1918—1919 годах. В различных планах так обозначается их содержание и последовательность:

1918. «Воспоминания (семейная хроника).

---

Генеалогические изыскания о Флоринских»;

1918. I. 9. «Т. XIV. Воспоминания.

Т. XV. Генеалогические исследования о Флоринских»;

1919. IX. 18. «Т. XIX. Воспоминания».

По характеру материалов книгу можно разделить на четыре части: 1. Воспоминания. 2. Генеалогические исследования. 3. Отрывки из соловецких писем П. А. Флоренского семье и его Завещание детям. 4. Справочные сведения.

«Воспоминанья» состоят из семи глав.

Глава первая «Раннее детство» охватывает 1882—1884 годы (написана в сентябре — ноябре 1916 года).

Глава вторая «Пристань и бульвар» описывает 1885—1886 годы (первоначальная запись относится к маю — июню 1920 года, окончательная редакция — около 20 марта 1923 года).

Глава третья «Природа» рассказывает о 1886—1887 годах (время написания — 8—24 апреля 1923 года).

Глава четвертая «Религия» повествует приблизительно о 1888—1892 годах (время написания — 24 апреля — 15 мая (Духов День) 1923 года).

Глава пятая «Особенное» охватывает период 1886—1887 годов и могла бы быть помещена после главы второй «Пристань и бульвар». Окончательное место этой главы не было определено П. А. Флоренским, возможно, потому, что она не была завершена. Мы помещаем эту главу пятой, так

как поднятые в ней вопросы не столько связаны с хронологией, сколько важны для определения всего мировоззрения П. А. Флоренского (символ как обнаружение сущности явлений; отрицательное отношение к спиритизму, позитивистской науке; ощущение мира как живого единства и т. п.). Эта глава как бы связывает раннее детство с отрочеством (первая редакция относится к октябрю — ноябрю 1916 года, вторая была записана в июне — июле 1920 года).

Глава шестая «Наука» описывает 1897—1899 годы (глава написана 25 ноября — 26 декабря 1923 года).

Глава седьмая «Обвал» — рассказ о кризисе научного мировоззрения Флоренского в 1899 году. Идейное содержание этой части — непреодолимый поиск целостной Истины, Бога, без Которого жизнь превращается в душевную агонию, мрак, геенну (глава написана в январе 1924 года и в августе — сентябре 1925 года).

С чувством того, что Истина есть, но путей к ней он пока не знает, Флоренский начал новый период своей жизни, когда в 1900 году он поступил в Московский университет.

Нет сомнений, что П. А. Флоренский предполагал написать воспоминания еще об очень многом. Об этом свидетельствуют его первоначальные замыслы и планы, отдельные черновые записи, которые собраны в «Дополнениях». В целом «Воспоминанья» писались в течение девяти лет (7 сентября 1916 года — 6 сентября 1925 года) и охватывают почти без пропусков период жизни от рождения (1882) до поступления в Московский университет (1900).

Попытаемся определить, в чем основное значение «Воспоминаний» П. А. Флоренского.

Прежде всего «Воспоминанья» освещают период жизни до семнадцати лет; те родословные связи, под влиянием которых складываются личность, характер человека, его основные склонности и интересы. Сам П. А. Флоренский отмечал, что имеет «прочное убеждение, что приобретенное в юности особенно органически усваивается личностью».

«Я считаю свои способности сравнительно малыми и, может быть, меньшими средних», — писал он, указывая, что основу его научных интересов и склонностей составляют наследственность нескольких поколений рода Флоренских и семейное воспитание. В этой оценке поражает не только скромность, но и то чувство связи поколений и времен, которое жило во Флоренском и позволяло ему видеть в своих способностях проявление сил предков.

Как правило, важнейшие факторы формирования лич-

ности наименее известны биографам выдающихся людей. Автобиографические воспоминания П. А. Флоренского являются уникальным материалом, восполняющим обычный пробел в жизнеописаниях мыслителей и ученых. Заметим, что в главе «Наука» П. А. Флоренский сделал общее методологическое замечание о сравнительном достоинстве дневников, писем и воспоминаний для автобиографии.

«Воспоминанья» содержат богатейший материал для исследования творчества П. А. Флоренского. Без их учета понимание его трудов и самой направленности творчества неизбежно будет ущербным. В «Воспоминаньях» приводятся такие факты, которые легли в основу его многолетних духовных и научных поисков.

Наконец, «Воспоминанья» — образец высокохудожественной автобиографической прозы, в которой сам П. А. Флоренский раскрывается как христианский мыслитель, писатель, исследователь детской души, психолог и педагог. Избрав столь трудный жанр литературы, П. А. Флоренский сохранил предельную искренность и тем избежал «литературщины». Здесь нет никакой позы, никакого любования ни достоинствами, ни пороками — как личными, так и семейно-родовыми. Это очень конкретное, написанное даже с практической целью обращение к своим детям, грядущим в мир. Обратите внимание на названия и посвящения книги.

Вторая часть данной книги — «Генеалогические исследования». Интерес к генеалогии и к собственному роду возник у П. А. Флоренского раньше, чем он начал писать «Воспоминанья». В записке «Возрасты» он определяет это время так: «VII. Профессура: кризис фарисейства: открытие рода», то есть речь идет о 1909—1915 годах.

Один из лучших русских генеалогов Л. М. Савелов дал два определения генеалогии: «Генеалогия есть построенное на достоверных документах и других источниках доказательство родства, существующего между лицами, имеющими общего родоначальника или потомка, независимо от общественного положения этих лиц»; «Генеалогия есть история того или другого рода во всех проявлениях жизни его представителей, как общественной, так и семейной» \*.

Нынешнее положение русской генеалогии печально. В системе вспомогательных исторических дисциплин генеалогия — заброшенная отрасль, в которой более

\* Савелов Л. М. Лекции по русской генеалогии, читанные в Московском археологическом институте. Первое полугодие. М., 1908. С. 21.

разбираются любители, чем профессионалы-историки. Для широкого читателя генеалогия вообще «неизвестная земля». Поэтому необходимо дать некоторое представление о ней, и лучший путеводитель здесь — Л. М. Савелов.

«Покойный наш историк К. Н. Бестужев-Рюмин как-то выразился, что «где существуют истории родов, городов и учреждений — там возможны общие истории». <...> Личность — это есть та ячейка, из которой вышла семья, превратившаяся сначала в род, затем постепенно образовавшая родовый союз — племя и наконец государство, как высшую форму общежития, которое в конце концов поглотило и растворило в себе как отдельные семьи и роды, так и отдельные личности, подчинив их совершенно своему авторитету и своей власти. Отдельная личность — это тот атом, из которого возникло и постепенно сложилось современное государство. <...> Но можем ли мы сказать, что отдельная личность не является продуктом той среды, в которой они вращаются и которая их создала, что личность не является только носителем тех идей, которые гнездятся в семье, ее воспитавшей, что она не является только более талантливою, более ярко представительницею своей семьи, которая, в свою очередь, является выразительницею, может быть, иногда еще и не точно определенных стремлений и неясных идеалов своего народа? Думается, что отрицать этого мы не можем, а должны признать за истину, — а раз это так, раз семья есть выразительница стремлений и идеалов того народа, к которому принадлежит, а личность является более типичным представителем семьи, — то исследование деятельности отдельных семейств и отдельных личностей, на наш взгляд, обязательно и необходимо для постановки правильной исторической критики, а также и потому, что подобное исследование поможет историку и бытописателю связать отдельные факты и события в одно неразрывное целое; из отдельных вначале звеньев получится постепенно целая цепь исторически и последовательно вытекающих одно из другого событий. Кроме того, знание подробностей внутренней жизни народа может помочь историку сделать выводы общего значения.

<...> Общее духовное развитие народа несомненно находится в неразрывной и непосредственной связи с творческими талантами его более энергичных, более талантливых представителей, обычно ведущих за собой свой народ по пути развития и прогресса, по пути величия и славы. <...>



Вот здесь и найдется работа именно генеалогу, он должен выяснить значение отдельных семейств и отдельных личностей в общем ходе исторических и культурных событий в жизни данного народа или данной страны. <...> Не могу не отметить здесь того, что в деле разработки истории отдельных родов и истории высшего класса вообще — Россия далеко отстала от других цивилизованных стран и в этом отношении стоит на последнем месте, имея сравнительно весьма небольшую генеалогическую литературу. Мы не знаем ни одного мало-мальски культурного народа в мире, который бы так мало обращал внимание на свое прошлое, так мало бы ценил прошлые деяния своих предков, как это делает великий русский народ, у которого мы замечаем полное отсутствие самосознания, самоуважения и вследствие этого самопознания. <...> У нас, как выразился И. С. Аксаков, «большую частью о предках своих ничего не знают, преданий рода не уважают, русской истории не ведают, семейной старины не ценят», а между тем, по выражению того же И. С. Аксакова, «память о своих предках, чувство рода — доброе чувство, чувство историческое, вполне почтенное». К этим словам Аксакова я бы только прибавил еще одно определение — чувство святое, потому что без этого чувства невозможен патриотизм, в лучшем значении этого слова; доброе чувство к предкам означает присутствие чувства и к родине, и к своему народу, а именно эти-то чувства и заставляют человека жертвовать всем для блага своего народа и для величия своей родины. <...>

«Неуважение к предкам,— говорит А. С. Пушкин,— есть первый признак дикости и безнравственности», и как это ни грустно, но приходится только этим объяснить наше безобразное отношение к прошлому нашего отечества и пожелать, чтобы не слишком поздно избавились мы от нашей дикости и невежества, так как каждый истекший год, а в настоящее время и каждый истекший месяц уносят за собою часть памятников былой жизни наших предков, и уносят их безвозвратно\*.

Обратившись к генеалогии, П. А. Флоренский значительно углубил ее философские основы, дал начатки философии генеалогии. Главное, на что обратил внимание Флоренский,— единство рода как целого и взаимосвязь рода и личности, в него входящей. «Род для современного

\* Савелов Л. М. Лекции по русской генеалогии, читанные в Московском археологическом институте. Первое полугодие. М., 1908. С. 1 — 21.

человека есть совокупность, ансамбль, агрегат, логический объем, т. е. единство внешнее и механическое — не более. Но для древнего — он был единством существенным, единым объектом знания. <...> Но чтобы нам, людям XX века, почти утерявшим зрение единого и за деревьями давно уже не видящим леса,— чтобы нам опять понять это единство рода, приходится мысленно возместить недостаток своего зрения. Этими возмещениями могут служить гипотезы: четырехмерного зрения, единства крови или единства семени, единства биологической формы и, наконец, единства чисто мистического. Но при этом надо помнить, что все такие гипотезы — лишь костыли, которыми мы пытаемся скрыть уродство своей организации» \*.

Черты сходства родичей, кровь, семя, то есть зримые формы — явления незримого рода, носители родовой энергии, но не сам род, хотя они его символизируют. «Род и его виды — это сущности, из коих род безвиден сам, но имеет в себе виды, и видами своими сквозит в членах рода. Этим-то высвечиванием определяется значение родичей для вечности» \*\*.

П. А. Флоренский подходит к понятию духовного гено-типа и законов его бытия — дальнейшая разработка в этом направлении была бы чрезвычайно важна для выяснения условий выживания, вырождения и возрождения родов и народов. В монографии 1924 года «Анализ пространственности <и времени> в художественно-изобразительных произведениях» П. А. Флоренский писал:

«Род есть единый организм и имеет единый целостный образ. Он начинается во времени и кончается. У него есть свои расцветы и свои упадки. Каждое время его жизни ценно по своему; однако род стремится к некоторому определенному, особенно полному выражению своей идеи, пред ним стоит заданная ему историческая задача, которую он призван решить. Эта задача должна быть окончательно выполнена особыми органами рода, можно сказать, интелекцией рода, и породить их — ближайшая цель жизни всего рода. Это благоухающие цветы или вкусные плоды данного рода. Ими заканчивается какой-то цикл родовой жизни, они последние или какие-то предпоследние проявления рода. Будет ли от них потомство или нет — это вопрос уже несущественный, по крайней мере в жизни данного рода,

---

\* Флоренский Павел, священник. Смысл идеализма // В память столетия (1814 — 1914) имп. Московско́й Духовно́й Академии: Сб. статей. Ч. 2. Сергиев Посад, 1915. С. 62, 63.

\*\* Там же. С. 70.

ибо в лице этих своих цветов он уже выполнил свою задачу. Если потомство тут будет, то это может быть лишь развитием рода по инерции, и в ближайшем будущем, т. е. через три, четыре и т. д. поколения (а что значит три-четыре поколения в истории рода!), жизненной энергии рода суждено иссякнуть. В других случаях возможно, при притоке надлежащей крови, и рождение стойкого потомства. Но такое чаще всего исходит от какой-либо из младших ветвей рода, младших по несению родовой идеи. Это — как бы вегетативное появление нового отпрыска, если угодно — нового рода, с новой родовой идеей и новой исторической задачей. Но чем полнее и совершеннее выразился в известном представителе исторический смысл рода, тем менее оснований ждать дальнейшего роста родовой ветви, к которой он принадлежит.

Нет никакого сомнения, жизнь рода определяется своим законом роста и проходит определенные возрасты. Но нет сомнений также и в свободе, принадлежащей роду, — свободе, столь же превосходящей мощью своего творчества свободу отдельного представителя рода в среднем, как и полнота жизни рода в целом превосходит таковую же отдельных родичей в среднем. Кроме того, в какие-то сроки и в лице каких-то отдельных представителей рода это самоопределение его получает чрезвычайные возможности. Род стоит тогда у дверей собственной судьбы. Если вообще, в другие времена и в лице других его членов ему предоставлена некоторая беспечность и от него не требуется четких решений и прозрения в жизнь и задачу целого, то, наоборот, в такие времена и в лице таких своих членов он приобретает возможности подтянуться, духовно напрячься и на этих поворотах сделать выбор, сказать либо да, либо нет высшему о нем решению. Так бывает и в жизни отдельного человека; но неизмеримо ответственнее эти узловыe точки в жизни целого рода. И тут род волен сказать нет собственной своей идее и вырвать из себя источник жизни. Тогда, после этого рокового нет себе самому, роду уже незачем существовать, и он гибнет тем или иным образом.

Жизненная задача всякого — познать строение и форму своего рода, его задачу, закон его роста, критические точки, соотношение отдельных ветвей и их частные задачи, а на фоне всего этого — познать собственное свое место в роде и собственную свою задачу, не индивидуальную свою, поставленную в себе, а свою — как члена рода как органа высшего целого. Только при этом родовом самопознании

возможно сознательное отношение к жизни своего народа и к истории человечества, но обычно не понимают этого и родовым самопознанием пренебрегают, почитая его в худшем случае — за предмет пустого тщеславия, а в лучшем — за законный, исторически заработанный повод к гордости. Однако ни то и ни другое не улавливает главного: качественного превосходства и качественной полноты рода над родичами. Но ходячее, количественное понимание, как простой суммы изменчивых поколений, как вечного *eadem sed aliter* \*, как скучного продельвания каждым поколением всех чередных повинностей возраста,— это понимание коренным образом ложно, и оно-то ведет за собою желание замкнуться поколению в пределы себя самого, не видеть ничего позади и не считаться с будущим» \*\*.

Совершенно очевидно, что философия генеалогии, пути к которой прокладывал П. А. Флоренский, невозможна без конкретных исследований определенных родов. Знание своих предков и изучение законов бытия своего рода явились для П. А. Флоренского основой более общих философских взглядов.

Кроме того, генеалогия была для П. А. Флоренского и своеобразной педагогикой: история рода должна давать нравственные уроки и задачи. Именно поэтому в письмах из Соловецкого лагеря отец Павел настойчиво обращает внимание своих детей к их предкам и все более определенно формулирует законы бытия рода Флоренских. Читатель может удивиться: зачем Флоренский напоминает детям имена предков, если ранее им был собран богатейший материал о них? Чтобы понять это, необходимо вспомнить фразу из «Автобиографии» П. А. Флоренского 1927 года, которая поставила в тупик современного редактора: «Сведений о родных матери мы не имели, и я не знаю их даже по именам» \*\*\*. В 1920-е годы сообщать сведения о родных священника было равносильно доносу об их причастности к «контрреволюционному заговору», поэтому отец Павел скрывал свои генеалогические разработки. Когда же он оказался в лагере, то не был уверен, сохранятся ли его труды, и стремился передать детям хотя бы крупицы собранного знания. Однако он упоминал более отдаленных

---

\* Того же самого, но иначе (*лат.*).

\*\* Флоренский П. А. Время и пространство // Социологические исследования. 1988. № 1. С. 112 — 113.

\*\*\* Флоренский П. А. Автобиография // Наше наследие. 1988. № 1. С. 74.

предков, не затрагивая тех, чьим потомкам мог повредить. Эти завершающие «генеалогические воспоминания» в письмах к семье из Соловецкого лагеря совершенно по-особому освещают и весь предыдущий материал. Перед нами открывается жизнь одного рода как целого. На протяжении нескольких поколений перед родом ставятся одни и те же задачи, и каждый решает их по-своему. Письма отца Павла из Соловецкого лагеря — своеобразный ответ на эти вопросы. В своей личной судьбе он признавал проявление всеобщего духовного закона: «Ясно, что свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и гонением» (из письма от 13 февраля 1937 года). В письмах он стремится передать детям и потомкам мысль о том, что, несмотря даже на такой исход, каждый должен дать миру лучшее из того, что вложил в него весь его род. Только тогда оправдано существование личности.

Читатель должен понимать, что отец Павел не мог писать из лагеря все, что хотел, скорее всего, о главном — то он и не мог сказать семье. Полезно почитать соловецкие письма отца Павла одновременно с соловецкими главами книги А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Ответ отца Павла на вечные вопросы: для чего жить и как жить — не столько в содержании письма, сколько в его тоне, в том, что стоит за словами, в контрасте описываемого и переживаемого. «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24). Поэтому, как ни трагичны письма умирающего в лагере об умерших родственниках, — это ростки в будущее, в них сквозит глубинная родовая связь, над которой не властна смерть. Чем крепится эта связь? Ответ на это мы найдем в «Завещании» отца Павла детям. Письма из Соловецкого лагеря и «Завещание» образуют третью часть книги. Они едины как по содержанию, взаимно дополняя друг друга, так и по происхождению. Это подлинные документы, обращенные к одному адресату — семье.

Четвертая часть книги — «Справочные сведения».

Тексты подготовили к печати: «Детям моим. Воспоминания прошлых дней» — игумен Андроник, М. С. Трубачева, С. З. Трубачев, Т. В. Флоренская; «Дополнения», «Генеалогические исследования», «Завещание» — игумен Андроник, С. З. Трубачев; «Из соловецких писем П. А. Флоренского семье» — игумен Андроник, П. В. Флоренский.

Родословные росписи составлены игуменом Анд-

роником. По не зависящим от составителей причинам читатель лишен возможности иметь родословные росписи в виде наглядных генеалогических таблиц. Полиграфическая база издательства «Московский рабочий» оказалась не в состоянии воспроизвести генеалогические таблицы и схемы. Надеемся осуществить это в последующих изданиях.

Примечания подготовили: вступительные текстологические заметки — игумен Андроник; «I. Раннее детство»: № 1—7, 19, 22 — игумен Андроник; № 23 — М. Е. Козлов; № 8—12, 14—21 — С. М. Половинкин; № 3, 13 — С. З. Трубачев; «II. Пристань и бульвар. Батум»: № 1 — игумен Андроник; № 2 — А. Г. Дунаев; № 3—9 — С. М. Половинкин; № 4 — С. З. Трубачев; «III. Природа»: № 9, 18, 26 — игумен Андроник; № 1, 2, 4—8, 11—15, 19—25, 27 — С. М. Половинкин; № 10, 16, 17 — С. З. Трубачев; № 3 — Т. В. Флоренская; «IV. Религия»: № 5, 6, 10—14, 21—26, 31 — игумен Андроник; № 7—8, 27, 28 — М. Е. Козлов; № 1—4, 15, 17—19, 26—29 — С. М. Половинкин; № 30 — А. Н. Стрижев; 16 — В. Г. Сукач; «V. Особенное»: № 4, 26, 27, 29, 30, 33, 37, 44, 47, 48 — игумен Андроник; № 1—3, 5—29, 31—35, 38—43, 45, 46 — С. М. Половинкин; № 30, 36 — С. С. Хоружий; «VI. Наука»: № 1, 2, 22, 24, 27, 29 — игумен Андроник; № 3—21, 23 — С. М. Половинкин; № 26, 28 — А. Н. Стрижев; № 25 — В. Г. Сукач; «VII. Обвал»: № 8, 11, 14, 21 — игумен Андроник; № 1—7, 9, 10, 12, 13, 15—20 — С. М. Половинкин; № 7 — С. З. Трубачев; «Дополнения», «Генеалогические исследования» — игумен Андроник; «Из соловецких писем П. А. Флоренского семье» — игумен Андроник, П. В. Флоренский; «Завещание», «Родословные росписи» — игумен Андроник.

Подбор иллюстраций — игумен Андроник, М. С. Трубачева.

Составители книги приносят глубокую благодарность всем, кто помогал им в работе и содействовал изданию. Просим сообщать о недостатках, ошибках, необходимых дополнениях.

Игумен АНДРОНИК (ТРУБАЧЕВ)

Детям моим  
Воспоминанья прошлых дней

---

---



## ДЕТЯМ МОИМ \*

*На память о Вашем отце  
Моим детям Василию и Кириллу  
и Олечке 1919. VI A и Мику 1923.  
III.26 ст. ст. Светлое Воскресенье*

### «ВОСПОМИНАНЬЯ ПРОШЛЫХ ДНЕЙ»

*1916.IX.20 \*\*  
Сергиев Посад*

#### ⟨I. РАННЕЕ ДЕТСТВО⟩ УЕДИНЕННЫЙ ОСТРОВ

*1916.IX.7 Ночь. После подготовки к службе: канун Рождества Пресвятой Богородицы. Пишу на аналое, при лампаде.— В переработанном виде пишу 1916.IX.20.*

Семья наша (— разумею родителей своих и живших с нами теток, а также и нас, детей —), семья наша представляла замкнутый мирок. И отец, и мать, в особенности мать, вели ее к уединенности ото всего внешнего. Исключительная привязанность родителей друг к другу; брезгливость к житейским сторонам общественной жизни у отца и горделивая боязнь жизни у матери; мировоззрение отца (да и у матери тоже, вероятно), если не отрицавшее, то бесконечно принижавшее все общественные отношения и все стороны человеческой деятельности пред семейным началом; может быть, недостаточная обеспеченность семьи в то время, когда она еще складывалась; отвращение ото всех условностей, от «мишуры» и фальшивого блеска, бывшее основным настроением отца и, вероятно, от него ставшее сильным у матери; какая-то малопонятная, но несомненная аристократическая гордость семьи, особенно у матери, и это при всем ее всегдашнем заявлении, что «мы — самые обыкновенные люди», в чем она, кажется, более хотела уверить себя, чем в самом деле верила; может быть, тонкая струя

\* Если бы эти наброски, по переработке, были напечатаны, то их так и следует озаглавить: «Детям моим». (Здесь и далее в сносках примеч. П. А. Флоренского, кроме оговоренных составителями.)

\*\* Дата относится к первому посвящению — Василию и Кириллу. (Примеч. составителей.)

духовной прелести — на почве отрешенности от жизни и своеобразного, внецерковного и внерелигиозного, аскетизма — все это вместе вело к тому, что наша жизнь была жизнью на уединенном острове, если угодно — на необитаемом острове, ибо людей мы не особенно долюбливали и старались держаться в стороне. Люди были бы похитителями чистоты, невозмутимости и ригоризма этого островного **рая**, и потому они лишь терпелись, да и то до поры до времени. Я сказал слово **«рай»**, ибо так именно понимаю своего отца — на чистом поле семейной жизни возрастить рай, которому не была бы страшна ни внешняя непогода, ни холод и грязь общественных отношений, ни, кажется, сама смерть. Да, смерть, насколько я могу понять своего отца, никогда не входила в его расчеты, как не входил в его расчеты и грех, хотя он признавал, будучи пессимистом, что «люди — везде люди, со своими страстями и слабостями». Следовательно, задача этого эксперимента с жизнью, на который отец действительно потратил жизнь и многомного богатых и отличных дарований и усилий, была в возможно тщательном уединении семьи ото всего **иного**, ото всего, что могло бы возмутить гладь этого безоблачного существования. Все тяготы жизни отец нес на себе, но вносить их в семью не хотел; и, не выдержав тяжести одинокого несения труда, и горя, и неприятностей жизни, ради того, чтобы семья была избавлена от них, он надломился и, когда увидел неосуществленность своей жизни, потерял равновесие и телесное, и духовное. Это была воистину драма: на глазах рушилось все то, что он пытался создать всю жизнь и ради чего принес себя в жертву. Да, в жертву, ибо семья была его идолом, его богом, а он — ее жрецом и ее жертвою.

Задача семьи была — изолироваться от окружающего. Наша жизнь была жизнью **«в себе»**, хотя едва ли **«для себя»**, — существованием, отрезанным от общественной среды и от прошлого. И в пространстве и во времени были мы **«новым родом»**, новым поколением — сами по себе. Конечно, это зависело не только от желания родителей вести нас так именно, но и от многих сложившихся помимо намерений чьих бы то ни было обстоятельств. Но так или иначе, а мы, дети, почти не знали прошлого своей семьи, не говоря уже о нашем роде. На настоящее и, главным образом, на будущее смотрели глаза моих родителей. А прошлое... прошлое теоретически отрицалось, фактически не было известно или почти не было известно, а поскольку оно было

перезито самими родителями — оно не было сладко. Обо всем этом я буду еще иметь случай говорить впоследствии. А теперь скажу лишь, что и отец мой, и мать моя выпали из своих родов; и понятно, что нить живого предания выпала из рук их, а отчасти и была просто выпущена. Мы же, дети, о ней почти ничего не знали. Потом я кое-что узнал. Но это уже впоследствии, да и то — путем расспросов, на которые, кстати сказать, никогда не получал от матери охотного и открытого ответа, путем разговоров с чужими, путем архивных и книжных разысканий. Эти знания мои не были знаниями, всосанными с молоком матери, не были жизненным, навек неотделимым от ума моего впечатлением, но были археологической реставрацией прошлого, научной работой, подобной всякой другой научной работе. Мне скорбно и тоскливо, что это так; но это — так. Молю Бога, мои милые, чтобы я сумел вас вырастить в более полнокровной, более почвенной жизни; дай Бог, чтобы все то, что я долгими усилиями и многими трудами сыскал для вас, пошло вам на пользу и чтобы вы не чувствовали той затрудненности дыхания в безысторической среде, какую испытывал ваш отец. Мои родители были по-своему подвижниками и праведными; но их мировоззрение, бывшее попыткой семьею преодолеть нигилизм, их окружавший в дни их юности, само таило в себе яды нигилизма». Не виню своих родителей, ибо слишком много они сделали не только для нас, но и сами в себе, в смысле имманентного преодоления позитивизма чрез создание в недрах его позитивистической религии семьи. Но, повторяю, была такая ужасная полоса русской истории, и сколько душ искалечено ею, сколько чистых сердец сделалось несчастными и бесприютными! Быть без чувства живой связи с дедами и прадедами — это значит не иметь себе точек опоры в истории. А мне хотелось бы быть в состоянии точно определить себе, что именно делал я и где именно находился я в каждый из исторических моментов нашей родины и всего мира, — я, конечно, в лице своих предков. Этого-то вот знания я лишен был, хотя всегда чувствовал, сам не знаю почему, что род наш очень древний и что возможность такого исторического самоопределения для нас, Флоренских, не исключена по существу.

Но как бы то ни было, а я рос без прошлого. Вот почему, располагаясь рассказывать вам, мои сынки, о своей жизни и о своих жизненных впечатлениях, я сознательно ограничиваю содержание своего рассказа тем кругом сведе-

ний, который был для меня родным и впитавшимся в мое сознание с детства. Другие сведения, полученные мною впоследствии, я изложу вам в особой работе, уже научного характера; а если здесь что-нибудь проскользнет из тех сведений, то лишь постольку, поскольку это безусловно необходимо для понимания моего рассказа. Так мне легче будет дать вам представление о духе нашей семьи, об укладе нашей жизни, о первоначальных интересах моих и о занятиях членов нашей семьи. И кроме того, только так я сумею изобразить вам уединенность нашего «острова».

Я все время твержу вам о нашей семье. Но пора, наконец, и более точно определить состав ее.

### СЕМЬЯ ВАШЕГО ДЕДА

#### *1916.IX.20. Сергиев Посад*

Семья наша состояла из моего отца (а вашего деда) Александра Ивановича Флоренского, моей матери (вашей бабушки, «бабы Оли», как называет ее Вася) Ольги Павловны, моей тетки, сестры моего отца, Юлии Ивановны Флоренской, нас, детей, появившихся последовательно в таком порядке: я (Павел, родился 9-го января 1882 г.), Люся (Юлия, родилась 1-го июля 1884 г.), Лиля (Елизавета, родилась 7 мая 1886 г.), Шура (Александр, родился 7 марта 1888 года), Валя (Ольга, родилась 19 февраля 1890 г.), Гося (Раиса, родилась 16 апреля 1894 года) и Андрей (родился 1-го декабря 1899 года), — и живших с нами подолгу или гостивших у нас сестер моей матери. Больше всего жила с нами тетя Ремсо́ (Раиса Павловна, как звал ее папа, или точнее — Репсимия Павловна Тавризова, а потом Коновалова, по второму мужу); тетя же Со́ня (София Павловна, впоследствии Карамьян), уехав от нас за границу, потом вышла замуж и бывала у нас довольно редко, живя в других городах. Тетя Лиза (Елизавета Павловна Мелик-Беглярова) и дети ее Маргарита и Давид иногда гостили у нас и были вообще близки к нашей семье, как и ее муж Сергей Теймуразович Мелик-Бегляров, но постоянно с нами не жили. Что же касается до тети Вари (Варвара Павловна), то она, бедная, умерла рано, и я ее помню очень смутно. Вот и весь круг нашей семьи. Сюда можно еще добавить очень редко бывавшего у нас маминного брата Аркадия, или, точнее, Аршака Павловича Сапарова, которого мы звали «Аршак-дядя», и детей его — Элю, Тамару,

Нину, Павла, Лялю и Марусю, иногда посещавших наш дом. Но, повторяю, все это были отношения не особенно близкие, и семья замыкалась тетками. Бывали у нас и знакомые. Из них семьи наиболее близкие — это Новомейских и Андросовых. Об них будет сказано на своем месте.

Теперь для лучшего понимания нашей семьи я сообщу вам, мои сыночки, несколько сведений о членах ее, чтобы не возвращаться к тому же впоследствии.

Отец мой, Александр Иванович Флоренский, был сын Ивана Андреевича Флоренского (и, как я впоследствии узнал — внуком Андрея Матвеевича) и жены его Анфисы Уаровны, Соловьевой по отцу своему, Уару Ефимовичу Соловьеву. Впрочем, отчество своей бабушки и тем более своего прадеда я узнал значительно позже. Добавлю кстати, что из моих разведок выяснились и имена моих прабабушек: Васса Тимофеевна, мать Ивана Андреевича, и Катерина Афанасьевна, рожденная Иванова, мать Анфисы Уаровны. Отец мой родился 30 сентября 1850 года, «в 10 часов пополудни», как значится в записной книжке моего деда. Имянины его мы праздновали 23 ноября; а из записи деда я узнал, что они приходились на 22 октября. По моим расчетам, 30 сентября 1850 года приходится на субботу. Отец его был военным врачом. Но, мне думается, мой отец не успел ничего воспринять от своих родителей, так как мать его умерла, когда ему было немножко больше месяца, 7 ноября 1850 года, а отец — 11 ноября 1866 года, но с отцом своим мой отец жил очень мало, так как учился вне родного дома.

### *1916. X. 15. Сергиев Посад*

А именно, он учился во Владикавказской классической гимназии, а потом перевелся в Тифлисскую 1-ую классическую гимназию, что на Головинском проспекте; учился он хорошо, первым учеником, но вследствие истории с директором Желиховским, которого он с товарищами по жребию были избраны исколотить, ему пришлось выйти из гимназии, и от волчьего билета он избавился только по заступничеству общественного мнения. Затем он держал экзамен экстерном и поступил в Институт Гражданских Инженеров в Санкт-Петербурге, каковой окончил в 1880-м году.

В этом же 1880-м году, 20 августа, он женился на матери моей, Ольге Павловне Сапаровой.

Настоящее имя ее — Саломия (Саломэ). Но тогда было

принято заменять имена армянские равносильными или якобы равносильными именами русскими. И вот она оказалась Ольгой, и так прочно, что решительно никто из знакомых не подозревал о ее настоящем имени, и даже сама она, вероятно, вспоминала об этом только при преднамеренном ей о том напоминании. Родилась она 25-го марта 1859 года в городе Сигнахе. Отца ее звали Павлом Герасимовичем Сапаровым, а мать — Софией Григорьевной Паатовой. Впрочем, тут я не буду говорить о том, что узнал впоследствии. Напишу лишь суммарно, что в Петербург мать моя поехала в 1878-м или в 1879 г. ... <sup>1</sup>

## ⟨ЗАКАВКАЗСКАЯ СТЕПЬ⟩ <sup>2</sup>

### 1916.Х.15. *Сергиев Посад*

Итак, в 1880-м году наша семья поселилась в Закавказской степи. Местом жительства нашего было избрано местечко Евлах Елисаветпольской губ[ернии], Джеваншарского уезда. В настоящее время там — станция Закавказской железной дороги с буфетом, построены домики, растут деревья. Тогда же это была чистая степь, в самом разбойничьем из мест Закавказья, среди татарских поселков, возле болотистого берега Куры. В ковыле, капетуве, лакрице и других травах этой степи водились в изобилии фазаны и — лучшая из дичи и редчайшая — турачи. Кура изобиловала лососями, осетрами и всякой рыбой, так что постоянно у наших была свежая рыба и дичь, и сами они готовили себе свежую икру. Но зато и опасностей всякого рода было достаточно: ядовитые змеи, скорпионы, фаланги и тарантулы, комары, москиты — всего этого в девственной степи было много-премного. Родители рассказывали мне, как однажды папа, ложась спать, поднял, чтобы перевернуть, подушку и нашел под подушкой змею, свернувшуюся кольцом. Змею, конечно, убили, но впечатление жути живо и до сих пор, даже у меня. Что же касается до скорпионов и ядовитых пауков, то они постоянно заползали в наше жилище. Ну, конечно, о черепахах, джейранах и других существах невинных и говорить нечего, — там их, мало пуганных еще людьми, было весьма много.

Я сказал — «в наше жилище». Да, потому, что сначала мои родители жили в товарном вагоне, или в товарных вагонах, обитых коврами, а потом был выстроен из волнистого железа барак, обитый внутри войлоком. Этот барак

и послужил началом для позднейшей станции железной дороги. В нем было три комнаты и, кроме того, отдельная пристройка — кухня.

Причиной, почему поселились мы в Евлахе, было назначение моего отца на должность начальника соответствующего участка Закавказской ж. д. Этот участок строился моим отцом. А с другой стороны, это совпадало и с желанием наших быть поближе к имению Мелик-Бегляровых (тогда принадлежавшему отцу Сергея и Александра Теймуразовичей Теймуразу Фридоновичу Мелик-Беглярову) — **Карачинару**. Мамина сестра Елизавета была замужем за Сергеем Теймуразовичем, а Евлах был ближайшей к **Карачинару** станцией ж. д. Тетя Лиза часто бывала у нас вместе с другими сестрами; и наши бывали у нее, а потом и жили некоторое время, когда папа заболел лихорадкой.

Но, чтобы представить яснее место рождения своего отца, вы, мои мальчики, должны прочитать «Очерк Закавказской степи», написанный тетей Юлей. Я поместил его в число писем ее к Пекокам, потому что думаю, что она должна была написать им что-нибудь в этом роде. А кроме того, в другой редакции, он вошел в ее дневник. Юля тетя приехала в Евлах в конце 1880-го года или в январе 1881-го года, позже мамы и тем более позже папы.

И вот среди степи, в дикой местности, я родился 9-го января 1882-го года, вечером, часов около семи — в час, всегда бывший самым моим любимым.

Этот вечерующий час, между шестью и семью, всегда был моим часом, и по сей день нет для меня ничего сладо-стнее, милее и мистичнее, в хорошую сторону, чем этот час прозрачности, мира и наступающей прохлады. Зажигающаяся звезда Вечерняя, огонь в сумерки...<sup>3</sup>

К моему рождению привезли из Тифлиса акушерку. Кроме того, приезжали к маме ее сестры — тетя Лиза и тетя Ремсо, которой было тогда лет 17, а м[ожет] б[ыть], и тетя Соня. Меня назвали Павлом, в честь св[ятого] апостола Павла — если только думали о св[ятом] Апостоле, и в память дедушки Павла Герасимовича Сапарова, незадолго перед тем умершего. Но назвали — домашним образом, без священника (да, впрочем, православного священника ближе, как в Тифлисе, и не было): крестили же очень нескоро<sup>4</sup>, что отчасти соответствует кавказскому обычаю, а отчасти происходило, вероятно, от равнодушия родителей к таинствам.

О жизни в Евлахе я, разумеется, ничего не помню. Но и родители, и тетки мне почти ничего об этом времени не



рассказывали, или если рассказывали, то у меня ничего не осталось в памяти. Один только случай помнится мне. Его рассказывала мне тетя Соня, спасшая меня от грозившей смерти захлебнуться в воде. Обстояло дело так. Мама и тетки купались в Куре, а берег был крутым откосом. Меня положили на краю берега, в уверенности, что я еще мал и потому не смогу сдвинуться с места. Но я как-то добрался до самого края и покатился по откосу. Уже у самой воды меня поймала тетя Соня.

Затем известно мне, что папа заболел малярией и вследствие этого пришлось ему взять отпуск. Вся семья поселилась в Карачинаре, где провела лето (1882) <sup>5</sup>-го года. Осенью же мы переселились в Тифлис. Это было (осенью 1882) <sup>6</sup>-го года.

В Евлахе мы прожили всего года полтора: одну зиму, лето и еще зиму <sup>7</sup>.

#### (ТИФЛИС)

От жизни в Тифлисе у меня остались хотя и очень отчетливые, но разрозненные впечатления. А т[ак] к[ак] первые детские впечатления определяют дальнейшую внутреннюю жизнь, то я попытаюсь записать возможно точнее все, что я могу припомнить из впечатлений того времени. Но запись эта едва ли будет соответствовать хронологическому порядку.

#### *1916.XI.18. Серг[иев] Пос[ад]. Ночь*

Мы жили в двух квартирах. В одной помещалась столовая, гостиная и еще какие-то спальни. В другой жил я с Юлей тетей — в другой, т. е. во флигеле. Сообщение между двумя помещениями было через двор, вымощенный камнями, сквозь которые прорастала трава. Обычно я ходил в сопровождении кого-нибудь из старших, а может быть, кое-когда решался пробежать и один. Но как-то раз, сидя в столовой, — это было днем, я соскучился по тете Юле или по маме, может быть, почему-то не приходившей из флигеля ко всем, — и побежал к ней или за ней. Как сейчас помню все, что было. Я отворил дверь и сразу, спустившись 2—3 ступеньки, очутился под слегка темным навесом, образуемым около дома. Помню, что навес этот держался на деревянных некрашеных столбах с ободранной корою, посеревших от дождя... Вероятно, дело было к вечеру, или погода была бессолнечная, но у меня

осталось впечатление сумеречное. И вот на каменной мостовой двора, проросшей травой, б[ыть] м[ожет], осенней уже,— я вижу эту мостовую, как сейчас,— увидел я нечто. Скорее, сперва я услышал — какой-то неслыханный мною своеобразный звук. Его я уже испугался. Но любопытство и смелость победили. Я решил было прошмыгнуть мимо и добраться до своей цели. Но... побежав далее с почти зажмуренными глазами, я вдруг остолбенел. Предо мною стоял невиданный снаряд. Что-то в нем быстро вертелось, визжало, скрипело, и от колеса сыпались яркие искры. И, самое страшное, какой-то человек, мне он показался темным силуэтом на небе, вероятно, вечереющем,— какой-то человек стоял при этом снаряде невозмутимо, бесстрастно и бесстрашно и что-то держал в руках...

Я стоял как очарованный взглядом чудовища. Предо мною разверзались ужасные таинства природы. Я подглядел то, что смертному нельзя было видеть. Колеса Иезекииля? <sup>8</sup>. Огненные вихри Анаксимандра? <sup>9</sup> Вечное вращение, ноуменальный огонь <sup>10</sup>... Я остолбенел и пораженный ужасом, и захваченный дерзновенным любопытством, зная, что не должно мне видеть и слышать видимого и слышимого. Но мне открывалась живая действительность таинственных сил естества, бёмовская первооснова <sup>11</sup>, гётевские матери <sup>12</sup>. И тот, кто стоял при таинственном искрометном снаряде, тот темный силуэт — это не был, конечно, человек, это не было одно из существ земли, это был дух земли, великое существо, несоизмеримое со мною. Оно меня не заметило, вероятно...

Не знаю, сколько времени длилось это откровение и столбняк. Секунду ли, несколько ли секунд; но, конечно, очень недолго. И только прошел упоительный и страшный миг слияния с этим огненным первоявлением природы, только явилось сознание себя, как панический ужас охватил меня. И вот характерная подробность: никогда мне не изменявшее самообладание в минуту последнего ужаса появилось у меня и тогда, и это первое из памятуемых мною таинственных потрясений души. Я не растерялся. Почти прыжком очутился я снова в столовой, откуда выбежал, и тут только, как это бывало и впоследствии в таких случаях, уже в надежной пристани, на коленях у кого-то из старших, я дал волю овладевшему мной ужасу. Со мною сделалось что-то вроде нервного припадка. Поили сахарной водой, успокаивали. «Ведь это точильщик точит ножи, Павлик,— твердили старшие.— Пойдем, посмотрим». Но я, разумеется,

никого не слушал, но и не спорил со старшими. Я тогда уже понимал, что они не постигнут таинства, которое открылось мне и ужаснуло меня. Мне предлагали проводить меня через двор. Но и на это не сдавался я. И трудно сказать, только ли от страха пред потоком ноуменальных искр или и от другой боязни — не пережить вновь пережитого, увидеть то, о чем говорили мне взрослые, — что-то обыкновенное и в самом деле не внушающее ужаса... И долго после того боялся я один проходить по двору.

Это чувство откровения тайн природы и ужаса, с ним связанного, тютчевской Бездны<sup>13</sup> и влечения к ней было и есть, как мне думается, одна из наиболее внутренних складок моей душевной жизни.

Вглядываясь в себя еще пристальнее, я нахожу еще нечто, чему я научился от этого нашего обитания в двух квартирах, сообщающихся двором. Это именно твердое, органическое убеждение в мистическом «есть» при противоречии ему эмпирического «кажется».

*1916.XI.23. Серг[иев] Пос[ад], утро. П[амять] А[лександра] Невск[ого]*

Две квартиры разделены между собой пространством, их — две; но духовно они одно, одна квартира — наша квартира, в двух являющаяся. Дом, семья есть живое единство, и в мое детское сознание не вместились бы, если бы и возникло, понимание семьи не как полного, неразрывного даже в отвлечении единства. Не «я», а «мы» — таково было отношение к внешнему, т. е. за пределами семьи существующему миру. Но эта слитная, неделимая, органически связанная семья жила в двух помещениях. А т[ак] к[ак] помещение, форма бытия семьи, по единству семьи непременно должно быть едино, то тут я воспринимал таинственное единство двух квартир, разделенных двором. Я хорошо помню, что это не позже придумалось, а именно тогда было, именно тогда родилось во мне понимание того, что пространственная разделенность может лишь только казаться и что, вопреки казанию внешнего опыта, может быть внутреннее единство — не **объединенность**, а именно единство. Но, в связи с описанным выше случаем точильщика ножей, возникло и другое, не менее определенное убеждение, что для опытного опознания этого таинственного единства надо сойти в области, где — всякие страхи, где происходят таинства природы, куда хоть и влечет почти непреодолимое любопытство,

но где подстерегают охраняющие эту таинственную область нечеловеческие ужасы. Не должно человеческому оку смотреть на тайны естества, хотя они и открывают мир совсем с иной стороны, со стороны внутреннего единства. Но это единство может открываться и не непосредственно, каким-то более тонким восприятием, не только прямым опытом, и этого достаточно. Вот что усвоилось в моей душе после того случая, — конечно, не столь отчетливо, но зато и более непреложно. И это усвоение осталось у меня на всю жизнь, хотя, разумеется, по непреодолимому своему исследовательству я не всегда исполнял эту заповедь о непознании.

### ОБЕЗЬЯНА

Другой случай, тоже относящийся к мистическому восприятию природы, с ее страшными охранительными стражами, относится ко времени более давнему и потому, вероятно, помнится мною смутно. Хотя я знаю, что кое-что помню об этом случае из личного опыта, но разграничить памятуемое от узнанного из рассказов старших не умею. А обстояло дело так: тетя Лиза привезла из своего имения много отличного винограда. Мне дали полизать его, но больше дать побоялись. А чтобы я не просил, папа нарисовал — мне помнится, синим и красным карандашом — на большом листе обезьяну и, поставив за виноградом, сказал, что обезьяна не позволяет мне брать виноград. В детстве я был очень покорен и безусловно верил всякому слову старших. В запретах же таинственного характера способен был усумниться тем менее, да и сейчас едва ли способен. И вот, конечно зная, что обезьяна эта нарисованная, я умоляюще протягивал к ней руку и просил: «Базана, дай мне лангату», — т. е.: «Обезьяна, дай мне винограду». Эта просьба почему-то всем в доме очень запомнилась, и, может быть, потому, что ее мне многократно повторяли впоследствии, я твердо помню ее до сих пор.

Но гряда зрелого винограда, золотисто-зеленая, полупрозрачная, словно флюоресцирующая в луче солнца, — мне помнится, и она — стоит, как сейчас, предо мною как живой образ неиссякаемого, сладостного изобилия природы. Может быть, мой вкус к золотисто-зеленому тону, и в особенности к флюоресценции стекла в кружковой, например, трубке <sup>14</sup> или в трубках Гейсслера <sup>15</sup>, тоже флюоресцирующих у катода зеленовато-желтым, виноградным или яблочным цветом, — этот мой почти всем существом

трепет при виде такого свечения, при виде осенних полупрозрачных зелено-золотых орешников, при виде светлячков — зародышем своим имел именно то пленение грудую винограда. И — запрет: как сейчас, представляю наскоро набросанного синим карандашом, вероятно, оранг-утанга, по немецкому *Conversations Lexikon Meyers* \* <sup>16</sup>, который, как я отчетливо понимал тогда, стоит безусловным стражем этого восхитительного изобилия, против которого не может быть возражений, на которого некому жаловаться, который выше даже внутреннего обсуждения. Нарисованный — и живой, более, мощнее, значительнее, неумолимее живого. Нет, я не путал его с просто обезьяной. Но я тогда-то и усвоил себе основную мысль позднейшего мировоззрения своего, что в имени — именуемое, в символе — символизированное, в изображении — реальность изображенного присутствует, и что потому символ есть символизированное. Это символизированное, эта охраняющая сила Природы стояла предо мною в рисунке моего отца, если не ошибаюсь — при мне же нарисованного. И я, пред непреодолимым, смирялся безропотно и без туги. Это был запрет усвоить себе бесконечную производительность природы, ибо идею винограда я воспринял как бесконечность. Впоследствии, когда я видел картины Сомова <sup>17</sup>, где то же превышемерное, ломающее ветви, количество винограда в огромных, тяжелых зеленовато-желтых кистях, я полусознательно вспоминал это свое детское впечатление Природы как Артемиды Эфесской <sup>18</sup>, как Матери Изобилия; и, не имеющийся у Сомова, запрет мгновенно вставал в душе. Много, бесконечно много... но не для меня; мне касаться до этого «не позволяет обезьяна».

### ПРОГУЛКИ С ПАПОЙ

Отец часто брал меня с собою на прогулки, в город, и, конечно, всегда они заканчивались какими-нибудь занимательными для меня покупками, то сладостей, то игрушек. Помнится мне смутно, как в одну из таких прогулок была подарена мне первая кукла. Смутно припоминаю, что ноги и руки ее болтались на жидко набитых тряпочках и что куклу эту я страстно любил.

---

\* В Большой Энциклопедии, по Мейеру составленной, в т. 14, после стр. 228, табл. 1, помещен, кажется, тот самый рисунок оранг-утанга, с которого рисовал папа, но только он пририсовал сюда и туловище, сколько помню <sup>19</sup>.

Мы жили высоко, на половине Давидовской горы. Подъем туда и сейчас был бы не очень легким в тифлисскую жару; тогда же я, едва ходивший, от жары размаривался и раскисал. По Головинскому и Дворцовой я ходил с папой, а возвращался домой уже у него на руках или сидя на плече: папа любил носить нас, маленьких, именно на плече. Жгучее тифлисское солнце, дышащий в лицо жар от накалившихся скал, стен и мостовой, душный воздух и тяжелые, словно злые, лучи, придавливающие долу свою тяжестью спину и голову, словно прижимающие к мостовой пыль, врезались в мое сознание, и с тех пор во мне живет чувство враждебности Солнца-Молоха <sup>20</sup>, полуденного тифлисского солнца, готового пожрать все живое. В этих прогулках мне открылась еще таинственная и уже определенно враждебная сила природы.

Было ли папе очень трудно вносить меня на Давидовский подъем, я не знаю. Но у меня осталось за эти ношения на плече к нему наиболее благодарное чувство как к избавителю от враждебного и злого Солнца-Губителя. Отчасти, может быть, это так еще и потому, что Люся еще не рождалась или была совсем маленькой, у меня не было с ней столкновений, отец принадлежал мне всецело, и еще не было у меня с ним неприятностей из-за Люси, которые стали омрачать мое детство впоследствии и тем самым вносить несколько отчуждения от отца. Тогда единство сына и отца, в моем сознании, было безусловным, и самый отец был для меня безусловным отцом, а я — его безусловным сыном.

## МАТЬ

Этого чувства близости и нераздельности существования у меня никогда не было в отношении к матери. Прежде всего она мало возилась со мною, занятая Люсей и потом другими детьми. Сдержанная, замкнутая, гордо-застенчивая в проявлении чувств, преувеличенно-стыдливо прятывшаяся от меня уже с самого детства — когда кормила и вынашивала детей, она казалась мне с первых дней моего сознания существом особенным, как бы живым явлением природы, кормящей, рождающей, благодетельной, — и вместе далекой, недоступной.

Этому впечатлению от матери — как от Матери-Природы — способствовал и культ, которым отец мой, и по движению чувства, и по сознательному убеждению, чтил

мою мать, полагая, что жена-женщина вообще есть существо особое, а его жена — и трижды особое, что, впрочем, было, вероятно, не несправедливо. В ней я не воспринимал лица; она вся окружала наше бытие, всюду чувствовалась и была как-то невидима. Я мог говорить об отце, о тете Юле, о братьях и сестрах, и тетках, и двоюродных братьях и сестрах, но едва ли что-нибудь мог раньше сказать о матери своей; да и сейчас я очень мало могу сказать о ней — лишь то, что говорили мне о ней другие, но не свое. Ибо сила моего анализа не может расчленить аморфного, хотя и очень сильного, впечатления от матери, не может объективироваться оно, не может выразиться в слове. С отцом я много, всегда разговаривал; с тетей Юлей, с тетками, со всеми — тоже. Но с матерью, кажется, никогда, или у меня сложилось впечатление, что я не разговаривал с нею. Отношения к ней мне представляются чувством одинокого путника в большой прохладной роще. Священный трепет и молчание, прохлада и робость... не страх, а...

Мать была для меня родными недрами бытия, но прижаться к ней как к родной — было странным, неподходящим. Конечно, я говорю об этом преувеличенно. Конечно, я прижимался к ней, целовал ее, но мне помнится, что она с каждым годом все не то холоднее, не то смущеннее встречала эти ласки, и я чувствовал, что нарушаю какие-то должные грани. А я, надо отметить, был ребенок очень ласковый, все время целовал то одного, то другого и жить без этих ласк не мог, как без воздуха, тепла и света. Мне вспоминается позднейший рассказ моей матери или тети Лизы — моей жене Анне, что исключительно легко меня отняли от груди: я даже не заметил этого. И какое-то смутное полувоспоминание подтверждает мне этот рассказ: я как-то не был пристрастен к материнской груди, чтобы не сказать, что от нее отталкивался; и потому при первом поводе отпал от нее, как если бы высохла влага, склеивавшая две бумажки. Отпал от груди и не заметил, т. е. никогда связан с грудью не был. Как похоже это на мое непосредственное памятование этих первых событий моей жизни. И это тем более характерно, что я, повторяю, был ребенком ласковым чрезвычайно, привязчивым чрезвычайно и всем существом отдавался каждой любви. И если даже грудь материнская не тянула к себе мое сердце, если с грудью матери не вырывалась из души моей что-то самое любезное сердцу, с ним — и сама душа, это значит — тут я не могу не заявить этого решительно, — что с самого

начала у меня не было той привязанности к матери, которая бывает у всякого ребенка,— привязанности сыновней.

Этот последнюю всецело владела тетя Юля. Но сказанным я не хочу сказать, что у меня не было никаких отношений к матери. Напротив, они были весьма могучи. Однако они были не личны, они были характера скорее пантеистического, чем нравственного.

В матери я любил Природу или в Природе — Мать, *Naturam naturantem Спинозы*<sup>21</sup>. Я знал, что мать очень любит меня; и в то же время у меня было всегда чувство таинственного величия ее. И мне казалось, что она же может встать во весь рост — и, не заметив меня, — раздавить. Я не боялся этого и не протестовал бы против этого. Но при этом не могло быть отдаления, какого и в помине не было в отношении отца или тети.

#### ТЕТЯ

Тетя, напротив, представляла обратный полюс моей детской жизни. В ней я не отрицал ноуменальной мощи, не удивлялся ей, но любил ее глубоко-личную любовью, был, вероятно, влюблен в нее со всем цельным чувством ребенка. Она была мне и другом, и товарищем, и учителем; с ней я делился своими горестями и радостями; от нее получал выговоры и наказания (хотя таковых бывало очень мало), вообще все человеческое было у нее. Она не подавляла меня своей отрешенностью от мелочей жизни; с нею можно было поболтать о нарядных платьях, кружевах, бантиках и шляпах, до чего я был большой охотник; с нею можно было собирать цветы и делать букеты; вообще с нею можно было жить. Матери же надо было поклоняться. И не потому, чтобы она требовала поклонения. Напротив, ничто, если брать сознание, убеждения, не было столь чуждо моей матери, как притязание на внимание и под[обное]. Напротив, она тяготилась всяким вниманием, усиливала свою скромность и свое стеснение до невозможности жить в человеческом обществе... И все же, а может быть, и тем более, около нее была атмосфера, требовавшая поклонения, а не жизни.

#### РОЖДЕНИЕ ЛЮСИ

Сестра моя Люся родилась, когда мне было уже 2 1/2 года. Но ни рождение Люси, ни первые годы ее существова-



ния не оставили следа в моей памяти. Мне смутно припоминается, что однажды утром папа взял меня на руки и сообщил о рождении сестры. Очень смутное осталось впечатление, что он этому был доволен и сообщал мне семейную новость весело; как будто это произошло в столовой. Но ничего значительного в связи с этим я не пережил и Люси новорожденной не помню. Очень смутно припоминается, что меня повели к маме и что мама лежала среди всего белого. Но я не смею утверждать, что я не смешиваю тут рождение Люси с рождением следующих за ней детей. Кажется, ничего не осталось у меня и от крещения Люси, названной так (сокращение от Юлии) в честь тети Юли.

#### ПРИВИВКА ОСПЫ

Но одно событие из нашей первоначальной жизни врезалось мне в память очень ярко. Это именно прививка мне и Люсе оспы. Отлично помню, что о необходимости прививки у нас неоднократно говорилось, но со дня на день самая прививка откладывалась, кажется, долго не получалась свежая лимфа. Я заранее трепетал от неведомого мне ужаса, но втайне надеялся, что будут откладывать-откладывать и авось забудут о ней. И действительно, о прививке перестали говорить, может быть заметив слишком сильное впечатление, этими разговорами на меня производимое. И я почти успокоился.

Но вот однажды я сидел на лавочке возле дома. Кто-то сидел рядом со мною, вероятно кто-нибудь из двоюродных братьев, или Датику (Давид Сергеевич Мелик-Бегляров), или Сандру (Александр Степанович Чрелаев). Вероятно, вечерело. Вот по улице идет какой-то человек. Мое сердце сразу екнуло, почувствовав **какую-то** беду, мне еще неведомую, но тем более страшную. Подойдя к нам, он спросил, здесь ли живут Флоренские, и, может быть, попросил сказать, что пришел фельдшер. Со всех ног, задыхаясь от волнения, я бросился домой, в полуоткрытый тут же подъезд, убегая не столько ради данного мне поручения, сколько от злого человека.

1916. XI. 24

Сообщил ли родителям о нем я или, что мне припоминается смутно, двоюродный брат, не могу сказать твердо; но что я где-то в спальне забился в угол — это помню. Кажется, меня не сразу нашли, а искать торопились, — не желая

задерживать фельдшера и вследствие близящегося наступления потемок. Пока искали меня, привили оспу Люсе. Меня привели в гостиную, полутемную по времени дня,— когда уже началась прививка. Надрез ей сделали сильный. Вид крови, увиденный мною едва ли не впервые, так поразил меня, что я даже не стал сопротивляться, когда принялись за меня, и застыл от ужаса. От ужаса же я не заметил ни боли, ни самой прививки, находясь в оцепенении, и волнение и, вероятно, слезы наступили значительно позже.

Эта первая прививка удалась, и даже чересчур. Может быть, я был слишком велик для нее и чесал свою руку, но все три шрама от прививки получились в виде трехкопеечных монет и даже до настоящего времени отчетливо видны на левой руке. Ими очень интересовался Васенька, сынок мой, а я ему объяснял, что это пуговицы, которыми застегнута на мне человечья кожа, и что стоит их расстегнуть, как я скину кожу и в виде птицы выпорхну из кожи, разобью оконное стекло и улечу за дальние края...

Спрашивая себя, какую идею открыл мне описанный случай, и освещая сознанием нижайшие слои своей памяти, я нахожу, что этою идеею было неизбежное. Мне стало тут ясно, что есть неизбежное, которое выше меня, выше всех, даже взрослых, выше даже родителей, что оно не только внешне, но и внутренне необходимо, но что оно не соответствует нашим желаниям и вкусам. Подчинение высшей — не скажу воле, а неизбежности. Разуму мира, но безличному, неутомимому и не теплomu,— подчинение этому пантеистическому провидению открылось мне как долг. Покорный по натуре, я тут сознал, что покорность требуется, а не есть моя уступчивость, мое нежелание бороться

## ШАЛОСТИ

Признание закона над собою определяло мое самочувствие с раннейшего детства. Проказя, я знал, что вслед за тем должно последовать и возмездие,— не потому, чтобы так хотели старшие, а по существу вещей. Но при таком сознании трудно расшаливаться, трудно часто шалить. Имея в душе большой запас резвости, я с детства был скован сознанием, что я не один и что есть Правда надо мною. А шалить можно, именно забывая обо всех и обо всем, в упоении своим внутренним движением... И то, что стало впоследствии: «не стоит» — не стоит бороться, не стоит полемизировать, не стоит даже спорить,— тогда было задержкою шалостей.

Как-то я в чем-то напроказил, меня поставили в угол. Через несколько времени, забывшись, я сделал ту же маленькую проказу. Но, памятуя закон возмездия, я сам подошел к недоумевающим старшим с вопросом: «В который?» — т. е. в который угол встать мне. Потом, когда мой вопрос разъяснился, двоюродный брат Датику часто подсмеивался надо мною, спрашивая: «В который?» Но обиды я не чувствовал, таким необходимым представлялся мне подобный вопрос,— я не понимал соли насмешки.

#### СОНЯ ТЕТЯ

С нами жила еще сестра матери, тетя Соня. Она была тогда молоденькой, почти девочкой,— и обучалась музыке. Мне смутно помнится ее музыкальный портфель, кажется, шоколадного цвета с золотою надписью — вероятно, «Музique», с которым она бегала в музыкальное училище. Помнится также, что в каком-то отношении было к ней теплое молоко, которое в стакане носилось ей в комнату; может быть, когда она была больна или потому, что у нее начинался туберкулез. Молоко же, а теплое в особенности, с детства возбуждало во мне брезгливое чувство,— может быть, этим объясняется, что я так легко отстал от материнской груди, или, наоборот, молоко я невзлюбил потому, что к материнской груди не сумел привязаться всей душой: — и тетя Соня, которой относилось это теплое молоко, возбуждала во мне не то удивление, не то соболезнование. А все вместе казалось окруженным тайною и загадочным. Но, понятное дело, я не открывался взрослым. И не только потому, что свои глубочайшие восприятия дети никогда не открывают взрослым, но и еще более потому, что мои восприятия казались мне столь естественными, общими всем, обычными, что о них не стоило говорить; да и как найти, не говоря уж о том,— как было найти слова для выражения чувств и мыслей, охватывавших все поле внутренней жизни, а потому, при всей своей острой специфичности в силе, расплывчатых, неуловимых, невыразимых? В детстве же чувство таинственности было у меня господственным, это был фон моей внутренней жизни, на котором обрисовывалась нежность и ласка к родителям. Все окружающее, то, что обычно не кажется и не признается таинственным, очень многие привычные и повседневные предметы и явления имели какую-то глубину теней, словно по четвертому измерению, и выступали в рембрандтовских вещих тенях.

Еще один случай усилил во мне те же чувства. Однажды услышал я разговоры взрослых, что у Сони тети — врождение ногтей на ноге и что надо сделать операцию. Я заранее волновался. Слово «операция» мне казалось ужасом, хотя я не понимал его. Помню отчетливо, как пришел кто-то, вероятно фельдшер, как все наши зашли в комнату тети Сони, оставив меня одного, как потребовалась тепловатая вода и как потом вынесли таз с водой, смешанной с кровью. Казалось мне, что таз полон дымящейся крови; вид ее поразил меня таинственностью и ужасом. Но на этот раз было объективное созерцание ужаса, я сознавал, что не мне на этот раз угрожают тайные силы.

#### ВПЕЧАТЛЕНИЯ ТАИНСТВЕННОГО

1919. III. 5. Серг[иев] Пос[ад]

**Искра.** Нечто, кажущееся обыкновенным и простым, самым заурядным по своей частоте, нередко привлекало в силу каких-либо особых обстоятельств мое внимание. И вдруг тогда открывалось, что оно — не просто. Воистину что-то вдруг припоминалось в этом простом и обычном явлении, и им открывалось иное, ноуменальное, стоящее выше этого мира или, точнее, глубже его. Полагаю, это — то самое чувство и восприятие, при котором возникает фетиш: обычный камень, черепица, обрубок открывают себя как вовсе не обычные и делаются окнами в иной мир. Со мною в детстве так бывало не раз. Но в то время как иные явления всегда манили к себе мою душу, никогда не давая ей насытиться, другие, напротив, открывали таинственную глубину свою лишь урывками, даже единично, раз только. Одним из таких восприятий были искры.

Мы тогда жили в Батуме, в доме Айвазова. Было же мне около <четырёх-пяти<sup>22</sup>> лет. Возбуждаясь к вечеру, я долго-долго не соглашался ложиться спать; а когда ложился, то все равно часами лежал, не засыпая, ворочаясь с боку на бок и в миллионный раз изучая рисунок обоев или одеяла. Это были часы почти что пытки, когда я вылеживал в постели без сна. И потому я очень не любил укладываться спать рано, несмотря на уговоры. Однажды я с тетей Юлей сидели в спальней комнате, что выходила на двор. Сначала тетя занимала меня, читала, рассказывала, а потом стала посылать спать. Но я чем-то особенно заупрямился и не шел. Тетя говорила, что надо идти. На дворе было темно. Тетя говорила, что если я не пойду, то сон может улететь

спать и тогда я уже не засну; не знаю, говорила ли она. ипостасируя сон, или я только — так ее понял. Но посмотрел в темное окно — дело было осенью — и вижу: летят искры; вероятно, развели таган или печурку на дворе, с углями. И одна за ним последняя, особенно яркая, летит как-то одиноко поодаль, отсталая. Я — к тете: «Смотри, что это?» А она: «Это улетает твой сон. Вот теперь ты не сумеешь заснуть». Я видел искры, как я, конечно, видывал не раз до того. Но я почувствовал, что тетя глубоко права, что это действительно летит мой сон, имеющий невидимую, но бесспорную форму ангелка, — и что, улетаая, он делает что-то непоправимое. Я разрыдался. Почувствовал, что что-то свершилось. Поспешил лечь, но долго-долго не смыкались веки. Прошли с тех пор годы. Как-то недавно (1919.III.19) служил я всюнощную в церкви Красного Креста. Химические угли у нас кончились, приходится разжигать кадило простыми, из плиты, и при каждом они иногда искрятся. Вот искра от кадила полетела, как-то одиноко, в темном пространстве алтаря. И мне сразу вспомнилось, как такую же искрою «улетел сон мой» в детстве. А та, детская, искра в свой черед будила воспоминание об огненном потоке искр из-под колеса точильщика, открывшем мне иной мир, полный таинственной жути и влекущий и волнующий ум. Искры перекликаются с искрами и подают весть друг о друге. Сквозь всю жизнь мою пронизывается невидимая нить искр, огненная струя золотого дождя, осеменяющая ум, как Юпитер Данаю:

Unda, fluens palmis,  
Danaen eludere possit <sup>23</sup>.

1919.VI.1.

**Яды.** С детства, самого глубокого, слово «яд» меня особенно манило, даже тогда, когда я не понимал его значения. Самый звук этого слова, «яд», самое написание

яд,

да и вообще буква «я», особенно в её произношении

ја,

казались какими-то вкрадчивыми, сладковатыми, коварными, разрушительными, но разрушительными таинственно, без физических причин, словно магически. Да, яд я воспринимал как некую магию, естественную, м[ожет] б[ыть], но в своей определенности, в своей неизбежности, в неукоснительности и неотвратимости своего действия особенно

таинственную и поэтому особенно льстивую, особенно ма-нящую, обещающую особенные сладостно-жгучие волнения.

Это впечатление от слова «яд» связаны у меня со словом «Янкель». Может быть, в каких-нибудь подслушанных разговорах было упоминаемо имя Янкель — может быть, в каком-то жутком применении — не знаю почему, но Янкель, может быть, и по присутствию Я и сладкого кель, показалось знаменательно-зловещим, каким-то ядовитым, льстиво-коварным и губительным. Мне думается, что тут был отголосок от разговора о жидках-контрабандистах, живших в нашем дворе и потом внезапно и таинственно исчезнувших, оставив все таинственное имущество.

Однажды я с тетей Юлей были на балконе, окружавшем наш дом в Батуме. Это было в доме Айвазова. Как сейчас помню, мы были на внутреннем балконе, обращенном к внутренней стороне двора. Тетя, кажется, сажала цветы, до которых и она, и я были большие охотники, в длинные ящики, заказанные по ее просьбе папою, вдоль перил нашего балкона. Я же — ничего не делал и от безделья взял и сунул в рот кусок зеленой, вроде папиросной, оберточной бумаги и, разжевав его, стал разминать комья, привлеченный яркостью зеленого цвета. Этот зеленый цвет, напоминающий зелень изумруда и зелень морской воды в пристани, воды, играющей жирным блеском и видимой сквозь щели пристани, меня притягивал своею яркостью и своею тайною, казалось мне, враждебностью. Тетя, увидев мое занятие, испуганно одернула меня: «Что ты делаешь! Скорей брось эту бумагу, — я бросил ее поспешно, — и никогда не бери в рот зеленой бумаги. Помни, она окрашена зеленой краской, которая называется «Янкель», — эта краска «Янкель» очень ядовита, и от нее можно умереть».

«Янкель», — я вздрогнул. Так вот он, «Янкель», так я трепетал пред этим словом. Так, по крайней мере, услышал я. Теперь-то я думаю, что тетя сказала не «Янкель», а «мышьяк», ибо зеленая краска действительно мышьяковая, но я вместо незнакомого мне слова мышьяк, тоже с таинственным бьяк-я, услышал более привычное Янкель, уже окрашенное ядовитостью. И с тех пор не могу видеть этой полупрозрачной, тонкой бумаги зеленого цвета, особенно если она прикасается к губам, так и кажется, вот сейчас отравится кто-нибудь. И, вероятно, по связи с нею, меня странно притягивают и манят изумруды, но кажутся

ядовитыми и тайно-губительными, очень магическими. И чувствую, тут есть какой-то, опять, переклик с зеленостью винограда, мне когда-то не данного.

## ⟨II.⟩ ПРИСТАНЬ И БУЛЬВАР (БАТУМ)

⟨Море.⟩<sup>1</sup> Тоны около зелени, то голубоватые, то желтоватые, питали меня в детстве через море. Свои детские и отроческие годы я провел в постоянном и ненасытном, и всегда ненасытимом, созерцании моря. Редкий день проходил без того, чтобы мы, дети, т. е. я с Люсей, не побывали на берегу два, а то и три раза. И никогда море не наскучивало. Никогда впечатление от него не скользило по душе, всегда впивалось всем существом.

Мы шли утром, после чаю, захватив с собою на завтрак бутерброды с котлетами и с сыром, а иногда еще и свежие или сушеные фрукты, каштаны, орехи или монпасье, желтая или зеленая, — опять какие-то переклики с теми, волнующими цветами. Няня или тетя Юля в несколько минут приводили нас на бульвар. Тогда, лет тридцать пять тому назад, море еще было у первой аллеи бульвара; лишь впоследствии оно так отступило от насаждений — туй и кипарисов, — несмотря на почти каждодневное прибавление их, вдогонку за уходящим морем. Играли на песке аллеи или спускались по хрустящему гравию к самой воде. Гальки были гладкие, словно искусственно обточенные. Я знал от взрослых, что они действительно обточены морским прибоем, но верил этому наполовину: разве эти камушки не выросли в море, как раковины или кораллы? Разве они не образования живых существ?

Копались в мелком гравии, у самой воды, разыскивая цветные прозрачные камушки — опалесцирующие голубо и фиолетово халцедоны, таинственно светившиеся по всей массе внутренним мерцанием, словно налитые светом. Ленточные агаты, тонкослоистые оранжевые и красные сердолики с белыми прослойками, изредка аметисты, желтые и зеленые кварциты, а иногда — прозрачные топазы, как то монпасье, что приносили мы с собою, и многие другие, — редкий день мы приходили домой, не нагруженные добычей. Эти камни были похожи на художественно небрежные бусы ручной работы, рассыпавшиеся с подводного ожерелья; в моем сознании они роднились

и почти непрерывно переходили в венецианские бусы, которые папа покупал там в лавчонке на пристани. Тайственные наслоения сердоликов и агатов, их тончайшая слоистая структура настораживали мысль: я чувствовал тут какой-то сокровенный смысл природы, и, казалось, вот-вот он раскроется, объявится тайна. Иногда ходили на море с папой. Папа объяснял по поводу наших находок, что эти слои образовались от вековых осадений в подземных скважинах и пещерах. А я видел в этих слоях осевшие века, окаменелое время. Время никогда не мог я постигнуть как бесповоротно утекшее; всегда, насколько помню себя, жило во мне убеждение, что оно куда-то отходит, может быть, именно в эти самые скважины и пещеры стекает и там скрывается, засыпает; но когда-то и как-то к нему можно подойти вплотную — и оно тогда проснется и оживет. Прошлое — не прошло, это ощущение всегда стояло предо мною яснее ясного, а в раннейшем детстве еще более убедительно, нежели позже. Я ощущал вязкую реальность прошлого и рос с тем чувством, что на самом деле прикасаюсь к бывшему много веков тому назад и душою вхожу в него. То, что в истории действительно занимало меня — Египет, Греция, стояло отделенное от меня не временем, а лишь какою-то стеною, но сквозь эту стену я всем существом чувствовал, что оно и сейчас здесь. Слоистые камни представлялись мне прямым доказательством вечной действительности прошлого: вот они — слои времен — спят друг на друге, крепко прижавшись, в немом покое; но напрягусь я, и они заговорят со мною, — я уверен, — потекут ритмом времени, зашумят, как прибой веков. Впоследствии, едва ли не по этому издетскому нежному чувству к слоистости, я увлекся геологией — именно слоистыми образованиями, и приходил в дрожь и холодный восторг при виде четких геологических пластов. Ведь это буквально книга, как и книга — не есть ли осевшее время?

Занимали овальные плоские известняковые гальки, которыми набивали мы себе полные карманы. Иногда попадались такие гальки с естественною дырою; мы надевали странный камень на палку и восхищались им, отчасти суеверно преклонялись. Загадочное отверстие, с его гладкими, словно обсосанными, краями, манило ум и втягивало в себя всего. Отверстия вообще казались таинственными жилищами Неведомого и перекликались с вожденными пещерами, подземельями, погребями и темными чердаками, с ямами, канавами, туннелями и длинными коридорами; за всеми или я признавал силы первичного мрака, в котором



родилось все существующее, и мне хотелось проникнуть туда и навеки поселиться там. Но другие пустоты слишком опасны, чтобы позволить приближаться к себе безнаказанно; а эти отверстия в камнях, светленькие, чистенькие, гладенькие, теплые на солнце, вполне по силе мне. И я совал туда палец и заглядывал в них тысячи раз, все с тем же чувством их таинственности, которого не могли рассеять ни доступность этих отверстий, ни объяснения отца или тети. Уже взрослым я узнал о таких камнях, что они называются у крестьян «куричьими богами» и вешаются в курятниках как обереги кур от домового и всяких болезней. Как это ответило моим детским мыслям и как я узнал в этих «куричьих богах» свои таинственные гальки!

На берегу, при помощи палок, строили морские заливы; или втыкали палки в песок и с тем же чувством тайны вглядывались в темную дыру, куда набиралась морская вода. Любо было видеть отжатый и посеревший песок словно набухающим и чернеющим от притока влаги. Иногда разгребали прибрежный гравий и находили слой мокрый, а ниже — поднимающуюся и опускающуюся, живую, дышащую там воду. Выкопать яму, хотя бы маленькую, всегда казалось родом магического действия: само существо ямы таинственно. Что же? — В яме живая вода. Все на воде и в воде, да и не простой, понятной воде питьевой, а в воде таинственной, горько-соленой, привлекательной и недоступной. В Батуме эта мысль о воде была особенно естественная, потому что Батум действительно весь в воде и на воде. Исследовали эту воду в ямках — сосали палец, омоченный в ней, — удивлялись ее горько-соленому вкусу. Совсем слезы. И не значит ли это, что и сам я — из той же морской воды? Везде взаимные соответствия, за что ни возьмешься — все приводит опять и опять к морю.

Ловили медуз палками. Красивые цветы с опалесцирующими чашечками, налитые светом, колыхались в воде, нежно обведенные фиолетовою каймою. Мы знали, что они жгутся, но это принималось как должное: к таинственному нельзя подходить безнаказанно. А вытаскишь их — растают на теплых камнях в бесцветную слизь, и ничего не останется. Кто-то говорил нам, будто, если сушить медуз между листами пропускной бумаги, часто меняя их, то все же останется красивая нежная сетка. Я не отрицал этого, но это казалось далекой сказкой, а ближайший опыт говорил попросту: медузы — порождения того же моря, та же вода и ничего более, и в воду потому расплываются. В земле —

вода, во мне — вода, медузы — тоже вода... Различное по виду, однако едино по сущности.

Среди выбросов моря со всегдашним удивлением находили рогатые орехи чилим, почерневшие от пребывания в воде. Мы побаивались их, казалось несомненным их родство с морскими чертями, и потому эти странные орехи мы старались не трогать руками, а когда подбирали, то — с опаскою и осторожно: кто его знает, что они на самом деле и как поведут себя. Бездна моря полна тайн и неожиданностей. Правда, взрослые говорят, что это — орехи, и взрослые, конечно, правы, но ведь взрослые вообще таинственной стороны всего окружающего не касаются, — не то не замечают ее, не то скрывают от нас, наверно, чтобы не пугать нас; ведь вот они никогда не говорят нам о таких заведомо существующих вещах, как черти, русалки, лешие, даже не говорят о милых эльфах. А мы-то, положительно не знаю откуда, как-то об этом обо всем давно проведали, несмотря на все поставленные воспитательные преграды. Так вот и чилим: они, т. е. взрослые, думают, что мы будем не спать по ночам, и потому нарочно говорят, будто это просто орехи. А может быть, это только кажется орехами? Почему же они такие черные? Почему они с рогами?

Нередко море дарило нас белыми трубками. Папа говорил, что это корни камыша и что месторождение их, вероятно, река Чорох, устье которого недалеко от Батума. Но и тут такому упрощению дела и верилось и не верилось. Слишком уж ясно все милому папе. А почему же эти «корни» такие белые и жирные, словно черви? Почему они трубками? Что-то в объяснении взрослых не так: слишком уж явна странность этих «корней». Белые трубки, они живые — и будет, а дальше уж не следует углубляться и разоблачать их тайну, раз они хотят быть в неизвестности. Они прикинулись корнями — ну и сделаем вид, что этому верим, но только сделаем вид, чтобы их не обидеть и не рассердить. И казалось несомненным: неспроста валяются они на берегу, а нам, именно нам, принесены Морем. Много еще других удовольствий доставляло оно нам — радовало нас, зная, что мы придем к нему и что мы любим «сюрпризы», даже самое это слово. Осколки бутылочного стекла, обтертые прибоем в ласковые матовые кусочки, нагревавшиеся на солнце; тоже ласково выглаженные тем же движением волн палки и куски дерева, чистенькие, светлые, теплые; тоже приглаженные кочерыжки от почат-

ков кукурузы. Иногда, после бури, находилась на берегу какая-нибудь рыбка, водоросли или раковины — и радости тогда не было конца, я переполнялся волнением, сердце билось так сильно, что, казалось, готово выскочить. Помню, находили иногда, очень редко, морского конька, а мне даже попалась раз после очень сильной бури рыбка-игла, которая потом много лет хранилась в моей коллекции редкостей. Оглядывая теперь вспять свое детство, я вижу исключительную бедность батумского берега выбросам и отменную ничтожность наших находок; кроме камешков, действительно приятных, мы не находили ничего ценного и занятного. Но тогда эти находки радовали бесконечно, хотя я и был избалованным ребенком, радовали как дары великого синего Моря, лично мне дары, знаки внимания, доверия и покровительства.

Оно жило пред нами своею жизнью, ежечасно меняло свой цвет, то покрывалось барашками или нахмуривалось, то, напротив, истомно покоилось, лениво, еле-еле плескаясь о берег. В другом месте находки наши ничего не стоили бы; но тут, на морском берегу, это было особенное. Зелено-синие вдали и зелено-желтые вблизи цвета, влекшие мою душу и пленительно зазывавшие все существо с самых первых впечатлений детства, они собою все осмысливали и все украшали. Дары моря, как смычком, вели по душе и вызывали трепетное чувство — не чувство, а словно звук, рвущийся из груди, — предощущение глубоких, таинственных и родимых недр, как весть из хризоберилловых и аквамаариновых недр бытия. Ведь эти зеленые глубины были загадочною разгадкою пещерного, явного мрака, родимые, родные до сжимания сердца. И деревяшки, обточенные морем, гладкие, теплые, как и теплые гладкие камни, все — солоноватое на вкус и все пахнущее чуть слышным йодистым запахом, — оно было мило сердцу, свое. Я знал: эти палки, эти камни, эти водоросли — ласковая весточка и ласковый подарочек моего, материнского, что ли, зеленого полумрака. Я смотрел — и припоминал, нюхал — и тоже припоминал, лизал — опять припоминал, припоминал что-то далекое и вечно близкое, самое заветное; самое существонное, ближе чего быть не может.

Этот йодистый, зовущий и вечно зовущий запах моря; этот зовущий, вечно зовущий шум набегающих и убегających волн, сливающийся из бесконечного множества отдельных сухих шумов и отдельных шипящих звуков, шелестов, всплесков, сухих же ударов, бесконечно

содержательный в своем монотонном однообразии, всегда новый и всегда значительный, зовущий и разрешающий свой зов, чтобы звать еще и еще, все сильнее, все крепче; шум прибоя, весь состоящий из вертикалей, весь рассыпчатый, как готический собор, никогда не тягучий, никогда не тянущийся, никогда не липкий, никогда, хотя и от влаги, но не влажный, никогда не содержащий в себе никаких грудных и гортанных звуков; эта зеленизна морской воды, зовущая в свою глубину, но не сладкая и не липкая, флюоресцирующая и высвечивающая внутренним мерцанием, тоже рассыпчатым и тоже беспредельно мелким светом, по всему веществу ее разлитым, всегда новая, всегда значительная — все вместе это, зовущее и родное, слилось навеки в одно, в один образ таинственной жизнетворческой глубины, и с тех пор душа, душа и тело, тоскует по нему, ища и не находя, не видя вновь искомого — даже во вновь видимом, но теперь уже иначе, внешне лишь, воспринимаемом море.

Того моря, блаженного моря блаженного детства, уже не видать мне — разве что в себе самом. Оно ушло, вероятно, куда уходит и время, — в область ноуменов. Но этот ноумен когда-то воистину виделся, обонялся, слышался мною. И я знаю тверже, чем знаю все другое, узнанное впоследствии, что то мое познание истиннее и глубже, хотя и ушло от меня, — ушло, а все-таки навеки со мною.

Но отдельные явления порою вдруг всколыхнут это сокровенное знание, и оно снова обнажится и приведет в трепет. Во флюоресцирующих веществах, особенно в яблочно-зеленом свечении кружковой трубки, я снова чуть-чуть вижу его, море моего детства; в запахе водорослей, даже пузырька с йодовой тинктурой, обоняю то метафизическое море, как слышу его прибоя в набегающих и отбегающих ритмах баховских фуг и прелюдий и в сухом звонком шуме размешиваемого жара. Но я помню свои детские впечатления и не ошибаюсь в них: на берегу моря я чувствовал себя лицом к лицу пред родимой, одинокой, таинственной и бесконечной Вечностью — из которой все течет и в которую все возвращается.

1920. Она звала меня, и я был с нею. // \* В душе же моей  
V.14 неизменно стоит зов моря, рассыпчатый звук прибоя, бес-  
конечная самосветящаяся поверхность, в которой я раз-

\* В первоначальном рукописном оригинале после этого знака начинается текст, писавшийся в день, обозначенный датой на полях. (Примеч. составителей.)

лично блестящие, все более и более мелкие, до малейших частичек, но которая никогда не мажется. А тело мое просит морской солености, воздуха, соленого и провеванного йодом, тоже рассыпчатого воздуха, несущего мельчайшие кристаллики соли, и порою сладостно бывает прикинуть хотя бы к пузырьку с йодовой настойкой. Мучительно хочется именно морского вкуса, морской рыбы, омаров — томит голод по морской пище, и, кажется, попадись куча морских водорослей, я съел бы ее всю. А ведь «хочется» того, в чем есть потребность и чего не хватает организму. Мне-то и не хватает тех вкусовых и питательных веществ, которые, по эволюционистам, по Кентону, например, были первичными у жизни. Правда, я ничуть не верю эволюционистам; но, думается, сам Кентон не развил ли свою теорию вовсе не по рациональным мотивам, а рассказывая себе сладостную сказку на основании морских впечатлений детства. Если бы ученики и последователи поняли, на чем, собственно, держатся теории их учителей, на каких чуждых рациональности интуициях детства, они перестали бы *jugare in verba magistri* <sup>2</sup>, но вместе с тем глубже постигли бы затаенную, детски-гениальную личность этих учителей.

И еще: в математике мне внутренне, почти физически, говорят родные ряды Фурье <sup>3</sup> и другие разложения, представляющие всякий сложный ритм как совокупность, как бесконечную совокупность простых. Мне говорят родные непрерывные функции без производных и всюду прерывные функции, где все рассыпается, где все элементы поставлены стоймя <sup>4</sup>. Вслушиваясь в себя самого, я открываю в ритме внутренней жизни, в звуках, наполняющих сознание, эти навеки запомнившиеся ритмы волн и знаю, что они ищут во мне своего сознательного выражения чрез схему тех математических понятий. Да. Потому что ритмический звук волны изрезан ритмами более мелкими и частыми, ритмами второго порядка, эти — в свой черед — расчленяются ритмами третьего порядка, те — четвертого и т. д., и т. д., как бы далеко ни пошли мы, ухо не слышит последней расчлененности, уже далее нечленимой, нечленораздельной, как грудной звук, дающийся сознанию, но всегда звук кажется сыпучим, а непрерывность волны — еще и еще изрезанной, до бесконечности расчлененной и потому всегда дающей пищу умному постижению. Впоследствии, когда я услышал знаменитые ростовские звоны, где сплетаются, накладываясь друг на друга, ритмы, все более частые, мне опять вспомнилось

ритмическое построение морского прибоя и фуги Баха, исконные ритмы моей души. В самом деле, шум прибоя слагается из шумов от падения отдельных капель морской воды. Лейбниц<sup>5</sup> уверяет, будто мы не слышим этих отдельных падений и лишь суммарный шум доходит до нас. Но это неправда, мы слышим их, слышим и падение капли, и падение частей капли, и так до беспредельности, когда прислушиваемся, когда войдем во впечатление, сложившееся от прибоя в самом сердце, в глубинах нашей души: там открываем мы бесконечную сыпучесть звука, всегда сыпучего, всегда четкого и сухого в малейших своих элементах. Таинственная, бесконечная поверхность моря бесконечна и по содержанию своему, по своему звуку, как бесконечна она и по зернистости, тончайшей зернистости своего свечения. Ропот моря — оркестр бесконечного множества инструментов. Есть один звук, родственный ему по содержательности и тоже возникающий в рождающих недрах бытия. Это — узор нагоняющих и перегоняющих друг друга ритмов, когда падают капли — тоже капли — в пещерах, где сочится со сводов и стен вода. И там — в ритмах — слышны еще и еще ритмы, и тоже до бесконечности. Они бьются, как бесчисленные маятники, устанавливающие время всей мировой жизни, разные времена и разные пульсы бесчисленных живых существ. И, когда войдешь в мастерскую часовщика, то там опять слышен похожий шум от множества маятников, тоже родимый, тоже напоминающий земные недра и глубь морскую.

**Пристань.** По-другому, зазывнее, ближе, но таинственнее и притягательнее, втягивала эта глубь мое существо на пристани. Большие деревянные сваи и балки, вбитые в морское дно, словно иссечены таинственными иероглифами — выходами червей древооточцев. А я хорошо помнил, именно в таких отверстиях живут неведомые существа, бука, о чем мне как-то нянька, когда я весь ушел в рассматривание темного хода в балконном столбе, так и сказала: «Здесь живет бука», — в ответ на мои чересчур настойчивые вопросы. Я отлично понимал, уже тогда понимал, что истину откроет мне лишь простой человек, и, узнав ее от няньки, сразу внутренне согласился, что это именно так, но, разумеется, чтобы не входить в лишние разговоры, скрыл от родителей свое открытие и только многозначительно молчал, когда мне говорили о червях. Так тут, на пристани, этих бук было без числа, и притом уже не скрывающихся и написавших на сваях весьма таинствен-

ные письмена. На этих сваях были настланы толстые доски, а между ними оставались широкие щели. Доски всегда чисты, как вообще всегда чисто все, что имеет отношение к морскому делу. Всегда стирается с них омертвевший, сгнивший и дряблый слой, но кое-где пролита смола, нефть, деготь. Пахнет дегтем, смолами, морем и разными экзотическими товарами, тюки которых сложены тут же. Рассыпаны странные коренья — марена, куркума, какие-то еще. В разных местах сложены целыми башнями — по тогдашней оценке — толстые-претолстые канаты, бодро пахнущие дегтем и смолою, — словно катушки великанов. Сквозь щели настилки видна под ногами темно-зеленая лоснящаяся вода, поверхность невозмущаемая, медлительно и лениво колыхаемая, маслянистая, и по ней — маслянистые, еле приметные движения, образующие крупную скользящую сетку зеленых змеек. Что такое эти золотисто-зеленые змейки? Откуда они? Этот вопрос всегда держался в моей голове, и, Боже мой, сколько-я о нем думал! Много раз я задавал его вслух, но получал недоумевающий ответ, что это только кажется, — от движения воды. Но ответ меня глубоко не удовлетворял. Я чувствовал, что не понят самый вопрос, что на мой вопрос недоумевают. А не понят потому, что не увидено то, что я видел. Я же видел змей, игравших на поверхности, переливавших изумрудом и хризолитом, чарующе прекрасных и ласковых, добрых ласковых змеек, которым хочется вступить в общение со мною. Я видел их, я чувствовал их и знал, что они — ласковые, добрые и красивые змейки. Мне хотелось лишь получить подтверждение своему, услышать в подробностях, узнать, как ближе сойтись с ними, как их потрогать, поцеловать их и с ними объясниться. А мне просто отрицали их существование, да и не их только, но и вообще существование чего бы то ни было особенного, что я видел в игре воды. И тогда я надолго затаивал свой вопрос и то, что я видел, в себе самом. Потом, через некоторое время, я снова задавал его; но опять — то же непонимание. Нужный мне ответ о милых зеленых змейках и подтверждение своему знакомству с ними я услышал лишь значительно позже, уже студентом, от студента Ансельмуса в «Золотом горшке» Гофмана <sup>6</sup>.

Тут, у пристани, вода была особенно таинственна. Прозрачная, насыщенно-зеленая, как огромный изумруд; и вся светилась, напоенная светом, ядовитым и полным угрозы, но преисполненная и творческих сил. Медлительно по ее маслянистой поверхности скользили лоснящиеся,

еле видные волны, лениво ластясь к сваям пристани и к борту парохода. Раскинув свою чашечку и щупальца, в воде нежились большие и малые медузы. Медленно проплывали, колыхаясь и покачиваясь в изумрудной влаге, их опалесцирующие голубоватым светом тела. Проплывали стаи мелких рыбешек, и изредка виднелся в глуби силуэт рыбы побольше. Кое-где поверхность воды переливала радужными нефтяными пятнами. С парохода выносили тюки, из которых сыпались таинственные корни или семена; тащили клетки с попугаями, грозди бананов, кокосы, мешки американских треугольных орехов, земляных фисташек. Слышались всевозможные языки и говоры. На пристани можно было видеть людей самых различных национальностей — греки, турки, армяне, грузины, французы, англичане, бельгийцы, немцы, итальянцы и т. д. и т. д., даже негры, колония которых расположилась невдалеке от Батума,— кого тут не было! И все — в особых одеждах. Все было необычно,— все: и запахи, и звуки, и цвета — поддерживало одно другое, возбуждая чувство таинственного. И главное — всего много, много, много... Конца нет производительной мощи природы. И все это «много» приносится вот этой прозрачной, зеленой, флюоресцирующей поверхностью моря. В глубине его таятся бесчисленные жизни, странные и вместе прекрасные животные и растения, из которых каждая внутренне связана со мною, внутренне соотносится с моею личною жизнью, посылает в нее истечения своего бытия и признает в ней за равного среди равных, за члена бесконечного царства таинственной, мерцающей флюоресцирующим светом жизни.

Отец рассказывал нам о путешествиях по далеким странам и, кажется, сам увлекался картинами экзотической или далеко-северной природы. Рассказывала и тетя. Влажный, соленый и смолистый воздух вместе с манящими в даль рассказами обращали все внимание, всю душу к пароходам и счастливым людям, плывущим по хребту моря в далекие страны, где высятся упругие пальмы, обремененные кокосами и финиками; где раскачиваются на ветвях необыкновенных деревьев красные и зеленые попугаи, и щелкают таинственные, трехгранные и темные, американские орехи, и говорят, конечно, по-русски, странные изречения, полные таинственного смысла; где порхают по огромным ярким и благоуханным цветам милые колибри; где жирафы тянутся своими шеями выше самых высоких деревьев, где растут гигантские раффлезии Арнольди и плавают на во-



дах, как подушки, в полтора, два аршина поперечником пышные виктории регии, на которые мне так хотелось сесть и полежать. Широколистные бананы ломаются под тяжестью гроздьев. Пестрые и таинственные орхидеи восседают, как птицы, на суках дерев, спуская свои корни, подобные белым жирным червям. Обезьянки лакомятся бананами и швыряют шкурки в неуклюжих слонов. Пряные и теплые дунувания веют меж густых лиан: это бесчисленные благовонные деревья — гвоздичные, кардамонные, мускатные, бадьяновые, — я считал, что бадьян дерево, — и вьющиеся плети ванили растворяются в воздухе и наполняют его своими запахами. Самое слово **ароматы** казалось таким полнозвучным и многозначительным. Огромные колючие кактусы цветут белыми и красными венчиками.

А все эти звуки и запахи — на фоне прибое синего-синего моря, жемчужными волнами набегающего на золотые пески плоского берега. В море же цветут чудные кораллы, плавают диковинные рыбы, ползают чудовищные лангусты и крабы. Конечно, тут же, но несколько поодаль, в тени сознания, как не очень-то приятное, — и киты, и кашалоты, и акулы, и в особенности рыба-молот, и рыба-пила, и нарвал. Тут, у нас в Батуме, все затаило в себе таинственную свою сущность; там же, в далеких заморских странах, она выступает в подавляющем блеске и величии.

И все это бесконечное богатство красок, цветов, запахов, заставлявшее цепенеть мой ум и спиравшее дух волнением, — вся эта полнота производится морем. Весь этот заморский мир представлялся в моем воображении как бы выросшим, как бы поднявшимся из синего, глубоко синего моря, этот мир омывающего и его питающего.

// Там, под лучами жгущего солнца, море откровеннее, там оно показывает свои приливы и отливы, увидеть которые хотелось мне почти до тошноты, до сердцебиения. Там по морю несутся водяные столбы — смерчи, там встают волны высокие, в пятиэтажные дома. Но ведь и здесь — это то же самое море, но скрывающее свои силы и свою жизнь в тайне своих волн.

Я прислушивался к волнам. Истотно набегают, как вести далеких стран из неизвестности, волны — одна, другая, третья... Но потом неожиданно волна сильнее и, когда купаешься, — может сбить с ног. Потом — опять волны, ленивые, ластящиеся, несколько их, а то — опять сильнее. Я спрашивал, почему волны не одинаковые. Мне что-то отвечали, что — не помню. Но я и без ответа знал, почему:

1920.

VI.22

Понед  
[ельник]

когда кто раздражен и сдерживается, то говорит как будто спокойно, но неожиданно напрет на какое-нибудь слово, и раздражение обнаружится. Так и море. Оно хочет скрыть свою мощь, но время от времени проговаривается сильной волною.

Лежа на прогретых солнцем гальке и гравии, я часами смотрел на море. Его бороздили полосы сине-стальные, поверхность его не была однородна. Отчего же эти полосы и пятна? Мгновенно менялся цвет моря, лишь только набегало на солнце малейшее облачка: море нахмуривалось, явно недовольное. На морской поверхности вспыхивали, как золотые рыбки, искорки — разве можно было усумниться, что в море что-то происходит значительное? Мне, на вопросы мои, старшие что-то объясняли, но эти объяснения шли мимо вопросов, и я даже не считал нужным их оспаривать: старшие так любили меня и так мало, казалось мне, понимают истинный смысл моих вопросов. Всякий вопрос ведь уже предполагал некоторый ответ или, по крайней мере, некоторое направление ответа. Но объяснения взрослых не считались с этим смыслом и просто не признавали того, что, собственно, и составляло мой вопрос: они уничтожали вопрос, мой основной вопрос о жизни Моря.

Да, я видел, я ощущал, что море живет, и жизнь его я принимал как первичный факт, не нуждающийся в дальнейшем объяснении, — я принимал ее наравне с самоощущением собственной моей жизни. Когда же я спрашивал «почему?» о зеленых змейках, о переменчивости цвета морской поверхности, о ломающемся ритме прибоя, об обточенных морем палках и о множестве других подобных явлений, то я, во-первых, хотел получить подтверждение тому, что знал и сам в самой основе, — что море живет, что оно живое и таинственное существо; мне хотелось от окружающих услышать то же, некое аминь своему опыту. А во-вторых, уже по общему признанию этого факта, я добивался подробностей о смысле отдельных явлений его жизни, о вспышках света, об улыбках и угрозах моря. Мне отвечали в том духе, что привлекающего меня явления, как живого, собственно нет: это явление взрослые делали чем-то случайным и внешним, зависящим от случайных и внешних причин.

Мне отвечали, что это «просто отражение света», «просто течение на поверхности», «просто волны» и т. д. Мне хотелось углубиться в жизнь моря, которая, повторяю, была для меня фактом; мною доискивались те тайные силы

внутренней жизни, которыми производится данное явление. А взрослые вытаскивали явление на поверхность, говорили, что оно очень просто и внешне. «Мне лучше знать, что оно не просто, что неспроста оно. В этом-то я не раз убежусь. А я прошу сказать, какое место занимает это не простое среди различных частных первичного факта, тоже не простого».

Переводя тогдашние свои мысли на язык более поздний,— а я знаю, что верно передаю суть моих ощущений и смутных дум,— я сказал бы примером: «Я вижу человека; его жизнь для меня факт. Так вот, не отрицая этого факта, объясните, почему он, словно без причины, улыбнулся, а сейчас вот насунился. Объясните, какие впечатления или мысли вызвали игру его лица?» Мне же в ответ: «Это у него сократились такие-то и такие-то мышцы, ибо прошел по таким-то и таким-то нервным путям соответственный импульс»,— примерно так. Но ведь это разве был бы ответ на мой вопрос, ответ, которым отрицался бы самый вопрос о смысле явления: ведь я не сомневаюсь, что улыбка этого человека выразила какое-то внутреннее движение. Так-то вот воспринимались мною и ответы взрослых о смысле тех или иных явлений в жизни Моря. Конечно, я оставался при своем и сам старался вчувствоваться в эти явления. Часами вслушивался в сложные ритмы прибоя, в игру блесков и цветов морской поверхности. В особенности же меня занимала морская пена. Что это за белая сетка непрерывно возникает на поверхности моря, чтобы снова растаять? Неужели она не живет? Она мне казалась огромным существом, плавающим на морской поверхности, и хотелось поймать это существо и рассмотреть его ближе. Но оно не давалось в руки, а на ладони оставались лишь какие-то незанимательные воздушные пузырьки. Пена, как и медузы, не поддавалась исследованию и могла существовать лишь в своей собственной стихии. Не научало ли это думать, что много есть явлений и существ, которые обратятся в ничто, извлеченные исследователем из своей жизненной среды, но что это не свидетельствует о их несуществовании. Вот, например, сны. Они видятся, пока спишь, и исчезают при пробуждении. Но разве это значит, что их нет? Не вернее ли сказать, они исчезают, вытасканные в бодрствование, как тают медузы и пена на воздухе.

Гостиница «Франция». Венецианские лавочки. Посещения пристани связались в моей памяти с креветками. Обычно после пристани папа заводил нас

в набережную гостиницу, лучшую в городе; ее держал один француз и дал ей сладостное слуху моему имя «Франция». «Гостиница «Франция» — «Отель де Франс» — значилось на вывеске. Мне казалось, Франция есть предел утонченности и культурной остроты; во Франции все элегантно, все выдержано, и значительнее языка французского быть ничего не может, в противоположность немецкому, который я презирал, и Германии, о которой слышать не хотел. Мещанство, безвкусица, педантизм, чудачество, скудость и скопидомство — Германия в моем сознании состояла только из этого. Правда, с ранних лет я знал, и знал, и говорил наизусть «Фауста» по переводу Вронченки<sup>7</sup>, а имена и музыка немецких классиков постоянно звучали в моих мыслях. Об этом, впрочем, после. Но этих явлений я не соотносил с Германией и считал их просто человеческими. Культура же — это Франция. И потому гостиница «Франция», хоть и не самая Франция, а лишь гостиница, тоже казалась чем-то достойным признания: тут много значило ощущение реальности имен и вера в имена.

Перед этой гостиницей, на широчайшей асфальтовой террасе, под парусиновым навесом, среди кадок с апельсиновыми деревьями и ящиков с вьющимися растениями, стояли столики, прямо на улице. Мы присаживались туда, а папа заказывал нам наших неизменно любимых креветок. Иногда мы брали их с собою домой в бумажных фунтиках, конечно, особо мне и особо Люсе. Главное ее удовольствие было — бесчинство, которого ни за что не допускала мама, но поощрял папа, — есть на улице. Это было так занимательно, в виду пристани и моря, грызть маленьких рачков, пахнувших тем же морем. Бесчинство наше, впрочем, было очень невинное, потому что Батум был не многим больше приличного села, а ходить по его улицам в те давние времена не очень много разнилось от загородной прогулки и пикника.

Иногда мы шли далее по той же набережной и, дойдя до конца ее, сворачивали в узенький переулок направо, а потом налево. Это был турецкий квартал. Тут стояли рыбацкие кабачки, лепились маленькие лавчонки в еле вмещающих пару посетителей будочках. На улице, вытянув длинные ноги, сидели на маленьких камушках аджарцы, турки и греки, играли в нарды или флегматично тянули кальян. Весь квартал считался опасным, потому что в те времена был населен контрабандистами. Но он был крайне своеобразен и прочно врезался в мою память. Кажется,

и папа ходил сюда не совсем без опаски. Говорят, тут грабили средь бела дня, и ходить сюда в Батуме не рекомендовалось. Но зато тут была лавочка, цель наших стремлений, и в эту-то лавочку давнишними знакомыми входили мы. Ее содержал огрубевший на воздухе и покоричневевший не то венецианец, не то грек. Он торговал нитками красных кораллов, разными розово- и красно-коралловыми вещами, раковинами, венецианскими бусами и заодно — толстейшими канатами, пропитанными дегтем, веревками, бечевками, рыболовными принадлежностями. Лавочка была сказочно хороша. Наскоро сколоченная из еле обтесанных досок, залитых дегтем, маленькая, так что там не пошевелиться, вся пропахшая густым смолистым запахом и морем, водорослями и морскими продуктами, она в этой грубой скорлупе содержала столько прекрасных таинственных вещей — как занозистая раковина жемчужины. Впрочем, в этой лавочке и в самом деле имелись жемчужины. Кораллы манили меня яркостью своего отвлеченного цвета и странностью угловатых очертаний — словно натеки парафина на елочной красной свечке, говорили мы тогда с сестрой, и это сближение кораллов с елкой делало их особенно заманчивыми. В них чувствовалась таинственная жизнь и своя магия; я не любил красного цвета, но этому, по своей отвлеченности не липкому, не мог противиться. Продавец, — наверное, он был контрабандистом, — вытаскивал из-под прилавка, где были разложены вяленая и копченая рыба, огромные тридакны, и я вспоминал, что тридакна даже орла может захватить в свои тиски и он не вырвется, погибая с морским приливом. Ветвистые белые кораллы казались морскими растениями; хотя я знал, что это жилище мелких животных, но в душе не очень-то верил этому. Так прилично говорить, думалось мне, когда говоришь со взрослыми; как и многие другие естественнонаучные объяснения, мне казалось и это родом условной обходительности, эвфемизмом, чтобы не касаться тайн, а на самом деле не соответствующим делу.

Но лучше всего были венецианские бусы. // Они были все ручной работы. С тех пор как помню себя, я с безошибочно отчетливостью, сразу, почти не смотря, различал ручное производство от машинного. И хотя машины и их продукция весьма занимали мой ум, но непосредственно, не то эстетически, не то более нутром, машинные вещи мною презирались: весь мир был в моем восприятии пронизан разлитую в нем жизнью, его организующею, весь мир имел

1920.  
VI.24

в себе внутреннюю игру глубины, а машинные вещи казались бездушными, плоскими какими-то, ничуть не таинственными, насквозь понятными и имели вид совершенно по Миллю и Бэну <sup>8</sup>.

В произведении руки человеческой, каково бы оно ни было, в самом грубом, всегда есть таинственное мерцание жизни, как непосредственно чувствуется это мерцание в какой-нибудь раковине, камне, обточенном морскими волнами, в слоистости агата или сердолика, в тончайших сплетениях жилок листа. Машинная же вещь не мерцает, а блещит, лоснится мертво и нагло. И напрасно было бы думать, что дети этой разницы не подмечают; нет, они чувствуют ее в возрасте уже самом раннем. Что касается до меня, то в моем опыте была линия разделения между ручным и машинным даже более глубокая, нежели впоследствии. Она была предельно разграничительная, как между да и нет, как между белым и черным. Так я привык думать с чувством полной уверенности с детства. Ясно помню, хотя и не всегда умел отчетливо сказать, но непосредственно, почти физиологически, — как состояние своего тела, — ощущал я с полной живостью качественную разницу ручного и машинного. Впоследствии на этом чувстве ручного появилась склонность к Рёскину <sup>9</sup>, но, занятый физикой и математикой, я узнал о Рёскине очень поздно, когда уже произошел во мне важнейший духовный кризис, о котором будет речь далее. А теперь обращаюсь к венецианским бусам. Они были предельно правдивы и потому прекрасны; каждая являла именно то, что есть она в своей первичной сути, обработка же служила только к обнаружению этой сути, — была разоблачением, а не облачением сути. Каждая из бус дышала жизнью и сливалась со всей природой, в своем роде превосходя природу. Одни из пасты, четырехугольными брусочками, кубиками, а круглые или уплощенные — с вкраплениями пасты других цветов. Любо было, что они не окрашены, что поверхности их не придан особый вид, но что материал их виден в них подлинным. Любы и формы их, в очертаниях своих не имевшие ничего механически правильного, целестремительные — все, подходящие к известному типу постольку и в той мере, постольку и в какой мере это требуется самим делом; у этих бус не было механически острых ребер, механически прямых линий, механически тождественных рисунков. Бусы давали почувствовать формующую их руку, были непосредственными запечатлениями творческой силы. И потому

их хотелось трогать рукою, осязать и концами пальцев, и ладонью, хотелось подбрасывать на руке, хотелось пососать во рту.

Другие бусы были стеклянные, преимущественно темно-зеленые и темно-синие. И о них хочется сказать тоже. Их цвет воспринимался именно как цвет стеклянной массы, как существенное свойство материала, — не как что-то украшающее внешне, произвольно и случайно. Их неполированная поверхность с естественно образовавшимися параллельными неровностями в виде тончайших штрихов их внутренние, параллельные этим штрихам неровности цвета проявляли глубочайшее строение самого вещества бус; так и чувствовалось, как размягченное стеклянное тесто вязко тянулось при изготовлении этих бус, как действовали силы поверхностного натяжения, придавая полужидкой массе свою форму, — вообще чувствовалась запечатлевшаяся борьба и взаимодействие сил, бусы образовавших.

Эти бусы запечатлелись в сознании как застывшие первоначала, как разоблаченная бесхитростным ремесленником глубокая правда вещества. Мне было ясно: бусы менее искусственны, нежели случайные куски вещества, ибо искусство тут вело не к сокрытию, а к раскрытию воли самого материала, помогло ему сделаться тем, что он сам хотел, тогда как машина насилует эту волю. Через эти бусы, посредством их, вещество мира научило любить себя и любоваться собою. И я полюбил его — не материю физиков, не элементы химии, не протоплазму биологии, а самое вещество, с его правдою и его красотою, с его нравственностью. Я чувствовал с трепетом, что бусы этого венецианца-контрабандиста не красивы, а воистину прекрасны, как вообще прекрасна усмотренная глубина бытия, как прекрасно все подлинное. Они были в моем детском сознании ноуменальны. И этот ноумен бус сливался с ноуменом моря, напоминая его камешки, его раковины, его то синюю, то сине-зеленую и зеленую воду. И теперь я спрашиваю себя: не это ли ощущение моря полуморскими насельниками Венеции внушило им искусство этих бус, таких родственных произведениям моря?

Изобилие. Я любил море за его тайну — тайну его наполняющего всю массу цвета, тайну его влекущего запаха и шума, тайну его горько-соленой воды, столь поразительно похожей на слезы, тайну странных существ, живущих в нем. Была внутренняя близость между ним и мною. Главное же, оно не подавляло изобилием. Тот, заморский,

мир был и запредельным, он казался почти неземным. А в самом море, тут же у берега, не было чрезмерной производительности, и, скорее, его следовало бы назвать с Гомером «бесплодным». Качественно полное, оно не подавляло количеством своих дел. Я видел его творческую мощь, но сдержанная мощь эта была лишь возможностью, и не томила дух. Но береговая производительность стран тропических и тут, на побережье Черноморском, имела свои отличия.

### 〈III〉. ПРИРОДА

1923.IV.8. У меня была нежная и горячая любовь к родным, собственно и преимущественно к старшим. Точнее сказать, нежная любовь и род влюбленности направлялись на тетю Юлю. Хотя и старшая меня, она по складу своего характера откликалась на многие мои чувства и, насколько я теперь могу понять, со мной жила тою жизнью, которая не нашла бы удовлетворения в среде взрослых. Это она охотно рассказывала мне трогательные истории о каком-нибудь засохшем растении или умершей птичке и, как по крайней мере мне тогда казалось, оплакивала погибших вместе со мною. Мое ощущение — то, что пред нею мне не было надобности особенно скрывать мои мысли и чувства. Правда, она их формально не поддерживала, вероятно, по просьбе родителей и из боязни огорчить отца, бывшего предметом ее жгучей и единственной любви. Но я угадывал ее сочувствие и внутренне считал ее за единомышленницу. Сестры матери впоследствии мне говорили, что тетя Юля была сентиментальна. Но я хорошо знаю, что они имеют в виду, и знаю, как это неверно. Между тетей Юлей и другими тетками, несмотря на дружественные отношения, не могло быть настоящего понимания. Мне это ясно всем нутром. Им чужда природа, хотя они и привыкли жить в роскошных садах, им не интересен Кавказ, хотя корни их — там; в них — старость и вместе духовная одряхлелость прежних культур, достигнутая элементарность интересов, в каких-то веках далекими поколениями скопившаяся усталость ото всего возвышенного, полусознательное, в крови заложенное разочарование в героическом, пренебрежение стариков к широким планам юности. Это какая-то бескрылость, но, впрочем, до того случая, когда нужно проявить настоящую решимость и настоящий подвиг; тут



они все, знаю примеры, оказывались твердыми и делали свой долг, как нечто само собою разумеющееся. // Все они <sup>1923.</sup> добры, приветливы, стараются окружить теплотой и вниманием и умеют это делать. Однако это — именно теплота, в ней что-то слепое. Действие ее иссякает почти тут же, за пределами небольшого пространства, в ней нет звонкости, нет света. Когда из такого теплого гнезда видишь далекие горы, сверкающие на солнце, тогда не оторваться от этой теплоты. Но если гнездо, ради большего удобства, закрыто со всех сторон, тогда во имя света взбунтуешься против этого уюта. Тетя Юля понимала это влечение к свету.. Может быть, если бы она дожила до более поздних моих лет, она перестала бы понимать мои желания, но тогда, в детстве, мы друг другу соответствовали. Мое восприятие природы ею как-то одобрялось. И мое чувство к тете, вероятно, имело в себе сходство с тем ощущением, что отсутствуют какие-либо разделяющие преграды и происходит взаимная диффузия личности, которая бывает при разделяемой и весьма одухотворенной влюбленности у взрослых.

Но, впрочем, я пишу что-то не о том, о чем хотел писать, даже как будто прямо противоположное.

Я позволял любить себя отцу, испытывал полумистическое благоговение, с чувством какой-то несоизмеримости, что ли, пред матерью, имел приязнь к теткам и вообще ко многим людям, любил же, нежно и страстно, лишь тетю Юлю, однако и ее — не как ее, т. е. без внутренней мотивированности, а за ее отношение к природе. Мне странно думать сейчас, а тем более писать, что в такой насыщенной взаимным признанием и взаимною любовью семье, как наша, такой впечатлительный и нежный, слишком даже нежный, каким я был, я, в сущности, может быть, никого не любил, т. е. любил, но любил Одну. Этой единственной возлюбленной была Природа.

Может быть, мне повредили в детстве люди. Уж слишком у нас в доме было сплошное тепло, сплошная ласка, а главное, сплошная порядочность и чистоплотность. Тут все подобралось одно к одному. Никогда ни одного пошловатого слова, ни одного приниженного интереса, никакого проявления эгоизма; всегдашняя взаимная предупредительность всех друг к другу при широкой, активной доброте отца в отношении окружающих, посторонних. А со стороны окружающих — признание, уважение, почти благоговение к отцу, ко всей семье. Посторонние мне говорили

о благородстве, о великодушии, о щедрости, об уме, о честности отца. Няньки на бульваре нередко поднимали оживленный спор, чья барыня в городе красивее и лучше, и, после обсуждения всех кандидаток, первенство красоты и всех достоинств утверждалось хором нянек неизменно за барыней Флоренской. У папы нередко срывалось искреннее восхищение пред тетей Лизой, в частности пред самодеятельным размахом ее характера и пред редкою красотой ее глаз, а в его поддразниваниях тети Сони, тогда еще совсем девочки, опять чувствовалось одобрение. Наудачу указаны здесь некоторые из элементов этой доброкачественности. На самом деле все было пропитано этим, или я так воспринимал это, в данном случае то и другое не составляет разницы. Но если бы и никто ничего не говорил в этом направлении нам, детям, не могли же мы не видеть особого отношения прислуги, особого признания знакомых, подчиненных, сослуживцев. Мне кажется, характер папы не был особенно легким, и времена мрачности в нем сменялись веселостью и оживлением. Как мне кажется, он мог сказать и говорил как в ту, так и в другую полосу что-нибудь резкое, слишком правдивое, иногда дразнительное. Но признание его было настолько велико, что никогда из-за подобных излишеств в слове не происходило ссор, неприятностей, то же, в своем роде, относительно матери. Горделиво застенчивая и охваченная нравственной чистоплотностью до нелюдимства, она еле-еле выполняла обычные светские требования, в гостях почти не бывала, визиты отдавала так, что почти как не отдавала, словом, несмотря на светскую воспитанность, шла в жизни по острию. И все же разрывов, обид и ссор, которые естественно должны были возникнуть, тут не выходило, — несомненно силою личного признания.

Мы всё это видели. Отрицательных же свойств жизни других людей мы не только не видели, но и подозревать о них не могли. В нашем доме самый отдаленный намек не только что на сплетни и пересуды, но даже на сообщение вполне невинных новостей о чужих делах услышать было невозможно, — что я говорю — услышать, несомненно, подумать никто ничего такого не мог. Опять повторяю, неважно, насколько правильно освещено здесь строение нашей семьи, а важно, что я-то, во всяком случае, воспринимал его так. Может быть, взрослые, оставаясь одни вечером и весело смеясь чему-то, причем особенно развеселялся папа, может быть, они говорили и что-нибудь в ином роде. Но до нас, до

меня это не доходило. Даже ряд слов, около которых обычно выкристаллизовываются пересуды, был решительно исключен из домашнего словаря: служба, начальство, ордена, награды, губернаторы и министры, деньги, жалованье, женихи и невесты, мужья и жены, рождения и смерти, похороны и свадьбы, священники и всякие богословские термины, евреи и различные щекотливые национальные вопросы и т. д., и т. д., — всего и не перечислишь, — эти понятия, наравне со многими другими, были, по крайней мере, в моем детском сознании, табуированы. Никто формально не запрещал нам употреблять подобные слова и обсуждать соответственные понятия — кроме только двух: деньги и жалованье, почитавшихся безусловно неприличными. Но и без такого запрета я из каких-то неуловимых семейных токов почувствовал с самых проблесков своего сознания полуприличность одних из этих слов и неприличность других. У детей есть абсолютно верный инстинкт, собачье чутье для расценки приличного и неприличного. Между плохим и хорошим нет глубокой разницы, и сделать плохое — это, конечно, нехорошо, потому что огорчит родителей; но, в сущности, — почему бы и не сделать его. А вот неприличное и приличное — это деление абсолютное, и сделать неприличное — хуже чем умереть. А еще хуже, чем сделать неприличное, — сказать его. Плохое дело, плохая речь, неприличный поступок, неприличное слово — такова градация недопустимого; хуже неприличного слова, стыднее, уничтожающее, бесповоротнее — ничего не может быть, кроме одного: мысли о нем. В ночной темноте, закрывшись с головою одеялом, — и то не осмелишься подумать таковое, иначе будешь раздавлен каким-то нарушенным категорическим императивом, сгоришь и умрешь от стыда, даже мысль о том, что можешь нечаянно подумать такое слово, — приводит в полное содрогание и на мгновение останавливает всякую жизнь.

Но, повторяю, неприличное — это не то чтобы плохое и не какое-либо особенное; у него, у этого неприличного, нет таких внешних признаков, чтобы по ним определить его неприличность и объяснить ее. Скорее всего, оно сродни мистическим понятиям, оно — табу; и только верхним чутьем я постигал, что табу и что не табу, но, конечно, никакие силы в мире не подвинули бы спросить взрослых, что прилично и что неприлично и почему это так. Правда, во мне с раннейшего детства

были чрезвычайная застенчивость и еще большая стыдливость. Но я хорошо помню, это чувство неприличия оценивалось мною не как моя застенчивость, стыдливость, вообще не как мое личное свойство, а как правое и должное чувство, именно так, как обычно говорят о совести. Малейшее нарушение этого словесного табу, малейшее приоткрытие запретной области мною внутренне сурово осуждалось, ибо казалось бесстыдством, обнажением, хамством, если употребить это слово в его исходном значении. Бытие в основе таинственно и не хочет, чтобы тайны его обнажались словом. Очень тонка та поверхность жизни, о которой праведно и дозволено говорить; остальному же, корням жизни, может быть, самому главному, приличествует подземный мрак. Правда, влечет познать его, но это надлежит делать именно поглядывая, а не нагло рассматривая пристальным взглядом, — доходить до неведомого «каким-то незаконнорожденным рассуждением», как говорил о познании первичного мрака материи Платон<sup>1</sup>, но никак не внятными, да еще вдобавок сообщая, силлогизмами. Вот смысл моих тогдашних ощущений приличного и неприличного. Я хорошо помню, он был именно таков, хотя я не мог бы сказать тогда этими словами, и мне кажется, это не индивидуально случайное мое чувство и не произвольно субъективный круг слов — табу, установившийся в моем сознании, а что-то несравненно более общечеловеческое. Мне кажется еще, не эти ли же слова табуируются у дикарей, психологию которых и по сей день я чувствую родною себе?

Во всяком случае, в нашей семье были какие-то объективные поводы, может быть не вполне сознаваемые и самими родителями, к установлению таких табу. Два-то рода мотивов тут были во всяком случае: один — нравственная pruderie<sup>2</sup>, а другой — такое же, как у меня, ощущение тайн жизни, в особенности жизни семьи, и инстинктивная боязнь огрубить эти тайны, облекши их в слова и дозволив разговор о них. Но как бы ни было, в моем сознании строй семейной жизни был изысканен. И ничего другого я не знал.

Детское сознание привыкло к этой изысканности, раз навсегда приняло ее, но приняло как нечто подразумеваемое, естественное. Иначе и быть не может. Отношения личные не могут быть иными, как ласковыми и вежливыми, внешние отношения — бескорыстными, честными и т. д. Люди вообще не могут быть иными, как воспитанными,

немелочными, знающими. Ложь, даже оттенок неправды, невозможна и т. д. и т. д. Никто не может сказать слова грубого, обнаженного, неприличного. Вообще, весь мир построен, как и наш островной рай. Правда, боковым слухом я откуда-то узнавал, что случаются нарушения райской тишины. Но такие нарушения мне не представлялись даже неприличными. Они были слишком далеки от наглядно воспринимаемого, и если я интересовался ими, правда очень слабо, то в порядке естественнонаучном: так взрослые могут интересоваться сиаемскими близнецами или, скорее, боа конструктором<sup>3</sup>. Человек невоспитанный, позволяющий себе заговаривать о жаловании или не отвечающий в любой час дня и ночи на геологические или астрономические вопросы своего сына, представлялся мне вроде Джэка-потрошителя или преступников, которым убить — все равно, что выпить стакан чаю. Таких людей, если бы кто о них мне сказал, я бы и осуждать не стал, как нечеловеков, хотя и в человеческом образе. Грубое обращение, пресловутые мачехи, невнимательные отцы — право, о них я вовсе не думал, а когда детская беллетристика заговаривала о них, я относился к этим мифическим образам с гораздо меньшим чувством реальности, чем большинство взрослых к шайтанам арабских сказок.

Все, что может быть неблагоприятного, невоспитанного, нравственно нечуткого, грубого в слове и в действиях, стало для меня как раз тем, что педагоги желают сделать для ребенка мир мистической фауны, т. е. ничем, практически ничем, словами и образами, лишенными какой бы то ни было реальности. Есть же, просто есть, само собою подразумевается именно то, что окружает меня, чего не быть крутом меня не может,— эти люди, эти отношения.

Я был привязан к этому бытию и к этим людям органически, как к своему телу, и отдаление от них,— разумею пространственное расстояние,— вызывало ощущение почти телесной болезненности, растяжение каких-то органических связей с ними. Это чувство, вероятно, правильнее всего сравнить с тем, как когда сильно тянут за руку: очень неприятно, но это не имеет ни малейшего отношения к нравственному чувству. Мое чувство своего тела так естественно присуще мне, что я замечаю его, лишь когда оно терпит ущерб. Я не благодарен своему телу за всю его жизненную службу, за его труды, его страдания, его старания, когда оно выполняет мою волю; но малейшее недомогание его, слабость, боль, собственные

его потребности всегда возбуждают во мне и во всех досаду, недовольство, возмущение. Никто из нас не думает, что, коль скоро он не абсолютно отождествляет себя со своим телом и ставит себя в каком-то смысле выше тела, он и несет нравственную обязанность к этому своему слуге, помощнику, вообще чему-то реальному и живому, а не бездушной машине. Так вот, полное нравственное благополучие нашего уединенного острова воспитало во мне подобное описанному отношению к людям. Хорошие люди, воспитанность, деликатность, всяческая порядочность, ум и т. д. и т. д.— это подразумевается, об этом нечего говорить, нечего это и замечать, даже чудовищно, хотя бы в самом себе, сказать о человеке, что он такой-то, в хорошем смысле, как никто не констатирует, что глаза у человека именно два, а голова — одна. Но вот противное — оно не может не быть замеченным. Однако такой, о ком замечено, — это ведь уж почти что не человек, и внутренне считаться с ним было бы нелепым и претящим.

Итак, с одними почти не считаешься, потому что они подразумеваются, а с другими считаться, по меньшей мере, странно. И я, в теплом гнезде наилучших — так, по крайней мере, оценивал их — людей, пронизанный любовью и нежной заботой о себе, оказываюсь предельно одиноким; только тетя Юля, с ее глухим страданием и с характером менее величественным, чем у отца и матери, протягивает мне нитку к Человеку.

Я не знаю, как объяснить свою мысль. Потом, в совсем другом смысле, уже не в отношении к семье, я расскажу о несколько родственном состоянии, от которого я оторвался с большою потерей крови: назову его несколько приблизительно **фарисейством**. А то, что мне хочется сказать о семье нашей, так названо быть не может. Кроме того, это и не самодовольство, и не американская здоровость и сытость, и, наконец, менее всего сектантское чувство праведности. Все это совсем не то. Но в нашей семье не было бы места Достоевскому. Он со своей истерикою у нас осекал бы, в этом я уверен. Светский дом, или самодовольный дом, или безбожный дом он преодолел бы и перевернул бы все его благополучие. Но наш отнюдь не был благополучным, напротив, в основе его был фатализм и чувство обреченности всего прекрасного. Именно поэтому-то хаосу был раз и навсегда прегражден доступ на этот остров: его можно было разрушить, но — не возмутить скандалом.

Формальная светскость и холод внешних отношений

были бы в нашем доме неприличны. Но не менее неприлично было бы патетическое. Рыдания, вопли, восклицания — совершенно не могу представить себе чего-нибудь такого в нашем доме. А если бы Достоевский ворвался с этим в дом, то, ясно представляю, мама сказала бы нам, детям: «Подите побегайте во дворе, Федор Михайлович болен». Потом все взрослые переглянулись бы между собою и из деликатности разошлись бы по своим комнатам. Через четверть часа папа сказал бы маме или тете: «Il faut lui donner un verre d'eau avec sucre» <sup>4</sup>, — и послали бы тетю Соню, как младшую, тоже из деликатности, с подносом, на котором был бы на блюдечке чайный — непременно граненый — стакан с сахарною водой. Тетя Соня тихо ушла бы, а через несколько минут решили бы, что теперь все кончилось, папа маме, или наоборот, сказал бы: «Pauvre homme, il est très nerveux» <sup>5</sup>, — и, делая вид, что ничего не произошло, пошли бы объявлять: «Федор Михайлович, ужин уже на столе», — причем за ужином обязательно был бы шашлык из лососины или осетрины с ломтями помидор и луку, свежая икра и вино, а после ужина папа поднес [бы] Достоевскому какую-нибудь особенную гаванскую сигару и затеял бы разговор о последней книжке «Revue des deux Mondes» <sup>6</sup>, «Deutsche Rundschau» <sup>7</sup> или же о только что полученном новом томе «Histoire Universelle par Lavis et Rambeau» <sup>8</sup>. Не сомневаюсь, что Достоевский не мог бы не почувствовать, что это ненарочно проделано, и так есть в семье, и, затаив конфуз, искренно осудил бы в себе истерику.

Так вот, Достоевскому не было места, и даже романы его, хотя и стояли в шкафу, но, открыто по крайней мере, никем не читались как что-то сомнительное — в противоположность настольным и провозглашаемым Диккенсу, Шекспиру, Гёте и Пушкину, каковые признавались вполне и насквозь приличными.

Достоевский, действительно, — истерика, и сплошная истерика сделала бы нестерпимой жизнь, и Достоевский сплошной был бы нестерпим. Но, однако, есть такие чувства и мысли, есть такие надломы и такие узлы жизненного пути, когда высказаться можно только с истерикой — или никак. Достоевский единственный, кто вполне постиг возможность предельной искренности, но без бесстыдства обнажения, и нашел способы открыться в слове другому человеку. Да, конечно, это слово будет истерикой и юродством, и оно безобразно и само собою замрет среди

благообразия, подлинного благообразия, но закупоривающего поры наиболее глубоких человеческих общений. Конечно, Достоевскому, чтобы высказаться, не годен наш дом, не годен монастырь, по крайней мере, хороший монастырь, может быть, не пригоден даже храм. Достоевскому нужен кабак, или притон, или ночлежка, или преступное сборище, по меньшей мере, вокзал, — вообще где уже уничтожено благообразие, где уже настоящее неприлично, что этой бесконечности неприличия никакое слово, никакое неблагообразие уже не увеличат. Тогда-то можно дозволенно делать недозволенное, излиться, не оскверняя мирного приюта, не оскорбляя самой атмосферы. Достоевский снова открыл, после антиномий апостола Павла <sup>9</sup>, спасительность падения и благословенность греха, не какой-нибудь под грех, по людскому осуждению, поступка, а всаомделишнего греха и подлинного падения.

Достоевскому у нас нечего было бы делать. Но это укор не только ему, но и дому. Невысказанные жили в членах семьи чувства патетические, к которым на самом деле, как к подземному ветру, втайне прислушивались все, но каждый сам за свой страх и скрывая от других. Бетховенский стук судьбы <sup>10</sup> в окно остро чувствовался, и смертельным ужасом сжималось сердце каждого из членов, начиная от отца и кончая не только нами, детьми, но и собакою, делавшеюся членом семьи. И каждый понимал, что этот стук услышан другими, но старался своим видом уверить всех прочих, что он ничего не слышал. Исключительно близкие между собою и в этой близости полагавшие цель жизни, члены семьи, именно ради этой близости, из деликатности и желания дать другим жизнь гармоничную, отделялись от близости и в самом важном, самом ответственном затаивались в себе. Я начал говорить о своем одиночестве, но, на разные лады, все были одиночками.

Но пока возвращаюсь к себе. Я не любил людей, т[о] е[сть] не испытывал враждебные чувства, а принимал хорошее, как дышат воздухом, и не удостаивал негодованием плохое, поскольку сталкивался с ним, скорее, отвлеченно, нежели жизненно. Даже к животным, млекопитающим я был довольно равнодушен — в них я чувствовал слишком близкое родство к человеку. А любил я воздух, ветер, облака, родными мне были скалы, близкими к себе духовно ощущал минералы, особенно кристаллические, любил птиц, а больше всего растения и море.

Это утверждение, конечно, нужно брать ограничитель-



но: везде бывали свои исключения, свои любимцы. Но общее направление моих привязанностей было именно таково.

Чтобы объяснить свои волнения около природы и чувства, меня пожиравшие, как яростная влюбленность, как страсть, непреодолимая и все собою захватывающая, я должен, во-первых, твердо сказать, что, пусть это кажется уродством, пусть в этом будут усматривать отсутствие нравственного чувства, но это было так, без злой воли, всею силой существа, — я не любил человека как такового и был влюблен в природу. А, во-вторых, самое царство природы делилось в моем сознании на два разряда: один — изящное, другой — особенное. Всякий предмет природы принадлежал к тому или другому классу, хотя основной характер этого класса мог быть выражен в нем с различной степенью определенности. Меня привлекали преимущественно предметы и существа либо пленительно-изящные, либо остро-особенные.

Изящное как-то соотносилось с тетей Юлей, а особенное — с мамой.

1923. IV. 10. Изящное проеивалось воздухом и светом, было легким и заветно близким. Я любил его со всею полнотою нежности, восхищаясь до стесненного дыхания, до острой жалости, почему я не могу совсем и окончательно слиться с ним, почему не могу навеки вобрать его в себя и сам войти в него.

Насколько я понимаю себя, никогда я не был истеричным и психически был крепок. Но во мне была повышенная впечатлительность, никогда не смолкавшая внутренняя вибрация всего существа от заветных впечатлений. Это почти физическое ощущение себя струною или скорее хладниевой пластинкой<sup>11</sup>, по которой природа ведет смычком: не в душе, а во всем организме, почти ухом слышимый, вибрирует высокий и упругий чистый звук, а в мыслях складываются схематические образы, ну просто — хладниевы фигуры как символы мировых явлений. Я пишу и почти уверен, что останусь непонятным. В этих словах захотят услышать сравнения и попытки на поэзию, я же хочу сказать — выдать из себя — самое трезвое, самое буквальное описание, некую физиологическую картину. Она заключалась в том, что все во мне, каждая жилка, было наполнено экстатическим звуком, который и был моим познанием мира. Этот звук, это дрожание всего внутреннего

порождало схемы, порядка скорее всего математического, и они были моими категориями познания. Не только теперь, задним числом, оценивая свои восприятия как повышенные, но и тогда я неоднократно слышал от взрослых указания в этом смысле. У меня была чрезвычайная острота зрения, и, как это нередко случается, именно вследствие чрезмерной восприимчивости глаза, мое зрение потом сильно испортилось близорукостью. Я помню, как в дали морской или на горах я видел подробности, которые окружающим были доступны только с помощью сильного морского бинокля; и взрослые нередко пользовались мною, сами не страдая недостатком зрения, как глазами или биноклем. «Павлик, посмотри, кто там едет», «Сколько человек на той лодке?», «Не видишь ли птиц над морем?» — такие приглашения и по сей день звучат мне как постоянный мотив на прогулках. Когда терялась иголка или какая-нибудь маленькая вещица среди камней, в лесу, или в комнате, обязательно отряжался на поиски тот же Павлик: «У тебя глаза хорошие». Я не помню случая, чтобы потерянное, какой-нибудь маленький винтик, крючочек и т. д., избежало моих глаз. У меня была внутренняя уверенность, что, раз что-нибудь есть, я не могу не увидеть его. Наши прогулки были для меня непрерывным наблюдением и постоянными находками. Самые мелкие растения, камешки, жучки не могли остаться вне моего зрения. Постоянно я вылавливал в лесу, из камней, на улицах перочинные ножики, монеты, разные вещицы. Конечно, тут помимо оптической, так сказать, зоркости имело много силы постоянное внимание: мой ум никогда не бывал расслабленно вялым и праздным, всем интересовался, и потому пригвождался ко всему взор. И теперь, при сильной близорукости, на улицах и на прогулках я постоянно вижу многое, чего не видят мои спутники с хорошим зрением, хотя теперь мне это видимое далеко не всегда интересно. А тогда все и всегда было занимательно предельно, т. е. так, что больше уж переполненное сознание вместить в себя не может.

Эта зоркость не была аналитическая, она не выделяла преувеличенно отдельных элементов, и главным, что видел я, была форма. Какие-то неизъяснимые наклонения во мне производили тонкие, еле уловимые от рациональных схем формы предметов. Были такие формы, относительно которых казалось, что вот какая-то несказанная волнистость в мире, чуть предчувствуемый упругий изгиб близки душе так, что живут в ней, как душа души, и что скорее от себя

самого можно оторваться, нежели эти инфлексии форм станут хотя и красивым, но внешним зрелищем. Внутренняя моя жизнь в таких формах и других подобных впечатлениях покоилась более прочно и собиралась в очаги более оплотневшие, нежели во мне самом.

Очень ярким было восприятие цветов, с тонким различием цветовых оттенков. Но вместе с тем мне помнится, что моим любимым изящным по преимуществу был цвет голубой, тогда как в зеленом, когда он утепляется желтизной, я ощущал полноту всего особенного. Этот желто-зеленый цвет был для меня чем-то вроде инфракрасного, и за пределы его мой спектр в качестве красоты и мистики уже не простирался. Конечно, я видел и различал желтый; оранжевый и красный; но эти цвета относились к области неприличной. Любить их, восхищаться ими, утлубляться в них, и даже замечать их, и говорить о них мне казалось грубым, невоспитанным, явным свидетельством дурного вкуса.

Я не думаю, чтобы причиной такого осуждения были какие-либо подслушанные суждения старших; во всяком случае, не только такие суждения имели силу. Да если бы я слушался в этом отношении старших, то в гораздо большей степени подвергся бы изгнанию цвет зеленый, относительно которого я твердо усвоил себе жизненное правило, что легче броситься в море и утонуть, нежели одеть зеленое платье. Я знал, что приличен голубой цвет и синий, полуприличен розовый и совсем недопустим зеленый. Но в природе я признавал голубой и зеленый. Что же касается до обратного конца спектра, то там я предощущал связь и символику такого рода областей, аффектов, подъемов и волнений, которые разорвали бы небесную лазурь моего непрерывного экстаза. Сторонясь от красного конца спектра, бессознательно, но не бессмысленно я оберегал свою жизнь в перевозданном Эдеме от угроз и опасностей. Не то ли же самосохранение заставило меня наложить жестокое табу на все слова и понятия, вполне невинные и даже как будто безразличные, но относительно которых я предчувствовал, смутно, но уверенно, что, спутавшись с ними, неминуемо поставишь себе и вопрос о каком-то познании добра и зла и об изгнании из рая? В самом деле, такое, например, слово, как деньги или ордена разве не приводит к вопросам о службе, служебной прозе, подчинению и унижению, к борьбе и интригам? Похороны — разве не сталкивают они со смертью, со старостью, со злом, с невыносимым страданием

разрыва? И все так, все «неприличное» припечатывает кувшин со злыми джиннами, недаром же засаженными туда премудрым царем. «Неприличное» есть знамение губительных для Эдема, разрушающих безмятежную лазурь духов природы. Пусть никто не смеет думать, будто тогда, трех, четырех, пяти, шести лет, я не понимал всего этого. И я, и всякий другой в таком возрасте бесконечно мудрее премудрого царя, и все сложнейшие жизненные отношения понимают насквозь, и, понимая,— припечатывают и предусмотрительно взбраниют вход в свою невозмутимую и безоблачную лазурь — изгородью из табу. Конечно, с годами мы все, когда-то гении и святые, грубеем, глупеем и опешиваемся. У одного раньше, у другого позже появляется безразличие: пасть или не пасть — и змей-разрушитель оценивается просто как змея, хорошо, если не как уж. Грех, греховное отпадение от этой небесной земли — ну, так что ж, сделал — и ничего особенного. И мне хорошо представляется, Адам и Ева после грехопадения тоже, вероятно, сказали друг другу: «Ничего особенного»,— сказали потому, что уже огрубели, уже утратили связь с тем Эдемом, который только что сиял перед ними неземной красотой. Но пока связь эта жива и пока зрение не померкло, панический ужас и инстинктивная брезгливость, иступленные и неуправляемые, сотрясают душу и тело возле табу, предостерегающего об опасности. Каким-то задним зрением ребенок знает не только об опасностях, сторожащих по ту сторону ограды, но самые эти опасности; существо их он знает полнее и точнее, нежели самый искушенный жизнью закоснелый грешник. Никакое падение не открывает ему ничего нового, всегда оказываясь лишь убылью жизни, но не приростом ее. Ребенок владеет абсолютно точными метафизическими формулами всех запредельностей, и, чем острее его чувство эдемской жизни, тем определеннее и ведение этих формул. Про себя я, по крайней мере, могу сказать, что вся последующая жизнь мне не открыла ничего нового, кроме одного,— о чем будет сказано ниже,— но и то — открыла не познанию, а открыла смерти, после которой я уже стал не я. Все же знание жизни было преобразовано в опыте самом раннем, и, когда сознание осветило этот опыт,— оно нашло его уже вполне сформированным, почкою, полною жизни и ждущую лишь благоприятных условий распуститься. И я, как всякий ребенок, но, может быть, с большею цепкостью, оберегал свою непорочную землю от гибели и твердо знал, что допусти хотя бы одну-две трещи-

ны в изгороди, как весь сад погибнет. Задним зрением знал я все, но мудрость жизни была именно в разделении этого знания от прямого созерцания райской Красоты. Заботы родителей и детский инстинкт поддерживали друг друга, и, может быть, потому именно я даже преувеличиваю в своей памяти работу родителей в этом смысле и переношу на них часть собственных своих усилий.

В эти мысли пришлось взойти по поводу цветов. Но к тем же мыслям поводом могли бы быть и многие другие детские переживания. Как в цветах, одна их часть, пленительная и воздушная, вызывала восторг и то ощущение, которое испытываем мы во сне, летая, тогда как другая предоценивалась в качестве ядовитого огня и гибели, так же точно и в большинстве прочих ощущений: одни впивались мною жадно, упоенно, экстатично, на других лежала печать запрета. Но здоровый организм не допускает запретному стать искусительным — он просто не замечает запретного, волит его не замечать и обходит стороною как безразличное, почти не существующее. Папа курит свои скверные сигары, а мама надевает смешной корсет и турнюр. Я понимаю насквозь, как это нелепо, и твердо убежден, что втайне так же думают и они сами, не находя ничего хорошего ни в том, ни в другом. Но на то они и взрослые, чтобы делать глупости и плохо понимать их нелепость. Я их не осуждаю, ибо снисходителен к взрослым, уже многого не понимающим. Но было бы странно толковать мое нежелание курить сигары и носить турнюр как победу над искушением. Просто они мне не нужны, а если бы я прикоснулся к ним, то потерпел бы большой урон. В сущности, и сигары и корсет гадки до ужаса и, затаенно, страшны.

Я же слишком ясно знаю, что они — вещи демонические (скажу теперешними своими словами), чтобы не понимать губительность их для меня, не покрытого корою, которою покрылись взрослые.

Да, впрочем, и сами взрослые не хотят губить меня: сигары не позволяют касаться, а корсета — даже поминать имя. Ясно, дело нечисто, и я вполне прав. У сигар, впрочем, есть два оправдания их бытия: первое — это ящик кипарисного дерева, достающийся, конечно, мне и идущим под морские камешки; второе же — дымовые кольца, которые ловко пускает папа, подражая паровозу. Ну а что касается корсета, то у него только и есть то оправдание, что иногда с помощью папы я выпрошу из него себе пластинку китового уса и, размягчив ее на свечке, гну в крючки. Правда, эти

пластинки мне ни на что не нужны, но у них привлекательное происхождение — из кита.

Так и скверну мира обращал я в свою пользу; подобным же образом находилось полезное применение для сургуча и папиной казенной печати с двуглавым орлом, чертежных принадлежностей и геодезических инструментов, монет, обручального кольца и т. д. Но в глубине души я сознавал эти занятия как нечто неглубокое, ненастоящее. Истинным же делом представлялось мне созерцание природы.

Кроме зрения, у меня было очень развито обоняние и слух. Что касается первого, то, вероятно, я унаследовал его от деда по матери. С детства запахи были для меня выражением глубочайшей сущности вещей, и я всегда ощущал, что чрез запах я сливаюсь с самою вещью. Цветы, эфирные масла и в особенности благовонные смолы воспринимались мною как несомненные прорывы в этом мире и проходы в иной. С самых ранних пор я пристрастился к парфюмерии. Сперва заготавливал душистые цветки — главным образом розовые лепестки, просил старших купить мне фиалкового корня и делал из всего этого саше<sup>12</sup> в подарок к именинам и к другим праздникам маме и тетям. Потом стал изготавливать курительные свечи, душистую бумагу, одеколон и духи (о добротности их уже не берусь судить, но взрослые от моих духов морщились, да и мне, по правде сказать, они нравились только во время приготовления). Иногда, наготовив каких-то снадобий, я выливал их, к неудовольствию мамы, в ванну с водой, в которой купался. Мне кажется, впрочем, что мама морщилась не столько от качества моих эссенций, как от мысли, не проявляется ли во мне наследственная от деда страсть к роскоши. Готовые духи, — хотя в доме у нас были очень хорошие, французские и английские духи, в частности, неизменные духи мамы «Lilas blanc» парижской фирмы «Viollet» с тонко выгравированной пчелкой на марке, — готовые духи менее привлекали меня. Кстати сказать, духами тети Лизы было «Ess bouquet», тети Юли — «Miquet», какие-то еще определенные — но я не помню их название — у других тетей. Но меня в области запахов, как и во всех других областях, действительно волновало всегда и потрясало корни моего существа лишь прикосновение к сырым материалам, к исходным веществам, к первоисточникам. Лишь не смешанное, но внутренне сложное флюктуирующее многокачественностью, далее неразложимое и неделимое, влекло меня. Как в чем я почуял механическую составленность, так

сердце мое от него отходило. Это — не внушенная себе мысль, не рёскинианство<sup>13</sup> и не толстовство<sup>14</sup>, как склонны толковать узнающие меня взрослым, а собственная моя коренная воля, которая бывает иногда вынуждена уступать, но никогда не сдается. Весьма вероятно, тут есть нечто наследственное, ибо в этом отношении я узнаю в себе отца. Но каково бы ни было происхождение этого вкуса к первичной материи, он проявляется во всех областях и во всех областях ищет ощущений, которые можно охарактеризовать не иначе, как двумя-тремя прилагательными; сочетанными посредством черточек.

Из первичных веществ меня очень занимали в детстве пряности. И как только мама открывала большой провизионный шкаф для выдачи провизии повару, я унюхивал это обстоятельство, пролезал между мамой и поваром в самый шкаф и, несмотря на протесты мамы, правда вялые, хозяйничал в многочисленных стеклянных и жестяных банках с пряностями. Пока повар успевал получить нужное ему, мои карманы бывали уже набиты экзотическими товарами. Потом я шел рассматривать, обнюхивать и пробовать свою добычу. Когда я набирал ее, я объявлял, что хочу то-то и то-то готовить — духи, курительные свечи и проч., и иногда в самом деле делал попытки в этом направлении. Но больше обследовал сырые вещества — грыз, жег на свечке, размачивал в воде. Тут бывал обыкновенно странный по виду и пряно-жгучий, гладенький и беленький имбирный корень, которого у нас в кушанья никогда не клали, но запас почему-то никогда не иссякал, несмотря на мои хищения. Был тут и желтый, как яйцо в мешочек, мускатный цвет, возбуждавший мое внимание плоскостностью своею и упругостью своей ткани. Непременно я натаскивал себе кардамона, привлекавшего меня своею трехгранностью и белизною тонковолокнистой своей шелухи; именно она волновала меня, а черные зернышки я большею частью выбрасывал. Иногда перепал мне наполовину стертый на терке мускатный орех, казавшийся мне похожим на мозг. Английский перец и лавровый лист тоже допускались в число пряностей, но уж для полноты и без волнения. Больше же всего я ценил хорошенькие, с кисловатым запахом звездочки бадьяна, — причем немалое значение в привлекательности имело звучное имя его, сблизившееся в моем уме с «индианкой», ну а последняя-то уж, конечно, *fine fleur*<sup>15</sup> изящества! — и кусочек ванили. В ванили меня все приводило в дрожь: и словно лакированная черная кожа,

в которой чувствуется тончайшая, но чрезвычайно крепкая волокнистость; и почти микроскопические бесчисленные семена, которые я решительно отличал от бесструктурной мажущейся черной массы и, напротив, видел отдельными и зернистыми; и странная форма этого стручка, сближавшегося в моем сознании со стручками павнии, висевшими у нас в Батуме на уличных насаждениях. И даже запах, томный и смутный, я не ставил ванили в укор, потому что он смешивался с теплым батумским воздухом и уносил меня куда-то, не то в Бразилию, не то в иную страну, но с не менее звучным именем. Рассмотрев свою ваниль и слизав с нее хорошенько кристаллические иголки ванилина, я затем выдавливал в рот ее семена, а после них съедал и самую кожу. Что касается до остальных пряностей, то частью сгрызал их, частью растеривал, но каждый раз они наполняли все мое существо теплою полнотою бытия и чувством реальности других миров, причем я сам ясно не знал, находятся ли эти миры по ту сторону океана, или по ту сторону форм рационального познания.

Благоухания наполняли меня теплотою. Напротив, от звуков мне становилось холодно, порою настолько холодно, что я дрожал весь, как в сильнейшем ознобе, и чувствовал, что еще слушать — выше моих сил и что-нибудь может случиться. Если при этом бывали взрослые, они иногда давали мне что-нибудь успокоительное или прекращали музыку. Так памятно это ощущение спирально вьющегося по спинному мозгу холодного вихря, начинающегося с первыми тактами музыки и все ширящегося, так что он пронизывает все тело, и ноги, и туловище с руками, и голову, а потом начинает стремительно дуть, бороздя все пространство комнаты, провеивая сквозь меня, словно мое тело кисея, и холодит эфирным восторгом, вознося на себя к самозабвенному экстазу. Я музыку любил неистово, а ощущал почти до вражды; она слишком потрясла меня и слишком многого от меня требовала, чтобы можно было относиться к ней как к удовольствию.

В детстве у меня был тонкий и верный слух, как говорили люди музыкальные, посещавшие наш дом. Вероятно, лет с четырех я уже лез к пианино Блютнера в нашей гостиной, когда там никого не было, и одним пальцем подбирал слышанные мелодии, или же, напротив, пытался какими-то массами звуков, как я ощущаю, в том роде, который звучал Скрябину, выразить разрывавшие меня чувства. Но более мелодии я всегда чувствовал музыкаль-



ную ритмику, с одной стороны, а окраску звуков — с другой. Мне хотелось звуков иррационального тембра, шелестящих, скользящих. Сочность звука мне всегда была отвратительна. Звуки, сухие, как удары, звуки-трески, звуки-шумы, арфа, например, или звуки, которых я не знал в музыке, или которых в музыке и нет, их искало мое воображение. Напротив, пение, пение несдержанное и полным голосом, в особенности низкие голоса — около баритона, как у нас певал Василий Иванович Андросов, например, меня пугали, казались верхом непристойности и бесстыдства, я совершенно не понимал, как подобное безобразие можно терпеть в доме. Мне представлялось, что между непристойным горланием пьяных матросов, шатаясь, проходивших по улице, и подобными баритонами если и есть разница, то совсем не в пользу баритона. От этого пения, где бы оно ни было, я убегал и прятался в свои любимые места: за шкаф или под кровать. Сдержанное пение, и притом голосом высоким, я не осуждал, хотя оно мне никогда не казалось настоящей музыкой, а — лишь приправой к какому-нибудь домашнему делу. Но я признавал певиц, которых, впрочем, не слышал, за исключением Никиты. На то было много причин: во-первых, они красиво одеты, и притом декольте, т. е. как-то приближаются к феям, царицам и невестам, а эти разряды женских существ были для меня категориями изящного; во-вторых, на них много драгоценных камней, а драгоценными камнями в моих глазах многое можно было сделать положительным. Третье — родственница тети Юли, Александра Готлибовна Пекок, тетя Алина, как мы ее называли, была для нас полумифическим существом, известным нам по рассказам тети Юли. А эта тетя Алина пела на миланской сцене под псевдонимом Алины Марини и пользовалась в свое время большою известностью. Имя этой тети протягивало от нас нити в Москву, в Милан, и вообще в Италию, и даже на оперную сцену. К тому же личность тети Алины была повита загадочностью, о ней тайно и тайно не могли ничего толком узнать, и чувствовалось — это неспроста. Уж ради одной Алины Марини я должен был признавать певиц. Главное же, мужчины, когда поют, то уподобляются каким-то ревуцим бегемотам, и трудно поверить, чтобы подобное безобразие кому-нибудь могло нравиться. А певицы, — певица настоящая была для меня, конечно, сопрано и притом сопрано колоратурное, — они возглавляются царицею всех певиц Аделаидою Патти, о которой я слышал от тети.

Она — не бегемот, а соловей и жаворонок. Она растворяется в воздухе чистейшими трелями, и сама уже почти что не человек, а птичка. Все прочие певички в моих глазах блистали ее отраженным светом. Я так ясно представлял себе в воображении неземную свежесть и эфирную чистоту голоса Патти, и, в частности, алябьевского «Соловья», что испугался бы даже, если бы мне представился случай услышать ее на самом деле: это было бы слишком грубым, слишком вещественным прикосновением к полубогине птиц, как я мечтал об ней в детстве.

Вообще моя музыкальная фантазия была настолько захватывающей и живой, что я почти не нуждался в физическом звуке. Вспоминая свое детство, я много раз думал, что музыка, и именно композиция, но ни в коем случае не личное исполнение, может быть, деятельность дирижера, была моим истинным призванием и что все остальные мои занятия были для меня лишь суррогатами того, музыкального. Я всегда был полон звуков и разыгрывал в воображении сложные оркестровые вещи в симфоническом роде, причем потоки звуков просились в мою душу непрерывно, днем и ночью, и стоило мне остаться без очень ярко выраженного интереса в другой области, как мои оркестры начинали улаживать меня, а я им дирижировал. Иногда достаточно было самой бедной ритмики — стука пальцев по столу, падения капель, ритмического шума, тикания часов, даже биения собственного сердца, чтобы этот ритмический остров подвергся произвольной оркестровке и сам собою обратился в симфонию.

В одной из комнат нашего дома тетя Соня штудировала немецких классиков, преимущественно Гайдна, Моцарта и Бетховена; Бах тогда еще, кажется, не был возвеличен в музыкальном мире. Эти звуки, в особенности Моцарта и Бетховена, были восприняты мною вплотную, не как хорошая музыка, даже не как очень хорошая, но как единственная. «Только это и есть настоящая музыка» — закрепилось во мне с раннейшего детства. То, что играл я сам себе в воображении, принадлежало к этому роду, но было еще пустынное, еще объективнее, еще дальше от сырости переживаний. «Почти что окончательное то, что играет тетя Соня, — а все не совсем. Еще какой-то шаг — и будет достигнут предел, последняя глубина звука», — так, но, конечно, не в таких словах думалось мне. И я делал для себя этот шаг и освобождал музыку от последнего привкуса психологизма; она звучала в моем сознании как музыка

сфер, как формула мировой жизни. Материалом же ее были экстатические звуки внутри меня. Когда много лет спустя, уже окончив Университет и Академию, я прикоснулся к Баху, я понял, чего искал я в детстве и в какую сторону представлялся мне необходимым еще один шаг музыкального развития. В Бахе я узнал приблизительно то, что звучало в моем существе все детство,— приблизительно то, но все-таки не совсем. Может быть, той, экстатической музыки вообще не выразить звуками инструментов и слишком рационализированной ритмикой нашей культуры. Я же проводил свои дни в непрестанном экстазе.

1923.IV.15. Но и самый дом был наполнен звуками. Мама и сестры ее, особенно тетя Соня, имели очень чистые и чрезвычайно приятного тембра голоса, в которых было что-то хрустальное и отсутствовал оттенок томности и страстности. В свое время мама училась пению, равно как и тетя Соня, впоследствии поступившая в Лейпцигскую консерваторию по классам пения и фортепиано. Ее музыкальная карьера, равно как и музыкальное образование матери, была внезапно прервана запретом врачей, угрожавших скоротечной чахоткой. Вообще это соединение большой музыкальности, хорошего голоса и туберкулеза присуще всему роду моей матери, и потому многие блестящие выступления, музыкальные и вокальные, подрезывались в самом корне, если не предписанием врача, то словом судьбы. Мне хочется тут, кстати, вспомнить мою двоюродную сестру Нину Сапарову, учившуюся в Москве, которая поражала всех совершенно исключительной, какой-то неземной хрустальностью своего голоса и умерла после первого или второго выступления. Две другие сестры, дочери тети Сони, тоже начинали петь и тоже погибли тою же судьбою. С другой стороны — с отцовской — музыкальные склонности были двойственными. Как все предельно порядочные и нравственного строя люди, отец мой не обладал никаким слухом. Тетя Юля очень любила музыку, часто играла, но, мне думается, не отличалась ни особенными способностями, ни слухом. Однако в отцовском роде музыкальная наследственность, несомненно, тянулась от матери отца, Анфисы Уаровны Соловьевой, которая была хорошей музыкантшей. И с отцовской, и с материнской стороны она должна была быть музыкальной и вращалась в музыкальных кругах; между прочим, к дому ее родителей были очень близки оба Гурилева, и отец, и сын. Да и в смысле

сопутствующего музыкальности признака — стихийности — она получила, вероятно, достаточно данных: Соловьевы отличались бурным темпераментом вместе с талантливостью, а род матери ее — клинские помещики Ивановы — произвели много заметных людей, но отличались распушенностью. Но как бы там ни было, а собственно в паш дом музыкальные склонности проникли после каких-то фильтраций, оставив за его стенами все элементы страстные и наполнив дом звуками прозрачными, отчасти родственными внутренним звукам моим.

Из инструментальных произведений в доме слышались лишь наиболее строгие, салонная же музыка всегда вызывала легкое изменение лица, выразившее неудовольствие, а то и пренебрежительно-брезгливое слово. Что касается вокальной, то мне помнятся сравнительно немногочисленные, но прижившиеся в доме романсы Шуберта и Глинки — кстати сказать, и теперь мне представляющиеся наиболее совершенными из всего, что знаю, произведениями в этом роде. Мама никогда не пела при всех, и голос ее доносился обыкновенно из спальни, когда она возилась с кем-нибудь из маленьких или работала рукоделие. Я мало понимал слова, к тому же доходившие не полностью, а то, что понимал словесно, то не доходило до сознания. Но слова и фразы и по музыке, и своим собственным звуком мне говорили что-то совсем иное, чем они значат логически, и это иное было несравненно больше логического смысла. Не то чтобы не мог, я, скорее, не хотел вникать в этот логический смысл и разрушить им не сказанный смысл первоначального звука, доходивший до меня чрез это пение. Впоследствии, уже взрослым, когда я слышал те же вещи, я бывал разочарован: да, хорошо, мой детский вкус меня не обманывал, но ведь это совсем не то, что запомнилось мне с детства и что, очень глубоко где-то, звучит и сейчас во мне, хотя и приглушенное. В отдельных выражениях слышалась особая многозначительность, какое-то личное, ко мне именно, к сокровенному существу моему обращенное слово; и слово это шло не от матери, хотя и чрез нее, даже не от автора произведения, а из ноуменального мира, от бытия, которое открывал я в себе самом, по ту сторону себя самого.

«Отчего так светит месяц?» — ро-о-обко он меня спросил»<sup>16</sup>. Это «робко спросил» из каких-то бездн мне говорило обо мне самом. Это словно я спросил, и казалось странным проникновением в меня возможность сказать обо мне

так определенно. Вдруг появлялось сознание неловкости, как это вслух звучит такое словесное обнажение меня. В других случаях это проникновение касалось других. Когда из спальни журчали серебряные звуки: «Горный поток в чаще лесной»<sup>17</sup>, ясно я знал, что это сказано о самой маме, что горный поток в чаще лесной — это сама она, но, конечно, она не стала бы петь так откровенно о себе, если бы знала, что поет, а я — знаю. Часто, понимая все слова, я не умел или не хотел понять всю песню, чтобы не рационализировать ее. Так было, например, с известным в то время романсом «О Матерь Святая, возьми Ты меня: все счастье земное изведала я». Логический смысл его вполне исключался из моего сознания, может быть, как неприличный, поскольку заключал в себе нечто религиозное; но какой-то иной смысл был чрезвычайно ясен, и я всегда внутренне конфузился за маму, когда она пела этот романс. Наиболее достойным внимания и наиболее привлекательным было для меня явно иррациональное — то, чего я действительно не понимал и что вставало предо мною загадочным иероглифом таинственного мира. Таковым был любимый мною романс Глинки на слова Пушкина «Я помню чудное мгновенье». В нем я ничего не понимал, но зато остро ощущал, что тут-то и есть фокус всего изящества, что это полюс средоточия тех проявлений изящества, которые восхищали меня разрозненно в окружающем мире. Особенно знаменательным представлялось слово, в котором я не без основания предугадывал самую вершину всего пленяющего: «Как мимолетное виденье, кагэни чистой красоты». Что это значит, это «кагени», я не только не знал, но и не старался узнать, ибо чувствовал, что никаким пояснением не увеличится мое понимание этого иероглифа превосходящей всякую земную меру и всякое земное понимание красоты. «Кагени» было символом бесконечности красоты, и, как я прекрасно понимал, любое разъяснение лишь ослабит энергию этого слова. И в самом деле, не в том ли художественное совершенство стихов, музыки и всего прочего, что сверх-логическое их содержание, не уничтожая логического, однако, превосходит его безмерно и, как язык духов, детскому, вообще не рационализирующему, восприятию доступно даже более, нежели взрослому. В частности, этот романс мне когда-то пришлось взрослым слышать в исполнении Олениной д'Альгейм, уже совсем взрослым. И во мне всколыхнулось то же чувство, но теперь уже сознательно. Мне думалось: Пушкин с музыкой Глинки в исполнении

Олениной — тройное творчество величайших представителей каждой из областей русской культуры, возносящейся помощью и силою другого. Да и у них, этих представителей, не одно из творческих деяний, а чистейшая сущность всего их творчества. Какой уплотненный фокус культуры, в коротком романе замкнувший целый век расцвета русского искусства. Не без причины таким огромным и духовно веским казалось мне «чудное мгновенье» с пеленок.

Музыкальные склонности направлялись у меня в детстве также по руслу стихов. Сравнительно в меньшей степени меня занимал смысл стихов, а преимущественно влекло их звучание и их ритмика. Обладая почти абсолютной памятью, все привлекательное для меня я запоминал с одного раза в точности; в особенности это относилось к стихам. Пушкин, отчасти Лермонтов — только их я признавал в раннем детстве, остальное же не доходило до моего слуха. Впрочем, Тютчева я просто не знал, и в доме у нас его почему-то не было. Сказки Пушкина, многие поэмы, стихи и другое я мог говорить наизусть часами, хотя читали мне их не особенно много. Напротив, стихи других поэтов я определенно ощущал не как худшие, а как качественно иное нечто. Со стихами произошло то же, что с музыкой: есть настоящее, настоящая музыка, настоящие стихи, и хвалить это настояще неуместно, ибо само собою разумеется, что они — благо. Кроме того, есть и еще что-то, притязающее быть музыкой и поэзией, но притязает бессильно, порицать его — недостойно, ибо это дало бы повод к обсуждению, тогда как оно не музыка и не поэзия, а просто какая-то дрянь, о которой и говорить не стоит. Детское суждение онтологично. Поэтому для меня не было искусства хорошего и плохого, а было просто искусство и неискусство, и я знаю, то мое суждение было честным и не лукавым. Нет — и нет. Впоследствии же, когда мы все научаемся лукавить, мы стараемся усладить прискорбную истину разными извинениями и найти нечто хорошее в побочных обстоятельствах. А в результате мы сами запутываемся в этой казуистике и перестаем чутьем угадывать и ценить самую суть произведений, обманываясь мастерством техники, сюжетом, чувственной вкусом материала и т. д. и вводя в обман окружающих. К тому же мы боимся быть жестокими, может быть, из опасения быть судимыми тем же судом. Но детство не знает опасений, не боится суда, судит незаинтересованно и неподкупно; оно изрекает свой приговор с жестокостью истины.

Для него — есть или не есть. Так вот, о Пушкине я говорил себе есть, ну, а о большинстве других — обратное. Это не значит, чтобы их нельзя было послушать. Но я их слушал сравнительно с Пушкиным так же, как оперную музыку, например, сравнительно с Моцартом, т. е. ясно сознавал, что это только пустое прохождение времени, внешнее щекотание, какое-то «слово праздное»<sup>18</sup>, которое отщепляет от вечности. Этого рода искусство я оценивал так же, как и семечки, безусловно воспрещенные в нашем доме и все же откуда-то иной раз, на негодование мамы, в дом просачивавшиеся.

Но я начал говорить о звучании стихов. Звуковая сторона слова всегда имела стремление к самостоятельности в моем сознании и порывалась вырваться из оков логического смысла. Этого было особенно легко и добиться в именах и в словах иностранных. С жадностью подхватывал я географические и исторические имена, звучащие, на мой слух, музыкально или знаменательно, преимущественно итальянские и испанские, — они мне казались особенно изящными и изысканными, — и сочетал их, сдабривая известными французскими или итальянскими словами, в полнозвучные стихи, которые привели бы в ужас всех сторонников смысла. Эти стихи приводили меня совершенно определенно в состояние иступления, и я удивляюсь, как родители не останавливали моих радений. Правда, чаще я делал это наедине. Но я любил также, присевши на сундук в полутемной маленькой комнате, когда мама с няней купала одну из моих сестер, завести — сперва нечто вроде разговора на странном языке из звучных слов, пересыпанных бессмысленными, но звучными сочетаниями слогов, потом, воодушеваясь, начать этого рода мелодекламацию и, наконец, в полном самозабвении, перейти к глоссолалии<sup>19</sup>, с чувством уверенности, что самый звук, мною издаваемый, сам по себе выражает прикосновение мое к далекому, изысканно-изящному экзотическому миру и что все присутствующие не могут этого не чувствовать. Я кончал свои речи вместе с окончанием купанья, но обессиленный бывшим подъемом. Звуки опьяняли меня.

Но возвращаясь к начатой мысли: при психической и нервной крепости, я все же был всегда впечатляем до самозабвения, всегда был упоен цветами, запахами, звуками и, главное, — формами и соотношениями их, так что не выходил из состояния экстаза. Радость бытия, полнота бытия и острый интерес переполняли все мое существо,

я всегда кипел и ни минуты не оставался невозбужденным. Это происходило, повторяю, от силы впечатлений и от повышенности внимания к ним. Для меня не было спокойных восприятий — таковые вовсе не доходили до моего сознания, всегда занятого чем-нибудь чрезвычайно интересным. Каждое восприятие связывается с другими, и само собою в уме строится какая-то система, где разнородное по малым, но глубоким, на мою оценку, признакам соотносено друг с другом. Растения, камни, птицы, животные (— мне было совершенно ясно, что невозможно объединять милых птичек в одну группу с другими существами, «животными»), по моей терминологии, и что птицы, скорее, родственны растениям —), атмосферные явления, цвета, запахи, вкусы, небесные светила и события в подземном мире сплетаются между собою многообразными связями, образуют ткань всемирного соответствия. Человекообразные скалы и корни не случайно имеют свой вид: тут есть таинственное родство. Во дворе у нас или по полотну железной дороги расцвел подорожник. Я смотрю, как гордо и упруго несут свои головки эти подорожники, и соображаю: да разве это не стадо моих любимых венценосных журавлей, на изображение которых я не могу насмотреться в «Природе»? С деревьев свисают сережки; разве я не понимаю, что они, заигрывая со мною, притворяются расслабленными? Божья коровка, поджав ножки, лежит на спине, как мертвая; но ведь это она хочет привлечь к себе мое внимание, чтобы я играл с нею. И фиалка, спрятавшаяся под куст, она играет в прятки и была бы весьма обижена, если бы я не стал искать ее.

*1923.IV.17.* Весь мир жил, и я понимал его жизнь. Но это понимание было крайне ошибочно толковать как простое антропоморфизирование — приделывание к вещам и существам природы человеческих органов, человеческих мыслей, чувств и желаний. Крайне ошибочно думать, будто я, вместе со всеми детьми, просто утрачивал чувство границы между собой и природою, смешивал две области, заведомо раздельные в сознании взрослого.

Ничего похожего на такую спутанность понятий мое мировосприятие не содержало, и границы разделения проходили там же, где и теперь они проходят для меня и где они проходят для всякого человека. Если уж говорить о различии тогдашнего и теперешнего, то оно имело как раз обратный смысл: эти границы между отдельными вещами,



существами и явлениями были несравненно глубже, чем теперь, и сознавались острее и непроходимее. Ведь, в самом деле, детское восприятие — более эстетического характера, нежели восприятие взрослого, научное или хотя бы наукообразное. И потому каждый отдельный объект в детском восприятии, как созерцаемый эстетически, целостно замкнут в себе, и от единства его нет никаких переходов к самозамкнутому же единству другого объекта. Преобладание в детском восприятии вещей над пространством делает мир несравненно более прочно расчлененным, нежели в восприятии взрослого. Научное познание устанавливает общность, где ее раньше не было видно, разыскивает промежуточные явления между крайностями, мостит мосты для перехода чрез дотоле непроходимые бездны, вообще смазывает четкую отдельность мира, притупляет пафос различия. В критическом и последовательном научном миропонимании непосредственное чувство невозможности каких бы то ни было сближений, переходов, превращений должно быть задерживаемо, и в этом — дух науки. «Celui qui en dehors des mathematiques prononce le mot «impossible», manque de prudence» — отчеканено славным Ампером<sup>20</sup>, и притом в расцвете рационализма, когда верилось, что все в основе известно и круг знания почти замкнут.

Итак, не по нечувствию естественных границ между явлениями воспринимал я жизнь мира. Научное миропонимание ослабляет внешнее различие между явлениями, оставляя самые явления, даже когда они по качеству своему тождественны, чуждыми друг другу, и мир, лишенный яркого многообразия, — не только не объединяется, а, напротив, рассыпается. Детское восприятие преодолевает раздробленность мира изнутри. Тут утверждается существенное единство мира, не мотивируемое тем или другим общим признаком, а непосредственно ощущаемое, когда сливаешься душою с воспринимаемыми явлениями. Это есть мировосприятие мистическое.

Конечно, я отлично сознавал, что фиалка не имеет ничего общего со мною, и прекрасно знал о несуществовании у нее глаз (увы, теперь я этого не знаю, и потому взор фиалки, для разговора, могу и доказывать: и по ботанике, растения имеют глаза). Но непосредственно я приникал к самому существу скромного цветка, ощущал его жизнь, столь близкую мне внутренно и столь далекую по внешне учитываемым проявлениям, и вот эту, постигнутую мною, внутреннюю жизнь рассказывал себе в словах, как говорится, метафорических. Какой-нибудь малый и даже трудно

формулируемый признак мог тогда, но только тогда, т. е. когда изнутри существо было уже познано, стать свидетельством, что я правильно уразумел существо дела. Но он был для меня не внешним доказательством, обязательным для других, и я бы даже постеснялся сказать о нем кому бы то ни было: это было знамение, некоторое природное чудо, — когда сокровенная сущность приподымала завесу своей тайны и бросала оттуда лукавый взгляд. Я хорошо помню это внезапно и далеко не повседневное ощущение, что взор встретился со взором, глаз уперся в глаз — мелькнет острое, и прекратится, да и не выдержать бы длительно этого прямого созерцания лица Природы. Но и мгновенное, это ощущение давало абсолютную уверенность в подлинности этой встречи: мы друг друга увидели и насквозь друг друга понимаем, не только я его, но и, еще острее, он меня. И я знаю, что он меня знает еще глубже и видит еще определеннее, чем я его, а главное — меня всецело любит.

Однажды, уже много лет спустя, я пережил ту же встречу перекрестными взорами и ощущение, что меня взор пронизывает насквозь, до самых сокровенных тайников моего существа. И это был взор приблизительно двухмесячного ребенка, моего сына Васи. Я взял его ранним утром побаякать полусонного. Он открыл глаза и смотрел некоторое время прямо мне в глаза сознательно, как ни он, ни кто другой никогда не смотрел в моей памяти; правильнее сказать, это был взгляд сверхсознательный, ибо Васиними глазами смотрело на меня не его маленькое, несформировавшееся сознание, а какое-то высшее сознание, большее меня, и его самого, и всех нас, из неведомых глубин бытия. А потом все прошло, и передо мною снова были глаза двухмесячного ребенка. Вот этот-то опыт постоянно направлял курс моего отношения к природе. Ничего, ничего; а вдруг — и метнется взгляд, то нежный и глубокий, полный какого-то ожидания от меня, то лукаво-веселый, говорящий, что мы-то с природою знаем, что другие не знают и знать не должны. Природа, как верил я и ощущал, скрывает себя от людей; но я — любимец ее, и мне себя она хочет показать в своей подлинной сути, впрочем, так, чтобы не стать явной пред другими. И она посылает мне свои знамения, говорит мне знаменательными формами, мне одному доступными, чтобы я знал, где надо насторожить свое внимание. Молодые животные, некоторые птички, малые ящерицы с прекрасными карими глазами, иногда маленькие зеленые лягушата, ну, и конечно, многие цветы так

общались со мною. Минералы, различные природные явления, в особенности многие цвета, запахи и вкусы были пронизаны глубинной энергией природы несравненно более животных и птиц, даже цветов, но в них эта напряженная и клокочущая мощь немотствовала, лишенная органа выражения. Она набухала, стремясь ко мне, как и во мне набухала по направлению к ней, но между нами всегда оставался прозрачный слой тонкой, но непробиваемой изоляции, и стремление к мистическому разряду никогда не удовлетворялось до конца. Всегда я чувствовал себя несытым своим зеленым цветом, своими искрами, своим запахом и шумом моря.

Знаменательными и потому особенно таинственными бывали разные, полууловимые признаки. Но были, кроме того, и целые классы природных форм, волнующие, всегда желанные, всегда вызывавшие стремление охватить их изнутри, проникнуться ими и самому им уподобиться, конечно, не внешне, а в каких-то недрах глубинной воли. «Ах, почему я не та форма?» Или: «Ведь та форма — это я», — между двумя этими формулировками неустойчиво колебалось тогда мое чувство.

Многие из форм мне нравились в природе, многими я любовался, но брало за сердце и волновало до глубины далеко не все, и мне думается, не только сейчас, задним числом, но и тогда я достаточно точно устанавливал в слове свою внутреннюю потребность.

Вот что я говорил себе.

Внутренно приковывают меня к себе формы определенные, ограниченные упругими поверхностями, упругими линиями. Я ищу проработанности форм, но черствость их и засушенность отчуждают их от меня, как отчуждает их и слишком большая нежность, ухищренность, сложность. В растениях мне наиболее привлекательны прямые линии или незаметно, мало изогнутые, но и те, и другие должны быть упругими; малейший перехват либо в сторону черствости и механической правильности — как палка, либо, напротив, — в мягкость, одрябление или кокетливое склонение — и все очарование прямой бесповоротно исчезло, сделав ее в одном случае — скучной и мертвой, а в другом — какой-то липкой и гадкой. Естественно, эта упругость прямизны должна держаться и выражаться соответственным строением, в котором явно преобладает направление по самой линии, так что линия представляется плотно связанным пучком

продольных волокон. В растениях вообще меня волновала эта их волокнистость, особенно когда она и на поверхности выражалась тончайшими каннелюрами <sup>21</sup> стебля, как, например, хвоща, у некоторых водяных растений, у лилий, или же зримой структурой продольно-вытянутых клеточек с серебриющимися между ними продольными же воздушными пузырьками, как у стеблей водяных лилий, многих луковичных и других. Эта же упругая вытянутость определяла чаще всего и мои влечения к птицам и животным.

Тоненький и длинный, упругий клюв вальдшнепа, еще более тонкие и еще более вытянутые клювы колибри, такие же клювы и ноги аистов, журавлей, куликов, вообще голенастых, едва ли не были главной причиной моей духовной близости к ним. Поэтому же я любил джейранов, газелей, оленей, ланей — за их тонкие ножки и упругую шею. Когда я чувствовал в поверхности, ограничивающей некоторое тело, естественную поверхность равновесия упругих сил всего организма, когда внутренним взором видел, как ее, упругую, выпячивают внутренние силы и она, скажу теперешними словами, решает задачу на минимум, тогда и во мне что-то набухало ответно, и я ощущал ее как свою поверхность и себя — как ее содержимое: такова была, например, поверхность некоторых раковин. Меня волновала сдержанная мощь природных форм, когда за явным предвкушается беспредельно больше — сокровенное. В упругости форм я улавливал *turgor vitalis* <sup>22</sup>, жизнь, которая могла бы проявиться, но сдерживает себя и лишь дрожит полнотою. Упругий стебель водяного растения, упругие лепестки белых лилий, упругие темно-синие бубенцы полевых гиацинтов, упругие капли росы, собравшиеся на волосистых листьях манжеток, упругие выпуклости раковин, упругая шея джейрана и карабахской лошади и бесчисленное множество других, гибких и вместе исполненных внутренней силы форм волновали меня до щекотания в сердце именно как откровение самой творческой мощи природы. Вещь как таковая, уже всецело выразившаяся, мало трогала меня, раз только я не чувствовал, что в ней нераскрытого гораздо больше, чем ставшего явным: меня волновало лишь тайное. Я чрезвычайно любил бутоны и почки, но роскошная красота на своей вершине принималась мною несколько с таким оттенком, с каким относятся взрослые к тряпичным цветам. Да, роза прекрасна, но она вся тут, она не волнует неразгаданностью, и жизнь, ее произведшая, дошла в ней до вершины и теперь иссякает.

Роза явна и потому не таинственна. Так и всякая другая вещь — волнует, пока в ней чувствуешь бутон другого бытия; а когда она — сама по себе, чувственно данная, она слишком понятна и потому не приковывает к себе.

У меня всегда было определенное ощущение, что подлинно знаменательное скромно и прячется, тогда как в откровенной красоте великолепных магнолий, роз, тюльпанов и т. д. есть что-то такое, от чего приходится конфузиться за них. И я предпочитал фиалку, скромный, хотя и священной пурпурный цветок, спрятавшийся под кустами среди собственной зелени, опять-таки скромную и малодоступную незабудку. Верхом же привлекательности был, почти мифически, в моем сознании, ландыш, который я знал больше из рассказов тети Юли и рисунков и позже — по садовым его экземплярам. Иногда находил я в лесу ландышевые листья и, в восторге от тончайшего строения их жилок, всех параллельных между собою, целовал их. Моею мечтою было найти растение в цвету; но в окрестностях Батума цветение ландыша происходит, вероятно, так рано, что мои поиски никогда не достигали цели.

Впоследствии мои чувства к розе и другим растениям роскошного вида изменились; но не потому, чтобы изменился характер внутренних моих требований, а — в связи с открывшейся мне незавершенностью и розы. Может быть, самые восприятия мои стали менее сильными, так что эта преизбыточная роскошь красок и запахов и утомительная красота обеднели в моих глазах и сделались скромнее. Но, во всяком случае, она потеряла свою пышную самодовлеимость и стала бутоном иных возможностей и иной полноты.

Точно так же и в других областях: мои восприятия и сами по себе были слишком яркими для того, чтобы яркое и преизобильно роскошное давало мне удовлетворение. Конечно, многое может быть занимательным, многое хочется узнать и увидеть, но совсем вплотную мило лишь скромное. Птичка, может быть несуществующая, светло-коричневого цвета, как кофе с молоком, с голубою головкой прыгала передо мною в воображении как образ этой заветной скромности.

Моему сердцу мила была незаметность, тихость, смирение. А вместе с тем и вопреки тому душою влекся тут же я к экзотическому, хотя и тут с чем-то соответствующим этой скромности. Мне всегда хотелось жить среди возможно простой обстановки, окруженным скромною природой, но

имея где-то поодаль природу тропическую. Отчасти в этой двойственности отражается горный пейзаж, где суровая и пустынная нелюдимость высот почти касается субтропической флоры. Не таково ли и место моего рождения Евлах, где преизобилующая природными богатствами и обременительная избытком роскошной жизни степь стеснена двумя снеговыми горными группами? Но, скорее, в этой двойственности природы, меня воспитавшей, я склонен видеть наглядное выражение собственной моей двойственности, в которой север и юг, через кровь исторически самую молодую и самую древнюю, напряженно противостоят друг другу, не только не смешиваясь, но и, напротив, возбуждая друг друга к более крепкому самоопределению.

Так вот, в то время, как передо мною скакала та коричневая с голубым птичка, я страстно и почти болезненно мечтал о колибри, и мне казалось, может ли быть лучше удел, как поцеловать живого колибри,— больше всего я любил эльфа, как за малость его и несколько смешной нахохленный вид, так и за самое название,— и умереть. Я жадно выпрашивал у всех малейшие подробности об этих очаровательных птичках, бесчисленное множество раз смотрел имевшиеся изображения их и с горечью помнил, что их держать в неволе не удавалось, что сироп, которым их кормили, засахаривался в их маленьком желудочке и убивал их и что поэтому нет надежды увидеть мне их живыми. Тогда я умолял поверенную моих желаний, тетю Юлю, приобрести чучело колибри. А для того, чтобы мотивировать это приобретение, я просил ее посадить колибри на шляпу,— чего, впрочем, мне и на самом деле хотелось по моему увлечению нарядами. Долго приставал я, всячески доказывая необходимость такого украшения на шляпе. Наконец папа сказал, чтобы выполнили мое желание. Было уже довольно поздно и несколько холодно, т. е. по батумскому климату, когда мы с тетей отправились за вожденной покупкой. Кажется, это была поздняя осень или зима. В Батуми было тогда еще порто-франко<sup>23</sup>, и потому в убогих батумских магазинах продавались весьма изящные и добротные заграничные товары. Среди большого выбора шляпных чучел колибри глаза мои разбежались, я выбирал то ту, то другую птичку, потом откладывал обратно и снова выбирал, пока, наконец, не стало темнеть и пришло время запирать магазин. Несколько недвольная моей нерешительностью тетя Юля, наконец, помогла мне сделать выбор и расплатилась за довольно дорого

стоящую попку. Птичку завернули, слегка загнув с обеих сторон бумагу, чтобы не смять ее. Покупки тетя мне не хотела давать, опасаясь, что я сомну ее, но я так умолял дать ее нести мне, что тетя уступила, предупредив лишь еще раз о том же и показав, как надо нести воздушный пакет за один край, чтобы не повредить колибри. Я вцепился в этот край и добросовестно выполнил все предписания. Но когда, пройдя некоторое расстояние, тетя захотела проверить, не мну ли я птички, оказалось, пакет развернулся снизу, птичка выпала, а я старательно нес пустую бумагу. Я так огорчился этой потерей, что даже не заплакал, а тетя огорчилась за меня. Мы пошли обратно, но было темно и сыро, птички, конечно, не нашлось. Этот случай нанес душе моей рану, одну из тех, что не заживают никогда, хотя бы о них сознательно и забыли мы. Мне уже больше не хотелось даже покупать нового колибри, и предложение в этом смысле мною было отклонено, даже говорить о колибри было мне тягостно.

Несколько лет спустя папа прочел где-то объявление о вышедшем в Париже роскошном цветном альбоме колибри и, вспомнив, как замирал я, расспрашивая об этих птичках, ничего не сказав, выписал этот альбом и подарил мне. Альбом был, действительно, замечательный. Но моя полузабытая рана в сердце была так болезненна, что альбом оставил меня холодным и я запрятал его куда-то подальше. Еще через несколько лет, в третьем или четвертом классе гимназии, одноклассник мой, Володя Эрн, как-то попросил у меня какую-нибудь книгу с картинками для срисовывания. Я дал ему тогда альбом колибри, но уже обратно его не получил, несмотря на просьбы. Подозреваю, что, страстно увлеченный тогда курами, Эрн превратил моих колибри в кур. Тогда я даже не жалел об этом альбоме, и только теперь, когда с каждым днем возвращаются впечатления детства, снова он стал вспоминаться. Но так уж мне в жизни не повезло с этими птичками, в которых было для меня самое острое изящное.

У меня осталось такое ощущение от детства, что я, собственно, никогда, или почти никогда, не приходил в состояние спокойное; целый день меня не оставляла экзотическая приподнятость, когда я либо говорил без умолку, за что у Лизы тети в деревне крестьянские девушки называли меня по-армянски «цицернак», т. е. ласточка, либо во мне все пелось и распускалось в экзотических звуках. Едва ли эти состояния были заурядною живостью всякого ребенка.

По-видимому, в моем мозгу происходило что-то, если и не неладное, то, во всяком случае, необыкновенное, что причиняло мне немало страданий. Я хорошо помню с раннейшего детства начавшиеся и прекратившиеся лишь лет десяти, если не ошибаюсь, головные боли, которые можно отчасти сравнить с сильной мозговой усталостью в конце длительной и напряженной умственной работы. Вероятно, это были сильные притоки крови, притом именно к задней, нижней части головы, и я старался найти себе облегчение от этой боли и тяжести довольно частым запрокидыванием головы и прижиманием на мгновение затылка к шее; мне кажется, это мое движение несколько напоминало характерный рефлекс при менингите.

Нелегко ходить с такой головою, и, если бы не мой всегдашний восторг и интерес к бытию до самозабвения, вероятно, я бы непрестанно хныкал от своей боли. Бедного папу всегда беспокоило мое здоровье, и по многу раз в день он ощупывал мой лоб, нет ли у меня жару, и неизменно спрашивал: «Не болит ли головка?» Но и его ощупывание, и его вопрос были излишними: голова у меня болела; и я старался только забыть об ней, а жар тоже был почти всегда, от малярии, которой страдало все семейство, начиная от папы. Я уже не знаю, были ли у меня приливы крови к голове от моей всегдашней внутренней взволнованности или, наоборот, самое возбуждение усиливалось притоками крови. К тому же мы все, не только наше семейство, но и все знакомые, сидели в Батуме на хинине, поглощая его банками, и едва ли это могло не отражаться на общем самочувствии.

Но от чего бы то ни было, а все из области природы меня интересовало, не давая уму ни минуты отдыха. Сколько раз в день, бывало, влезу я на перила балкона, и, держась за деревянный столб, исследую снова и снова хорошо уже рассмотренное лавровишневое дерево возле балкона и в тысячный раз глажу и прикладываю к лицу его словно лакированные темно-зеленые листья, жую их, думаю о том, как из его черных ягод делаются капли, нюхаю цветочные кисти и нахожу в их запахе сходство с горьким миндалем. Потом такому же обследованию подвергаются растущие у нас на балконе в ящиках большие апельсиновые и лимонные деревья с недозрелыми еще плодами и белыми, любезными мне цветами. В подобных занятиях проходит, как мне кажется, много времени. Потом я принимаюсь за исследование привлекательное, как и ри-



скованное: внимательный осмотр зияющих черными эллиптическими отверстиями червоточин в балконных столбах. Уже давно сообразил я, что эти темные отверстия имеют тайный смысл, и потому мимо ушей пропускал разъяснение взрослых, будто их выедают какие-то червяки. Одна из нянюшек (впрочем, вспоминаю, это была Люсина няня, пожилая вдова, по имени Софья, а по фамилии Романова; она сказала нам, что муж ее, как Романов, был царем, и мой полускептический вопрос, почему же она живет в няньках, не изгладил во мне впечатления от ее слов), — так вот эта самая нянька, желая отвлечь меня от червоточины, сообщила, что там живет бука. Конечно, я ей сразу поверил, ибо и сам пришел к такому заключению, только не знал имени таинственного существа, но, конечно, лишь усилил свою внимательность к обиталищу этого буки.

Иногда выходила на балкон тетя Юля пересаживать растения или насаждать их в длинных ящиках, устроенных по распоряжению папы кругом всего дома, по перилам балкона. Тетя любила копаться в земле с цветами, а я — ей помогать: меня интересовали корни растений, молодые побеги, прячущиеся в земле, прорастающие семена, и приводила в ужас, хотя и без позднее развившейся брезгливости, копавшаяся в земле медведка. Но это отдельные впечатления. Они умножались и обострялись, когда я попадал за город. Папа любил и считал полезным устраивать нам целодневные прогулки по окрестностям Батума. Нанимался фаэтон, иногда два, делался запас провизии и, главное, столовых принадлежностей, и мы с волнением катили по одному из шоссе. Наиболее любимым и наиболее часто посещаемым местом таких прогулок была первая станция строившейся отцом моим Батумо-Ахалцыхской шоссеиной дороги — Аджарис-Цхали. // Дорога идет сперва неподалеку от морского берега, плоского, пустынного — это хорошая подготовка к последующему богатству и отвесным скалам Аджарского ущелья. Но и этот пустынный кусочек в 2—3 версты не лишен занимательности для нас. Вот недалеко от дороги виднеются хижины, крытые сухими кукурузными стеблями, и из тех же стеблей на деревьях целые стога округлой формы, словно гнезда исполинских ос. Эти хижины и эти скирды кукурузы принадлежат негрской колонии, расположившейся около Батума. К нашему удовольствию, рослый негр, почти великан, или женщина-негритянка с младенцем у черной груди и другим негритенком, цепляющимся за руку или за подол, пересечет

1923.  
IV.18

дорогу и с любопытством остановится возле нас. В них мне чувствуется кротость богатырей и открытость в природу, которая впоследствии стала мучительно искаться мною. Черный цвет их меня несколько не смущает, я только соображаю про себя, ваксой ли или тушью мне придется краситься, если я поселюсь среди них. Как странно: в детстве мне чуждо ощущение близости к людям чужим, кроме очень немногих. Но при таких встречах протягиваются нити симпатии.

Едем дальше. Вот речка, с которой начинается дорога под управлением папы и первый на этой дороге им построенный мост. Мы гордимся, что папа строит мосты, и на этом основании считаем их своею собственностью, и потому вместе с папой должны осмотреть его хозяйственным взглядом, все ли там благополучно. Папа останавливает фаэтонщика, упирая ему в спину палкой,— почему-то все уверены, несмотря на гуманные идеи, что иначе фаэтонщик не услышит. Мы бросаемся под мост поплескаться в прозрачной, текущей по песку воде,— хотя пить ее нам строго воспрещается, вылавливаем лягушечью икру или головастика, смотря по времени года, и, конечно, это во всякое время, подбираем со дна хорошенькие витые черные ракушки. Мы бы остались с охотой и еще, но нас торопят, садимся в экипаж и затеваем с Люсей ссору; если не успели ее устроить при выезде, кому сидеть на неудобной, передней скамеечке, которая представляется нам местом почетным и самостоятельным, а кроме того, имеет преимущество обсервационного пункта. Папа рассказывает нам о развитии лягушечьей икры или о выплавке меди из медного колчедана, по поводу огромных куч, расположенных вдоль дороги. В этих курганах из колчедана, распространяющих запах сернистого газа,— я давно уже усвоил всю эту химию,— выгорает сера, а образующаяся медная окись, как я узнал, будет впоследствии восстановлена углем. От папы я научился тоже сожалеть о разлетающемся сернистом газе, из которого можно было бы сделать занимающую меня серную кислоту и без огня сжечь ею тряпку. Я знаю также, что добыча колчедана производится тут же неподалеку, и внутренне горжусь, что наш, я бы хотел сказать, мой Батум не лишен настоящей руды, т. е. какой-то связи с подземным миром. Втайне я вывожу отсюда и дальнейшие последствия, что раз есть руда, то есть или могут быть подземные шахты и коридоры, вводящие в самую преисподнюю, а затем и сталактитовые пещеры; на заднем же

фоне всего этого виднеется и несколько туманная пока возможность встречи с гномами. И еще более волнует меня рассказ папы о золотоносном песке. Я, конечно, хорошо помню поход аргонавтов к устьям Фазиса в Колхиду за золотым руном. И давно также я твердо себе усвоил, что эти «мифические места» — именно те, где мы живем, и что, следовательно, миф столь же реален, как и сам я, и наша Колхида. Фазис — это нынешний Рион, и знал я также, что доселе стоит скала в Рионском ущелии, на которой был распят Прометей. Кстати сказать, родители мои тут, кажется, дали маху, изолировав меня от церковного учения и сказок, как еще живущих, они легко относились к античной мифологии, вероятно, считая ее безнадежно умершей. Последствием же такой оплошности было то, что я чувствовал себя древним эллином яснее, нежели русским, и фавнов, и нимф любил и знал больше, нежели леших и русалок.

Итак, греческий миф мне был близок, а земля, по которой я ходил, пропитана испарениями античности. Относительно золотого руна я знал от папы, что в древности (а это слово казалось мне наполненным тем же таинственным мраком, что и пещеры, и потому было так же волнительно) пески колхидских рек, в том числе Риона и Чороха, были золотоносны и остаются такими доньше, т. е. до меня; а добыча золота производилась промывкою золотоносного песка над овечьей шкурой. Когда кудрявая подстилка напитается застрявшими в ней золотыми крупинками, ее сжигают, а золото остается. Вот за этим-то золотым руном и приезжал к нам некогда такой герой, как царь Ясон. Как же было не гордиться своей страной? — приезжал ведь почти что прямо ко мне. Правда, было тут и некоторое преткновение в виде злой волшебницы Медеи, которую наградила в придачу к руно то же наша Колхида. Но Медея внушила мне неприязненное чувство за обман отца и расправу со своими детьми, и в своих мыслях я старался миновать ее образ. Так говорил нам папа, около Артвина, то есть верстах в тридцати от Батума по течению Чороха, добывается золото с помощью такой шкуры, однако содержание золота в песке весьма незначительно. Как раз около этого времени золотоносные реки Чороха подали мысль каким-то двум ловкачам сделать дельце: они привезли из Сибири золотоносный песок, отчасти уже промытый, т. е. с очень высоким содержанием золота, и подсыпали его в определенном месте к песку Чороха. Была

назначена их происками комиссия, которая должна была поверить в чорохские золотые прииски и, следовательно, способствовать продаже их по соответственным ценам. Но обман был легко обнаружен, потому что песок, насыпанный в какую-то яму, был явно сибирский и не находился на берегах Чороха. Как-то был причастен к этой комиссии и папа. После расследования он привез мне с этого места подсыпанного магнитного железняка с мелкими блестками золота. Мне очень нравился этот угольно-черный песочек, из которого я извлекал булавкой крупички золота и сам блистал в своих собственных глазах заимствованным блеском золотопромышленности. Хранился он у меня в деревянном футляре от термометра, откуда я по временам высыпал его на лист бумаги и смотрел, как он притягивается магнитом. Разоблачение описанного обмана мне не нравилось. Во-первых, моя мысль не вмещала мошеннических проделок, я не понимал корыстной стороны всего этого дела, и оно представлялось каким-то недоразумением. А во-вторых, огорчительно было, что папа сомневается в настоящей золотобогатности нашего Чороха, конечно, несомненной, раз издалека к нам приезжал Ясон. Миновав это все еще остававшееся для меня под вопросом место неудавшихся приисков, дорога поворачивает в узкое ущелье Чороха и идет над отвесным, скалистым его берегом, тогда как с другой стороны дороги высятся скалы и лесистые горы. Такие же горы поднимаются на другом берегу Чороха. Любо было видеть, как туманно-голубые во влажной батумской атмосфере Аджарские горы на наших глазах, по мере приближения к ним, синели, затем начинали чернеть и, наконец, оказывались зелеными или черно-зелеными, если это не была зима, тогда как на вершинах их долго держались сверкающие снега и почти всегда по утрам и по вечерам клубились туманы. Отвесные скалы во многих местах прикрыты чистейшими белыми вуалями водяных брызг и пены от бесчисленных ручьев, падающих сверху и разбивающихся с такою силою, что воды не остается и в помине.

Я особенно любил великолепные базальты с их вертикально стоящими шестигранными призмами, черные и еще более чернеющие от влаги. Высоко, так высоко, что и голову не закинешь, подымается почти отвесная широкогрудая лестница базальтовых столбов, с четко срезанными вертикальными гранями и точно горизонтальными шестигрунтовыми площадками. И вся эта огромная поверхность

во всю свою высоту и ширину задернута прозрачной нежно-белой водяной тканью и дышит прохладой и чистотою.

1923.IV.21. Столбчатая отдельность базальтов проявляла мне, как я чувствовал, внутреннее строение скал и перекликалась с моими любимыми кристаллами. Когда не удавалось добраться до строения и какой-либо материал стоял пред глазами слитной массой, чувствовалась стена, отделяющая от природы, каменная стена тайны. Напротив, всевозможные отдельности, слоистости, порядок и ритм показывали доверие природы и радовали — не рациональностью, ибо что ж тут рационального, когда их самих нужно объяснять, а именно доверием, открытым пульсом жизни природы. На Аджарском шоссе я с детства приучился видеть землю не только с поверхности, а и в разрезе, даже преимущественно в разрезе, и потому на самое время смотрел сбоку. Тут дело совсем не в отвлеченных понятиях, и до всего, указываемого мною, чрезвычайно легко подойти, руководясь рассуждениями. А дело здесь в всосавшихся спервоначала и по-своему сложивших всю мысль привычках ума: известные понятия, вообще представляющиеся отвлеченно возможными, сделались во мне необходимыми приемами мышления, и мои позднейшие религиозно-философские убеждения вышли не из философских книг, которых я, за редкими исключениями, читал всегда мало и притом весьма неохотно, а из детских наблюдений и, может быть, более всего — из характера привычного мне пейзажа. Эти напластования горных пород и отдельности, эти слои почвы, постепенно меняющиеся, пронизанные корнями, этот слой дерновины, их покрывающей, кусты и деревья над ними — я узнал о них не из геологических атласов, а из разрезов и обнажений в природе, к которым привык, как к родным. В строении моего восприятия план представляется внутренне далеким, а поперечный разрез — близким; одновременность говорит и склонна распадаться на отдельные группы предметов, последовательно обозреваемые, тогда как последовательность — это мой способ мышления, причем она воспринимается как одновременная. Четвертая координата — времени — стала настолько живой, что время утратило свой характер дурной бесконечности, сделалось уютным и замкнутым, приблизилось к вечности. Я привык видеть корни вещей. Эта привычка зрения потом проросла все мышление и определила основной характер его — стремление двигаться по вертикали и малую заинтересованность в горизонтали.

Отвесная скала слева, отвесная крутизна справа над стремительно несущимся Чорохом. Узкая дорога идет, как по полочке, и мое сердце то сжимается ужасом, что вот немножко повернут лошади в сторону и мы окажемся в Чорохе или что я как-нибудь упаду в эту пропасть,— то расширяется жадным рассматриванием теплых скал, усеянных шустрými ящерицами. Помню, один раз я зазевался на них и вывалился из экипажа, да так незаметно, что старшие не обратили на это внимания и отъехали некоторое расстояние, прежде чем хватились меня. А я лежал на дороге и, несмотря на порядочный ушиб ноги, наблюдал своих ящериц. Ради этих ящериц папа довольно часто останавливал экипаж или экипажи, и мы вылезали ловить милых зверьков. Но чаще всего эта ловля кончалась для них плохо, потому что ящерица, освободив себя от схваченного нами хвоста, убегала. Хвост же делался нам вдруг противным вследствие наших угрызений совести, хотя было занятно, но неудивительно; смотреть, как бьется он, сгибаясь кольцом то в одну, то в другую сторону. Твердо запомнились мне слова старших, что он будет биться до захода солнца, и мы уезжали далее, оглядываясь назад на бьющийся хвост.

Пропасть Чороха сама по себе должна была быть занятой. Уж одно то, что в дальнейшем своем течении Чорох был русско-турецкой границей, должно было привлекать к нему внимание. Быстрым течением этой реки стремительно несло плоты и многочисленные фелюги<sup>24</sup>, нагруженные фруктами, маслинами, маслом, медом. Даже страшно смотреть было: длинная фелюга почти падает прямо на обломок скалы в реке, и гибель узенькой, как стручок, скорлупки кажется неизбежной; но в роковой момент столкновения фелюгщик отталкивается от скалы шестом и, только что быв на волосок от смерти, пронесится мимо. И маленький, я понимал, в каком напряжении и готовности к смерти надо быть часами, чтобы сплавить свой груз до устья. Назад же предстоит томительный путь, столь же медленный, сколь тот был быстр, и столь же требующий терпения, сколь тот нуждался в бдительности; пробираясь среди побережных скал и по камням, волоком тащит на шерстяной веревке свою фелюгу владелец. Наяву я сам не сознавал, как сжималось от этого Чороха и его грозного по звукам имени мое сердце. Но зато во сне, может быть в связи с каким-то мозговым процессом моей головы, каждую или почти каждую ночь просыпался я от мучительного видения. Нагляд-

ным материалом сонной фантазии послужили в нем впечатления от Чороха, а исходным ядром образования — душевная рана, полученная в самом раннем младенчестве от моего падения с высокого берега Куры, где внизу купались мама и тетя. Крик мамы при виде того, как я качусь по откосу, причем подхватила меня только у самой воды тетя Ремсо, самое падение — все это врезано в мой организм, и мне безразлично, будут ли или нет верить, что я помню это, — настолько ярко и мучительно напоминал о себе этот случай в течение всего моего детства. Видел же я вот что: мы с папой и тетей Юлей едем по Аджарской дороге, или, чаще, я один, совсем маленький, плетусь по шоссе. Все залито знойным светом, и душно. Слева — высокая шоколадно-бурая скала, раскаленная солнцем, она вся заткана тончайшей паутиной и почти сплошь покрыта бесчисленными, только что вылупившимися паучками, немного поболее булавочной головки; большинство их ярко-красного цвета, как артериальная кровь на сильном солнце, а есть также ярко-желтые и ярко-изумрудно-зеленые. Паучки эти бегают взад и вперед, а у меня ощущение, что как-то они у меня в голове. Теперь, вчувствуясь в этот доселе стоящий пред моими глазами сон, я определенно знаю, что красные паучки были какой-то проекцией притока крови в мозговые капилляры, а желтые и зеленые — имели отношение к каким-то мозговым клеточкам или центрам; наконец, горячая, шоколадного цвета скала проэцирует во сне внутреннюю сторону моего черепного свода. Говорю же это я, не рационально толкуя сновидение, а по непосредственному ощущению, ибо я сейчас вижу каким-то другим зрением внутреннюю картину своей анатомии и вижу, как она облекается символическими образами, витающими предо мною в пространстве ином, нежели пространство чувственных восприятий. Однако все описанное доселе есть только обстановка. Суть же сновидения в том, что по правую руку от дороги, по которой я иду, — отвесный берег реки, в которой тонет мама и кричит не своим голосом, а иногда сюда присоединяется еще и тетя Юля, тоже тонущая. Мне смертельно жаль маму, я силюсь помочь ей, но не в силах двинуться — словно связан, спеленут по рукам и по ногам, а кого-нибудь другого тут нет или же они не слышат ни криков мамы, ни моих порывов, — говорю, порывов, потому что и сказать им я ничего не могу. Маму я, собственно, не вижу, а только слышу ее, главное же — непосредственно знаю, что она там внизу. На этом мучительном чувстве бес-

помощности и полной невозможности помочь, обливаясь слезами, я каждый раз просыпался. Почему-то этого сна в детстве я никогда никому не рассказывал, несмотря на упорное старание взрослых добиться, о чем я, собственно, плачу и чего я испугался. Я ощущал виденное во сне настолько в каком-то своем смысле реальным, что, казалось, одно слово о виденном — и та реальность прорвется сюда, в эту жизнь, угрожая маме. Я знал про себя, что от малейшего моего намека должно произойти что-то бесповоротное и губительное, притом именно в отношении мамы, и потому держал на запоре — своим молчанием — сонную угрозу.

Так фаэтон катил над грозным обрывом, а на другой стороне дороги со скал били холодные ключи и свисали яркие цветы.

Правая сторона дороги была защищена каменной стенкой. Вдоль стенки, на правильных между собою расстояниях, стояли пологими конусами кучи щебня. Иногда попадались рабочие, греки или персы, разбивавшие молотами булыжник. Иногда папа останавливал палкой фаэтонщика, чтобы осмотреть заготовленный щебень. Куча промерялась особым наугольником, затем разметывалась с целью проверки, не содержит ли она в себе земли. При этом разметывании кучи я тоже бросался осматривать щебень, разыскивая интересных минералов, и нередко находил жемчужины агата или сердолика, искрящиеся друзья горного хрусталя, дымчатого топаза или бледных аметистов в кварцитах, занимавшие меня куски фосфорита, при трении друг о друга издававшие фосфорный запах и светившиеся в темноте, включения колчеданов. Затем мы бросались испить от холодного хрустального ключа, бьющего из скалы, и нарвать цветов, за которыми приходилось лезть на скалы. Но нас уговаривали оставить это до обратного пути, чтобы цветы не повяли. Следовали дальше.

Уже с нетерпением считаем версты на столбах. Вдруг ущелье расширяется — ощущение, как если бы пробку проталкивал в бутылку, и вдруг она провалилась. Это станция Аджарис-Цхали, узел двух ущелий и место впадения в Чорох реки Аджарис-Цхали. Отсюда одна дорога, по мосту переходя Чорох, идет по ущелию Чороха — на Артвин, а другая, по Аджарскому ущелию, — на Ахалцых. Папа, собственно, строил Батумо-Ахалцыхскую дорогу, а Артвинскую — наш знакомый инженер Пассек. Но мост через Чорох — папиной постройки. Я помню, раньше тут



был паром на каюках, и, приезжая в Аджарис-Цхали, мы обязательно совершали паромную переправу на другой берег — жуткое удовольствие ощущать, как паром, увлекаемый стремительно-мощным течением, кажется, вот-вот сорвется с каната. Потом, на моей памяти, стали свозить в Аджарис-Цхали большие железные трубы, фермы, бочки цемента, лебедки и краны, а к одному из приездов появился и мост; но он отнял что-то от дикости нашего Аджарис-Цхали и лишил нас парома.

Мы прочно считаем Аджарис-Цхали своим поместьем, гораздо более своим, нежели батумскую квартиру. Тут все уже поделено между мною и Люсей. Речка при въезде в Аджарис-Цхали — моя, и взрослыми называется не иначе, как Павлина речка. Она стала моею, когда Люся была еще совсем мала и не стремилась к собственности. Но в одну из поездок, услышав о Павлиной речке, Люся вдруг сообразила усмотреть здесь обиду для себя, раскапризничалась, как она вообще умела капризничать. Ее еле успокоили, сделав компенсацию из ручья, протекавшего несколько далее, за Аджарис-Цхали. Правда, этот Люсин ручей был менее Павлиной речки; но, я помню, у него оказались какие-то свои достоинства, так что мне стало завидно.

Оба этих горных потока впадают в реку Аджарис-Цхали, протекая по сравнительно небольшим ущелиям. А между ними, на пригорке, стояла каменная двухэтажная инженерная сторожка для остановки проезжающих. В нижнем этаже жил чрезвычайно преданный папе, как и все папины подчиненные, сторож Ахмет, а в верхнем — было две или три комнаты, разделенные коридором. Мы считали эту сторожку собственным нашим домом, т. е. не отца своего, а нашим, детским, и одна комната была моя, другая — Люсина. Приехав, располагались в этих комнатах гораздо свободнее, чем дома: ведь дома нужно было соблюдать порядок, не разводить грязи, а тут, в почти пустых комнатах, можно было делать все, что угодно. Раз или два за все время какой-то проезжающий инженер остановился в одной из этих комнат. Хотя он весьма скоро уехал, но нашему внутреннему негодованию и ревности не было конца. Мы не могли понять, как смеет «какой-то чужой человек» располагаться в нашей сторожке и почему папа, столь внимательный ко всем нашим прихотям, не примет мер, чтобы удалить незваного гостя. Мое негодование смягчалось только тем, что занята была Люсина комната, а не моя.

Нас встречал приветливый к нам Ахмет, которого мы очень любили. Он был аджарец. Это — народ картвельской группы, весьма близкой к грузинам, населяющий долины Чорох и Аджарис-Цхали. Находясь то в пределах Турции, то на границах ее, это племя, когда-то христианское, издавна перепло в магометанство, но не стало, как случается с ренегатами, фанатиками новой веры. Почти поголовно разбойники, они в то же время скрытны, умеренны и, как все разбойники, знают чувство преданности. По Батумо-Ахалцхской дороге редко кому удавалось проехать в то время, не будучи ограбленным, несмотря на сопровождение стражи и на оружие. Даже поездка в Аджарис-Цхали в те времена, т. е. в восьмидесятых годах, считалась далеко не безопасной, и многим такой пикник не проходил без большой неприятности. Но я, по крайней мере внутренне, радовался, что мои аджарцы защищают мои владения от непрошенных гостей. Несомненно, я, хотя и не зная этого названия, чувствовал себя феодалом, а со стороны аджарцев действительно не видел ничего, кроме знаков верноподданства. Это не было детским самообольщением; но это не было и столь само собою разумеющимся, как представлялось мне, ибо происходило в силу совершенно исключительных отношений этих аджарцев к моему отцу.

С ним на этой дороге ни разу ничего не случилось, даже встречи неприятной не было, и вещей с задка фаэтона у него никогда не отрезали. Между тем отец всегда отказывался от стражников, предлагавшихся ему властями ввиду опасности подобных разъездов, и не только не возил с собою, но и дома не имел никакого оружия: единственное, с чем он ездил,— была палка. Мало того, он не давал поблажек и требовал от служащих «добросовестного», как он обычно говорил, отношения к делу, и если усматривал противное, то по вспыльчивости мог сильно накричать.

1923.  
IV.22

// Он требовал абсолютной чистоты, и малейший признак неряшливости, грязи и беспорядка мог вызвать в нем приступ гнева, правда, очень кратковременного, но — до самозабвения. В частности, абсолютная чистота требовалась им и на всем протяжении шоссе. Он выходил из себя, заметив на шоссе сколько-нибудь пыли, немного земли, бумажку или щепки. Когда он еще кричал, рабочие претерпевали гнев, принимая его как должное; но высшей мерой гнева — уже нам непереносной — было другое — это молчание папы: выхватив метлу у ближайшего из рабочих, папа начинал усиленно мести сам и делал это довольно долго. Возможность этого знали и чрезвычайно боялись ее,

рассматривая как свой позор. Однако, несмотря на все эти вспышки, все служащие были очень преданы папе за его справедливость, благожелательность и щедрость. По тесной клановой сплоченности всех аджарцев, преданность одних, служащих, обязывала к тому же и всех прочих. Сам того не зная, папа всегда окружен был стражей, готовой отстаивать его от малейшей неприятности, и даже те, посторонние, кого поручал папа кому-нибудь из служащих как своих гостей, пользовались тою же безопасностью. По-видимому, папа даже не вполне сознавал, под какую угрозою находился бы он, если бы не был признан горцами законным главою аджарского ущелья. Уже после кончины его, один из служащих приехал в Тифлис искать у отца места себе и, узнав, что его уже нет в живых, расплакался и стал восхвалять его. А затем он рассказал об этой охране его в Аджарии самими горцами и, в частности, вспомнил один случай, отцу моему оставшийся неизвестным: однажды он ночевал в сторожке на станции Хулó. Прослышав, что кто-то остановился на ночевку, окрестные разбойники явились шайкой сделать свое дело. Но их встретили бывшие тут служащие и объявили, что они не допустят даже разговоров, которые могли бы взволновать их начальника, и разбойники мирно разошлись по своим аулам. Рассказчик говорил мне, что без такого вмешательства отец тогда же не остался бы в живых.

Вот эта-то преданность отцу распространилась и на нас, и я ясно чувствовал себя владетельным князьком Аджарских гор.

Вышедший навстречу Ахмет вносил меня на руках по лестнице, а Люсю, если она тоже приезжала, нес сам папа. Умывшись холодной водой из ключа, мы, больше я, бежали в ущелие моей реки. В это время ставился самовар, варились крутые яйца и жарились на вертеле куры, неизменная принадлежность Аджарис-Цхали, и иногда — варилась в соленой воде аджарис-цхальская форель с красными пятнышками по бокам. Кроме того, неизменно же подавался Ахметом кукурузный хлеб — чад, мацони, т. е. особого вида кислое молоко, в глиняной чашке и лепешка местного сыру, весьма странного и до сих пор мне непонятого по своему сложению: он состоял из длинных упругих волокон, наподобие туго спрессованной кокосовой мочалки для мытья, и стоило схватиться за конец этих волокон, как сырная спираль разматывалась. Все это было очень свежее, а после поездки, двухчасовой или более,

елось с большим аппетитом. Но мирность нашего завтрака каждый раз нарушалась делением адажарис-цхальской курицы. Большинство частей ее были именные, и нарушить права собственности представлялось нам почти в том масштабе, как теперь представляется нарушение международного равновесия. Малейшая невнимательность со стороны тети Юли или кого-либо еще из старших — и возникла угроза основам мировой справедливости. Это — не преувеличенный способ выражения: правовые понятия мои были абсолютными и, несомненно, были священными нормами. Тут дело — не в любимых кусках, а именно в сознании вековых устоев священного права; уступить — я уступал охотно, но я не мог допустить невнимательности к порядку, который, казалось мне, коренится в существе вещей. Я — хозяин Аджарис-Цхали (остальные участвуют в этом только из-за меня), и было бы порухой моему владетельному достоинству легкое отношение к древним ритуалам, — а я ощущал себя незапамятные годы владеющим этим феодем, другого владетеля, казалось мне, у этих мест никогда не было, и, хотя я знал, что некогда родился и даже любил считать себя и называть маленьким, но в вопросах, подобных владению Аджарис-Цхали, отношению к родителям и т. д., определенно ощущал себя над-временным. Знаком моей вечной власти была аджарис-цхальская курица или куры. Некоторые части я и не любил, и, главное, считал невозвышенными. Но их как раз ценила Люся. Поэтому, когда ей давались куриные ноги, я нисколько не возражал, да и не посягнул бы на часть, принадлежавшую ей по праву; моими же были крылья, высушенные и поджаренные в пламени до полной твердости. Я с удовольствием грыз их, особенно кончики, причем мне нравился запах подгорелого мяса и возвышенность названия: в моем делении вещей и явлений полет и крылья относились к разряду благородного и поэтического, о чем я никогда не мог подумать без трепета, тогда как хочьба и ноги — к житейскому и прозаическому. Владетелю Аджарис-Цхали, конечно, приличествовала хотя и тощая, но благородная часть, а вульгарная мясистость ног не делала их достойной пищей. Далее, Люсе принадлежала печенка, а мне желудок. В дряблом сложении печени и в ее жирности я ощущал нечто низменное, и даже когда за отсутствием Люси мне предлагалась и печенка, я отказывался от нее, как от чего-то ниже моего достоинства. Напротив, напряженная упругость желудка и опре-

деленность структуры его ткани свидетельствовали мне о достоинстве этой части. Конечно, тут значил нечто и вкус; но главными все же были соображения о достоинстве, может быть, и смутные, но метафизического порядка. Белого мяса мне хотелось, и, при случае, я ел его. Но так как ценил его я лишь в порядке вкусовом, метафизически же его достоинство не было мне ясным, то настаивать на грудинке я никогда себе не позволял: требовать метафизически безразличного и, следовательно, обнаружить свое стремление к еде как чувственному вкусовому предмету значило в моих глазах утратить свое священное достоинство и лишиться какого-то сана. Наконец, самый трудный вопрос дележа были яйца, не вареные яйца в скорлупе, а — из курицы. Мои интересы тут сталкивались с Люсиными. Правда, в обыкновенных крутых яйцах желток, как желтый, жирный и слишком материальный — рассыпается и мажется, — представлялся мне не из числа возвышенных предметов, не в пример белому, таинственно голубеющему и упругому белку. Ценил я лишь этот последний, тогда как у Люси был взгляд обратный, и потому мы обменивались нелюбимыми частями яйца. Но яичные желтки непосредственно из курицы, во-первых, — таинственны по самому происхождению. Эти яйца надо было разделить, начиная с наибольшего, одно мне, другое Люсе, одно мне, другое Люсе. Но трудность — кому первое. Конечно, я считал, что первое приличествует мне; но тут Люся нередко подымала скандал и тем получала желаемое, а я успокаивался тогда на мысли, что доставшиеся мне в виде компенсации самые мелкие яички в неопределенно большом числе и несут в себе самую тайну.

После завтрака, со всеми его подводными камнями, надо было приступить к наиболее важному — цветам. Выходили все, рассыпаясь в разные стороны. Позади сторожки была поляна. Теперь там густые насаждения субтропических кустов и деревьев, сделанные папой. Помню, как в один из приездов мы нашли всю нашу поляну изрытой ямами, и среди них одна была особенно велика. Около сторожки лежали и стояли растения, привезенные, помнится, из Сухума. Папа распорядился о посадке этих растений при нас, и мы тоже посадили, каждый себе на память по дереву. Все насаждения были сделаны; общее недоумение возбуждала огромная яма, причем уже не оставалось непосаженным ни одного дерева. Тогда привезенный садовник, на дружный смех всех рабочих, вынес из сторожки еле видный саженец,

который объявил кедром. Сад этот впоследствии пышно разросся, но кедр, несмотря на тщательную разрыхленную и заготовленную для него почву, не принялся.

Вот на этой-то полянке, и до, и после насаждений, мы начинали свои цветочные сборы, а оттуда, увлекаясь, шли и ползли далее, хотя это считалось не совсем безопасным,— кажется, из-за змей, которые выползали из-под всех кустов и, шелестя листьями, скрывались в сплошных зарослях.

Кто не видывал собственными глазами лесов Черноморского побережья, и в особенности аджарских, тому трудно дать представление о преизбытке растительной жизни, делающей здешние заросли сплошным клубком, сплетающихся между собой стволов, гибких стеблей, растительных плетей, веток. Растения тут громоздятся друг на друга; разные виды плюща снизу доверху обрастают стволы каштанов, ясеней, дубов, диких яблонь и груш и т. д. Но эти красивые, покрытые темно-зеленой мозаикой плющевых листьев стволы обречены на гибель, и можно видеть много деревьев, уже засохших и гнилых, стоящими, а то и упавшими от этого украшения. Между больших деревьев — меньшие: жесткая зелень кавказской пальмы, или самшита, произрастающей здесь, стволы до пол-аршина толщиной поперечником, джонджали, хурма, разные виды алучи, мушмала, негнап.

По деревьям вьется виноградная лоза, все переплетено колючими и словно стальными стеблями салсапарели, ежевикой и другими вьющимися растениями. Они взбираются по стволам до вершины деревьев и свисают оттуда мощными сплетениями, перебрасываются с дерева на дерево, перепутываются между собою, загораживают непроходимыми заставами все проходы. Пробраться сквозь эти лианы нет никакой возможности. Не видишь нечего, кроме таинственного зеленого полумрака, ни вверх, ни вниз, ни по сторонам. Не понимаешь, куда идешь, на что ступаешь. Под ногами огромные, густые, пахнущие не то огурцами, не то сыростью, папоротники весьма различных видов, по сторонам везде задержки, и бесчисленные шипы вонзаются так, что не сделать ни шагу. Если как-нибудь все-таки забрести в такой лес, то в нем пришлось бы погибнуть, несмотря на обилие растительной пищи. И мы, конечно, не осмеливались делать такие попытки, хотя с удовольствием собирали различные плоды и ягоды при входе в него. Лесной виноград, одичавшие яблоки и груши — вероятно, остатки ста-

ринных садов, ягоды салсапарели, ежевика, земляника и полевая клубника, хурма и мушмала, плоды которой называются на Кавказе «шишками», крупные ягоды шиповника, черника, каштаны, грецкие и мелкие орехи, буковые орешки, ягоды жидовской вишни и многое другое доставляли нам окраины лесных зарослей. Были там также дикие абрикосы, очень вкусные, но почему-то считавшиеся вредными и нам почти запрещенные. В разные времена появлялись разные добычи, иные, вроде винограда, хурмы и шишек, были хороши лишь после первых заморозков, но зато держались на деревьях всю зиму. Наиболее же достойными внимания казались нам, в связи с далеким севером, березы и рябины, которые росли в горах и о которых сообщал нам папа. Грозди рябины после заморозков доставлялись нам из Аджарии и шли на варенье. Но плоды и ягоды считались нами за баловство, а делом были цветы. Они появлялись в Аджарис-Цхали и вообще в окрестностях Батума рано, приблизительно с половины января. Сперва крокусы, колхики: белые, розовые, сиреневые, иногда фиолетовые безлиственные вестники весны покрывали своими чашечками все поляны. Затем «молочный цвет», по выражению древних, подснежников, *galanthus nivalis*<sup>25</sup> и другой, двух видов, из которых с более крупными, но более грубыми цветами произрастал на болотах и был потому нам мало доступен, а другой — более благородный, по моей оценке, можно было находить и на сухой почве. Я волновался изысканным видом этих цветов с тремя осями симметрии, двойным рядом лепестков различной формы и тонким зеленоватым ободочком, в сочетании с белой краской всего цветка и желтыми тычинками казавшимся мне исключительно изящным. Принадлежность подснежников к луковичным, их трехосность, почти до флюоресцирующего самосвечения яркая желто-зеленость их листьев и стеблей, упругая сочность всех растений, всюду упругих, тонкая перепонка на цветочной стрелке, застенчивая опущенность цветочного венчика, свисающего колокольчиком, наконец, первое появление его после зимы, хотя и слишком недолгой в нашей Колхиде, — все делало этот цветок мне родным. Другой же вид, более пышный и менее упругий, я признавал лишь за сходство с этим.

1923. IV. 24. Начиная с поздней осени и до ранней весны по Аджарской дороге находили мы рождественскую розу. Этот крупный и грубоватый цветок, с жесткими лепестками, без запаха, казался скорее занятым, нежели

привлекательным, по своему названию и странному, грязно-бледно-зеленому цвету своих лепестков, тычинок и пестика. Странно было видеть цветок, малоотличающийся по окраске от листьев и стебля; вид его и цвет были совсем ноябрьскими — хмурые, угрюмые, враждебные. Сюда присоединялась еще его ядовитость. Он был для нас цветком зимы. Напротив, о наступлении весны мы узнавали по фиалкам и цикламенам. Обыкновенно старались не пропустить первого появления этих цветов, всегда распускавшихся вместе. Отправлявшимся по дорожным делам служащим папа наказывал посмотреть, не распустились ли они, и оповестить, когда это случится. Получив эту весть, папа объявлял нам: «Фиалки и цикламены распустились», — вероятно, не менее торжественно афинского жреца, провозглашавшего наступление весеннего праздника цветов — анфестерий, и это значило: на днях едем в Аджарис-Цхали. Бедный папа. В своих заботах о семье ведь он восстанавливал культ ларов и пенатов, только обратно — из прошлого в будущее; а в любви к природе — тоже древнее культовое отношение к ней. Я радовался цикламенам, потому что казалось нарушением всякой правды не восхищаться этими нежными розовыми цветами, иногда красными, иногда сиреневыми, с тонко проработанной окраской их лепестков, с красными хрупкими цветоножками, со странными сердцевидными листьями и еще более странными, несколько приплюснутыми в виде апельсина клубнями. Серовато-зеленый цвет листьев, их красный испод, тончайшая зернистость лепестков и листьев, искрившаяся на солнце, — все это должно было привлекать к этому растению. Но чувство к природе так же прямолинейно, как и чувство к человеку: я был враждебен к цикламенам за какую-то, почти неуловимую, нескромность, за нарочитую изысканность отворота их лепестков. Они казались мне прямою противоположностью своим же ближайшим родственникам — фиалкам, с их теплым благоуханием, с их бездонным пурпуровым бархатом венчиков, оттеняемым золотисто-оранжевыми тычинками, и с тончайшими темно-пурпурными прожилками лепестков. От папы я знал, что не удастся искусственно составить эфирное масло фиалки (— это удалось значительно позже), как не удастся извлечь его из самих фиалок. Цвет их — подлинный цвет — древнего священного пурпура. И вместе с тем эти священные глаза природы, царственные и благоуханные, прячутся, издали лишь объявляя себя нежным запахом. Есть только один запах, род-



ственный этому, хотя несколько грубее, а также — сильнее. Я волновался им, долго не быв в состоянии себе уяснить, почему вдруг так пахнёт иногда, явно, что издали, фиалковыми лугами. Расспрашивал, и никто не давал ответа. Наконец, нашел сам источник этого благоухания в цветочках, еще более скромных и видом, и цветом: благоухала распускающаяся виноградная лоза с высоких дерев. Потом детством пахнуло мне уже в Академии со страниц Библии, когда самым признаком весны в Песне Песней указывается:

«И виноградная лоза, распускаясь, издает благоухание»<sup>26</sup>.

Так и весна моей жизни была провеяна для меня этим благовонием фиалки и виноградной лозы.

Среди первых цветов батумской весны с детства мне запомнились также первоцветы — примулы. Сперва распускался розовый вид с отдельными цветами, затем — и другой розовый, у которого на стрелке подымается цветочная кисть, затем — желтый, теплого, иногда персиково-желтого цвета, тоже с цветочными кистями, несколько напоминающий среднерусские баранчики. Но легкий персиковый запах северных баранчиков там был густым, словно от корзины настоящих персиков, и необычайно вкусным, хотя и слишком сытным, съедобным слишком для цветка.

В Аджарис-Цхали, преимущественно в тенистых местах, скромно прятался приятно глубокий темно-голубой барвинок; выскакивали из земли синие подснежники (*scilla amara*), идущие там в посоленном виде на еду; любимые мною полевые гиацинты (*muscaris*), темно-синие, темно-фиолетовые и темно-голубые, иногда почти черные, привлекали меня своею луковичностью, тугою плотностью своих кистей из четко точеных шариков, в которых, при внимательном разглядывании, можно было рассмотреть множество мельчайших, четко проработанных подробностей. Было немало ирисов, фиолетовых и желтых, из которых первые росли в воде источников и отличались крупными цветами. Я знал, что из корня их делается «фиалковый порошок», и это само по себе было достоинство в моих глазах. Была привлекательна непонятная мне трехосность их цветов, уплощенность их листьев, их воздушность. Но и они одобрялись мною как-то формально, с тайным неодобрением их нарочитой поэтичности, слишком явной нарядности, через несколько минут превращавшейся в букете в слизистый черно-фиолетовый комочек. Меня самого удивляет детская

двойственность: наряды весьма занимали меня, изящный костюм и забота о нем вовсе не представлялись пустяком, несмотря на внушения мамы. Но когда я в природе усматривал малейший оттенок вычурности, я сразу утрачивал личное нежное чувство и смотрел внешним взглядом. Пурпурные кашки, чудесные темно-голубые болотные незабудки, глубоко-синие горечавки и другие простые цветы были мне гораздо ближе, и я чувствовал их себе родными и потому старался оказать им полное внимание. Во мне жило убеждение, убеждение моего сердца, что цветы — мои цветы, любимые мною, — любят меня, цветут именно для меня и что мое невнимание к их красоте было бы оскорблением, скорее ранюю, их горячему ко мне чувству. Люди, и тогда, и после, казались мне самостоятельными и свободными, так что каждый любит или не любит — по своему желанию и, не получая ответа, не только не должен жаловаться, но и огорчаться. Когда впоследствии я стал глотать романы Вальтер Скотта, любовные вздохи мне казались настолько бессмысленными, что я считал этот род явлений придуманным нарочно для фабулы романа и не верил искренности этих томлений. Совсем другое — цветы. Они любят меня, потому что не могут не любить, для любви и вырастающие. Правда, любят не все: есть грубые цветы, вроде рождественской розы или царского скипетра, которые тупо воспринимают жизнь. Есть также самодовольные цветы, занятые самими собою, вроде цикламенов и ирисов. Но большинство цветов видят во мне своего повелителя и друга. Не сорвать такой цветок и не повезти его домой, когда он только и ждал моего приезда и нарочно к этому времени распустился, — разве это не значит огорчить его в лучших его чувствах? И я старался, сколько хватало сил, никого не обидеть. Не разгибая колен и ползая на животе, я собирал, собирал до изнеможения, относил к тете Юле вороха цветов, потом бежал на новые сборы, опять притаскивал ей и опять убегал, заваливая ее цветами. Меня уговаривали: «Посиди, отдохни», — но я отзывался недосугом: «Надо порвать еще цветочков», — и снова убегал.

В тете Юле чувствовалось мне сочувствие, и не знаю, было так или мне казалось, она молчаливо разделяет мое отношение к цветам. Своим долгом, долгом ответной любви, считал я оборвать все цветы до единого, все, а тем более — все фиалки. Но предо мною расстилались густо поросшие цветами, теми же фиалками, поляны, за полянами — другие, и все, как в лучшем цветнике, сплошь покрытые

цветами. Как ни старался я, а моей работы даже на ближайших местах не было нисколько видно: ведь вороха цветов можно было набрать там, не сходя с места. К тому же при обсуждении отдельных цветов я мог почувствовать относительно их нечто неодобрительное, но цветочное царство в целом — любил до самозабвения и считал, что я не могу не любить его, если даже моя фамилия, — как я тогда думал, — происходит от Флоры, богини цветов. И потому внутренняя необходимость собирания цветов распространялась на все царство Флоры. Я рвал и рвал, а предо мною простирались горы, все склоны которых были покрыты цветами, и тогда я начинал чувствовать, что обиженных останется целое Аджарис-Цхали.

День клонится к вечеру, папа зовет нас собираться домой. Я говорю «сейчас» и продолжаю рвать; потом снова зовут: «Папочка, подожди немного», — и опять рву, уже судорожно, а сам плачу от жалости, целую цветы, обливая их слезами, испрашивая прощения, обещаю очень скоро снова приехать и тогда уж наверное сорвать их. Тем временем старшие ломают огромные букеты рододендронов, великолепных, розовых, белых, красных, сиреневых, с крупными, но, к сожалению, легко опадающими венчиками и красивыми глянцевидными листьями. Этот вид, растущий большими кустами, не следует смешивать с понтическим же видом рододендрона, мелкокорослым и сравнительно мелкоцветным, сплошными непроходимыми зарослями по многу квадратных верст покрывающим Кавказские горы и растущим так плотно, что иногда происходят пожары их от самовозгорания. В Аджарис-Цхали рос более благородный крупный вид.

Кроме того, неременная принадлежность аджарис-цхальской поездки — не менее огромные букеты, темно-желтых азалий, так густо цветущих, что их клейкие от смолстого сока ветки имеют даже мало листьев.

Все эти букеты, венки, ветви, венки, куски дерна, целыми растениями, наконец, просто охапки цветов с большим трудом и совокупными усилиями всех, начиная от папы и кончая Ахметом, размещаются в фаэтонах буквально со всех сторон, так что нам самим еле можно втиснуться. Цветы привязываются на задок, на верх фаэтона, который обыкновенно подымается из-за наступившей вечерней сырости, всовываются в фонарные кронштейны, на козлы фаэтонщику, кладутся ему под ноги, надеты у нас на головах и ими заняты все руки. Когда уже мы уселись,

укутавшись обязательным пледом, Ахмет заставляет подножки фэзтона новыми связками привязываемых там цветов. Наконец упаковка нас с цветами кончена, и папа говорит извозчику: «Пошел». Мы выкруиваем прощание Ахмету и другим служащим и милостиво утешаем их в своем отъезде, обещая скоро приехать снова. Из-за передней скамейки теперь уж особенных споров не происходит: прохладно, и мы скорее стараемся втиснуться в теплое гнездышко между взрослыми или мирно устраиваемся на дне кузова среди цветов и под пледом.

По шоссе катится цветочная корзина, теперь уже быстро,— тогда как туда экипаж ехал, постоянно замедляемый отцом.

Не останавливаемся, насыщенные и впечатлениями, и цветами, благоухание которых к ночи окружает и фэзтон. Наскоро съедаем чего-нибудь, не останавливаясь. Вот чернеет и марганцевая гора при въезде в Чорохское ущелье. Значит, недалеко и Батум. В полутьме мелькает негрская колония, проезжаем по последнему мосту, и вот уже нас целует мама, соскучившаяся по нас, как будто мы уезжали на год. В доме тепло и светло, на столе дымится горячий ужин. После ужина наскоро раскладываются в сосуды с водою привезенные цветы; кроме многочисленных ваз,— из них некоторые совсем большие,— приходится занять под цветы и салатники, и супники, и блюда, и глубокие тарелки, и стаканы... Чистовой разбор цветов предстоит завтра, с утра, лишь только встанем. А сейчас сквозь полусон я слышу беспокойные разговоры старших, что нельзя же оставлять на ночь в комнатах такое количество сильно пахучих цветов, особенно азалий. Папа напоминает случаи, едва ли не батумские же, когда неопытные приезжие любители цветов засыпали и уже не просыпались, поставив на ночной столик возле постели один только букет этих желтых понтических азалий. Он рассказывает также, уже не в первый раз, что благоуханнейший мед с этих цветов смертелен, он убивает при еде одним только своим ароматом; изредка он попадает у нас на рынке, но знающие люди тщательнее избегают его. Действительно, азалии изливают по всем нашим комнатам крепкий до едкости запах. Это не душный запах черемухи, не липкий запах многих садовых растений; в нем нет ни приторности, ни влажности, ни чувственности — он строг, отчасти напоминая некоторые сорта ладана. Безмерно превосходящий по силе прочие благоухания, которыми сейчас наполнен воздух всей квар-

тиры, и заглушающий всех их запах азалий не кажется, однако, навязчивым или неприятным: просто воздух стал плотным, как прозрачное твердое тело. Но кажется ли это мне со сна или есть на самом деле, а я вижу стремительно несущиеся от азалий по воздуху тончайшие, как те лучики, что окружают ночник при зажмуренных глазах, с мой тогдашний палец длиною, стрелы. Они того же янтарно-желтого цвета, как и самые цветы, их рассылающие. Они несутся потоками воздуха и так тонки, что втыкаются своими ядовитыми остриями без боли. Но если их воткнется много, то умрешь, отравленный этими стрелами, похожими на золотые стрелы Аполлона<sup>27</sup>. В полусне же я слышу, как взрослые, закончив свой ужин, двигают стульями и уносят часть губительных цветов наружу, и я засыпаю, как это весьма редко случается, без мучительного ворочания с боку на бок и сплю без кошмарных снов всю ночь.

#### 〈IV. РЕЛИГИЯ〉

Мне было, вероятно, лет шесть. Мы шли с папой по городу. Когда проходили мимо церковной ограды, нам повстречался местный священник. Вероятно, только что кончилась литургия, он был в фиолетовой камиллавке. Вдруг, к моему смущению, он поздоровался с папой, и папа начал с ним о чем-то говорить, как я почувствовал — предупредительно. Я же переминался с ноги на ногу и выглядел исподлобья. Прощаясь, священник вынул из кармана просфору и дал мне, но я испугался, и тогда взял просфору за меня папа. После этого мы ходили по городу, и я постарался сделать, чтобы папа не сказал ни слова о происшедшем — так оценивалась эта встреча со мною. Но, по-видимому, папа не придавал ей особого значения и вовсе не говорил об ней. Только по возвращении домой слегка шутивным тоном сообщил тете: «Вот Павля получил просфору», — и хотел отдать ее мне по принадлежности. Меня охватило невыразимое смущение, я убежал в самую дальнюю комнату и, спрятавшись под кровать, слышал оттуда, что просфору клали в буфет. Впрочем, все церковные термины в этом рассказе я применяю задним числом, тогда же просфора и все подобное было для меня «то» и «оно». Церковь, в которой я никогда не был, священник, к которому никогда не приближался, странный вид и невиданно

белый у хлеба цвет просфоры, все вместе чрезвычайно насторожило мое чувство **особенного**, и я смущался, стыдился и боялся всего этого именно потому, что остро сознал как необыкновенное. Мне страстно хотелось взглянуть на свою просфору, но я не только мучительно стеснялся спросить о ней у старших, но и сам наедине не смел открыть буфет, чтобы посмотреть ее. Около месяца шла во мне внутренняя борьба; наконец, решил: тайком залез в буфет, но просфоры не оказалось. Еще через большой промежуток времени, делая над собою большое усилие, но приняв тон небрежный, я спросил об ней, как бы между прочим, у тети Юли. «Она тебе была не нужна, и ее отдали няне», — такой был несколько подчеркнутый ответ тети.

Этот случай в сжатом виде представляет религиозную почву, на которой предстояло вырасти моим позднейшим убеждениям. Говоря современным языком психоанализа, во мне был задержанный аффект религиозного чувства: я был отрезан от религии столь надежно, что силою внутреннего влечения сам надстраивал воздвигнутую между мною и религиозией стену. Чем большей была религиозная потребность, тем далее я, поставленный на известный путь, добровольно и стремительно бежал от возможности удовлетворения. И хотя родители не сделали здесь никакого явного насилия, но они повернули мое духовное развитие так, что много сил было затрачено мною на построение тюрьмы для себя самого, а затем — на разрушение этих стен. Конечно, вероятно, и этому всему надлежало быть в общем ходе жизни, и я менее всего жалею на бывшее. Да кроме того, что строил, то я строил, и один за это ответственен. В моменты полного духовного освобождения, когда вдруг осознаешь себя субстанцией, а не только субъектом своих состояний, и предстоишь пред Вечным, остро и предельно четко сознается полная ответственность решительно за все, что было и есть, за состояния самые пассивные, и столь же решительная невозможность отговориться внешними воздействиями и внушениями, наследственностью, воспитанием, слабостями. Тогда ясно: нет ничего, что «сделалось», «произошло», «случилось», нет никаких **просто фактов**, а есть лишь поступки, и знаешь: совершил их я. Я — и точка; далее не может быть и речи ни о ком и ни о чем. Не иначе — и в отношении всего того, что было даже в раннейшем детстве.

Но понять содержание жизни можно лишь по связи ее с окружающим. В этом смысле мне необходимо говорить об атмосфере нашего дома.

1923.IV.24. Родители мои хотели восстановить в семье рай и в особенности детей своих держать в этом первозданном саде. Не знаю, было ли случайностью, что и я, с своей стороны, шел навстречу их желаниям; скорее, склонен я думать, что каким-то предчувствием они стали осуществлять оказавшееся в каком-то смысле возможным. Не только они хотели, но и я был способен по-райски воспринимать мир. Но в этом рае не было религии, по крайней мере, не было исторической религии. Она отсутствовала тут не по оплошности, а силою сознательно поставленной стены, ограждавшей упомянутый рай от человеческого общества. Это не было отрицание религии в порядке метафизическом, не было оно таковым во внутреннем сознании родителей, а тем более не было таковым в их высказывании. В этом отношении наша семья весьма мало походила на большинство семейств нашего круга, как неверующих, так и верующих. И для тех, и для других основные вопросы религии представлялись в то время ясными и решенными, либо отрицательно, либо положительно; соответственное решение внушалось, далее, младшим членам семьи. Таковыми были и знакомые нам семьи: в одних детям внушалось, что Бога нет, что религия — суеверие и духовенство — обманщики; в других — напротив. Но там и тут молодое поколение выросло в той или иной определенности. В нашей же семье суть религиозного воспитания заключалась в сознательном отстранении каких-бы то ни было, положительных или отрицательных, религиозных воздействий извне, в том числе и от самих родителей. Никогда нам не говорили, что Бога нет, или что религия — суеверие, или что духовенство обманывает, как не говорилось и обратного. Впрочем, тут были оттенки. Мама абсолютно молчала на этот счет, но в непроницаемом молчании ее мне смутно чувствовался какой-то тончайший запах слова «нет». Тетя тоже молчала, но по разным признакам я угадывал в этом молчании вынужденность, прикрывающую какое-то, словно глазами, «да». Наконец, папа, чрез которого проходил религиозный меридиан нашего дома, по-видимому, чувствовал себя наиболее свободно в отношении религиозного высказывания. Он говорил «нет», которое равнялось «да», и «да», звучавшее как «нет». Если я напомним, что евангелием его был гётевский «Фауст», а библией — Шекспир, то, станет окончательно ясной религиозная тональность. В отце мне часто слышались религиозные настроения, преимущественно как чувство бесконечности и параллель-

ное ей — чувство ничтожества человека, его слабости — умственной и нравственной. Отсюда естественно вытекала резиньяция <sup>1</sup>, переходившая в фатализм <sup>2</sup> и всепрощение или, скорее, всеизвинение. Отрицание религии, в смысле ли атеизма вообще или осуждения, некоторой исторической формы религии, все равно какой, вызывало в нем решительный отпор. К утверждению он отнесся бы мягче, но не преминул бы охладить жар скептической мыслью о невозможности абсолютных истин, а потому — и несправедливости утверждать свою относительную истину в ущерб остальным.

Когда мы гуляли, папа иногда, хотя и не слишком часто, как-то вскользь бросал фразу о Высшем Существо, и я никогда не слышал, чтобы он отрицал Его личность. Пожалуй, в каком-то смысле он признавал ее, но боялся какой-либо определенности в этом отношении. Иногда папа употреблял слово Божество и гораздо менее охотно — слово Бог, а когда произносил это слово, то с оговоркою, вроде: «То, что называют Богом», или «Высшее Существо, Которому дают имя Бог», и т. д. Этими оговорками он хотел подчеркнуть мне и себе, или, скорее, себе и мне, несоизмеримость Высшего Существа с человеческим познанием и с человеческим словом, и чтобы привычка к известным именам и словам не ослабила этого чувства безмерности расстояния между ним и нами, отец, как я понимаю, считал необходимым пользоваться словосочетанием и наименованием каждый раз новыми. Это значило у отца: «Я тебе не могу сказать ничего определенного по этому вопросу, тут нет никаких твердых знаний; но вот сейчас мне думается то-то и то-то». Это воздержание от имени было не из мотивов благоговения, а из познавательной добросовестности, с одной стороны, и из общественной осторожности — с другой. «Не говорю о том, чего в точности не знаю», и «избегаю в этих вещах определенности, потому что отсюда обычно возникает нетерпимость, вражда и фанатизм». Иногда от папы можно было услышать нечто вроде космологического доказательства бытия Божия <sup>3</sup>, но тоже в виде какого-то придаточного предложения, т. е. психологически придаточного, — отцу не хотелось говорить об этом в упор, предложением главным, или он считал неправильным высказывания прямые. Кроме того, и тут уже гораздо более прямо, он указывал на всенародный исторический опыт: «Если все человечество всегда имело религию, то не может быть, чтобы за этой верой не было никакой реальной основы». Поэтому папа считал легкомы-



сленным отрицание религии, но вместе с тем полагал невозможным выделить эту реальную основу из исторически сложившихся верований человечества. Как ни безнадежно звучала его оценка религии, однако, я сознаю, именно из обертонов его кратких суждений выкристаллизовались зародыши моих позднейших убеждений, что, собственно, нет религий, а есть одна Религия. Религия весьма меняет в человечестве свой вид, и весьма неодинакова ценность ее различных обликов. Но основные силы, ее складывающие, сходны. Может быть, под влиянием положительно религии Конта <sup>4</sup> или дальнейших разработателей правых контистов, из которых папа имел когда-то отношение к Гейнцу <sup>5</sup>, эмигрировавшему в Америку с именем Фрея, а может быть, и непосредственно по историческому материалу, которым папа постоянно занимался, он усматривал три основные силы, которыми складывается религия. Первая из них — это чувство мировой беспредельности и бесконечности, потерянности человека в мире, несоизмеримо большем сравнительно с его собственным ничтожеством; отсюда — стремление оформить эту беспредельность, понимая ее как существо и, по бессилию нашего ума, не умея мыслить о мировой бесконечности иначе как по аналогии с человеком. Вторая сила — это чувство связи отдельных людей между собою, в пределе образующее народы и человечество. Папа считал, однако, вопреки Конту, мысль о человечестве слишком далекой, смутной и бледной, что ли, чтобы придавать ей практическое значение; ведут человеческую жизнь связи гораздо более тесные и меньшего масштаба, но зато более непосредственно присущие нашему сознанию, именно связи кровные. Настойчиво, и чем далее, тем настойчивее, папа твердил, что это ощущение родства неотъемлемо от него, что свою жизнь он ощущает распространенной в своей семье и что эти чувства он утверждает как явление физиологическое, не может не утверждать, ибо иначе ему больно. Когда он познакомился с книгой Фюстель де-Куланжа «La cité antique» <sup>6</sup>, то нашел в ней, как говорил он, полное подтверждение своих взглядов и заставлял меня, вероятно в классе III или IV, читать ее. Об этом будет сказано на своем месте, пока же следует отметить лишь, что папа усмотрел в этой прекрасной книге то, чего он не говорил и не думал, может быть, даже, что было враждебно ему, ибо перевернул эту книгу на голову. Ведь Фюстель де-Куланж доказывает, что древняя религия была почитанием обоготворенных предков, что культ предков

определял всю гражданскую жизнь и что люди имели значение в глазах древности лишь как жрецы восходящей линии своего рода. По Фюстель де-Куланжу, глаза античного человека были всецело обращены назад, в прошлое. Папа говорил как раз об обратном и в отношении родовой связи скорее уж походил на древнего еврея, ждущего Мессию, нежели на римлянина, о котором рассказывает Фюстель де-Куланж. По многим причинам предки для отца были несуществующими, он не думал, не мог и не хотел думать о них. Основная добродетель римлян была *pietas erga parentes* <sup>7</sup>; и обладавший ею был *pius* <sup>8</sup>. Отец мой отнюдь не мог бы быть определен в этом смысле как *pius*, ибо его *pietas* была *erga pueros* <sup>9</sup>. Его взор был обращен вперед, и он хотя и не был жрецом, но вполне мог бы быть им, но жрецом линии нисходящей и, определеннее, жрецом семьи.

Помимо фактической оторванности от своего рода, он и волил этой оторванности, потому что хотел всецело предать себя иному служению, хотел свободы от предков и всех тех отношений, убеждений и чувств, к которым обязывала жизнь в роде. Общество, всегда твердил отец, складывается вовсе не из отдельных людей, этих атомов человечества, а из молекул, далее в общественном смысле не делимых; каждая такая молекула есть семья. Хорошо помню, он всегда в этих случаях пользовался терминами «атом» и «молекула». Но о роде, который есть подлинный элемент общества, делающий его историческим, папа никогда не говорил, и это тем более удивительно, что он всегда читал исторические сочинения, и в частности, если не иначе, то вынужден был бы столкнуться с понятием рода, у того же Фюстель де-Куланжа. При его уме и наблюдательности не может быть, чтобы он в самом деле проглядел эту основную историческую категорию. Мне совершенно ясно: он не видел ее, а не хотел видеть. Весь строй мысли его современников, всецело исключавший родовую связь, в данном отношении ответил каким-то глубоко личным и, по-видимому, весьма болезненным ранам души, так что папа окружил это опасное в своей душе место особой стеной, за которую раз навсегда был возбранен вход; а весь жар души, которому свойственно собратся сюда, он направил на семью. Таким образом, вторая сила религии — культ предков — в нем произвела почитание семьи, если и не культовое, то по характеру своему весьма близкое к религиозному.

Наконец, есть еще третья сила религии; это — совокупность таинственных явлений, то, что теперь называют вы-

шей психологией. Отец мало интересовался ими и, кажется, считал в духовном отношении их мало ценными, в своей, по крайней мере, жизни; если я правильно толкую его недостаточно отчетливо вспоминаемые мною слова, то отец полагал, что на земле нужно заниматься земным, а таинственному придет свое время, после смерти, хотя сейчас невозможно представить себе даже приблизительно, каково это будущее. Он не отрицал безграничности неведомого и возможности объявиться оттуда многим неожиданностям, но не видел способов точного познания этой области, да не имел и вкуса к ней, хотя «фантастика» в литературе его привлекала. Никогда я не слышал от него утверждения, что все кончается с этой жизнью, и, напротив, многие его слова имели смысл лишь при предпосылке обратной. Но и тут он избегал прямых высказываний, хотя я чувствовал за его словами благожелательность к мысли о посмертном существовании. Однако когда умерла тетя Юля<sup>10</sup> и папа пошел за мною к нашим знакомым Худадовым, куда отправили меня в день ее похорон, чтобы я не видел этого зрелища, то он сказал мне по дороге: «Твоя тетя у Бога, Он взял ее к себе» — и после этого никогда об ней со мною не говорил.

Вот три силы религии. В исторических религиях их области спутаны между собою и затуманены различными представлениями, которые не то чтобы не имели смысла, но которые настолько затемнены и трудно дешифрируемы, что невозможно разобраться в них, и, во всяком случае, это дело специалистов. Практически же пользование такими «идеями» внушает ложную мысль об абсолютной истинности и потому является вредным. Отец не был враждебен ни одной религии, но самыми здоровыми склонен был считать, как мне кажется, китайский культ предков и магометанство. Но и там, и тут он подчеркивал, как наиболее мудрую, удовлетворенность малым и настоящим, нежелание искать абсолютной истины в китаизме и нехищность культуры магометанства. Вообще же он всегда противопоставлял спокойствие и мирность Востока всегдашнему мятежью и насильничеству Запада и считал, что мудрость и правда — удел первого.

Я сказал: он не был враждебен ни одной религии; но — и не признавал ни одной. Что же касается до христианства, то отец видел его высоту, но именно она и внушала ему опасение: религия, внушающая мысль о своей абсолютности, не может не быть источником нетерпимости. В этом отношении особенно угрожающим представлялся

ему католицизм. Но, может быть, я слишком много и слишком определенно говорю об его взглядах: мое понимание их сложилось из многих его полувывысказываний и случайно оброненных слов; при такой передаче возможны и неточности.

1923.IV.30. Во всяком случае, основной смысл его убеждений передан мною правильно. Он подтверждается также и отношением отца к духовенству. Отец к служителям культа всех исповеданий и даже вер всегда бывал неизменно почтителен и внимателен. Это были знаки внимания не лично им, а представителям тех верующих, для которых эти лица были особыми людьми. Папа признавал духовенство, но мотивом признания было тут не согласие в содержании веры, а боязнь оскорбить человека в его заветных верованиях. «Как я могу не быть почтительным к тому, кто множеством людей признается их представителем пред Богом и является лицом священным», — многократно слышал я от него. И действительно, он был почтителен, однако, ко всякому духовенству. Ксендзы <sup>11</sup> и пасторы <sup>12</sup> одобряли его не менее, чем муллы <sup>13</sup> и раввины <sup>14</sup>, и даже с иезидами <sup>15</sup>, столь вообще недоверчивыми, он ладил, как был в хороших отношениях с духовенством православным и армяно-григорианским.

Не знаю, не замечали ли они, что папа, по существу, вовсе не с ними, или им казалось в порядке вещей не вникать в вопросы метафизические, но они как будто довольствовались знаками почета и внимания и о большем не заговаривали. С горечью думается мне, может быть, отец практически был прав, что люди в абсолютной истине и не нуждаются и проживут без нее удобнее: большинство чувствует себя уютно, когда нет в мысли четких углов и граней, и бывают довольны, если внешние обстоятельства позволяют не вспоминать об них.

**Человечность** — вот любимое слово отца, которым он хотел заменить религиозный догмат и метафизическую истину. В человечности видел он всеобщий регулятор всех общественных и личных отношений взамен религии, права и морали — единственное, что должно быть проповедуемо и внушаемо. Отец отнюдь не был сентиментален и вовсе не мечтал в толстовском духе об уничтожении войн, государственных законов и судов, национальных и сословных перегородок. Он не только видел наличную необходимость всех этих начал общественной организации, но, по-видимому, и не надеялся на возможность устройства их в какой-либо

исторически учитываемый срѣк. И потому к революционным идеям он относился и недоверчиво, и презрительно, как к мальчишеским притязаниям переделать общество, которое таково, как оно есть, по законам необходимости, — и с тревогою за последствия революционных попыток, имеющих привести Россию «в полный хаос». Отец был убежден в неизбежности этого потрясения государства, и его мысли рационального порядка впоследствии сплелись с предчувствиями грозящей катастрофы и болезненными ощущениями черной тоски. Он не был горячим поклонником государственности и многое в правительственном курсе считал ошибкой, бывшей ему особенно яркой на Кавказе; но в потрясении государственного строя он предвидел поправными справедливость, здравый смысл, порядок жизни и все общественное строительство и, несмотря на свою исключительную терпимость, в часы особой мрачности, с болью и как бы сам опасаясь своих слов, приводивших к нулю его предыдущие рассуждения о том, что надо же всем дать дышать, мрачно добавлял самому себе: «Равноправие, равноправие... а все-таки нас (т. е. Россию) съедят господа евреи. Это — народец, с которым придется еще повозиться. Но никакого выхода я не предвижу...» И еще более мрачно замолкал.

Итак, он не смотрел на жизнь утопически, но верил, что доступно и вполне осуществимо смягчить жесткость общественных форм, изнутри «очеловечивая» их. Отец считал возможным изменить внутренний характер всей жизни, если пронизать ее чувством «человечности», и считал Восток в этом отношении гораздо большего достигшим, нежели Запад. Человечность же, теплота и мягкость человеческих отношений исходит из семьи — так верил он. Никогда не слыхивал я от него упоминания о В. В. Розанове<sup>16</sup>, но мне думается, несмотря на полную противоположность их склада, у отца, построенного на чувстве долга и порядочности, а у Розанова — на глубочайшем внутреннем восстании против этих начал, у них, в мыслях об историческом и общественном значении семейного начала, нашлось бы много общего. Человечность — единственный лозунг, который может быть общим, общим всем людям, который дает правильное разумение нравственным заповедям и требованиям религии, который не ведет к ожесточению и нетерпимости. Вот, собственно, что должно быть воспитываемо в людях. Шекспир, в оценке папы, был исключительным воспитателем этого чувства человечности. Папе звучали

как откровение этого чувства в особенности два стиха из «Отелло» — он говорил их нам в русском переводе:

Она меня за муки полюбила,  
А я ее — за состраданье к ним <sup>17</sup>.

«Выше и глубже этого, — прорывалось иногда у отца, — ничего не сказано и нельзя сказать».

Мой рассказ пошел тут вбок, и об отце сказано либо слишком много, чтобы не нарушить ритма повествования, либо слишком мало, чтобы представить на самом деле облик отца. Но без этого забегания вперед я боялся бы остаться совсем непонятым. Нетрудно зато теперь догадаться, каковы были взгляды отца на мое религиозное воспитание. Он, если подвести итог, в религии, собственно, ничего не отрицал, кроме самого жара утверждения, и, поскольку люди религии метафизически не заостряют своих верований и не считают их большими, нежели «символ и подобие» <sup>18</sup>, как любил опереться на Гёте папа, — религия им, вероятно, одобрялась, по крайней мере, у широких масс. Но наряду с этим скептическим полупризнанием отец, сам того не сознавая, имел и догмат, свой догмат и свою абсолютность. Разумею собственную семью. Не знаю откуда, в отце был, в сущности, очень большой аристократизм, и его предупредительность, деликатность и великодушие, в особенности же отсутствие мелочности, были несомненно и почти неприкрываемо снисхождением высшего к низшим. Он всегда чувствовал себя **обязанным** словно каким-то высоким положением, хотя такового вовсе не было. Но, замечательно, и окружающие, по положению равные и даже высшие, принимали этот оттенок отношений внутреннего неравенства как **правильный**. Отец никогда «не позволял себе» такого, что вполне естественно допустить в отношении с равными и что было бы недостойным, когда имеешь дело с людьми совсем другого круга и притом сознающими это состояние. Поэтому отец бывал всегда не соответствующим мере равенства деликатным, щедрым, великодушным и широким, если только, возмущенный явной неправдой или несправедливостью, не проявлял кратковременного, но тоже не по мере равенства, бурного гнева. Однако ни первое, ни второе не вызывало возражений. Характерно то, что это аристократическое самосознание никак не было искусственным. Напыщенное, приподнятое, театральное — этот разряд явлений был отцу самым враждебным из всех, даже худшим фанатизма, и малейшая тень

аффектации вызывала в нем брезгливость почти физическую. Я уверен, вышеописанный характер отношений к людям коренился в каких-то наиболее глубоких слоях его личности и именно потому им самим, как наиболее постоянный в его жизни, не замечался. Но далее это аристократическое самосознание распространялось и на семью. Нашей семье, по молчаливому, но очень определенному убеждению отца, надлежит быть особенной, и допустимое в других семьях у нас не может быть допустимо. Папа не осуждал других и сравнительно редко — обсуждал. Однако это не было следствием христианской или даже общерелигиозной заповеди, а скорее вытекало из мысли, часто повторяемой отцом, что «люди — всегда люди, со своими слабостями». Тут был оттенок невысокой оценки людей. Отец не был мизантропом; но в его чересчур большой снисходительности был привкус, хотя и благожелательный, мизантропии, как будто отец раз навсегда решил ожидать от окружающих всего худшего, хотя в жизни старался взывать к лучшему. Эти окружающие были старым человеческим родом. Наша же семья должна была стать родом новым. Тот, старый, род пребывал в законах исторической необходимости и исторической немощи; в отношении же нашего, нового, отец словно забывал и законы истории, и человеческое ничтожество: почему-то от нее ждалось историческое чудо. Не количественно, нет; отец был слишком трезв, слишком далек от тщеславия, чтобы думать о своей семье внешне преувеличенно, или переоценивать ее, или даже желать для нас в будущем чего-нибудь чрезвычайного. Подобная мысль заставила бы его брезгливо поморщиться, а внешне высокое положение он, кроме того, считал и обременительным. Но качественно семья предполагалась им исключительной: она представлялась ему сотканной из одного только благородства, великодушия, взаимной преданности, как сгусток чистейшей человечности. Вот почему терпимое в других было бы и было нетерпимо в нас; вот откуда вдохновлялся я полусознательно установкой, что прилично и что неприлично. Неприлично было таковым не само по себе, а в отношении к нашей семье, вообще к нам, как изъятых из всего общества. Мне не представлялось «нехорошим», как «неприличное» делали и говорили другие, в других семьях. Но мое сознание не вмещало, чтобы нечто подобное могло случиться у нас, и попытка мысли представить такой случай вела за собою ощущение мировой катастрофы: если это, то все рухнет и наступает такая смута, что мысль уже ничего не может далее различить.

К неприличному относилась религия и все с нею связанное; мне кажется, она была в моем сознании самым средоточием неприличного. Религиозная жизнь вообще стыдлива и ищет спрятаться от чужих соглядатайствующих глаз. При моем же воспитании бессознательно было сделано все, чтобы вызвать это именно чувство. О религии у нас никогда не говорилось ни слова, ни за, ни против, ни даже повествовательно, как об одном из общественных явлений, разве только более менее случайно проскакивало слово о культуре египтян или каких-нибудь египтян, но и то очень отрывочно. Чем ближе к Церкви было какое-либо понятие, тем менее оснований могло ему быть упоминаемым в нашем доме: терпелась, и то еле-еле, лишь религиозная археология, умершая настолько, что можно было твердо рассчитывать на ее религиозную бездейственность. Люди «верят» по-своему. (Хорошо мне запомнилась эта форма «верят» вместо веруют, ничуть не случайная; ибо веруют — значит духовно знают некоторую объективную реальность, а верят — значит имеют некоторое субъективное состояние уверенности, может быть, насквозь иллюзорное); итак, люди верят по-своему, и было бы бесчеловечно и жестоко отнимать у них это чувство уверенности, эти иллюзорные верования, поддерживающие в них человечность. Верят — и пусть верят. Но это — прочие люди. А мы должны понести в жизни человечность в ее непосредственном виде, без символов и подобий; мы не должны нуждаться в искусственных подержках. Детское сознание должно быть выросшим вне гнета на него каких бы то ни было представлений религии, чтобы иметь возможность, когда окрепнет, свободно определить себя так или иначе и свободно, без предвзятых внушений в детстве, без известных привычек мысли и чувства, не стесняемое образами фантазии, не увлекаемое навязанными симпатиями и антипатиями, свободно избрать себе религию; какую сочтет истинной. Впрочем, об этом предстоящем выборе говорилось другим и себе, сколько я понимаю, больше в отвлеченной формулировке, по справедливому ходу теоретической мысли. На самом же деле за этой формулировкой лежало чувство уверенности, что отвлеченной возможностью выбора религии дело навсегда и ограничится и что мы, дети, навсегда останемся в сознательно недопускаемом до четкости и потому в сознательно поддерживаемом неустойчивом равновесии, религиозном чувстве, из которого может получиться все, что угодно, но не получается, не допускается к получению ниче-



го определенного. Я не могу утверждать, но мне представляется, что папино желание было видеть вас, мои дети, воспитываемыми в той же свободе от религии, чтобы и вы и ваши дети, и так в роды родов росла та новая религия, которую впоследствии Гюйо<sup>19</sup> изобразил как «L'irreligion de l'avenir», или что-то в этом роде, т. е. сильное, но бесформенное религиозное чувство.

По-видимому, папа был внутри себя предельно уверен, что это неустойчивое религиозное состояние настолько явно превосходит любую историческую религию, что он не допускал и мысли о возможности для нас в самом деле когда-либо избрать себе определенную религию и верил, что, коль скоро с детства отстранено прямое внушение религии, обратиться к ней впоследствии психологически невозможно. И потому он так беззаботно говорил о будущем религиозном самоопределении, говорил об этом даже как будто благожелательно, не учитывая предстоящей в таком случае «нетерпимости», которая хотя бы формально, должна же была учитываться в качестве сопровождающей будущий выбор религии. Когда отец говорил об «относительности» всего, он имел мужество договорить, что это, т. е. утверждение относительности, и есть единственная доступная нам абсолютность; а когда он говорил о терпимости, то иногда добавлял, что она — единственный догмат. Но папа не учитывал, что «нетерпимость», т. е. сознание полной правоты своей, имеет источником не содержание, а форму высказывания и что, коль скоро нечто признано абсолютным и догматическим, оно тем самым уже выделяет человека из ряда всех прочих и делает его, в его сознании, исключительным и противопоставленным тем, кто с его высказыванием не согласен. Проповедь терпимости как догмата неминуемо ведет к нетерпимости в отношении всех, такой догмат отрицающих. И тогда пришлось бы вступить в активную борьбу со всеми представителями иного верования. Но с нами бороться было нечего, а окружающих отец считал не доросшими до истинного понимания человечности и потому внутренне с ними не считался.

Большинство знакомых наших, папиных товарищей по гимназии и других, были либо религиозно индифферентны, и для них религиозные вопросы представлялись давно решенными в сторону вялого атеизма, либо были воинствующими безбожниками. И то и другое было глубоко чуждо отцу, как невежественная и мальчишески легкомысленная расправа с вопросами, которых отец тоже не

хотел трогать, но не как решенные, а как бесконечно трудные и неразрешимые. Кроме того, антирелигиозным убеждениям он не сочувствовал как оскорбительным для большинства и, может быть, как опасным общественно. Как в смысле политическом, так и в религиозном, если сравнивать его с большинством окружающих, он был скорее, охранителем, очень мягким и скептически настроенным консервативом английского склада, нежели человеком, стремящимся к новому. Когда я говорил, что в предстоящем для нас, по его мысли, выборе религии было пред-решено, что никакой религии мы не изберем себе, — менее всего следует усматривать, будто нас воспитывали в смысле неверия. Если бы в этом выборе мы склонились к активному отрицанию религии, то отец, я уверен, весьма огорчился бы, даже более, чем тем или другим выбором определенной религии, хотя и это было бы ему огорчительно. Равным образом, несмотря на все разговоры о терпимости, он, несомненно, был бы покороблен выбором не только другой религии, нежели христианство, но и другого исповедания, нежели православное.

Мне думается (об этом буду говорить впоследствии), в отце, не сознаваемая им и где-то очень глубоко, была заложена склонность к Церкви. Говоря о нем, необходимо учитывать ужасное время русской истории — царствование императора Александра II, в котором он провел всю молодость, и ужасную среду, окружавшую его в дни юности и всю последующую жизнь.

По этому времени и в этой среде отец дал огромный отпор обступавшим его течениям мысли, и собственное его мировоззрение, ответившее на вопросы времени и среды, преодолело все, что его окружало. Его понимание семьи и его отношение к религии в обстановке его жизни были проявлением, в конце концов, именно церковного начала, как его тогда можно было выразить, не разрывая окончательно с окружающим обществом: его воззрения были на границе терпимости. Вот почему, когда впоследствии определился мой выбор религии, отец, несмотря на огорчение, стал объяснять себе мой путь «катавизмом»<sup>20</sup>, припоминая некоторые склонности своего отца и, мне кажется, почувствовав и себя не совсем невинным в передаче религиозной наследственности.

Но, кроме теоретических воззрений, в своей боязни религиозной определенности отец был укрепляем также и побуждениями более частными: семейные обстоятельства.  
1923. V.1 были источником их. Если бы // не они, то, весьма вероят-

но, и папа позволил бы сложиться в себе религиозным суждениям более определенным и более содержательным. Эти обстоятельства заключались в различии исповеданий, к которым по рождению принадлежали мои родители. Выше всего в мире ценя начало семейное вообще, а свою семью — в особенности и обоготворив мою мать, не только в силу глубокой и сознательной любви, но еще более из побуждений теоретических, как начало женское и священное, отец хотел привести к нулю различие исповеданий посредством практического уничтожения всех поводов, где могло бы напомнить о себе различие вероисповеданий. Папа не проявлял своей принадлежности к Православной Церкви из боязни хотя бы тончайшим дуновением холодного ветерка напомнить о своем православии маме; а мама старалась воздать ему тою же деликатностью и поступала так же в отношении Церкви Армяно-григорианской. Тут предо мною убедительный пример, как самые благородные человеческие чувства ведут ко вреду, когда рассматриваются безотносительно к общей экономии жизни и, получив характер абсолютный, возносятся на место Божие. Добрая и благородная боязнь причинить близкому человеку малейшее огорчение повела, правда, в совокупности с другими, содействующими причинами, к лишению себя и наиболее дорогого в мире человека самой крепкой из жизненных опор, самого надежного из утешений. Между тем, если бы не гиперестезия деликатности (и большее сознание объективного блага религии), то почему бы не постараться укрепить религиозное сознание в той же маме, почему бы не поддержать ее связи с Армянской Церковью, разъяснив, что принадлежность хотя бы к двум исповеданиям все же единит в самом важном и глубоком, а схождение на религиозном нуле, хотя бы и очень единомысленное, есть уход, пусть общий, от силы, объединяющей в Вечности?

Вероятно, дело не сознавалось отцом столь ясно, потому что весь окружающий воздух внушал противоположное; а кроме того, и биографически здесь были обстоятельства усложняющие. Я имею в виду армянскую стойкость в сохранении своего, народного — стойкость вполне, в общем, целесообразную, ибо без нее этот древнейший из культурных народов, имевший несчастье поселиться между жерновами мировой истории и потому все многие тысячелетия своего существования непрерывно избиваемый и все время тающий, давно попал бы уже в число народов вымерших. Его

история — роковая из-за страны его, ибо кто же может быть в безопасности, расположившись на линии огня между перестреливающимися окопами, на большой военной дороге всемирной истории? Все культурные ценности Армении, талантливо создаваемые, были тщетной попыткой строиться в стремительном потоке, и все они непременно были уносимы течением. Ни один народ за свою жизнь не затратил столько усилий на культуру, как армянский, и, кажется, ни у одного коэффициент полезного действия не оказался в итоге столь малым, как у него же. Наконец, и исключительная жизненность этого народа утомилась, и, самый старый из всех, он оставил задачи государственного и культурного строительства и инстинктивно приложил заботу к задаче наиболее скромной — как сохранить в мире хотя бы существование малого своего остатка: в самом деле, все показывает предстоящее в будущем исчезновение самого народа. Армянский консерватизм так называемый есть инстинкт народного сохранения, впрочем, по существу своему безнадежный, ибо нельзя сохранить в истории того, что уже не имеет сил и воли раскрываться и духовно строиться.

Но, во всяком случае, в армянах живет патриархальное начало и судорожное хватание за устои своей народности, явно утекающие. Мое личное убеждение: этому народу не только исторически безысходно, но и предстоит в качестве культурной задачи раствориться в других народах, внося сюда фермент древней и от крепости уже непроизводительной в чистом виде своей крови. Но инстинкт самих армян, естественно, борется против судьбы, и в родах значительных эта борьба особенно болезненна. Так именно обстояло в роде Сапаровых.

Сапаровы были в числе нескольких армянских родов, относившихся к неоднородной и этнически плохо промешанной массе насельников Армении, к той ветви, которая самыми армянами называется «албаной». Это ответвление древнейших насельников средиземноморского бассейна, так называемой средиземноморской расы. В качестве этнической подстилки эта раса легла в догомеровской Греции. В более чистом виде остатки ее дали древнейшие племена лидийцев и фригийцев. Углубляясь к северо-востоку, они частью смешались с окружающим приараратским населением, частью же сохранились тут этническими конкрециями. Одна из таких конкреций сохранилась до раннего средневековья у берегов озера Гокчи и около этого времени,

теснимая каким-то нашествием, продвинулась еще севернее, в нынешнюю Елисаветпольскую губернию. Там образовалось пять самостоятельных областей, или меликств, впоследствии подпавших вассальной зависимости Персии, затем Турции. Несколько родов, вышедших отсюда и частью поселившихся в Грузии и происходивших от владетельных домов этих областей, помнило и помнит в своем прошлом что-то особенное, хотя в большинстве случаев плохо умеет выразить родовую память членораздельными словами. Мотивы родовой гордости давно забыты, но самое чувство превосходства от того не пропало. Эти роды отличаются, правда, особой красотой, и среди них выделяется как известный в этом смысле род Сапаровых. Эти роды влиятельны и пользуются признанием; опять из них выделяются Сапаровы и в этом отношении. Эти роды сравнительно с окружающими культурны и состоятельны, а Сапаровы были исключительно культурны и весьма богаты. Но всего перечисленного все же недостаточно для объяснения чувства превосходства, свойственного роду, и глубокой семейной гордости, сапаровской гордости, за которыми определенно ощущается и ощущалось что-то несравнимо большее, нежели учитываемые мотивы сознания своей особенности. Эти роды издавна вступали в браки лишь в своем кругу, и туберкулез, опустошающий их, вероятно, есть возмездие за эту исключительность. В круг этих немногих фамилий, родственных между собою по происхождению и связанных разнообразнейшим свойством, входил и род Мелик-Бегляровых, ближайшим образом свойственный Сапаровым через старшую тетку мою Елизавету Павловну и некоторые другие браки. Мелик-Бегляровы владели одним из пяти впоследствии уже раздробившихся за уничтожением майората меликств и были у себя настоящими меликами, т. е. царьками.

Один из первых богачей на Кавказе, щеголь и законодатель мод, любитель красивых вещей, дед мой Павел Герасимович Сапаров вовсе не был противником иных культур, чем патриархальная армянская.

1923.V.5 В его доме восточные обычаи сочетались с симпатиями к русской государственности и европейской роскоши. В его дом привозились различные продукты и вещи из Персии и других восточных стран, причем в этом кругу родственных семей поддерживались сношения даже с Индией, куда выселилась одна из ветвей Мелик-Бегляровых. В обширном дворе деда часто останавливались караваны

верблюдов, нагруженные восточными сладостями. Шелковые ткани, ковры, драгоценная утварь наполняли дом, и склад жизни был наполовину восточный. Но вместе с тем дед и его братья поддерживали сношения с Францией и получали оттуда произведения роскоши и комфорта. В частности, в доме было много заграничных вещей, редких и не только по Тифлису. Были огромные севрские вазы и серебряная утварь, вещи именные от французского двора, уж не знаю какими судьбами доехавшие до Тифлиса. Так, у тети Ремсо были золотые часы с синей эмалью с именем, если не ошибаюсь, Марии Антуанетты; помню у мамы резную ореховую табакерку с профилем Людовика XIII, по поводу которой один из хранителей Эрмитажа сказал моему брату, что подобных имеется лишь несколько экземпляров во всем мире и что все они известны наперечет; припоминается медаль, выбитая в память Шекспира и весьма близкая к его времени, и т. д. Здесь не место описывать дом Сапаровых, я хочу отметить лишь связь его с Европой. Из-за границы получались в особенности духи и ткани. Тут, однако, невозможно опустить одно обстоятельство: роскошь сапаровского дома была роковой для него и послужила причиной гибели всего рода. Не зная, что предпринять, дед задумал обить комнаты драгоценным лионским бархатом. Действительно, в Лионе был изготовлен по специальному заказу какой-то необыкновенный бархат, затем оказавшийся на стенах сапаровского дома. Но ручное производство бархата, как известно, губительно для легких, и среди рабочих Лионской фабрики было много туберкулезных. Вместе с бархатом, жадно удерживающим в себе всякую заразу, в дом Сапаровых приехал и туберкулез. По-видимому, предрасположение к нему уже было в этом и родственных родах, но бархат послужил толчком болезни, и с тех пор Сапаровы и их потомки вымирают от нее один за другим. Эта болезнь была сапаровским роком, который дал всем членам настроение двойственное и трагическое: под слоем вкуса к земному и установке себя на земном содержится другое сознание — тщеты всех попыток и обреченности.

Но не следует думать, что с Запада были взяты Сапаровыми только внешние удобства и роскошь. Этот дом давал приют многочисленным иностранцам, появлявшимся на Кавказе; сношения с ними поддерживались и после, так что, очевидно, дом не был лишен культурных интересов. Так, постоянно бывал в доме академик Абих<sup>21</sup>, первый исследователь геологии Кавказа; он-то, кстати сказать,

и дал толчок моей матери уехать в Петербург ради дальнейшего образования.

В доме господствовал язык французский наряду с русским: и тот, и другой были тогда на Кавказе признаком культурности. Сапаров был близок со многими русскими, представителями гражданской и военной власти, принимал у себя.

В частности, одним из постоянных посетителей дома был известный генерал Комаров <sup>22</sup>, который впоследствии женился на свойственнице моей матери Нине Шадиновой <sup>23</sup>, от какого брака родилась писательница Ольга Форш <sup>24</sup>. Что касается армяно-григорианского исповедания, то дом Сапаровых представляется мне, насколько я узнал об нем, бесконечно далеким не только от Церкви Армянской, но и вообще от религии, несмотря на мистически чуткую конституцию всех членов семьи. Религия, по-видимому, никем не отрицалась, так притупилось восприятие ее. У армян, первого из народов, принявших христианство, оно утратило свою ферментативную силу, и, всегда готовые пролить свою кровь за верность христианству и не чуждые практической стороне церковности, армяне давно уже не возбуждаются своим исповеданием, как это вообще бывает со всем слишком привычным. Лишь внешний толчок обнаруживает религиозную массу тех из них, кто только что казался пустым в этом смысле. Тут появляется твердость, опирающаяся на двухтысячелетнюю привычку к верности.

Итак, в доме Сапаровых было достаточно широты к одному и безразличия к другому; к тому же обострение армянского национализма относится ко временам гораздо более поздним, а тогда на Кавказе общим лозунгом и вместе хорошим тоном была установка на Россию и на русскую культуру. И тем не менее даже в такой семье, как Сапаровы, далеко не охранительной ни в церковном, ни в национальном, ни в культурном смысле, брак дочери, притом любимой, с русским, притом же без положения и состояния, был делом вопиющим. Уже отъезд матери в Петербург вызвал гнев деда, и она уехала против его воли, с помощью брата Аршака <sup>25</sup>, бывшего тогда, как и требовала мода, русским нигилистом. Дед терзался вторгшимся к нему в дом просвещением такого рода, хотя в моей матери, собственно, нигилизма никогда не было. Но вполне естественно его ожидание всего худшего. Знакомство матери с моим отцом произошло в Петербурге, и, когда мать должна была уехать в Тифлис, отец же остался в Петербурге доканчивать курс

в Институте Путей Сообщений, переписка их была на имя Аршака — тогда называвшегося Аркадием Павловичем — Сапарова, то есть, иными словами, скрывалась от деда. Мне неизвестно в точности, говорила ли с ним моя мать о возможности своего брака, на который она уже дала свое согласие. Но, прямо или косвенно, она выяснила себе его несогласие, и, по-видимому, вполне определенное. Уже после кончины его, последовавшей за разорением какими-то темными делами около его богатств со стороны управляющего и родственников и пожаром дома, она поступила согласно своему решению, но вследствие этого считала себя порвавшей со своим отцом и не прощенной им, а потому, из слишком большой цепетильности, оторвавшейся и от своего народа. Мне кажется, в этих чувствах матери, однако определивших тональность ее внутренней жизни, гораздо больше болезненной, преувеличенной честности и опять-таки болезненной и преувеличенной порядочности, нежели здравого понимания жизни. Но, вероятно, какие-нибудь неосторожные слова деда нанесли рану матери, не в меру болезненную, вследствие повышенной ее моральной чувствительности, и все дальнейшее стало обходить эту рану, постепенно расширяя добровольно исключаемое ею из своей жизни. При более легкой оценке жизни, легкой во всех смыслах, конечно, можно было бы и к нарушению отцовской воли отнестись не столь формально, тем более, что и дед не был совсем не прав в своих опасениях смешанного брака и притом — в нигилистическое время. Если бы дед остался жив, то весьма вероятно, он отнесся бы к данному браку не принципиально, а как к частному случаю, примирился бы с ним, оставив в стороне общие свои убеждения, и оценил бы мужество своей дочери; ведь сестры матери и их мужья, гораздо более националистичные, нежели семья Сапаровых, высоко ценили моего отца и были с ним близки. Следовательно, мать вполне могла бы успокоить себя мыслью, что впоследствии недовольство отца рассеялось бы и что какие-нибудь внутренне не взвешенные слова, сказанные сторяча разорившимся, большим стариком, уязвленным перед смертью с самых разных сторон сразу, несправедливо и жестоко учитывать по-настоящему. Она всю жизнь считала себя как бы не принадлежащей к своему роду и до смешного скрывала даже самые пустяковые подробности, касающиеся прошлого, да и не сама только никогда не желала сказать об этом предмете ни слова, но и более простым в подобных вещах сестрам своим



строго запретила сообщать нам, детям, что-нибудь, а нам — делать попытки расспросов. Но самое замечательное — это что мать и запреты свои запрещала понимать как таковые, так что от нас требовалось просто забвение всех этого рода щекотливых вопросов. А между тем естественный интерес к своему роду возбуждался еще нечаянно подглядываемыми в маминых шкафах и ящиках вещами из сапаровского дома, правда, немногими уцелевшими, но зато действительно достойными внимания. Эти вещи тщательно прятались от нас, но по маминой мягкости кто-нибудь из детей, несмотря на ее сопротивление, все же, улучив минуту, когда шкаф или ящик был **отперт**, влезал туда и вытаскивал что-нибудь занимательное. А далее — неизбежны и расспросы. Обычный разговор на эту тему, начиная с детства и до взрослых лет включительно, происходил с матерью неизменно по такой схеме: кто-нибудь из нас, забыв о запретах или делая попытку нащупать, не забудет ли о них на этот раз сама мама: «В котором году, мама, умер твой отец?»

Мама, очень сухо: «Не помню».

Кто-нибудь из нас, делая новую попытку в таком же роде: «А твоя мама когда умерла?»

Мама, как бы небрежно, но на самом деле с беспокойством: «Ах, оставь, пожалуйста, эти глупости». Или: «Охота тебе заниматься такими пустяками».

Но спрашивающий не унимается, и самые неприятные вопросы — о фамилии.

«Как была фамилия твоей бабушки?»

Мама, очень внушительно и полагая конец разговору: «Раз навсегда я тебя прошу не заниматься такими пустяками. Есть же у тебя свое дело!»

Кроме указанной выше душевной раны, мать руководилась в этих запретах или, может быть, себя старалась уверить, что руководится опасением, не делаются ли подобные расспросы из тщеславия, и тогда она замечала с подчеркиванием в качестве противоядия: «Мы — люди самые обыкновенные, самые простые». Но это говорилось так усиленно, что у нас даже в раннем детстве не было веры в непедагогичность этого заверения.

Мать сознавала себя оторвавшейся от своего рода и даже, правда, по разным мотивам, отдалилась от всех своих родственников, кроме сестер; я не берусь судить о достаточности мотивов к этому отдалению, но, во всяком случае, мать отвергла их, а не они ее. Конечно, при таких условиях было болезненным преувеличением считать себя без рода,

тем более, что все сестры ее чрезвычайно уважали, если не обожали ее, и были в самых дружеских отношениях с моим отцом. Но рана моей матери расширилась и более. Если бы и в самом деле весь род отверг ее, то это бы еще не означало разрыва со своим народом и тем более — со своею Церковью. Может быть, ни ту, ни другую связь мать не чувствовала крепкой; но, во всяком случае, в ее нежелании сказать хотя бы слово по-армянски или говорить и читать об Армении или об армянах, равно как и зайти хотя бы из любопытства или нас завести в армянскую церковь, мне всегда чувствовалось нечто гораздо большее, нежели простая отдаленность и отсутствие интереса. Мать боялась всего, что связано с Арменией, а далее, по иррадиации <sup>26</sup>, это распространялось, во-первых, на Кавказ вообще, во-вторых, на национальный и государственный вопрос, затем на вопрос религиозный и в особенности на вопрос родовой. Все эти вопросы, как бы издалека они ни затрагивались, очевидно привычными уже ей и, может быть, мало сознаваемыми путями многочисленных сцеплений неизбежно приводили ее к болезненному ощущению своей раны. В особенности же она боялась подобных возможностей с нашей стороны. Удивительно, как мало значат в таких обстоятельствах побуждения умственные. Ведь мама много и не без толку читала. Ей не чуждо было естествознание, но преимущественно она читала книги исторические, и притом настолько внимательно, что никогда не оставляла ни одного неизвестного иностранного слова не уясненным себе. Теоретически она лучше нашего понимала значение наследственности, значение рода, важность знакомства с прошлым, безразличие психологии народов и даже значительность религии. Но это лишь теоретически и вообще. Я уверен, она могла бы сказать нам много полезного и сказала бы, если бы была гарантирована отделенность всех общих мыслей от приложения их к нам самим и к ней. Но всякое проявление ее задерживалось боязнью, как бы от «вообще» мысль не перешла к «частности»; и потому «в частности» она не то чтобы не понимала, а — не позволяла себе понимать, как противилась и нашему пониманию.

Мне пришлось здесь сделать длинное отступление; но без него едва ли было бы понятно то особое семейное обстоятельство, которое заставляло родителей наложить табу на религию. Это обстоятельство было раной матери и осторожностью с этой раной — отца. Если мать оставила для него свой род и свой народ, то и ему, чтобы вос-

становить равенство, не оставалось ничего, как сделать то же в отношении своего рода и своего народа. При этом была захвачена и Церковь. Церковь Армянская явно националистична и сознается армянами таковой; я не слышал ни об одном случае обращения в армянское исповедание, армянскому духовенству прозелитизм безусловно чужд, и, думается желание присоединиться к Армянской Церкви со стороны члена иной Церкви было бы встречено армянским духовенством как сумасбродство. Церковь Русская менее националистична, но и в ней много, даже чересчур много этнического и национального, возведенного в норму являнофилами. В сознании людей, богословски не полированных, каковыми были и отец мой, и мать, эта этничность и националистичность Церковей еще заострялась. Если мать чуждалась Армянской Церкви и не желала утверждать в себе близостью к ней своей народности, а чрез народность — своего рода, то отец был далек от Церкви Русской не только фактически, но и более сознательно, чтобы не подчеркнуть этим, что он русский. Мать не соприкасалась нас с армянским религиозным бытом по причине понятной; отец же не желал подобного соприкосновения с религиозным бытом православным из предупредительности к матери, и потому наложен был запрет в этом смысле и на тетю Юлю. Но там, где находился явный общий множитель двух бытов, вроде, например, и у нас явно ритуального пасхального стола, не убиравшегося целую неделю, — там этот быт поддерживался крепко. Такова же была елка и, сколько помнится, убранство зеленью в Троицын День.

1923.V.7. Это были добровольные, хотя и не тесные касания к церковности. Пасха, как весенний праздник, особенно понятна на юге, где к этому времени вся природа уже разворачивается вполне. Великий Пост проходил у нас не совсем без отклика церковному уставу, и хотя мы не постились, но в это время обед часто бывал из одних овощей. Тут все члены семьи с удовольствием встречали приятную на Кавказе постную и полупостную еду. Лобия в различных видах — похлебкой с грецкими орехами, отварными зернами с уксусом и прованским маслом, поджаренная с яйцами; стручковая лобия, с яйцами и нередко с цыплятами, которые почему-то тоже должны были сойти за пищу постную. К посту открываются бачки с солеными бутонами джонджали, соответствующими отчасти северной капусте, откупориваются банки с солеными же цветочными стрелками какого-то луковичного растения вроде того, что

на севере называется подснежниками, и мы очень любили разрезать питку, которой аккуратно связывались в солку эти стрелки. Неизменно появлялись всевозможные маринады, употребляемые на Кавказе скорее как еда, нежели как приправа, что возможно без вреда для здоровья вследствие употребления уксуса исключительно винного и притом домашнего. Тарелки с кистями крупноягодного винограда, персиками, грушами, вишнями, особенно любимые нами маринованные «шишки», т. е. мушмала, и другие фрукты в маринованном виде казались нам привлекательными, как нечто не совсем обыкновенное. Но из солений и маринадов более всего я ценил белые грибы, которые на Кавказе подавались в то время как редкость и привозились с севера. При болезненности моей этих грибов мне почти не давали, главным образом руководясь распространенною на Кавказе боязнью грибов. Папа мало считался с взглядами рациональной гигиены и сам всю жизнь, кроме предсмертной болезни, когда он уже не мог выполнять свою волю, не показывался врачам и не лечился, хотя и имел среди них личных друзей; из лекарств единственное исключение он делал лишь для хипипа, который глотал прямо в воде почти каждый день. Но папа очень прислушивался к голосу народа и думал, что в каждой местности народно-гигиенические воззрения, сложившиеся веками, наиболее приемлемы, поскольку указывают на приспособления «туземцев» к климату. Самое слово «туземцы» звучало у папы, или мне казалось звучащим, настолько многозначительно, что я долгое время относил его только к наиболее привлекательным для себя полинезийцам и всяческим островитянам, открытым Куком и его под конец съевшим. Сила детских мысленных обертонов велика так, что и сейчас я почувствовал бы себя нарушителем правильности языка, если бы это зовущее слово на «у» применил к людям одетым и с белою кожей. Для меня кавказцы были слишком свои, отец же еще был отделен от них чувством экзотики и потому тоже, вероятно, говорил это слово с тембром экзотичности и не применил бы его к русским мужикам. Так вот, верою в экзотическую мудрость кавказца побуждался он соблюдать и гигиеническое предание, один из пунктов которого есть запрет всех грибов, кроме шампиньонов и трюфелей, а другой, еще более признанный, — боязнь воды после обеда и в особенности после жирного, рыбы и сырых овощей и фруктов.

Приятным постным блюдом были отварные в воде бе-

лые корневища свинтри и другие травы и корни. К постному времени уже появлялась неизменная на Кавказе зелень — редиска, кресс-салат, укроп, тархун (эстрагон) и кинза, которой, впрочем, я не мог видеть за ее запах травяных клопов.

Все это было, конечно, очень далеко от поста, но слегка оттеняло Пасху, на Кавказе очень празднующуюся. Мы любили эти приготовления за несколько дней до Пасхи и волновались ими, чувствуя наступление чего-то **особенного**, тем более, что символика пасхальной еды, хотя и не понимаемая нами, все же как-то смутно улавливалась. Часть приготовлений, по-видимому, стараниями тети, делалась ею самою с нашей помощью и, как имеющая по чину священности, не передавалась повару. Мы красили яйца, делая их мраморными с помощью нащипанной разноцветной корпии, которая почему-то должна была быть непременно шелковой; протирали творог и крупные яичные желтки сквозь сито, удивляясь выходящим с другой стороны червячкам; чистили распаренный в кипятке миндаль, вытаскивали из скорлупы фисташки, толкли пряности, взбивали белок с сахаром, иногда допускались и к более ответственным делам — размещиванию творожной массы на пасху, жидкого теста для мазурок и разных мелких печений, даже до торжественного выпуска яиц в тесто. Эти приготовления тетя делала с большою любовью, стараясь возместить ими недостаток прямой церковности, и втягивала в них отчасти маму и прочих. Некоторые отделы пасхального приготовления — куличи, обязательный печеный барашек, столь же обязательный поросенок и окорок передавались на кухню, но потом подлежали тщательному осмотру. С окорока, за несколько дней до того погруженного в воду с отрубями и затем запеченного в тесте, обгорелую корку снимали непременно сами. Осматривался поросенок, обложенный зеленью и с пучком петрушки или кресс-салата во рту, пасхальный агнец; украшенный наивными манжетами из розовой и белой бумаги. Когда взбивалось что-нибудь вроде гоголь-моголя и т. п., каждый раз указывалась необходимость совершать вращательные движения рукой в одну и ту же сторону и в определенном смысле для разных веществ по-своему, — теперь я уж забыл, когда требуется такое вращение. Наконец, все приготовления закончены, и столы заставляются блюдами и тарелками, которые должны стоять здесь несколько дней и даже целую неделю. Чтобы дать отдых прислуге, первые три дня Пасхи

готовка кушанья отменяется, и самое большое — для маленьких разогреют бульон. В доме водворяется любезный нам праздничный беспорядок, когда можно не сидеть за скучным обедом и пощипывать мимоходом целый день что попадется под руку и в любых сочетаниях. Папа, вообще отстаивавший наше право на беспорядочность, по крайней мере, в еде, тут становился нашим безусловным защитником, и мы с удовольствием слышали много раз в день его: «laisse-le»<sup>27</sup> или «laisse-la»<sup>28</sup> к маме или тете, когда начинали расковыривать пасху ради извлечения изюма или миндала, вытягивали из целого теста кусочек барашка, тщетно пытались разгладить соблазнительную кожу от окорока или наедались горчицей.

К Пасхе, как и к другим праздникам, и общим, и семейным, мы готовились еще и в других отношениях. Во-первых, — костюмы, шившиеся к праздникам; но они занимали нас сравнительно мало. Я твердо усвоил себе, что не будут же родители держать меня в поношенной одежде и обуви, и потому считал в чистоте и опрятности моей одежды заинтересованными, собственно, их, а не себя; как «необходимое», и притом не мне, одежные приготовления к празднику я только терпел, тем более, что скучал примерками и, кроме того, вообще очень не любил надевать на себя что-либо новое, включительно до приказов и слез. Но это не значит, будто я не ценил нарядов. Может быть, я вообще стал относиться пренебрежительно к своей одежде именно от слишком большой любви к нарядам, с детства получив в этой области болезненную рану от судьбы, сделавшей меня мальчиком. Больше всего стремился я к красивому, а красивое представлялось мне свойством, достоинством и правом женским. Поэтому, когда окончательно выяснилось мне, что я не могу быть девочкой, а тут еще, словно назло мне, стала подрастать Люся, я, так сказать, стиснув зубы, отвратился от своей одежды, которая, казалось мне, конечно, не может быть красивой: я хотел бы полупрозрачного шелка, красивых складок, кружев, бантов, шляпу с колибри, духов и украшений, притом чтобы это все было цветов нежных и светлых. Мои ссоры с Люсей коренились именно в чувстве обездоленности природой. Люсины наряды вызывали мой гнев не по зависти, а главным образом потому, что старшие старались меня уверить, будто мальчики не любят «тряпок» и что это — особенность девочек, а я на собственном опыте знал, что люблю платья и понимаю в них толк уж получше девчонки — Люси.

Итак, своим костюмом я не бывал обрадован; напротив, всякий раз он подливал к праздничной радости горького чувства. Совсем иначе относились мы все к подаркам. Праздник без подарков показался бы нам нарушением всякой правды, и мы готовились к этим подаркам задолго и задолго ими начинали волноваться. Но я имею здесь в виду не только и даже не столько подарки, нами получаемые как сюрпризы, делавшиеся нами родителям и всем старшим. // Уже задолго до праздников начинали мы шептаться в укромных уголках, что подарить кому. Старшие, особенно папа, часто поощряли нас к подаркам и выражали непритворное удовольствие, получив что-нибудь, но при этом всегда отмечали необходимость дарить собственные работы. Следовательно, надо было придумать для каждого какую-нибудь безделушку, о которой можно было бы не с полным неправдоподобием говорить как о нужной. И папа всегда представлял наши подарки как именно то, в чем он нуждался в данную минуту. Вдоволь насоветовавшись с Люсей — в такие времена у нас водворялось полное согласие, — мы затем вели переговоры с каждым из старших относительно всех прочих. Затем, иногда с помощью тети Юли, иногда самостоятельно, мы выполняли свои планы — рисовали, шили, вышивали и вязали, клеили, потом постепенно стали писать. Рисовал я исключительно цветы, часто с натуры. Они казались мне единственным предметом, достойным моего карандаша и моей кисти; изредка сюда присоединялись колибри и другие птицы, но и то не для подарков. Правда, когда я был еще совсем житейски неопытен, меня интересовали, как тема, также невесты, преимущественно за их кисейную фату и корону. Какое-то внутреннее чувство подсказывало мне о запретности этой темы. Но один вечер я осмелел и, собрав в один фокус все возвышенное, на куске великолепного бристольского картона изобразил принцессу-невесту, собирающуюся венчаться (я не знал, что, собственно, значит это слово, но правильно угадывал, что оно может мотивировать соединение изящнейших сторон жизни). Эта принцесса была под фатой, с локонами, а распущенные волосы ее украшала высокая корона. Это великолепие было противопоставлено огромному конверту в ее руке — письму, запечатанному черною печатью и в траурной рамке: принцесса только что получила известие о смерти жениха ее — принца. По лицу принцессы и по платью катились круглые и крупные слезы, побольше грецкого ореха и вроде жемчужин ее ожере-

1923.  
V.7

ля. Хорошо помню, меня подвигла к такому сюжету вовсе не жалость, а исключительно художественные возможности сопоставить радостное и грустное и заключить в их промежутке некоторую закругленную полноту отдельных тем, и свою принцессу я рассматривал только как нечто красивое.

В самый разгар моей работы в папин кабинет вошла мама и, взглянув на мой рисунок, какими-то интонациями голоса подтвердила мне на всю жизнь уже предчувствующую мною решительную неприличность моего замысла. Не только я сам, но и все невесты во мне, принцессы, короны, смерти и прочие соприкосновенные обстоятельства в несколько секунд сторели, сторели от стыда так безостаточно, что впоследствии я никогда уже не мог найти в себе отклик им и малейшее внутреннее признание. В несколько секунд надорвались мои внутренние отношения к женскому началу, чтобы никогда больше не возобновляться. Мама ушла, так и не узнав впоследствии, что она наделала. Правда, подобному событию, вероятно, все равно предстояло бы совершиться когда-нибудь и без мамы, потому что трудно себе представить описанный случай без внутренней подготовки; может быть, известные мои чувства дозрели бы и отвалились сами собою. Но я не могу не верить, что я должен был стать таким, каким стал, и в этом смысле болезненный разлом живого еще был, пожалуй, целесообразен, как сделавший меня более сознательным и более суровым в прохождении предназначенного пути. Мое не просто непризнание психологизмов и духовного мления, а внутренняя враждебность к ним, почти физическое отвращение к нечеткому и мажущемуся лежат на линии именно этого отхода от стихии женской и, вероятно, были очень надежно закреплены именно в этот памятный вечер.

Но пока что он не уничтожил сразу женского характера моих подарков: это были саше с фиалковым корнем, вышитые и сшитые мною, салфеточки, вытиралки для перьев, корбочки, рамочки, записные книжки и блюдца для булавок, абажуры — все раскрашенное, шитое и вышитое, или украшенное засушенными растениями, или оклеенное морскими камешками, ветвями кипариса, которые мы золотили, и т. п.

Было и занимательно, и неловко хранить тайну, о которой, впрочем, все знали. Мы были приучены к полной правдивости, преувеличенность которой принесла впоследствии в жизни много неприятностей и много затруднений.



Весь строй семейной жизни воспитал в нас на всю жизнь паническое ощущение, что всегда требуется точная и полная правда и что малейшая недомолвка или уклончивость ничем не отличаются от настоящей лжи, а хуже лжи — ничего не придумашь. Впрочем, самого слова «ложь» старшие до нас не допустили, как предельно осуждающего, и нам известно было лишь название «неправда». «Сказал неправду» — было оскорбительным и тяжким обвинением, которому я во все детство подвергся раза три, но несправедливо. Так как дети, раз только они усвоили нечто, то непременно переходят к пределу и применяют воспринимаемое уже абсолютно, то и мы превзошли в чувстве формальной правдивости требования и намерения старших. Когда при слухе на праздники давалось распоряжение не принимать визитеров, объявляя, что «никого нет дома», мы мучительно страдали за такую, как казалось нам, неправду. // И эти внушения не остались без последствий. Развилось болезненно заостренное чувство правдивости, при котором малейшее отступление от полной и точно сформулированной истины казалось преступным. Такой рьяный защитник, как Кант, утверждает, что хотя никто не должен говорить неправды, однако никто не обязан говорить всю известную ему правду. Вот это-то замалчивание, эту уклончивость мы привыкли с детства отождествлять с прямой неправдой, и всегда казалось необходимым сказать все, что думаешь, не из желания поговорить, а из мучительной боязни дать повод к ошибке. Никогда не приходила в голову мысль отнестись равнодушно к такой ошибке и снять с себя этот грех мысли, переложив его на собеседника. Поэтому соблюдение тайны было нестерпимо. Не сказать о подарке, казалось мне, почти равносильно неправде, и притом в данном случае — неправде самым дорогим и близким. Мы крепились перед праздниками, как могли, но это доставалося дорогой ценою.

Были соприкосновения с Церковью, которым, как мне казалось, а может быть, и было на самом деле, родители мои подчиняются по необходимости и с неохотой. Разумею крестины моих сестер и братьев. Обыкновенно это событие возможно оттягивалось, пока, наконец, ребенок не вырос настолько, что уже невозможно было далее оставлять его некрещеным, да и самое крещение делалось, вследствие значительных размеров и самостоятельности ребенка, затруднительным. Но год обыкновенно миновал уже, прежде чем крещение устраивалось. Впрочем, тут, по-видимому,

1923.  
V.  
Трои-  
цын  
День

присоединялось и влияние кавказского быта, ибо на Кавказе детей вообще крестят поздно. Разговоры и переговоры о крестинах велись, оставаясь мне неизвестными; но как-то я угадывал предстоящее и внутренне сжимался, потому что не то учувил, не то соображал о необходимости и мне самому принять участие в обряде. У нас так боялись фальшивого положения с этими крестинами, что старались обставить их как можно незаметнее и обойтись домашними средствами, не привлекая к крестинам внимания посторонних. Ввиду этого меня делали крестным отцом. Может быть, я слишком учитываю более внешние мотивы такого выбора; представляется теперь мне возможным и другой, не высказываемый вслух отцом мотив,— сблизить таким образом меня с братьями и сестрами. Но это делалось насильственно и вдобавок без разъяснения, к чему, собственно, я призываюсь, и без признания за мною каких-либо прав крестного отца. Поэтому мое участие в крестинах было для меня тягостью и ничуть не способствовало церковности. Я и без того был болезненно застенчив, и всякое проявление себя пред несколькими людьми вместе мне было непреодолимо трудно. А тут меня заставляют участвовать в событии, которого какую-то многозначительность я непосредственно чувствовал и которого, как мне чувствовалось, сами родители не то боятся, не то стыдятся. Я же его и боялся, и стыдился и потому заранее старался принять меры, чтобы как-нибудь ускользнуть от предназначавшихся мне обязанностей. Но никакие отговорки не помогали, и в предчувствии неминуемого я начинал метаться. Помню, когда должны были крестить Лилю, а может быть, и Шуру, я, завидя издали церковный причт, без шапки и как был, вбежал к нашим соседям Пассекам. В те времена в нашей семье такое бегство, без шапки, было событием столь же необычным, как в большинстве семей бегство детей в Америку, и потому никому в голову не могло придти искать меня у Пассеков. Обыскали у нас весь дом, но меня, конечно, не нашли, и церковный причт сидел в нелепом ожидании. Пассеки встретили меня любезно, но, очевидно, учли странность моего визита и, вероятно, послали прислугу к нам сообщить обо мне. За мной пришли и, на радостях, что я нашелся, даже не рассердились. Но как только меня привели домой, меня вдруг охватило такое смущение и такой страх, что я снова вырвался из рук старших и в какой-то из задних комнат забился под кровать, в пыльный угол. Опять ищут меня, а я скорчился под кроватью и с замира-

нием слышу, как приближаются ко мне поиски. Наконец, меня находят, вытаскивают из-под кровати, приходят в ужас, что теперь сделать с моим грязным костюмом, сердятся, наскоро переодевают и умывают и ведут. В последнем отчаянии я делаюсь равнодушным ко всему, даю делать над собою все, что хотят, и плохо сознаю самое крещение, пока наконец не начинается чай после него. Мне хорошо запомнилась очередная неловкость за этим чаем и каждый раз повторяющееся взаимное смущение и наших, и, как у нас обычно говорилось, «священников», хотя священник, собственно, был только один: к этим крестинам готовилось обильное угощение и, вероятно, чтобы сделать его лучше, почти исключительно — мясное и вообще скоромное. И как на грех, крестины обычно приходились в постный день, и священникам нечего было есть. Это было тем более нескладно, что обычно ведь у нас часто подавалось растительное и рыба.

В церковном отношении я рос совершенным дичком. Меня никогда не водили в церковь, ни с кем не говорил я на темы религиозные, не знал даже, как креститься. Между тем я чувствовал, что есть целая область жизни, значительная, таинственная, что есть особые действия, охраняющие от страхов. Втайне я влекся к ней, но не знал ее и не смел о ней спрашивать. Украдкой я подглядывал, что мог, и тайком старался применить свои наблюдения, опять-таки как мог. Под покровом безразличия мое отношение к религии не было ровным и менее всего могло быть названо безразличным. Я метался между страстным влечением к религии и приступами борьбы с тем, чего я не знал, но реальность чего сама собою давалась мне властно. У меня было ощущение, что этот неведомый мне вопрос необходимо привести в ясность и или утвердить в себе Бога, со всеми вытекающими отсюда последствиями, или... я и сам не знал, что значит это второе «или», потому что в голову не приходила возможность простого отрицания. Да и как мог я отрицать Того, кто светил моему сознанию светом своей реальности? Единственным выходом было богоборство. Я знал реальность Божию, но знал и любовь и достоинства родителей, а еще более — свое достоинство как человека. И тогда моментами я восставал против Бога, не то чтобы отрицал Его, а не желал подчиняться. Я хорошо помню пантеистический смысл этих восстаний.

Я часть той тьмы, которая вначале всем была,  
Той тьмы, что свет произвела... <sup>29</sup>

Бог — реальность и Свет, Он велик; но ведь и я тоже реальность, и тоже не тьма, — ибо я еще не ощущал жало греха и не знал смерти, а следовательно, не сознавал себя тварью. «Я не отрицаю Бога; но я, человек, тоже бог, и хочу быть сам по себе» — таков был смысл моих переживаний. Повторяю, неощущение в себе греховности и, как казалось, внутренняя безупречность всего кругом меня и во мне, некая абсолютность и законченность всего уклада жизни делали невместимой в сознании мысль о смерти. Окруженный благородством и трепещущий в экстаических внутренних звуках, я был почти в Эдеме, и это «почти» закрывало мне глаза на мимолетность и ничтожество всего существования. Я не мог мыслить о себе, как о ничтожной твари, и хоть маленьким, но был богом. Однако какие-то подземные удары Судьбы и отдаленный гул подземных недр смутно доходили до моего внутреннего слуха, как ни был я упоен миром. Пока и когда это был только безличный и неоформленный гул, мое сердце сжималось ужасом, и я притаивался в ожидании. Я говорил себе и другим с глубокой уверенностью, что папа, мама, и тетя, и все наши никогда не умрут, и, действительно, мысль о смерти их не могла войти в состав моих прочих мыслей. Я говорил так; а в самой глубине, несмотря на всю силу уверенности, чувствовал — что-то не так, какой-то невыразимый и бессмысленный ужас, такой страшный, что мысль цепенеет от него и никак его не мыслит. Этот ужас подымался из бездн и, неуловимый, казался сильнее всего, сильнее Бога, сильнее даже тети, папы и мамы. Все уравнивалось пред лицом этой гибели, однако это было так глубоко под сознанием, что тогда и себе самому я не решился бы сказать таких слов.

Но вот внешний повод выдвигает Бога как всесильного и безмерно превосходящего человека. Или это неправда, или Он отвечает за все ужасы, о которых я и сказать не смею. Конечно, Он: не я же, слабый и не делающий ничего плохого. И тогда я возгораюсь гневом. Это детская и вполне непосредственная постановка всей проблемы теодицеи, до которой я дошел своим — не умом даже, а почти телом. Я восстаю и готов неистовствовать. Невинный на взгляд и полный чарований пантеизм необходимо увлекается к восстанию, к богоборчеству, к титанизму и пресвитерианству, а если разойдется — и к настоящей бесноватости. Слишком трудной внутренней работой досталось мне знание, чтобы уступить его. Да, я знаю, что такое Бетховен.

Без этого божественного самосознания нет импульса жизни, и творчество дышит этим кислородом. Когда он, вопреки всем усилиям, все-таки прорывается в нас, мы чувствуем себя виноватыми и потому смиряемся. Но духовная струя, несшая меня, была совсем иною, и человеческое благородство тут не вторгалось в божественный закон, а ставилось на место этого божественного закона. У родителей был уклон сюда. Я же, никогда не умевший делать что-либо наполовину и по самому имени своему бывший желанием, смывавшим на пути своем всякое препятствие, рано понял культ человечности как человеческое самообожествление и рано услышал в Бетховене эту бесконечно родную себе стихию титанизма. Конечно, я не сказал бы тогда этих слов, не сказал бы именно так, как сейчас говорю, но, впрочем, и не очень далеко отсюда, ибо образы Прометея и Титанов с детства я чувствовал **своими**. Вот почему имя Бог, когда мне ставили его как внешнюю границу, как умаление моей человечности, способно было взорвать меня, тогда взмывалась вся гордость — человечностью, семьей, самим собою, и я, столь далекий от богословия и столь как будто безразличный к нему, вдруг оказывался прекрасно в нем осведомленным, ибо совсем не растерянно наносил детские удары в места, наиболее трудные для богословия. Один из таких споров с детьми артистов Лилеевых, живших в одном с нами дворе, мальчиком Сашей и девочкой Женей, отстаивавших предо мною всемогущество и благость Божию, закончился с моей стороны взрывом гневных богохульств. Конечно, я не мог сказать каких-либо особенно скверных слов, но — исключительно по неведению; воля же моя была дойти до конца, и, истощив с многократным повторением весь свой небогатый словарь ругательств в отношении Бога, я чувствовал, как задыхаюсь от неспособности сказать какое-то решающее слово. Я начал было спорить с детьми и вознегодовал, что они ссылаются на своих родителей, тогда как того же самого мои родители мне не говорили. Мне стало вдруг ясно, что речь идет о чем-то существенно важном и что, следовательно, или все это, надо думать, не так, как говорят Лилеевы, или мои родители сами находятся в глубоком заблуждении, раз не говорят мне наиболее важного. И вдруг предо мною встала необходимость выбора: или Бог, а с ним ничтожные и пошловатые Лилеевы, с семьей-богемой мелких опереточных артистов, или благородство человека в лице моих родителей и, следовательно, правота их убеждений (— ибо что это было бы за

благородство при грубом неведении важнейшего —), т. е. самостоятельность в отношении Бога и нежелание считаться с Ним. Мне сразу стала ясна — я хорошо помню этот момент — внутренняя несоединимость того и другого, Бога и человека, и представилось необходимым излить гнев либо в ту, либо в другую сторону. Наконец, мои богохульства показались детям страшными, они закричали, что не хотят слушать, и, зажав уши, побежали жаловаться своей матери. Прошло немного времени, и актриса Лилеева явилась к нам с жалобой на меня. Я не знаю, с кем говорила она, но наши не сочли возможным трогать меня и с этими, для них не менее щекотливыми вопросами, тут же. Каким-то краем не то уха, не то глаза я учуял, что старшие об этом случае совещались между собою, и я уже ждал для себя неприятностей, но мне никто не сказал ни слова. Прошло несколько дней. Я считал этот случай исчерпанным, как однажды вечером, среди самого интересного разговора о растениях, в связи с увлекавшей меня тогда книгой Висковатова «Из жизни растений»<sup>30</sup>, которую читала мне тетя Юля, она вдруг переменяла тон и сказала, что, по поручению папы, она будет говорить относительно жалобы на меня Лилеевых. «Ты говорил про Бога нехорошие слова и ими смутил Сашу и Женю. Папа и я думаем, что каждый может верить, как он хочет. И ты можешь думать о Боге, что хочешь, это твое дело. Но нужно уважать верования других людей, и нехорошо смущать других. Мы надеемся, что ты сделал это по незнанию и что больше этого никогда не будет».

1923. // Этого действительно никогда и не было после, но не потому только, что запретила тетя, а по более внутреннему побуждению: сильные внутренние движения я никогда не был способен повторять и не хотел повторять. Повторяемость и множественность, не знаю, в силу какого из потрясений раннейшего детства, были мне нестерпимы, как дурная бесконечность, предмет томительной скуки, отвращения и ужаса. С детства привык я к мысли, сформулированной впоследствии: нет такой хорошей вещи, чтобы в соединении со словом «много» она не делалась невыносимой. Внутренняя определенность явления не допускала в моей мысли его повторяемости и его умножения. Изобилие было мне всегда мучительно: пусть будет роскошь, но замкнутая в себя, не допускающая «еще и еще», единственная в своем роде. Постепенно возникавшая во мне острая ненависть к эволюционизму, к беспредельному расширению астрономических пространств и геологических времен,

к этому вторжению в мир дурной бесконечности — коренилась именно в детской моей боязни к слову «много». Поднявшись до внутреннего движения, выраженного достаточно, я больше не хотел к этому возвращаться, отчасти и не мог: если нечто действительно сказано, то оно не может быть повторяемо, оно родилось от меня и уже теперь не во мне. Я могу сказать еще что-нибудь другое, может быть, еще выразительнее, но уже не скажу того.

Так и в описанном выше случае я уже излил свой аффект гнева, и больше мне нечего было сказать по этому поводу. Но это еще не означало моего примирения со всеми нормами. Чрезвычайно послушный ко всяким запретам и требованиям, когда они исходили от тех, кто был мною уже признан, я готов был броситься на всякую новую норму, неожиданно ставшую предо мною, и испытать ее крепость на опыте. И тут чрезмерное замалчивание родителями многих вопросов вместо того, чтобы уничтожить во мне в корне самые возможности некоторых мыслей, подготавливали, наоборот, почву поступков, совершенно не предвиденных.

В нашем дворе, во флигеле, кроме Лилеевых — двух братьев, женатых на двух родных сестрах, жила еще семья евреев, фамилий которых я не помню. Но имя одного из них крепко запало мне в слух. Это — ядовитые звуки **Янкель**. Это были контрабандисты и фальшивомонетчики. Когда они внезапно бежали, очевидно накрытые полицией, бросив большую часть своего имущества, мы с интересом находили в их квартире паяльные трубки и лампы, гальванические элементы, типографскую кассу, ящичек с резиновыми еврейскими литерами и какими-то таинственными знаками для набора и печатания, всевозможные химические и слесарные инструменты, много химических веществ и другие странные предметы, назначения которых нам не могли разъяснить и старшие. Это была настоящая кухня ведьмы, а тогда была воспринята мною совсем по-гофмановски.

Но не об этом, собственно, хотел я говорить. До своего бегства семья эта держалась очень замкнуто, днем они сидели запершись, со спущенными шторами, и, вероятно, спали, а работали ночами. Мы почти никогда не видели живших там мужчин, и лишь изредка проходила двором и к воротам, мимо нашего балкона, женщина лет тридцати из таинственной квартиры, одетая крикливо, ярко, но в шляпе корзиной, явно преднамеренно скрывавшей все

лицо. Она уходила за провизией и, вскоре вернувшись, снова запиралась в своем флигеле. Я не помню в точности, был ли особенно затенен деревьями угол двора, где помещался этот флигель, но моя память представляет всю заднюю часть двора и в особенности этот угол окутанными полумраком, как в поздний вечер. Трудно себе представить такую сумрачность при батумском солнце, и моя память, очевидно, внесла в зрительные впечатления духовную окраску нашего двора, что-то глубокое, загадочное, полное неизвестностей и страхов, уходящее в полную тьму. В этой тьме и гнездились наши контрабандисты. Их загадочность, конечно, влекла меня к ним, хотя я и боялся подходить к их флигелю. Этот интерес однажды весьма заострился от сообщения Сашей Лилеевым, что эти люди — «жиды». Такого слова в нашем доме я, конечно, никогда не слыхивал, и в звуках его мне сразу почуялось нечто жуткое и насыщенное, а потому — знаменательное. Мне захотелось сказать такое слово, но Саша предупредил меня, ссылаясь на своего отца, что говорить так не следует, потому что жиды очень не любят этого слова и сильно рассердятся на него. Я почувствовал по глухой густоте звука, привлечшего меня, какую-то правду в словах Саши, но счит нужным усумниться в точности этого сведения, как исходившего не от моих родителей; Саша настаивал, даже испуганно. Тогда я сказал, что сейчас испытаю, правду ли он говорит, хотя и сам боялся и внутри себя уже поверил ему. Как раз на случай увидели мы во дворе женщину из таинственного флигеля, собравшуюся на рынок. Устроив засаду за перилами, я с замиранием стал ждать ее прохода, и когда она поравнялась с нами, выскочил из-за засады и отчетливо сказал: «Саша, смотри, вон идет жидовка», — а затем снова спрятался в засаду. Эффект моих слов превзошел все ожидания. Сперва эта женщина растерялась и, остановившись, молчала в ярости, а потом крикнула: «А ты — скверный мальчишка» — и быстрым шагом прошла вперед. Ее замечание было для меня, при чрезмерной сдержанности в словах всего нашего дома, ошеломляющим и неслыханным оскорблением. Но я почувствовал в ее ярости подтверждение, что слово «жидовка» действительно особое слово, полное магической силы и жути. Это ощущение так внедрилось в меня с этого случая, что еще до окончания университета я совершенно не мог переносить его, но не за смысл, а в чисто звуковом отношении, и даже до сих пор оно не проходит мимо моего слуха гладко, как другие слова, хотя



бы даже ругательные. Как откликнулся мой детский опыт на гоголевское оплотнение всякого чернокнижества, некромантии и какой-то густой, черной жидкости, которую пьет колдун,— оплотнение около слова жид. Ну, конечно, не еврей! В этот звук не воплотишь черноты мрака, колдовства и ужасов. Сплетение уголовных дел, тайны, не то колдовства, не то химии, странно-крикливых одежд, густого гортанного выговора наших контрабандистов в моем воображении очень легко слилось с гоголевскими колдунами, и все это естественно уперлось в звуки слова «жиды».

Так я колебался между влечением к каким-то нормам, мне неведомым, и бунтом против них. Я старался доходить своим умом до церковности и вместе с тем смертельно боялся, как бы не было сказано вслух что-нибудь церковное. Я не то видел — не то слышал, что люди как-то крестятся; но я не успевал подметить, как именно это делается, не смел «бесстыдно» вглядываться, а тем более спросить, крестятся ли одним пальцем, двумя, тремя или пятью, собранными в одну точку. Я колебался между двумя и пятью, в первом случае — большим и указательным, а тайком крестился на ночь то так, то этак, стараясь соблюсти полную тайну,— крестился, натянув на голову одеяло и в почти темной спальне. На даче в Боржоме я пользовался относительной свободой и проходил небольшую улицу — путь к Андросовым — один. По дороге я крестился изобретенным мною способом и снимал шляпу: я боялся и собак, и неведомых ужасов. Я взывал к Богу, Которого не знал, и мое сердце было полно страха, тоски и надежды на чудесную помощь. Уж в чем другом, а в чудесной помощи я никогда не сомневался. И в душе я тогда уже твердо верил, что Бог слышит меня и не оставит меня. Но от религии меня так отстраняли, что, даже когда представлялась возможность узнать нечто, я пугался и в замешательстве отказывался. Однажды я копался в комоду у тети Юли и, вытаскивая маленькие ящички с пуговицами и мелкими вещами, наткнулся на небольшую черную книжку с изображением Креста. Вид ее смутил и испугал меня. Тетя объяснила, что это — святая книга, Евангелие, и предложила мне дать почитать его (читать я научился самоучкой в таком раннем детстве и так незаметно, что не помню, как это случилось). Мне слишком хотелось заглянуть в нее, чтобы я мог согласиться на предложение тети: я наотрез отказался. Тетя вышла тут за чем-то из

комнаты, а я улучил минуту и стал читать. Это было несколько минут. Родословие Христа в Евангелии от Матфея показалось мне таинственным и вполне отвечающим черному переплету маленькой книжки, и мне захотелось знакомиться с нею далее. Но тут вернулась теть Юля. Желая взять свой отказ обратно, но не сознаваясь в своем интересе, я с полусмехом сказал ей про родословие нарочно легкомысленным тоном, хотя был на самом деле испуган и мне вовсе было не до смеха. Это должно было означать, что я уже приступил к чтению и могу продолжать его. Но тете мой тон показался неподходящим, а может быть, она вспомнила, что поступила самочинно, не сказав ничего родителям. Книга была у меня взята и заперта, а теть добавила, что мне, наверно, еще рано читать Евангелие. И после этого у нас с ней о Евангелии никогда не было речи.

Между тем в безоблачность моих детских восторгов стали вторгаться ужасы, как ни оберегали от них мой внутренний мир. По мере того, как рос я, росли со мною и духовные существа, населяющие природу, или отеснялись другими существами, о которых раньше я не думал и о которых раньше я не знал. Эльфы теперь реже были в моих мыслях, а лешие — чаще. Раньше русалки были только очаровательны своими длинными зелеными волосами, а теперь я стал догадываться и об опасной их стороне. Губительные духи природы стали выползать из тени по ту сторону ограды моего Эдема, и я чувствовал, как они смелеют и теряют свое благодущие. Каждый куст, каждый затон, каждое темное пространство теперь становились опасными и вызывали тревогу. Меня пронизывал иногда внезапный страх в комнате днем и еще больше — на ярком солнце, около полудня, когда я оставался один <sup>31</sup>.

## 〈V.〉ОСОБЕННОЕ

1920.VI.25. *Серг[иев] Пос[ад] (1916.X.15)*. Все особенное, все необыкновенное мне казалось вестником иного мира и приковывало мою мысль, — вернее, мое воображение. Но мысль моя всегда бывала окрылена воображением, которое позволяло забегать ей вперед и затем уже двигаться по намеченному следу. Неведомое было для меня не неизвестным обычным, а скорее, наоборот, известным, но **необычным** явлением, вторжением в обычное из области трансцендентной, нападением на обычное неведомое — не-

обычного, однако, сладостно ведомого, родимого, откровением из родных глубин. Оно только и казалось заслуживающим познания, достойным предметом познания, тогда как не особенное скользило бледною тенью. Неведомое питало ум, а все не удивляющее, не вызывающее удивления представлялось какой-то сухой мякиной, не содержащей питательных веществ. Впрочем, не удивляющего, не особенного было очень мало; и многое из того, мимо чего равнодушно проходят старшие, затрагивало ум и впечатлевалось в своем первообразе. Этот *Urphaenomenon*<sup>1</sup> делался далее орудием познания, категорией, основным философским понятием, около которого все группировалось и координировалось, около которого выкристаллизовывался весь опыт. Таким именно образом уже с самого раннего возраста сложились в моем уме категории знания и основные философские понятия. Позднейшее размышление впоследствии не только не укрепило и не углубило их, но, напротив, сначала, при изучении философии, расшатало и затемнило, не дав ничего взамен, если не считать чувства горечи. Но мало-помалу, вдумываясь в основные понятия общего миропонимания и прорабатывая их логически и исторически, я стал на твердую почву, и когда огляделся, то оказалось, что эта твердая почва есть та самая, на которой я стоял с раннейшего детства: после мысленных скитаний, описав круг, я оказался на старом месте. Воистину я ничего нового не узнал, а лишь «припомнил»<sup>2</sup> — да, припомнил ту основу своей личности, которая сложилась с самого детства или, правильнее говоря, была исходным зерном всех духовных произрастаний, начиная с первых проблесков сознания.

Всю свою жизнь я думал, в сущности, об одном: об отношении явления к ноумену, об обнаружении ноумена в феноменах, о его выявлении, о его воплощении. Это — вопрос о символе. И всю свою жизнь я думал только об одной проблеме, о проблеме

#### СИМВОЛА.

Умственный взор направлялся в разные стороны; много разных предметов прошло предо мною. Однако не я проходил пред ними, ибо искал одного, всегда одного, и внутренне занят был одним, всегда одним. Я искал того явления, где ткань организации наиболее проработана формирующими

ее силами, где проницаемость плоти мира наибольшая, где тоньше кожа вещей и где яснее просвечивает чрез нее духовное единство. Впрочем, может быть, я не совсем удачно говорю. Дело в том, что для меня отношение высвечивающего и просвечиваемого, вещи и кожи, никогда не было **внешним**. Никогда я не собирался созерцать это духовное единство **вне** и **независимо** от его явления. Кантовская разобщенность ноуменов и феноменов <sup>3</sup>, даже и тогда, когда я еще не подозревал, что существует хотя бы один из перечисленных тут четырех терминов: «кантовская», «разобщенность», «ноуменов» и «феноменов», — она отвергалась всегда всем моим существом. Напротив, я всегда был в этом смысле платоником, имеславцем <sup>4</sup>: явление и было для меня явлением духовного мира, и духовный мир вне явления своего сознавался мною как не-явленный, в себе и о себе сущий, — не для меня. Явление есть самая сущность (в своем явлении, подразумевается), имя есть сам именуемый (т. е. поскольку он может переходить в сознание и делаться предметом сознания). Но явление, дву-единое, духовно-вещественное, символ, всегда дорого мне было в его непосредственности, в его конкретности, со своею плотью и со своею душою. В каждой жилке его плоти я видел и хотел видеть, искал видеть, верил, что могу видеть, — душу, единую духовную сущность; и сколь тверда была моя уверенность, что плоть не есть только плоть, только косное вещество, только внешнее, столь же тверда была и обратная уверенность — в невозможности, ненужности, самонадеянности видеть эту душу бестелесной, обнаженной от своего символического покрова. Да попросту я стыдился видеть ее обнаженной и не согласился бы смотреть на ее наготу. Гностицизм <sup>5</sup>, так понимаемый, всегда претил мне, и всегда мой ум был занят познанием конкретным. Впрочем, самая мысль о наготе души вещей не приходила мне в голову и была бы для меня тогда, ранее, если бы предложили ее мне, пустой, беззвучной, выдуманной. Мне претил позитивизм <sup>6</sup>, но не менее претила и отвлеченная метафизика <sup>7</sup>. Я хотел видеть душу, но я хотел видеть ее воплощенной. Если это покажется кому материализмом, то я согласен на такую кличку. Но это не материализм, а потребность в конкретном или символизме <sup>8</sup>. И я всегда был символистом. Покровами вещества не сокрывались в моем сознании, а раскрывались духовные сущности; а без этих покровов духовные сущности были бы незримы, не по слабости человеческого зрения, а потому, что нечего там зреть; но все

дело в том, как разуметь вещество. Вещи в себе всегда были для меня непознаваемы, но не по скептическо-пессимистической оценке познавательной способности человека, а потому, что там **познавать нечего**. И повторяю сказанное в начале, что неведомое было таковым не потому, что было неизвестным, а потому, что оно **познавалось**, и познавалось в своих вторжениях в познаваемое, оставаясь при этом ино-мирным, ино-природным, своеобразным и странным, по обычному пониманию. Но знаком, знамением его неведомости было в моем сознании прочно укоренившееся различие между «кажется» и «есть». **Кажется** так-то и так-то, но **на самом деле** обстоит совсем иначе, совсем наоборот, в полной противоположности своему казанию. Однако это противоположение не имело ничего общего с кантианством. В кантианстве противопоставляется вещь своему явлению. Но как возможно противоположение там, где невозможно сравнение, где нет никакой познаваемости вещи, где один термин противоположения всецело имманентен, а другой — всецело трансцендентен? Мне же представлялось с раннейшего детства, что явление есть именно явление, объявление, проявление вещи, от вещи не отделяется и потому — столь же «здесь», как и «там». А вещь мне казалась являющей себя своими явлениями и потому пребывающей столь же «там», как и «здесь». Противоположность «кажется» и «есть» состояла для меня в самых явлениях, в самых выявлениях. Бывают выявления поверхностные, а бывают и более глубинные. И сами о себе они свидетельствуют как о таковых. Вглядишься в явление — и увидишь, что оно есть шелуха другого, глубже его лежащего. И то, глубже лежащее, — есть «ноумен» в отношении первого как «феномена». Когда пристально вглядываешься в явления, то усматриваешь там то, чего ранее вовсе не видел и, более того, чему видел противоположное. Это-то и составляет «есть» в отношении к тому «кажется».

Но **есть** — ничуть не хуже, нежели **кажется**, — тоже может быть восприняемо каким-то тончайшим восприятием, и тут-то на глубине, когда подойдешь к тому «есть», ты видишь не только его, но и то, что «кажется», выражающим своё же противоположное, т. е. подлинное «есть». Таково, по крайней мере, было убеждение мое с раннейшего моего детства. И, повторяю, это убеждение стало с того же времени зерном всех других убеждений. Иначе мыслить я не могу, иной склад мысли отрицается всем моим существом.

Философски, в терминах критицизма <sup>9</sup>, основной вопрос моей жизни может быть назван вопросом о «схематизме чистых рассудочных понятий», конечно, разумея это сочетание терминов расширительно. Как общее сочетается с частным, отвлеченное с конкретным, духовное — с чувственным? В силу чего явление может быть бесконечно значительнее себя самого, открывая перспективы на ряды явлений, само делаясь их типом и вместе возводя ум от явлений к первоявлению? В силу чего чувственное может становиться **схемой** сверх-чувственного? Проблема этого схематизма была **моей** проблемой, даже когда я не слыхивал имени Канта. Помню, много лет тому назад отец мой, когда я был еще в одном из средних классов гимназии, заметил мне, что сила моя — не в исследовании частного и не в мышлении общего, а там, где они сочетаются, на границе общего и частного, отвлеченного и конкретного. Может быть, при этом отец сказал еще — «на границе поэзии и науки», но последнего я твердо не припоминаю. Тогда я плохо вник в его слова и несколько обиделся на такое суждение обо мне, полагая, что настоящий человек, т. е. пребывающий в мышлении отвлеченном, — это чистый ученый, под каковым разумел я мышление научное. Самое сопоставление моей мысли с областью поэзии мне казалось унижительным. Но папа, помню, настойчиво твердил свое и даже добавлял, что хотел бы в будущем моей работы в этой пограничной области. Тогда я находился и теоретически и психологически в наибольшем отдалении от своего детского мировоззрения, и потому такое суждение обо мне было наименее своевременным. Но, очевидно, и в этом иссякании детства отцовское суждение обо мне было правильным, хотя мне и не хотелось, чтобы это было так. Любивший меня и следивший за мною с волнением, отец должен был знать меня и иметь основание для прогноза. Впрочем, я не могу сказать, чтобы мой протест в данном отношении был внутренним, и в себе я знал правоту отца.

После того разговора отец мой в разные времена, и в частности, когда я был в Университете <sup>10</sup>, говаривал мне то же: он одобрял мои стремления перебросить мост от математических схем теории функций к наглядным образам геометрии и к явлениям природы; он считал, что тут я работаю на своем месте. Неоднократно просил он меня напечатать работу мою о прерывности как элементе мировоззрения <sup>11</sup>. Отец считал, что именно идея прерывности лежит пропастью между мировоззрением его поколения и тем, сказоч-

ным, мировоззрением чуда, к которому стремлюсь я. По мнению отца, доказать в явлениях природы прерывность — это и значит разбить позитивизм и провести в жизнь обратное. Он говорил, что эта идея прерывности направлена против того, что защищает он, но что он считает делом величайшей важности сделать попытку обосновать ее и полагает мои приемы, отвлеченно-конкретные, наиболее соответствующими потребностям нашего времени. Хотя я и признавал правоту его, т. е. в отношении характера своей мысли, однако старался не согласиться с ним, потому что мне чувствовалось в словах его какое-то уничтожение чистой мысли, под каковою я разумел исследование понятий и категорий, имеющее предопределить правильную постановку конструкций мысли. Но, конечно, теперь я вижу, что был прав не только отец мой в отношении меня, но и я в своем подозрении, что папа не только устанавливает характер моей мысли, но и одобряет его и, следовательно, — бросает некоторую тень на чистое мышление. Ведь и у него самого мышление было промежуточным между конкретным и абстрактным: не без причины же любимый писатель и мыслитель был у него Гёте. В конце концов, отец мой утверждал наше родовое свойство, ибо таков же был и дед мой Иван Андреевич Флоренский, а другой дед, Павел Герасимович Сапаров, судя по его страсти к тканям, духам, красивым вещам и т. п., отличался еще большею конкретностью мышления. Мною унаследована эта плотскость мысли. Хорошо это или плохо — судить не мне, но отец мой был прав в установке самого свойства. На девять десятых, если не более, содержанием моей внутренней жизни всегда были мои думы, но никогда не тихие, а всегда бурлившие и горевшие, мои интеллектуальные волнения. Мысль моя не протекала систематически, а всегда волновала и поражала меня. Она была всегда прерывистой, то запрягиваясь глубоко в область подсознательную, то вспыхивая с ослепительной ясностью, чтобы тут же вновь скрыться в подсознательный мрак. Это была не линия течения, а скорее пунктир, и образ подземных рек, простигающих земную поверхность, казался мне особенно близким. Предметом же дум и волнений всегда была проблема Символа, то в частных применениях и по частным, но меня всецело захватывавшим поводам, то в ее прямой постановке, так сказать в логический упор, и притом чем далее — тем прямее и тем определеннее.

Да, если говорить о первичной интуиции, то моею было и есть то таинственное высвечивание действительности

иными мирами — просвечивание сквозь действительность иных миров, которое дается осязать, видеть, нюхать, вкушать, настолько оно определено, и которое, однако, всегда бежит окончательного анализа, окончательного закрепления, окончательного «остановись, мгновение». Оно бежит, ибо оно живет; оно питает ум и возбуждает его, но никогда не исчерпывается построениями ума. И я любил его именно как живое, мне любо было, когда оно играло под моим взором, и клокотала в сердце исступленная радость, когда удавалось как-то охватить его, разоблачая облачением в новые символы; но никогда в голову не приходило обнажение, никогда мысли не было об умерщвлении, об остановке, об анализе. К тому же, несмотря на всегдашний восторг ума, он был очень трезв и не самообольщался, понимая невозможность такого обнажения. Было ясно мне, что этот анализ был бы самообманом. Но отказ от него был мне не в уныние, не горечью и не скорбью, даже не самообузданием, а просто спокойно-ясным чувством, да, сперва чувством, а потом уже мыслью, что этого не нужно, что это-то и есть отказ от знания, что это — не прискорбный отступ пред неведомым, а напротив — это-то и есть истинное его познание, ибо неведомое — прежде всего есть неведомое, в своей особой качественности, и то познание, которое сделало бы его не неведомым, которое лишило бы его качества неведомости, было бы не познанием, а величайшим заблуждением. Мне хочется, чтобы это основное мирочувствие мое было понятно вам, мои дети. Все дело было для меня в том, чтобы познать мир в его жизни, в его подлинно существующих соотношениях и движениях. Но то, что в мире есть неведомое, было, как я воспринимал, не случайным состоянием моего, еще неведавшего, ума, а существенным свойством мира. Неvedомость — жизнь мира. И потому мое желание было познать мир именно как неведомый, не нарушал его тайны, но — подглядывая за ней. Символ и был подглядыванием тайны. Ибо тайна мира символами не закрывается, а именно раскрывается в своей подлинной сущности, т. е. как тайна. Прекрасное тело одеждami не сокрывается, но раскрывается, и притом прекраснее, ибо раскрывается в своей целомудренной стыдливости. Напротив, тело бесстыдно обнаженное — закрыто познанию, ибо потеряло игру своей стыдливости, а она-то и есть таинственная глубь жизни и свет из глубины. И вот теперь, оглядываясь вспять, я понимаю, почему с детства, с тех пор почти, как научился я читать, у меня был в руках



«Гёте и Гёте без конца» — т. е., конечно, не брошюра Дюбуа Реймона<sup>12</sup>, а самый Гёте. Он был моей умственной пищей. Рассудочно я мало его понимал, но определенно чувствовал — это и есть то самое, что сродно мне. А то, к чему я стремился,— было гётевским первоявлением, но, вероятно, в еще более онтологической плотности\*, по Платону. Это был

#### URPHAENOMENON.

Пора сказать об этом и облегчить душу.

1920.VII.8. *Каз[анской] Бож[ией] Мат[ери]*.

Так было в миропонимании. Что же касается до самого жизненного отношения к миру, то тут определяющими были поиски тех мест его, где мировой пульс нащупывается отчетливее, где внятнее говорят потусторонние голоса природы.

Я никогда не был любопытным; но мое поведение заставляло окружающих считать меня таковым, весьма таковым. Узнать то, что меня не касается, мне никогда не было привлекательным. Но с непреодолимой силой пригвождалось мое внимание всем тем, что сквозило ярнее первоявленностью. Необычное, невиданное, странное по формам, цветам, запахам или звукам, все очень большое или очень малое, все далекое, все разрушающее замкнутые границы привычного, все вторгающееся в предвиденное было магнитом моего — не скажу ума, ибо дело гораздо глубже,— моего всего существа. Ибо все существо мое, как только я почувствую это **особенное**, бывало, ринется навстречу ему, и тут уж ни уговоры, ни трудности, ни страх не способны были удержать меня,— если только мне нечто представилось как первоявление. **Желание**, расплавляющее пред собою все препятствия, как черный огонь гремучего газа, раз оно возникло,— должно было насытиться зрелищем первоявления. Услышишь, бывало, о чем-нибудь, в чем почувется отверстой тайна бытия, или увидишь изображение — и сердце забьется так сильно, что, кажется, вот сейчас выскочит из груди,— забьется мучительно сильно; и тогда весь обращаешься в мучительно властное желание увидеть или услышать до конца, приникнуть к тайне и остаться так в сладостном, самозабвенном слиянии. Повторяю, это было не возгоревшееся любопытство, которое все же поверхностно, а стремление гораздо более глубокое

\* В рукописном оригинале — «плоскости». (Примеч. составителей.)

и сильное, потрясение всего существа, плен и порыв в неведомое. И страшно, и сладко, и истомно — хочется. Мысль о тайне солнечным зайчиком, каким-то световым пятном застревает в мозгу; да, я нарочно говорю в мозгу, ибо это стремление по силе своей и непреодолимости захватывало весь организм как рефлекс, физиологически.

Это была жажда знать, упиться познанием тайны, всецело слить себя с таинственно высвечивающими ноуменами. Пред нею отступали все другие стремления, все другие влечения — страсть всепожирающая — к Природе. То, что обычно называется «секретами» и «тайнами», отношения общественные и вообще человеческие, людская сумятица, загадки истории — все это весьма мало волновало меня. Природа, во всех ее сторонах, во всех событиях своей сокровенной жизни, — она одна держала меня в плену.

Но то, что называют законами природы, мне всегда казалось личиной, взятой временно. Иные силы зиждут миром, и иные причины направляют течение ее жизни, нежели то принимается наукою. Эти силы и эти причины порою приподымают взятую на себя маску и выглядывают из щелей научного миропорядка. Иногда природа проговаривается и, вместо надоевших ей самой заученных слов, скажет иное что-нибудь, острое и пронзительное слово, дразня и вызывая на исследование. Тут-то вот и подглядывай, тут-то и подслушивай мировую тайну, лови этот момент. Где есть отступление от обычного — там ищи признание природы о себе самой. И с раннейшего детства я был прикован умом к явлениям необычным. Когда взор направлен в эту сторону, то в самом сочетании обычного (если бы поверить вообще в окончательную реальность обычного), в нем уже чувствуется беспорное вмешательство **необычного**, чего-то большего обычных свидетельств о себе самой природы. Колосс Мемнона, издающий звук при восходе солнца, поющие пески, пещеры с нависающими сталактитами и торчащими снизу сталагмитами, гейзеры, время от времени воздымающие фонтаны своих вод, огнедышащие горы и грязеизвергающие сопки, человекообразные скалы, ядовитые и ароматические растения и т. д. и т. д. теснилось в уме и непрестанно волновало. Много поводов к трепету отыскивалось в этом смысле в русском журнале «Природа»<sup>13</sup> и во французском «La Nature»<sup>14</sup>, который получался у нас со времени его основания Гастоном Тиссандье и до кончины моего отца. Но особенно привлекали мое внимание статьи в «Природе» о великанах и карликах, о метеоритах и более всего — об уродствах.

Физическое уродство, безумие, яды, губительные болезни, всевозможные разрушительные силы естества — все это казалось неизъяснимо интересным и влекущим; если где, то тут уж наверное природа проговаривается, — думаю мне. Она скрывается, молчит или шутит, играет со мною, чтобы пробудить меня к деятельности, и она хочет быть познаваемой мною. Но иногда она поощряет, как будто нечаянно приоткрыв свои завесы. Таковы уродства. В этой области я мало находил и нахожу откликов себе в окружающих, которые безрелигиозно морщились от рисунков, рассматривавшихся мною бесчисленное количество раз и никогда мне не надоедавших. Мне же они были несказанно привлекательны и сладко волновали таинственным, слегка запретным чувством подглядывания в приоткрывшуюся дверь. Но потом я нашел полное выражение этого своего чувства у своего любимца Т. А. Гофмана, в словах Киприана из «Серапионовых братьев»<sup>15</sup>. «Мне всегда казалось, — говорит Киприан, — что в тех случаях, где природа уклоняется от правильного хода, мы легче можем проникнуть в ее страшные тайны, и я нередко замечал, что, несмотря на ужас, который овладевал мною иной раз при таком занятии, я выносил из него взгляды и выводы, ободрявшие и побуждавшие мой дух к высшей деятельности» \*. Просматривая в сотый раз рисунки шестипалых рук и ног, сросшихся близнецов, людей с двумя головами, циклопические уродства с одним глазом на лбу, людей, обросших волосами, и прочих чудиц, я запомнил их столь предельно отчетливо, что и сейчас мог бы воспроизвести любой рисунок. Каждое из таких уродств зияло предо мною как метафизическая дыра из мира в иное, первоосновное бытие, и с колотящимся от волнения сердцем приникал я к этим прорывам мироздания и жадно всматривался в чернеющую за ними ночь. Потом, когда я научился читать и не расставался с едва ли не первой из прочитанных мною книг, сочинениями Пушкина в издании Павлиенкова<sup>16</sup>, как знакомое звучало во мне пушкинское:

Все, все, что тибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья —  
Бессмертья, может быть, залог,  
И счастлив тот, кто средь волненья  
Их обретать и ведать мог<sup>17</sup>.

\* В первоначальном рукописном оригинале ссылка: «Гофман. Серапионовы братья. Т. 2, стр. 23». (Примеч. составителей.)

1920.VII.9. Вот именно, там, где спокойный ход жизни нарушен, где разрывается ткань обычной причинности, там виделись мне залогом духовности бытия, — пожалуй, бессмертия, в котором, впрочем, я был всегда уверен настолько прочно, что оно меня даже мало занимало, как не стало занимать и впоследствии и подразумевалось само собою.

Весь мир был сказкою, в одних местах притаившеюся, в других — открытою. Но и там, где сказка мира казалась спящей, я видел притворство: глаза ее были приоткрыты и сквозь ресницы высматривали expectantly.

С к а з к и. Вопреки прирожденному сказочному складу всего моего мирочувствия, родители всячески отделяли меня от мира сказок. Одной из причин к тому была моя чрезмерная впечатлительность; представлялось родителям, что введение меня в мир «фантазии» будет ущербом моему здоровью, и без того слабому, так что мою чересчур возбуждаемую нервную систему оберегали от впечатлений, в которых не неосновательно предвидели богатую пищу для страхов и чувства таинственности природы. Но, кроме того, родителям казалось необходимо оберегать меня и в смысле мировоззрения, чтобы с детства внедрить мне взгляды естественнонаучные и забронировать доступ мыслям о мире потустороннем.

Отец мой, более матери скептический и потому более матери терпимый, и в этом отношении был открытее и допустил бы сказки легче. Это он, правда, когда я уже входил в иной возраст, стал покупать мне сказки, несмотря на явное неудовольствие матери. Но мать моя гнала сказки от нас, детей, беспощадно. Сказок нам не рассказывалось и не читалось, книг со сказками тогда не дарилось, и самые понятия народной мифологии должны были остаться чуждыми нам. Такова была программа — воспитать ум чистым от пережитков человеческой истории, прямо на научном мировоззрении. И нам, детям, в особенности мне как старшему, показывались изображения зоологические, ботанические, геологические, анатомические и т. п. Предо мною с пеленок стояли всевозможные явления организованной и неорганизованной природы, запечатлевшиеся в памяти с крайнею резкостью. Отец, тетя Юля, изредка мать рассказывали и объясняли, безжалостно изгоняя все сверхъестественное: на все находилось свое объяснение в духе натурализма, схематически простое и насквозь понятное. При этом подчеркивалась строгая закономерность природы и непрерывность всех ее явлений. Когда же я, всегда воз-

буждавшийся к концу дня, наконец, укладывался, после всех оттяжек и протестов, спать и долго-долго ворочался в томлении с боку на бок или просматривал, обводя глазом, рисунки ковра и обоёв, изученные мною до каждого пятнышка, папа сжаливался надо мною, приходил в спальню и, присев на край кровати, начинал свои рассказы. Это были то какие-нибудь путешествия — Ливингстона<sup>18</sup>, Стэнли<sup>19</sup> или Кука<sup>20</sup>, дикие народы, из которых меня особенно привлекали людоеды, каменный и бронзовый век, добывающая и обрабатывающая промышленность, геологические периоды, строение солнечной и звездной системы, канто-лапласовская гипотеза мирообразования<sup>21</sup>, волновая теория звука и света, основы термодинамики, дарвинизм, суть которого отец видел в непрерывности. «Бесконечно малые причины, действуя веками и накапливаясь в течение очень долгих эпох, могут дать конечное изменение — вот что открыл Дарвин», — говорил мне отец. Останавливаюсь на этом потому, что и в понимании отца именно **идея непрерывности** была оплотом и средоточным скрепом научного мировоззрения, научности, тогда как душою сказочного, по его убеждению, была обратная идея — **прерывности**.

Едва ли не наибольшее внимание мое привлекали к себе кометы. С томлением, которое можно уподобить разве что сильной жажде, — ею я непрестанно страдал в детстве, — хотелось мне увидеть **своими** глазами комету, и, за неимением подлинника, я разжигал свое воображение рисунками комет в «Conversations Lexicon» Мейера и в курсах астрономии. Но зато я получал некоторое удовлетворение от рассказов папы, как сам он видел кометы: по чувству единства с отцом, его глаза были для меня почти что моими, и комета, виденная папой, была вроде как бы виденная мною. Папа же говорил об одной комете, виденной им в юности, вероятно, об августовской комете 1876 г., и о другой, бывшей в год моего рождения, сентябрьской комете 1882 года, считавшейся, по словам Ньюкомба<sup>22</sup>, «самым замечательным зрелищем в нашем столетии»\*.

Все это и многое подобное рассказывалось не раз и не два. По общему признанию, отец мой отличался большими педагогическими способностями; ясно представляя и понимая все то, что хотел объяснить, он умел и рассказать все так ясно, что даже трудные и скучные предметы сами

\* В первоначальном рукописном оригинале ссылка: «Ньюкомб, 431». (Примеч. составителей.)

собою и с интересом укладывались в голову. Он ничего не делал кое-как, нехотя и без вкуса, но за что бы ни взялся, все оживало в его руках и его словах. Все облагораживалось, делалось занимательным и значительным, сам он увлекался каждым делом, освещая его своими отчетливыми знаниями и соотнося с далекими перспективами. При этом он горячо любил нас, а мы — его; а вдобавок самая обстановка ночного полумрака, при ночнике, с предстоящей томительной бессонницей, заставляла впиваться в ночные рассказы отца. И понятно, слова его, вопреки основному складу моему, не проходили бесследно, внедряясь в сознание и производя свою работу. Над моим собственным миропониманием в духе магического идеализма образовывалась пленка, преграждавшая свободу дыхания; это была идея непрерывности, как существенно исключаящая чудесное, и она пыталась пронизать мой ум. В душу внедрялись понятия, ей чуждые, существу ее враждебные, и, утесняя ее, в то же время сами преобразовывались в чуждое, как мне думается, намерениям отца. Родители хотели меня уберечь от излишнего первого подъема; но все эти Млечные Пути и туманные пятна, звездные годы, спектроскопы и телескопы, кольца Сатурна, спутники Юпитера и фазы Венеры, геологические периоды, бесконечно малое и бесконечно большое, бактерии и плезиозавры, коническое лучепреломление и северное сияние и т. д. и т. д. — волновали и возбуждали ум гораздо больше, чем естественные, общие человечеству и всем детям, представления о русалках и леших, и притом противоестественно, нездоровым волнением, ибо отрывали меня от меня самого и направляли душевную жизнь в сторону, ей не свойственную. Факты и фикции пауки были для меня гораздо менее естественны, нежели мистическая фауна сказок. Родители, особенно отец, хотели воспитать во мне критическую мысль и решительно отсечь какую бы то ни было возможность религиозного догматизма, а в связи с ним — и фанатизма с нетерпимостью, опаснее чего, по глубочайшему убеждению отца моего, не может быть ни одна страсть. Чтобы пресечь в себе и в других возможность фанатизма, он подрывал жар убеждений аксиомой об относительности всякого знания и всех суждений. «Нет ничего на свете абсолютного», — было его постоянным изречением. Но меня удивляет, как просмотрел он научный протест против относительности наших знаний, в ребенке такой естественный. Вместо общечеловеческого догматизма религиозного и общечеловеческой же нетерпи-

мости религиозной во мне закладывался догматизм научный, катехизис научного миропонимания, противоестественный в основе дела, ибо суть науки как раз обратная — в критичности; на почве научного догматизма готовился произрасти научный же фанатизм и научная нетерпимость. Развивалось высокомерие от науки, можно сказать, убийственное высокомерие, ибо с точки зрения научного догматизма все непричастные ему расценивались как почти что не люди даже. Лаплас и Лайелль<sup>23</sup>, Дарвин и Геккель<sup>24</sup> и прочие заняли места в душе, им не принадлежащие по существу дела, и, занявши, облеклись атрибутами святых отцов и учителей Церкви. Но хуже всего было то, что, горяча голову и бередя мысль, все эти воззрения, усвоенные весьма твердо и яростно для употребления *ad extra*<sup>25</sup>, в душе, как предмет собственного пользования, не встречали внутреннего отклика и оставались, несмотря на силу внешнего их высказывания мною же, на периферии души.

Произошла семинарщина навыворот. Там — догматические понятия Церкви остаются на периферии, а более глубокая душевная жизнь руководится материализмом, эволюционизмом<sup>26</sup> и механизмом<sup>27</sup>. Тут было напротив, но с тою опасною разницею, что привитие с детства церковных понятий, хотя и иным способом, чем это достигается в духовных семинариях, соответствует потребностям души, а привитие научного мировоззрения идет против них. Глубоко затаилось в душе восприятие мира как живого и духовного, вся естественная символика природы, все волнения, нравственные и нежные. Этому не было места в области мысли, научное приличие требовало, чтобы об этом не говорилось, с этим не считались и относились как к несуществующему. Но оно не перестало существовать и ушло в подполье. В душевной жизни моей образовалась трещина, начало возникать раздвоение, трещина стала шириться и впоследствии повела к большому кризису, о котором будет сказано на своем месте.

Но возвращаюсь к своему рациональному воспитанию. Желая обезопасить меня от «мистики», родители на деле работали в обратную сторону, не допуская меня в детстве воспринять все то, что огрубляет кожу души и лишает ее чрезмерной мистической чувствительности. Мой организм в отношении мистики не приобрел иммунитета. Не имея в этом смысле естественного, всенародного питания, я тем жаднее и тем страстнее рвался сюда своими путями, сам

открывая запретные мне представления, сам создавая свою мифологию и ревностно восстанавливая, сколько мог, мифологию народную по тем ее обломкам и намекам, которые несла с собою, того не подозревая, любая книга, самая речь и, наконец,— полусознательные обмолвки тех же родителей. Как ни уберегали меня от мистической фауны родителей, я быстро своим умом добрался и до леших, и до русалок с домовыми, в особенности же до фей, гениев, эльфов и т. п. существ — изящных, легких и светлых. «Никогда эти сказки, которые, замечу мимоходом, в детстве мы постоянно слушали с восторгом, а отнюдь не со страхом,— впоследствии прочел я у Гофмана в «Зловещем Госте» \* <sup>28</sup> и нашел полное подтверждение в своем внутреннем опыте,— никогда, повторяю, эти сказки не оставили бы в нас такого глубокого следа, если бы в душе нашей не существовало самостоятельных, звучащих им в ответ в том же тоне струн. Отрицать существование странного, непонятного нам до сей поры особого мира явлений, поражающих иной раз наши уши, иной раз глаза, нет никакой возможности, и поверьте, что страх и ужас нашего земного организма только внешнее выражение тех страданий, которым подвергается живущий в нем дух под гнетом этих явлений».

В своем опыте я нахожу полнейшее согласие со словами Гофмана, с тою, однако, разницею, что мое мистическое мировосприятие не было тогда мрачным, темная сила меня мало заботила, а взор преимущественно обращался к существам очаровательным и благодетельным, к душам цветов, и птичек, и ручьев, к феям и эльфам, порхающим, как колибри, на свою и на мою радость. Мир, более тяжеловесный и грозный, тоже ощущался мною, но он стоял на заднем плане, изредка рокоча отдаленным громом, и лишь впоследствии выступил вперед: тогда начался период страхов и ужасов.

Сказки — **вовсе** не оставили внешнего следа на моей душе, но самостоятельные и сказочные испарения подымались из душевных недр и оплотневали в образы,— подобные исконным образам народной веры. Тайне природы откликались струны души, и звук их, не имея готовых, облегчающих выход протоков в образах общечеловеческих, вырывался с тугою и болью, скопляясь, может быть, чрезмерно, ища выхода, ища облекающей ее формы. Эта потре-

\* В первоначальном рукописном оригинале ссылка: «Серапионовы братья. Т. 3, стр. 177». (Примеч. составителей.)



бность в мистике, эта жажда чудесного обращалась туда, где можно было надеяться на хотя бы кажущееся чудо.

**Фокусы** привлекали мое воображение, побуждая в самом понятном, по-видимому, сочетании действий и приемов, мне разъясненных и мною отлично усвоенных, все же видеть какой-то иррациональный остаток: **понятно** — и все же что-то большее простого сочетания ловких приемов. Я знал, как делается фокус, подобно тому, как я знал, почему происходит известное явление природы; но за всем тем, и в фокусе и в явлении природы, виделось мне нечто таинственное, которого не могли разрушить никакие уверения старших. Самая видимость чуда уже была чудесна. Не без причины же магия всегда была не чужда и престижизитаторства, что не мешало, однако, самим магам верить ее силе. // Не без причины фавматургия <sup>29</sup> древних и «белая магия» средневековья и Возрождения главным образом состояли из фокусов. Там, где чудесное исключено в самой основе, фокус, разумеется, есть **только фокус**, пустая видимость несуществующего, невозможного. Но когда чудесное <sup>30</sup> **вообще-то** признается, вторжение его не может быть мыслимо только в определенных, строго очерченных выходах из мира; как благовоние, оно все собою заволакивает, хотя есть места большей и есть места меньшей благоуханности. Чудесное тогда мыслится как музыкальное сопровождение. Оно составляет задний фон всего происходящего, но с **бóльшей** или **меньшей** внятностью, и то, в чем этот звук раздается мощными раскатами медных труб, существенно не иное, чем содержащее нежнейшие звуки флейты. Все чудесно, все пронизано таинственными силами и их деятельностью, только — в одном случае это более явно, в другом — не так. Как волны в океане, отражаясь от особой береговой линии, иногда чрезвычайно усиливают друг друга, так и некоторые явления относительно чудесного ведут себя вроде вогнутого зеркала. Все чудесно. В этом смысле и фокус, как бы он ни казался понятен, в основе своей — чудесен. Но там, где налична **воля к нарочитой чудесности** или хотя бы к призраку чудесного, трудно не ждать такого усиления стихии чудесного, пронизывающей собою все. Ведь эта воля и есть производящая причина фокуса. Когда \* она удовлетворяет себя хотя бы игрой в чудесное, подражая ему, изображая его и заставляя зрителей — лишь на мгновение — в сорвавшемся «ах»! —

1920.  
VII. 10  
Серг  
[увв]  
Пос  
[ад]

\* В рукописном оригинале соответствующее место стилистически изложено короче и вместо слова «когда», появившегося во второй редакции, написано «где». (Примеч. составителей.)

поверить в свершившееся внятное чудо, там не может не быть какой-то волны, какого-то мгновенного порыва, какого-то явления и впрямь того, что более пущенных в ход наличных физических средств и ловкостей. Видимость чудесна, хотя и видимость; она в самом деле содержит в себе некое мгновенное чудо и тем вызывает природу на подражание. Фокус есть вовсе не так «просто», как думают старшие, а — прием подражательной магии, ибо вся магия, в конце концов, сводится к посылаемой волевой волне, к концентрации ее известными ритуалами и к произведению в мнимости — поэтическому, живописному, скульптурному, драматическому, хореографическому и т. п. — того чуда, которое ждется и ищется. Не этими словами, но в этом направлении думал я о фокусе в раннем детстве. Тогдашние свои мысли могу подтвердить одною любопытною справкою.

Известный страстностью своей борьбы против спиритизма<sup>31</sup> и вообще всяких суеверий Леманн ради полного изобличения медиумов-фокусников, как утверждает он, предпринял ряд сеансов, в которых сам выступил в качестве медиума, т. е. как провокатор-фокусник, и в общественных собраниях производил различные заведомо фокуснические проделки. Он имел успех, обманул своими фокусами многих. Но... сам оказался обманутым: заведомые, собственноручные его фокусы, производимая им видимость спиритического чуда, даже при отсутствии магической воли, по крайней мере со стороны самого Леманна, вызывала путем подражания подлинные спиритические явления, вопреки убеждению и вопреки намерениям ученого-фокусника. «...Достоверно, что как Девэй, так и я достигли результатов через фокусничество», — пишет он. А в то же время: «Даже при моих медиумических (т. е. фокуснических) опытах обнаружались некоторые указания на в высшей степени замечательные психические феномены, обусловившие мои успехи, и я уверен, что наличность такого рода явлений именно и отличает медиума от простого фокусника»<sup>32</sup>. Далее Леманн высказывает убеждение, что у известного фокусника Девэя, инсценировавшего спиритические явления, не все было только фокусом\*. Следовательно, фокусный отвод глаз и Леманна, и Девэя, и других подобных заключался не в том, как они сами думали, что вместо спиритизма они показывают ловкие трюки, а в том, что пресловутая ловкость их трюков подменена настоящим спиритизмом, но,

\* В первоначальном рукописном оригинале ссылка: «Стр. 412 — 413». (Примеч. составителей.)

конечно, не сплошь, как и у заправских медиумов не сплошная магия. В качестве зрителей, заплативших за вход на фокусы, нередко мы имеем право возмущаться, как королева андерсеновской сказки, тому, что нам показывают подлинного соловья, подлинную розу и настоящий румянец, тогда как мы пришли смотреть имитацию. Но в том-то и дело, нет устойчивой границы между шарлатанством и оккультизмом<sup>33</sup>, между фокусами и магией, и одно переходит в другое и вызывает другое. Фокус не делается без чуда, как и чудо магии не делается без фокуса<sup>34</sup>.

При всей понятности, фокус, хотя бы и самый простой, был в моем сознании приемом магическим, и я смотрел на него или даже думал о нем с пристальным, напряженным вниманием, но и с суеверным страхом: присасывался взором, но и замирал мистически. Старшие же, напротив, этой двойственности моего отношения не понимали и, кажется, думали, что знакомство с фокусами, конечно, разоблачаемыми, должно разрушить в корне и вообще вкус к чудесному.

И вот однажды, придя из города домой, — а вам следует помнить, что Батум был маленьким городишкой, в котором редко случались какие-нибудь особые события, — придя из города домой, папа торжественно объявляет, что сегодня вечером мы с Люсей пойдем смотреть фокусы приехавшего в Батум знаменитого фокусника Роберта Лепца. При этом он вручил тете купленный уже билет на ложу того сарая из волнистого железа, который в Батуме назывался театром, и программу фокусов в двух экземплярах. Уже самая наружность этих программ показалась удивительной: напечатанные на папиросной бумаге с рамочками из цветов, казавшимися нам верхом изящества, эти программы были надушены. Тетя вычитала нам из них самые необыкновенные чудеса. Был даже номер — раздача сюрпризов, правившийся мне за самое слово «сюрприз». В последнем же отделении — «отсечение головы живому человеку». Потoki крови хлынули в моем воображении из обрубка шеи и стали заливать пол и все кругом. Кровь, но алая, самосветящаяся на солнце, по всей массе пронизанная разлитым светом, всегда казалась мне таинственной «жидкостью особого рода»<sup>33</sup>.

Я был слишком взволнован этой программой, и весь вид мой, напряженный до болезненного состояния, обнаруживал эту взволнованность; как я ни старался сдержаться, по

от ожидания и ужаса меня било, как в лихорадке. Тогда старшие объявили, что мы досидим в театре до последнего отделения и потом уедем, потому что зрелище казни может нас потрясти чрезмерно. Но я и сам был очень рад такому решению, потому что боялся не выдержать кровавого зрелища; без того душа была напряжена до последней степени. Как ни любопытно мне было увидеть этот главный фокус, я настолько боялся его, что не возражал против состоявшегося решения. Занятные программы были уложены в особые конвертики, и моя — потом долго хранилась у меня, если только не хранится где-нибудь среди вещей и до сей поры. В напряженности и волнении проведен был весь оставшийся день. Пытались было нас днем уложить спать, но, конечно, я не сомкнул глаз и ежеминутно вскакивал. Вечером, одевши по-праздничному, нас повели в железный сарай, и восхищению не было конца. Морские свинки, которых делили, так что они удваивались, и потом снова делили, и они снова удваивались, и так — несколько раз. Бумажный рублевый кредитный билет, — помню его желто-коричневый цвет, — Ленц растягивал до размеров большого флага. Заводимый снизу нарочито трескучим ключом спиритический стол летал по всей сцене. Часы, столченные в порошок медным пестиком, пошли на заряд револьвера; помощник Ленца выстрелил из него, и часы оказались под носом у кого-то из публики, к негодованию изобличенного и на смех окружающих. После какого-то фокуса в Ленца был произведен выстрел, из руки хлынула кровь; обмыв рану в тазе с водой, Ленц плеснул на публику из таза, и вместо воды посыпались фотографические карточки самого Ленца, что и было обещанным сюрпризом. И многое другое в этом же духе казалось мне подлинною магией, хотя я отлично знал, что делается оно ловкостью и приспособлениями, и хотя один из фокусов был тут же, на сцене, объяснен самим Ленцем. Объяснение, данное им, показалось мне, впрочем, докучным и несколько бестактным, неуместно нарушившим общий дух чудесного. Ленц всем подходил к моим представлениям, кроме этого, кроме рационализации собственного фокуса. Но внутренно я все-таки и не поверил ему, что это так просто (хотя сам повторял объясненный фокус), и считал его объяснение за один из способов отвести глаза, чтобы произошло в это время нечто подлинно магическое. Насыщенный чудесным, я безропотно дал себя увести домой до последнего

отделения: тут было и обычное мое послушание, и сознание, что я достаточно подсмотрел тайн природы, даже более, чем сколько мне полагалось видеть, а главное — холодный ужас охватывал меня при мысли, что могу увидеть нечто слишком страшное. Перед уходом я уже был близким к нервному припадку. Кто-то из взрослых остался на окончание и потом высказал, что мы ушли вовремя и с пользой для себя не видели действительно тяжелого зрелища и пролитой крови.

1920.VII.11. Это представление Ленца оставило неизгладимый след в моей памяти. Отдельные моменты фокуса, между собою не связанные, в моем созерцании, а потом и в моей мысли соединились смыкающимися их промежуточными звеньями. Я действительно видел, как рублевый кредитный билет растягивается в руках фокусника и вырастает до размеров простыни, как морская свинка делится на две, а каждая из них — опять удваивается. Фокусная мнимость чуда укрепила меня в убеждении, что чудо возможно вообще и, мало того, что все совершающееся «естественно», как думают взрослые, на самом-то деле происходит именно тем же, чудесным, а иногда, может быть, фокусным порядком.

Одно есть, другое — кажется. Есть ловкость, кажется — чудесное, — рассуждали взрослые. Но и не напротив ли? Кажется ловкость; а есть — чудо. Кажется непрерывность процесса изменения, а есть — ряд чудесных скачков, прерывных прыжков действительности, толчки и внезапные появления. Из запертого ящика исчезает положенная туда вещь — «кажется», что исчезает, думают взрослые. Но может быть, наоборот: кажется, что в моем ящике неизменно лежит вещь, а на самом-то деле она, быть может, исчезает, например, множество раз в секунду исчезает и вновь появляется, лежит и здесь, и еще где-нибудь, совсем в другом месте. Часы на самом деле целы, думают взрослые, но «кажется», что они сломаны и потом срослись. А не наоборот ли? Взрослым кажется, что часы оставались целы, а на самом деле они то рассыпались, то срастались.

И эти выводы, возникая в моем уме, властно, хотя, может быть, и не вполне отчетливо высказываемые, произвольно и непреодолимо пошли далее, все усложняясь и накапливаясь. Фокусник кажется фокусником, своего рода обманщиком; его считают фокусником. Но на самом деле он-то, может быть, и есть вовсе не фокусник, а подлинный волшебник; и его кажущиеся фокусы, в конечном счете,

может быть, — вовсе не фокусы, а настоящая магия. Если считать фокусы за обман, то еще неизвестно, кто именно обманут. Может быть, и сам фокусник обманывается насчет себя самого.

И в мысль мою начала ввинчиваться убежденность, что «простое» вовсе не так просто, как его хотят представить, что «объясненное» вовсе не так объяснено, как этим льстят себе объяснители. Непрерывное вовсе не непрерывно, тождественное — не тождественно, а различно, различное же — не различно, а тождественно. Во мне создалось крепкое убеждение, — говоря позднейшим языком, — что в самой сути, в той таинственной глубине, куда взрослые боятся и не хотят заглядывать и куда они не пускают заглядывать меня, — что там бессильны законы тождества и противоречия и действуют иные законы: тождество противоречивого и противоречивость тождественного; вещь есть не она, а другое нечто — это-то и есть она.

С охотою воспринимал я всяческие объяснения жизни, самые рациональные, впитывал их в себя; но в душе оставлял за собою право думать, в конечном счете, — наоборот, быстро раскусив некоторую прагматическую, в смысле рабочей, полезность рациональных объяснений, равно как и их произвольность, условность и пустоту. Я быстро научился жить двумя умами: на поверхности — умом взрослых, приняв с легкостью законы логики, а в глубине — умом своим, детским, и воспринимая мир как, — уже много лет спустя я узнал такой термин, — как сторонник магического идеализма<sup>36</sup>. На периферии я горячо и даже фанатично мог защищать то или другое научное объяснение, в душе, однако, не веря в научные объяснения и считая их (— как они и суть на деле —) условными. Я чувствовал, не следует говорить о другом, о моем понимании мира вслух, и замалчивал его как тайну своей души. Мне казалось непристойным и наивным объяснять мир магически пред другими: но мало ли о чем не следует говорить другим. И я казался «ученым», будучи внутри — «магом»<sup>37</sup>. Однако это было не притворством, а своеобразною стыдливостью и умственным приличием.

1920.VII.12. Вот я сижу сейчас за этими воспоминаниями. А в соседней комнате ветерок позвякивает длинными стеклянными трубочками-подвесками, свисающими вокруг большого абажура висячей лампы. И стекляшки слабо звякают, словно подают друг другу голос, словно обсуждают нечто между собою. Приятный и таинственный звук,

несколько жуткий. И во мне воскресают детские мои чувства и детские мои мысли. Механическое объяснение — дешевое объяснение. Даже мои дети понимают, «по-научному», что звенение это от ветерка. Механическое объяснение тут более чем просто, и, казалось бы, если где, то здесь довлело бы оно. Но ведь я слышу, ухом воспринимаю таинственность этих перезвякиваний и не могу отрешиться, вот сейчас, от непосредственного впечатления, что этими хрупкими, ломающимися звуками сказывается какой-то смысл, мне не вполне доступный, но, однако, в общем понятный. Ведь есть же у перезвякиваний этих окраска таинственности, беззаботности, невинности; а если есть она, то не может не сознаться и соответственный предмет ее — некоторая духовная сущность. В данном случае, этот предмет, хотя и таинственный, но безвредный и хрупко грациозный. Это какие-то невинные и беззаботные маленькие существа, беседующие между собою тонкими голосками или составляющие маленькие между собою заговоры. Но в других случаях духовная окраска бывает грозною и жуткою. Рев автомобиля разве не кажется минотавровым? Глубокий, словно грудной, свисток старых паровозов не кажется ли голосом огромных, но добродушных зверей из какого-то доисторического прошлого? Помню, отец любил водить меня в места с отчетливым многократным эхом — в Коджорах на Кер-Оглы, в Боржоме — на Елизаветинском плоскогорье, что над минеральным парком, и другие. И когда он кричал, стараясь приучить меня к безбоязненности, я пугался откликов эха, хватал отца за руку и умолял больше не кричать. Особенно перепугался я раз в Боржоме, так что потом даже ноги подкашивались и я не мог идти. Но ведь отец мне объяснял физическое происхождение эха, я отлично усвоил его объяснение и даже способ рассчитывать расстояние звукоотражающей поверхности. Усвоил, объяснял другим, вероятно, и сам смеялся над страхом других и, во всяком случае, над непониманием, отчего происходит эхо, и при всем том мне еще более ясно было, что физическим объяснением дело не исчерпывается, что есть таинственные силы или, точнее, таинственные существа, эхо производящие, что духи эти — жуткие духи, с которыми рискованно связываться, которых опасно раздражать и которые, прикрывшись личиною физической понятности, ведут себя, как если бы впрямь было только механическое отражение звука, но в ту или другую минуту, как зыкнут уже своим голосом, как крикнут что-то свое,

совсем не то, что кричим мы им, объявятся в такой своей страшной подлинности, что умрешь тут же на месте от одного их появления. Мое непосредственное восприятие твердило мне, что, конечно, физическое объяснение — физическим объяснением, но, за всем тем, надо помнить о жизни, притаившейся под личиною физической видимости. Духи изображают механику, но до поры до времени — такова была моя формула. Но и я не настолько глуп, чтобы без понятия отнестись к этой видимости и довериться ей.

И то же во многих других случаях. Тень, то удлиняющаяся, то становящаяся короткой, искажающая и гримасничающая, вытягивающая то нос, то ухо, разве она не воспринимается как самостоятельное таинственное существо? // Когда ночью сидишь один и при свечке потянутся по углам тени, внезапно подымаясь на непредвиденных местах, словно выплывая из-под стола, — разве не жутко и разве не ощущается присутствие — присутствие чуждых и таинственных существ, которые заставляют сжиматься внутренно и остерегаться уже по одному тому, что они тут, возле меня, хотя бы ничего враждебного и не сделали? Самое присутствие таинственного, раз оно усмотрено, не остается бесследным и болезненно волнует душу, хотя в болезненности этой есть своя глубина и своя жизненная значительность. В тени чуялся мне какой-то двойник человека, какая-то его составная часть, в нем или при нем содержащаяся, но им не управляемая, имеющая в нем не подчиненную его воле силу и источник движения, а потому встающая, как призрак безумия. И у вещей — свои двойники, вкрадчивые, бесшумные, нарядные тени.

Зеркальное отражение тоже казалось двойником. Если нечаянно увидишь свое изображение в зеркале, особенно наедине, и тем более ночью порою, — разве не охватывает чувство тайны, смущение, робость? А если ночью приходится долго видеть себя в зеркале, разве не переходит робость в ужас, в непреодолимую неспособность заниматься перед зеркалом? Двойник зеркальный повторяет меня; но он только притворяется пассивным моим отражением, мне тождественным, а в известный момент вдруг усмехнется, сделает гримасу и станет самостоятельным, сбросив личину подражательности. Кажется естественным, а таково ли на деле — большой вопрос: это-то и страшно. А разве все мы не знаем физического объяснения, почему происходит зеркальное отражение? Разве мы не слыхивали об



отражении света? У Суворова боязнь зеркал доходила до полного неперенесения вида зеркальной поверхности<sup>38</sup>, до судорог, и в помещениях, им занятых, все зеркала должны были быть завешаны\*. И не без причины это ожидание, что личина физичности в любой момент может быть вот скинута: ведь в гаданиях с зеркалом так и получается — вместо отражения появляются другие образы, и мистический трепет переходит в подлинный ужас. Не есть ли и всегда боязнь зеркал, чувство таинственности зеркал, полусознательная мысль о явной мистичности зеркала в гадании? И не это ли предчувствие, а также и прямое знание сделали зеркало у китайцев священным предметом?

1920.VIII.15. Итак, мое отношение к миру было таково: физическое в мире, физико-механическое, есть лишь одна из сторон мира, но отнюдь не все — нечто сопутственное и вторичное, возникающее скорее как мысль по поводу явления, взятого отвлеченно, нежели чем прямо воспринимаемая действительность. В глубине же физического лежит тайна, физическим полу-прикрывающаяся, но совсем — не физическая, и физическое тайны — тайны не только не упраздняет, но само, в некий час, может быть всецело упразднено тайною. Да, в любую минуту, думалось мне, тайна может встать во весь рост и далеко отбросить личину физического. Там же, где физическая видимость снимается только кажущимся образом, там, где как будто показывается лик тайны, в фокусе, — там создаются благоприятные условия, чтобы тайна и в самом деле сбросила свою маску и протянула, размяла свои члены и вдосталь пошалила, пользуясь нашим с нею заигрыванием. Там, где мы дразним тайну, она охотно выступает нам навстречу и под прикрытием фокусного чуда делает чудо настоящее, делает его, но по нашей же вине остается неуличенною. Повторяю, чтобы подвести итог, — я был убежден, что фокус живет и — больше фокуса. Впоследствии нашлось подтверждение этой моей детской мысли у того же Гофмана, в его «Житейской философии Кота Мура»\*\*. Напомню это очень открыто встреченное мною место.

Гофман описывает фокус предсказаний, исходивших из стеклянного шара, который висел в пустой комнате. Предсказания же давались девушкою-сомнамбулой, с передачей

---

\* На полях машинописного оригинала против данного места приписка П. А. Флоренского: «Имп. Павел»<sup>39</sup>. (Примеч. составителей.)

\*\* В первоначальном рукописном оригинале ссылка: «Собр. соч., 1899, стр. 120 — 121». (Примеч. составителей.)

звука ее голоса этому шару посредством труб. Получался как будто фокус, но это было гораздо более фокуса. И вот, как бы в предисловие к описанию такого фокуса, Гофман пишет разговор:

«...Людей более удовлетворяет смертельный ужас, чем естественное объяснение того, что кажется им призрачным; им мало этого мира, они хотят видеть еще кое-что из другого мира, не требующего тела для того, чтобы быть открытым.

— Я не могу понять, мастер, вашего странного вкуса к подобным штукам,— сказал Крейслер.— Вы приготовляете чудесное из разных острых снадобьев, как какой-то повар, и воображаете, что люди, фантазия которых сделалась так же плоска, как желудок у слизняков, будут раздражаться такими вещами. Нет ничего неприятнее того, когда после таких проклятых фокусов, раздражающих человеку сердце, вдруг оказывается, что все это произошло естественным образом.

— Естественным! — воскликнул мастер Абрагам.— Как человек изрядного ума, вы должны признавать, что ничто в мире не происходит естественно, да, ничего! Или вы думаете, уважаемый капельмейстер, что если нам удастся данными средствами произвести известное, определенное действие, то для нас будут ясны причины действия, истекающие из тайн природы? Вы когда-то относились с большим уважением к моим фокусам, хотя никогда не видали самого лучшего из них, перла всех моих фокусов... (вышеозначенной невидимой девушки-предсказательницы). Именно этот фокус более всех других мог бы вам доказать, что простейшие вещи, легко поддающиеся механике, часто соприкасаются с самыми таинственными чудесами природы и могут производить нечто, остающееся необъясненным в самом простом смысле слова»<sup>40</sup>.

Так вот, и для меня фокус был почти чудом, явлением пограничным между «здесь» и «там», между «посюсторонним» и «потусторонним»; это — зыблющееся явление, неустойчивое, обманно-скользящее, никогда не фиксируемое точно, дразнящее ум, бегущее точного о нем высказывания, воистину ни «да», ни «нет».

Фокус был почти чудом. Но таковы же были и первые научные опыты, которые показывал мне отец, однако с тою разницею, что я видел признание их старшими, в противоположность презрительному и пренебрежительному непризнанию фокусов. Поэтому и я относился к научным опытам еще более волнительно, чем к фокусам; они воз-

буждали меня до последней степени, до холодной дрожи, до сердцебиений, до того, что дыхание мое, казалось, остановится и сердце выскочит из груди. Они были для меня полу-чудом, полу-фокусом, вопреки намерению родителей в чистое, не смущенное пережитками сознание, возвращенное на уединенном острове, ввести наглядно и наиболее убедительно типические примеры явлений природы, которые составили бы в моем уме первые камни рационального мировоззрения.

Папа пускал ртом кольца из сигарного дыма, иногда нанизывая несколько колец одно в другое. И обращал наше внимание на подобные же кольца, вылетающие из паровой трубы. Я видел, как упругую лентою, медленно пульсируют эти кольца, то сжимаясь, то расширяясь. Задолго до того, как узнал я вихревую теорию Кельвина <sup>41</sup>, я глазом видел необыкновенную эластичность дымовых колец и привык к мысли об упругости воздушных образований. Но соображал и то, что ведь дым — дым, почти ничто. И, следовательно, упругость тут зависит вовсе не от вещественности, а от чего-то другого, от внутренней жизни. А раз так, то и вообще, когда мы встречаем упругое сопротивление внешнего мира, то это — вовсе не доказательство его вещественности, в смысле материализма. Это — особая сила, она и производит видимость грубого материального механизма. И опять вот проходила пропасть между физическим «кажется» и каким-то тайным «есть». Опыт физический воспринимался мною как опыт метафизический.

Папа приливал к воде в пробирке серной кислоты. Вода согревалась. Без огня согревается: следовательно, тепло вовсе не непременно от огня. Оно — сопутствующее, но иное. Оно рождается самопроизвольно, независимо от огня. Но тогда огонь — может быть без тепла? Папа подтверждал, что свет моих любимых фосфоресцирующих веществ и свет ивановских червячков почти что не имеет теплового действия и что если бы можно было сделать лампу такого рода, то это был бы самый выгодный способ освещения. Как-то из Тифлиса папа привез мне фосфоресцирующие розетки на свечи. Они нравились мне, но казались слишком бледными, особенно в сравнении с ивановскими червячками, которых я наламливал летом в стакан с травой и завязывал наколотую бумагою.

Тайна этих червячков, с их изумительным изумрудным у самок и яблочно-зеленым у самцов свечением, всегда манила меня, тем более, что от папы я узнал о совершенстве этого света, почти не дающего тепловых лучей.

Но вот, следовательно, распалась причинная связь. Свет — сам по себе, тепло — само по себе. А ведь кажется, они неразлучны, — кажется наоборот. И тут я вспоминал, что ведь тряпка, облитая серною кислотой, обугливалась в камине и тлела. Вспоминал также, как загоралась смесь толченого сахара и бертолетовой соли, когда папа прикасался к ней стеклянной палочкой, смоченной в серной кислоте. Значит, и действия огня отделяются от огня, от жара, как отделился уже свет. Сложное «кажется» распалось на свет, тепло и ряд отдельных действий, причем все оказались независимы друг от друга. А сложным казалось. Где же граница распада? Кто может указать, что данное действие — именно от этой, а не от той причины и что в данном явлении известное свойство не может быть выделено и изолировано? Никто?

Во дворе у нас стоял деревянный ящик, в котором было прислано с фабрики из заграницы пианино Блютнера. Ящик этот был внутри обит цинковыми листами и толстым войлоком. Иногда мы с папой ходили во двор отломить с трудом небольшой кусочек листового цинка и потом зажигали его в печке. Чаше же и гораздо легче зажигали ленту магния, и папа отмечал, что вот металл калий даже сам собою загорается, да еще на воде, а все же — металл. «Как же из него сделать подсвечники?» — многократно спрашивал я и смущался своим сомнением; при этом в мысленном представлении у меня стоял большой серебряный подсвечник с ночного столика мамы, одна из немногих вещей, уцелевших из имущества ее отца. «Ведь подсвечник из калия загорится?» — недоумевал я. Папа пояснил, что никто таких подсвечников и не делает, тем более, что металл калий мягок, как воск. Металл горит, металл мягок. Горит и мягко то, что считают синонимом негорючести и твердости. Следовательно, металлический блеск сам по себе, а свойство твердости и негорючести само по себе. А если так, то что же ручается за неразлучность этих свойств и в случае обычных металлов? Да еще вдобавок горит на воде, тогда как водою огонь тушится. Папа подтверждал мою мысль, указывая на греческий огонь, загоравшийся от соприкосновения с водою; самое же интересное в этом огне было неразгаданность утерянного секрета его состава. Вообще все утерянное, тайное, забытое, непроницаемое рассудку, хотя бы в самом простом смысле слова, недоступное ему, оценивалось мною как значительное и достойное внимания. Итак; рушится представление о неизмен-

ности порядка природы. Может быть, взамен этих разрушающихся представлений есть другие, которые окажутся прочными? Но почему же это знать? Если «кажется», кажущееся всем людям испокон веков, оказалось оторванным от «есть», то и «есть» небольшой кучки ученых, «есть» вчерашнего дня, само не будет ли изболочено как «кажется» и уже чудовищно оторванное от «есть»? Что есть, что кажется? Только внутренним смыслом нащупывается живое таинственное «есть» природы. А все остальное — кажется, маски и обличия, принятые на себя жизнью.

Папа смешивал соду и винную кислоту и наливал на соду уксусу. Смесь бурно вскипала, но оставаясь почти холодной. Вот еще доказательство, что свойства могут быть отделяемы друг от друга. Кипение не связано с теплом. Оно само по себе. В этом я убеждался и другим способом. // Мы устраивали с папой Франклинов кипяильник: в колбе кипятили воду и во время кипения затыкали горлышко пробкою. Вода продолжала кипеть и без огня, а потом, остывши, вскипала от охлаждения мокрым носовым платком доньшка перевернутой колбы. Вот опять: кипение не есть непрерывное следствие теплоты, но может быть производимо и охлаждением. А с другой стороны, папа наливал мне на руку серного эфира. В пузырьке была жидкость комнатной температуры, а, налитая на руку, охлаждала чрезвычайно, хотя, казалось бы, на руке должна была согреться. Я сопоставлял это с кавказским обычаем ставить на ветер, тоже для охлаждения, глиняный кувшин с водою. Итак, кипение само по себе, согревание само по себе.

Лезвие ножа, опущенное в раствор медного купороса, покрывалось медным налетом, хотя в жидкости никакой меди не виделось. Фиалки и фиолетовые цветы шпажника в нашатырном спирте зеленели, настой красной капусты, когда делали салат, от горячей воды синел, а от уксуса краснел; синий медный купорос при нагревании в пробирке становился белым; гипс, при смешивании с водою, отвердевал и т. д. и т. д. Все эти и другие подобные явления воспринимались с острым чувством удивления, потрясали, волновали ум, возбуждали чувство таинственного. Старшие уверяли меня, что это — явление естественное, но я, в душе, все же не видел их естественности и продолжал изумляться таинственным превращениям вещества. Изумление всегда было связано с трепетом пред совершающеюся тайною. Иногда этот трепет переходил в непреодолимый ужас,

1920.  
VII.15

который, несмотря на страстное влечение к видимому, заставлял меня бежать от него. Помню, совсем в раннем детстве папа принес мне в подарок маленькую катушку Румкорфа<sup>42</sup> и при ней гейслеровы трубки. Батарейку и спираль поставили на камине, в кабинете. Папа позвал меня к себе. Но уже вид спирально свитых проводов, обвитых зеленым некрученым шелком, меня привел в величайший трепет. В этом изумрудно-зеленом цвете, в этих эмеевидных витках мне почудилось с первого же взгляду что-то зловещее, и я боязливо отступил от спирали. Когда же папа пустил в ход прерыватель и пружинка зажужжала тоненьким писком, как муха, попавшая в паучи сети, и вдобавок начала проскакивать между остриями разрядника маленькая искорка, я в ужасе, не помня себя и почти лишаясь чувств, бросился из кабинета в самый отдаленный угол дома, но и оттуда слышал это жужжание или думал, что слышал. Я умолял отца прекратить действие жуткого прибора и, несмотря на все уговоры, так и не соглашался идти в кабинет. Тогда папа, кажется, несколько рассердившись, подарил спираль и все к ней приспособления сыну полковника Прохорова, крестному отцу Люси, и спирали я уже более не видел. Но я склонен думать теперь, не было ли мое чересчур возбужденное состояние главной причиной, что этот прибор ушел из нашего дома?

Другой запомнившийся мне случай — в том же роде. Папа рассказывал мне, что бесцветное спиртовое пламя, — которое так любопытно было наблюдать мне при солнечном свете: не видно огня, а жжется, — что оно окрашивается в синий цвет от примеси к спирту медного купороса и что от этого света все лица кажутся синеватыми; возможно, папа неосторожно проронил слово: «Как у трупа». Конечно, у меня возгорелось желание увидеть это страшное синее пламя, а в мысли своей «как у трупа» уже перешло просто в труп, в настоящий труп. Папа обещал показать мне. Помню этот день, когда я с утра волновался и замирал. Как всегда в подобных случаях, сердце у меня билось так сильно, что я не мог ничего есть, и всякая пища была мне противна. Под вечер папа пошел в аптекарский магазин Триандопуло купить медного купороса, а я ждал папиного возвращения с нетерпением и вместе страхом. Помню, это было позднею осенью; на дворе была непогода, почему папа не взял меня с собою. Помню рассуждения старших, можно ли папе в такой ливень выходить из дому, причем мама и тетя уговаривали его остаться. Но победил мой

умоляющий вид, папа ушел, а я, уже не в состоянии переносить повседневную обстановку, забился в кабинет под стол и сидел там, несмотря на страхи, в потемках. Вероятно, папа зашел еще куда-нибудь по делу и долго не возвращался, или мне показалось, что он не возвращается невыносимо долго. Наконец, раздастся звонок, приходит мокрый папа. Я замираю, даже не смею спросить, принес ли он, что требовалось; а папа нарочно тоже не говорит ни слова, желая посмотреть, как я буду вести себя. Оказывается, он принес целый ворох свертков, показывает их: это фрукты и еще что-то, на что я и смотреть не хочу, но о медном купоросе — ни слова. Наконец, тетя Юля, видя, как меня разбирает нервное возбуждение, успокаивает меня: папа принес и медный купорос.

Хорошо помню, как я задыхался, когда стали разворачивать пакетик с медным купоросом и таинственные голубые кусочки спускали в спиртовку. Все это было тем более таинственным, что мне была разъяснена их ядовитость. **Яд — Янкель — синий цвет — медная соль — синие лица — трупы** — все вместе эти представления вязались в мысли в одну сплошную сеть ужасов. К тому же магазин Триандопуло ( — и фамилия тоже чего-нибудь стоит — ) был у пристани, это давало связь с морем и вновь приводило к голубизне купороса. Все сплывало в один клубок, взаимно проникая друг друга и взаимно друг друга усиливая палетом тайны, намекающей на себя, но нигде определенно не ловимою.

Более всего меня увлекали те опыты, где приходилось иметь дело с **искрами**. Мы готовили с отцом звездочки из закрученной в папиросную бумагу толченой смеси пороха с углем и железными опилками; и когда зажигали эти звездочки, то красивые искры, рассыпающиеся по радиусам и потом на определенном расстоянии разрывающиеся в свой черед на радиально разбрасываемые огненные потоки, походили на семена огненного одуванчика. А мне, при взгляде на них, неудержимо вспоминались те первоявленные мне огненные потоки от колеса точильщика, которые когда-то дали мне первое ощущение мистического ужаса. Теперь я уже не пугался этих искр, но испытывал восхищение, смешанное со сладостью давно-давно уродненной мне тайны. И в этих искрах, шаловливо скользивших пред моим взором и затевавших изящную игру, мне чувались потоки тех, давнишних искр, но милые и близкие моему сердцу, как друзья детства.

Иногда мы делали с папою порох, и я лишний раз убеждался, что даже простое смешение веществ может дать им свойство, совершенно чуждое каждой из составных частей, непредвиденное и невыводимое из явных свойств всего, в смесь входящего. Иногда делали мы бенгальские огни. Я всегда любил огонь и видел в нем нечто живое. А тут огонь окрашивался, как драгоценный камень. Это было красиво; но почему-то бенгальский огонь казался мне мертвым, сравнительно рациональным и безжизненным, слишком грубым, в противоположность моему любимому пламени в камине. Думается, тут уже начало возбуждаться во мне отталкивание от всего механического, лишённого полутонов и игры оттенков. Зато я более любил фейерверки, которые пускали мы иногда у себя во дворе, или те военные ракеты, что пускались с батумской батареи. Искристый хвост напоминал хвост кометы, а кометы, как злоеищие нарушительницы порядка солнечной системы, неожиданные гости в ней, были с самого детства моими любимицами и притягивали меня своим таинственным хвостом, невесомым и столь огромным.

1920.VII.16. Любил я возиться с подковообразным магнитом: намагничивал иголки, образовывал на бумаге магнитный спектр, извлекал из морского и речного песка черные, чернее угля, крупинки магнитного железняка. Папа показал, что именно происходит, а я получал особое удовольствие от явной таинственности всего этого, чего и папа объяснить не брался и даже признавал относительно чего его необъясненность. Почему притягивается железо, но не притягивается медь и дерево? — Неизвестно. Чем отличается северный полюс магнита от южного? — Тем, что северный притягивается северным и отталкивается южным. Да, а сам по себе — чем? Если бы у нас был только один магнит, как узнать, какой его полюс северный, а какой его южный? Ответа нет. И с внутренним торжеством я смотрел на большой отцовский компас со стрелкой на сердолике, который и до сих пор хранится у меня как память об отце. А, неизвестно... значит, не все известно, и даже старшие сознаются в этом... Неизвестное было для меня не еще не объясненным, а существом необъяснимым. Я старался смочь магнетизм с полюсов, папа предоставлял мне делать, что хочу; а когда не удавалось — пояснял, что этого сделать и нельзя. И мне тогда мерещилось в магнетизме что-то живое. Возился также с янтарем — с янтарным мундштуком отца — и с палками сургуча, которых у отца было всегда много: натирал их, притягивал ими бумажки и соломинки.



Очень много разговаривал с отцом, но, кроме науки, больше ни о чем, кажется, не говорил; разве еще он вспоминал кое-что из своего детства. Но интерес мой и интерес отца едва ли совпадали. Закон постоянства, определенность явления меня не радовали, а подавляли. Когда мне сообщалось о новых явлениях, мне до тех пор не известных, — я был вне себя, волновался и возбуждался, особенно если при этом оказывалось, что отец, или хотя бы кто-нибудь из знакомых его, видел сам это явление. Напротив, когда приходилось слышать о найденном законе, о «всегда так», меня охватывало смутное, но глубокое разочарование, какая-то словно досада, холод, недовольство: я чувствовал себя обхищенным, лишившимся чего-то радостного, почти обиженным. Закон накладывался на мой ум, как стальное ярмо, как гнет и оковы. И я с жадностью спрашивал об исключениях. Исключения из законов, разрывы закономерности были моим умственным стимулом. Если наука борется с явлениями, покоряя их закону, то я втайне боролся с законами, бунтуя против них действительные явления. Закономерность была врагом моим; узнав о каком-либо законе природы, я только тогда успокаивался от мучительной тревоги ума, чувства стесненности и тоскливой подавленности, когда отыскивалось и исключение из этого закона. Разговор обычно происходил по одному плану. По поводу какого-либо явления отец сообщает мне закон его. Вместо ответа на сообщенное мне я сейчас же спрашиваю об исключениях. Отец же мой, будучи чрезвычайно умственно добросовестным и, кроме того, склонным к мягкому скепсису, вынужден, хотя и не с большой охотой, сообщить мне исключения. Тогда я удовлетворенно говорю: «А...»

Положительным содержанием ума моего, твердою точкою опоры — всегда были исключения, необъясненное, непокорное, строптивая против науки природа; а законы — напротив, тем мимо-минуемым, что подлежит рано или поздно разложению. Обычно верят в законы и считают временным под них не подведенное; для меня же подлинным было не подведенное под законы, а законы я оценивал как пока еще, по недостатку точного знания, держащиеся. И явление меня влекло и интересовало, пока создавал его необъясненным, исключением, а не нормальным и объяснимым из закона. Вот почему я с детства возненавидел механику, никогда не хотел и не мог усвоить ее первооснов и даже впоследствии, в гимназии и Университете, внутренне не считался с нею. Правда, я знал наизусть латинский

текст *axiomata sive leges motus*<sup>43</sup> Ньютона, однако и не понимал и не желал понимать их, ибо они выталкивались из моего сознания. Мой ум соскакивал с них. Сам же для себя я всегда мыслил механические процессы как производные чего-то тайного, вроде, например, электрических, и отчасти успокоился тогда только, когда воцарилась новая электромагнитная механика.

Напротив, дорого было мне целостное явление, конкретно созерцаемое. Форма единства его — вот что волновало меня; форма была для меня реальностью. Не зная этих терминов, я верил больше всего в субстанциальность формы, и мне хотелось, если можно так сказать, морфологии природы, целостной морфологии всех явлений, т. е. постижения форм в их цельности и индивидуальности. Научное же мировоззрение дробило эти формы и приводило к неиндивидуальным, бесформенным и потому крайне скучным элементам.

**Объяснить** — для научного мировоззрения значит в моих глазах уничтожить конкретную целостность явления, доказать его иллюзорность. То же, что искалось мною, — это было утверждение конкретной целостности и подтверждение, что явление действительно индивидуально и ни к чему другому не сводимо. В моем мироощущении, повторяю, форма была реальностью; а научное мировоззрение исходило, как я отлично чувствовал, хотя и не смог бы высказать отчетливо, из отрицания этой реальности. Вот почему там, где, казалось, механизм, т. е. отрицание формы, вероятен и весьма правдоподобен, — там моему детскому уму все же виделся фокус, фокус жизненной целостности, прикинувшейся механизмом, своего рода мимикрия механизму. Напротив, в том, что прямо показывает внешние нити и рычаги, дающие видимость немеханического, мне все же виделась реальность, ибо подражание форме, хотя бы и иллюзорное, было, однако, какою-то минимальною реальностью, причиною реальности самой формы.

Отсюда — детский интерес мой к переодеванию, к гри-мировке, к маскараду. Костюмировка имела в моих глазах нечто магическое, была каким-то частичным преобразованием человека, подобно тому, как фокус был некоторым частичным преобразованием природы. Мы с сестрою моею Люсею любили переодеваться, хотя бы просто обмениваясь одеждами. Иногда мы раскрашивали акварелью себе лица или делали из испанского моха или сушеных волос куку-

рузных початков бороды и усы, иногда одевались взрослыми. Все это волновало близостью какого-то магического превращения, которое, казалось, вот-вот будет полным. Соня Андросова, а иногда и брат ее Ваня, о которых буду писать ниже, тоже участвовали в этих переодеваниях, с подвязыванием подушек к животам и другими приемами на скорую руку устроенной костюмировки. Но старшие неодобрительно смотрели на эти переодевания<sup>44</sup>. Отец мой, сторонник всего естественного, органически не выносил театра, видя в нем дешевую бутафорию и ломание, и игнорировал его как искусство; определить что-нибудь как актерство было у него наихудшим осуждением. Помнится, уже будучи в Университете, я послал домой хорошее воспроизведение бёклиновского<sup>45</sup> морского прибора. Отец вообще весьма ценил всякую внимательность с нашей стороны и бережно хранил наши подарки в особом шкафу. Но в данный раз вместо благодарности я получил лишь жестокое осуждение, и в письме, и по приезде домой — устно. «Это — не прибор, а какой-то ломающийся актер», — писал и говорил он почти с гневом и в противоположение прислал мне «настоящий прибор» — открытку с воспроизведением какой-то английской картины, на которой был изображен берег острова Уайт и носящиеся над влажным дымом и волнами чайки. В данном случае отец был отчасти прав, и картина Бёклина мне мало нравилась, когда я ее разглядел, взял же я ее у Аванса<sup>46</sup> от смущения, потому что долго не находил ничего подходящего. Но и противопоставленная картина еще менее удовлетворила меня, как типичное дело натурализма, весьма недалекое от моментальной фотографии, но действительно эффектного вида. Однако это вспомнилось мне кстати, хотел же я сказать о враждебности отца к театру, в самой его сути, а отсюда и к нашей склонности переодеваться и гримироваться. Матери, думается, эти переодевания казались делом слишком пустым и пошловатым, так что она еще менее скрывала свое неодобрение. Только тетя Юлия проще смотрела на наши маскарады, даже давала советы и помогала нам, когда мы делали попытки разыграть пантомиму. Раз как-то мы даже поставили в костюмах крыловскую басню «Кукушка и Петух», изготовив птичьи костюмы из картона, цветной бумаги и разных домашних приспособлений. Душой этого спектакля была тетя, которая как-то преодолела на этот раз пассивное сопротивление отца и в особенности матери. Она делала нам костюмы, разучивала с нами роли,

репетировала басни, устраивала обстановку из сдвинутых вместе апельсиновых и лимонных деревьев и пальм в кадках. Между этими деревьями сидел я на складной лестнице, в образе кукушки, с огромным картонным хвостом, оклеенным темною глянцеви́тою бумагою, в которой были предварительно вырезаны круглые дырочки. На носу был надет картонный клюв с четкими гранями, на голове и на спине — какая-то серая одежда, на ногах тоже что-то. Внизу стояла Соня Андросова как более крупная размером, соответственно преобразованная в петуха; помню, что мне было несколько завидно ее нарядности, и хорошо помню также ее кривой клюв, сшитый из клеенки и набитый ватой, и пышный хвост. Из-за деревьев высовывалась Люся, тогда еще совсем младенец, в виде воробья. Вот сейчас, вспоминая этот спектакль, я, пожалуй, соображаю, почему согласились на него родители: тут нам сослужил службу предлог зоологии и то обстоятельство, что мы не изображали людей, так что актерство казалось менее уловимым. Мне даже смутно припоминаются какие-то переговоры в таком духе. Но, конечно, истинный смысл наших переодеваний и вкус к ним остался для родителей непонятен, и, вероятно, не поняла его и тетя Юля.

1920.VII.17. Театр привлекал нас, хотя мы там никогда не бывали; очень может быть, потому и влек, что не бывали там. Но тетя Юля рассказывала о петербургских и московских театрах, о театре в Тифлисе. Изредка ходили в театр и у нас в Батуме мама с тетей на приезжавшую случайно труппу, мама снисходительно-пренебрежительно, тетя с увлечением, но и разочарованием. По их возвращении мне приходилось слышать о виденном ими. В театре меня привлекали, собственно, не действие и не исполнение, а именно то, что глубоко презиралось старшими: бутафория, декорация и особенно сценические эффекты. Провалы под сцену, спускание сверху, восходы и заходы солнца, лунный свет, изображения моря, театральная молния и гром, внезапные превращения (особенно Фауста из старика в молодого), двухъярусная сцена в «Аиде», воспроизведение звуков природы — птичьего пения, журчания ручьев, морского прибоя; театральные привидения и всевозможные духи в моем воображении, по рассказам тети, казались, конечно, значительнее, чем были бы в прямом восприятии. Во мне с детства чрезвычайно живо было предвосхищение, антиципация опыта по каким-нибудь малым проявлениям, и достаточно было скользящего и еле уловимого признака, чтобы в моей

мысли сам собою сложился образ и целого, но гораздо более яркий и художественно законченный, нежели самая действительность. Я угадывал образ действительности, в этом именно, а не в чем-либо другом были мои способности к точному знанию: угадывал прежде, чем знал, и предощущал прежде, чем имел прямой опыт, а потому мог сознательно направлять свои поиски и свой опыт в сторону, которая уже была мне известна. Я искал и в физике, и в математике, и во всех областях так же, как актер ищет на сцене спрятавшееся и действующее лицо, зная, где его надо искать, и лишь разыгрывая поиски, чтобы находение было для других и для него самого закруженным и оправданным. Такая же антиципация театра была у меня в детстве. Может быть, смутное предчувствие возможного разочарования заставляло меня довольствоваться рассказами и образами фантазии и не тянуться в театр, куда меня не водили. Но я принимал это ограничение с полной внутренней покорностью; мне в голову не приходило, что я могу увязаться за взрослыми на какое-нибудь представление.

Как бы то ни было, мой интерес к театру был в плоскости фокусов. Рассказы об автоматах и рисунки автоматов меня занимали, пожалуй, даже более театра. Мне было чрезвычайно интересно вглядываться в иллюстрации этого рода, которых было много в журнале «La Nature», я рассеянно старался понять механизм автоматов и чувствовал, что за всем тем в автомате есть жуткая тайная сила, которой не объяснишь никакими колесами, рычагами и нитями. И когда тетя Юлия рассказывала об эрмитажном автомате Петра Великого, встававшем навстречу посетителю, лишь только он наступал на определенную половицу, то эта притягательная жуть обострялась до последней степени. Я весь холодел от ужаса в предчувствии, что и мне навстречу может выйти манекен грозного императора, и вполне понимал, почему его перестали заводить после глубокого испуга одной из августейших посетительниц Эрмитажа. — понимал, но был при этом и разочарован. Мистический страх пред изображениями человеческими испытал я в величайшей степени в первое мое посещение Кавказского музея. Оно относится ко времени более позднему, чем здесь описываемое, но уместно рассказать о нем именно здесь. Оно врезалось в мою память, как вырезанное резцом по камню, и естественно: это было зрелище, где сочетались впечатления всего, что меня занимало и влекло, таинственности и страхов, красот и диковин. Оно потрясло

и надолго напитало мой ум. До сих пор оно стоит перед моими глазами с полной зрительной отчетливостью, хотя после того десятки раз я бывал в этом музее и имел полную возможность убедиться в незначительности всего, что поразило меня тогда.

В одну из поездок моих в Тифлис с тетей Юлей, может быть, по дороге на дачу или с дачи, ее осенила мысль, что надо мне показать Кавказский музей. Тетя Лиза, у которой мы по обыкновению остановились, одобрила это намерение и предложила пойти с нами. Но когда мы втроем по жаркой мостовой подошли к воротам музея на Дворцовой улице, то, к неприятной неожиданности, прочитали в расписании дней и часов, когда музей открыт, запрет водить детей менее какого-то возраста, мне помнится, пятилетнего, но возможно, что я ошибаюсь. Тут же был запрет водить с собою собак. Мне не хватало что-то вроде полугода до указанного возраста. Тогда тетя Лиза, вообще не привыкшая видеть себе запрет, объявила в кассе, что у входа, что мне уже исполнилось законное число лет, и, с помощью данного еще на чай сторожу, мы все же прошли сквозь железную калитку,— я с замиранием сердца от возможной неудачи, изумленный и смущенный в первый раз услышанной мною неправдою: нужно отметить, что в нас растили правдивость, даже чрезмерную, так что неправда, хотя бы самая легкая и чисто формальная, стала органически невозможной, к большому житейскому неудобству не только нас самих, но и родителей. Эта первая услышанная мною заведомая неправда меня совершенно изумила как явление чуждого мне мира.

Но, хотя и с помощью неправды, я оказался в заветном садике при музее. Спустившись по каменной лестнице, я увидел в больших воланах и клетках разнообразных, хищных преимущественно, птиц Кавказа и некоторых зверей, которых давно мечтал я видеть.

1920. // Различные орлы, филины, совы, некоторые голена-  
VII.22 тые, название которых теперь не припомню, были осмотрены мною с чувством большого удовлетворения. Затем надо было войти в самый музей, и я опять испугался, как бы обман наш не был изобличен и швейцар не отправил бы меня обратно<sup>17</sup>.

Вестибюль, воспроизводивший комнату мавританского дворца в Гранаде, с потолком вроде сита или базальтовых отдельностей, весь расписанный густым темно-красным цветом, оказался даже выше моих ожиданий. Отдел-мине-

ралогический и геологический заключал множество предметов, давно знакомых из рассказов. Нефтяная промышленность, добыча каменной соли, разработка руд — тут я уже знал много подробностей и потому ходил среди соответственных предметов сознательно, но каждый раз получая впечатления более яркие, чем ожидал, ибо минералы были в кусках больших, чем...<sup>48</sup>

## 〈V. НАУКА〉

1923.25.XI. I. Приблизительно в VI классе гимназии<sup>1</sup>, или несколько ранее, мое научное отношение к миру вполне сложилось и даже приобрело характер каноничности. Повторяю, под ним, для себя самого и почти невыразимо в слове, я содержал свою сказку, истекавшую из зарывшегося глубоко в душу детского рая. Эта сказка золотила вершины научного опыта и заставляла сердце биться при виде иных явлений природы или даже при мысли о них. Эта сказка направляла мои мысли и интересы и, в сущности, была истинным предметом моих волнений. Но словесно я не знал об этом или, скорее, не хотел знать. На вопрос, к чему я стремлюсь, я бы ответил: «Познать законы природы», — и действительно, все силы, все внимание, все время я посвящал точному знанию. Физика, отчасти геология и астрономия, а также математика были тем делом, над которым я сидел с настойчивостью и страстью, друг друга укреплявшими. Однако мой ответ, вполне правдивый, был бы неверен, хотя и сам я не позволял себе дать в этом отчета. На самом же деле меня волновали отнюдь не законы природы, а исключения из них. Законы были только фоном, выгодно оттенявшим исключения. Мне хотелось знать железные уставы естества. Я запоминал все те постановления и единообразия, которые естествознание представляло мне как законы. В какой-то плоскости было и доверие к ним, то есть вера, что они в самом деле незыблемы. Иначе и не было бы интереса к ним. Во всяком случае, не было легкого отрицания их: ведь в основе умственного склада с детства была у меня доверчивость свидетелю другим и несклонность подозревать других в ошибках или неправде. И чем железнее представляли мне тот или иной закон, тем с большею почтительною боязнью я ходил около него, с тайным чувством, что этот рациональный с виду закон есть лишь обнаружение иных сил. В этом чувстве я не

сознался бы и себе самому, но оно подвигало меня на внутреннюю борьбу. С внутренней тревогой искались мною исключения, к которым данный закон оказывался бы неприложимым, и, когда находились исключения, ему не подчинявшиеся, мое сердце почти останавливалось от волнения: я прикоснулся к тайне. Трудно точно формулировать этот мой вкус к исключениям. Он не имеет ничего общего с желанием опровергнуть закон как таковой, поставить вместо него некоторый новый, расширенный, вообще это было совсем не из области рационального познания природы. Напротив, существующими законами как таковыми я был доволен и заботился об укреплении их; методологические и логические подкопы под научные понятия и предпосылки казались, скорее, придирками, может быть, любопытными заострениями мысли, ничего существенного в науку не вносящими. Рационально — тверды они, эти понятия, предпосылки, законы; но тем не менее природа опрокидывает любой закон, как бы ни был он надежен: есть иррациональное. Закон — это подлинная ограда природы; но стена, самая толстая, имеет тончайшие щели, сквозь которые сочится тайна.

Я был заинтересован в укреплении этой рациональной ограды; но старался я тут лишь ради уверенности, что просочившееся сквозь нее уже наверно иррационально. И потому я усиленно добивался знать эти законы. Они-то и составляли свою совокупность мое научное понимание мира. Тайну я берю про себя, для себя же и для других возвещались законы.

II. Вот это научное мировоззрение сложилось и окрепло в неколебимую систему к пятнадцати-шестнадцати годам. Вероятно, мое утверждение будет прочтено здесь как условный оборот или названо самоуверенностью. Но я высказываю его вполне сознательно, и притом не с похвалюбою, а грустно: мне-то лучше, чем кому, известен циклопический труд, затраченный сперва на возведение этих стен, а потом на их разрушение, и, когда думаешь, сколько действительного высокого можно было бы сделать при этих усилиях, хвалиться не придет в голову. Но тем не менее, учитывая издали то, что было, приходится повторить сказанное. Были, конечно, и помимо моих личных усилий благоприятные обстоятельства этой научности. Во-первых, наследственно передавшаяся от нескольких поколений склонность к научному мышлению, причем весь род в разных своих разветвлениях дал много деятелей мысли. Они не были



первой величины, и впечатление от них — именно то, что им благоприятствовали в их деятельности не столько необыкновенные личные свойства, как общие признаки рода, повышенная деятельность мысли, передающаяся с родовой плазмой. В этом отношении мое личное сочувствие с детства всегда было то, что учиться, то есть в области общих понятий, мне, собственно, нечему, а надо лишь припомнить полузабытое или довести до сознания не вполне ясное. Общее я всегда узнавал с полуслова или с четверти слова, и потому очень немноги те случаи, когда в области мысли у меня бывало чувство новизны. Но я считаю свои личные способности сравнительно малыми и, может быть, меньшими средних. То, что требовалось не вспомнить, а действительно узнать — слова иностранных языков, хронологические даты, географические и тому подобные сведения, даже данные физики, с которою я имел постоянное дело, давались мне с величайшим трудом, несравненно туже, чем, например, моим товарищам, и вдобавок выскакивали из головы в самом скором времени. Знающие меня всегда недооценивают труда, который, несмотря на мою склонность избавиться от него, всегда был тот или другой в моей жизни.

Другим благоприятствующим условием научности было воспитание, о котором говорилось ранее, и весь уединенный склад нашей домашней жизни, располагавший к научному размышлению и изучению. Частью прямым знанием, частью угадкой, не имея нужных книг и не владея достаточно математическим анализом, я тем не менее усвоил себе основные понятия и предпосылки научного мышления, физического мышления о мире в истинном и точном их смысле и, что самое главное, вполне сроднился с его стилем. Небольшое сравнительное число книг первоклассных деятелей физики было мною не только усвоено, но и почти заучено наизусть. Как-то по-своему, но я был тогда на вершине физической мысли, а с тех пор, конечно, опустился в этом отношении. После того физикой я не занимался, а университетский курс не дал мне ничего и в счет идти не может. В дальнейшем с физикой совсем не было соприкосновения, и если я вспоминал об ней, то лишь холодно и брезгливо. Когда же, двадцать шесть лет спустя после того времени, мне пришлось в силу необходимости вновь заняться этого рода вопросами и восстановить усилием памяти забытую физику, основой этой позднейшей деятельности была именно сформировавшаяся в пятнадцать-шестнадцать лет.

1923.XI.26. III. Окружавшие меня понимали эти предметы гораздо хуже моего и, главное,— ими нисколько не занимались и не волновались. Это усиливало мое чувство ответственности за знание. Нужно все-таки помнить, что я рос в провинции, хотя она и называлась столицей Кавказа. О науке говорили многие, но я не видел в окружающих действительной преданности знанию (нашу семью я исключаю отсюда), действительной научной работы. И потому тем более этого бремени сознавал я лежащим на мне, и мне казалось, что если я какой-нибудь день или час ослаблю свои усилия и проведу время беспечно, то произойдет какой-то огромный ущерб. Это не было просто занятие, потому что оно мне интересно или представляется полезным, а, скорее, напоминало усилие Атланта, держащего небесный свод. Озабоченный своими занятиями, я редко мог отдаваться им с полным удовольствием, потому что их покрывало служение. День, в который не было записано несколько параграфов моих «Экспериментальных исследований»<sup>2</sup>, как мне нравилось называть свои тетради вслед за обожаемым Фарадеем<sup>3</sup>, или не занести в особые записные книжки каких-либо наблюдений над природой, не сделать нескольких фотографических снимков геологического, метеорологического или археологического содержания или не написать хотя бы нескольких страниц, обобщенно излагавших мои опыты и соображения и называвшихся у меня, по примеру французских физиков конца XVIII и первой половины XIX вв., «мемуарами»,— такой день казался мне потерянным, почти преступно упущенным, и к вечеру неизбежно была для него расплата — отвращение к себе самому и грязь на душе. Самое малое, что требовалось,— это была запись каких-нибудь новых для меня данных, преимущественно физического или геологического характера из прочитанных книг. Я много читал по физике и родственным наукам, все, что мог только достать. Преимущественно ценил я книги, выросшие на английской почве, и французские. «Traité de l'Électricité et du Magnétisme» Беккереля<sup>4</sup>, в виде толстых многочисленных томов, «Курс наблюдательной физики» Петрушевского<sup>5</sup>, журналы «La Nature» и «Revue rose», научные отчеты в «Revue des deux Mondes», «Cours de Physique» Жанена<sup>6</sup>, «Основы химии» Менделеева, «Динамическая геология» Мушкетова<sup>7</sup> и «Геология» Иностранцева<sup>8</sup>, «История индуктивных наук» Иовелля<sup>9</sup>, «История физики» Розенбергера<sup>10</sup>, «Научное обозрение»<sup>11</sup>, многочисленные энцикло-



1. Павел Александрович  
Флоренский. 1923 г.

2. Рукописная обложка  
«Воспоминаний». Ав-  
тограф П. А. Флоренс-  
кого





3. Рукописный фронтиспис «Воспоминаний». Автограф П. А. Флоренского

4. Страница из рукописи «Воспоминаний». Глава «Уединенный остров». Автограф П. А. Флоренского



5. П. А. Флоренский.  
29 июля 1883 г.

6. Павел Флоренский  
с братом Александром.  
Конец 1880-х годов



7. Павел Флоренский  
с сестрой Юлией. Середина 1880-х годов. Батум



8. Павел Флоренский со  
своей тетей Юлией  
Ивановной Флоренской.  
Конец 1880-х годов

9. Александр Иванович  
Флоренский с детьми  
Ольгой (?) и Александром.  
Начало 1890-х годов



10. Юлия, Павел и Елизавета (?)  
Флоренские с сестрой матери  
Ренсимией (?). Конец  
1880-х годов. Батум





11. А. И. Флоренский  
с сестрой Юлией Ива-  
новной \*

---

\* К подписям, отме-  
ченным звездочкой, до-  
бавлены тексты, напи-  
санные П. А. Флоренс-  
ким на оборотах  
фотографий (см. с.  
529).

А



12. Ю. И. Флоренская.  
До 1875 г. С.-Петер-  
бурга

15. Людмила Ивановна  
Струковская, урожден-  
ная Флоренская, с му-  
жем Иваном Анаста-  
севичем Струковским.  
1898 г. Москва \*





13. Сестры А. И. Флоренского в возрасте восьми и десяти лет. Середина XIX в. Москва



14. Сводные сестры А. И. Флоренского Лидия и Варвара. 1870-е годы





16. Портрет Владимира Ивановича Ушакова (грифель, копия начала XX в. с портрета середины XIX в.) \*

17. Елизавета Владимировна Флоренская, урожденная Ушакова. 1870-е годы (?). Москва

18. Александра Готлибовна Пекок, сестра матери А. И. Флоренского. 1876 г.



19. Иван Андреевич  
Флоренский. Фотогра-  
фия середины XIX в.



20. А. И. Флоренский  
(в центре). 1880-е годы





21. Ольга Павловна Флоренская, урожденная Сапарова. 1870-е годы

22. Слева направо: сидят — Александр Иванович, Раиса, Павел, Елизавета, Ольга Павловна, Александр Флоренские; стоят — Елизавета Павловна Сапарова - Мелик-Беглярова (в центре), Ольга и Юлия Александровны Флоренские (по сторонам). Конец 1890-х годов. Тифлис.



23. Мост в Марката, построенный А. И. Флоренским. Фотография 1880-х годов





24. Герасим Сапаров.  
Портрет работы неизвестного  
тифлисского художника первой по-  
ловины XIX в.

25. София Григорьевна  
Паатова - Сапарова.  
Портрет работы неиз-  
вестного тифлисского  
художника. 1870-е годы



26. Павел Герасимович  
Сапаров. Портрет ра-  
боты неизвестного ти-  
флисского художника.  
1870-е годы





27. П. Г. Сапаров. Фотография середины XIX в.



28. Слева направо: Софья, Елизавета, Ремсо и Ольга Павловны Сапаровы. 1870-е годы



29. Ольга и ее брат Аркадий (Аршак) Сапаровы. 1870-е годы. Тифлис



30. Елизавета Павловна Мелик-Беглярова, урожденная Сапарова, 1880-е годы. Тифлис

31. Георгий Алексеевич Паатов. 1904 г. Баку (?)\*



32. Шах-Назаров (зять С. Т. Мелик-Беглярова). Вторая половина XIX в. Тифлис





33. Давид Сергеевич  
Мелик-Бегларов. 1910 г.  
Тифлис



34. П. А. Флоренский  
с сестрой матери Елизаветой Павловной и ее мужем Сергеем Теймуразовичем Мелик-Бегларовым. 1897 г. Бонн

35. Елизавета Павловна Мелик-Бегларова на могиле своего сына Давида в Москве на Армянском кладбище





36. П. А. Флоренский (стоит слева) возле дилижанса, направляющегося в Коджоры или на Манглис. Около 1897 — 1899 гг.



37. Слева направо: Раиса, Андрей, Александр и Ольга Флоренские с «кучером тети Лизы». Начало 1900-х годов

педические словари на всех языках и т. д. и т. д. были постоянными спутниками моей юности. Здесь не место излагать подробно, что именно я читал. Но важно отметить, что чтение мое никогда не было пассивным усвоением; напротив, к книге я всегда подходил как к равному себе, искал в ней то, что мне нужно, преимущественно факты, и всегда имелся в виду некоторый определенный вопрос, поставленный мною на разрешение. Это было и силою, и слабостью моею одновременно. Слабостью — потому что я не умел и не хотел отдаться общему потоку научной мысли и дать ему нести меня, без труда и критики с моей стороны; и потому я всегда был необразованным и даже враждебным образованности. И поэтому легкое другим и, можно сказать, дешевое у них мне давалось лишь после длительных усилий, а иное и вовсе не далось. Так, например, я никогда не мог понять, а не понявши, — и не принимал основных положений механики: все три ньютоновские *axiomata sive leges motus*<sup>12</sup> казались мне не только недоказанными и не самоочевидными, но и просто неверными. Мне был совершенно непонятен смысл инерциального движения, казалось противоречащим здравому смыслу равенство действий и противодействий и невозможность независимости ускорения наличной скорости. В своем сказочном миропонимании находил я совсем иные представления о пространстве и времени и совсем иные предпосылки о строении мира. Конечно, словесно я владел нехитрой механикой возрожденской механики и мог рассуждать пред другими с безукоризненной механической ортодоксальностью. Мне было известно, как полагается выражать принципы Лагранжа<sup>13</sup> и Д'Аламбера<sup>14</sup>. Но, признаюсь, я никогда не понимал их, как не понимаю и сейчас. Под защитным покровом приятных научных понятий во мне жили, не вполне выраженные и до сих пор, иные понятия. Но я был настолько одинок в них, что не решился бы высказаться, да и, вероятно, не нашел бы соответственных слов. Когда в первом году XX века появились первые сведения об опытах, если не ошибаюсь, Кауффмана<sup>15</sup>, установившего в катодных лучах существование добавочной электромагнитной массы, зависящей от скорости, они блеснули мне чем-то давно знакомым, именно их ожидал я. Дальнейшее развитие этого рода понятий повело к принципу относительности<sup>16</sup>, который был принят мною вовсе не по долговому обсуждению, и даже без изучения, а просто потому, что было слабою попыткою облечь в понятие иное понимание мира. Общий принцип относительности есть в некоторой

степени обрубленная и упрощенная моя сказка о мире. Но брешь в механике пробита, и теперь открыты выходы и к моим заветным стремлениям. Но только мне-то эти выходы не нужны теперь, потому что я вышел гораздо проще и без научных извинений. Итак, моя самостоятельность при чтении всегда заставляла меня, несмотря на крайнюю доверчивость к фактическим сообщениям, нащетиливаться против всяких чужих теорий, поэтому они не усваивались мною, я относился к ним как к чужому, в лучшем случае, безразличному мне делу, не давал себе труда вникать в их pro и contra<sup>17</sup> и, несмотря на обращение с книгами серьезными, оставался, как сказано, необразованным.

Но тут была и выгодная сторона, конечно, вовсе не выгодная для моего естественно-научного образования, но имевшая положительное значение в общем умственном закале. Я научился сам изготавливать себе потребные мне инструменты, как в буквальном смысле, так и в переносном, говоря о понятиях, и потому, хороши или плохи были мои научные понятия, я знал, как вообще делались они. Орудия научной мысли большинством даже образованных людей берутся или, скорее, получают готовыми из-за границы и потому поработают мысль, которая не способна работать без них и весьма неясно представляет себе, как именно они выработаны и какова их настоящая прочность. Отсюда — склонность к научному фетишизму и тяжеловесная неповоротливость, когда поднимается вопрос о критике их предпосылок. Если большинство отвергает какие-нибудь понятия, то только потому, что уверовало в противоположные, то есть настолько поработилось ими, что решительно не способно мыслить без них. Так вот, положительной стороной моей необразованности была в значительной мере независимость от господствующих понятий — отношение, как у кузнеца может быть к гвоздю или подкове, которые он сам же при случае, если понадобится, выкует, но совсем не как у гистолога, например, к своему микроскопу, которого он не только сам не сделает и не исправит, но и физической теории которого он ясно не представляет. Конечно, гистолог несравненно тоньше кузнеца, но зато последний в своей области и самостоятельнее, и смелее — тверже чувствует почву под ногами. И я: с детства привыкнув строить все самостоятельно, я не испытывал боязливого трепета в научном миропонимании и распоряжался там, как дома. Что для физики это, может быть, и не было

полезно, спорить не стану; что при таких условиях, если бы я продолжал идти так же вперед, моя физическая карьера была бы мало успешна, это тоже представляется вероятным. Но не стоит беспокоиться о том, потому что с карьерой этого рода у меня давно покончено, а говорить о моих позднейших вынужденных занятиях около физики можно только в шутку. Самая же суть этого моего отношения к научному миропониманию, в ее общечеловеческом значении, то есть независимость, некоторая пренебрежительность к понятиям, вызывающим обычно священный трепет, оценка их только как рабочих орудий мысли,— это было важно в моем жизненном пути, и, рассуждая духовно, оно и было оправданием и смыслом моих занятий науками. Попросту говоря, для большинства физические явления значат мало, но физические теории и схемы вызывают трепет; меня же Промысел воспитал на трепете перед явлениями, но сдунул предо мною с теорий поэтический туман и мистический ореол. Осталось человеческое, слишком человеческое, которое я укреплял в тайном чувстве вражды.

IV. Но когда эта работа определилась в своих результатах, и после огромного напряжения, и внутреннего, и внешнего, я мог сказать себе с удовлетворением, а может быть, и самодовольством: «Покойся»,— тогда вся предыдущая работа стала быстро трескаться и рушиться от подземных толчков, мне же вдруг сделалась вполне ненужною и далекою до враждебности. Жизнь моя вообще сложилась вся так, что я до сих пор не знаю, склонен ли я или нет к самодовольству: всякий раз, когда некоторая полоса жизни начинала приводить к результатам трудов и появлялись объективные данные для самодовольства, происходило либо внутреннее, либо внешнее землетрясение, при котором и мысль о сделанном не могла уже прийти в голову. Так случилось, в особенности так случилось тогда, лет в пятнадцать-шестнадцать, при наличии особенно благоприятных внешних и внутренних данных к самодовольству.

Если очень глубоко разбираться в том, что произошло и как оно произошло, то можно, пожалуй, увидеть в происшедшем внезапное открытие дверей иного мира, куда я полусознательно стучался все предыдущие годы; или даже как падение преграды, над разрушением которой, тоже не вполне сознательно, но усиленно трудился, не зная ни покоя, ни отдыха. Тогда можно было бы понять мое исконное чувство мистичности многих явлений, мою последующую работу над исключениями из правил,— как смутный

мне зов Вечности, пробивавшийся, однако, всюду и искавший себе щелей и проходов в здании научного рационализма. В этом смысле не произошло со мною ничего непредвиденного. Действительно, это и было так. Несмотря на закупорку сообщений с моим детским раем, испарения его проходили до меня и будили глубоко затаенные переживания, пока, наконец, разрушаемая и с той и с другой стороны, эта закупорка не пала. И тогда я увидел также то, чего в детстве не сознавал или, если очень углубиться в себя, что сознавал, но когда-то совсем-совсем давно, направляя на родителей и сливая с ними в один образ.

Однако в повествовании мне кажется неправильным настаивать на сути этих внутренних поворотов и полезнее, не углубляясь в них, описать и более близкие попутные обстоятельства. Они тоже несколько закрывают разверзшуюся пропасть и в этом смысле способствуют пониманию происшедшего. Но каково бы ни было это понимание, оно не должно закрывать того главного в моем собственном самочувствии, что произошел разлом, разрыв биографии, внезапный внутренний обвал, факт внезапности которого не закроют никакие указания на то, что он подготавливался исподволь. Когда обваливается дом, то обвал этот случается вдруг, и вдруг объявляется новый сравнительно с прежним факт: дом рухнул, тогда как раньше стоял. И трескаясь, и оседая, он был раньше домом; с некоторого определенного момента это уже не дом. В моем переживании происшедшего важнейшим было: неожиданность и катастрофичность его. Полоса жизни, самая трудовая из всех, самая безоглядно горячая, самая, как по крайней мере казалось мне, бескорыстная, вдруг пошла на слом. О, с какой остротой тогда я почувствовал тщету дел человеческих! И как сравнительно с теми глухо прозвучали во мне разрушение России и наперед уже пережитое разрушение Европы и ее культуры<sup>18</sup>. Это не потому, что там дело шло лично обо мне. Напротив, тогда я знал, может быть, даже лучше, чем сейчас, что научное миропонимание есть душа западной культуры, самое сердце Европы. И когда это сердце на моих глазах вдруг стало останавливаться, когда я увидел, что оно — не сердце, а только резинка, тогда, хотя, может быть, втайне и желая того, я сознал и все происходящее ныне в мире как имеющее произойти. В том, что случилось со мною, был пережит разрыв мировой истории. Мне вдруг стало ясно, что «время вышло из пазов

своих»<sup>19</sup> и что, следовательно, кончилось нечто весьма важное не только для меня, но и для истории. Это было ощущение и смертельной тоски, и жгучей боли, и невыносимого сознания, что разрушается то, что строилось величайшими усилиями,— уж не о своих я говорю, а об общих, европейских. Но в этой жгучей до крика боли вместе с тем чувствовалось и начало освобождения и воскресения, тоже не только моего, но и общего.

1923. XII. 2. V. Ближайших же обстоятельств, подготовивших или, точнее, ускоривших этот внутренний обвал, было несколько.

Если принять во внимание ярость, с какою я занимался физикой, степень моей осведомленности, то условия моих занятий были малоблагоприятны, а к описываемому времени стали и просто невозможными. У меня не было ни руководителей или хотя бы приблизительно равняющихся мне по эросу и физике, с кем я мог бы чувствовать себя понятым. Не было у меня также и необходимых книг и журналов. А что касается до главного предмета моего внимания, физического опыта, то, несмотря на приобретенную мною ловкость обходить трудности и самому строить свои приборы, все доступное моим усилиям уже давно было исчерпано, и опытно решить задачи, предо мною стоявшие, не было ни денежных, ни технических средств. Мысль моя и желание росли ускорительно, тогда как возможность их осуществления почти остановилась. За неимением исходов в физике творческая энергия искала себе других путей, хотя это и было мне мучительно. Самые условия работы научили меня резиньяции в области технических знаний и тем подготовили более глубокий отказ от него. Я не мог дышать свободно, потому что грудь моя, говоря переносно, слишком уже развилась к тому времени. Но эта стесненность дыхания имела причины и более неизбежные, нежели только провинциальная скудость. В самой физике конца XIX века<sup>20</sup>, несмотря на ее успехи, чувствовалось иссякновение руководящих начал и несоответствие системы физического знания, сложившейся канонически и представлявшейся почти завершенным зданием, с физическим опытом. Круг основных понятий уже сомкнулся, возможные следствия из него были выведены или казались все выведенными, пред исследователем стояли задачи или измерительные, или формально-аналитические, те и другие одинаково трудные, как и неблагоприятные, не обещающие новых горизонтов. В награду за труды исследователь мог ждать

себе лишь количественного расширения знаний, а требовалось от него или экспериментальная, или формально-аналитическая виртуозность, добродетель старости — и науки, и ее работников. Тут можно получить было результаты, имея уверенность в себе, твердую руку, твердую мысль и достаточное общественное влияние; доступные же результаты лишней раз подтверждали бы внутреннюю замкнутость системы, которая и без того всеми призналась замкнутой, стала научным символом веры и о которой вопрос в сторону критики рассматривался как ересь и оскорбление величества.

Ясное дело, все, что имелось у меня и положительного, и отрицательного, шло наперекор наличному характеру физического знания и создавало во мне чувство стеснения и неудовлетворенности. У меня не было ни общественного положения, открывающего двери библиотек и лабораторий, ни опытности в точных измерениях, ни математического анализа в руках. Напротив, эрос и трепет моей мысли, критика основ, физическое предчувствие и живое ощущение грядущей катастрофы физического знания, наконец, определенная нелюбовь к немецкому духу системы, захватившему тогда большинство умов, вопреки английской непосредственности, с которой я чувствовал внутреннее сродство, — все это заставляло воспринимать современную физику, как плохо сидящую на мне чужую одежду. Я достаточно владел физикой, чтобы не сказать глупости и не попасть впросак, но ее понятия не были моими собственными понятиями, и я пользовался ими, как иностранным языком.

1923. XII. 4. VI. В себе самом я имел подход к физическим явлениям, который мешал с открытой душой усвоить школьный подход того времени, его язык и его методы. Но и мой подход был еще смутен или, скорее, нерасчленен: я не имел соответственного языка, а не имел его — за отсутствием собеседника, хотя бы мысленного. Коляшущийся уровень нового мировосприятия был достаточно мощен, чтобы затопить и размыть школьную физику; но он не имел силы, а главное — времени дать четкую систему новых понятий. Я слишком близко подошел к физике, в самые источники ее созидания, чтобы не увидеть условности физики школьной с ее рационализмом и опрощенством, но выразить свое ощущение, что можно и должно подойти к той же области более глубоко, не имел сил. Может быть, последнее даже и не совсем верно: скорее, у меня не было толчков или



повода попытаться делать это. Свое ощущение я глубоко таил в себе, понимая, что попытка заговорить о нем повела бы к полному разрыву со всеми окружающими и что мои невнятные слова были бы приняты за нечто бредовое. Вот с тех пор прошло более четверти века, головокружительной по быстроте, с которой надвинулась и в верхних слоях мысли прошла уже катастрофа физического знания; кое-что, из предощущавшегося мною в те времена, обнаружилось и отчасти выразилось; несомненен и совершившийся уже поворот физического знания в новую сторону, которая хотя и не есть еще та, моя тогдашняя, но значительно ближе к ней, нежели прежняя школьная физика. И однако разве сейчас можно было бы решиться сказать о своем, о предвидимом будущем физики, вслух, полным голосом, оставив осторожность и философские экивоки? Может быть, лишь намеки в этом роде сходят безнаказанно, но в среде художественной, которая к тому же придает таким высказываниям смысл условный и субъективный. А прямо и в упор об этом нигде не скажешь, и даже попытка такого рода не приходит в голову, а потому и выразительное слово не ищется. Это глубоко неверно, когда притязают говорить с будущими поколениями: слово мое нужно не только для собеседника моего, но прежде всего мне самому, и, следовательно, рождение слова предполагает этого собеседника. Если собеседника нет, то я не могу высказаться и не могу стать ясным себе самому, как бы ни была сильна потребность высказаться и как бы ни было властно сознание, что при благоприятных условиях мог бы сказать ясно и точно. Повторяю, и по сей день я недалек от того, что было четверть века назад. Разница, однако, в том, что тогда физика была для меня всем, и потому немотство в этой области обрекало на полное одиночество, да и я был серьезнее; теперь же, имея также и иные выходы, и, кроме того, став легкомысленнее, я отношусь к своей физической бессловесности как к застаревшей и уже привычной ране, почти равнодушно, а может быть — и с затаенной мстостью, на тему, приблизительно: «Не взяли предлагаемого — вам же хуже, ищите долгими усилиями сами». Кроме того, в те времена торжество школьной физики было велико, и меня, в провинции и при моем возрасте, тревожила мысль, не погибнет ли со мною зародыш истинной натуральной философии (мне нравился и нравится этот английский термин); но с тех пор я научился благодущию, когда твердо узнал, что жизнь и каждого из нас, и народов, и человечества

ведется Благою Волею, так что не следует беспокоиться ни о чем, помимо задач сегодняшнего дня. Ну, и самая история убеждает вдобавок, что мировоззрение уже вступило на новый путь и что потому «моему» принадлежит победа, которая будет достигнута и без меня, так что мое личное участие в этом деле есть обстоятельство третьестепенное. Немного раньше, немного позже, немного так, немного иначе — но волновавшие меня ощущения будут выражены и определяют собою характер будущего знания. Теперь я в этом уверен.

Тогда же это было иначе, и я ощущал себя вышедшим в ущелье, из которого вернуться обратно было бы с моей стороны изменою всему тому, к чему я до сих пор стремился, пройти же которое у меня не хватит сил, а главное, — было бы бесполезно, потому что я был бы отрезанным, как мне казалось, ото всего живого, под всем же живым в данном случае я склонен был считать только причастных к физическому исследованию. И во мне подымалась тревога и чувство безысходности. Они появлялись сперва отдельными черными точками, без достаточных внешних поводов, появлялись и исчезали, разрывая сплошной трудовой день науки, каковым было тогда мое существование. Эти сравнительно краткие времена мрачности были тем более заметны, что основное состояние мое было всегда бодрым, оживленным и переливающимся через край мыслями, замыслами и интересами. Скучать мне было некогда, каждая минута была на учете, и все существование было непрерывным праздником науки, который я старался распространить и на невыносимую мне потерю времени в гимназии, обдумывая что-нибудь среди уроков, когда это допускали обстоятельства. И все-таки иногда все омрачалось. Ничто внешне не проникало в мою хорошо забронированную занятость наукою. Уверенность в себе, понимать ли ее в плохом или хорошем смысле, давала надежную защиту от неприятных впечатлений. С одной стороны, я был охранен от них условиями семьи и семейной обстановкой, а с другой — настолько предан объективному, что никогда не копался в себе и не имел к этому вкуса; что же касается до гимназии, то я смотрел на нее не только свысока, а просто как на неминуемую неприятность, которую чувство собственного достоинства запрещает замечать и как-либо учитывать. Товарищи мои, кто был потоньше и покультурней, раздражались на гимназию, злобствовались, иные пылали ненавистью и поговаривали, уж не знаю, насколько

вплотную, о террористических покушениях (через несколько лет они на Кавказе действительно начались в средних учебных заведениях) и вообще чего-то от гимназии требовали и как-то с нею считались. Что же до меня, то я, напротив, старался их успокоить, защищал наших учителей и не чувствовал к ним вражды; но причиной моего спокойствия было то, что я от гимназии ничего не ждал и ничего не предполагал, относился и к ней, и к учителям снисходительно-высокомерно и был глубоко убежден, что все это не такие предметы, на обсуждение которых стоит тратить время и внимание. Естественно поэтому, в гимназии я занимался между прочим, уроки готовил на переменах, к гимназическим неприятностям относился вполне равнодушно, тем более, что на хорошие отметки отец мой морщился с неудовольствием, по-видимому, опасаясь (он глубоко ошибался тут) их как источника тщеславия. Впрочем, учился я хорошо и в этом смысле в гимназии тоже не сталкивался.

Итак, черные точки возникали сами собой, как первые предвестники глубокого внутреннего сдвига.

VII. Еще одно обстоятельство ускорило этот сдвиг, уже личное, хотя и оно упиралось на те же интересы к науке. Это — мои отношения с Ельчаниновым<sup>21</sup>. Он был в эти годы единственным, к кому я хотел подойти внутренне. С гимназическими товарищами и другими знакомыми мое соприкосновение было поверхностным, и — преднамеренно поверхностным. Мы могли болтать, ко мне относились неплохо, но занимавшее меня на самом деле, то есть физическая мысль, мною замалчивалась, как заведомо недоступная интересу и пониманию моих товарищей. В Ельчанинове же, с которым нас связывали и привычка, и теплота чувства, была талантливая рецептивность и душевная подвижность, позволявшая ему подходить с вниманием к занимавшей меня области. Так, по крайней мере, думал я о нем и он о себе тогда. Это давало мне надежду на выход из одиночества и побуждало стараться около него. Но мои, а может быть и его, усилия были тщетны, и, по мере того, как делалось невозможным закрывать глаза на их бесплодие, возникала и неловкость взаимных отношений, слишком приятельских, чтобы иметь, когда нужно, способность уклончивости, и недостаточно дружеских, чтобы разрушить все душевные средостения. Это была единственная сторона жизни, где я не двигался без толчков, и толчки эти без каких-либо явных поводов привели к разрыву, не охлаждению, а именно разрыву, имевшему все формальные

свойства ссоры, но без повода к ссоре. В какой-то один день мы вдруг перешли на вы, затем перестали разговаривать и видеться, не кланялись на улице и не здоровались. Повторяю, мы были слишком близки, чтобы перейти к отношениям просто вежливым и внешним; поддерживать прежние отношения сделалось невыносимым; объясниться же было не о чем, как не в чем было признать себя кому-либо виноватым, потому что ни один из нас, в смысле житейском, и не делал ничего плохого. Если же говорить о вине, то это — вина метафизическая, определенное свойство характера с его стороны, и неумение, и нежелание в моей завороченности физикою понять это и действовать далее, учтя это существенное обстоятельство. Но я слишком любил его, почти влюбленно, чтобы внутренне согласиться не искать от него подобного своему внимания к области, вне которой я не усматривал ни удовлетворения, ни (если уж говорить в упор) подлинного человеческого достоинства; а с другой стороны, — вся мысль моя и сила сознаваемой страсти были сосредоточены именно в натуральной философии, так что я не допускал себя до мысли о возможности просто привязаться к человеку, просто любить его и тем более — быть влюбленным, помимо натуральной философии, вообще помимо умственных интересов. Я хотел рассматривать и Ельчанинова и себя самого как приложение к физике, а наши с ним отношения — как служение ей; и потому я требовал от него то, чего он не имел, и вел себя в искусственном предположении, что требуемое уже заведомо есть. Когда же оказывалось обратное, я уязвлялся, оценивая это обратное как подрыв самой основы наших отношений, и видел в нем небрежность и легкомыслие.

Во всем этом вина или ошибка лежат на мне; но хорошо все-таки, что это было так, хорошо, что трещина между нами, которую я ощущал почти до видения, ежесекундно ширившаяся, относилась мною за счет физики, как ни жестоки были мои страдания, в этой мысли они имели нечто смягчающее. Размышлял обо всем этом спустя много лет после того, как с Ельчаниновым мы вполне помирились, но не возобновив прежнего, я ясно вижу, что разрыв, гораздо более существенный и гораздо более мучительный, все равно произошел бы, если бы я и судил более здраво и о ценности физики, и о внутренней чуждости Ельчанинова углубленному размышлению. Просту говоря, жизненный инстинкт побудил меня, под пред-

логом физики, оторваться, хотя и с величайшими мучениями, от Ельчанинова раньше, чем он успел бросить меня, уже не под каким-либо предлогом, а по метафизическому непостоянству, которое составляет и очаровательную, и духовно преступную суть его характера.

Тут было упомянуто о его талантливой рецептивности. Действительно, я, пожалуй, не встречал людей таких пластичных, как он,— так легко и добровольно формируемых теми, с кем он встречается и кем он заинтересован. Почти исключительно его уменье и, главное, желание войти в чужие интересы, но не из доброты, а всецело, с оживлением и горячностью, проникнуться ими сильнее, чем сам заинтересованный, тонко применить к ним, опять-таки тоньше заинтересованного, проявить огромную чуткость, нежность, внимание,— чтобы затем, через недолгое время, вполне охладеть и к этим интересам, только что бывшим его собственными, и к делу, и к человеку. Почти моментально очаровывающий и очаровываемый, даже, пожалуй, сперва очаровываемый, а потом уже, именно этой своей очарованностью очаровывающий, Ельчанинов весьма быстро насыщается, утомляется, охладевает и уходит, притом уходит почти грубо, во всяком случае — жестоко. Ему нужна постоянная смена впечатлений, иначе он чувствует себя увядшим. Даже буквально с самым приятным для него дорогим лицом, с самой интересной книгой ему трудно сидеть более получаса, он начинает непреодолимо зевать, сереет и срывается с места за новыми впечатлениями. В те описываемые годы эти свойства не сказывались еще так определенно, и лишь я угадывал что-то около них. Впоследствии же они установились бесспорно для всех, его знавших, как установилось и общее среди всех его друзей и знакомых прозвание его «мотыльком». Действительно, этот мотылек порхал с цветка на цветок, едва прикасаясь к капле нектара. Если кто знал этот существенно неустойчивый характер, можно сказать, упорный в своей неустойчивости, то отношения с Ельчаниновым были легки, приятны и очаровательны, но под неперменным условием не верить ни своим чувствам, ни его объяснениям, вообще брать полчаса свидания как таковые, не распространяя этого полчаса ни в прошедшее, ни в будущее. И тогда мотылек мог многократно прилетать к одному месту, и все шло так гладко. Но стоило только неопытному сердцу вообразить, что эти полчаса есть лишь начало чего-то

прочного, сообразовать свои жизненные планы и свои душевные надежды с этим началом, вообще взамен самоотдания Ельчанинова отдаться самому, как начиналась драма, драма около донжуана, и донжуанский список Ельчанинова, во всяком случае, во много раз превосходит таковой же его родоначальника. Но несомненно, без каких-либо преувеличений, что Ельчанинов есть допжуан; но это определение надо брать не грубо.

1923. // Однако в этой негрубости скрывался главный яд:

XII.9 Ельчанинов ускользал от возможности осудить его поведение и в собственном своем сознании не имел достаточного материала, чтобы убедиться с очевидностью в том, что он вовсе не невинен, во всяком случае, не так невинен, как думал он о себе сам. Он избегал близости с равными себе по летам и по силе, а тем более старших себя, и предпочитал младших, которые безответнее отдавались его ухаживаниям. Все свои способности Ельчанинов обращал, чтобы очаровать и закрепить свое очарование. Он возносил того, с кем имел дело, на престол и внушал неопытной душе сказку об ее избранничестве, исключительности, о ее праве на поклонение, а сам в это время выпивал эту душу, раскрывшуюся пред ним с доверием, какого она никогда не имела и пред собою. Все прочие отношения, дела и обязанности меркли пред нею, любовь и внимание близких начинали казаться пресными, слишком умеренными и сдержанными, душа тяготилась всем, что не было Ельчаниновым. А он, как только это произошло, соскучивался, охладевал и бросал ее, если можно — старался просто уехать и исчезнуть из вида. Он мог быть верным только, если чужая душа держалась и, несмотря на обольщение, не отдавала ему себя; тогда Ельчанинов время от времени возобновлял свои попытки, худел и мучился неуспехом. Это, однако, не было действием по рассчитанному плану, не было и самолюбием, а подвигалось каким-то непреодолимым инстинктом, очень по-женски.

Победы давались особенно легко и были наиболее сладостны, когда жертва любви была совсем еще молода, и чем моложе, тем желаннее. Подростки, еще лучше дети — на них преимущественно обращались волнения Ельчанинова. Окружающие, то есть взрослые (— до чего бывают слепы эти взрослые! —), в один голос считали Ельчанинова врожденным педагогом. За его уроками, за его воспитанием, даже просто за педагогическими советами гонялись, как за визитами знаменитого врача. В частности, одно время пытались привлечь его в воспитании детей великого князя Петра

Николаевича, но Ельчанинов отклонил это приглашение. И действительно, не имея в себе педагогической заскорузлости и нисколько не считаясь с педагогической рецептурой, Ельчанинов подходил к каждому отдельному случаю непосредственно и с интересом, забывая о занятиях как о ремесле и отдаваясь взятым на себя обязанностям, которые не были, впрочем, для него обязанностями, а скорее — очередным романом. В каждом случае он изобретал новые приемы обучения, будил мысль и интерес, волновал. У него занимались с интересом, его наставления охотно выслушивались и даже выполнялись, вообще он мог вести своих учеников в большинстве случаев куда хотел, хотя изредка бывали такие, которым он не внушал доверия и которые определенно не любили его. Программа усваивалась, и все казалось благополучным. Но на самом деле Ельчанинов вырывал ребенка из его семьи и незаметно для себя внушал ему недоверие к близким и научал замыкаться от них; воспитанник открывал новую для себя, не то пренебрежительную, не то укорительно-осудительную точку зрения на своих родителей и всех прочих, ибо все и всё казалось ему теперь мещанским, прозаическим, мелким, а все обязанности и жизненные отношения — условными и ничтожными. Это был род хмеля, но не невинный, как хмель. Разорвав жизненные нити и уйдя, Ельчанинов оставлял в душе смуту, чувство пустоты и рану, к которой присоединялись отравы повышенной самооценки и соответственные требования от жизни.

VIII. Но все здесь рассказанное определилось в Ельчанинове с ясностью уже после нашего с ним расхождения и сюда включено ради более отчетливого понимания личности моего покойного друга. Я называю его так, потому что, переболев мучительно наше расхождение и затем, спустя некоторое время, снова установив весьма короткие отношения, я не мог и не могу ощущать его иначе, чем как ощущают умерших. Первоначально я был старшим для него (хотя годами мы были ровесники) и потому, вероятно, не отдавался ему как авторитету и не видел в нем сказочного царевича, а ему это было и тогда непереносимо. Впоследствии, когда он почувствовал, что умер для меня, он захотел любви, к тому же он почувствовал, что теперь я ничего от него не жду, искренно не думаю ни о каких обязанностях его в отношении меня и что ни внешне, ни внутренне не буду огорчен, поступит ли он так или иначе, — а основным самочувствием

Ельчанинова, мне кажется, всегда был женский бунт против норм: «Брак есть могила любви». Так вот, он убедился, что никакой могилы его чувствам мной не роется, и потому стал относиться с нежностью ко мне и, время от времени, когда кончался тот или другой из его романов, более волнующих его, возвращался ко мне как к старшему. Впрочем, об этом обо всем следует говорить далее, теперь же возвращаюсь, с чего начал: несмотря на свою почти влюбленность в Ельчанинова и долгую привычку, я, без каких-либо явных мотивов, первым активно отошел от него и, задним числом, вижу в этом правильно произведенную операцию. Если бы последней не было, то я не остался бы в потребном мне одиночестве, а Ельчанинова все равно потерял бы, но только более болезненно. Разойдясь с ним, я почувствовал себя сошедшим в темный погреб. Связь с миром держалась у меня чрез посредство него, и тут она порвалась. Свет померк, я слышал, как захлопнулся надо мною спуск. Теперь, когда волнение и внешняя боль несколько утихли, я мог обратиться к себе самому и пересмотреть, в первый раз сознательно, чем я жил до сих пор.

IX. Моею первою заботой было удвоить и утроить свои старания около науки. Я поставил ряд интересных опытов, усиленно читал; мысль моя охватывала уже обширные области, как, например, в работе «Об электрических и магнитных явлениях Земли»<sup>22</sup> — работе, которая по тому возрасту удовлетворительна не только по замыслу и основным понятиям, но и достаточно полна со стороны литературных сведений. Ни одно впечатление не должно было остаться без внимания: я фотографировал, зарисовывал, записывал, и весь материал приводился к некоторому единству. Короче сказать, это был разгар деятельности.

Но вместе с тем я чувствовал тайную неудовлетворенность, и ее не заглушала непрекращающаяся работа. Это не было какое-либо определенное чувство, и сам себе я склонен был объяснить свое состояние своим одиночеством, — но ошибочно. Прежде природа приводила меня в экстаз, и сердце готово было разорваться от восторга; теперь я продолжал любить природу, но, оставаясь наедине с ней, я стал испытывать особенно острые приступы необъяснимой и беспредметной тоски. Это чувство, вообще мне не свойственное и не знакомое до того времени, переживалось особенно болезненно по его непривычности. Уже редко



посещало умиление при виде цветка или камня. Продолжались мои прогулки и экскурсии, вообще озабоченность знанием, но это делалось хотя и ревностно, но, скорее, по чувству долга и привычки, чем по горячему ощущению подлинной важности этого. Я усилил свое чтение по философии, бывшее, впрочем, и ранее, но оно оставляло меня холодным и скользило, не задевая души. В моем уме философские понятия складывались в философские системы, я ощущал известное удовольствие от этих смелых умственных ходов, но они были для меня не более как виртуозностью. Между прочим, перечитывал и философствования Толстого, но мне казались они преимущественно нудными, и я не давал себе труда разбираться в них по существу. Более обратило на себя мое внимание переведенная Толстым известная статья Карпентера<sup>23</sup> о науке, но и тут, скорее, придравшись к некоторым его указаниям о невыясненности понятий температуры, я стал усиленно размышлять по этому предмету и пытался построить что-то в этом направлении. Между прочим, живя летом с папой в Кутаси, я возобновил свое чтение трудов по спиритизму и другим родственным явлениям, но и к ним отношение мое было внешнее: как и прежде, я охотно и доверчиво готов был признать самые факты, с меньшим доверием, но не враждебно выслушивал теории, но при всем том не делал ни из того, ни из другого никакого духовного применения, ибо для моей мистики — это была область слишком близкая к лаборатории, а для моей научной складки — слишком приблизительна и неотчетлива. Итак, никакие благодетельные толчки извне не облегчали моего выхода из духовных томлений, я оставался предоставленным себе самому, и между мною и мною залегало чуждое мне, но непреодоленное, научное миропонимание.

Х. Между тем голоса из глубины призывали, хотя я и не слышал их; а когда они делались настолько громкими, что не слышать их я уже не мог, все-таки и потрясенный ими я не знал, как быть далее и как направиться по ним. Теперь уж я плохо помню, когда именно что случилось, но это и неважно, потому что характеризует одну полосу моей жизни.

1923.XII.20. Тут мне представляется необходимым сделать одну оговорку, относящуюся как к ближайшим последующим главам, так и ко всему повествованию. А именно: от этого времени моей жизни у меня остались дневники; от других — разные современные письменные данные. Когда

я делал попытку заглянуть в них, мое теперешнее сознание выталкивается чуждой их стихией, как кусок дерева водою Мертвого моря. И если бы читателю настоящих строк когда-либо попались те записи, он почувствовал бы глубокое различие их от настоящего изложения и склонен был бы видеть в нем некоторый вымысел. Но в данном случае автору принадлежит и то, и другое, а вдобавок он же есть предмет своего сочинения. Естественно, следует выслушать и его суждения о данном разногласии, причем разъяснение такое имеет смысл и вообще, потому что это излюбленная тема критиков — устанавливать вымышленность автобиографий.

Итак, прежде всего дневники, письма и записи принадлежат мне же, и было бы глубокой погрешностью опираться на них как на безусловную правду, только за их современность. Измерять ими истинность позднейших воспоминаний — это значит признавать полную мою тогдашнюю беспристрастность к себе самому и к другим и какую-то нечеловеческую мудрость, позволяющую оценивать смысл и значение событий самих по себе, помимо общих линий жизни. Современные записи по необходимости субъективнее, чем позднейший взгляд на те же события, уже обобщающий и имеющий основание выдвигать вперед или отодвигать назад то или другое частное обстоятельство. Многое, что за шумом жизни не было тогда услышано достаточно внимательно, по дальнейшему ходу событий выяснилось как самое существенное, тогда как много и очень много волновавшего прошло почти бесследно.

Я выслушиваю свои же старые дневники и проч., как спотыкающееся чтение по плохо написанной и недоступной пониманию читающего рукописи: и знаки препинания, и логические, даже музыкальные ударения, и ритмика чтения — все нещадно перевирается, а я, безусловно, не согласен в своем позднейшем понимании собственной своей жизни руководиться этим чуждым мне старым. В записях того времени местами я просто не узнаю себя, но знаю: это происходит вовсе не от недостатка в памяти, а от неправильности самой записи. О важнейшем и наиболее глубоком я или не писал тогда, или писал неправильно, да и не мог писать; это были еще слишком тонкие и не доведенные до полной сознательности впечатления и внутренние движения, чтобы могли у меня в таком возрасте найтись слова для них. Теперь же, когда это тонкое вышло уже на поверхность сознания и, проросши, оттенило то, что тогда

было там,— теперь оно может быть высказано. И напротив, стоявшее тогда в фокусе сознания потому, вероятно, и находилось там, что было уже отсохшей старой кожей, от которой, несмотря на ее мучительность, не удавалось освободиться и которую своими сознательными усилиями все хотелось оживить и приклеить к своей душе.

Да, оглядываясь назад, я, как и всякий, не только вижу отдельные случаи жизни, рассыпающиеся и возникающие от внешних толчков, но и понимаю внутренний смысл их в целой жизни, то есть их место и взаимную связь в целой жизни, и оцениваю их удельный вес. Многое забылось; но когда рассматриваешь, что именно относится сюда, то делается ясною пустота и поверхностность этого забытого. Напротив, иное, по-видимому, мимолетное и тогда полузамеченное, оказалось незабвенным и даже с годами делается все более ярким среди тускнеющих образов прошлого: это — зерна будущего. Картина прошлого, как она представляется сейчас, не соответствует той, что виделась мной в самом ее переживании. Но пусть не говорят мне о настоящем моем представлении как о ретуши предвзятой и пристрастной памяти. Конечно, и теперь, не умерев, мне не рассказать о себе без пристрастия; но в одном уверен я: о тогдашних делах теперь могут говорить с большей заинтересованностью, нежели тогда, в самом кипении этих дел. И то, что скажу я сейчас, представляет тогдашнюю жизнь иначе, чем представлялась она тогда, к выгоде правдивости. Весьма вероятно, взойдя на некоторую новую ступень, я смог бы еще по-новому понять все бывшее, и тогда настоящее изложение оказалось бы в каком-то смысле ненужным и ошибочным; но не раннейшие записи должны быть противопоставляемы настоящему повествованию. В конечном счете я-то знаю ведь, что писано мной о себе лучше и что — хуже. Думается, этим соображением нужно было бы почаще руководиться критикам автобиографий и исповедей, и тогда многое было бы написано ими иначе, чем было написано.

XI. Но возвращаюсь к прерванному.

Лето 1899 года было временем особенно быстрого внутреннего изменения и потому представляется мне чрезвычайно длинным и полным событий, не в пример предыдущим и многим последующим. Я судорожно держался физики и тому подобных наук, обуреваемый многими весьма широкими замыслами, из которых каждого хватило бы на обширную книгу. Но вместе с тем шло весьма большое по

объему чтение художественное, философское, историческое. Правда, всегда и раньше читал я очень много, и притом почти одним просмотром, выхватывая из книги все то, что мне было действительно полезно, так что дальнейшее внимательное чтение той же книги редко давало еще что-нибудь питательное. Но это чтение шло своим порядком и потому как-то не замечалось, как не запомнились на дальнейшее и отдельные книги. После возраста детского каменным быком в моем сознании стоит именно лето 1899 года, а все промежуточное, хотя и помнится в подробностях, но не имеет существенного веса и аркою моста соединяет эти устои. Так и относительно книг: чтение стало тут бурным, молниеносным и весьма волнующим.

Время мое и силы были заняты до последней степени, а вдобавок преподаватели гимназии охотно накладывали на меня по несколько бесплатных уроков, которые я вел с непомерной ревностью. Эта занятость не только не останавливала [но и не могла остановить] <sup>24</sup> каких-то стремительно развивающихся событий в подсознательном, откуда доносились до меня лишь глухие гулы. Но, несомненно, там было беспокойно.

В конце весны этого года, незадолго до отъезда на дачу, помню я весьма трудную для себя ночь. Она и по сей день живо стоит в моем чувстве, однако не находится слов рассказать, в чем было дело, потому что нет никаких образов. Нет, и не было тогда, несмотря на потрясшую меня силу самого переживания. Ясно помню всю внешнюю обстановку: свою комнату во флигеле нашего дома, с белыми голыми стенами, согласно моему вкусу, высокую, с огромными окнами прямо на длинный балкон, флигель, в котором она находилась. Помню огромные стенные шкафы из необделанного ясеня, в которых находились мои личные книги, бумаги и приборы, и два громадных ясеневых стола, занимавшие свою площадь почти всю большую комнату. На них я занимался и экспериментировал, на них строил себе приборы. К одному из столов были привинчены английские тиски с наковальней, а в ящике лежали инструменты, слесарные и столярные. Перечислить остальной инвентарь комнаты теперь уже недолго: это — деревянная тахта с моей постелью, стул и чернильница на столе. Мне была невыносима какая бы то ни была вещь в моей комнате, а в особенности — на столе, даже книга.

Так вот, я спал в этой комнате. Окна и двери были открыты настежь. Судя по тому, что мысленным взором

я не вижу никого из домашних, вероятно, они уже уехали на дачу. Я спал глубоким сном, похожим на обморок, так что даже сновидений не было, или, во всяком случае, они забылись еще до пробуждения. Но соответственно сильным было чувство, правильное сказать, мистическое переживание тьмы, небытия, заключенности. Я ощущал себя на каторге, может быть, в рудниках — не видел себя в таком состоянии, а только имел чрезвычайно существенное последиствие его для внутренней жизни,— ощущал так, как если бы находился в таком руднике. Применяя термины, тогда мной еще не употреблявшиеся, я сказал бы: это безобразное и невыразимое переживание, потрясшее меня, как удар, было мистическим, и притом — в чистом виде. Я испытывал огромное страдание, которое подавляло меня, хотя тут не было каких-либо учитываемых причин сознавать свою гибель и свою смерть. Это было как самоощущение заживо погребенного, когда над ним лежат целые версты черной непроницаемой земли. Это был мрак, пред которым кажется светлою самая темная ночь, мрак густой и тяжкий,— воистину тьма египетская; она обволакивала меня и задавливала. Было ощущение, что теперь никто не поможет, никто из тех, на кого я привык рассчитывать как на нечто незыблемое и вечное, не придет ко мне, даже не узнает обо мне. Я ощущал также бессильными все свои интересы, занятия. Не то чтобы появилось какое-либо сомнение в правильности или в неправильности физики и всего прочего, даже в самой природе. Нет, все это просто осталось по ту сторону чего-то, мне непроходимого, стало необсуждаемым, лишенным какого бы то ни было жизненного значения, тряпками, которых не станешь ни хвалить, ни порицать при агонии. С острой, не допускающей никакого сомнения убедительностью я ощутил бессилие всего занимавшего меня до тех пор, в той, новой для меня, области мрака, куда я попал. Тут свои потребности, свои страдания. Очевидно, должны быть и свои средства и свои радости. Непосредственным чувством я искал их, но не находил, бросался к выходам, но наталкивался на стены и путался в подземельях и проходах. Мною овладело безвыходное отчаяние, и я сознал окончательную невозможность выйти отсюда, окончательную отрезанность от мира видимого. В это мгновение тончайший луч, который был не то незримым светом, не то — неслышанным звуком, принес имя — Бог. Это не было еще ни осияние, ни возрождение, а только весть о возможном свете. Но в этой вести давалась

надежда и вместе с тем бурное и внезапное сознание, что — или гибель, или — спасение этим именем и никаким другим. Я не знал, ни как может быть дано спасение, ни почему. Я не понимал, куда я попал и почему тут бессильно все земное. Но лицом к лицу предстал мне новый факт, столь же непонятный, как и бесспорный: есть область тьмы и гибели, и есть спасение в ней. Этот факт открылся внезапно, как появляется на горах неожиданно грозная пропасть в прорыве моря тумана. Мне это было откровением, открытием, потрясением, ударом. От внезапности этого удара я вдрут проснулся, как разбуженный внешней силой, и, сам не зная для чего, но подводя итог всему пережитому, выкрикнул на всю комнату: «Нет, нельзя жить без Бога!»

1923.XII.24. Так сказав, я и сам был удивлен — и звуком своего голоса, произвольно вырвавшегося, и самым содержанием слов: пережитое во сне было сильно, но слишком глубоко, в точном значении этого слова, и потому не имело себе никакой формулы. Когда же эта последняя сказала, то естественно возникало чувство неожиданности, несмотря на внутреннее признание этой формулы как выражающей пережитое.

Тут мне напрашивается обобщение, которое относится к самым разным, но более глубоким деятельности моей жизни и притом — во все времена. Это именно — появление словесных формул того, что переживалось мною, совершенно независимо от прямых намерений и, чаще всего, — вопреки предвидимым сочетаниям и выводам из формул, уже готовых. Если бы я не боялся впасть в тон Розанова, то тут наиболее уместен был бы плагиат: «Каждое мое слово есть откровение»<sup>25</sup>. Конечно, не в смысле притязаний на высшую духовную истинность, даже и не в смысле непрерывной правильности, но все-таки откровение, потому что возникли и возникают в моей формулировке, всегда выплывая или, точнее, выскакивая вполне готовыми из подсознательного и раздвигая собой, разрывая наличное содержание. Это значит: отдельные формулы в моем сознании не держатся друг за друга, чаще всего имеют между собой зияющие провалы и противоречат друг другу. Вся совокупность их образует нечто крепкое в силу связи этих словесных формул с духовными средоточиями, относительно которых я и сам не могу сказать, что они такое. Поверхностно рационалистическое мировоззрение напоминает «фонарик» жидовской вишни<sup>26</sup>; углубленно-рациональное мировоззрение можно сравнить с последовательными оболочками

какого-нибудь плода, вроде, например, кокоса. А строй моей мысли имеет связи радикальные, и мне представляется образ моих с детства любимых плодов [...] <sup>27</sup>, похожих на голубых ежей <sup>28</sup>. Обыкновенно, в какой бы области я ни размышлял, мысль шла сама собой и почти без моего ведома, тогда как сознание бывало занято совсем другим, нередко обратным тому, что готовилось на большой глубине. Это была совсем не логическая мысль, а, скорее, присматривание к некоторой новой области, ощущение ее и внутреннее к ней приспособление. Когда оно достигалось, само собой возникало и слово его. В качестве слова оно никак в процессе своего формирования не соотносилось с другими словами и потому не было с ними слажено; поэтому-то оно и казалось сперва и мне самому чем-то неожиданным. По корню же своему, его вырастившему, оно было родным и хорошо знакомым, подходило к строю мысли в ее целом даже лучше привычных, истершихся других слов. Оно выступало в сознании как чуждое ему и вместе с тем как заветное и защищаемое с гораздо большею искренностью, нежели все остальное, уже не вызывавшее чувства умственной неловкости. Так бывало с новой мыслью во всех областях, и потому новое меня самого одновременно и удивляло и ощущалось как давно уже свое и усвоенное.

Таким же, но обостренно таким сказалось то, приведенное выше слово — о жизни без Бога. Но бывали случаи, когда эта произвольность слова представлялась мне уже прямо данной извне, как восприятие явившегося во внешнем мире, который был вместе с тем и внутренним. Было ли это галлюцинацией, если к психологическому механизму этих восприятий подходить, как говорят, «по-научному»? — Не думаю. Моя психика всегда была крепко сшитой, и воздействия на нее из глубины не подавляли привычного мне и с детства вкорененного самообладания; как бы ни был я взволнован и потрясен, исследование происходящего никогда не опускалось. И относительно упоминаемых здесь случаев, как бы ни была жива глубокая уверенность в их потусторонней реальности, параллельно производится учет и той внешней среды, в которой воплощалось потустороннее.

Итак, это не было галлюцинациями; но не было, однако, и иллюзиями, если разуместь под последними ошибочное перетолкование восприятий и подмен их смысла некоторыми другими того же плана, к которому они дают повод, но

которому они не могут быть признаны достаточным основанием. То, о чем говорю я, скорее, должно быть определено как сопребывание двух различных смыслов, принадлежащих к разным планам действительности в одном и том же восприятии, причем один смысл не уничтожает другой, но оба сознаются одновременно, хотя и с различным коэффициентом ценности. Когда такое взаимопроникновение смыслов наибольшую реальность имеет со стороны низшего смысла, восприятие мы рассматриваем как символ, с окраской субъективности. Но бывают, хотя и реже, случаи обратные; тут более ценный смысл восприятия ощущается и как более реальный: это — символ объективный, видение.

1923.XII.26. Вот один из случаев, особенно запомнившийся, может быть, потому, что он лежал на главном русле моей мысли. Он относится к тому же лету и был спустя короткое время, может быть, через две-три недели после случая, описанного выше. Мне представляется теперь уже более определенно, что в доме, кроме меня и отца, никого не было. Я спал в своей комнате. Было довольно жарко, двери на балкон были открыты. Не помню никаких сновидений, и, как казалось мне и тогда, сон был очень глубок и тоже вроде провала. Но вдруг меня пробудило что-то, какой-то внутренний толчок. Это не был какой-либо образ, не была какая-либо мысль. Может быть, наиболее подходящим было бы сравнить его с электрическим ударом, однако с той существенной разницей, что электрический удар ощущается телом, а этот — к телу никакого отношения не имел. Толчок, не затрагивавший ни телесных, ни сознаваемых душевных состояний, и тем не менее принудительно-властный и резкий — какое-то духовное электричество. Это было ощущение, словно сильная воля, безмерно превосходящая мою и безмерно более моей авторитетная, действует за меня раньше, чем сам я успеваю не только выполнить ее требования, но и сообразить, почувствовать и захотеть то, что от меня ею потребовано; вероятно, так ощущает себя младенец, которого пеленают умелой рукой и он только по окончании всего сообразит, что ему кстати расплакаться. И моя самостоятельность определялась в отношении происходящего только задним числом.

Этот духовный толчок мгновенно и вполне пробудил меня, причем такое пробуждение похоже, как если бы свалиться с крыши. Таким же порядком он выбросил меня из постели во двор, и, помнится, натиск воли был так силен



и решителен, что я не имел времени пройти вдоль балкона до одного из выходов, а перескочил по прямому направлению из своей двери через перила. Сказать, что я испугался, было бы совсем неправильно: у меня не было на это времени. Только когда все уже закончилось, я сообразил, что надо испугаться — таинственного и могущественного присутствия воли, мне неизвестной и, во всяком случае, вовсе не соблюдающей условий обходительности, в которой мы воспитаны. Она — как грозный, мгновенно пожирающий огонь, который не извиняется и не дает отчета в своих действиях; но в самой глубине сознания при этом ясно, что так надо и что эта необходимость мудрее и благостнее человеческих осторожных подходов.

Я стоял во дворе, залитом лунным светом. Над огромными акациями, прямо в зените, висел серебряный диск луны, совсем небольшой и до жуткости отчетливый. Казалось, он падает на голову, и от него хотелось скрыться в тень, но властная сила удерживала на месте. Мне было жутко оставаться в потоках лунного серебра, но я не смел и вернуться в комнату. Мало-помалу я стал приходить в себя. Тут-то и произошло то, ради чего был я вызван наружу. В воздухе раздался совершенно отчетливый и громкий голос, назвавший дважды мое имя: «Павел! Павел!» — и больше ничего<sup>29</sup>. Это не было — ни укоризна, ни просьба, ни гнев, ни даже нежность, а именно зов, — в мажорном ладе, без каких-либо косвенных оттенков. Он выражал прямо и точно именно и только то, что хотел выразить, — призыв. Я хорошо помню и тембр его, не мужской и не женский, упруго-звонкий и очень чистый; тут не было ни малейшего привкуса гортанности, каких-либо желаний сверх того, основного, объективного, высказанного веления, которое передавалось им тут с властным бесстрастием. Так возвещаются вестниками порученные им повеления, к которым они не смеют и не хотят дополнить от себя ничего сверх сказанного, никакого оттенка помимо основной мысли. Весь этот зов звучал прямою и простотою евангельского «ей, ей — ни, ни». Он раздирал мое сознание, знающее субъективную простоту и субъективную прозрачность рационального и объективность переливающегося, бесконечно сложного и загадочно-неопределенного иррационального. Между тем и другим, разрывая их, выступило нечто совсем новое — простое и насквозь ясное, однако властно-реальное и несокрушимое, как скала. Я ударился об эту скалу, и тут было начало сознания онтологичности

духовного мира. Насколько я понимаю, именно с этого момента появилось еще не выраженное в слове, но острое в своей определенности отвращение от протестантского и вообще интеллигентского субъективизма.

Я не знал и не знаю, кому принадлежал этот голос, хотя не сомневался, что он идет из горнего мира. Рассуждая же, кажется наиболее правильным по характеру его отнести его к небесному вестнику, не человеку, хотя бы и святому. Однако, при всем том и тогда, и в настоящее время, на каком-то заднем мысленном плане был вопрос, хотя и мало-занимательный, о физическом материале этого голоса. Это не значит, будто я отрицаю существование небесных внушений и голосов, лишенных физической основы. Но относительно данного случая я склонен думать, что такая основа все-таки была в виде голоса на соседнем, сзади нас находящемся дворе, за высокой кирпичной стеной, и допускаю даже, что этот голос выкрикнул мое имя, хотя относил его, конечно, не ко мне. Зачем понадобилось ему кричать так среди ночи, непонятно, и, если вообще исходить из внешних обстоятельств, то все случившееся со мной кажется непонятным. Но мое непосредственное ощущение тогда, как и мое сознание происшедшего впоследствии, исходило из обратного: первое и бесспорное в этом случае — духовная реальность голоса горнего, который и направил все внешние обстоятельства так, чтобы наиболее доступным мне образом пробить кору моего сознания. Если в самом деле кто-то и зачем-то назвал в соседнем дворе мое имя, то и он, сам не зная, чему он служит, был подвигнут на это той же силой, что разбудила и меня. Я не знаю, кого именно хотел он звать и зачем, но на самом деле — дал свое горло и свои уста иному голосу и звал меня. Весьма вероятно, мой слух был слишком груб, чтобы слышать непосредственно, без этого голосового рупора, ангельский голос; но с помощью физического посредства я слышал не его как таковое, а в нем — духовный двигатель его, голос горний, и потому тембр и выражение одухотворились и сделались неземными.

## 〈VII. ОБВАЛ〉

*1924.1.1* I. С призывами, описанными выше и им подобными, обстояло так же, как и вообще с моим ощущением иного мира. Они принимались мною с открытою душою и совсем доверчиво; скепсис, раздвоенность в восприятии,

дребезжащее ощущение бытия мне никогда не были свойственны. Мало того, они волновали меня и глубоко взрывали какие-то внутренние слои. Можно сказать, опыт этого рода утверждался в моем сознании, как нечто безусловно твердое и не встречающее себе никаких внутренних противодействий. Но... иной мир, хотя и в другом плане известный мне, мною никогда ведь не отвергался, и всегда было живо нечто гораздо более важное, чем мысль о нем: непосредственное ощущение его реальности. Иной мир в моем глубочайшем самоощущении всегда соприкасался со мною как подлинная и не внушающая ни малейшего сомнения действительность. Это ощущение касалось не только стихийных недр природы и всей ее жизни, духовного облика растений, скал и животных, но и человеческих душ, в частности — святых. В особенности же было живо постоянное ощущение присутствия покойной тети Юли, утонченной близости ее, гораздо более проникновенной, нежели при жизни. Если бы кто-нибудь сказал мне тогда вместе с Бергсоном<sup>1</sup>, что все бытие проходит чрез нас и нам поэтому дано в недрах, не доходящих, однако, до сознания, и сумел бы сказать все это не как научную теорию, а просто как свое самочувствие, то я живо откликнулся бы, ибо это именно и было моим самочувствием, притом самочувствием от рождения.

Так вот, было ощущение иного, чем только поверхность жизни. И однако это живое и основное мое ощущение в сознании, точнее, в связанном сознательно-научном миропонимании не принимало никакого участия, разве что отрицательного, как фермент. Опыт, бесспорно подлинный и о подлинном, был сам по себе, а научная мысль, которой в каком-то душевном слое я просто не верил, — сама по себе. Это была характерная болезнь всей новой мысли, всего Возрождения; теперь, задним числом, я могу определить ее как разобщение человечности и научности. Бесчеловечная научная мысль — с одной стороны, безмысленная человечность — с другой. Пляшущая с торжеством смерти-победительницы на костях уничтоженного ею человека научная отвлеченность и забытый, прятющийся по углам человеческий дух. Все новое время страдало именно этою раздвоенностью, сначала в надежде совсем изничтожить дух, а потом, когда выяснилась несостоятельность этих надежд, в тоске и унынии: Амизль<sup>2</sup>.

Во мне эти две стихии столкнулись с особою силою, потому что возрожденская научность была не внешним придатком и не оперением, а второю натурою, и ее истинный смысл я понимал не потому, что научился от кого-то,

а знал непосредственно, как свои собственные желания. Но этому пониманию противостоял не менее сильный опыт, возрожденские замыслы в корне их отрицающий. Вот почему именно во мне, когда возрожденство было форсировано и доведено до последнего напряжения, произошел и взрыв всех этих замыслов. Я был возвращен и рос как вполне человек нового времени; и потому ощутил себя пределом и концом нового времени; последним (конечно, не хронологически) человеком нового времени и потому первым — наступающего средневековья.

Говоря это, я достаточно отдаю себе отчет в самоуверенной окраске всех этих слов. Но такое впечатление, вероятно, почти неизбежное, было бы вполне неправильно: здесь идет речь никак не о размерах, каковые вовсе мне не кажутся значительны, а о типе духовной жизни, о строении личности, которое в данном случае ново — по качеству, и эта историческая новизна может вполне совмещаться с малыми размерами личности, ее способности и дел, так что данных повышенной самооценки в этой новизне нет еще никаких. Попросту говоря, миропонимание, которое получилось из упоминаемого взрыва, через десять, двадцать, тридцать лет станет само собою разумеющимся, и к нему будут приходиться вовсе не в какой-то зависимости от моих размышлений, а сами собою, совершенно так же, как недавно еще своим умом доходили, что «Бога нет», что «про неправду все написано, и вообще».

II. Таким образом, прежние мои занятия шли заведенным порядком, по выработанной мной у себя дисциплине мысли, хотя непосредственное чувство нужности их было подточено. Этот образ мыслей словно отщепился от меня, так что между ними и мною стала сочиться отчуждающая струя холода. Она быстро усиливалась, с каждым днем. Но это отчуждение было непосредственным чувством и не имело за собою достаточно выразимых в слове оснований. Напротив, основания оставались все прежние, и, поскольку чувство противилось им, устойчивость мысли требовала самозащиты от этого разрушительного, но безответственного чувства. И я, сознательно, противился ему, этому чувству, и старался добросовестно продолжать прежнюю линию физики.

Если прежде я не спал ночей от волнующей мысли о предстоящем назавтра опыте, то теперь, когда опыт мог быть действительно значительным и новым и когда мой мысленный горизонт расширился, а умственные привычки

сформировались,— теперь опыт стал для меня обязанностью, наложенною чувством долга, и лишь короткими вспышками возбуждал к себе нежность. Я ощутил физику и все с нею связанное как чужую на себе одежду или какую-то слезшую с меня, уже безжизненную кожу. Но я не смел сказать себе о происшедшем и старался убедить себя во временности своего самочувствия. Эта старая кожа, которую раньше я все мысленно приспособлял к себе и переиначивал по-своему, а теперь уже оценил в ее настоящей мертвенности, все-таки оставалась на мне, меня стесняла и обязывала. Если бы кто-либо выразил враждебность к ней, я стал бы ее отстаивать и защищать; однако это было бы не из-за упрямства, а по ясному сознанию, что никакой другой словесной одежды нет, и что, откажись я от этой, то должен буду остаться вообще без мысли. Во мне не сложились еще другие орудия мысли, а то, что давала философия, казалось неприложимым к действительному опыту.

Таким образом, ничего не оставалось, как только усилить свое рвение в прежнем смысле. Раньше я был в своих занятиях наивно бескорыстен и всецело уходил в них, не думая о себе и не равняясь ни с кем из окружающих. Конечно, я сознавал некоторое свое превосходство в области физики и т. п., но относился к нему как к чему-то внешнему, а потому был спокоен и в своей силе, и в своей слабости. Теперь, напротив, утратилась объективность мысли, занятой лишь своим предметом. Раз появилось сознание долга, то тем самым получила вес субъективная сторона дела. Мною стало сознаваться, что мне должно изучать и размышлять, а потому стало важным и то, что я это делаю или, наоборот, не делаю. Отсюда необходимо шло и сравнение себя с другими, со всею вытекающею отсюда неравною таких оценок, в зависимости от меры сравнения и наличного моего состояния в данную минуту. То мне казалось, что я как будто что-то делаю, чего-то достигаю и на что-то способен, то наоборот; прежняя спокойная уверенность в себе словно расщепилась на борющиеся с переменным успехом самоуверенность и уныние. Я ставил себе непомерные требования и огромные задачи; передо мною мерцали фосфорические светлы решений, как мне казалось, огромных по своей ценности, и я начинал представляться себе самому чем-то. Но тут же выяснялось отсутствие потребной для всего этого техники; фосфорический свет не находил себе среды оплотниться, и мною

овладевало гнетущее бессилие и чувство опозоренности за невыполненный долг. До сих пор я в жизни плыл в челноке по спокойному морю, а теперь понесся вскачь по камням и рывтинам.

Было бы неправильно думать, что волновался я о внешней оценке, со стороны. Дело шло в моем самосознании о чем-то гораздо более жгучем, о выполненном или невыполненном смысле жизни, и высокая оценка кого бы то ни было меня не утешила бы и не успокоила. Была слишком развита привычка к самостоятельной мысли и самостоятельной оценке ее, чтобы я сам не понимал, что я не то, чем считаю должным быть. Но если бы я и на самом деле сделал что-нибудь значительное, мое самочувствие поднялось бы на несколько минут, чтобы затем еще глубже провалиться в недовольство собою. Безмерное и стоящее за пределами сил и человека, и человечества стояло предо мною как долг и угрожало за невыполнение его; притом же не в будущем, тем более — неопределенно далеком будущем, а вот сейчас, сию минуту. И неосуществленность этой задачи вот сейчас казалась каким-то бесповоротным осуждением. Во мне утратилось сознание просто человека и просто человеческой меры. Ясное дело, одобрение кого-то и за что-то ничего не могло отнять от мрачности такой самооценки и смягчить мои скачки.

И чем менее важными и ценными ощущались мною мои занятия в глубине души, тем напряженнее цеплялось за них сознание и тем тревожнее было самочувствие.

На самом деле мною овладевала внутренняя тревога и тоска гораздо более существенные, чем это выводило в моем тогдашнем истолковании их. Я упрощал дело и цеплялся за свое упрощение, потому что втайне чувствовал разрушительность поднимающихся во мне духовных состояний не только для моего сложившегося уклада мыслей, но и для мировоззрения целого культурного цикла. А вместе с тем я не смел сказать себе и не имел нужных слов о возможности другого мировоззрения, тоже разумного, тоже выразимого в слове. И я отбивался от воскресающих духов средневековья, как от смерти, хотя духи эти были самым заветным и нежным моим внутренним словом, а то, что отбивался я от них, сидело на мне чуждой и стесняющей кожей враждебного мне начала.

Но, несмотря на мои усилия, я вынужден был, наконец, сознаться в своем полном поражении.

1924. I. 8 III. В начале лета я поехал с папой в Кутаис,

где жил он последний год, приезжая к нам по праздникам. Там, в тиши, наедине с отцом или совсем один, я много читал и наблюдал, с интересом, который, однако, скользил по поверхности и не вынуждал меня дать тот или другой ответ. Между прочим, в Кутаисе оказался бывший мой учитель, теперь инспектор народных училищ, Владимир Егорович Воробьев. У нас не завязалось с ним никаких близких отношений, но он снабжал меня книгами. Так я перечел за несколько лет «Мир искусства»<sup>3</sup>, «Русскую мысль»<sup>4</sup> и т. д. Это было для меня легкое чтение, но я понимал его только умом, а более глубоко был занят другими размышлениями. В частности, я не почувствовал остроты и печатавшегося тогда исследования Мережковского<sup>5</sup> о Толстом и Достоевском, в протиположность до боли настроенному вниманию к тому же исследованию год спустя. В местной городской библиотеке нашлись кое-какие книги по физике и по спиритизму. Привычка заставляла меня усваивать и те, и другие; но от первых я уже стал внутренне отставать, а у вторых духовная тональность была чужда мне, хотя я и не отрицал подлинности самых явлений. Более привлекательной мне показалась книга, с тех пор мною так и не виденная, Деллюэна<sup>6</sup>, в которой приводятся длинные повествования о некоторых таинственных случаях — о двойничестве в остзейской гувернантке Эмилии Саже, об спинетте<sup>7</sup>, принадлежавшем возлюбленной Генриха IV, и др.; автор довольно бесхитростно рассказывает, как, шаг за шагом, он пришел к вере в спиритизм.

Со мною поехал в Кутаис также брат мой Шура, которому было тогда [11]<sup>8</sup> лет. Он был поручен именно мне, так как папа часто отсутствовал. Иногда на мне лежали также обязанности по хозяйству — различные распоряжения, заказ обеда, выдача денег прислуге и т. д. Меня очень стесняли преимущества власти, но нести их было необходимо. В скором же после приезда времени устроилась экскурсия по Раче, продолжавшаяся с 9-го по 16-е июля. Часть дороги сопровождал меня с братом давний наш приятель, служивший у папы, плотник Амиран, а остальную дорогу должны были проделать мы одни.

Сначала ехали по Тквибульской узкоколейной железной дороге, мимо Моцаметского и затем Гелатского монастырей. В моих записях того времени отмечены преимущественно геологические и физико-географические впечатления, и в эту же сторону направлялось неизменное при

путешествии фотографирование: холодея к физике, я возвращался к детству, в обратном порядке проходя детские увлечения, и геология давала основания обратиться к природе под предлогом научности, конечно, сомнительной, как и вообще геология. За окнами вагона виднелись голубовато-серые известняки, иногда прикрытые охряною глиною. Слои здесь исковерканы, смяты, часто попадаются складки. Местами виднеются выходы изверженной породы сиенита. Около половины одиннадцатого приехали в Тквибули, главному на Кавказе месторождению каменного угля, и остановились в духане. В ожидании обеда я записал размышления о пантеизме, в котором несколькими теоремами раскрывались спинозовские выводы<sup>9</sup>, я играл ими, внутренне им враждебный, но все еще не имел силы сказать себе об этой вражде. После обеда мальчик-проводник повел нас к каменноугольным копям. Пешком пришлось идти около пяти верст. Дорога прорезывает сперва сланцы, затем юрские песчаники; в них-то и залегает пласт бурого угля. Рельсы доходят до брикетного завода, тогда не действовавшего, как заброшены были и копи, а оттуда, вверх к шахте, идет канатная дорога для перевозки угля. Мы поднялись к шахте и, захватив предохранительные лампочки Дэви,— имя, с детства волновавшее меня по близости к Фарадею,— вошли в шахту. С потолков там капает вода, обволакивающая белой корой известковых осадков потолок и стены шахты; многочисленные сталактиты висят здесь, но, пустые внутри, они очень хрупки и ломаются в руках. Внизу непролазная грязь, которая заставила нас скоро остановиться. Тут чувствуешь себя погребенным. «Я бы, скорее, согласился изнывать с голоду, но не работал бы здесь»,— высказался с своей стороны Амиран. С чувством освобождения вышли мы из шахты и стали спускаться, занявшись черникой и ежевикой, которыми порос весь склон. Вершина же Пакеральского хребта с елями, торчащими, как щетина, и похожая на кабаньи, заволоклась туманом. На другой день, 10-го, мы выехали верхом и по чрезвычайно крутым сокращенным дорожкам в три часа поднялись на хребет. Порою приходилось слезать с лошади и тащить ее за узду. Я зарисовал порядок напластований. После перевала характер местности резко меняется. Воздух насыщен влагою. Среди темных елей виднеются бесчисленные папоротники, похожие на большие кусты, а сквозь рододендровые поросли, по густоте их, прорваться нет никакой возможности. Не замечая времени, подъехали мы



к горному круглому озерку Харис-Твали, расстилающемуся, как небесное видение. Оно невелико, всего около пяти сажен в поперечнике, но глубоко: по промерам цесаревича Георгия Алекс[андровича], глубина оказалась равною 35 саженям или даже — 60-ти, как говорят другие. Озеро наполняется подземным источником; вода тут ледяная и приятна на вкус. Она тут чудесного голубого цвета, но не небесно-лазурного, переходящего на горах в фиолетовый, а зеленовато-голубого, с опалесценцией, и напоминает аквамарин. Не из ледника ли выходит питающий его ключ? Особенно красив этот естественный колодезь, когда воздушное дыхание подергивает его сверкающей рябью. Название его значит по-грузински то же, что и греческий эпитет Геры  $\beta\omicron\upsilon\tau\iota\varsigma$ <sup>10</sup>: глаз быка. Оно объясняется, вероятно, присутствием тут же, рядом другого подобного озерка, еще меньшего, но не изумляющего, впрочем, ни глубиной, ни цветом. Таинственная синева бездонного колодца есть, конечно, следствие мельчайшей мути. Но откуда берутся эти мелкие частицы, подобные глетчерному размолу? Равным образом, как попадают сюда водящиеся здесь форели, которых мы ели за завтраком в соседнем духане? И тут напрашивается мысль о подземной реке.

Такая мысль взволновала бы меня в детстве до сильного сердцебиения, и я бы все забыл, лишь бы только увидеть своими глазами подземные реки, о которых я слышал от папы. Теперь я попал в область карстовых явлений, где на небольшом пространстве объединен ряд типичных и ярких примеров. Но я, воздавая им должное внимание, зарисовывая, и фотографируя, и по дисциплине мысли всматриваясь в этот естественный геологический музей, уже не волновался от него всем существом, хотя и сам ясно не знал, что же именно внутренне отвлекает меня.

От Харис-Твали местность делается безлесною, и довольно высокое известковое плоскогорье украшено лишь скупо растущим кустарником. Отъезав от перевала около семи верст, мы остановились у провала реки Шаоры. Эта порядочная по размерам речка стекает с Накеральского хребта и в месте, где мы остановились, вся целиком исчезает под землю в несколько известняковых трещин. Над главным отверстием поставлена мельница, а меньшая часть воды проходит сквозь плотину и исчезает намного подалее. В белых плотных известняках этого места нашлось много окаменелостей — раковины и кораллы, похожие на древесные сучья; однако выбить хорошие экземпляры не удалось.

Идем дальше. Вся поверхность изрыта провалами различных величин. Они имеют вид воронок и во время весенних разливов, когда Шаора разливается бурно и полноводно, служат подземными стоками ее воды. Такие провалы образуются ежегодно и притом, по-видимому, внезапно: очевидно, вся местность изъедена внутренними трещинами и разливами. Один из провалов, образовавшийся, по словам Амираана, в этом году и потому еще не засоренный, я рассмотрел и даже опускался в него. Это — воронка в известняке, обладающем плитообразной отдельностью. Основание воронки продолговатое и по наибольшему направлению имеет около трех саженей; глубина же воронки, насколько можно проследить, — около двух саженей. Дно провала видно, а от него расходятся в разные стороны ходы, спускающие воду. Во время осмотра этот провал был вполне сух, как и другие. В поселке Никор-Цминда имеются еще любопытные карстовые явления, которые были осмотрены, зарисованы и сфотографированы. Пещера, называемая Ледяною, о которой я слышал от отца, представляет собою обширное подземное помещение со щелеобразным входом у поверхности земли, после которого идет крутой спуск. Форму пещеры, пожалуй, можно определить как тетраэдр, с основанием вверх. Внизу, у задней стенки, имеются два или более боковых входа, ходить по которым я не решился за неимением фонарей. Стены пещеры мокры и покрыты склизким осадком, может быть, аморфным глиноземом. Наружному воздуху и свету доступ в пещеру очень затруднителен, там царит полутьма и холод, больше, нежели обычно в пещерах, несмотря на сильные июльские жары снаружи. Еще недавно, как рассказывал мне отец, в ней круглый год держался зимний снег и лед, так что стоявшие неподалеку войска целое лето пользовались снегом. Но, вероятно, это они начисто истребили его, и при нашем посещении пещера не оправдала своего названия. Но она чрезвычайно интересна, как показывающая выход подземных рек: нет сомнения, эта пещера представляет иссякший выход какого-нибудь притока Шаоры. Неподалеку же от нее находится выход и самой Шаоры, а также небольшого притока ее.

Выход Шаоры и живописнее, и интереснее ее провала, расположен же от последнего, сколько помнится, в четырех верстах. Река выходит из огромного грота с нависшею скалою белого известняка и при выходе образует озеро изумительного глубоко-зеленого цвета; словно изумруд на-

лит глубоким слоем, и изумруд этот светится по всей своей глубине, давая впечатление флюоресценции, но распространенной по всему объему. По окраске озеро это очень похоже на Харис-Твали, но несколько зеленее: очевидно, расположенный ниже того выход Шаоры содержит и тиндалевскую муть меньшей тонкости. Вода здесь чрезвычайно холодна, и в ней водятся многочисленные форели. Чистое и окруженное скалами, защищающими его от ветра, озеро отражает все окружающее, как прекрасно отшлифованное зеркало, а солнечные лучи, ударяясь о зеркальную поверхность, освещают полутемный каменный свод. Это отражение дает волшебную игру света, когда форель возмутит своими кругами изумрудную гладь воды. Так же получалось, когда Шура бросал в воду камень. Густота зеленой окраски так насыщена, что и отраженное освещение на стене известкового грота — зелено. Даже тени отражаются в этом зеркале. Священная тишина охватывает в этом замкнутом пространстве, и как-то боязно сказать громкое слово. Но озеро это жутко и в прямом смысле: мелкая по выходе из него, вода Шаоры в самом озере имеет глубину, пока не бывшую доступной промеру; вероятнее всего, Шаора напоминает огромную пещеру, вроде той, что видели мы рядом. Но стоит только отойти несколько саженей от этой изумрудной глубины, грозящей немедленной гибелью осквернителю своей чистоты, как облик пейзажа резко меняется. Мелководная Шаора журчит серебром по крутому каменистому уклону, далее поставлена небольшая мельница, мирные деревца виднеются на берегах, идиллически мирные над хрустальной холодной водою с играющими на солнце форелями.

Неподалеку имеется другой подобный же грот, из-под которого течет ручеек с замечательно холодной водою. Он тут же впадает в Шаору.

В Никор-Цминда мы переночевали. На другой день, 11 июля, я встал утром в пятом часу. Море тумана заливало долины, но скоро рассеялось. Здешний древний собор осматривал я вчера и зарисовал там одну надпись. В без четверти шесть мы вышли; дорога оказалась мало интересной. Голые холмистые горы, нигде нет тени. Идем по течению речек, а после местечка Амбрелаури, где имеется древняя сторожевая башня,— Рионом; Амбрелаури недалеко от Абастумана. Около Цесси Рион протекает сквозь узкий прорыв в пластах известняка, стоящих на головах. Это красивое место называется Хидекари, то есть

по-грузински — ворота. Над бурлящим Рионом проложен деревянный мост, а по обеим сторонам его, в скалах, — крепости. Это — ворота к завоеванию Кавказа, и в них происходило немало сражений. Если не ошибаюсь, именно к этим скалам был, по преданию, доныне живому у туземцев, прикован Прометей. В этих местах, даже и не вдумываясь в окружающее, чувствуешь себя прикасающимся к нервным центрам истории, и природы, и богов, и людей. Пройдя мост, мы вышли на Военно-Осетинскую дорогу и приблизились к станции Цесси, а оттуда поехали в обратном направлении, но уже по правому берегу Риона — вниз по течению. После трудного и крутого подъема по жаре мы добрались до селения, где находился дом Амирана. Тут нас ждал радушный и почетный, даже до полной неловкости, прием. Семейство Амирана состоит из отца его, 82-х летнего старика, матери, брата, его жены и самого Амирана и детей. По всему видно, что они дружны и мирны, а старики полны свежести и бодрости. В жизненном укладе чувствуется древняя, может быть, уже полузабытая культурность. На Кавказе вообще обращает внимание выдержка и вежливость даже самых простых людей. Так, несмотря на любопытство, они никогда не позволят себе расспрашивать об обстоятельствах и даже об имени того, с кем встретились или кого принимают у себя в доме.

Оставив Шуру в доме Амирана, на другой день, 12-го, с Амираном и двумя проводниками, я начал подъем в Сванетию. Это трудная дорога, и я много раз думал, как хорошо, что я не взял с собою Шуры. Впрочем, и он об этом не тужил, занявшись в саду Амирана сливами и грушами.

Мы шли пешком, но имели лошадь под вьюком, нагруженную, между прочим, бурдюками белого вина. Этими сборами распорядился Амиран, и в дороге я убедился, что он все захватил кстати. Мы поднимаемся очень красивой и столь же крутой дорожкой вверх по течению речки Рицеули. Впрочем, правильное название ее не речкой, а сплошным водопадом. Изобилие воды: ручейки, речки, источники. Пышная растительность: огромные ели и другие деревья, папоротники выше моего роста, целые леса хвощей, которые смело можно было бы снять и выдать за картину каменноугольной растительности. По дороге попала какая-то порода с черными кристаллами, по-видимому — граната. Мы все поднимаемся [I нрзб.], преодолевая

стремительное низвержение Рицеули, и с подъемом растительность заметно изменяется. По некоторым фантастическим предположениям, тяжесть происходит от непрестанно устремляющегося на землю эфирного тока. Двигаясь по плоскости или производя кратковременные подъемы, мы не чувствуем обычно тяжести; но при длительном крутом восхождении готов поверить в этот эфирный ток, словно смывающий тебя со склона, и, поднимаясь, чувствуешь себя, как в быстрой реке, течение которое приходится преодолевать непрестанным усилием. Но в этом длительном подъеме, несмотря на его трудность, есть что-то освобождающее. С таким именно чувством, в девятом часу вечера, подошел я к слиянию Рицеули с речкою Жринави, где была назначена ночная стоянка. Тут, в ущелье, среди векового елового леса, был разведен костер, и мы поужинали. Едва ли кто-либо ночевал еще здесь. Над шумящей рекою носятся светлячки, а звук водопадов сливается с всеобщими потрескиваниями костра. Ночью здесь холодно, а, кроме того, без костра и опасно из-за диких зверей. Этот лес ночью пугает колыханиями длинных белых бород испанского мха, свисающих на несколько саженей с мачтовых деревьев. А к этим страхам присоединялись еще неприятные неожиданности в виде вскакивающих неожиданно на лицо кузнечиков и каких-то крупных насекомых. Эту ночь, оставившую сильное впечатление, я только продремал, дрожа от холода и ежеминутно вскакивая от испуга.

На другой день, 13-го июля, мы двинулись в путь в без четверти пять. Мы шли дремучим лесом, и, вероятно, немного бывало людей, посетивших эти места. Сперва — крутой подъем, затем — медленный. Хвойные деревья все более преобладают, и под конец остаются лишь пихта и ель. Далее — альпийские луга и снова весьма крутой подъем. Мы восходили среди скал, обросших кое-где мхами и лишаями. Лишь изредка попадает трава. Мы дошли до линии вечных снегов. В ложбинах белеет крупнокристаллический фирновый лед, и часто приходится идти по снегу, хрустящему под ногами, как мелкий гравий. Встретился источник, который называют кислым, хотя кислота на вкус еле заметна, а лакмусовой и куркумовой бумажками вовсе не свидетельствуется.

Восхождение делается весьма трудным. Мы подвигаемся с усилием, ежеминутно останавливаясь. Сопровождающие меня смешивают в стаканчике фирновый лед с белым вином, и обжигающий холодом глоток этой смеси дает силу

еще бороться с притяжением земли, которая здесь ощущается уже не как что-то само собою разумеющееся, а как особая сила, по Ньютону. Живущие внизу в тяжести своего тела видят собственное его свойство, от него неотделимое; а здесь, наверху, сознаешь с полной убедительностью, что тяжесть причиняется внешнею силою, и она кажется тогда живою, с которою требуется сознательная борьба. С нею борешься так, как отбивают наступающего врага. Но, не смотря на сознательность усилия, горная болезнь делает свое дело: апатия к восхождению; слабость — я едва подымаю ногу. Дыхание учащено, колени подгибаются, и все состояние близко к дурноте. У меня есть привычка к горным восхождениям, но так высота никогда не давала еще знать. Наконец, в четверть второго, мы поднялись на горный перевал Утини. Это — граница Рачи и Сванетии. С нее можно обозреть вид страны сванов, доступ куда только три месяца в году. Перед нами стоят сванетские горы Ганга — голый скалистый хребет с рядом пиков, во многих местах покрытый сверкающим снегом. Под ногами у нас шифер и кристаллические сланцы. Одна плита шифера поставлена вертикально и укреплена в стоячем положении. Она слывет здесь священной, и никто не смеет опрокинуть ее. На этой плите имеется система концентрических эллипсов с подходящими к ней дугами другой такой же системы. Эллипсы выступают барельефными линиями. Подобного рода изображения встречаются на древнейших памятниках доисторического Египта и на критских древностях; но, с другой стороны, такие же барельефы иногда естественно образуются на осадочных плитняковых породах вроде песчаника. Поэтому ни при зарисовке этого камня, ни до сего времени я не сумел выяснить себе происхождение этих линий.

Небо — глубоко-синее, почти черное. Ощущается достигнутая совершенная гармония. Сознание экстатически расширено, и уже нет определенной границы между мною и внешним бытием. Так обычно бывает на большой высоте: от воздуха или от чего другого тут появляется экстатическое выхождение за пределы себя, приобщение к Великому Разуму и потому — овладение вселенской полнотою. Пронизывает струящаяся здесь неземная радость. Все мелкое, тревожное, суетливое осталось бесконечно далеко, оно уже не твое, а какой-то выметенный сор. Тут уже нет беспокойной памяти о завтрашнем дне, и все тамошние низинные недоразумения вполне исчезли за своим ничтожеством. От-

ложено всякое земное попечение, и внутрь тебя льется широкой струей синий эфир. Умереть и жить в этот момент одинаково благостно. Начинается ощущение легкости всего существа: тело утратило вес. Это ощущение можно сравнить разве только с полетом в сновидении, когда воля непосредственно движет телом. Не знаю, что показали бы весы, если бы в таком экстазе произвести взвешивание; никем не было произведено такого опыта, но я допускаю мысль и о подлинной левитации, об уменьшении веса, учитываемом и приемами физики; во всяком случае, такой исход опыта, если бы он кому понадобился, не показался бы мне удивительным. Тут, на горах, возникает астральное выхождение из себя, но не болезненное и не соответствующее условиям окружающей среды, как внизу, а законное и полнорадостное. Тут, несмотря на усталость, не ходишь, а летаешь, делаешь шаги, немислимые там, внизу, словно уносимый каким-то потоком, предупредительно возникающим сообразно твоим намерениям. Тут над крутизной, между прочим, делаешь прыжок, о котором и подумать страшно внизу, даже когда некуда падать. Тут после утомительного восхода не хочешь присесть и на минуту, а носишься почти без определенной цели по скалам. Так я спустился несколько по противоположному склону Утнии в нагорное плато Сванетии и осмотрел небольшое озерцо. Вода его чиста, но оно очень мелко; окружено обломками, глыбами и скалами песчаников.

Не знаю, сколько времени мог бы радоваться я здесь, но туман заволок всю окрестность; оставаться было далее незачем, да к тому же можно было опасаться дождя. В четыре часа пополудни мы начали свой спуск, который оказался сравнительно очень легким. Мы не спускались, а катились, тем более, что приходилось торопиться из-за тумана, все сгущавшегося и грозившего дождем. Однако выяснилось, что в этот день мы домой не поспеем, и потому в семь часов вечера мы остановились на ночлег в найденном нами шалаше из сучьев на границе альпийских лугов и хвойного леса из елей и пихт. В этом шалаше можно было сидеть только скорчившись, но он отчасти защищал нас от полившего дождя. Провожавшие развели костер. Затем один из них исчез и через некоторое время удивил меня, принеся древесных грибов, по его объяснению, растущих на буках. Это — желтовато-серые и белые пластинчатые грибы, как я узнал впоследствии, по своей зарисовке их, [...] <sup>11</sup>. Провожавшие меня сказали, что это —

наш ужин. Вероятно, шалашик был устроен ими же: они без труда разыскали под сухими листьями самодельную глиняную посуду, нечто вроде цветочных поддонников весьма грубого вида, похожих на утварь каменного века. На этих поддонниках они спекли грибы, круто посыпав их солью. Грибы оказались или показались вкусными. До тех пор я не подозревал, что древесные грибы съедобны. Мы продремали ночь в шалаше, а утром, при продолжающемся сильном тумане, стали спускаться. Путь был легок, и, выйдя в четверть седьмого, к полудню мы были в деревне Амираана.

На другой день, 15-го июля, в половине одиннадцатого, мы покинули гостеприимную семью. Доехав верхом в сопровождении Амираана до станции Чрепали, мы наняли перекладную и распростились с Амираном. Теперь я оказался предоставленным себе самому, вдобавок имея на своей ответственности Шуру. Мне было мучительно неловко давать на чай ямщикам при перекладке лошадей, а особенно неловко отказываться от предлагаемых ими папирос, которые покупал я им на станциях по их просьбе. Едем Военно-Осетинской дорогой. Между станциями Чрепали и Алпани, около Сазрим, неожиданно встали пред нами великолепные известняковые отдельности, имеющие вид пирамид, столбов и башен. Трудно отрешиться от мысли, что это не великолепный город неведомого, но близкого к средневековому стилю, — скажу неопределенно. Местное предание признает эти скалы заколдованным городом.

Далее путь идет ущельем Риона, который все время делает крутые повороты. Местность живописна, но однообразна. Узкое ущелье. Всюду белые известняки, снаружи потемневшие, а в них — много включений, пропластов и желваков красного кремня. Весьма возможно, это — окаменелости; по крайней мере, один из кремней оказался белемнитом. Переночевали в Алпани, а на другой день, 16 июля, около часу дня въехали в Кутаис.

Вскоре после того папа уехал на несколько дней в Квишхеты, взяв с собою Шуру, а меня оставил в Кутаисе, где я прожил в общем около двух недель. Я много ходил за город, и один, и с отцом. Чаще всего по Военно-Осетинской дороге, по ущелью Риона направлялся мимо скал белого известняка, с их размывами и пещерами по откосу дороги, к развалинам Багратова собора. Кусты диких гранатов с темно-зелеными гляцевитыми листьями и кораллово-красными цветами, дикая виноградная лоза, опутывающая высокие деревья, и вообще пышная растительность будили



во мне воспоминания раннего детства. Я чувствовал со-ответствие со своей внутренней жизнью, когда забирался один, не без жуткости, в колоссальные развалины этого исключительно большого храма с обвалившимися сводами, бродил среди огромных камней, загроздивших его внутренность, прыгал по исполинским капителям его колонн. Даже тогда, когда приходил сюда с отцом, он оставался сидеть у входа, смотря с высоты на течение Риона и не имея охоты прыгать вместе со мною по каменному хаосу. На камнях виднелись еще разные орнаменты и загадочные изображения. По углам четырехгранных капителей сидели какие-то птицы, вроде огромных филинов, а на самых гранях были иссечены загадочные композиции со звериными или полузвериными фигурами. Насколько умел, при своем неумении, я старался зарисовать в свой альбом эти письма духовного мира, не понимая их, но волнуясь ими, как при касании к чему-то близкому. Иногда я влезал высоко, в окно абсиды бокового нефа, и смотрел оттуда на величественное строение. Прямо против меня высилась хорошо сохранившаяся противоположная абсида. Темный плющ, все собою в этой местности обрастающий, обвил обратную сторону стены и, добравшись до узкого окна, ворвался внутрь здания и буквально облил собою всю вогнутую сторону стены. Как-то раз, балансируя на коньке крыши и рискуя слететь со стены, я сфотографировал это плющевое покрытие. В этих развалинах ничто не напоминало мне о мировоззрении, с которым я внутренне боролся; напротив, от этих развалившихся стен исходили духовные веяния иной культуры, к которой, сам того не зная, я стремился всею душою. Эти камни жили и продолжали жить, я не мог не чувствовать духовные силы, витающие тут и говорящие сами за себя, но против физики, гораздо больше, чем сколько можно сказать философскими и богословскими рассуждениями. Мое естественно-научное воспитание послужило здесь, как служило и много раз после, службу против научной мысли, которую она должна была обслуживать: она заставляла считаться с непосредственно воспринимаемыми фактами более, нежели с отвлеченными понятиями. Таким фактом предо мною стояла несомненная, хотя и неместимая физикой, духовная жизнь этих развалин, гармонически объединенная с жизнью природы. К тому же я был наедине с отцом, и это вело к отношениям, похожим на детские, и к пробуждению детского восприятия мира.

Как-то мы поехали в древний монастырь, он же и крепость — древний Гелатский монастырь, хранилище Хахульской Божьей Матери. Это — яркий уголок грузинского средневековья, возбуждающий чувство иной культуры, даже и при отсутствии понятий, направляющих внимание в эту сторону. Мое существо было слишком занято внутренним борением, а мое сознание — физическими понятиями, чтобы я был способен тогда по-настоящему рассмотреть этот памятник. Не рассмотрел я достаточно и славной иконы Хахульской Богоматери, с ее поражающими археологов финифтями по золоту и камнями. С детства имевший привычку и вкус к археологии и искусству, я, конечно, был заинтересован всем виденным; но только тончайшие испарения жизни этой древности действительно чувствовались мною, остальное же быстро забывалось. Ездили мы с папой и более далеко, когда того требовала его служба. Так, однажды папа неожиданно предложил мне поехать с ним в Батум. В десять минут собрались и поехали. Это было 21-го июля. Вот доносится шум отдаленного прибоя, от которого в сладостном волнении сжимается что-то под ложечкой. Батум показался мне еще меньше, чем я представлял себе его, но даже милее, нежели казался он мне в годы моего ухода в физику. Город был жалким и стал даже более жалким, нежели в прежнее время, но весь родной и связанный с душою каждой улицей и каждым домиком. Насколько Тифлис всегда оставался мне чужд и я враждебно выталкивался из него и выталкивал его из себя, настолько же в Батум я въезжаю, как в свое тело, и заранее готовлю ему нежную встречу. Ходил здесь по городу, сидел на бульваре, купался в море. Были мы с папой также в инженерном доме, даже несколько раз, где когда-то жили Новомейские. По-прежнему стоял этот двухэтажный дом, притаившись под защитою батареи возле угла бульвара, с тем же прежним широким балконом, с которого батумское высшее общество когда-то смотрело на государя Александра III, когда он всходил на батарею. Помните, как тогда, за долгим ожиданием, я оголодал, и необыкновенно вкусным показался ломтик французской булки со швейцарским сыром. Этот дом был для меня в свое время волшебным приютом муз и граций. Там жила Мария Сергеевна Новомейская, бывшая в моих глазах очаровательным существом, почти что соперницей колибри. Миниаюрная, с голубыми глазами и белокурая, она любила одеваться и нравиться и умела быть одетой изысканно

и еще более очаровывать любезностью, отполированной в польской среде, где она вращалась с детства. Ко мне она была расположена, так что держала в состоянии постоянного восхищения. И все кругом нее казалось сказочно очаровательным и великолепным. Стеклообразную горку с фарфором и безделушками рассматривал я, как сокровищницу, человеку почти недоступную, хотя мне не было неизвестно, что некоторые вещи, в том числе и ваза с пальмовым стволом и листьями, пленявшая мое воображение, были подарены нами. Но общая атмосфера очарования около Марии Сергеевны была так велика в моих глазах, что, если бы попал к ней и простой булыжник, он показался бы исполненным изящества и значительности. Особенно же привлекала меня ее нервность — свидетельство неземной утонченности, приближавшая ее почти что к принцессам и феям. Всегда с удовлетворением вслушивался я в разговоры старших о том, что Марии Сергеевне опять стало дурно при том или другом неприятном впечатлении. Наиболее же удовольствия доставил мне случай, когда Мария Сергеевна, купая маленькую дочь Еву, уколола ее золотой брошкой, отчего та лишилась чувств. Тогда Мария Сергеевна, при виде капли крови, тоже «упала в обморок», как с восторгом сообщал я направо и налево, и, наконец, завершил полноту изысканных чувств маленький сын Феликс, вышеупомянутым же способом. Кажется, что муж ее Северин Феликсович застал всю свою семью лежащей без чувств. В нашем доме такого рода изящество считалось предосудительным; у нас тон был более строгий, отчасти в английском духе. У Новомейских же, вероятно, через посредство Польши, пробивались струйки дореволюционной Франции, и во взаимных отношениях и укладе жизни было нечто от стиля Louis XVI<sup>12</sup>. У нас была серьезность и культ правдивости, дом же Новомейских стремился к изящной постановочности и легкой игре в жизнь, причем истинные чувства скрывались за любезностью и блеском. Мое влечение двойлось между тем и другим. Вот почему дом Новомейских пленял меня и казался несоизмеримым с тем, что видел я у себя; мне нравилась его иррациональность, он мне казался беспредельно большим и полным значительности и изящества, причем все известное мне и виденное мною представлялось небольшим отрывком огромного невидимого целого, а все изящности, мне доступные, — только малым, например, из того, что еще содержится в нем. Этот дом, и в особенности Мария Сергеевна, сделался центром

кристаллизации и точкою приложения всех моих стремлений к изяществу. С замиранием сердца входил я туда, с тайным восхищением встречался каждый раз с Марией Сергеевной и потом провожал ее долгим взглядом, смотря на ее туго обтянутую лайковой перчаткой руку с изысканными и как-то по-необыкновенному сложенными пальцами.

В этот-то дом, на углу бульвара и возле батареи, прошел я теперь, спустя более десяти лет после бывшего очарования; папа — по какому-то делу и, если не ошибаюсь, некоторым начальником, а я отчасти по его указанию (меня хотел видеть инженер, живший в нем, наш старый знакомый, фамилии которого я никак не могу вспомнить), отчасти и по своей воле: мне хотелось возобновить впечатления детства. Там нас ждал радушный прием, а меня, кроме того, — и глубокое разочарование. Вместо бесконечных анфилад огромных зал, украшенных со всею возможною роскошью, я попал в самую обыкновенную, приличную, но небольшую квартиру с самой обыкновенной обстановкой. Батарея, представлявшаяся мне горным хребтом, оказалась невысокою земляною насыпью. Ничего ни сказочно-изящного, ни сказочно-таинственного. Как бывает в снах, этот дом представлялся мне рембрантовской картиной, где освещенные плоскости переднего плана кажутся выступающими из бесконечной, неисследимо таинственной тени, скрывающей в себе бесчисленные тайны. Но случилось то же, что случается при дальнейшем ознакомлении с Рембрантами: зовущая тень оказывается обманом, покиванием на тайну и, при попытке углубиться в нее, вместо бесконечности мы тут же, через аршин или два, наталкиваемся на забор или стену. Так и таинственные многоточия, которыми обрывалась доступная мне часть дома, сказались рембрантовскими тенями, содержащими не более коридоров и людской. Мне было неприятно видеть это прибежище поэзии опустелым и облезшим. Я постарался уйти из него поскорее, несмотря на приглашение радушного хозяина, и не пошел уже туда вторично.

А все-таки, находясь там и после, я думал и продолжаю думать, что настоящей правдою было мое первое, детское впечатление, по моей большей тогдашней способности прикасаться к живой поэзии и по присутствию в этих стенах оживлявшей их души дома — Марии Сергеевны. Я уверен, атмосфера этого дома была в самом деле тогда иною, нежели теперь. И чувство огромности и неведомости всего помещения, думается, было верною душевною окраскою

какой-то внутренней значительности атмосферы дома и несоизмеримости ее с моим пониманием. Не так ли рембрандтовская тень, скрывающая в себе несколько аршин глубины и стену, ничуть не непонятную, все-таки есть и остается таинственной и, изболоченная, тем не менее продолжает быть непроницаемой анализом. Не так ли небольшая, насквозь нам известная комната при полной темноте получает таинственную бездонность, и чувство этой бесконечности не рассеет тогда ни припоминание виденного нами в ней при свете, ни осязание стен и находящихся предметов?

// Как и прежде, я не отрицал тайны внешнего мира, но <sup>1924.</sup> теперь, с надвигающимся кризисом, уже мало чувствовал ее <sup>I.14</sup> непосредственно: внутренняя боль перенесла почти все внимание к другой тайне, или, точнее, тайне в другом виде, еще не родившейся, но уже дававшей знать о себе.

Словно прощаясь, осматривал я Батум, да и в самом деле это посещение вышло прощальным, потому что два-три другие раза, когда я бывал еще здесь, мне было не до прошлого, и Батум не доходил до моего сознания.

Но действительно прощально сходил я с папой в любимое Аджарис-Цхали и после того уже не бывал там. Да и не буду, по крайней мере, в том, моем Аджарис-Цхали: судя по известиям, реки там запружены и на них поставлены электрические станции, снабжающие энергией Батум.

В этот последний приезд Аджарис-Цхали оказалось уже изменившимся. Возле моста через Чорох расположился поселок; сторожка заросла орехами, когда-то посаженными нами в виде жалких тростинки. Большой сад, насаженный когда-то папой, частью разросся и одичал, слившись с окружающей растительностью, частью же — погиб. Там были неизвестные мне люди, и только Ахмет, сильно постаревший, узнал отца и приветствовал его с радостью, на меня же удивился, запомнив меня таким, какого он переносил на руках через воду. Аджарис-Цхали потускнело, отчасти захватанное людьми, отчасти же вследствие изменения моего взора.

Вернувшись в Кутаис, я хотел было ехать к маме, но папа уговорил меня остаться и поехать с ним в Потю. Бедный папа скучал один, но не решался просто высказать свое желание и от избытка деликатности только давал его почувствовать.

Так попал я в первый раз в своей жизни в Потю, снова проделав по дороге все то, что мне так нравилось в раннем детстве: на станции Самтреди, название которой в детстве

казалось мне чем-то французским — Santredit, были куплены неизменные вареные раки, на станции Рион — грозди винограда изабелла, связанные в длинные гирлянды, и еще где-то — тоже неизменные на этой станции низанные на нитку каштаны, отваренные в соленой воде. Приехав в Потти, мы были встречены жандармом, отряженным на этот предмет городским головою. Папа, не терпевший знаков почета, весь вспыхнул и объявил жандарму, что он не нуждается в проводах в кутузку. Жандарм стал смущенно объяснять, что ему приказано проводить отца в гостиницу, но что, если он не нужен, он может уйти. Папа отвалил ему какой-то неожиданный большой, ошеломивший жандарма «на чай» и избавился от его услуг.

Мы поехали в гостиницу. Это было в середине лета. Несмотря на вечернюю пору, потийский воздух напоминал парное отделение бани. Жалкие улицы были пустынные, но зато из многочисленных, вечно стоящих тут луж раздавались концерты лягушек. На другой день папа принимал каких-то почетных посетителей, а я ушел в ботанический сад; больше тут, впрочем, и нечего осматривать. Самое замечательное, что увидел я, — это огромные магнолии, в несколькоэтажные дома; блестящие крупные листья и еще более крупные цветы архаически простого сложения, вообще весь стиль дерева, изысканно простого, будят чувства полузабытых первобытных времен и открытой тайны природы. Эти белые цветы держались на ветвях, как курильницы, и дерево представляется священным, но из культа какой-то иной, более древней расы. С детства мне особенно нравились в нем стебли, светло-коричневые и шерстистые, как рога оленей, но гораздо более четкие. Усладивши свои чувства магнолиевой рощей и пожевав эвкалиптовых листьев, я вернулся в гостиницу.

Однако находиться в этом городе-болоте невыносимо. Все тело покрыто какою-то липкой влагой, словно жирно смазанное глицерином, днем и ночью; и от этой липкости не помогает умыванье, потому что полотенце в этом воздухе само так влажно, что не способно принять в себя воду с лица, и, умывшись, остаешься мокрым.

1924.1.9. Папа приехал в Потти, между прочим, для совещания о работах по проложению нового русла реки Риона в области его устья. Сейчас я не помню подробностей, каковы были выгоды ожидалось от этих работ; но зато отчетливо ясно стоит перед моими глазами картина всей местности, замечательной и географически, и исторически.

Нас привез вниз по течению реки Капарчи небольшой парходик. Река эта вытекает из озера Палеостома, расположенного среди торфяных болот черноморского берега. Название этого озера указывает на него, как на древнее устье (τὸ παλαιὸν στόμα) какой-то реки, очевидно, Риона, древнего Фазиса. По карте нетрудно видеть, что именно сюда первоначально направлялось русло реки, но мало-помалу выход из него в море был занесен песками, а русло переместилось по торфяным низинам несколько к северу. Река Капарча, достаточно многоводная, чтобы допустить движение небольшого парохода, течет совершенно изумительно: сперва она направляется к северу, в направлении нынешнего устья Риона, но затем резко поворачивает к югу и протекает параллельно озеру и морю несколько верст, будучи отделена от того и другого параллельными друг другу узкими песчаными косами, ширина которых — того же порядка, что и ширина самой реки. Морская коса быстро удлиняется, а вместе с тем удлиняется и русло реки. Образование этой косы понятно: при своем весьма малом падении воды Палеостома легко осаждают от морского прибоя песок и прочие примеси. Вследствие этого коса удлиняется, а тогда падение становится еще меньшим, что в свой черед ускоряет рост косы. Нетрудно убедиться, что так именно образовалась и первая внутренняя коса. И в самом деле, песок ее тождествен с песком внешней, а на глубине около полутора метра содержит раковины как раз те же, что лежат и на нынешнем морском берегу. Отсюда нетрудно и возможное предвидение, что в дальнейшем Капарча снова повернет к северу, осаждая третью параллельную косу, тогда как теперешняя внешняя станет внутренней.

В этой местности легко осаждаются не только минеральные частицы, но и замирающая жизнь народов. Кого только не перебывало здесь, у преддверия Колхиды! Египтяне-колхи, давшие самое имя местности, при Сезострисе образовали здесь свою колонию из части войска; до сих пор они сохраняют древнее название и некоторые обычаи Египта, например обрезание. Тут были затем неоднократные притоки разных греческих народов, и самое название Палеостом свидетельствует об эллинах. Затем римские походы и многочисленные остатки римских укреплений и мостов. В частности, название речки Молтаквы, впадающей у устья Капарчи, достаточно прозрачно говорит о римлянах: Молтаква есть испорченное *Multa aqua* — многоводная, большая вода.

Далее идут остатки венецианцев, затем — турок, грузин, и, наконец, последнее наслоение — русской культуры. Находясь здесь, чувствуешь себя перелистывающим летопись, из каждой страницы поднимаются свои испарения, а прошлое представляется живее, и ближе, и несравненно полновеснее настоящего. Тут принудительность и властность физического мировоззрения и вообще всей новой культуры сама собою бледнеет, а встает и наливается жизнью иная культура и иная, общечеловеческая реальность.

30-го июля, рано утром, мы с отцом уехали из Поти в Кутаис. Вечером от 8-ми до 11-ти сидели с папой на балконе, разговаривая. Пронеслось по небу множество метеоров. Они исходили из северной стороны небосвода и при своем длинном пролете, иногда более половины неба, оставляли светящиеся следы. Зрелище было удивительное. Особенно ярок был один метеор, значительно превосходивший по яркости все светила, даже Юпитера. Метеоры пролетали так долго и движение их казалось до того медленным, что сначала я принимал их за ночных белых птиц, порхающих за деревьями и освещаемых каким-нибудь фонарем. Это мое замечание вызвало рассказ папы о предании какого-то кавказского народа, говорящем о существовании светящихся птиц. Папа говорил, что какой-то естественник поверил этому преданию и убедился в его истинности.

На другой день, 31-го июля, выехали мы с папой в селение Квишхеты, где находились мама, Ремсо тетя и все дети. Приехали под вечер; обычная острая радость после разлуки.

1925. VIII. 23. Теперь предстоит рассказ об одном из важнейших изломов моей внутренней жизни. Это время с исключительно выпуклостью представляется мне и по сей день, словно оттиск тех внутренних событий был обожжен и сделался навеки неизменяемым. Удовольствие бесследно исчезает из памяти; радости запоминаются, но как бледные, бескровные тени; только глубокие страдания по-настоящему формируют нашу личность и оставляют на ней существенные изменения, всегда впоследствии ощущаемые как неизменные «теперь». И таковыми, по преимуществу, бывают страдания внутренние.

Итак, мне слишком памятен весь описываемый перелом и обстоятельства, его сопровождавшие. Однако, заглядывая в подробные дневники того времени, я нахожу там множест-



во тщательно записанных мелочей, преимущественно естественно-научных наблюдений, сведения о прочитанных книгах, заметки о товарищах и знакомых, наконец, многочисленные записи чувств, тогда волновавших меня и мучивших, но все это — как поверхность жизни, в значительной мере — сор и накипь другого, более глубокого; самое же важное, истинный источник боли и то, что на самом деле было руслом внутренней жизни, в дневниках почти не упоминается, во всяком случае, не засвидетельствовано внятно для другого. Просматриваю дневники и не отрицаю фактичности там изложенного; но удивляюсь, насколько несоответственно расставлены здесь акценты важности, как невдумчиво выдвинуты и распределены душевные массы. Знаю, что дневник точен, как протокол. Но в нем не узнаю целостного образа событий. Это — как фотографический снимок отдаленных гор; он был снят ради гор, и только ради них, и, однако, вся поверхность снимка занята какой-то травой, грязью дороги или каким-нибудь забором и неведь чем, а горы представлены еле видными серыми дугами. Так и в тогдашних дневниках я почти не нахожу подлинно важного, что определило всю дальнейшую жизнь.

Конечно, тогда я и не мог бы написать иначе, чем написал, не впадая в отвлеченные рассуждения: происходившее со мною, или, точнее, происходившее во мне, несмотря на мучительность и силу, коренилось в полусознательной области и не имело для себя внятных слов и, следовательно, — и подходящих форм мысли. Это были удары из глубокого центра и потому, несмотря на свою силу, глухие. Лишь ряд их расшатал крепко сложенную кору сознания, и тогда новая сила вышла наружу. Задним числом я теперь вижу и понимаю то наиболее существенное из внутренних процессов, что неясно видел и чего почти не понимал тогда.

По внешнему учету, все мое время было сплошь занято, пожалуй, даже полнее, чем в прежние годы. Все было предметом интереса и наблюдения. Меня занимали соотношения цветов растительности; приводило в энтузиазм фосфоресцирующее свечение чинаровых дров, сложенных у нас во дворе на даче, и вожделенное мною с тех пор, как я себя помню; я делал наблюдения над струями течения Куры, нужные мне для моих размышлений над электрическим током; я обследовал строение гор, искал минералов и нашел толстую жилу красивой голубовато-зеленой ишмы; мерил температуру источников, наблюдал процессы

выветривания; жадно всматривался каждый вечер в тона поднимающейся тени земли.

Целыми днями я лазил по горам, фотографируя, делая зарисовки, записывая свои наблюдения, а по вечерам приводил все это в порядок. Остаться без дела хотя бы на четверть часа мне претило и еще более — утомляло меня: и ранее, и по настоящий день ничего не делать мне так же утомительно, как и медленно идти, потому что большое усилие тратится на задержку движения, внутреннего или внешнего. Но все эти наблюдения природы не были научным импрессионизмом, разрозненными и пассивными толчками от случайных встреч с природой. В каком-то смысле я очень определенно знал, чего хочу, и направлял внимание на явления природы, внутренне очень определенные. Несмотря на разнообразие своих интересов, я не мог и не хотел заниматься чем попало, хотя бы и значительным само по себе, по моему сознанию. У меня не было отвлеченной логической схемы, объединяющей предметы моего внимания, и таковая отталкивала мой ум. Тем не менее мои интересы органически срастались в единую картину мира, и в смутном предчувствии мне виделся новый Космос, однако более организованный и более пронизанный сознанием единой таинственной жизни природы, чем Гумбольдтов<sup>13</sup>. Это художественно-целостное представление о мире сопровождалось на другом плане теоретической мыслью. Во время своих хождений по горам я непрестанно думал о вопросах физики и отчасти — математики. Особенно усиленно вертелась в голове попытка дать определение температуры как величины, причем в своих рассуждениях я отчасти пользовался одной мыслью около этого же вопроса М. Н. Городенского<sup>14</sup>. Эти размышления о температуре были вызваны очень ошарашившим меня замечанием Карпентера в его статье о науке, что физики сами не знают, что такое температура и как ее логически определить. Наряду с этими размышлениями я дорабатывал статью об электрическом токе, писал разные заметки по математике, довольно много времени посвящал письменному переводу Тита Ливия<sup>15</sup> и чтению по философии, истории литературы и штудировал «Историю индуктивных наук» Уэвелля, писал письма и дневники.

И все-таки, на каком-то из более глубоких планов, я томился, как незанятый, а ниже — страдал. Прежняя спокойная и наивная по своей безоглядочности работа теперь стала сопровождаться резкими колебаниями самооцен-

ки и проходила то под знаком обширных замыслов, то в сознании невыполненности ничего существенного и потому недоказанности, что эти замыслы вообще будут осуществлены когда-нибудь. Эти колебания постепенно произвели две сосуществующих друг другу самооценки и соответственную раздвоенность самочувствия. Появилось почти никогда не оставлявшее меня ощущение какой-то неопределенной болезни, хотя ничего осязательного уловить я не мог, да и жаловаться на какие-либо физические симптомы не было основания. Я пытался приурочить это тяжелое самочувствие к различным внешним обстоятельствам, но сам же чувствовал, что дело не в них. И тем крепче я цеплялся за научные наблюдения, тогда единственное надежное и крепкое пристанище. Но в один день или, точнее, в один миг этого пристанища не стало.

Хорошо помню, как в жаркий полдень я укрылся в лес на склоне горы по ту сторону Куры. Это был довольно крутой склон, и можно было соскользнуть вниз к реке. Я пытался собраться с мыслями, чтобы продумать какой-то научный вопрос; но мысль была вялою и расплывалась. Вдруг из-под этого рыхлого покрова выставилась, как острое кинжала, иная мысль, совсем неожиданная и некстати: «Это — вздор. Этот вопрос — вздор, и совсем он не нужен». Тогда я спросил в удивлении и в испуге у этой, другой, чем мне привычная, **моя** мысль, как же это может быть вздором, когда оно тесно сцепляется с такими-то и такими-то вопросами, уже явно признанными. И через несколько секунд получил ответ, что и они, эти вопросы, тоже вздор и тоже ни для чего не нужны. Тогда я снова поставил вопрос о всех подобных вопросах, своею связанностью и взаимной обусловленностью образующих ткань научного мировоззрения. И опять тот же ответ, что и все научное мировоззрение — труха и условность, не имеющая никакого отношения к истине, как жизни и основе жизни, и что все оно ничуть не нужно. Эти ответы **другой** мысли звучали все жестче, определеннее и беспощаднее. Я хорошо помню почти физическое ощущение от них, как от холодного лезвия, без усилия вонзающегося в мое душевное тело и разрезающего меня, как что-то рыхлое и не имеющее сил сопротивляться. Чем шире ставились мои вопросы, тем менее сил было у меня защищать свои ценности и тем опустошительнее выступало каждый раз это лезвие. И, наконец, последний вопрос, о всем знании. Он был подрезан, как и все предыдущие.

В какую-нибудь минуту было подрезано и обесценено все, чем жил я, по крайней мере, как это принималось в сознании. Все возражения против научной мысли, которые я когда-либо слышал или читал, вдруг перевернулись в сознании и из условных, легко отразимых при желании и искусственно придуманных придирок вдруг стали грозным укреплением той, новой мысли, вдруг получили силу ударить в самое сердце научного мировоззрения. В какую-нибудь минуту пышное здание научного мышления рассыпалось в труху, как от подземного удара, и вдруг обнаружилось, что материал его — не ценные камни, а щепки, картон и штукатурка. Когда я встал со склона, на котором сидел, то мне нечего было взять даже из обломков всего построения научной мысли, в которое я верил и над которым или около которого сам трудился, не щадя сил. Не только опустошенный, но и с полным отвращением убежал я от этого мусора.

1925.VIII.30. В момент происшедшего обвала, когда мне казалось, что треснул и рушится небесный свод, я не узнал ничего нового для себя. Но коренным образом переверотилось направление воли. В том самом знании, которое было у меня за минуту до этого события, переставились все смысловые ударения. Если раньше всего про научного мировоззрения я выдвигал и поддерживал надеждою на их лучшее будущее, дорисовывая своею убежденностью в них вялые и несуществующие линии связи, а к contra не прислушивался, тоже в надежде — на их худшее будущее, то теперь pro и contra, помимо моего желания, обменялись своими местами. Все pro повяли, словно побитые морозом, и вдруг потеряли силу убедительного звучания. Напротив, все contra, также вдруг, подняли голову и стали победоносны, хотя я вовсе не сказал им да. Одни из них никогда так и не получили себе этого да, другие получили его, но не скоро, и, однако, уж теперь я почувствовал в них хозяев положения. Произошел глубинный сдвиг воли, и с этого момента смысл умственной деятельности изменил знак.

Началось разоблачение знания, сперва только научно-го, затем и вообще. В свое время я много читал Маха <sup>16</sup> и, несмотря на несогласие в сознании, в каком-то смысле все-таки принимал его. Теперь воспринятое стало разрастаться буйно. Отрицание знания в самых корнях его доставляло мне радость, в которой удовольствие было от наибольшей степени внутреннего страдания. Я чувствовал себя разбившимся при падении в пропасть, и хотелось, по

крайней мере, закрепить это свое новое место, чтобы иметь хотя бы какое-либо место.

Особенно много я читал по философии, но удовлетворяло меня лишь подрывавшее возможность знания; напротив, положительные построения оценивались догматическими, до смешного бездоказательными и лишенными твердой почвы. Не то или другое утверждение мне казалось странным, а самая возможность для автора говорить так произвольно.

«Истина недоступна» и «невозможно жить без истины» — эти два равно сильных убеждения раздирали душу и ввергали в душевную агонию. Смертельная тоска и полное отчаяние владели мною. Правда, внешним образом я вел жизнь, полную труда. Своим порядком шли усиленные занятия в гимназии; по просьбе некоторых учителей я репетировал некоторых своих товарищей и давал другие уроки, муштруя своих учеников и перенагруженный сам от предельного усердия, так как все эти уроки были бесплатными. По праздничным дням занимался чтением с младшими учениками, тоже по поручению инспектора И. Е. Гамкрелидзе. Со всеми этими занятиями время было занято буквально сплошь до позднего вечера. Но за всем тем я много читал, занимался математикой, геологией, писал и даже продолжал, хотя и в меньшей мере, чем раньше, свои физические опыты. Тогда время обладало совсем иной емкостью, чем теперь: умещалось в день и то, и другое, и третье, а все-таки был простор продумать и прочувствовать более глубокую внутреннюю жизнь. И вот тут я ощущал и сознавал в себе метафизическую пустоту и происходящую отсюда смерть. Кант и Шопенгауэр<sup>17</sup> со стороны своего отрицания подходили к моему тогдашнему самочувствию, но казались дешевыми и поверхностными в своих положительных построениях. Гораздо ближе было страдание Толстого, о его моральных и общественных взглядах я тогда не думал вовсе. В связи с карпентеровской и толстовской критикой научного мировоззрения я столкнулся, когда писал об этом реферат для устроенного нами совместного с Г. Н. Гехтманом научного кружка, — столкнулся с рукописной «Исповедью» Толстого<sup>18</sup> и даже переписал ее, а через Толстого — с «Экклезиастом»<sup>19</sup>. То и другое пришлось по мне вместе с некоторыми буддийскими писаниями<sup>20</sup>. Эти книги углубляли и расширяли мой внутренний провал и дали возможность ускорить оформление того, что происходило со мною. До них я чувствовал

себя одиноким в своем отношении к научному мировоззрению; в самое сомнение навевались порою окружающими сомнения, правда, поверхностные, но тем не менее требовавшие к себе внимания. С Толстым, Соломоном и Буддою я ощущал надежность своей безнадежности, и это давало удовлетворение и какой-то род спокойствия.

1925. // С ними томление пустоты уже явно было не психологизмом, а существенным следствием каких-то, мне неведомых, законов самого бытия. Сознание этого ввергало в безнадежность, но зато самой безнадежности было свойственно мрачное успокоение, поскольку далее падать уже было некуда. Это состояние точно изображено Толстым в «Исповеди», и потому распространяться о нем нет надобности.

IX.6 Но, однако, пережитое мною по душевной тональности было отлично от описанного Толстым. В последнем преобладало чувство, и Толстой ощущал себя умирающим потому, что иссякли в нем источники жизни: а жизнь была в его сознании чем-то очень близким к органическому самочувствию, к ощущению гармонической цельности тела, взятой очень глубоко, но тем не менее по определенной линии. Может быть, это было связано у Толстого, кроме его личного склада, с его возрастом и образом жизни. Мое же умирание шло по линии, скорее, интеллектуальной. Я задыхался от неимения истины. Во всем человеческом познании не находилось ни одной надежной точки, а истина и смысл жизни были для меня понятны и тождественны.

Постепенно, однако, отчасти с помощью Толстого, мне стало делаться ясным, что истина, если она есть, не может быть внешнею по отношению ко мне и что она есть источник жизни. Самая жизнь есть истина в своей глубине, и глубина эта уже не я и не во мне, хотя я могу к ней прикасаться. Сначала смутно, как сквозь толстую стену, затем все более внятно стал ощущать я какое-то веяние из этой глубины. Но эти живительные веяния, несомненные и подлинные более, чем что-либо другое, были, однако, в моем сознании вполне нерасчлененными, вполне лишенными какой бы то ни было словесно логической формы. Я ощущал их живительность и сознавал как единственно подлинно реальное; но я ничего не мог бы сказать об этом реальном, кроме того, что оно есть; я не имел слова назвать его и соотнести с тем, что я называл. А то, что я называл и умел называть, от этих животворных веяний окончательно съезжилось и стало держаться в сознании, как засохший цветочный венчик на ягодах крыжовника. Это было томи-

тельное висенье между знанием, которое есть, но не нужно, и знанием нужным, которого нет: ведь несказанные прикосновения к источнику истины не могли оцениваться как знание, и с ними, по их оторванности, делать было нечего. Правда, они подавали смутную надежду на возможность знания; но это была именно надежда, которую подтвердить я не мог бы и самому себе. Но самочувствие мое уже выправлялось на бодрое: еще не было ясно, что можно построить свою мысль и тем менее — как ее строить, однако внутренняя уверенность уже твердила об этой возможности, и томление по мысли было деятельным и боевым.

Мне была ясною необходимость строить мысль, и толстовская аморфность представлялась смазыванием собственным рукавом только что набросанного рисунка. Однако даже приблизительно я не мог себе представить, по какому направлению должна вестись работа и откуда начинать ее; все же наличное мне известное казалось не имеющим никакого отношения к этой работе.

Между тем решение пришло, откуда его не ждал. Источником же его стал тот скепсис в отношении человеческих учений и убеждений, которым был проникнут мой отец и который был впитан с детства мною.

«Истина — жизнь, — много раз в день говорил себе я. — Без истины жить нельзя. Без истины нет человеческого существования». Это было ясно до ослепительности; но на этих и подобных утверждениях мысль останавливалась, натываясь каждый раз на какое-то непреодолимое препятствие.

В какой-то из дней вдруг, сам собою, задался во мне вопрос: «А как же они?» И этим вопросом стена была пробита. «Как же они, как все, кто сейчас существует на свете, кто жил до меня? Они, крестьяне, дикари, мои предки, вообще все человечество — неужели были и суть без истины? Осмелюсь ли я сказать, что все люди не имели и не имеют истины и, стало быть, не живы и даже не люди?»<sup>21</sup>

## ДОПОЛНЕНИЯ

ИЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ЗАМЫСЛОВ И ПЛАНОВ

### ВОЗРАСТЫ

- I. До Батума: мистика повседневная.
- II. Батум: природа.
- III. Тифлис до окон[чания] гимназии: наука.
- IV. Окончание гимназии: кризис.
- V. Университет: открытие человека как начала познавательного.
- VI. Конец У[ниверсите]та: кризис: открытие религии.
- VII. Профессура: кризис фарисейства: открытие рода.



### ДЛЯ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ

1918.III.27. Серг[иев] Пос[ад]

- 1) Смерть папы моего.
- 2) Смерть тети Юли.
- 3) Батум: Сандро-туннели. Саженный снег — туннели. Приезд тети Сони из заграницы. Музыка тети Сони. Пристань. Бульвар. Море («звущий запах и ритм прибоя»). Буря. Городской сад. Последний полудевичий костюм мой. Букет мамы. Удочки. Лягушка. Буря морская. Рыба-игла. Чилим. Палочки. Камешки. Вопрос о пене морской. Медузы. Моль. Флорины. Червоточины. Няня София Романова. «Бука».
- 4) Уроки: Дом Орловских. Коля. Учительница фр[анцузского] языка. Нерсес. Лакомство. Пожар дома. Рисование мое. Папа, занятия с ним. Кровь.
- 5) <sup>1</sup> Религиозные воззрения и религиозный характер моих родителей. 5) <sup>2</sup> Крестины детей. Бегство к Пассекам. Знакомство с богословием.
- 6) «Просфора».
- 7) <sup>1</sup> Евангелие тети Юли.
- 7) <sup>2</sup> Суеверия. Примеры. 4-хлистный клевер.
- 8) Изобилие. Крыштафовичи. Поездка тети Сони. Ми-



фы о силе растительности. Позднейший бред папы во время болезни (игра): Чердаки, закоулки... Машина, («...»). Болт в голубе; лихорадка; страшные сны (сон о матери тонущей).

9) Бесо, смерть его.

10) Учителя мои.

11) Чтение; особенно лето в Хапагае. Шекспир. «Сон в лет[нюю] ночь». «Буря». «Фауст» Гёте; Вальтер Скотт. Потом — Жюль Верн.

12) Детская моя любовь к животным и растениям; культ цветов (и цвета); пантеизм. Поездки в Аджарисцхали и по Батумо-Ахалкацкой дороге, до Хуло. Жизнь природы. Ветер. Ветви. Колибри (см. 15, 18).

13) Новомейские: Северин Феликсович и Мария Сергеевна, «Феля» и Ева (Феликс).

Приезд Государя Александра III.

14) Венецианская лавочка; кровати в гостин[ой] «Франция», подарки. Моя кукла и Люсина кровать. Страстность моих стремлений — весь я в желании и в ожидании.

15) Книга Висковатого о растениях (см. 13). (См. 13, 15).

16) Увлечение моряками; «Моряк Шарло»; игры в путешествия (ящик из-под цемента). Живость воображения — игра более, чем игра.

17) Фейерверк, стремление к нему — звездочки, искорки.

18) Духи и запахи (см. 13, 15).

19) Я — «девочка»; первый мой полумальчий костюм «охотничий» как переход к мальчому.

20) Поездки в Тифлис. С папой в гостинице при свете. Эйфелева башня и «клубника». — Другая поездка. Я заболел ветр[яной] оспой. Поход на Давидовскую гору. Мое недоумение, можно ли простудиться с холода на тепло. Орлиное перо.

21) Дни именин и рождений.

22) Мое отношение к нарушению слова старшими («...») — тетя Юлия).

23) Интерес к фокусам как явлениям таинственным. Роб[ерт] Ленц.

24) Влечение к театру как виду магии. Чтение афиш.

25) Отношение к родителям в раннейшем детстве.



- 1) Вид папы.
- 2) Пение мамы.
- 3) Тень.
- 4) Тетя.
- 5) Как я катился в реку и что из этого вышло.

Что я любил и чего не любил: грубость без (...), резкость, слишком б[ольшая] впечатлитель[ность], ее резкость. Мягкие переливающиеся полутоны, скользящее. Боязнь мужчин — их грубости. Тифлис. Поражающая меня молния.

В главу о папин[ых] (...) вставить о комарах: «Папе видны комары».

Гр(убые) черты, (зловещие). Стаховский. В Словаре найти «Стаховский».

Поездка к Лизе тете 1-я и 2-я.

Французский язык.

(...) глосс[алогия].

(...): рассказы тети о детстве. Рассказы папы о детстве.

Сказки. Фокусы. Цит[ата] из Гоф[мана]. Черт[и]. Тетр[адь] № 97.

(...) Леман. Цит[ата] об (...). Эхо. Факт. Фокус — почти чудо. Тень. Выход. Наука. Театр. Ручьи. Колебание ветвей. (...) Первые научные опыты. Спир[итизм]. Рум(...). Купорос («яд — Янкель»). Фейерверки (...). 1) (...) Маги. 2) (...) Театр. Переодевания. Преобразования. 3) Электрический свет, как «павлиний хвост». Цари, ф[еи], цветы... Тетя Юлия. Мария Серг[еевна] Новомейская. Колибри. (...) фей. Тетя Соня. Колебания ветвей. Цветы, ручьи. Мертвецы. Страхи. Асбверисен. Кот Мурлыка. (...) гонец и страшная месть. Религия. Богословие. Евангелие.

Догм[ат] Троицы. Богохульства.

Глоссалогия: Помпея, Геркуланум. Любовь к словам. Стихи. Поэзия.

Книга первая «Моряк Шарло». «Проводы друга». Вальтер Скотт «Людовик XIV».

Пресс и отпечатки разные.

Форма как сущность.

Рождение братьев. Я ничего не думал.

Занятия. Первые уроки. Рассеянность. Непригодность к (...).

Поездка. Аджарисцхали. «Моя точка». Ветер. Ветви.

Отношение к людям.

Пение; музыка.



- 1) Фейерверк — звездочка.
- 2) (...)
- 3) Духи.
- 4) Цветы (и цвет).
- 5) Игры в путешествия (...).

Чилим. Палки. (...) Моряки. Моряк Шарло. Червоточины. Бука. Венецианская лавочка. Кроветки. Книга Висковатого. Ботанический сад. Я — девочка.



## АВТОБИОГРАФИЯ

- 1) Интерес к чердакам, погребам, подпольям, закоулкам.
- 2) Кончина тети Юли.
- 3) Первый эксперимент с (...).



### I

Мой интерес к червоточинам, отверстиям — интерес к пещерам. Не есть ли это интерес к утробе, к матери? Бабочки.

### II

Первоначальные воспоминания теряются в [смутных], но определенных ощущениях крови, близости с Родителями, теплоты родительской, где я не отделяю себя — от них и я в них.



## АВТОБИОГРАФИЯ

- 1) Мой интерес к кружевам не (...).
- 2) У тети — черные и проч.
- 3) Мое желание лететь и уверенность, что вот-вот полечу.

Полеты с зонтом, махание руками — почти лечу.



- 1) Моя финиковая пальма.
- 2) Большая финиковая пальма — от Пассеков.
- 3) (...) медведи.
- 4) Марганцевая черная гора, 36 стр. (?), см. 35 об.
- 5) С. 40 — о минералах поправить — расширить и дополнить чувства.
- 6) 40 об. наука (потеря направления).
- 7) О сне: «(...) рая».
- 8) Об аджарцах справиться и дополнить.
- 9) Тарантулы в Аджарисцхали.
- 10) Рождественская роза — зеленая. (...)
- 11) Крабы в Аджарисцхали, форель.
- 12) «Наталка-Полтавка». Тифлис. Театр.
- 13) Направления [?].
- 14) Апатиты [?]. (...)
- 15) Рисование цветов.
- 16) Моя фамилия.



## ЦВЕТЫ

- 1) Наперстянка.  
Шпажник (королевск[ая] шпора).  
Бересклет.  
Вороний глаз.  
Аконит.  
Дур[иан].  
Белена.  
Пастушья сумка.  
Львиная пасть.  
Гвоздики.  
Папоротники.  
Мхи.

2) В Батуме (на прогулках).

Пассифлора.

Эвкалипты («И у нас эвкалипт» — вверх в начало главы).

(...)

Пальмы.

Бананы.

3) Изобилие. Чаква. Хризостомы.



1) Подснежники *Palanthus novalis*.

Трицветный лист.

2) *Meuscarl* (*Perl Hyatinthe*).

3) (...) — *Scilla amiene*.

4) Барвинок *Vinca minor*.

5) Олеандр *Nerium oleander*.

6) Примулы.

7) Рододендроны и азалии.

8) Ирисы.

*Nies* (...) — *Helliborius viridos*.



### ОСОБЕННОЕ

Детство. Таинствен[ный] крас[ый] свет при закры-  
ван[ии] глаз и красн[ый] цвет пальцев на свет.

Игрушки. Куклы. Портные. Шитье.



### В ТИФЛИСЕ

1) Болезнь тети Юли; смерть ее. Минералогич[еский] ящик. Микроскоп Лейнца. Уроки у Худадова, латинским — занимался Михайлов[ский].

2) Испуг.

3) Болезнь Люси и молитва к Николаю Чудотв[орцу].

Поступление в гимназию. Кипиани Вахтанг. Вл. Френ. А[лексан]др Ельчанинов. М. Асатиани. А[лексан]др Кизе-  
бов [?]. Вл. Эрн. Яков и Моисей Розенштейны.



К ГЛАВЕ I  
«РАННЕЕ ДЕТСТВО»

1

Мамина семья в сам[ом] ран[нем] ее детстве жила в Сигнахе, за 100 в[ерст] от Тифлиса. Переехали в Тифлис, когда маме было менее 5-ти лет. Мама не помнит, как это было, а сигнахский дом помнит очень смутно.

2

Мама поехала в Петербург в 1878 или в 1879 г. Ехала от Владикавказа по ж[елезной] д[ороге].

Лекции слушала на частных курсах естествен[ного] характера. Немного занималась еще в Медицинской Академии анатомией. Все это было случайно, без системы, все эти занятия. Слушала немножко Сеченова и др[угих]. Училась и рисованию у Штиглица.

Вышла замуж 20-го августа 1880 года.

Папа кончил институт в тот же год, в 1880-м году.

3

Отсюда поехал папа в Евлах. Потом мама, не скоро, поехала прямо в Евлах. Туда приезжала Лиза тетя погостить. Ее имение «Карачинар» недалеко от Евлаха. Отца Сергея дяди звали Теймураз Фридонович. Тогда он был еще жив. Он был под конец жизни культурнее Сергея дяди, интересовался политикой. Он был военным, полковник в отставке, держал себя с достоинством.

4

В Евлахе мы прожили года 1<sup>1/2</sup>. Одну зиму, лето и еще зиму. Я уехал оттуда, когда мне было лишь неск[олько] месяцев. С Лизой тетей приезжала и Ремсо тетя, ей было лет 17.

В Евлахе мы жили в специально для нас выстроен[ном] бараке, деревян[ном], внутри обитом войлоком. Барак был из трех комнаток и отдельная постройка — кухня.

Юля тетя приехала в том же 80-м году, в конце или в начале, в январе 81-го.



## О МУГАНСКОЙ СТЕПИ

См. на стр. 313 — 316 в книге: Путешествие по Дагестану и Закавказью И. Березина. Казань, 1849.

Еще там же стр. 126 — 132.

Стр. 126 — о назван[ии] Кура.

Стр. 130 — о названии Муган.



Сенковский. Собр[ание] соч[инений]. Т. IV, стр. 509 — 510.

Фессалия, Пинские болота древлян (?), Муганская степь за Кавказом славятся множеством змей, муравьев и колдунов.

(«Одиссея» и ее перевод)



Серашевский.

Евлахович.

Дьяченко <sup>1</sup>.

К автобиографии моей:

знаменательная этимология слова Евлах (Еў...)



### К ГЛАВЕ II

#### «ПРИСТАНЬ И БУЛЬВАР (БАТУМ)»

1916.III.18.

В раннем-раннем детстве я сочинял стихи с Соней Андросовой. Помню, была у меня тетрадь для стихов. Часть стихов моих потом вошла в № [...] <sup>1</sup> нашего журнала, который создавали мы с Сапаровыми. Вот кое-что из стихов, что осталось у меня в памяти.

1) Пещера есть одна над морем,  
Царица фей в ней всех живет,  
Не посещаемая горем,  
Целый день она поет.

Раз на берегу она сидела,  
На море синее глядела,  
Море вдруг заколыхалось,  
Море сильно волновалось.

Дальше не помню. Было что-то романтическое:

И на поверхности его  
Живое тело очутилось.

Тогда:

Царица фей  
Бросилась в море...  
И т. д. .

Или вот еще:

- 2) Мой друг спросил меня однажды,  
Не знаю ли я,  
Где живет девица,  
Шемаханская царица...

Дальше не помню.

Или еще, каким мы дразнили Люсю и Ваню Андросова:

- 3) Люся, Ваня, кошка, кот  
обвенчались в день же тот  
и на свадьбе пировали,  
лишь усы все потеряли,  
и на том же пиру  
куклы съели всю свинью.

Дальше не помню.



Мое любимое: зеленоватые листья; огни в сумерках —  
особ[енно].





1918.IV. 6 Серг[иев] Пос[ад]. Ночь

### КОЛИБРИ

Все экзотическое влекло меня с тех (пор), как помню себя. Маленькое, изящное, благовонное, колоритное, пропорциональное — не просто нравилось мне, а почти мучительно волновало, вызывая влечение страстное, всепоглощающее, проходящее сквозь все существо: сердце билось — быстро-быстро при одной мысли о подобном, я себя не помнил. Никогда не умел я быть увлеченным, заинтересованным; нет, всею душою я всасывался в то, что меня заняло, почти до экстаза, до самозабвения. Или полное равнодушие, незамечание, полная холодность — или всепоглощающая страсть, взасос, насквозь, огненно меня охватывавшая. Эмоций я почти не знал, ибо в душе моей внезапно вспыхивал эрос. Я, Павел-Савел, т. е. Эрос, всегда был эротиком.

Предметом эроса были птицы, маленькие в частности, и в особенности, как птицы, по преимуществу — колибри. И слово и вид колибри меня приводили в дрожание восторга. Увидеть на дамской шляпе колибри мне казалось верхом счастья, волнуясь и холодея, смотрел я на птицу-муху.

О колибри я старался выспросить, что могли мне сказать. Знал названия их разновидностей, и среди них «эльф» с хохолком казался мне прекраснейшим на свете созданием, таинственным, неядущим, близким к эльфам-духам существом. В душе я почти молился ему — во всяком случае, боготворил. И предельной мечтой моих желаний было видеть колибри у себя в доме, на шляпе у тети Юли или мамы, близко к себе, гладить иногда и целовать. Долго мечтал я. Вдруг как-то раз тетя Юля объявляет мне, что она делает себе новую шляпу и, чтобы доставить мне удовольствие, прикрепит к ней колибри. Радости моей не было конца, нетерпения же — тем более.

Вот в одно «после обеда» тетя Юля зовет меня в магазин — если не ошибаюсь, Богдасарова, это было в Батуме, где-то возле аптекарского магазина Триандопуло — выбрать на шляпу колибри.

Пошли. Было уже сумеречно. Колибри выбрали, я выбрал самую маленькую и самую изящно-блестящую птичку

(она стояла дорого, но, видя мои умоляющие глаза, тетя решила взять ее) и не смел дышать от радости, не смел дышать — от боязни испортить ее. Птичка была завернута в белую папиросную бумагу, и тетя хотела взять ее себе, чтобы я не смял как-нибудь. Но я не решался доверить драгоценность даже тете Юле и обещал, что не сомну. Тогда в магазине мне показали, как надо взять пакетик — за верхний край, но не весь в руку. Пошли. Крепко-крепко сжимал я верхний край. На улице темнело. Проходим полдороги к дому, тетя спрашивает, не смял ли я колибри. Показываю ей пакетик. И видим ужас: нижний край развернулся, и птичка выскочила по дороге. Замер от отчаяния и смущения. Пошли обратно, смотря под ноги, оглядывая весь тротуар, но птичка не находилась. Так и не нашли колибри. С холодом свершившегося непоправимого вернулись домой. Тетя была огорчена не менее моего, кажется, но, видя мое глубокое горе, не только не попрекала меня, но, напротив, утешала. Однако на новую покупку уж не было средств, и шляпа так и осталась без колибри.

Что мне нравилось в колибри (вставить).  
Шляпа Орловской. Альбом колибри.



**Мать моя пела:**

Шуберт: 1) «Лесн[ой] царь».

2) Серенада «И песнь моя летит с мольбою».

3) «Форель».

Глинка: «Я помню чудное мгновенье».

Еще чье-то: «О Матерь Святая,  
возьми Ты меня,  
все счастье земное  
изведала я».

Мое впечатление синтетическое:

**Отец** — доброта, внимание, защита (...).

**Мать** — величие, недоступность, сидит в своей комнате с маленьк[ими], как царица в улье. К ней нельзя то потому, то по другому — кормит, одевает и т. д. Я ее почти не вижу, но слышу ее чистый голос: она поет, и дом наполнен свежими звуками ее пения. Она сдержанна, умышленно холодновата, даже не любит, когда мы часто лезем целоваться. Но в болезнь нашу

изливается ее любовь и жалость, тогда она не сдерживает себя и ласкает гораздо горячее и папы, и тети.

**Тетя** — ласкова, внимательна, всегда доступна, св[оя], детская, психология, всегда свой брат.



#### К ГЛАВЕ IV «РЕЛИГИЯ»

#### МОЕ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С «БОГОСЛОВИЕМ»<sup>1</sup>

1916.Х.17. Ночь

В церковном отношении я рос совершенным дичком. Меня никогда не водили в церковь, ни с кем я не говорил на темы религиозные, я не знал даже, как креститься. Втайне я этим всем очень интересовался. Я чувствовал, что есть целая область жизни, интересная, таинственная, охраняющая от страха. Но я не знал ее и не смел спросить о ней. Я не смел спросить о ней, приблизительно так же, как не смеет девушка спросить родителей о брачных отношениях. Но я украдкой подглядывал, что мог, и тайком старался применить свои наблюдения, опять-таки, как мог. Я видел, что люди как-то крестятся; но я не успевал подметить, или точнее, не смел «бесстыдно» вглядываться, крестятся ли одним пальцем, двумя, тремя или пятью и сжатыми в одну точку. Я колебался между двумя и пятью, тайком крестился на ночь, то так, то этак — крестился, натянув на голову одеяло и в почти темной спальне. Когда в Боржоме<sup>2</sup> я шел по улицам — к Андросовым, я крестился, боясь собак, и, снимая шапку, я взывал к Господу, Которого не знал, и мое детское сердце было полно страха, тоски и надежды на чудесную помощь. И в душе я тогда уже отлично знал, что Господь слышит меня и не оставит меня. Однажды тетя Юля предложила мне дать почитать свое Евангелие. Она достала из комода Св[ятую] Книгу. Но вид маленькой черненькой книжки испугал меня, и я, с еле удерживаемым желанием взять книгу из ее рук, отказался. Мне казалось, что взять ее и стыдно — мучительно стыдно — и страшно. Тетя ушла, оставив комод открытым. Я моментально подбежал к комоду, достал Евангелие и прочитал несколько стихов Ев[ангелия] от Матф[ея]. Родословие мне показа-

лось до того странным, что, когда тетя пришла, я, с натянутым смехом и испугом, стал ей говорить о прочитанном. Но тон мой показался ей несоответствующим предмету, и она взяла у меня Ев[ангелие] с замечанием, что читать — так читать как следует, а мне, видно, рано.

Но время шло, я не знал ни одной молитвы, не видал в глаза Св[ятое] Евангелие и никогда не причащался, — мало того, не знал, что причащаются. Между тем мне минуло 7 лет. Приближалось поступление в гимназию. Моя отдаленность от Церкви могла бы вызвать и неприятности. А м[ожет] б[ыть], родители и устыдились держать меня в таком отдалении, тем более, что пыл юношеского отрицания Церкви уже прошел. Как бы то ни было, но решено было меня сколько-нибудь подготовить к исповеди или, точнее, к возможному экзамену на исповеди и причастию. За это дело взялась тетя Юля; кажется, она же и настояла на необходимости сделать все это. И вот, помню, одно утро она подзывает меня к себе, когда мы были одни с ней в комнате, и общается, стараясь сначала подойти издалека, состоявшееся решение о занятиях со мною законом Божиим, а потом — и о причащении. Весть эта ошеломила меня. Я не знаю, был ли я более — рад или испуган; вероятно, последнее. Но заинтересован я был до крайности. Приблизительно с неделю или две учили мы с нею первые молитвы, заповеди, затем стали ходить в церковь — (это было в Батуме) — в Вел[иком] Посту. Наконец — причастились с нею. Помню, была давка, множество народа... Впервые покушал я просфору. До того раз, впрочем, мы с папой шли мимо церкви и встретились с местн[ым] священником. Папа с ним остановился поговорить, а батюшка из кармана дал мне 2 служебные просфоры. Я боялся взять их. Тогда папа взял, принес домой, но я не смел их (...) и они (...).



### ПРЕГРЕШЕНИЯ И НЕЛОВКОСТИ <sup>3</sup>

1921.VIII.7. Серг[иев] Пос[ад]

Некоторые детские прегрешения, м[ожет] б[ыть], движения злой воли, грубости моей, врезались особенно в сознание, равно как первые неловкости. Позднейшие грехи, по внешности гораздо более значительные, не так сохранились

в моей памяти, а то и вовсе исчезли из памяти, а эти — не только помнятся, но и до сих пор жгут мою совесть, и с тоскою взываю я ко Господу, ища очищения их. Несколько случаев:

«Жидовка» — на кв[артире] Айвазовых.

«Пряники» — у Андросовых (осуждал в присутствии подаривших эти пряники детей и смеялся над ними — преступная неделикатность).

Столкнул с лестницы Васеньку — своего двоюродн[ого] брата, бедного сиротку, и без того загнанного, когда мать лежала полумертвая в туберкулезе, — мы водили игры, тут я в азарте и обнаглел. А потом, видя мрачное осуждение папы, воспользовался случаем — (...) старш (...) и стал плакать и капризничать...

Обижал Люсю — в этом как-то мало каюсь.



Вильям Фрей<sup>4</sup> (Владимир Константинович Гейнс, \* 1834; ∞ 1868; † 5 ноября 1888 г. н. ст. в Лондоне).

О нем:

*Н. В. Рейнгадт.* Необыкновенная личность. Казань, 1889.

*М. Гершензон.* Русские Пропилеи. М., 1915. Изд. М. и С. Сабашниковых. Т. 1 (п. 3 р. 50 к.), XI, стр. 276 — 362: «Вильям Фрей». На стр. 278 библиография.

*А. И. Фаресов.* Семидесятники. СПб., 1905, стр. 304 — 323.



## К ГЛАВЕ V «ОСОБЕННОЕ»

1916.X.15

Все особенное, необыкновенное, таинственное, мне неведомое приковывало мою мысль и, вернее, мое воображение. Цари и царицы, а в особенности царевны, «принцессы» и «принцы» казались мне единственными людьми, достойными внимания. А еще более таинственными казались мне загадочные существа, о которых у нас в доме было не принято говорить, — почитавшиеся как бы неприличными

«глупостями»,— это невесты. Смерть и траур, опять-таки не допускавшиеся к обсуждению, влекли к себе. Соединение же всех этих таинственностей в одном лице казалось верхом изысканности, интересности и пленительности. Это был любимый сюжет моего искусства — принцесса-невеста, читающая письмо о смерти своего жениха. Я постоянно рисовал ее, с короной и фатой, с траурным письмом в руках. По щекам ее катились слезы не мельче голубиного яйца или волошского ореха...



**ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ  
КАВКАЗСКОГО МУЗЕЯ**

*1916.XII.6 — 7. Ночь. Серг[иев] Пос[ад]*

Сильно врезалось в мою память первое посещение Кавказского музея, хотя я не могу припомнить в точности, сколько лет было мне тогда. Кажется, что детей до 7-ми лет туда не пускают,— так гласит объявление. А мне тогда было именно столько лет, что не хватало, кажется, более года до 7-ми. Мне ясно помнится, как сторож при входе сопротивлялся пропуску меня, и лишь уговоры его и, вероятно, «на чай» сделали его более сговорчивым. Хорошо помню я также, что со мною была теть Юля и еще кто-то, но кто, не могу вспомнить; вероятно, теть Лиза. Помню и то, что прошли мы в Музей в одну из поездок в Тифлис из Батума.



**К ГЛАВЕ VI  
«НАУКА»**

*1917.II.27*

**МАТЕРИАЛЫ К МОИМ  
ВОСПОМИНАНИЯМ**

**Мои учителя:**

1) Сперва занимался с Юлей тетей и с мамой. Трудности занятий с мамой.

2) Потом — в Хапагяе — с Маргаритой, главным образом французским яз[ыком] по учебнику Марго.

3) Потом инспектор Батумского народного (4-хклассного) училища **Воробьев**. Он со мною, кроме обычных предметов, занимался **ботаникой**. Писал я при нем описания своих поездоков.

4) Потом, когда я занимался с Колей Орловым, в кв[артире] Орловских в инженерном доме, нас учил **Бурлюк**, акцизный чиновник. Mademoiselle — гувернантка Орловских. Сын Бурлюка — рисовал. Потом Бурлюк был переведен в Баку — тут процветало рисование.

Бурлюк был женат 2-й раз, и было два выводка детей. Семья была какая-то заброшенная, дегенеративная. Отец пил, пили, кажется, и сыновья. Один из них был моим товарищем — длинный, нескладный, лицо красное, в веснушках. Он жил своим миром, учился плохо. Был погимназически неразвит. Мне думается, что нашумевшие Бурлюки — футуристы — та самая семья, а Давид Д. Бурлюк — мой товарищ.

4') Два брата Михайловские. Под их руководством занимался я с Володей Худадовым, а иногда к нам присоединялся Вахтанг Кипиани.

5) В Тифлисе я занимался с **Барсуковым** (Андрей Николаевич? Родстве[нник] Семенниковых, двоюродн[ые] братья). Семенникова (Варвара Николаевна), родственница проф[ессора] Миллера в Москве.

Он был реалист, потом учился в Технологическом. Со мною предпринимал, по просьбе папы, длинные прогулки и занимался геологией и минералогией. От него я впервые услышал об истинах веры — убежденные и твердые ответы. Особенно поразил он меня рассказом о благодатном Иерусалимском огне.

Барсукову я многим обязан. Помню, как сейчас, его спокойствие, его выдержку и простоту, его редкую бородку и некоторую неуклюжесть в манерах.

Барсуков был родственником Семенниковых.

6) Но Барсуков реалист, он не знал латинского языка. Поэтому учил меня латинскому гимназист Михайловский, сперва один брат, а потом другой, родственники Барсукова. Я ходил заниматься латинским вместе с Володей Худадовым.

Смерть тети, тетя Юля † 1894 г. мая 20.

7) **Лункевич** Владимир Валерианович, довольно известный популяризатор естествознания, полунемец, полуармя-

нин. Он познакомил меня с химией. Ему принадлежит, между прочим, «Наука о жизни. Общедоступная физиология человека». Изд. Ф. Павленкова (220 стр. с 91 рис.), ц. 1 р. 1894, о которой было много одобрительных отзывов, напр[имер] в «Научн[ом] обзор[ении]», 1894, № 6, столб. 187—188.— Во время уроков со мною Лункевичу было предложено Павленковым заняться составлением популярной биологии. Тогда он отказался от уроков и уехал в Петербург, если не ошибаюсь. Но «Популярная биология» вышла менее удачной, чем «Физиология», и в ней найдены были важные ошибки.— Потом Лункевич уехал за границу, в Париж и еще где-то занимался биологией, возился с эмигрантами. По приезде в Тифлис я был однажды у него с В. Худаковым и видел на полке всего Ренана по фр[анцузски]; Лункевич дал мне «Vie de Jesus» <sup>1</sup>, и я частями проглядел эту книгу, но доволен ею отнюдь не остался. Это было в период моего увлечения сочинениями Толстого.

8) Бала(у?)гьян Самуил Агаевич, учитель в Сельскохозяйственной школе, армянин. Очень добрый, мягкий. Он учил меня, кроме предметов обязательных, химии. О нем я сохранил самые хорошие воспоминания. Посещал его на дому и после, он был какой-то вялый, больной, что ли.

9) Михаил Николаевич Городенский — он репетировал меня, когда я поступил в гимназию и сразу получил 2 перекламеновки. Лето в Коджорах. Поездка в Армению. Экскурсии. Физика.



Валя бегала за Мих[аилом] Никол[аевичем] Городенским и требовала: «Учитель, застегните панталонь».

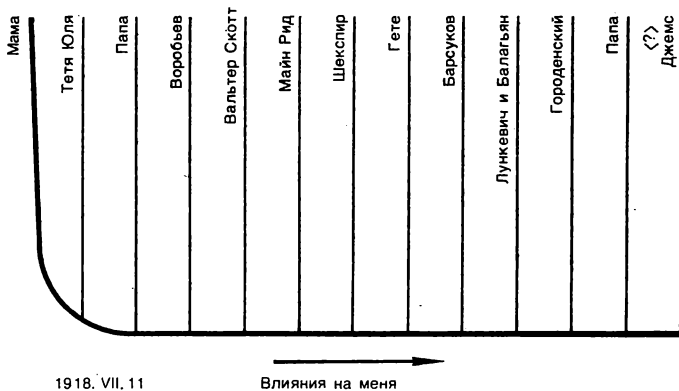


#### МОИ УЧИТЕЛЯ

- 1) Воробьев.
- 2) Бурлюк.
- 3) Барсуков.
- 4) Самуил Агаевич Балагьян.
- 5) Городенский.
- 6) Лункевич В.







### ЛЕТО 1892-го ГОДА

Лето 189[2]-го года я провел в имении тети Лизы, или, точнее, ее мужа Сергея Теймуразовича Мелик-Беглярова, которого мы звали Сергей дядя или даже Сергейдядя — в одно слово. Находится это имение в Джебаширском у[езде] Елизаветп[ольской] губернии и представляет собою обширную равнину по правому берегу реки Инчи́, окаймленную сходящимися гребнями невысоких гор. Почти в самом углу этого имения, на возвышенности, построен был владельцем имения — Сергеем дядею — дом, обнесенный каменной, почти замковой стеной с башенками по углам и наглухо запиравшимися воротами. Впрочем, все это было необходимо, равно как и злые собаки, для ограждения себя и безопасности от татар. Будущее (я разумею 1905 г[од]) показало, что все эти полувоенные сооружения оказались весьма полезными. Самый дом и стены строились по плану моего отца. Но когда мы жили там, он не был доступен. Сад. Водоем. Канавы. Огород. Двор. Собаки. Мои хождения. Сад — яблоки. Холера. Угощение. Саперы. Мои занятия. Маргарита. Рускер Сергея дяди.

(...)

5

Семья Флоренских уехала из Батуми в Тбилиси в 1893 — 5 гг. по поводу назначения начальником Кавказского округа путей сообщения — главный инженер Кавказа.



1) Папин товарищ Станислав Стаховский<sup>2</sup>, художник, и брат его химик в Шелководческом стане в Муштабе [?].

2) Мой товарищ Розенфельд (Каменев), известный впоследствии большевик<sup>3</sup>.



### Товарищ мой

Сережа (Сергей Николаевич) Френ. Брат его Володя, старше его (Владимир Никол[аевич]). Френ — инженер-техник, служил на Казанском вокзале в Москве. Он был внуком академика Френа.



## К ГЛАВЕ VII «ОБВАЛ»

### ПИСЬМО П. А. ФЛОРЕНСКОГО

Л. Н. ТОЛСТОМУ<sup>1</sup>

№ 21. 18  $\frac{22}{X}$  99. Тифл[ис]. Л. Н. Толстому

Лев Николаевич! Я прочел Ваши сочинения и пришел к заключению, что нельзя жить так, как я живу теперь. Я кончаю гимназию, и мне предстоит продолжение жизни на чужой счет; я думаю, что избежать этого можно только при исполнении Ваших советов; но, для того, чтобы применить их на практике, мне надо разрешить предварительно некоторые вопросы: можно ли пользоваться деньгами? Как добыть землю? Можно ли ее достать у правительства и каким образом? Каким образом удовлетворять умственные потребности? Откуда брать книги, журналы, если нельзя пользоваться деньгами или если физическим трудом можно только прокормиться? Может ли остаться время на умственный труд (самообразование)?

П. А. Флоренский.

Мой адрес<sup>2</sup>



1916.X.4. Серг[иев] Пос[ад] <sup>3</sup>

Вглядываюсь в себя и в свою жизнь. И я вижу, что не было у меня ни минуты, когда бы я чистосердечно и от души сказал, почувствовал или подумал: «отчасти», «отчасти так, отчасти этак». Но всегда было всецело «всецело так», или «всецело этак», или «всецело так и всецело этак, зараз». Слово «отчасти» я не понимал и не понимаю... Моя палитра внутренней жизни никогда не имела красок смешанных, а в особенности серых. Каждое душевное движение всегда бывало определенным. Но при этом в самой глубине души всегда же стояло ограничение, восполнение. И вот в самой страстной определенности, в самом одностороннем напоре у меня никогда не было страстности, потому что в глубине души делалась объективная оценка. Но эта-то объективность придавала душевному <sup>4</sup>



1916.X.4. Серг[иев] Пос[ад] <sup>5</sup>

Вглядываюсь в свою жизнь — и вижу, что всегда я шел до конца и в <sup>6</sup>



### КРИЗИС

1920.VII.16

Пока перед глазами было много исключений, дышалось дов[ольно] свободно, ум волновался и кипел. Но по мере того как область законов ширилась в сознании — делалось душно, нечем становилось дышать. Спирало дыхание. Делалось скучно и тоскливо в бескр[айних] ледяных пространствах, охваченных одними и теми же законами. Меня давило единообразие законов природы, повсюдное одно и то же. Развивался сплин, (...), а потому и (...): ибо вся жизнь моя состояла в науке. Но это отнюдь не было собственно научн[ым] убеждением, а скорее эмоциональным состоянием подавленности, раздавленности обществен[ным] внушением, общественной верою в единообразие природы. Каждый шаг в область научного мировосприятия обнаруживал необыкновенные явления, их делалось все больше. Это я отлично понимал. Но вместе с тем возрастало и давление, внушение, гипноз со стороны книг и окружающих, что все объяснимо. И я, думая на сам[ом] деле обратно, воспринял

внушение, да, внушение. Постепенно укоренившись, оно стало теснить и томить мою душу. Но цепко вцепилось. Произошла борьба за любезную мне непонятность, кризис. Статья Карпентера... попала на уже вполне подготовленную почву. Сюда еще присоединилось влияние кантовского и миллевского феноменализма. Я не усвоил их с положительной стороны, но воспользовался как средством полемики, чтобы скинуть ненавистное иго.

С

Генеалогические исследования  
Из соловецких писем  
Завещание

---

# ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

## Генеалогия. Автобиография

Нет, я люблю родню; но — в за-  
сушенном виде, т[ак] сказ[ать], гене-  
алогический препарат родни, когда  
она вмещена в родословное дерево.

Не моя вина, что не по моему  
вкусу вообще всякое сырье.

1923. II. 12: (?)

Неделя Православ[ия]

## ФЛОРЕНСКИЕ

### «АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА П. А. ФЛОРЕНСКОГО»

1917. XI. 6. Серг[иев] Пос[ад]

Вот итоги измерений моей головы, сделанных Е. М. Че-  
пурковским. Длина головы [...] <sup>1</sup>, ширина [...] <sup>2</sup>, индекс  
определяется как 77,7%. Удивившись малой его величине,  
Е. М. Чепурковский принял для длины и ширины головы  
соответственные числа 189 и 148 и тогда получил индекс  
78,3%. Низкий индекс, средиземноморской расы. Иберий-  
цы, болгары и т. п. имеют подобные же индексы. Население  
Европы — иберийской расы; центр длинноголовых — Аф-  
рика и Полинезия, а короткоголовых — Азия, Гималаи.  
Эта раса — длинноголовых — найдена в долине Крома-  
ньона во Франции. Если бы было 100 человек с подобным  
индексом, то можно было бы сказать, наверное, что вы  
представитель иберийской расы, но от одного черепа за-  
ключение рискованно. Указатель очень низкий: субдолихо-  
цефал, почти долихоцефал. Пеласии принадлежат к этой  
расе. Где долихоцефал — там дольмены.

### СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ МОЙ

(ПО ТАБЛИЦАМ БЕРТИЛЛЬОНА  
И КНИГЕ РЕЙССА)

**Ухо.** Противокозелок 5, слегка выступающий.

**Нос** — довольно большой, выпуклость небольшая,  
9 или 10.

Выступ надбровных дуг 4 или 5.

Наклон лба 3 — 4, довольно значительный.

Высота лба 5, довольно большая.

Способ прикрепления волос — **круглый**.

Ширина (frontale minimum) 106 mm, n°2.

**Нос:** глубина основания носа 3 или 4 (может быть, очки сильно прижали основание носа).

Спинка носа — 10. Основание носа слегка опущено, 5.

Высота — большая, 7.

Выступ большой, 6.

Ширина — 6.

**Губы.** Особенности: выступание верхней губы. (Первое, что бросается в глаза: нос и выступание верхней губы.)

**Подбородок.** Небольшая высота и впадина, и складка, резко выраженная над подбородком.

**Общий контур фаса** круглый, не характерный.

**Ухо.** Угол между двумя бордюрами, Дарвинов уголок.

Начальный бордюр выражен хорошо и нормально, передний тоже. Угол между бордюрами — в [...] <sup>3</sup>. Серезка нормальная. Прикрепление сливное (?). Facette закрыта. Начальный бордюр 5. Верхний бордюр нормальный. Задний бордюр нормальный. Степень открытия ямки — открыта. Особенности: расширение около Дарвинова бугорка. Еще особенность — вырезка перед ним — между задним и передним бордюрами. Размер ушей — [...] <sup>4</sup>, контур серезки 3 — 4. Степень прикрепления очень хорошая, 1 — 2. Ничем не прорезана, 4 — 5. Высота серезки небольшая, 3. Особенность: наклон противокозелка — 4. Профиль — 5. Выверт наружу очень слабый, прямой, не выворочен. Объем противокозелка довольно порядочный — 5. Особенности нет. Внутренняя складка — 4. Общая форма уха — овальная; оттопыривания нет.

**Брови** — особенностей нет. Межглазное пространство среднее.

Морщин нет.

**Характерно:** Нос, его форма, n° 10, большое выступание его, выступание вместе с ним верхней губы, маленький подбородок. По виду надо считать средиземноморской расы: греки, отчасти болгары. **Несомненно, грек.**

На отца не похож, на мать очень.

**Лоб** похож. Стремление верхней части [?].

Похож на Ремсо тетю.

Отцовского ничего нет.

У отца Дарвинова бугорка нет, ухо иное.

Я по материнской линии.

У матери высота сережки феноменаль[ных] размеров, 7°.

Большой начальный бордюр и очень маленький задний.

Очень замечат[ельная] (...) большая сережка и прикреп-  
ленная.

Характерен малый задний бордюр и хорошо вырезанный.

Нос того же п°, что и мой.

Лоб меньше, чем лоб у меня [?].

В фас я в мать, а по величине лоб в отца у меня.

Отец явно видно, что другой тип [?].

От отца у меня выступание нижней складки, мочка  
сережки.

Отец был широкоголовый, индекс очень [?], 80% —  
83%, из Костромской области.

У Шуры лоб совершенно в отцовский, способ прикре-  
пления волос.

Лиля похожа очень, мама тоже — на меня отчасти  
Люся. Губы у меня в отца.

Андрей похож на меня.

Валя похожа на меня.

Нос у сестер не похож ни на кого. Он очень мал по  
длине, вероятно, это в тетю Юлю и в деда Ивана. Все  
в мать.

Тип головы у меня, несомненно, не армянский.



## О ФАМИЛИИ НАШЕГО РОДА

*Сергиев Посад*  
1915.XI.7 — 8. Ночь  
I  
1915.XI.8. Вечер

### ФЛОРИНСКИЕ И ФЛОРЕНСКИЕ

1. Ближайшими изводами наименования нашего рода (рода, нас занимающего) следует считать фамилии **Флоринских** и **Флоренских**, причем первый извод — более древний. **Флоренские**, несомненно, получились (пока я говорю лишь о самой фамилии) из **Флоринских**, и доказать это нетрудно уже по одному тому, что такое превращение совершалось чуть не на наших глазах, в конце 1-й половины XIX-го века, и легко может быть установлено документально. Разные ветви меняли свою фамилию в разное время, и, быть может, древность фамилии **Флоренских** может быть признаком давности жительства в Великороссии.



Вот несколько примеров превращения и в е в занимающей нас фамилии.

а) В «Ведомости об учениках Переславского Духовных Уездного и Приходского Училищ за 1836-й год» \* доставленные сведения об учениках «низшего отделения» подлинаны, на втором месте, так:

«Греческого языка учитель священник Иван Флоренский».

Между тем во Владимирской Семинарии, т. е. еще в 1812 году, он же именовался официально **Флоринским**: «Иван Михайлович Флоринский, по выходе в 1812 г. из Семинарии, был учителем Переславского духовного училища (14 — 43 г.) и смотрителем (43 — 44 г.); в монашестве Иннокентий» \*\*.

б) В официальных сведениях Владимирской Семинарии родные братья **Федор** и **Николай Никитычи** именуются по-разному: первый — **Флоренским**, а второй — **Флоринским**: «Федор Никитыч Флоренский, вышел из Семинарии в 1802 г., из богословского отделения в светское звание» \*\*\*; «Николай Никитыч Флоринский, вышел из Семинарии в 1808 г., из богословского отделения в светское звание» \*\*\*\*, но далее оба они, а не только Федор Никитыч, носят фамилию Флоренских. От Николая Никитыча именно произошел род петроградских Флоренских \*\*\*\*\*.

в) Дети священника Гороховской округи, села Мыту Казанской церкви Алексея Нигрицкого Иван, Николай и Федор называются в «Ведомости об учениках Владимирской Семинарии за 1836 год» разными изводами нашей фамилии: первый и последний — Флоринским, а второй — Флоренским, и это в одной и той же официальной бумаге. До сих пор я не мог установить, отличие их фамилий от отцовской произошло ли потому, что им была возвращена исконная фамилия семьи, произвольно измененная у отца их, или им дали новые фамилии по подражанию другим Флоринским и Флоренским. В «Ведомости» об учениках «Второго класса философии» под № 87-м значится Иван

---

\* Архив Внешнего Правления Императорской Московской Духовной Академии. Хранится при канцелярии Академии.

\*\* Н. Малицкий. История Владимирской Духовной Семинарии. Выпуск III. М., 1902 г., стр. 305.

\*\*\* id. стр. 305.

\*\*\*\* id. стр. 306.

\*\*\*\*\* Сведения из домашнего архива Екатерины Дмитриевны Флоренской; а также см. ее письмо ко мне.

Флоринский, 19-ти лет, поступивший в Семинарию в сентябре 1832-го года (т. е. родился в 1813 г.), а в «Ведомости» об учениках «Второго класса словесности» под № 49-м стоит Николай Флоренский, 17-ти лет, поступивший в Семинарию в сентябре 1834-го года (т. е. родившийся в 1817 г.) \*. Итак, родившись на 4 года позже своего брата, он уже имеет фамилию с Е, а не И. Далес, в «Ведомости» учеников «Второго класса словесности» значится под № 73-м сын того же священника Алексея Нигрицкого — Федор Флоринский, 18-ти лет, поступивший в Семинарию в сентябре 1834 года (т. е. родившийся в 1816 г.).

г) В той же самой «Ведомости», но об учениках «Третьего класса словесности», под № 36 значится Иван Флоренский, Покровской округи села Флориц Введенской церкви священника Дмитрия Флоринского сын, 20-ти лет, поступивший в Семинарию «1832 сент. 1 д.», т. е. родившийся в 1812 г. Итак, отец и сын имеют различные изводы своей фамилии.

д) Подобный же случай находим в «Ведомости об учениках Владимирского Духовного Уездного Училища 1-го Высшего отделения за 1836-й год», под № 54 тут значится воспитанник Павел Флоренский, Покровской округи, священника Петра Флоринского сын, 17-ти лет, поступивший в 1830 г. (т. е. родившийся в 1813 г.) \*\*.

Итак, мы убедились, что фамилия Флоренского оказывалась замещающей фамилию Флоринского и притом всегда более позднюю. Младший брат, сын в сравнении с отцом, наконец, одно и то же лицо в последующие годы своей жизни нередко заменяло свою фамилию Флоринский на Флоренского.

2. Почему, собственно, происходила такая замена? Чем объясняется тенденция фамилии Флоринские превращаться в фамилию Флоренские?

а) Прежде всего, мне думается, требования эвфонии. Флоренский звучит полновочнее и фонетически устойчивее, чем Флоринский. При неустойчивости фамилии этот переход оправдывался бы и этим.

б) Но, кроме того, Флоренский для уха духовной среды, воспитанной на латыни, звучало понятнее этимологически, явно производясь от причастия *florens* и, кроме того, ас-

---

\* Архив Внешнего Правления Императорской Московской Духовной Академии.

\*\* Архив Внешнего Правления Императорской Московской Духовной Академии.

социруя с названием города Флоренции \*, прилагательное от какого было в старину Флоренский, а не Флорентийский. Так, например, в § 3 «Академической Привилегии» мы читаем о Флоренском соборе \*\* и знаем древнерусскую повесть XVIII века, Петровской эпохи, о земле Флоренской: «Гистория о российском матросе Василии Кариотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли» \*\*\*.

На сближение фамилии Флоринских с глаголом *florere* указывает, между прочим, острословный — в числе других — отзыв ректора Троицкой Лаврской Семинарии Илариона на списке учеников, поданном в 1766 г. архимандриту Платону, — об ученике Флоринском. А именно, на рекомендацию Флоринского учителем: «*bonae spei et vitae egregiae*» <sup>1</sup> ректор Иларион, играя с его фамилией, написал: «*ni in posterum florebit*» \*\*\*\* <sup>2</sup>.

Итак, фамилия Флоренский есть морфологическая ассимиляция фамилии более древней Флоринский. Это, по терминологии Я. Карловича, аррадикация, т. е. приспособление слова к группе слов известным определенным корнем или, если считать эту ассимиляцию бессознательной или полусознательной, т. е. сблизить ее с народной этимологией, то это будет, по терминологии проф. Крушевского, лексическая ассимиляция \*\*\*\*\*.

Весьма вероятно, однако, что этому превращению фамилии способствовали, кроме причин, лежащих в свойствах языка, также и причины общественного характера.

---

\* Город Флоренск (= Флоренция). Соловьев. История России. IV, 352, 353, 393; V, 456; XII, 252, 254, 255.

\*\* Академическая Привилегия, § 3:

«Также те тии (греки) и в России да будут крепче в вере свидетельствованы, дабы кто из них также не соделах, яко же прежде еретик Исидор, Российский митрополит, иже от Царградского Патриарха и от прочих с святительством достоверным и с велим похвалением в Москве на митрополию приеха, а послежде на Флоренском соборе с напою римским согласен явися». (Сменцовский. Братья Лихуды, стр. 35 — 36.) Но, по мнению Каптерева, эта поправка внесена Медведевым в 1665 г., когда он подносил Привилегию на утверждение царевны Софьи («О гр[еко]-лат[инской] школ[е]», стр. 665 — 666).

(А. Галкин. Академия в Москве в XVII столетии. М., 1913, стр. 58.)

\*\*\* Б. И. Дунаев. Библиотека старорусских повестей, I. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. — Выражение «земля Флоренская» тут встречается неоднократно.

\*\*\*\* С. (К.) Смирнов. История Троицкой Семинарии. М., 1867, стр. 130 — 131, прим. (р).

\*\*\*\*\* Энциклопедический Слов[арь] Брокгауза и Эфрона, 81, стр. 174 — 175. С. Б(улич). — Народная этимология.

А именно, в первой половине XIX-го века, к которой относится превращение фамилии Флоринских во Флоренских, малороссийское и западнорусское влияние уже ослабело и, следовательно, иметь западнорусскую фамилию, вероятно, стало не очень привлекательным. Осевшим во Владимирской и Костромской губерниях Флоринским, вероятно, стала казаться уже внутренне чуждой фамилия, напоминавшая им о их западнорусском происхождении. Идя навстречу требованиям языка, это отчуждение от своей фамилии, после потери «шляхетского» самосознания, сделало движущей силой в процессе превращения фамилии. Фамилия **Флоренский**, подходя по типу к искусственным семинарским фамилиям, была демократичнее и сближала с духовной великорусской средою. Тогда-то и началось это изменение фамилии, в более древних по переселению ветвях — раннейшее, в более новых — позднейшее. А так как наша ветвь забралась дальше всех, в Борисоглебское возле Юрьевца Костромской губернии, т. е. успела продвинуться далее всего и была, вероятно, передовою волною рода, или одною из передовых, то, надо думать, что изменение фамилии у нее произошло сравнительно рано.

## II

### ДРУГИЕ ИЗВОДЫ ФАМИЛИИ

Наиболее содержательным из других изводов нашей фамилии мне представляется извод: **Флиоринские**. Это сочетание «лио» есть попытка выразить мягкое западное l, i, в отличие от грубого и твердого f, l. Вот почему чаще всего встречается это написание фамилии в документах западного происхождения, где живое произношение мягкого «л» настоятельно требовало транскрипции с «i».

Известный архимандрит Авраамий Флоринский, как его стали звать в Великороссии, будучи приором Свято-Духовского Виленского монастыря, обыкновенно подписывался: **Авраам Флиоринский** и **Авраам Флиоринский**, хотя имеются его же подписи и без этого «i»: **Авраам Флоринский**. С другой стороны, лица начальствующие называли его в своих донесениях то Авраамом Флиоринским, то Авраамом Флоринским.

Так: а) в прошении из Вильны от 1758 года 9 ноября на имя Св. Синода, с жалобою на бывшего старшего того же

монастыря Феофана Леонтовича \*, подпись собственноручная значится такая: «Вашего святейшества всенижайший раб и послушник Виленского монастыря старший иеромонах Авраам Флиоринский. 1758 года ноября 9 в Вильне».

б) В доношении того же лица Св. Синоду из Риги, 1759 года 23 марта, о том, что Виленский бискуп запрещает строить церковь в Друйском монастыре, с просьбою о защите и покровительстве, собственноручная подпись значится такая: «Вашего святейшества раб и всенижайший послушник Виленского монастыря игумен, иеромонах Авраам Флиоринский. В Риге 1759 года марта 23 д.» \*\*.

в) Далее, то же лицо дважды пишет по тому же делу о церкви в Друе к чрезвычайному русскому послу в Варшаве Ф. М. Воейкову с просьбою о ходатайстве пред польским правительством, 27-го марта и 26 апреля 1759 года, и оба раза подписывается «Флиоринский»: «Вашего высокопревосходительства, всемилостивого государя всепокорнейший слуга и недостойный богомолец, Виленского благочестивого монастыря старший Авраам Флиоринский. 3 Риги 1759 года марта 27 дня» \*\*\* и «(то же самое)... благочестивого Виленского монастыря старший Авраам Флиоринский с. р. (т. е. «собственной рукою») 1759 года апреля 26 д. Вильна» \*\*\*\*.

г) В доношении того же лица Св. Синоду об израсходовании денег, отпущенных на монастырь, из Вильны 1759 г. 10 августа собственноручная подпись такова: «Вашего Святейшества всепреданнейший раб и послушник благочестивого Виленского монастыря старший иеромонах Авраам Флиоринский з братиею. 3 Вильны августа 10 д. 1759 года» \*\*\*\*\*.

д) В доношении того же лица от 10 августа 1759 года Св. Синоду о состоянии Виленского монастыря и подчиненных ему монастырей «Виленского старшинства» стоит подпись:

---

\* Архив Св. Синода 1756 года (NB), д. № 355 (Памятники православия и русской народности в Западной России в XVII — XVIII вв., т. I. Акты по истории заграничных монастырей Киевской епархии XVII — XVIII вв., ч. II. Издание Киевской Духовной Академии под редакцией профессора священника Ф. Титова. Киев, 1905 (Библиотека] МДА. 148,362), CCCCLXVIII, стр. 1072 (далее буду цит.: Титов, ПЗР).

\*\* Архив Св. Синода 1759 года, д. № 185 (Титов, ПЗР, т. I, ч. II, CCCCLXXVIII, стр. 1098).

\*\*\* Московский Главный Архив Министерства Иностранцев Дел, Варшавская миссия, IV, 6 лев. 3 (Титов, ПЗР, т. I, ч. II, CCCCLXXVIII, стр. 1099).

\*\*\*\* id., (CCCCLXXVIII, II, стр. 1100).

\*\*\*\*\* id., т. I, ч. III, XXVIII, стр. 1140. Архив Св. Синода, 1759 г., д. № 185.

«Вашего святейшества всепреданнейший раб и послушник благочестиваго Виленскаго монастыря старший иеромонах Авраам Флиоринский з братиею м. р. (т. е. «тапи ргоріо»<sup>3</sup>). З Вильны августа 10 д. 1759 г.». Далее идет реестр монастырей, под которым опять, среди подписей, на первом месте стоит: «благочестиваго Виленскаго монастыря старший иеромонах Авраам Флиоринский» \*.

е) В Прощении того же лица русскому Чрезвычайному послу в Варшаве Ф. М. Воейкову об исходатайствовании королевского привилея на освобождение каменных домов монастыря от постоев от 19 декабря 1759 года подпись опять значитса такая: «Вашего высокопревосходительства, всемилостиваго государя всепреданнейший слуга и последний богомолец Виленскаго грекороссийскаго монастыря старший Авраам з братиею 1759 года декабря 19 дня» (без фамилии) \*\*.

**Флиоринским** же называет его и начальство.

Так: а) <sup>4</sup>



*«ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО  
В. В. РОЗАНОВУ 10 АВГУСТА 1909 г.»*

*1909.VIII.10. Сергиевский Посад.*

(...)

Раз Вы высказываете интерес ко мне, то, б[ыть] м[ожет], Вам покажется не лишним узнать кое-что о «корнях» моих.

Моя антиномичность, б[ыть] м[ожет], имеет отчасти органический характер по самому происхождению моему. Со стороны отца предки мои — чистейшие русские, из поповичей, костромичи (мужская линия); по женской же линии со стороны отца я — москвич, и бабушка моя была правнучкою какого-то из московских вельмож — «естественною». Но, во всяком случае, со стороны матери отца я получил московские традиции. Насколько мне известно, семья была «с прошлым» (в хорошем смысле), круга выше среднего: дочери воспитывались в аристократических институтах, а сыновья слыли блестящими кавалерами. Костромская же

\* id., т. I. ч. III, XXIV, стр. 1141, 1144. Архив. Св. Синода (—) 1759 года, д. 185.

\*\* Московский Главный Архив Министерства Иностранных Дел, Варшавская миссия, IV, 6 лев. 3 (Титов. ПЗР, т. I, ч. III, XXVIX, стр. 1153).

кровь моя приспособлена к работе и выдержке. Прадед (священник)<sup>1</sup> был очень беден; вероятно, так же было и в прошлых поколениях. Но, кажется, в этой линии (Флоренские) всегда поддерживалась любовь к книге. Один из прадедов (по боков[ой] линии) был довольно извест[ым] проповедником (при Елизавете; он говорил нашушевшую проповедь на день восшествия Елизаветы), один из предков был профессором в Московск[ой] Духовн[ой] Академии. Дед (воен[ный] врач) был очень широко образован и уходил в научн[ые] интересы (или, б[ыть] м[ожет],— библиофильские,— не знаю). У меня хранится его записная книжка, когда он был еще студентом. Тут содержится выписка из книг и журналов, и подбор их показывает богатство интеллектуальной жизни. Кстати: дед был семинарист. Мне рассказывали про него, что он учился столь блестяще, что Митр[ополит] Филарет, будто бы, очень просил его идти в Академию и принять монашество, предсказывая, что он может стать митрополитом; но юноша ушел в университет и проучился впроголодь. Со стороны матери во мне течет кровь хеттеев, потому что армяне имеют в себе довольно большой % крови фригийских хеттеев. **Фригия**, т. е. классическое место культов Кибелы и др. тому подобных богинь. Но род моей матери, с мужской стороны,— не чисто армянский. Семейное предание (я мало знаю его, т[ак] к[ак] мать моя, своим выходом замуж за русского, и притом в те далекие времена, почти порвала со всеми родными,— кроме сестер, и сама плохо знает семейные предания) говорит, что род Сапаровых выходец откуда-то с юга; кажется — из Африки. Лично я склоняюсь к тому же, а именно к Карфагену или какой иной пунической колонии. Дело в том, что самая фамилия Сапаровы или, точнее Сарпаровы имеет в основе своей семитский корень<sup>2</sup>. Saphar [...] \* значит «писал, написал». «Софер» и др[угие] слова того же корня [...] Вам, конечно, известны. «Сапаровы» значит по-нашему «Писателиевы», или «Писцовы». Так вот эти-то самые «Писцовы», или «Писаревы», или «Писателиевы», имеют в фамильном гербе (сохранилось древнее фамильное серебряное кольцо с геммою) Пегаса, а Пегас — карфагенский герб.

Конечно, это все догадки. Но если бы их и вовсе не было, то я смело мог бы сказать, что во мне **костромская**

---

\* В квадратных скобках здесь опущено написание на древнееврейском языке. (Примеч. составителей.)

кровь подмешана африканскою, ибо я чувствую ее в себе, хотя часто и стараюсь забыть о том.

Вот, дорогой Василий Васильевич, моя антиномия Костромы и Карфагена и колебание: между сидением под обципанною березою и бешеной скачкою в знойной пустыне на арабском коне.



«ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО  
В. В. РОЗАНОВУ 15 НОЯБРЯ 1909 г.»

1909. XI. 15. Сергиевский Посад. Воскресенье, 9 ч. 15 м. вечера  
(...)

Вы представить себе не можете, дорогой Василий Васильевич, сколько невероятных, почти нечеловеческих усилий и любви папа затратил на то, чтобы создать настоящую, крепкую, неразрывную семью. Но, уже при жизни его, все начало итти прахом, рассыпаться, развеиваться. Нельзя пожаловаться на каждого члена семьи врозь. Нельзя даже сказать, чтобы не было любви взаимной. И... почему-то «не клеится» семья, да и только, разлезается, рассыпается, хотя все от того чувствуют себя несчастными, хотя все как-то совестятся памяти отца. Но ужас в том, что это разложение семьи ничего не дает хорошего и для отдельных ее членов. Все страдают, все мучаются, а м[ожет] б[ыть], и плачут.

Однако какой-то туман, какой-то черный флер, словно облако смерти, застит всех друг от друга. Слово откровенности не говорится, ласка замерзает, смех обрывается, даже письмо — и то не пишется.

Словно рок какой тяготеет надо всем родом. Так же было, несмотря на всю жизнь лелеемые мечты о семье, с дедом, так было с прадедом. Иногда мне кажется, что этот рок — Божье наказание и вразумление — за то, что отступил род от священнослужения, что это — ревность Божия, и «трагедия рока» не прекратится, доколе не будет искупления, доколе род, в лице хотя бы кого-ниб[удь], не вернется к своим исконным, костромским обязанностям, к своему призванию.





1910.V.28. Сергиевский Посад  
(...)

### Ночью

Рок навис над нашим родом. И если в нас видят что-то своеобразное, то, правильнее всего, не есть ли это не более как обреченность. На молитве порою я знаю, откуда этот рок и для чего он. И решишь что-нибудь. А потом снова вовлекаешься в мирской водоворот. Роковое — то, что все желанное, все дорогое оказывается недостижимым, хотя считаешь его хорошим; и все считающееся хорошим, но о чем не думаешь, чего не ищешь, — все это «само плывет в руки». Если буду жить, то когда-нибудь я расскажу об атмосфере таинственных вмешательств чего-то в свою жизнь, о необыкновенных случаях, ставших у меня вследствие частоты своей обыкновенными. Но посмотрите на жизнь отца, деда. Дед мой, Андрей, был сын священника <sup>1</sup>. Он, как мне рассказывала одна старлица, подруга первой его жены и сестра — второй, блестяще окончил семинарию и был послан в Академию, но тут задумал, по любви к науке, уйти в Военно-медицинскую Академию. Сам Митропол[олит] Моск[овский] Филарет уговаривал его остаться и будто бы пророчил, что если примет монашество, то будет митрополитом. Но дед все же пошел по своему пути, на нищету и разрыв с отцом.

Мне порою и является мысль, что в этом оставлении семейного священства ради науки — *πρωτοῦ ψευδος* <sup>2</sup> всего рода и что, пока мы не вернемся к священству, Бог будет гнать и рассеивать все, самые лучшие, попытки. Дед был глубоко не удовлетворен жизнью. Два желания были у него: создать прочную, дружескую, «вековечную» семью и иметь свой клочок земли, чтобы не жить в городе. Но любимая им жена, бабушка моя, умерла молодою, а вторая жена, мачеха отца, оказалась мачехою из сказок. Одним словом, семья не удалась и рассыпалась хуже, чем рассыпаются семьи без «идеальных» основ. Сам же дед умер от холеры, леча холерных больных.

Отец мой мечтал всю жизнь о том же — об идеальной семье и о жизни вне города, на своем клочке земли. И все не удалось, а умер он опять при исполнении своих общественных обязанностей — именно от этого исполнения.

Обо мне, «представителе рода» (если Вы признаете право первородства), говорить нечего. Вы все знаете. Но не могу не сказать, что жизнь вне города и дружба, в семье ли, иначе ли, — одним словом, отношения интимные до конца, составляют и мою мечту. Только теперь я уже узнал, что этому не бывать, и мне хотелось бы только умереть не от своих обязанностей профессора, а от чего-либо иного, чтобы хоть тут преодолеть судьбу.



«ПИСЬМО СВЯЩЕННИКА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО  
В. В. РОЗАНОВУ 26 — 30 ОКТЯБРЯ 1915 г.»

1915.Х.26. Серг[иев] Пос[ад]

Вот, дорогой Василий Васильевич, наше сходство глубочайшее, и наше расхождение, тоже глубочайшее. Наше сходство: это острая, до боли, любовь к конкретному, к сочному и, скажу определенно, к **корню** — к корню личности, истории, бытия, знания. Думается, что эта любовь — костромская, ибо нет во всей России, а м[ожет] б[ыть], и на земном шаре, никого более **коренного** по вкусам, по укладу, по организации души, чем костромичи, особенно заволжского района. И отсюда — органическая же нелюбовь ко всему, что бескоренно, что корни подъедает, что хочет расти не на корне, а «само по себе». Но тут-то и расхождение. Чувствуя себя в литературе, «как дома», Вы говорите все, что блеснет в душе; а я не **хочу** чувствовать себя дома нигде, кроме родной, **темной** колыбели-могилы в родимой земле, и свою боль и свою радость, в наибольших их точках, скажу лишь Матери земле. Мне думается, что это тяготение к лону — тоже костромское: костромичи скрытны и души своей не показывают.

Вы говорите правду; однако не всякую правду должно говорить. Убеждение противное — это и есть то «чернышевско-писаревское» убеждение, которые под титулом «гласности» разрушает все коренное, все дорогое, все мирное, которое всякую неправду, местную и случайную, спешит «ввозвести в перл создания» и сквозь волчьих слезы хихикает над загрязнением **мира**, ставшего теперь уже международной пошлостью. Все твердят о хамстве, однако не замечая, что хамство — не в личном грехе, каков бы он ни был, а в бесстыдном обнажении наготы отца. И современная литература, начиная с Гоголя, почти вся насквозь — хам-

ство, даже тогда, когда она говорит самую подлинную правду. Но, позвольте, я просто не хочу знать всякие гадости, которые мне предупредительно подносят. Я не хочу копать в них, разбираться, точно ли изложены факты или неточно, кто прав и кто виноват. Никто не ставил меня судить и разбирать и — скажу цинично — я наконец не получаю за эту грязную работу жалования. Пусть ее выполняют те, кто обязаны, — сыскная полиция, следователи, прокуроры и т. п., одним словом, люди, взявшиеся за это дело. А я, зная, что это дело на их обязанности, буду заниматься своими обязанностями, которых у меня столько, что и 1/100 я не могу, не имею ни времени, ни сил, выполнить добросовестно. Вообще я хочу сидеть в своем ложе в черной земле и делать то, что мне дано — Богом, Родиной, Царем, обществом (однако оно отнюдь не сводится к двум десяткам адвокатов и литераторов). Все это слишком просто, и не стоило бы об этом говорить, если бы со всех сторон не старались вытянуть всякого сидящего на своем месте из его логовища и не запутывали бы его в делах, его ничуть не касающихся. Надо же наконец отрешиться нашей интеллигенции от сознания провиденциальных обязанностей и твердо сказать себе, что мир и судьба истории идут и будут идти вовсе не их «декларациями», а по таинственным законам, ведомые Рукою Божией.

Итак, я не хочу говорить очень много, и думаю, что вовсе не все, что можешь сказать, должно быть сказано, равно как и не все, что можешь украсть, должно быть украдено. Конечно, и Вы думаете, в совести своей, не иначе. Но вот, тут *fatum*<sup>1</sup> литератора; не правда нужна, в конце концов, а темы, ибо, попавши в русло стремнины словесной, надо течь. Понимаю положение, понимаю безвыходность, потому не осуждаю, а тоскую о Вас.

Великие задатки, великая пред Богом ответственность, самые крупные дарования 2-й половины XIX в., в России и, вероятно, в мире, и большая часть их, ужасная часть утекла... Ну, не скажу совсем бесполезно; но Вам ли тратьаться на эту пустую работу, когда пред Вами стояли задачи огромные. Однако и это еще ничего. Не устроена и собственная жизнь. И... даже денег не нажито. Ради чего же такой труд, такое беспокойное движение... Почему же эти дарования утеряны для благообразия Родины? — До селе это я отвечаю Вам. А теперь о более мирном.

Очевидно, мой *fatum* — ничуть не литературный. Я копаюсь, копаюсь, можно сказать, в вещах, которые никогда

не будут достоянием печати и самое большое будут сообщены друзьям. Копаюсь в роде своем. Собираю имена предков, устанавливаю соотношение ветвей рода, с любовью вглядываюсь в то немногое, что можно узнать о каждом члене в отдельности; это стоит больших усилий, непрерывной переписки, перелистывания десятков томов и папок, расспросов, поездок даже. Найти какой-нибудь год или имя — целое открытие; получить документ или выписку — большая радость. Работа предостойт мне еще на несколько лет. Но «почитание родителей» должно выражаться конкретно прежде всего в стремлении узнать их. У меня лично пестрота невероятная, начиная от мещан и до графов Разумовских, бывших почти на престоле, от бедных дьячков и до знаменитого епископа, от забытых судьбою сирот и до владетельных царьков. Тут такая пестрота, что разобраться во всем этом надо немало времени. Однако костромские дьячки одни только всецело привлекают мое внимание, и сердцем я именно с ними.

1915.X.30

Вот, письмо пролежало. Спешу отправить его, как оно есть. Господь да охранит Вас. Приветствую Варв[ару] Дм[итриевну] и всех Ваших.

*Ваш свящ[енник] Павел Флоренский.*



1915.XII.5 Сер[геев] Пос[ад]

### НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ФЛОРИНСКИХ И ФЛОРЕНСКИХ

I. Умели обращать внимание в молодости на замеч[ательных] людей и дружить с людьми выдающимися, так что многие из Фл[оренских] должны рассматриваться парно с крупными людьми:

- 1) свящ[енник] Алексей Петрович Флоренский — с В. В. Болотовым,
- 2) прот[оиерей] Николай Иванович Флоренский — с гр. М. М. Сперанским,
- 3) Архим[андрит] Кирилл Флоринский — с Гр. С. Сковородою и с Разумовским.
- 4) Свящ[енник] Петр Флоренский — с прот[оиереем] Митинским.

II. **Религиозность, уклон к мистицизму, консерватизм:**  
Кирилл оба, Авраамий, Ник[олай] Ив[анович]  
(прот[оиерей]), Вас[илий] Марк[ович], Тим[офей]  
Дм[итриевич], Митрофан...

III. **Склонность к монашеству:**

Авраамий, Кирилл, Кирилл, Митрофан, Иннокен-  
тий, Петр, Мелхиседек, Наркисс, Орест.

IV. **Некоторая неустойчивость психики, ведущая ко  
вкусу к антитезам, противоречиям и антиномиям:**

1) у Арх[имандрита] Кирилла построены на этом про-  
поведи. В Богословии он рассматривает добродетели рядом  
с соотв[етствующими] пороками,

2) у Ник[олая] Ив[ановича], прот[оиерея],

3) у Митрофана — запой и глубокая религиозность.

1921.V.23

V. **Непрактичность:**

4) сколько было Флоринских, и ни одного не знаю  
я богатого,

5) — » — ни одного купца,

6) кажется, в большинстве случаев они не совсем ужи-  
вчивы.

—

Дед мой Иван родился в 1814 г.

Прадед Андрей (предпол[ожительно]) — 1790.

Прапрадед Матфий (предп[оложительно]) — 1775.

Прапрапрадед ? (предп[оложительно]) — 1750.

Авраамий Фл[оринский] прибыл в Ростов в 1762 г.  
Вероятно, он-то с собою и привез моего прапрапрадеда «?»,  
а своего родственника, которому было тогда лет 12 или  
вроде того. Вероятно, прапрапрадед был в XVIII. Но это  
все, конечно, лишь предварительные построения.

1915.XII.5 — 6. Ночь. Сер[гиев] Пос[ад]

∞

«ПИСЬМО СВЯЩЕННИКА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО  
ХРИСТОФОРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ»

Февраля 28 дня 1916 г.

Многоуважаемый

Христофор Алексеевич! <sup>1</sup>

Сердечно благодарю Вас и за сочувствие Ваше, и за доставленные автобиографические сведения, и за готовность помочь мне в написании книги о роде Флоренских. От петроградских Флоренских я узнал все, что можно было узнать. Теперь моя работа происходит в архивах и в разного рода напечатанных архивных материалах. Я выяснил, что все (?) ветви Флоренских были первоначально Флоринскими. Главных затрудняющих меня узлов, которые надо распутать,— два: 1) в каком соотношении находятся между собою отдельные ветви рода? 2) как попали в Малороссию представители рода Флоренских, насколько я догадываюсь по некоторым признакам,— из Греции? Первый вопрос относится приблизительно к середине XVIII и к концу XVIII века, а второй, вероятно, к XVII или более ранним временам.

Вот, м[ожет] б[ыть], Вы сумеете узнать, где можно добыть возможно большее количество имен, фамилий греков, приезжавших в Россию. Знаю, что есть архив по греческим делам в Киёве и в Нежине, где была греческая колония. Но издано ли что-ниб[удь] из него — не знаю.

Нужно сказать, что мои поиски очень сложны, кропотливы и идут ошупью. Но все же я порядочно выяснил для себя.

Затем надо <sup>2</sup>



*ПИСЬМО СВЯЩЕННИКА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО  
В. Л. МОДЗАЛЕВСКОМУ*

Многоуважаемый Вадим Львович!

По совету Ив[ана] Ник[олаевича] Ельчанинова решаю обратиться к Вам с покорнейшею просьбою ответить на нижеследующие вопросы:

1) Скоро ли выйдет 5-й том Вашего «Малорос[сийского] Родословника» и будет ли в нем что-нибудь о роде Флоренских или Флоринских-Галичей?

2) Не можете ли Вы указать источника по вопросу о происхождении этого рода? Насколько мне известно, он — виленского происхождения и находился в каком-то отношении к Радзивиллам (вассальном?), затем переселился в Слободскую Украину, сделавшись здесь по большей части духовным, а далее — на север, в тогдашнюю Переяславс-

кую епархию, откуда расселился, причем одни ветви стали снова светским, а другие остались духовными.

3) Не известно ли Вам чего-ниб[удь] о польских или венгерских родах Флоренских? По некоторым известиям, фамилия этого рода в Украине была двойной, с присоединением имени Галичей. Но и о Галичах я не нахожу ничего. В XVIII в. некоторые представители писались Флиоринскими.

Простите, многоуважаемый Вадим Львович, за причиненное Вам беспокойство. Если бы я мог быть Вам, в свою очередь, полезен, то с радостью постарался бы исполнить, что Вам потребуется по части справок в изданиях или документах, находящихся в Архиве и Библиотеке Моск[овской] Дух[овной] Академии.

Ваш покорнейший слуга

*СВЯЩЕННИК ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ*

(профессор Императорской Моск[овской] Духовн[ой] Акад[емии])  
1916.V.22.

*Сергиев Посад.*

*Мой адрес:*

Сергиев Посад Моск. губ.

Дворянская ул., соб. д.



### «ЗАПИСКА О «РАДЗИВИЛЛОВСКОЙ ЕЛИ»

Ветви с так называемой «Радзивилловской ели» в Кайданове. Ель эта, как уверяют, посажена в IX в., при основании замка Радван-Фиоринских. Привезено А. А. Флоренским из Кайданова.

1916.V.23.

*СВЯЩЕННИК П[АВЕЛ] ФЛОРЕНСКИЙ*



### ПРИМЕЧАНИЯ К РОДОСЛОВИЮ ФЛОРЕНСКИХ

1. Андрей Флоренский. По словам Александры Владимировны Пекок, сестры мачехи моего отца, «бабушки» и крестной матери тети Юли, он был «священник из шляхтичей». Жил либо в Костроме, либо в Костромской губернии. † 1826 г. (?)<sup>1</sup>. Нужно думать, что был беден. Это мой прадед.

По док[ументам] Костр[омской] Дух[овной] Сем[инарии]

значится, что Василий Андр[еевич] Фл[оренский], окончивший курс по 1-му разр[яду], был сыном дьячка села Борисоглебского Макарьевского у[езда] Костр[омской] г[убернии] (недалеко от Юрьева). Не о прадеде ли моем речь? Возможно, что это свидет[ельство] относится к году поступления Вас[илия] Андр[еевича] Фл[оренского] в Семинарию.

2. Иван Флоренский, сын предыдущего, Андрея, мой дед. Он учился в Семинарии (Костромской ?) и был очень даровит. По рассказам папы, когда дед кончил Семинарию, Московской Митрополит Филарет уговаривал его поступить в Академию и принять монашество, соблазняя перспективою скорого архиерейства и особого покровительства. Но Иван Андреевич остался непоколебим и ушел в Военно-Медицинскую Академию. От этого времени сохраняется у меня его записная книжка с выписками из книг и журналов, афоризмами, заметками и т. д., как естественнонаучного, так и литературного и отчасти философского характера. Судя по этой книжке и по рассказам А. В. Пекок, дед был хорошо образован, интересовался весьма многим. Он был страстным библиофилом и любителем музыки. Дед любил выпить вино, виноградное, любил играть в карты. Он был слабого здоровья. Слабы были и дети: Александр, мой отец, тети Юля и Катя. Дед, по словам его детей от второго брака, был мрачного характера, никогда не смеялся. Все время он занимался в кабинете медициной, географией, естествознанием. Единственное развлечение — когда придут вечером гости — игра в карты. Собирался приехать в Москву держать экзамен на доктора медицины. Под конец жизни видел плохо. Зрение свое он испортил тем, что много читал, а ламп не было, так что приходилось жечь свечи — смесь из стеарина с салом.



*АНДРЕЙ ФЛОРЕНСКИЙ*  
(МОЙ ПРАДЕД)

Прадед мой Андрей Матвеевич Флоренский состоял при Христорождественской церкви села Борисоглебского Костромской губернии Макарьевского уезда, недалеко от Юрьевца, в 10-ти верстах, дьячком в 20-х годах прошлого, XIX столетия. Подписывался он Андрей Матвеев, фамилии



же своей не писал. Последняя его подпись в приходо-расходной книге означенной церкви имеется за июнь месяц 1826 г.

Формулярные списки при церкви имеются с 1829 г. За 1829 г. в формулярные списки записано так: «После умершего дьячка Андрея Матвеева — вдова дьячиха Васса Тимофеева, 38 л., дети ее: Иоанн обучается в высшем отделении Луховского уездного училища, 14 л., за ним оставлено дьяческое место при сей церкви, Василий, 4 л., Надежда, 16 л., Ольга, 8 л. Пропитание получают от дьяческого дохода». В 1834 г. о детях записано так: «Иоанн Флоренский обучается в высшем отд[елении] Костр[омской] Семинарии, на полном казенном содержании. Василий, 9 л., обучается в Костр[омском] дух[овном] училище, Ольга, 13 л., за ней оставлено пономарское место при сей церкви».

В формуляре за 1836 г., как и в прежние годы, после матери записаны дети: «Иоанн из высшего отд[еления] Костр[омской] Семинарии поступил в Московскую Медико-Хирургическую Академию». С 1839 г. формулярная запись о семействе Андрея Матвеева прекращается.

Васса Тимофеевна в 38 г., пишется, живет у зятя своего диакона в погосте Пречистенском (от Борисоглебского в 5 верстах).



## АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ ФЛОРЕНСКИЙ

1916. X.3

5-го сентября 1916 г. свящ[енник] Александр Михайлович Белоруков, ученик мой, привез мне из села Борисоглебского Костромской губ[ернии] Макарьевского уезда листы из приходо-расходной книги Христорожественской церкви села Борисоглебского с автографическими подписями прадеда моего Андрея Матвеевича. Среди многих других подписей на тех же листах (двух священников, двух пономарей и старосты) подпись «дьячка Андрея Матфиева», прадеда моего, заметно выделяется интеллигентностью и опытностью. В ней чувствуется человек, заметно превосходящий окружающую среду. В конце сентября, когда у нас гостила подруга Анны, Катя Хлуденёва, имеющая по многим проверкам тонкую интуицию личности по руке, почерку и т. д., а именно 26 сентября 1916 г., почерк Андрея

Матвеевича был подвергнут более детальному графологическому анализу. Вот что я записал за Катей Хлуденёвой:

«Человек умный. Ум у него широкий, большой, только не обработанный. Нервный, очень непостоянный господин, непостоянный в оценке людей; а в работе у него система есть.

Я бы сказала — тщеславный. С плеча часто рубит все. От природы и чуткий человек, но что-то такое налетное, грубое бывает иногда, и вот грубостью-то как-то людей от себя отталкивает. Но эта грубость — налетная, как бы деланная, что-то маскируется под ней. Но то, что люди отходят, — это и неприятно. Эгоистичный, настойчивый. В средствах неразборчив. Вот наследственность нехорошая какая-то, были ли предки больны или алкоголики... Как-то совсем не задумывается над тем... в женщинах не видит человеческого достоинства и проходит мимо, срывая, как цветы. Но все это очень хорошо замаскировано — как говорят, волки в овечьих шкурах... очень умело нападают на ягнят. Но это в силу наследственности все происходит. И в этом отношении своя совершенно точка зрения: делает то, что приятно, не считаясь с другими.

Мелочно обидчивый. Но он может хорошо говорить иногда, и, слушая его, можно подумать, что он никому больно сделать не может. Но делает он больно в силу этой наследственности и не делать больно не может. На окружающих производит в большинстве случаев очень хорошее впечатление... Вот он способен на такие вещи: может не делать дурно, но думать об этом, и думать настолько усиленно, что оно превращается в действие.

Многое любит делать напоказ, но очень тонко. В жизни может устроиться великолепно, если захочет, с внешней стороны, и карьерист большой. Может так действовать, что хоть он в ком-нибудь заискивает, но выходит так, что другим делает одолжение тем, что обращается к нему, и это выходит другим незаметно. Очень ревнивый и нетерпимый; а себе — все позволено. А вообще так человек интересный. Если захочет, то он может быть заметным, но все это, я бы сказала, такое искусственное...»

г. Юрьевец Костр[омской] г[убернии] в 1609 г. был сожжен Лисовским, в 1614 г. Зарудким. В 1609 г. «жители скрылись в темных лесах противоположного берега Волги» (П. С. Троицкий. Костромской край. Кострома. 1909, стр. 44). (Костромской край. Сборник, стр. 159.)

Нельзя ли сделать предположение, что мои предки из числа малорусско-казацких или польских ватаг, громивших Юрьевец, а потом оставшихся здесь? <sup>1</sup>

«Уездным городом Костромской провинции Юрьевец стал с 1778 г., ранее входил в состав Казанской и Нижегородской губерний» (Троицкий, id., стр. 44). Следовательно, документ[альные] данные по истории этого города надо искать в Нижегородск[их] и Казанских архивах. М[ожет] б[ыть], в консисторских есть что?

«Что касается юго-восточной части Макарьевского уезда, то она очень долго была глухим местом: побережье Волги здесь крайне низменно и неудобно для поселений. Большая часть этой местности заселилась только в конце XVII и начале XVIII века, когда явились сюда раскольники, преследуемые за веру со стороны правительства и Церкви, кроме раскольников шли сюда и православные крестьяне, не мирившиеся с закрепощением» (П. С. Троицкий. Костромской край. Сборник, стр. 81).



«Е. Церкви, коих приходские люди состоят под ведением и управлением от департамента уделов:

52. Рождества Иисуса Христа, села Борисоглебского.

Каменная, с каменною колокольнею, построена 1821 года. Престолы в славу Рождества Иисуса Христа и в честь: Святителя Тихона Амафунтского и князей Бориса и Глеба.

Причта состоит в наличности: священник, диакон, дьячок и пономарь. Жалованья причт не получает.

Земли пахотной 32 десятины и сенокосной 12 десятин. План и межевые книги на землю есть. Прихожан муж. пола 648, жен. 757, дворов 212. В приходе селений 19,

на пространстве 5 верст от церкви; препятствий к сообщению нет. Богородицкая церковь, погоста Пречистенского в 5, и Богородицкая, села Жаров, в 7 верстах. От Костромы — 130 верст».

(Статистическое описание соборов и церквей Костромской Епархии, составленное на основании подлинных сведений, имеющихся по духовному ведомству членом Костромского Губернского Статистического Комитета Кафедрально-го Успенского собора Протоиереем *Иоанном Беляевым*. Санкт-Петербург, 1863, стр. 328.)

**«ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ  
СЕЛА БОРИСОГЛЕБСКОГО П-го МАКАРЬЕВСКОГО ОКРУГА  
КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ**

Зданием каменная, с такою же колокольнею, постр[оенной] в 1821 г. \* тщанием прихожан. Ограда каменная с жел[езной] реш[еткой]. Кладбище в церк[овной] ограде. Престолов 3: а) в честь Рождества Христова, б) св[ятого] Тихона Амафунтского и в) св[ятых] благов[ерных] князей Бориса и Глеба. Постоянные средства церкви — проценты с капитала общего назначения в 300 руб. Расстояние от Костромы 140 вер[ст], от Макарьева 70 в[ерст], от почт[ово]-тел[ефонной] ст[анции] Кинешма 50 вер[ст]. Ближайшие церкви — пог[оста] Пречистенского \*\* в 5 вер[стах] и с. Столпино в 10 вер[стах].

Причт — священник, диакон и псаломщик. Постоянные средства его — проценты с общего капитала в 300 руб. Причтового дохода при богослуж[ении] и требоиспр[авлении] бывает до 502 руб. в год. Церк[овных] помещений для причта нет, квартирных денег не выдается. Земли церк[овной] в пользовании причта состоит: пахотной 51 дес[ятина] 1221 кв. с[ажен], сенокосной 13 дес[ятин] 64 кв. с[ажен] и неудобной 45 дес[ятин] 2106 кв. с[ажен]. Планы и межевые книги есть.

Прихожан 930 м[ужского] п[ола] и 992 ж[енского] п[ола]. По роду занятий приход сельскохозяйственный (оседлый). Раскольников нет. Приходских селений 19, дальнейшие в 6 вер[стах]. Препятствий к сообщению нет.

В приходе 2 земские школы».

(Краткие статистические сведения о приходских церк-

\* Мой прадед Андрей Матв[севич] † в 1826 — 29 гг., следовательно, эта церковь была построена при его жизни.

\*\* Тут в 38 г. живет Васса Тимоф[севна], моя прабабка, у своего зятя.

вах Костромской епархии. Справочная книга. Издание Редакции Костромских Епархиальных Ведомостей. Кострома, 1911 г., стр. 274.)



## ИВАН АНДРЕЕВИЧ ФЛОРЕНСКИЙ

1915. X. 27

Сер[гиев] Пос[ад]

Дед мой, Иван Флоренский, был сыном бедного дьячка Андрея Матвеевича Флоренского и жены его Вассы Тимофеевны. Отец его, Андрей Матвеевич, служил при Христорождественской церкви села Борисоглебского Макарьево-кого уезда Костромской губернии, расположенного на левом берегу Волги, в 10-ти верстах от уездного города Юрьевца. Родился он в 1815-м году, когда матери его было 24 года, и был старшим из сыновей, хотя первенцем была дочь Надежда, старшая Ивана 2-мя годами. За ним шли еще дочь Ольга, младшая его 6-тью годами, и сын Василий, родившийся на 10 лет позже своего брата.

Мне остается неизвестною точная дата рождения Ивана Андреевича Флоренского. Но можно с вероятностью определить ее, исходя из даты дня его Ангела. На поздравительном рисунке, поднесенном Ивану Андреевичу его сыном Александром в день Ангела Ив[ана] Андр[еевича], как видно из посвятительной надписи, рукою Ив[ана] Андреевича приписано: «сентября 23 дня 1861». Итак, дед мой праздновал свои именины в день зачатия Иоанна Предтечи. Следовательно, естественно думать, что и родился он в сентябре.

Семья Флоренских была бедная, тем более, что отец скончался рано, вероятно в 1826 г., когда старшей дочери было всего лишь 13 лет, Ивану — 11, Ольге — 7, а Василию 3 года. Но образование детей, по крайней мере мальчиков, было поставлено на правильный путь, и трудно не видеть в этом воздействия именно родителей. Оба мальчика окончили среднюю школу, более чего, по-тогдашнему, для детей дьячка и желать было нечего. Старший, кроме того, прошел курс университетских наук и выслужился до потомственного дворянства.

Первоначальное образование мой дед Иван Андреевич получил в Луховском Духовном Уездном Училище. Этот заштатный город принадлежал к тому самому Юрьевецкому уезду, к которому относилось и село

Борисоглебское — ныне Макарьевского уезда и на карте наименованнос Борисовским. Поступив в Училище в 1826 году, Иван Флоренский окончил его в 1830 году. Он был на хорошем счету у школьного начальства. В «годовых ведомостях об учениках Луховского Духовного Уездного Училища за 1830 год» его поведение определяется как «отлично-кроткое». Поведение других учеников, его товарищей, охарактеризовано словами: «честное», «добропорядочное», «отличное», «доброе», «хорошее», «кроткое», «порядочное». Всего в этом выпуске было 86. Иван Флоренский значится в списке разрядное — **первым**, причем «способности и успехи» его определяются как «отличные». Относительно других учеников, товарищей его, замечено, что они способностей и успехов: «отличных» (6 человек), «весьма хороших» (8 человек), «очень хороших» (16 человек), «довольно хороших» (32 чел.), «порядочных» (4 чел.), «очень нехудых» (5 чел.), «довольно не худых» (4 чел.), «не худых» (3 чел.), «средственных» (3 чел.), «средних» (2 чел.), «малых» (2 чел.) и «очень малых» (1 чел.). При этом в годовых ведомостях в графе «кто на каком содержании» значится, что Иван Флоренский, сын «умершего дьячка Андрея Матфиева» — «на доходы от причетнического места». Это значит, что за ним, как за старшим сыном покойного дьячка, было оставлено место отца и до окончания обучения он получал доходы с этого места. В формуляре от 1829 г. списке при Христорождественской церкви села Борисоглебского имеется подтверждение сказанному: «После умершего дьячка Андрея Матвеева — вдова дьячиха Васса Тимофеева, 38 л., дети ее: Иоанн обучается в высшем отделении Луховского уездного училища, 14 л., за ним оставлено дьяческое место при сей церкви, Василий, 4 л., Надежда, 16 л., Ольга, 8 л. Пропитание получают от дьяческого дохода». Впоследствии пономарское место при той же церкви было предоставлено сестре Ивана — Ольге; так значится в формуляре 1834 года.

По окончании Луховского Духовного Училища Иван Флоренский поступает в Костромскую Духовную Семинарию. В формуляре от 1834 [г.] при Христорождественской церкви села Борисоглебского о детях Вассы Тимофеевны записано так: «Иоанн Флоренский обучается в высшем отделении Костромской Семинарии, на полном казенном содержании. Василий, 9 л., обучается в Костромском духо-

вном училище, Ольга, 13 л., за ней оставлено пономарское место при сей церкви». Что касается до Надежды, то, надо полагать, она была в это время уже замужем и от семьи уехала на сторону.

Еще через 2 года, в 1836 г., в формуляре, после матери, записаны дети: «Иоанн из высшего отделения Костромской Семинарии поступил в Московскую Медико-Хирургическую Академию», а с 1839 г. формулярная запись о семействе Андрея Матвеева прекращается, Васса Тимофеевна в 1838 г. переселяется к зятю своему, на погост Пречистенский, отстоящий в 5-ти верстах от села Борисоглебского.

В «Свидетельстве», выданном Ивану Флоренскому 2 июля 1836-го года Правлением Костромской Духовной Семинарии, значится, что он поступил в Семинарию в 1830-м году и, «при способностях отличных и прилежании весьма усердном», обучался наукам математико-физическим, историям церковной и гражданской «отлично», наукам богословским — «превосходно», философским — «весьма хорошо», словесным — «очень хорошо» и языкам латинскому, греческому, еврейскому и французскому — «весьма похвально». «Поведения он, — говорится о деде, — примерно благонаправленного». «Ныне же, — заканчивается свидетельство, — по предписанию Правления Московской Духовной Академии уволен в Медицинский Институт при Московском Университете».

В «Списке воспитанников Костромской Духовной Семинарии, обучавшихся в высших учебных заведениях», составленном Алексеем Филипповым, под 1836-м годом стоит фамилия моего деда:

«1836. Иван Андреевич Флоренский	Медицинский
Василий Алексеевич Преображенский	Институт при
Менелай Васильевич Книгин	Московском
	Университете» *.

А [в] «Списке воспитанников Костромской Духовной Семинарии», составленном к празднованию 150-тилетнего юбилея ее, в выпуске 1836 г. значатся поступившими в Университет некто Павел Аристов и мой дед, причем первый стоит в разрядном списке 76-м, а второй — 77-м:

«Вып. 1836. 76) Павел Аристов	Написано — поступи-
77) Иван Флоренский	ли в Университете» **.

Что же касается до брата его, Василия Андреевича

\* «Костромские Епархиальные Ведомости», 1 августа 1898 г., г. XII, № 19, ст. II, стр. 607.

\*\* «Костромские Епархиальные Ведомости», 1 декабря 1897 г., г. XI, № 23, ч. II, стр. 663.

Флоренского, то он значится в разрядном списке 1846-го года на 4-м месте, в первом разряде \*.



ИВАН АНДРЕЕВИЧ ФЛОРЕНСКИЙ 1916.Х.3

Подруга Анны Катя Хлуденёва, рассмотрев 26 сентября 1916 г. почерк (разных периодов жизни) Ивана Андреевича Флоренского, деда моего, высказалась о характере Ивана Андреевича следующим образом:

«Почерк Ивана Андреевича несколько похож на Ваш (т. е. Павла Фл[оренско]го), даже ранний; а позднейший — прямо похож на Ваш.

Это человек очень одаренный, очень нервный, но нервною скорее не от физических недомоганий, а скорее от душевных переживаний. Видите... как-то так: душа большая и в то же время мелочна бывает. Очень мнительный был, обидчивый — в пустяках и в серьезном. Мнительность такая от нервности и происходила — что его не ценят, не понимают. Это — в первых письмах, студенческих. А в позднейших почерк изменился.

Какая-то была жажда жизни и неудовлетворенность.

Честный, прямой, но не открытый, замкнутый очень. Он выше многих был. Но это все прошло: ему не удалось сказать самого важного. Какая-то вера в себя и сомнение ужасное. Временами он считал себя чуть ни богом, а то... метался он духовно во все стороны, все вот искал и ничего не нашел. Это было только как лекарство, чтобы заглушить потребность... Он был верующий, но не покорный. Часто так бунтовал и все, во что верил, все это летело. Но это было временно. Но вера ему не давала утешения. Это было в крови, вера, от нее он не мог отделаться. Но она была сама по себе, а жизнь шла по-другому... Какого происхождения он был? — По почерку очень трудно сказать (вообще). Очень похожий почерк я знаю у одного крестьянина. И точно такой же — у одного аристократа. Происхождение и положение не отзываются на почерке... Музыкальный он. Может быть, он не играл ни на чем, но так — большая способность. И вот, такая одаренность, она очень мешала привыкнуть к жизни и примириться с жизнью... Много печалей было у него. И вот, я бы сказала, что он много

\* «Кюстромские Епархиальные Ведомости», 1 декабря 1897 г., т. XI, № 23, ч. II, стр. 668.



плакал всю жизнь, может быть, это никому было не известно. (Это говорит К. Хлуденёва про письмо Ивана Андреевича о смерти дочери его Екатерины, но не читая письма.)

Не скажу, чтобы он был карьерист, но карьеру он принимал в расчет. Самолюбив очень, до болезненности самолюбив, и очень вспыльчивый. Но вот, я не могу разобраться, пил он или еще что делал, только у него была страсть, и очень сильная, хоть он не отдавал себе отчета. Но во всем было очень много благородства, никогда ничего пошлого. Если он пил хоть до положения риз, то всегда оставалось человеческое достоинство. Вот, сознательно никогда никому ямы не рыл, хотя очень много делал другим не то что нехорошего, но по прямоте, по честности многих подводил. Но это все ради правды, истины делалось. До фанатизма мог доходить и был как-то нетерпим. Неровный очень, по настроению часто жил. Бывал очень груб и необыкновенно мягок. Друзей у него... он со многими сходил, очень быстро сходил, шапочных знакомств-то много, и его считали «душа нараспашку», но на самом деле этого не было. Когда хотел, мог великолепно маскироваться и играть какие угодно роли с успехом, чтобы отвести другим глаза. Математик он хороший был, да и вообще все очень легко ему давалось. И вот, отрывки делались цельным у него и получали какую-то другую окраску совсем. Очень много было своего, так, и видите, мог предсказывать будущее в той области, в какой он работал... видел вперед, какие последствия будут — не у себя, а у других, у себя он ничего не видел вперед. То было все ясно, то ничего не видел. Он не жил, а горел внутренно и всему отдавался до конца. Настойчивый и в то же время безвольный. В общем жизнь его незавидная — это выражение неподходящее — ну... Как-то это все кипело, горело и потом сразу погасло. Как-то он был лишний везде, нигде не мог он «пустить корень». Но это — во внешней жизни, а внутри у него все было очень глубокое. И вот среди близких, родных или там друзей, временами на него нападала какая-то тоска необыкновенная, и чем должен был быть радостнее — тем был грустнее. И самым близким дорогим людям он часто причинял много неприятностей... не то, чтобы неприятностей, а не мог от чего-нибудь отказаться, хотя знал, что это будет тяжело другим-то. И вот, временами он мог все в жертву принести, а в иной — пустяка не мог уступить, совершенно

не считаясь с другими. Это от неуравновешенности так происходило. И он все перемешивал в дурную и в хорошую сторону часто».



«АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ФЛОРЕНСКИЙ»

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

техника по строительной и дорожной частям при наместнике его императорского величества на Кавказе, причисленного к Министерству Путей Сообщения, Статского советника инженера Ф л о р е н с к о г о

Составлен 30 июня 1906 г.

I. Чин, имя, отчество, фамилия, должность, лета от роду, вероисповедание, знаки отличия и получаемое содержание.

Статский советник инженер Александр Иванович Флоренский; техник по строительной и дорожной частям при наместнике его императорского величества на Кавказе; родился 30 сентября 1850 г.; вероисповедания православного; имеет ордена Св. Станислава 2 и 3 ст. Содержания получает в год: Жалов. 2000 р. Столов. 1000 р. Квартир. 500 р. Приб. 292 р. 50 к. Допол. содер. за зем. техн. работы 1000 р. Итого 4792 р. 50 к.

II. Из какого звания происходит.

Сын коллежского советника.

III, IV, V, VI. Есть ли имение. У него самого и у родителей. У жены, если женат. Родовое. Благоприобретенное.

Нет.

VII. Где получил воспитание и окончил ли полный курс наук в учебном заведении; когда поступил в службу; какими чинами, в каких должностях и где проходил оную; не было ли каких особых по службе действий, деяний или отличий; не был ли особенно чем награждаем, кроме чинов.

VIII. IX. Годы, месяцы и числа.

В Институте Инженеров Путей Сообщения императора Александра I-го окончил полный курс наук, с правом на

чин Губернского секретаря при вступлении в гражданскую службу.

Приказом министра Путей Сообщения от 11 сентября 1883 г. за № 7 определен на службу инженером для исполнения особых поручений IX класса к начальнику работ II отделения Кавказского округа путей сообщения — 1883. Сент. 11.

Указом правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 26 января 1884 г. за № 330 утвержден в чине Губернского секретаря, со старшинством с 11 сентября тысяча восемьсот восемьдесят третьего года — 1883. Сент. 11.

По распоряжению Правления Кавказского округа Путей Сообщения прикомандирован для занятий к Искусственной части сего Правления — 1883. Окт. 9.

Приказом г. министра Путей Сообщения от 31 марта 1885 г. за № 26 назначен И. д. начальника 4 дистанции VI Отделения округа — 1885. Март 31.

Указом правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 26 мая 1887 года за № 2186 произведен за выслугу лет в Коллежские секретари, со старшинством — с 1886. Сент. 11.

На основании высочайше утвержденного 9 июня 1887 г. мнения Государственного Совета о преобразовании Кавказского округа Путей Сообщения приказом г. министра Путей Сообщения от 1 января 1888 г. за № 2 назначен начальником I дистанции Батумского отделения округа — 1888. Янв. 11.

Указом правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 28 апреля 1890 г. за № 1982 произведен, за выслугу лет, в титулярные советники со старшинством — с 1889. Сент. 11.

За прослужение в крае в классных чинах и штатских должностях пяти лет с разрешения министра Путей Сообщения, изъясненного в отношении канцелярии министра от 28 февраля 1889 г. за № 1274 назначено прибавочное жалованье по 162 р. 50 к. в год — с 1888. Сент. 11.

Указом правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 1 марта 1893 г. за № 41 произведен, за выслугу лет, в коллежские асессоры со старшинством — с 1892. Сент. 11.

За отлично-усердную службу и особые труды всемилоостивейше пожалован кавалером ордена Св. Станислава 3 ст. — 1893. Март 28.

Приказом по Министерству Путей Сообщения от 14

марта 1894 г. за № 17 назначен начальником 2 дистанции Терского отделения округа — 1894. Март 14.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 21 апреля 1895 г. за № 17 причислен к Министерству Путей Сообщения с 20 марта 1895 года — 1895. Март 20.

Министром Путей Сообщения разрешено 9 мая 1895 г. производство прибавочного жалования за выслугу в Закавказском крае второго пятилетия по двести девяносто два рубля 50 к. — с 1893. Сент. 11.

Приказом министра Путей Сообщения от 8 мая 1895 г. за № 36 откомандирован в распоряжение Правления Кавказского округа Путей Сообщения с 20 марта 1895 г. для производства изысканий по постройке мостов и дорог вновь проектированного пути, связывающего Карскую область с Эриванскою губерниею — 1895. Март 20.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 19 июня 1897 г. за № 52 произведен за выслугу лет в надворные советники со старшинством — с 1896. Сент. 11.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 25 ноября 1899 г. за № 82 переведен на службу по ведомству Министерства Внутренних Дел губернским инженером строительного отделения Кутаисского губернского Правления — с 1899. Сент. 9.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 24 апреля 1901 г. за № 29 произведен, за выслугу лет, в коллежские советники со старшинством — с 1900. Сент. 11.

Всемиловнейше награжден орденом Св. Станислава 2 степени за выдающееся отличие — 1901. Янв. 11.

Приказом по Управлению Главногоначальствующего от 7 февраля 1901 года назначен постоянным членом технического совещания при означенном Управлении.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 12 октября 1901 г. за № 78 уволен, согласно прошению, с 9 августа того же года от занимаемой должности, по случаю причисления с того же числа к Министерству Внутренних Дел и откомандирования в распоряжение Главногоначальствующего гражданской частью на Кавказе.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству за № 90 назначен техником по строительной и дорожной частям при Главномначальствующем гражданской частью на Кавказе с 27 июня 1903 года, с оставлением причисленным к Министерству Путей Сообщения — 1903. Декабр. 5.

Предложением И. об. Главногоначальствующего гражданской частью на Кавказе от 8 апреля 1905 г. за № 4713 командирован в гор. С.-Петербург для участия в Комиссии

по урегулированию р. Терека, где и находился — по 1905. Июня 14.

Приказом по Управлению наместника его императорского величества на Кавказе от 1 июня 1905 г. за № 62 переименован в техники по строительной и дорожной частям при наместнике — 1905. Июня 1.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 2 июля 1905 года за № 50 произведен за выслугу лет в статские советники со старшинством — с 1904. Сент. 11.

X. Был ли в походах против неприятеля и в самых сражениях и когда именно?

Не был.

XI. Подвергался ли наказаниям или взысканиям, соединенным с ограничениями в преимуществах по службе; когда и за что именно; по судебным приговорам или в дисциплинарном порядке; не был ли оставлен в подозрении по преступлениям, влекущим за собою такие ограничения; когда, каким судом и за что именно.

Не подвергался.

XII. Был ли в отпусках, когда и на сколько именно времени; являлся ли в срок, и если просрочил, то когда именно явился и была ли причина просрочки признана уважительною?

Был в 1899 г. с 6 марта на 24 дня; в 1900 г. с 12 октября на 1 месяц и из отпусков являлся в срок.

XIII. Был ли в отставке с награждением чином или без оного, когда и с которого по какое именно время?

Не был.

XIV. Холост или женат: на ком; имеет ли детей, кого именно: год, месяц и число рождения детей; где они находятся и какого вероисповедания?

Женат на дочери потомственного почетного гражданина Ольге Павловне Сапаровой, имеет сыновей: Павла, родившегося 9 янв. 1882 года; Александра, родив. 7 марта 1889 г.; и Андрея, род. 1 декабря 1899 года; и дочерей: Юлию, родив. 1 июля 1884 г.; Елисавету, род. 7 мая 1887 г.; Ольгу, родив. 19 февраля 1891 г.; и Раису, родив. 29 мая 1896 г. Жена армяно-григорианского вероисповедания, а дети православного и находятся при нем.



БЕСПОРЯДОЧНЫЕ ЗАМЕТКИ ОБ ОТЦЕ МОЕМ  
АЛЕКСАНДРЕ ИВАНОВИЧЕ ФЛОРЕНСКОМ

1918. II. 2—3

Ночь

Сергиев Посад

Каюп имения Анны, жены моей

I

1917. VI. 17. В поезде, по поводу лесов, видимых в окно.  
Развито и переписано 1918. II. 2—3. Ночь

Когда я был на первом курсе Академии, весной 1905-го года, отец мой ездил по служебным делам из Тифлиса в Петербург и на возвратном пути оттуда неожиданно-негаданно заехал ко мне в Академию. Дело было так.

Мне не было известно, что папа уехал в Петербург. Однажды, во второй половине дня, под вечер, я сидел и занимался — в комнате, где жил, т. е. против о[тца] инспектора, в младшем корпусе. Жили со мною тогда еще Алексей Сергеевич Петровский, о[тец] иеродиакон Стефан Бех и Александр Львович Тихомиров, впоследствии архимандрит Тихон, сын редактора «Московских Ведомостей». Мой стол стоял в простенке между двумя окнами. Входит о[тец] Стефан Бех и таинственно объявляет, что меня кто-то вызывает вниз. Я вышел спешно и в дверях столкнулся с папой. Но папа не захотел войти в комнату, боясь помешать или, может быть, из некоторого протеста против Академии, куда я поступил против его желания, — и сказал мне, чтобы я шел с ним в гостиницу. Наскоро надел я тужурку и шапку и пошел с папой. Пришли в снятый им в Старой Лаврской гостинице номер. Папа заказал самовар с неизбежным у него лимоном. Лицо его мне показалось усталым и постаревшим, главное же печальным. В непривычной обстановке мы оба чувствовали себя как-то стеснительно, тем более, что это было первое свидание после моего, неприятного для папы, поступления в Духовную Академию. Чуть ли ни первыми словами папы было полное и глубокое восхищение дорогой к Посаду из Москвы. «Едешь все время словно непрерывным парком», — сказал он с неподдельным удовольствием и стал с любовью говорить о море зелени, сквозь которую несется поезд. Стал спрашивать о моей жизни. Отчасти от радости, отчасти от смущения, я отвечал вяло или, точнее, разговор не клеился. Тогда все мысли мои были в Троицком, Сергее Семеновиче, я ни о чем

и ни о ком не мог ни говорить, ни думать. И я поспешил предложить папе позвать и «своего товарища» — мне хотелось показать Троицкого папе и папу Троицкому. Но папа, вероятно не поняв моих намерений и заподозрив в этом предложении мое желание не быть наедине и создать более внешнюю встречу, поморщился и недовольно сказал, что ему хочется быть со своим сыном или что-то в этом роде.

Так просидели мы вечер. Папа рано лег спать, очень утомленный дорогой. Я остался ночевать у него в номере, на диване, укрывшись его пледом, и на белье, вытасченном папою из дорожного чемодана. Утром проснувшись довольно рано. Напились чаю. Папе захотелось пройтись, и он предложил мне вести его, куда знаю. Но мне казалось, что ему не хочется видеть Лавру и Академию — тяжело, ибо его сын теперь связан с этими местами, — и потому сказал, что поведу его за город. Не могу вспомнить, истолковали ли я какое-нибудь из слов отца в смысле нежелания видеть Лавру или он сказал об этом прямо; мне теперь думается, что папа боялся, при осмотре Лавры, обидеть меня внешним, не верующим отношением к ней и в то же время не хотел или не умел отнестись иначе, и потому совсем уклонился от осмотра. Собрались идти. Папа: «А где же твой товарищ, с которым ты хотел меня познакомить?» — «Ты ведь не хотел». — «То было вчера, а теперь мы повидались...» — «В таком случае я сбегая за ним». Сбегал. Сергей Семенович был доволен знакомству, прибежал со мною, и мы пошли. Было весеннее, смеющееся, залитое светом утро. Небо голубело, зелень только что обсохла и была свежей и сочной. Мы направились по Вифанке, мимо дома Каптеревых, к песочным ямам, или, б[ыть] м[ожет], по березовой аллее, мимо Голубцовых, по Красюковкам. Папе все очень нравилось. Сергей Семенович куда-то торопился или, вероятнее, стеснялся помешать нам, а потому скоро покинул нас, а мы пошли по дороге к Киновии. Папа был сильно утомлен, и, несмотря на его удовольствие при виде свежей весенней зелени, он затруднялся идти дальше приблизительно полдороги к Киновии, да и торопился к поезду. У него было куплен билет, надо было сделать что-то в Москве — вероятно, повидать Григория Петровича Передерия, — и потому он не соглашался остаться дольше. Вернулись в гостиницу. Папа расплатился, и мы поехали на вокзал, откуда скоро поезд увез моего папу в Москву. Таково было первое и единственное посещение Посада папой моим. В мою память врезалось

от этого посещения — неожиданность появления папы и его радость о природе; помнится, он высказывал свой взгляд, что северная природа не только не хуже, а и прекраснее южной. Тут мы с ним совпали, и это совпадение было светлым фоном нашего свидания.

Может быть, папа не только не мог, но и не хотел оставаться дольше, боясь какими-нибудь несогласиями и спорами на темы мировоззрения омрачить наши отношения. Папочка!



### ИЗ УЧЕБНЫХ ГОДОВ

1918. III. 20

1. «Папа учился сначала у Гаке в Тифлисе, в немецком пансионе, а потом, когда его отец умер, Гаке предложил ему оставаться жить у него и репетировать учеников», — со слов матери моей, О. П. Флоренской:

В этом сообщении, однако, несколько неточностей — не памяти, а формулировки. По-моему, папа учился во Владикавказской мужской классической гимназии, а потом перевелся в 1-ю Тифлисскую классическую мужскую гимназию, что на Головинском проспекте. Жил же он в пансионе Гаке или, думаю, точнее, Гааке. Действительно, когда умер дедушка, Иван Андреевич Флоренский, и папа не мог платить за свое содержание, владелец пансиона предложил ему остаться у него и вместо платы репетировать учеников. Помню, папа мне неоднократно говорил об этом, а равно и тетя Юлия, причем отмечалась необычность этого предложения Гааке, вызванная хорошими успехами папы и добрым отношением, которое он умел заслужить ото всех, с кем имел дело, уже от юности.

2. Из рассказов о гимназических годах папы у меня осталось в памяти немного. Что-то смутное помнится о белых известняковых гольщах, которые собирал он во Владикавказе и, обточив концы напильником, выгравировывал на них печати; но может быть, я и ошибаюсь, что это было во Владикавказе, — ибо работа подобная нелегка, а во Владикавказе он был невелик. Одна такая печать, сделанная папою для сестры своей Юлии, хранится у нас дома, в Тифлисе.

Помнится, рассказывал он мне о своем собирании бабочек и геологических окаменелостей, главным образом «чертовых пальцев».

Рассказывал о том, что любил купаться и много купался, но это уже в Тифлисе — переплывал Куру.



Папа много гулял по окрестностям тех мест, где ему приходилось жить, быстро осваивался с местностью. Окрестности Тифлиса, и в особенности Коджор, дачного места под Тифлисом, куда папа ездил (вероятно) со всем пансионом Гааке по летам, он отлично знал и впоследствии часто водил меня, легко разбираясь в запутанных тропинках, приводя в разные примечательные в геологическом, археологическом, ботаническом отношении места или, и в особенности даже, к точкам, откуда расстилались хорошие виды.

В Тифлисе он любил ходить за Ботанический сад, к Черепашьему и к Лисьему озерам, где ловил черепах и собирал черепаши яйца; в Коджорах он часто лазил на Кёр-Оглы — крепость, построенную, согласно преданиям, романтическим разбойником Кёр-Оглы — Сыном Слепца, — мстившим людям за оклеветание, ослепление и разорение своего сановного отца. Папа рассказывал мне местные легенды и вспоминал, как в детстве он лазил на самую башню — тогда это было легче, так как не отваливались еще части стен. В Коджорах же он часто ходил к Зеленому монастырю. Помнится, бывал он и в Кобенском монастыре. Но мы с папою в этот последний, расположенный довольно далеко от Коджор, не хаживали, у Зеленого же бывали неоднократно.

Помнится еще, папа проводил одно или несколько лет на Манглисе и, кажется, на Белом Ключе. Но где бы он ни бывал, всюду его неутомимая любознательность и не оскудевавшая до старости любовь к природе побуждала его внимательно изучить местность во всех отношениях, и ничего не ускользало от его внимания.



## К БИОГРАФИИ МОЕГО ОТЦА

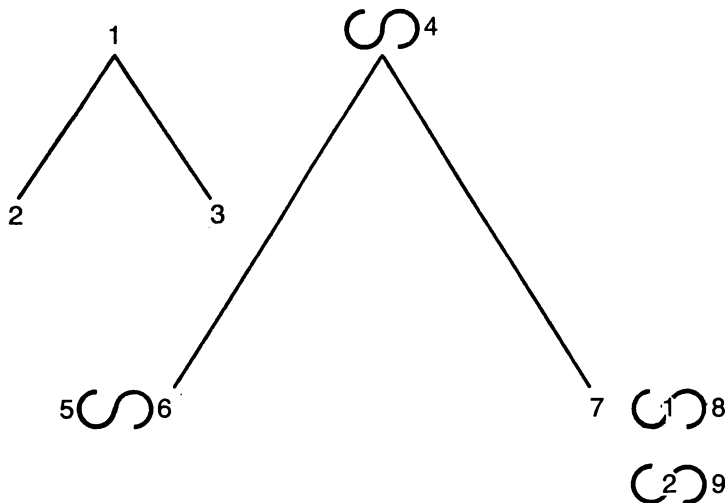
1917. I. 24—25. Ночь  
Сергиев Посад

### ЕЩЕ ИЗ ЮНОСТИ

1. Из детских воспоминаний моего отца мне особенно запомнился рассказ его об основательнице Теософского общества Елене Петровне Блаватской. Может быть, запомнился потому, что самому отцу моему, вероятно, врезались в память впечатления от Блаватской, и отец несколько раз

вспоминал о ней. Он был тогда гимназистом, воспитанником 1-й классической мужской гимназии в Тифлисе; а директором ее состоял Желиховский, муж писательницы Веры Петровны, сестры Блаватской. По рассказам папы, Елена Петровна вела веселую легкомысленную жизнь, была всегда окружена сворою молодых офицеров, которыми распорядилась по-своему. Они иногда возили ее на себе, впрягаясь в фазгон вместо лошадей и таща экипаж по Дворцовой улице, засыпали ее цветами и вообще ухаживали безумно. Е. П. Блаватская их гипнотизировала и, по впечатлению папы, обладала какими-то чрезвычайными силами, например, внушала им на расстоянии, без слов.

О Блаватской папа рассказывал мне несколько раз, и я чувствовал из его слов, что эти детские (?) впечатления не прошли мимо его мысли, заставили призадуматься, а м[ожет] б[ыть], и послужили оплотом против материализма.



[1] <sup>1</sup> Андрей Фадеев.

[2] Ростислав Андреевич Фадеев \* 1824, † 1883, генерал, воен[ный] историк и публицист: «Сочинения» изданы в 3-х томах В. Комаровым, 1889.

[3] Елена Андреевна Фадеева \* 1814, † 1842, писательница (с фамилией Ган). Начала под псевдонимом Зинаиды Р-вой «Собрание сочинений», СПб., 1843, в 4-х томах.

[4] Ган, артиллеристский офицер.

[5] Блаватский.

[6] Елена Петровна Ган. Основательница Теософского общества, известная под фамилией **Блаватской**, \*1831; ∞ 1848, 17 лет вышла за 60-тилетнего, «чтобы сделаться свободною и самостоятельною». Бросила мужа через неск[олько] месяцев после свадьбы. В 1860 — вернулась в Россию «из Тибета»; в 1862 г. — снова путешествие, в 1873 — в Нью-Йорке и американск[ое] гражданство. «Isis Unvuled» (1873). 17 нояб[ря] 1873 г. — открыто «Теософское о[бщест]во», 1875 — переезд в Бомбей; «Theosophost», 1882 — переезд в Мадрид, 1883 — уезжает в Париж. Разоблачения, 1886 — в Лондон. «Secret Doctrine»; «Lucifer». 3 июля 1890 — открытие главной квартиры Теософического о[бщест]ва в Лондоне. † 8 мая 1891.

[7] Вера Петровна Ган, писательница, \* 1835, † 1898. Литературную деятельность начала с 1878 г. Написала до десяти книжек для детей среднего и старшего возраста; писала в разных журналах и газетах с фамилией **Желиховской**.

[8] 1 Николай Николаевич Яхонтов (\* 1 янв. 1827, † 15 февр. 1857), поручик, женат на В. П. Ган с 20 июля 1854 года (Руммель и Голубцов, II, 810<sub>63</sub>).

[9] 2 **Желиховский Владимир Иванович**. Директор 1-й Тифлисской мужской гимназии. Статский советник. † (Руммель и Голубцов, II, 810, n<sup>o</sup> 63).

Считаю нужным привести таблицу родственных связей фамилий Ган, Фадеевых, Блаватских и Желиховских. Желиховский имел печальное и решающее значение в жизни моего отца; о Блаватской рассказывал папа, и, думаю, она не осталась без влияния на его впечатлительность и на его вкус к экзотическому и к Востоку. **Ганы** породнились с Флоринскими, псковской ветви, именно барон Алексей Егорович Ган († 1824 г.) был женат на Анне (Федоровне) Флоринской († 7 янв. 1825) (Долгоруков. Российская родословная книга, ч. 3. СПб., 1856, «Ганы», стр. 445, n<sup>o</sup> 210), а Фадеева Ростислава Андреевича, мне думается, не мог не знать дед мой Иван Андреевич Флоренский по их общей службе на Кавказе.

Повести Желиховской из кавказской жизни произвели на меня известное впечатление в детстве, хотя и казались мне несколько аляповатыми.



1917.1.25.

2. У папы были многочисленные и прочные товарищеские отношения по гимназии. Вероятно, это объясняется его сиротством и одиночеством. Товарищи очень любили папу, он всегда помогал всем, кому как мог. А так как впоследствии большинство их осталось на Кавказе же и именно в Тифлисе, то узлы товарищества сохранились, укрепляемые глубоким уважением, которое питали к папе его бывшие товарищи. И замечательно при этом, что большинство их были не русские и радикалы до мозга костей, фразеры и общественники, в духе шестидесятых годов, ибо это движение докатилось до Кавказа лишь в семидесятые годы, когда учился отец мой. Отец же не был ни фразером, ни радикалом. В сущности, если не останавливаться вниманием на его честности, прямоте и некоторой подчеркнутой жесткости суждений при виде нечестности, он был консерватор, охранительного склада по натуре, с уклоном к фатализму и пассивности в делах общественных — человек, поклонявшийся восточным началам, особенно Китаю. То уважение, которое питали к нему его товарищи и сослуживцы, в сущности, люди иных воззрений и иного склада, основывалось на признании его нравственного характера, его терпимости, его честности и бескорыстия, его доброты и великодушия, его правдивости и прямоты. Но это не было, совершенно не было партийное единомыслие; да и отцу моему партия, всякая, была душна, тесна и невыносима. Более всего на свете не выносил он партийный дух и узость. Но, несмотря на расхождение с большинством в этом существенном пункте, отец пользовался и уважением и любовью товарищей своих и сослуживцев.

Среди людей, близких к нему по гимназическим годам его, сейчас припоминаю следующих: Никол[ай] и Иван Алексеев[ичи] Худадовы, Леван Яковлевич Мгебров, А[лександр] др Богданович Евангулов, Гулишамбаров.

Николай и Иван Алексеевичи Худадовы («Вано»), братья; они были полугрузины, полуармяне, грузины по матери, армяне по отцу; но, происходя из Гори, они огрузинились, говорили по-грузински и были грузинскими патриотами, армянского же языка не знали. Николай Алексеевич Худадов был врачом, пользовался в Тифлисе популярностью как общественный деятель и радикал. Он основал в Тифлисе общество трезвости, организовал чтения для

рабочих с туманными картинами, для чего взял у нас фонарь и картины (на это я в детстве очень сердился), воскресные школы грамоты и т. п. Жена его, Анна Владимировна, урожденная Тизенгаузен, или какая-то близкая родственница Тизенгаузенам, польско-немецко-русского происхождения, была добрая и хорошая женщина, по-своему образованная недурно, шестидесятница по убеждениям, но это смягчалось у нее ее врожденным аристократизмом и доброю.



## ТОВАРИЩИ МОЕГО ОТЦА

1918. II. 2.

### 1

Леван\* Яковлевич Мгебров, армянин, мой крестный отец. Жена его, кажется гражданская, сварливая женщина, некрасивая.

Леван Яковлевич был в Тифлисе мировым судиею и пользовался огромным уважением среди местного населения. Но сын его запутался в какой-то политической истории (в 1905 г.) — скрыл вещи какого-то из политических деятелей в доме отца. Был произведен обыск, Леван Яковлевич лишился должности и, кажется, каким-то образом своего, порядочного сравнительно, состояния. Живет он в Тифлисе, на Александровской улице в сторону (вокзала), в собственном доме.

Сын его Николай Леванович женат на племяннице тифлисского учителя гимназии по русскому языку Ивана Николаевича Городенского (старшего брата моего учителя Михаила Николаевича Городенского; но эти братья между собою в ссоре, равно как не видятся с Ив[аном] Ни[колаевичем] и вся семья Городенских). Эта госпожа музыкантша. Сам Николай Леванович был последнее время на войне. По профессии он — врач.

### 2

Профессор Женских Медицинских Курсов физиолог Тарханов. Он тоже товарищ папы по гимназии.

\* (По Долгорукову — Российск[ая] Родосл[овная] книга, ч. 3, стр. 490, Леван — Лев.)

«Князь Иван Романович Тарханов, или Тархан-Моуратов, родился 1846 г., кончил курс Медико-Хирургической Академии в 1869 г., диссертацию на степень доктора медицины защитил в 1870 г., был командирован за границу на два года, в 1875 г. приват-доцент, 1876 г. професор академии, в 1895 году вышел в отставку. Работы Тарханова, помещенные по большей части в заграничные журналы («Pflüger's Archiv», «Archiv d. Physiologie», «Archiv für Physiologie», «Centrablatt für Biologie» и др.), касаются иннервации сосудов, влияния кураре на образование лимфы, числа красных и белых шариков в сосудах селезенки, влияние блуждающего нерва на сердце, постоянного тока на спинной мозг, свойств белка птенцовых птиц. Кроме того, им напечатаны: «О влиянии согревания и охлаждения на чувствующие нервы, спинной и головной мозг» (СПб., 1870); «О психомоторных центрах у новорожденных животных и развитие их при разнообразных условиях». Многие публичные лекции Тарханова изданы отдельными книгами. Таковы «О психомоторных центрах», «О гипнотизме, внушении и чтении мыслей», «О ядах в организме человека и животных и о борьбе с ними».

(«Большая Энциклопедия», т. 18. «Статистика — Ундозер», СПб., стр. 301.)



**Степан Иосифович Гулишамборов.**



## НАШИ БАТУМСКИЕ ЗНАКОМСТВА <sup>2</sup>

1917.VI.30.

**Андросовы.** Инженер (портовый) Василий Иванович Андросов. Интересовался литературой, искусством, сам столярничал (у меня в рамочке его работы икона Спасителя на стекле), был видный и красивый брюнет, любил петь и, помнится, обладал недурным сочным баритоном — пел, между прочим, «Наши предки // были греки // с острова Андроса». Мы бывали у Андросовых очень часто, но не столько ради Василия Ивановича, сколько ради жены его и детей. Нрав его был, сколько я понимаю, довольно легкомысленный — и от темперамента, и от жены, превосходившей его по возрасту. Она была как-то в центре дома,

она же занималась с детьми, что мне казалось несколько странным, т[ак] к[ак] у нас папа несравненно более входил в нашу детскую жизнь и интересовался нами.

Жена его **Мария Николаевна**, типичная шестидесятница по наружности, с суховатыми и рационалистическими чертами лица, в пенсне и стриженная, ходила обычно в какой-то, как помнится мне, синей блузе. Едва ли это могло нравиться ее супругу.

Дети их — Соня, подруга моего детства, и Ваня, приятель моей сестры Люси. Соня была чуть старше меня, года, может быть, на 1½, а Ваня чуть моложе Люси.

Бабушка их. Мачеха Марии Ник.[?], акушерка, если не ошибаюсь, из дворянской семьи. (...)

**Пассеки, Орловские, Новомейские** (Северин Феликсович, Марья Сергеевна, Феликс (Феля) и Эва), военный — крестный отец Люси.

**Крыштафовичи, Стаховский, Флорины** (Анатолий Викторович и Любовь Ивановна (?), Николай Викторович; Мария Викторовна, женщина-врач; певица и отчасти музыкантша).

**Жилинские** (врач, его падчерица Алабина Татьяна Алексеевна — потом вышла замуж за недоучку-семинариста Сократова...).

### В ТИФЛИСЕ \*

Учительница музыки **Шидловская**. Работала в газ[ете] «Кавказ», составляла указатели и т. п. Ходила нарядная, сама была некрасива, с огненно-рыжими волосами. Мы ее недолюбливали, хотя несколько боялись.

Учительница музыки **Мария Александровна**, княжна **Туманова**. Ее родственники разорились, она была больна чахоткой, и одного легкого у нее не было. Но она упорной волей излечилась от болезни, в Париже окончила консерваторию и, вопреки настояниям родных и кумушек, что «неприлично» княжне давать уроки, занялась преподавательством; она была строгая, но мы любили ее: бодрая, веселая; она была худенькая, коренастая, низенького роста, седая, с большими глазами навывкат. Очень близорукая, в сильных выпуклых очках. Учила она гл[авным] образом этюды и Моцарта.

Д[окто]р **Панченко**, гимназический товарищ папы. Он авантюрист, бывалый ч[елове]к, маме не правился — какой-то нахальный. Потом он участвовал в каком-то знаменитом процессе. Мне смутно помнится его представительная

фигура и длинные густые бакенбарды каштанового или даже более темного цвета. Как мне представляется его облик, это был ловкий человек, с большою предприимчивостью, может быть, не чуждый шарлатанства. Он первый в Тифлисе ввел впрыскивания, Броун — Секаровские вытяжки [?]. Жил он в гостинице, во 2-м или 3-м этаже. Папа смеялся над ним, рассказывал, будто к нему еле-еле, важно и кряхтя всходят старые старушки, а после впрыскивания спускаются, как молодые, сбегая по лестнице. Д[окто]р Панченко был, кажется, папиным товарищем по гимназии. У нас он бывал часто, но мы у него не бывали — кроме одного раза, когда папа водил меня к нему исследовать мой «желудок», т. е. пищеварительную систему, которая страдала катарром, и когда Панченко прописал мне соляную кислоту и пепсин. Тогда я впервые узнал, что такое пепсин, и весьма заинтересовался им; но был разочарован, увидав не что-либо эффектное, а почти безвкусный и желтовато-грязный порошок.

Художник Стаховский и брат его — химик Стаховский Владимир.



### ЗНАКОМЫЕ ТОВАРИЩИ И ПРИЯТЕЛИ МОЕГО ОТЦА <sup>4</sup>

1) Бутми-де Кауман, Георгий Васильевич, от[ставной] подпоруч[ик], пот[омственный] дв[орянин] (Петроград, Фонтанка, 121). Писатель-экономист («Весь Петроград на 1916 г.», отд[ел] фамилий, столб. 90).

2) Флорин, Анатолий Викторович, д[ействительный] с[татский] с[оветник], инж[енер] пут[ей] сообщ[ения] (Петроград, Б. Пушкарская, 63) («Весь Петроград на 1916 г.», столб. 711).

Член технического совещания М[инистерст]ва Торговли и Промышленности.

3) Гулишамбарова, Зинаида Стефановна, д[очь] д[ействительного] с[татского] с[оветника], Петроград, Подольская ул., 28 («Весь Петроград на 1916 г.», отд[ел] фамилий, столб. 190).

4) Гулишамбарова, Наталия Григорьевна, вд[ова] ш[татского] т[айного] с[оветника], 8 (Рождественская, 14, Петроград, id., столб. 190).

5) Сам Гулишамбаров звался Степан Иосифович. В 1900 г. он



был: статский советник, чиновник особых поручений Департамента торговли и мануфактур и директор от правительства в Восточном обществе товарных складов. СПб., Озерный пер[еул], д. 6, кв. 4. Степан Иосифович Гулишамбаров не был женат: одно время у него была гражданская жена (бывшая за другим) София... Даниловская, потом с нею разошелся.

У него были братья — Семен и Рубен и NN Гулишамбаровы.

Рубен — врач, был женат, а Семен без опред[еленного] положения.

Гулишамбаров был очень трудоспособный и очень талантливый, настойчивый. Гулишамбаровы — армяне из Гори, вероятно, небогатые; в студенчестве он очень нуждался.

(Помню, что «жена» Гулишамбарова была большая лакомка и нарядница, не ходила иначе как в шелковых платьях, которые выписывались из Парижа, и не ела ничего, кроме конфет да варенья: так, по крайней мере, о ней говорили у нас. Наши чуждались их общества и косились на m-me Гулишамбарову. Помню ее смутно — я был у них в Тифлисе, она ела розовое варенье, а мне показывала белые маленькие крепкие луковицы, словно точеные из слоновой кости, и позволила мне взять себе 2 — 3. Это была еда (...) вид шафрана, или какой-то редкий вид (...)



Когда мама была маленькая, уже тогда в Тифлисе и читали, и думали, и говорили по-русски.



Детей Пассеков звали: Катя и Маруся; кроме того, был еще младший мальчик **Шура**. Катя была кокетлива, любила рядиться, очень высокого о себе мнения. Маруся — неумная, простушка, добрая. Шура любил сладости и был шалопай. Катя и Маруся потом учились в Тифлисе во 2-й женск[ой] гимназии, в которой учились и мои сестры.



Крестный отец Люси, сестры моей, штабс-капитан **Прохоров...** Он любил музыку, играл в четыре руки с Юлей тетей. У него была дочка, ровесница Люси, сестры моей, ее тоже звали Люся. Умер Прохоров приблизительно в 1898 году.



**Семья Крыштафовичей.** Растительность в их Батумском — под Чаквою — поместье — так прет и прет; какое-то осуществление антимальтузианства — один из элементов моих ранних переживаний, и у папы тоже.

---

1917.VIII.15.

### ОТЕЦ МОЙ

Папа считал нецеломудренным поставить восклицательный знак; точка с запятой не допускалась, как слишком притязательная... Преувеличенная целомудренность знакоположений.

Вообще в нашем доме на все было табу. Чувство ужаса пред богатством, пред внешностью, расцветом: все это казалось нецеломудренным, расторгающим, на все накладывалась узда...

---

### КАРАПЕТОВЫ <sup>5</sup>

Сам хозяин — Никита, а на самом деле Миртич, Александрович (?) Карапетов, инженер, технолог, маленький, коротенький человек, черный; вдовец. С ним жила Александра Ивановна, по мужу **Кара-Мурза**.

У него дети от первой жены: 1) Александр (?) Никитич, инженер, был в Москве, а потом переселился в Америку; 2) Елена (Лёля) Никитишна — училась в гимназии и в Тифлисском музыкальном училище; 3) Екатерина (Катя) Никитишна — училась в гимназии, потом вышла за мелкого чиновника Иванова и живет в Тифлисе; 4) Николай (Коля) Никитич, учился в Тифлисском (1-м) Реальном Училище, потом в Москве в инженерном, — старшего сына я не знал и не видывал никогда.

Леля — была очень трудолюбива к урокам географии, когда училась в 8-м кл[ассе] женск[ой] гимназии, вычерчивала на черной доске мелом сложные карты по многу раз, сначала по атласу, потом наизусть, сверяясь с картой, потом уже не смотря никуда, много-много раз, пока не выучит наизусть. Я видел эти упражнения ее со двора — она чертила на балконе или в стеклянной галерее — и восхищался отчетливостью и изяществом ее работы. Сколь-

ко вспоминаю теперь, было на что смотреть. В промежутках между картами Леля Карапетова играла с тем же усердием на рояли — гаммы, упражнения, сонаты Бетховена и Моцарта, или сидела на балконе с книжкой, или собирала в саду растения для гербария. Она была очень трудолюбива, ни минуты не сидела сложа руки, и если не науки, то хозяйство занимало ее время. У нее было серьезное, строгое, но приятное лицо, несколько искривленное, т[ак] к[ак] при свинке на шее делали ей операцию и рубец стянул шею. Я слышал, что потом она оказалась музыкально-талантливой и уехала в Америку, к старшему брату.

Вторая сестра, в противоположность старшей, была довольно легкомысленна — любила наряды, кавалеров, всла или допускала сомнительные разговоры гимназистов, живших во дворе, особенно Володи Хорькова [?], едва ли занималась. Она была бойка и поведением и языком. Считалась она хорошенькой, но мне не казалась приятной.

Старшая сестра все добывала у нас педагогическое приложение к «Роднику» («Семья и Школа») и книги по педагогике, книги научные... Младшая любила подурить, поиграть. Старшая до нас не снисходила, младшая болтала нередко и с нами, значительно младшими ее по возрасту.

Родная мать их, равно как и 2-я, гражданская жена Карапетова, были русские.

**Коля.** О Коле надо говорить особо.

**Шар с чернилами.** **Унаби.** Качели и гимнастика. Игра в классы. «Разговоры». Плохое от Коли. Чердаки и крыши. **Фотография.** Коля — шалопай потом.

**Веденеев.** Начальник Закавказской железной дороги Веденеев. Жена его **Ася.** Другая Веденеева — **Нина** (?). **Боря Веденеев.** **Лефевр** — их двоюродный брат — француз коренастый, переросток испорченный. Старший Лефевр. Игра на рояли — мне врезалось. «Бюг Жаргаль» Гюго и вообще Гюго в ассоциациях с музыкой Веденеевых. Выше нас жили. Веденеева убили из окна. Почему убили?

**Бесо** (Виссарион). Мое отношение к нему. Тифлис. Смерть его — его убили. Вдова.



1) Инженер Евгений Львович Веденеев <sup>6</sup>. Его убили зимой или ранней весной 1902 г.

2) Слугу нашего **Бесо** убили осенью, на другой год после переезда нашего в Тифлис.

С ним я ходил за аптекарскими товарами — почему-то

особенно запомнилась мне покупка сернистого аммония, когда мы дошли до аптеки на подъеме... Бесо был доброты необычайной, терпения и кротости. Милый Бесо.

3) Усердно играла старшая дочь Веденева Люся (не Ольга ли? младшая же Нина была легкомысленнее).

4) Николай Алексеевич Худадов, ∞ Анна Владимировна, рожд[енная] Тизентаузен, ее племян[ница] Лена Тизентаузен, дети Маша, Володя и Шура.

5) Евангуловы Александр Богданович, ∞ Мария Павловна, сбежала она от своего мужа, какого-то военного или чиновника **Иванова**. Дети говорили: «От папочки я получила 100 р., а от папаши (от А. Б. Евангулова) 200». Леля была дочерью Иванова, а Коля Евангулов сын А[лексан]дра Богдановича. Мария Павловна была, как говорили одни, простая крестьянка, а другие — аристократка. Она любила кушанья крестьянские, одежду, манеры, умела крепко ругаться (мужа). Коля был сыном А[лексан]дра Богдановича. Коля им[ел] все данные быть министром — очень много болтал, очень честолюбив и участвовал в ограблении на Фонарном [?] переулке. У него патологически огромный рост. Мария Павловна была зачинщица боевого атеизма, а А[лексан]др Богдан[ович] развивал любую подслушанную тему. Он выселился в Америку в 1910 — 11 — 12 годах. Продал дом и выселился в Америку [к] Крыштафовичам заниматься земледелием — это была его мечта всей жизни. Кроме того, он рассчитывал, что Коля выселится к нему в Америку. Ему было трудно. † года 2 тому назад (в 1915, вероятно). Некролог его был в «Тифл[исском] Листке» и в тифлис[ских] армянских газетах: он был достопримечателен как гласный, а кроме того, он стоял на виду среди армян, таким его считали. И Леля и Коля были задержаны в Фонарном [?] переулке в СПб и присуждены к смертной казни, а потом А[лексан]др Богданов[ич] ездил туда, но трудно было устроить, т[ак] к[ак] Коля не считался его сыном. А[лексан]дру Богдан[ови]чу удалось выхлопотать вместо казни каторги 15 л[ет], а Леля попала под амнистию — на 15 л[ет] каторги, а потом пожизнен[ное] поселение. Леля сидела, кажется, в Крестах в СПб (?), а Коля в Таганской тюрьме в М[оскве]. Коля прислал свои карточки отцу, и отец показывал, гордился. Он там устроился, стал заниматься ремеслом. Отец говорил, что Коле все равно, чем заниматься, плотничать или выжиганием, лишь бы быть первым в (...). А Леля занималась какими-то новорожден[ными] детьми, устроила и ясли в тюрьме, собирала вещи.

Коля был интересный ч[елове]к. При некотором слабоумии (критика у него недостаточно действовала) он обладал поразительной памятью. Стоило ему раз прочесть или услышать что-ниб[удь] один раз, и он всегда помнил, с мельчайш[ими] подробностями. Показывал Кремль и рассказывал — словно читал годы, имена, монографию. Всегда он увлекался чем-ниб[удь] одним, причем его увлечения не имели связи друг с другом. Когда интерес был — фотографировал. Наша группа на балконе снята им.

Когда началась война японская, он помнил все подробности так, как будто ему поручено заведование войной. Потом увлекался политическими делами. Коля любил странные путешествия, занимался древностями, ботаникой, минералогией. Его коллекция стояла у нас. Он у нас (когда я был студентом) торчал. Со времени возмужания у него появились странные (...); была странная внушаемость, припадки, приступы лунатизма. Раз душил Шуру, раз зарыл его вещи. Он был желтый совсем, довольно определенная акромегалия. Он — родствен[ник] мамы моей, т[ак] к[ак] А[лексан]др Богд[анович] четвероюродный брат мамы.



У Худадова Ник[олая] Алек[сеевича] — брат Ваню, Ив[ан] Алекс[еевич], имел необыкновенный характер. Был сухой, придирчивый, капризный, странно относился к людям, старался всем испортить все, дразнил Люсю. Был женат, женился странно, необдуманно, жена сбежала через неделю. Ремсо тетя говорила: «Немудрено, что от него сбежала, с ним жить нельзя». Володя был типа Ваню Худ[адова], оба они страдали (...) — страдали резонансом.

У мамы Худ[адовых] была базедова болезнь, с соответствен[ной] психич[еской] болезнью. Вероятно, тизенгаузен-новская наследственность группы циркулярных заболеваний, а у Худадовых — группа кататонических заболеваний (это деление на циркулярн[ые] и кататонич[еские] заболевания новое, не везде еще принято). Эти заболевания не быв[ают] вместе.

А у нас.

**Сапаровская группа:**

туберкулез, базедовизм и циркулярн[ые] заболевания, циклотимия (у мамы — подавленное состояние всю жизнь — циркулярная конституция. У мамы маниакальных признаков нет, а у Лили и Шуры определенные, не

в форме психоза, но если еще немного, то и психоз, но жизненно вполне терпимый). Такая же конституция у Госи; то же у Эльзы — базедовизмия (дисфункция щитовидной железы; у Госи неск[олько] пониженная уже щитовидная железа).



1) Женя Ельчанинова <sup>7</sup> вышла за Николая Георгиевича Шабурова, прис[яжного] повер[енного] (Шабуровы отчасти армяне, отчасти поляки или русские). Вышла замуж в 1905 — 6 гг. Шабуров † от туберкулеза в 1909 (прибл[изительно]). Детей не было.

2) Мария Семен[овна] Ланге-Поздеева (жена Ник[олая] Викт[оровича] Ельчан[инова]). Отец ее † в 1898 — 99 гг., когда она была в 6-м кл[ассе]. Они жили в кварт[ире] Вартпатриковых. Сестра ее Анна Семеновна (Нюра) ∞ Мелик-Назарьянц (а также Мел[ик]-Азарьянц). Еще стран[ная] сестра Мария Семеновна Сундукьянцеч, брат Александр Семенович Ланге-Поздеев, студент Юрьевск[ого] Ун[иверсите]та, бездельник и политич[еский] делец, была у него какая-то невеста, определенная [?], женился на вдове с 8-мью [?] чел[овеками] детей. Певец и музыкант. Работал в ред[акции] «Тифлисс[кого] Обозрения» (?).

Отец Марии Сем[еновны] Ланге-Поздеевой был чиновник, д[ействительный] ст[атский] с[оветник] при градоначальстве, без специальности, умер от артери[ального] склероза. А мать ее — полугрузинка, полуармянка княжеского происхождения, не Сумбатова ли (?). Имение у них в Глдах, возле Тифлиса, это от матери.

3) Шабуровы имели какое-то отношение к семье деда нашего П. Сапарова. У Ник[олая] Шабурова сестры Елена и Тамара, прилич[ной] наружности была только Тамара, младшая, она вышла ∞ за студ[ента] в Киеве, жила там, она отличалась музыкальностью, талантливостью.

Все Шабуровы очень музыкальны, обладают поразительным слухом, открывали или хотели открыть свою музыкаль[ную] школу. Шабуров был весел, жесток, болезнен, аристократичен.

4) Ланге — музыкальны тоже. Отец Шабуровых был близок и дружен с дедом П. Сапаровым, вел с ним коммерч[еские] дела, но потом надул его. Вексель свой П. Сапаров не разорвал, а Шабуров второй раз взыскал по нему, предъявив к нему же перед смертью его. После этого они разошлись. Шабуровы необыкновенно все дегенеративны. Старшая Ша-

бурова музыкантша, поражает высоким гигантским ростом, сухая совершенно, как палка, фигура, костлявая, все на ней висело и падало с нее, с крючковатым носом, угловатыми острыми плечами, все зубы были длинны и торчали вперед, как будто щелкали все время, подслеповатая, ходила в очках.



### СОМОВЫ <sup>8</sup>

**Нина и Валентина Ивановны Сомовы** были ученицами тети **Юли**. Она была у Сомовых один год летом в окрестностях Петербурга, где-то около Парголова по Финляндской дороге. Они жили в Петербурге. У них был брат **Оня** (Осип Иванович) по деду, который был потом, кажется, врачом. Отец их **Иван Осипович**, инженер путей сообщения. Кажется, брат его художник, знаменитый Сомов. Отец их тоже рисовал. У нас в доме маленькая окрестность **Парголова**, которую рисовал отец их; **Иван Осипович**.

У них были еще двоюродные братья — **Бессель**, они имели какие-то отношения к музыкальному издательству. **Нина** и **Валентина Ив[ановна] Сомовы** были учительницами. Отец их потом жил на Кавказе, в Тифлисе, после 1900-го года. Он тогда уже развелся со своей первой женой и жил со 2-ою. А 1-я жена жила в Петербурге с детьми. С ним жила еще бабушка, разбитая параличом; она была вдова какого-то известного профессора. Раз к ним, к тете **Юле**, ездила на дачу мама, и раз была в Петербурге на блинах. Они — **Нина** и **Валентина** — тоже приезжали на Кавказ и были у нас в Боржоме в холерный год (я тогда был у **Лизы** тети в деревне).



1) **Флорины** <sup>9</sup> **Катя** и **Варя**. Их отец **Ник[олай] Виктор[ович]**, матери не было, **Мария Викт[оровна]**, **Анат[олий] Виктор[ович]** — младший брат и жена его **Любовь Серг[еевна]**, у них была девочка, она † в Борж[оме] от дизентерии, гроб для нее делал хозяин **Пискунов**, жили они ниже нас.



### В БАТУМЕ

2) Углов[ой] дом, стрижен[ая] француженка с больш[ими] золот[ыми] серьгами, завитая, все ее считали краси-

вой. На бульваре же было мнение, что няня — 2-я красавица в Батуме. (...) Когда жили в д[оме] Айвазова, то рядилась. (...) Напротив Пикок, консул (сближается с Готлиб[ом] Фед[оровичем] Пекок. «Не родственник ли?» — думал я в детстве). После Пйкока был Андерсон. Мальчик рыжий. Упал с палкой. Если в свинарнике жить — то сделаешься свиной, если в конюшне...

**Розалия Матвеевна** жила как хозяйка у одного арм[янского] негоцианта, у него было две дочери, Соня и Арфик. Ремсо тетя познакомила нас с Роз[алией] Матв[еевной], их держала в стороне, не позволяла знакомиться, но с нами поощрялось знакомство. Ставила в пример рисовальные таланты... Соня увлекалась мной. Я нет: «Ара-рис, барбарис // три грузинки подрались». Мы спускались на заде (...) к ручью, где было много боярышника с барбарисом. Я объяснял, что боярышня от боярышник — так красиво.

**Орловские** Коля и Оля; котлеты бесконечные [?]. У них — французские — она рисовала, мной увлекались, — что я рисовал фиалки... Нерсес — меня провожал. Сама Орловская меня поразила [?] пеленой из колибри. Люди состоятельные, в Коджорах дома. Вышел Коля, кажется, [?] более шалопаем. Дочка была примерная.

**Написать Соне.**

Обратиться к Елене и Маргарите Алихановым и к Шадиновой — с вопросом о Самазовых.

О деде Павле знает (...) врача София Иван[овна] Шавердова в Тифлисе (член Кавказского О[бществ]а врачей в Тифлисе). Написать ей. Написал ей 1917.VIII.20.

**Ремсо тетя знает много, попросить ее написать.**

Брат мамы жил в Монтелье [?] в армянской колонии. Минасьянц жилец и А (...), его двоюр[одный] брат, (...) знаком с братом мамы.

В доме деда Павла околачивался Манташев, тогда бедный. Собирался жениться на ком-ниб[удь] и делал предложение Соне тетс, но был отвергнут, как бедный жених. (...)



В ночь на 23-е января скончался  
*АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ФЛОРЕНСКИЙ,*  
о чем извещает Ольга Павловна Флоренская  
с семьею. Панихида в доме почившаго (Нико-  
лаевская, 61,— в 7 ч. вечера, 24-го января.  
Вынос в Александро-Невскую церковь — 25-  
го, в 10 ч. утра.

Начальник Кавказского округа путей со-  
общения с сослуживцами извещает о кончине  
23-го сего января помощника начальника  
округа, действительного статского советника,  
инженера  
*АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ФЛОРЕНСКОГО.*  
Панихида будет отслужена в четверг, 24-го  
января, в 2 ч. дня, в помещении округа (Сер-  
гиевская, 8).

«Кавказ», пятница, 25 января 1908 года, № 21 (г. 63-й).

**«А. И. Флоренский (†)»**

В ночь на 23-е января в Тифлисе, после тяжелой болез-  
ни, скончался помощник начальника Кавказского округа  
путей сообщения, действ[ительный] ст[атский] сов[етник],  
инженер путей сообщения Александр Иванович Флоренс-  
кий. Покойный родился в 1850 году и, по окончании курса  
наук в Институте путей сообщения императора Александ-  
ра I, в 1883 году назначен на службу на Кавказ. С первых  
же шагов своей службы покойный А. И., благодаря своему  
честному отношению к делу, обратил особое внимание вы-  
сшей в крае власти, и ему были даваемы серьезные поруче-  
ния по устройству путей на Кавказе, в том числе и произ-  
водство изысканий по постройке мостов и дорог, которые  
ныне связали Карскую область с Эриванскою губерниєю.  
В 1899 покойный А. И. из министерства путей сообщения  
был переведен в министерство внутренних дел с назначени-  
ем губернским инженером строительного отделения Кута-  
исского губернского правления, а затем, в 1903 г., он назна-  
чен техником по строительной и дорожной частям при

Главнoначальствующем гражданскою частью на Кавказе, будучи в то же время и постоянным членом технического совещания при управлении Главнoначальствующего ныне наместника его величества на Кавказе. В начале апреля 1907 года покойный был назначен на пост помощника начальника Кавказского округа путей сообщения, на какой должности ему пришлось много работать. В ноябре прошлого года покойный выехал для обозрения строящейся воронцовско-гюллюбулакской дороги, где сильно простудился и по возвращении в Тифлис слег в постель, с которой ему и не суждено уже было встать.

Покойный А. И. был человеком редкой честности и справедливости и пользовался среди товарищей и сослуживцев большою любовью и уважением.

Мир его праху.

«Кавказ», № 23.

«В Тифлисе

В пятницу, 25-го января, на кукийском православном кладбище предано земле тело умершего помощника начальника Кавказского округа путей сообщения инженера А. И. Флоренского. На погребении присутствовали, в полном составе, все члены правления округа во главе с начальником округа тайным советником С. Ф. Новомейским, члены технического совещания при управлении наместника его величества на Кавказе, некоторые из начальников работ отделений округа, приехавшие на похороны, тифлисский городской голова и некоторые гласные и много знакомых, друзей и товарищей покойного».

—

Некролог моего отца и С. Ф. Новомейского см. в: «Известия Кавказского отдела императорского Русского Географического Общества». Т. XX, 1909 — 1910 гг., № 2, стр. 5 — 7.

—

### ДЛЯ БИОГРАФИИ МОЕГО ОТЦА

1916.IX.12.

1875-й год (начиная с августа). «Железнодорожно-строительная горячка, оживленный интерес к фабричной промышленности, возникавшие чуть не каждый день проекты новых заводов и пр., все это вызвало огромный спрос на

книги по всем отраслям технологии и инженерных наук. В частности, в книжных магазинах Вольфа спрос на подобные книги доходил до таких размеров, что наличный персонал Вольфа, несмотря на усиленную работу даже в сверхурочные часы, не в состоянии был выполнить все требования. Каждую неделю из Лейпцига, Парижа, Лондона и Нью-Йорка приходили целые тюки книг и дорогих атласов по технологии и моментально раскупались как постоянными, так и случайными клиентами Вольфа. Бывали покупатели, приобретающие в одно посещение магазина технических изданий на 500 — 600 рублей. Иные покупали буквально все книги на разных языках, какие только были налицо у Вольфа, по той или другой отрасли. Из провинции поступали заказы на целые технические библиотеки. Многие покупатели обращались к Вольфу и его помощникам с просьбой помочь им найти такие сочинения, в которых они нашли бы какие-нибудь указания по интересующему их производству, о котором специальных трудов не существовало. Другие обращались за библиографическими справками относительно редких технологических сочинений и т. д.

Но Вольф был слишком опытным книжником, чтобы дать увлечь себя этому потоку интереса к технологической литературе, чтобы поверить в прочность этого интереса. Он предвидел, что горячка эта так же быстро пройдет, как и возникла... Вольф не ошибся: уже к концу семидесятых годов горячка в области техники в России улеглась, спрос на технические сочинения упал до обычной нормы...

**С. Ф. Либрович.** На книжном посту, Издание т-ва М. О. Вольф. П. и М., 1916, стр. 433 — 434, очерк «Последний».



### *АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ФЛОРЕНСКИЙ*

Об отце моем А. И. Флоренском Катя Хлуденёва, на основании почерка его, сказала (1916.VIII.4) следующее:

«Это другой совершенно человек (чем дедушка, И. А. Флоренский). Это необыкновенная мягкость, чуткость и какое-то самоотречение.— Широкость такая.— Все захватить бы, но вследствие этого — разбросанность. Душа вся изломанная. Бесшабашность. И, как Вы говорили (не о папе; я говорил о себе),— граничащая с дикостью. Гордый. Не потому что... А вот... Мог он соединить

как-то и прекрасное и отвратительное. Очень нервный. Предрасположение было к помешательству. У него Бог свой был совсем, и во всем он видел присутствие Творца.

Что это значит?

Ему что нравилось, то он и брал и наделял Бога такими качествами, какие были ему по душе. И вот, он на форму, на букву, на всяческое внешнее очень мало обращал внимания, и если же приходилось ему с этим иметь дело, все равно, он всегда переделывал все на свой лад. Для него не было людей маленьких и больших — и внутренне и общественно. Масса была данных, чтобы думать о себе более многих, но на самом деле он очень скромный.— Я бы сказала, что лень какая-то была. Вот, характер сдержанный и вспыльчивый. Друг всем и в то же время один. Очень деятелен, но деятельность любил разнообразную и быстро менял... Не мог очень долго работать в одном направлении, «любил» вперемежку, и чтобы все это выходило шутя, чтобы работа имела характер удовольствия. И как-то это и других заражало. Из самого скучного мог сделать очень интересное. Да и вообще во все, самое сухое и мертвое, он вносил живую струю.

Я бы назвала его веселым — неустрашимым. Ничем нельзя его было испугать. Вот, сквозь эту веселость и проглядывала какая-то неудовлетворенность, подчас веселость была и деланная,— чтобы другим было хорошо, но... отлично замаскированная. Он играть бы мог хорошо, совершенно входя в самые разнообразные роли, по надобности, но не злоупотреблял этим, а наоборот. Любил все красивое — природу, людей, вещи и души — одним словом, все. Мог как-то находить красивое всюду, в самом обыкновенном. Духовную красоту очень высоко ставил. Чувственная сторона тоже большое место занимала. Все это носило какой-то такой хороший оттенок.

Натура деда (Ивана Андреевича) менее культурна, чем отца (Александра Ивановича Флоренского), но сильнее, самобытнее, ярче — может быть, силою грубее, но... дед хуже, но мне (т. е. Кате Хлуденевой) он лучше нравится. У деда более чувства, а тут, у отца,— рассудок.

Отец похож более на свою мать (Анфису Уаровну), чем на своего отца (Ивана Андреевича)».



## О 70-х ГОДАХ

Они тогда знать не хотели ничего, кроме себя — потому что не признавали трансцендентного. Из себя хотели выпячивать, выставить Бога, и святуюню, и все. Всё хотели — не принять, как дар Божий, а создать. Вся их мысль «проективная», в смысле Н. Ф. Федорова, и недаром тогда содалась философия Федорова — суть тогдашних проективистических замыслов.

Власть — вот что дано нам, а не выпячивается из нас; вот что действует на нас, но не — мы. Это бесспорно, ибо в принудительности власти ее смысл. Власть — это на земле самое явно вне стоящее. Но тогда, в 70-е годы, ее — и то не признавали, даже мысли о ней не было, даже вопроса о власти не было. Думалось лишь об одном, как из себя все заново построить, насквозь имманентно. Поэтому отцов они, семидесятники, не признавали, быв сами себе, и отцам своим (у Федорова), и дедам — отцами. Сами они хотели быть отцами. Но они не умели и не желали быть сынами. Сами себе они были и отцами, и царями, и богами. Но в дар от Бога — отцов, и царей, и богов не признавали.

1917.VI.5. «Фауст» у моего отца был Евангелием, а «La cité antique»<sup>11</sup> Фюстель де Куланжа — Номоканон. Но это не мешало им считать себя родоначальниками нового человечества и потому — отцами, а не сынами.



1918.I.1. Понедельн[ик] вечером  
после заупокойной всенощной  
по Н. Ф. Каптереве  
Сергиев Посад

Стоял за всенощной, накануне погребения Н. Ф. Каптерева, при гробе его, и ставилась в сознании аналогия отношений Павла Николаевича Каптерева с ныне покойным его отцом и моих — с моим, тоже покойным. И стали припоминаться мне некоторые суждения папы обо мне и наставления мне.

Папа неоднократно говаривал мне, что не считает меня сильным ни в чисто теоретической, отвлеченной сфере, ни в сфере конкретной, а там, где «конкретное и абстрактное соприкасаются». В этой-то полосе их взаимного перехода папа ждал от меня чего-то нового и важного. Он неоднократно отмечал мне, что эта сила моя проявляется именно

так и в математике — в области, пограничной между анализом и геометрией, и в философии — на границе конкретно-научного исследования и отвлеченно-философского, на границе философии и науки.

«Ты,— говаривал мне папа,— сильно ошибаешься в своем стремлении к богословию. Ты — мистик, но ты не религиозен». Эту тему о моей мистичности, не вмещающейся в рамки никакого исповедания, он развивал мне много раз.

Другим — помню, например, моему учителю Самуилу Агаевичу Балагьянцу — папа выражал свое опасение, что из меня может ничего не выйти, потому что я с излишним жаром берусь за новую область, но потом оставляю ее, переходя к другой, и так — еще и еще.



1919. I. 18

Папа не любил, когда нищие просили у него на виду, при других, и часто сердился на них за это, и гнал их. Помню его притворно-сердитое: гёт, гёт, гёт! — т. е. уходи, уходи! Готов порой был даже вытолкать, лишь бы при других не дать подаяния.

Когда же думал, что никто его не видит, то всегда давал, но никогда медных монет, а всегда серебряную — 15 — 20 коп., а то и больше, т. е. несколько таких монет. Были определенные нищие, которые знали его и каждый день старались поймать на улице.

При мне, маленьком, он обыкновенно давал, но и то стеснялся моего присутствия.



БЕСПОРЯДОЧНЫЕ ЗАМЕТКИ К БИОГРАФИИ  
ЛЮБИМОЙ ТЕТИ МОЕЙ ЮЛИ  
(ЮЛИИ ИВАНОВНЫ ФЛОРЕНСКОЙ)

1918. III. 20 ст. ст.  
Вторник. Ночь  
Сергиев Посад

1. В записной книжке деда моего Ивана Андреевича Флоренского, среди других записей семейных событий, значится:

«24 июня 1848 года, в 3 часу пополудни (т. е. в ночь с 23 на 24-е) родилась дочь Юлия».

«16 июля день Ангела Юлии Ивановны Флоренской».

2. По словам матери моей, «тетя Юля училась рисованию сначала в Институте (т. е. . .) <sup>1</sup>, а потом — в школе Штиглица, один год».

У нас в доме, в Тифлисе, хранились, а может быть, и доньше хранятся в папке большие листы александрийской бумаги с упражнениями тети Юли в рисовании. Это, большею частью, геометрического характера узоры, типа паркетных полов и тому подобные, очень чисто покрытые одной-двумя красками желто-коричневого цвета и линиями, проведенными рейсфедером. Не знаю, какими бы показались эти рисунки мне теперь, но раньше представлялись верхом совершенства в своем роде.

3. Из Петербурга, на службу, папа уехал один. (Это было в самом конце 1880-го или, вернее, в начале 1881-го года.) За ним, вслед, поехала мама моя. Еще некоторое время спустя поехала и Юля тетя. Она оставалась на квартире в Петербурге и, следовательно, устраивала пересылку вещей. Свои драгоценные вещи — наследство матери — она везла с собою, в футляре. Но по дороге оказалось неудобным обращать внимание этим футляром, потому что футляр был велик. Тете Юле пришлось выбросить его на дорогу, а вещи взять в карман. Поэтому они помялись. (Рассказ мамы моей.)

4. Тетя Юля охотно и часто рассказывала мне (и отчасти — Люсе) о своем общении с семьею Пекок, и с ее слов я из детства привык относиться к Пекокам, как к самой близкой и любимой родне. Пекоки брали по праздникам к себе тетю, и здесь она играла с дочерью их Алиной, к которой была очень привязана. Меня особенно поражал и пленял ее рассказ о большой кукле, **Кларе** по имени, которую они наряжали. Когда же «Бабушка», т. е. Александра Владимировна Пекок, прислала нам из Москвы большую куклу с головою из папье-маше, мы с Люсей, вероятно не без внушения тети Юли, решили непременно назвать ее **Кларой**, в память о той Кларе, счастливых и великодушных (— как нам казалось тогда; увы, после я увидел, что эти времена отнюдь не были ни великодушны, ни счастливы для милой моей тетички —) времен.

5. По словам Зинаиды Ивановны Флоренской, по мужу — Струковской, тетя Юля была в Москве в пансионе Добринской, теперь на Тверском бульваре, а раньше на [...] <sup>2</sup> улице.

Кончила Институт тетя Юля в год смерти деда, т. е. [в] 1866 году, а потом поселилась у мачехи своей Елизаветы Владимировны Флоренской, в девичестве Ушаковой, и здесь учила своих сводных сестер и брата.



«Студенческая газета» 4 ноября 1906 года, № 9. Рассказ А. Згурского (Рим-Ма) «Увидшая весна» («Посвящается Ю.И.Ф.»). Тут изображена девушка, удивительно похожая на тетю Юлю (Ю.И.Ф.). Кто автор этого рассказа?.. И мне кажется, что-то подобное было и с тетей Юлей.

Контора и редакция газеты: Москва, Петровка, д. Кобанова.



Мама говорила на мое сообщение об этом рассказе, что с тетей Юлей действительно что-то подобное было, когда мы жили в Евлахе. Действительно, по ее словам, была поездка на лодке, в ночную пору. Ездившим с тетей Юлей был какой-то молодой инженер, работавший при папе, б[ыть] м[ожет], практикант, по фамилии Монастырский или Монастырев. Действительно, кажется, фамилия его начинается на М. Но как его звали? «Р.М.»? Мама не знает.



*«ХАРАКТЕРИСТИКА КАТИ ХЛУДЕНЕВОЙ Ю.И.  
ФЛОРЕНСКОЙ НА ОСНОВАНИИ ЕЕ ПОЧЕРКА.  
1916»*

«Почерк похож, есть буквы, которые тождественны, но в другом роде. Тут уж пошли разные экивоки. Вот видите ли: натура очень страстная. И все они складывались как-то так, что удовлетворения не получалось настоящего никогда».





РАССКАЗЫ ЛИДИИ ИВАНОВНЫ, ЗИНАИДЫ  
ИВАНОВНЫ  
И ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ФЛОРЕНСКИХ\*

1916. VI. 24 и 25. Москва

1. В Благородном собрании потерял фермуар или колье Юлею тетею. Ночью его искали, зажигали спички, кажется, даже плакали с Елизаветою Владимировною.

2. Обручальное кольцо деда, которое было у Елизаветы Владимировны, — находится теперь у Зинаиды Ивановны Флоренской. На нем надпись:

1854 г. 24 Августа. Elise.

Другое кольцо принадлежало Лидии Ивановне, но пропало: его одолжила Лидия Ивановна одному ч[еловеку] — для ломбарда, а он не дал квитанции. На нем была надпись:

1854 г. 24 Августа. Jean.

3. В 1866 г. в сентябре месяце, 5-го числа — в день рождения Владимира Ивановича Флоренского и именин Елизаветы Владимировны Флоренской, матери его, вся семья выехала с Кавказа в Москву.

4. В семье Струковских сохраняются еще два ушаковских носовых платка — т. е. Владимира Ивановича Ушакова, отца Елизаветы Владимировны. Они — шелковые, винного цвета, почти квадратные, 1½ аршина сторона (!).

5. По приезде в Москву остановились Флоренские сперва у тети Саши (А[лександр]ры Влад[имировны] Пекок); они, Пекоки, жили в доме Дессарио на Гороховом поле, напротив Елизаветинского Института, на углу Кирочного пер., недели две (2). А потом в этом же Кирочном пер. нашли квартиру в доме Петрова и там жили, должно быть, зиму, а к лету выехали на квартиру в доме Кацари на Гороховом поле, Гороховская улица.

6. После того 2 или 3 года жили вместе, а потом расстались.

7. У всех членов семьи Флоренских были длинные пальцы и малые руки (небольшие).

8. В Сердоболе можно узнать из Купеческой управы

---

\* №№ 1—58 по преимуществу рассказы Владимира и Лидии Ивановны. 1916.VI.25

№№ 59—(11) рассказы Зинаиды Ив[ановны] Флоренской. 1916.VI.24

относительно происхождения Ушаковых. Как называются в Финляндии подобные учреждения?

9. Владимир Иванович Ушаков, отец Елизаветы Владимировны, приписался к купечеству, потому что надо было куда-нибудь приписаться. Но он не торговал и не имел к купечеству никакого отношения, кроме того, что значился в купеческом сословии.

10. Прасковья Марковна перед смертью, в бреду вспоминала всю жизнь свою и говорила, между прочим, о свадьбе Елизаветы Владимировны: «Церковь вся освещена. Она (т. е. Елизавета Владимировна) стоит, как куклолка. А у нас все уже приготовлено». (Погребена она в Московском Алексеевском монастыре, 2-й разряд; а рядом с нею похоронены Елизавета Владимировна Флоренская и сын ее, сводный брат моего отца Владимир Иванович Флоренский. 1917.XI.6.)

11. Дед «любил ужасно музыку и пение». Елизавета Владимировна играла ему тогда модную пьесу — «Бой гладиаторов».

12. Александра Владимировна Пекок вышла замуж по любви. Но в то же время она всегда мучилась, думая, что Готлиб Федорович, муж ее, еврей. По тогдашним понятиям это было бы ужасно. Кажется, однако, евреем он не был.

13. У Александры Владимировны были письма к ней Анфисы Уаровны Соловьевой, моей бабушки. Зинаида Ивановна Флоренская говорит, что письма эти были очень интересны. В одном из них, написанном перед свадьбой А[лександр]ры Владимировны, Анфиса Уаровна умоляет ее обдумать свой шаг, т[ак] к[ак] выйти замуж без любви — ужасно.

14. Анфиса Уаровна была миниатюрная, хрупкая шатенка; роды Александра (отца моего) стоили ей жизни, т[ак] к[ак] она была слабого сложения.

15. Выехали с Кавказа Флоренские в громадном экипаже, который стоил 500 р.; а потом, в Москве, его было некуда деть, обивку поела моль, и его продали за 14 р., и были рады, что продали. В нем было множество ящиков, обит он был кожей, были рессоры. Везла его восьмерка (8) лошадей. Может быть, это был тот самый экипаж, в котором ездил ранее дедушка (Ив[ан] Андр[еевич] Флор[енский]) со своими детьми, когда был вдовый.

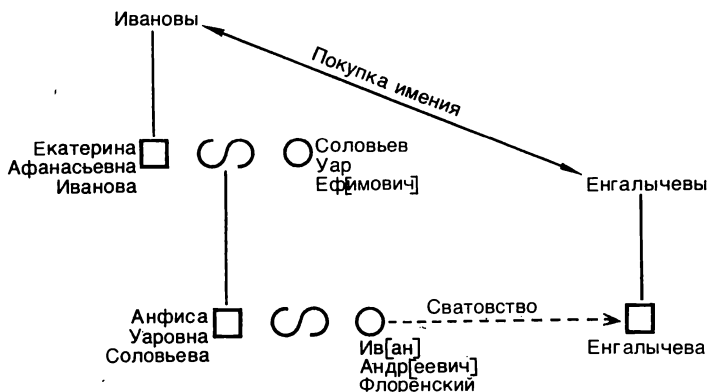
16. Деду полагалось 4 денщика и 1 вестовой для поездок. Дед был главным врачом.

17. Хозяйство у деда на Кавказе было большое: лошади, коровы, овцы, птица; вели огород. У сына его Владимира Ивановича был осел. Жили с комфортом. Дом был казенным. Большая очень квартира, с садом, а из сада ход в общественный сад, где всегда музыка играла. Вестовой отправлялся во Владикавказ за куклами и конфетами.

18. Ив[ан] Андр[еевич] Флор[енский] умер ровно через месяц после именин Зинаиды Ивановны, 11 ноября. В этот день именин он был очень весел, потребовал шампанского.

19. Ив[ан] Андр[еевич] Флор[енский] играл в карты, чтобы не отличаться от других, но к картам не был привязан. Он не обращал внимания на выигрыш, но сам очень аккуратно платил карточные долги. Векселя других же — разрывал. После смерти его NN пришел и разорвал свой вексель на 600 р.

20. Ив[ану] Андр[еевичу] Флор[енскому] сватали в Москве княжну Енгалычеву. (Как ее звали?) \* Она имела свой дом против армянской церкви в Грузинах. Взяла у деда (Ив[ана] Андр[еевича] Флор[енского]) она 10 000 р., а потом, когда дело со свадьбой расстроилось, т[ак] к[ак] она (княжна) не понравилась деду и он предпочел жениться на Елизавете Владимировне Ушаковой, Енгалычева пришла к нему и в разговоре порвала свой вексель, как бы в рассеянности.



\* К № 20 «Московские Ведомости», 13 августа 1916, № 187. «12 августа, в 10 час. утра кн. А. Н. Енгалычева проезжала в пролетке легкового извозчика кр[естьянина] А. Рыжакова по Каланчевской ул., где на экипаж наскочил вагон трамвая за № 377. Пролетка разбита, а выброшенная на мостовую кн. Енгалычева получила тяжелые ушибы».

Князь Енгальчев купил имение Ивановых Василёво в Клинском у[езде] — странное совпадение или это объясняется именно просто сношениями Ивановых, Енгальчевых и Ив[ана] Андр[еевича] Флоренского, женатого на внучке Иванова.

О продолжении человеческой жизни, или домашний лечебник, составленный из лучших отечественных и иностранных писателей князем Парфением Енгальчевым, в 6-ти частях, М., в Университетской типографии. 1833 г., изд. 5-е, испр. и дополн.— П. Ф.

21. Дед курил не трубку, а вертуны. Поедет, бывало, во Владикавказ, выберет табак в курдюках фунтов по 10, сделает папиросы в мизинец толщины. Владимир Иванович раз забрался 6-ти лет к отцу, щепотку утащил и приспособился курить. Во дворе было «отделение», будочка. Там и хранились запасы. А раз случилось, что он закурил в комнате, заснул с папиросой, прожег одеяло, и поэтому узнали, что он курит. А стали искать и потом нашли склад в «отделении».

У деда были черешневые мундштуки, в которые вставлялись вертуны.

22. Дед любил заниматься чтением. Есть его пометки на книгах. На географических картах он делал поправки и дополнения, намечая, например, новые дороги и т. д. Карты его сгорели в 1906 г.

23. Дед был в Крымской кампании как врач, а потом перешел в Темнолесск в Донской полк.

24. Глаза его были бледно-сероватые, слабые. Часто он надевал каркас зеленой материи, потому что постоянно занимался, много читал, рылся в книгах. Собирал громадную библиотеку, книги, атласы. Выписывал [...] <sup>1</sup> «Ведомости», сказки Андерсена, журнал «Медицинские известия», ноты, гравюры из-за границы. Выписывался музыкальный журнал «Le Val».

25. Цвет лица светлее, чем у моего отца (А.И. Фл[оренского]), но от жары загорелый. Румянца почти не было заметно. Был не полный, но кость широкая; толщиною же не отличался, был худой.

26. Мундир чисто черный и белые кителя; эполеты, канитель, пуговицы — серебряные. Орден Станислава красный, сердоликовый, медаль бронзовая.

27. По сообщению Людмилы Ивановны, Конкордий Уарович Соловьев (брат Анфисы Уаровны, первой жены

деда) приезжал к деду в Ардон уже во время второй женитьбы. У Конкордия была семья, но незаконная. Впрочем, это под вопросом.

28. Катерина Афанасьевна — моя прабабушка, была крестною матерью Елизаветы Владимировны Ушаковой, второй жены моего деда, по сообщению Лидии Ивановны.

Катерина Афанасьевна была очень добрая и хорошая старушка; но жила очень несчастливо в семейной жизни, т[ак] к[ак] муж ее открыто жил со Львовой (М.А.). Сын Львовой служил в Петрограде и был чем-то значительным по службе.

29. Папа (А.И. Флоренск[ий]) был привезен маленьким и прожил целый год у Елизаветы Владимировны Ушаковой, когда она была невестой.

30. Тетя Юля была в пансионе Добринской, теперь на Тверском бульваре, а раньше на другой улице.

31. Об исключении папы было в газетах. Семья Флоренских прочитала об этом в «Современных Известиях» Гилярова-Платонова. Елизавета Владимировна узнала об исключении, а вскоре приехал папа. Гиляров-Платонов был братом священника Афинского. Исключен же папа был за то, что директора Желиховского было решено избить, и жребий пал в числе других четырех и на папу:

32. В «Истории Русской» Иловайского есть упоминание в примечании о шляхтичах Флоренских(?).

33. В год смерти деда тетя Юля кончала институт. А потом поселилась у Елизаветы Владимировны, мачехи своей, и учила детей, своих сводных братьев и сестер.

34. Дед всегда смеялся, что он — ровесник Александру II. 22-го сентября его рождение, а 23-го именины. — В Ардоне могилу его найти легко.

35. Дед говорил, что у него был брат, который рано умер.

36. Дед был очень угрюмый, несообщительный.

37. Дед был в семинарии наказан только раз за все время пребывания в семинарии и то за то, что ученик его не знал урока.

38. Дед любил ужасно музыку, даже сам начинал учиться у Елизаветы Владимировны; она написала ему нотную азбуку для учения.

39. Дед постоянно пил содовую воду из большого гра-

неного стакана. Этот стакан хранился потом у Елизаветы Владимировны, но погиб в 1905 г.

40. Дружен был дед с Богдановым \*. Этот Богданов говорил на 14-ти языках и был очень образован. Он служил в полку, где и дед. Богданов был незаконным сыном кого-то из высокопоставленных лиц, что видно и по фамилии его. Был в Воспитательном Доме, но на него была положена сумма и на нее он воспитывался. Его преследовал один из начальников, Гомблян. Богданова женили поскорее на одной немке, и он был в семейной жизни очень несчастлив. Жена его была очень грубая, скверная, необразованная немка. Были у Богданова две дочери. Одна — любимица матери, а другая — отца. Звали одну из дочерей Софией. Богданов скоро умер.

41. У тети Юли был образ Конкордия и Димитрия в серебряной оправе по краям, а святые с венчиками. Образ был у тети Саши (Александры Влад[имировны] Пекок).

42. Была фотография тети Юли, тети Кати и папы кабинетного размера.

43. Варвара Ивановна училась музыке у матери и у Гензельта. Она играла в институте, и удивлялись, что такими маленькими ручками так играет.

44. Елизавета Владимировна играла в Черняевском институте \*\* и производила фурор. Почти до самого замужества брала она уроки у Старикова (?), а Стариков — ученик Фильда \*\*\*. У него же, Старикова, училась и Александра Владимировна (тетя Саша).

Оба Гурилева, отец и сын, были знакомы с Ушаковыми. Молодой Гурилев был влюблен в свою родную сестру,

---

\* К 40. В списках однокурсников деда Богданов не значился. Очевидно, он или из друго[го] университета, или другого выпуска. В записной книжке деда моего, среди весьма немногих записей семейных событий, самых близких сердцу деда, значится между прочими, на предпоследнем месте: «Марта 21 в 8 часов вечера 1851-го скончался Викентий Карлович. (Заболел, т. е. [...] <sup>2</sup> марта 3 дня)». Кто такой этот «Викентий Карлович»? — очевидно, человек, весьма близкий сердцу деда. Не Богданов ли? В отрывке письма г-жи N к Ив[ану] Андр[еевичу] Флоренскому говорится: «Он еще знал Вик. К.», — очевидно, это Викентий Карлович.

Поискать фамилию Богданова у Ширкова и др. в адресных книжках и в адрес-календарях. Вик[ентий] Кар[лович] может быть и полков[ым] командиром.

\*\* Усачевско-Черняевское училище на Девичьем поле. Закрытое, замкнутое. — Инспектором там Шульгин.

\*\*\* Фильд давал уроки в Отраде у Орловых. Гр[аф] Вл[адимир] Орлов-Давыдов. — Биогр[афический] очерк гр[афа] Вл[адимира] Гр[игорьевича] Орлова. СПб., 1878, т. 2, стр. 281 — 2. Еништа. Свящ. Ал[ексан]др Евлам[пиевич] Покровский.

и все переживали перипетии этой истории. Было два молодых братьев Гурилевых и один старый Гурилев, их отец. Сын, влюбленный, ходил бледный, послушный, худой.

44'. Ушаков Владимир Иванович, играл на трех инструментах — виолончели, скрипке и флейте.

45. Тетка Александра Владимировна была красавица; она была замужем за крестьянином.

46. У Ушаковых была какая-то прабабушка немка \*.

47. Лидия Ивановна Флоренская, сводная сестра моего отца, семь (7) лет давала уроки в немецком пансионе Гольд, а потом Шписс на Лубянской площади. Но с детства она ненавидит немцев.

48. Александра Владимировна никогда не относилась хорошо к детям Елизаветы Владимировны, сестры своей, не ласкала их. Только под конец жизни она стала любить Лидию Ивановну. Но Лидия Ивановна уважала ее за отношение ее к своему мужу. Александра Владимировна зарабатывала средства во время путешествия с мужем. Алекс[андре] Вл[адимиров]не было тяжело, но она не жаловалась; но раз призналась даже, что хотела разойтись с Готлибом Феодоровичем.

49. Александра Вл[адимиров]на всегда говорила Лидии Ив[анов]не, что теперь таких врачей нет, как «твой отец (И в [а н] Андр [севич] Фл [оренски]й) и Соловьев» (У ар Е ф имович).

50. Александра Вл[адимиров]на не хотела, чтобы видели ее дочь за границей. Одна из знакомых ездила за границу, но Алины не видела, т[ак] к[ак] А[лександр]а В[ладимиров]на дала ложный адрес.

Алина была в театре Scala в Милане. Когда Островский был директором театра, то хотел пригласить Алину, но он умер, и приглашение не состоялось. Играла Алина очень хорошо, но лицом была очень нехороша, походила на отца. Она была умна.

51. Алина получила ангажемент в Америку, но ей родители отсоветовали.

52. Уехала за границу Алина потому, что <sup>3</sup>

---

\* Полагаю, что речь идет о Елизавете Ивановне Стакельберг (\*1741, † 7 сентября 1817 г.), жене графа Владимира Григорьевича Орлова (\*2 июля 1743, † 28 февраля 1831 г.), от какового брака родился граф Григорий Владимирович Орлов (\*1778, † 23 июня 1826 г.), отец Владимира Ивановича Ушакова.

53. Готлиб Федорович пел посредственно; он был прекрасный преподаватель.

54. Алина очень хорошо относилась к Елизавете Владимировне. Уезжая, она говорила ей, что ей не хочется ехать, но что она исполняет волю родителей.

55. Родители ее очень берегли. Она училась в гимназии. Родители наняли квартиру **напротив** гимназии. Но все же ее провожала прислуга, а мать смотрела в окно, как она дошла. (Она была дружна с Эдельман.) И вот, совершенно непонятно как, ее пустили одну в Италию.

56. **Пекок** были абонированы в италянскую оперу. Мать ехала с нею, а сзади ехал отец.

57. Готлиб Федорович **Пекок** открывал частную Консерваторию в Богословском переулке на [...] <sup>4</sup>. В квартире было 10 комнат. Говорили, что дело пойдет, но ничего не вышло.

58. Александра Вл[адимиров]на страшно любила музыку, но не было рояля. Она от этого очень страдала.— На Бутырках...<sup>5</sup>

59. Из числа товарищей деда, Ив[ана] Андр[еевича] Фл[оренско]го, Зинаида Ивановна слышала от него фамилии: Александровского, Горбацевича, Домбровского, Шнауберта, Яворского \*.

60. **Де-Тейльс** — испанка, росла и воспитывалась в доме дяди (?) своего, Афросимова, московского губернатора. Она имела какое-то отношение к Дурново и Ладыженским. Один из де-Тейльсов был приставом Тверской части в Москве \*\*.

61. [...] <sup>6</sup> де-Тейльс вышла замуж за священника.

62. Имение Ушаковых-сестер — **Выгорки**, ст[анция] Ясенки, недалеко от Ясной Поляны (Крапивенского уезда Тульской губ[ернии]) (Антонина и Лидия Ушаковы).

\* К 59. Осип Горбацевич  
Рихард Домбровский  
Николай Шнауберт  
Иван Яворский

Свокоштные студенты, однокурсники моего деда Ив[ана] Андр[еевича] Флоренского, выпущенные одновременно с ним.

Федор Александровский — тоже однокурсник моего деда, казеннокоштный студент, выпущенный одновременно с дедом. Сам дед был казеннокоштным.

\*\* К 60. «Игнатия Антоновича де-Тейльса Новиков рекомендовал для принятия в мasons в Петербургский капитул: «Он человек, по всему заслуживающий наисправедливейшим образом эту честь; он же вам совершенно годится». См. *Ешевский*. «Московские мasons» («Русск[ий] Вестник»), 1865, т. 65, стр. 31». (В. И. Семеников). Раннее издательское общество Н. И. Новикова.— «Русский библиофил», 1912, V, стр. 39, прим. 2 и др. места о де-Тейльсе.



(Им написано мною 1916.VI.23, но ответа не получено.)

63. Лидия Ив[анов]на говорила, что Катерина Афанасьевна Соловьева жила очень печально.

64. Львовы были очень важные бары, имели большие средства. Барыня осталась вдовою. Один из сыновей ее был глуповат и все же занимал положение высокое. Львова была бойкая. Звали ее — Мария Александровна. Львовы — не князья.

65. Елизавета Владимировна была на короткое время в Черняевском Институте воспитанницей, но вскоре взята обратно. Там она прославилась своей игрой.

66. «Ох, болит» было написано стариком (?) Гурилевым для Елизаветы Владимировны, но в печати этого романа нет. Ноты эти, рукописные, сгорели в 1905 г. Этот роман был прекрасно написан, с массою вариаций.

67. Людмила Ивановна Флоренская † 1903, 10 дек[абря].

Она была отзывчивее к несчастью, чем к счастью, где было плохо, она являлась. Она очень понимала несчастных, но она плохо понимала счастье.

68. Венчался дед мой Ив[ан] Андр[еевич] Ф[лоренский] 2-м браком в церкви Успения на Могильцах (там поискать документы) (24-го августа 1854 г.).

Жили все на Арбате, где-то в переулках.

69. Егор Васильевич Чельцов \* прекрасно знал Ушаковых. Сын его Василий Егорович, председатель Серпуховской Управы, недавно †. У них в семье могут быть документы, письма, у дочери Чельцова — Александры Егоровны Чельцовой (Серпухов).

(Написано ей 1916.VI.24. Получен ответ. Ничего не знают.)

70. Ив[ан] Андр[еевич] Ф[лоренский]. Волосы светлые, каштановые, он был шатен. Глаза серые.

Служил он в казачьем — в Донском полку. Воротник у него серебряный. Эполеты: висюльки — серебряные. Португезя серебряная, мундир черный.

Румянца у него не было на лице. Брови нависшие немножко. Пуговицы серебряные, как гимназические. Лицо сероватое, не смуглое; снят он к 50-ти годам († 49 лет), седой не был, усы темные. Дед болел две недели. Странно, говорили, что он болел холерой. А м[ожет] б[ыть], за-

---

\* У меня имеется родословная Чельцовых.

ражение крови. Но «по холере» пенсион был особенно выгодный.

71. Екатерина Афанасьевна пила от горя, так как связь ее мужа со **Львовой** \* была нескрываема. Обе семьи, и Соловьевых и Львовых, росли заброшенными.

72. Семьи Соловьевых и Ушаковых жили, «как мы», (т. е. Флоренские-Струковские), без знакомых. Но потом входит много купеческих знакомых — **Лепешковские, Прохоровы** (у них давала уроки музыки Елизавета Влад[имиров]на Ушакова).

У Александры Влад[имиров]ны было много знакомств, совсем необъяснимых ее скромным происхождением. «Прежде мне,— гов[орила] Зин[аида] Ив[анов]на,— казалось, что она прибалтывает».

73. З-ья (незаконная) супруга Ивана Андр[ееви]ча Флоренского (деда) была в девичестве **Флорен<sup>и</sup>ская**, а в замужестве была за полковым командиром того же полка, в котором служил дед, т. е. Донского Казачьего, она была легкомысленная барыня и вела себя не очень хорошо, но у деда было к ней серьезное чувство.

74. Муж Лидии Анатольевны (Ушаковой в девичестве) служит в Серпухове.

75. В церкви в Отраде венчалась бабушка Зинаиды Ив[анов]ны, **Матрена**. Они куда-то ездили в церковь, в село Отрада под Серпуховом.

76. У **Чельцовых** было имение Каменево под Серпуховом. Оно досталось сыну. У них можно узнать. По своему времени Чельцов был довольно заметный человек. Чельцов-сын женат на сестре попечителя округа Павла Алексеевича Некрасова. Он с ней не жил, разошлись, а детей разделили.

77. Какое отношение имеет Серпухов к Пушкину? (Новосильцовы, Ушакова?)

78. **Ушаковы** брали паспорта из Сердоболя.

79. Надо бы найти Митрофана Анатольевича Ушакова (писал одному такому по адрес-календарю московскому («Вся Москва»), получил ответ, но он оказался не тем, за кого я его счел).

80. Мать его, Над[ежда] де-Тейльс, была очень славная, добрая. Отец же возмущал своим ханжеством. Ему много говорила Зин[аида] Ив[ановна] грубого.

81. Сестра Надежды де-Тейльс — Варвара — была замужем за Вахтен<sup>и</sup>ом.

\* Мар[ия] Александр[овна].

82. Де-Тейльсы все были дегенератами. Та семья — Варвары — была ужасная сказочно. Сыновья извозничали и грозили убить мать. Дочь под пьяную руку повенчалась с извозчиком в СПб., третья — торговала босая гнилыми яблоками в Одессе; ею пленился там один мировой судья.

83. У Надежды де-Тейльс были грубые черные волосы до полу, оливковый цвет лица, длинный нос, зеленовато-черные глаза, тонкие губы, сухощавая высокая фигура. Она была веселая, разбитная, пела. Анатолий, ее муж, был громадного роста.

84. Панафидины<sup>(о)</sup> — старинные тверские дворяне. Фамилия Панафидин или Понафидин — испорченное Buonafide — прозвание предка их. К этой семье принадлежит муж Варвары Ивановны Флоренской. † на войне в 1919 г. (?)

85. К Анатолию Ушакову было отношение Михаила Логгинова. От жены Логгинова он имел ребенка — дочь. Она вышла замуж за князя какого-то, имела значение при дворе, т[ак] к[ак] была фавориткой какого-то Великого Князя, и это делало ей карьеру. Она выдвинулась, однако, не по мужу, а сама по себе, была очень красивая.

86. Фамилия Третьяковых. Павел Петрович и Александр Иванович знали Владимира Ивановича Ушакова и обе семьи — Ушаковых и Соловьевых. У них можно бы узнать о тех и других \*.

NB

Третьяковы жили в Москве. Третьяковы — интеллигентная семья, дворянская, детей у них не было.

87. У Чельцова был дом на Плющихе, собственный.

88. У Елизаветы Владимировны Ушаковой-Флоренской характер был властный. В ее жизни было масса тяжелого.

89. У Александры Владимировны Ушаковой-Пекок голос был контральто; она одевалась хорошо, очень заботилась о наружности; [...] <sup>6</sup> Александра В[ладимиров]на всегда говорила с подчеркиванием о себе, о своем происхождении. «Кто-то из нас, девиц, раз сказал: «Что же, мы были мещане». Боже мой, как она напустилась на нас». Она всегда имела абонемент в Большой театр.

90. С Зинаидой Ивановной училась в Институте Смольном некая девица, вышедшая потом замуж за Флорентинского. Муж ее был земским начальником в Минской

\* Николай Иванович и Анна Ивановна Третьяковы. М[осква], Б[ольшая] Полянка, Старо-Монетный пер., д. 33. Сослаться на Нат[алию] Алекс[еевну] Киселеву. Написал сюда запрос 1918. VII. 1.— Ничего не знают.

губернии, а свекор ее, Флорентинский Владимир Николаевич, был присяжным поверенным в **Борисове** Минск[ой] губ[ернии]; лицом похож он на Амфитеатрова. Он и вся семья его — странные, актеры. Какая-то у них связь с Нижним Новгородом. Как судья, он очень порядочный. (Написано ему, получен предварительный ответ, но дальнейшего, обещанного, не получалось.)

91. Василий Андреевич Флоренский, брат деда, был учителем; он умер молодым, от чахотки. Это — наверное. Дед Иван Андреевич сам вспоминал, что мать его при ректоре семинарии говорила, что сын ее Иван Андр[еевич] более подходит для светской карьеры.

92. **Николай Иванович Ушаков**, брат деда Зин[аиды] Ив[анов]ны, т. е. Владимира Ив[анови]ча Ушакова, был учителем рисования в **Екатерининском Институте** \*. (Не Елизаветинском ли?) Это именно он нарисовал карандашом своего брата Влад[имира] Ив[анови]ча (овальная миниатюра, у меня есть фотограф[ический] снимок с нее, а подлинник принадлежит Струковским). У Елизаветы Владимировны Ушаковой-Флоренской были его картины, но все они сгорели в 1905 г., когда был разгромлен дом на Пресне, в котором она жила.

93. В Ардоне жили **Воскресенские**, это их девичья фамилия. Они могли бы дать сведения о деде. Из церкви можно узнать оба их адреса. **Нила Петровна Воскресенская**, 2-я дочь, может быть и в Ардоне. Старшая сестра **Марья Петровна** жила в Москве, замужем. Воскресенские, оказывается, знали Флоренских, нашу именно семью (тифлисскую), и характеризовали как семью замкнутую и дружную. Одна из сестер была в Тифлисе. (Написано в Ардон им, но ответа не получено.)

94. **Варвара Ивановна — Панафидина** по мужу. Вооб-

---

\* «Московское Училище ордена св. Екатерины. 1803 — 1903 гг. Исторический очерк. Составлен по поручению Совета Училища Комиссией преподавателей под общей редакцией инспектора классов **В. А. Вагнера**. Москва. 1903. (Эта книга есть у П. Н. Каптерева). 11+560 стр. На стр. 364 — 368 помещен составленный К. А. Касаткиным очерк истории преподавания рисования, но весьма краткий — по недостатку хранящихся в институтском архиве материалов; на стр. 369 приводится и список преподавателей рисования и чистописания, но имени **Николая Ивановича Ушакова** ни там, ни тут не значится. Однако это не свидетельствует о ложности семейных преданий, ибо, по указанию составителя, «самый перечень преподавателей неполон» (стр. 369, прим. 1); «известно лишь, что первоначальное число часов на преподавание этого предмета (рисования) было значительное, чем теперь, и что одно время было двое преподавателей по этому предмету» (id.).

ще она живет в Москве, девочки ее учатся в гимназии. А сейчас — в Гороховце, у сестры своего мужа. У Варвары Ив[анов]ны девочки две: Татиана, 18-ти лет, и Ксения — 16-ти.

95. Дедушка Ив[ан] Андр[еевич] Ф[лоренски]й часто переписывал слова для романсов, стихи. Стихи, что находятся сейчас у меня, написанные на розовой бумаге, написаны им же (?) [...] <sup>7</sup>, Лермонтова «Любовь мертвеца».

96. Вл[адимир] Ив[анович] Ушаков производил впечатление интеллигентное и жена его — тоже.

97. В семье Струковских все события — в сентябре: рождение 1-го сына, свадьба, смерть... Умирают все родные 10, 9, 8 чисел, но разных месяцев.

98. Надо было устроить формальности для перевозки тела Люд[милы] Ник[олаевны] <sup>8</sup> Ф[лоренск]ой-Струковской. Шипицын, редактор [«Сибирского вестника»], выпросил подробности смерти для некролога — в местной газете. Некролог появился. Когда Струковский, Иван Анастасиевич, был в Петрограде, то виделся с Петровым, Григ[орием] Спиридон[овичем], в 1904 г. и передал ему об этом и указал на некролог. Через некоторое время почти в том же виде, в каком потом было изложение в брошюре Петрова «Божии свечи», появился в «Русском слове» фельетон его. Но и фельетон и брошюра очень неудачны. Шипицын охарактеризовал Людмилу Николаевну гораздо лучше.

99. У Елизаветы Владимировны Флоренской было много нот, дед Ив[ан] Андр[еевич] Ф[лоренски]й в этом отношении был щедр. Они хранились у Зинаиды Ив[анов]ны, а у нее их растащили — она раздавала, а ей не возвращали. Ноты были: Даргомыжского, Варламова, Гурилева, Глинки, Дөрфельта, Алябина <sup>9</sup>. Учителем Елизаветы Владимировны был Гурилев-отец; а сын Гурилев был ее сверстником.

100. Анфиса Уаровна играла посредственно, а две Ушаковы, Елизавета и Александра, — выдавались. Александра Владимировна играла у Флоренских последний раз, когда Владимир Иванович Флоренский, племянник ее, женился. Елизавета Владимировна играла по-настоящему хорошо Моцарта, Бетховена...

101. Ив[ан] Андр[еевич] Ф[лоренски]й приезжал в Москву, собираясь жениться на княжне Енгальчевой, которую ему сватали, но она ему не понравилась, и он женился на Ел[изаве]те В[ладимиров]не Ушаковой. Дом

Енгальчевых был в Грузинах, против Армянской церкви. (Как ее звали? Узнать по адрес-календарю Москвы.)

102. Елизавета В[ладимиров]на была очень суровая, никогда не целовала своих детей; но когда она привезла своих детей в институт и начальница предложила отдать Людмилу Ив[анов]ну в Разумовское, в малолетнее отделение Николаевского Института, то Елиз[аве]та В[ладимиров]на возмутилась, как смели ей предложить отдать от матери маленького ребенка. Еще случай, в котором выразилась ее любовь к детям, оставшийся в памяти Лидии Ивановны. Лидия Ивановна была больна, в жару, и мать думала, что она в бессознательном состоянии. И вот она стояла пред нею на коленях и целовала ей руки. Когда хвалили детей, то она опровергала похвалы и отзывалась о детях пренебрежительно.— Но о чужих заботилась. Так, под свое покровительство взяла дочь полкового священника Вознесенского. Юлию (И в а н о в н у) вывозила на вечера, хотя терпеть не могла выездов и своих девочек не вывозила никогда. Однажды ночью, вспоминает Лидия (и ли З и н а и да) Ивановна, она, Лидия Ив[анов]на, проснулась: Елиз[аве]та Вл[адимиров]на и Юлия (т е т я Ю л я) шушукуются; оказывается, Юлия потеряла фермуар или брошь своей матери. Вообще Елиз[аве]та В[ладимиров]на очень терпеливо выезжала. С Юлией Ел[изаве]та В[ладимиров]на была мягче, чем со своими собственными дочерьми, так «как» тогда она была моложе и мягче, а потом стала суровее.

102?. Отрада было Орловых-Давыдовых, а почему-то Новосильцова. В семье Ушаковых была какая-то особая гордость, несколько не оправдываемая положением. Когда Елиз[аве]та В[ладимиров]на выходила замуж, сирота, без приданого, за Ив[а]на Анд[реевич]а, тогда уже ч[елове]ка с положением, то знакомые говорили, что только нищих плодить. Всегда поражало в Ушаковых соединение незначительности и сознание своего достоинства.

Что-то соединяло Соловьевых и Ушаковых, и даже с отцовской (И в [а н а] Анд р [е е в и ч а] Ф л о р е н с к о г о) фамилией. Надо порыться в имени Ушаковых, в письмах.

103. Ив[ан] Анд р [е е в и ч] Ф [лоренски]й был очень живой человек до конца дней своих.

104. Зинаида Ив[анов]на помнит (ей было тогда 3 года), как открыли гроб ее отца и как стоят на краю могилы и тащат ко гробу ее и грудную Людмилу Ивановну. Она

и вся семья были в это время больны холериною. Елизавета Вл[адимиров]на — тоже.

Зин[аи]да Ив[анов]на помнит также, как ставили отцу ее пивяки. А она ему говорит: «Когда ты подынешься, то купи побольше каштанов, ты обещал». Помнит еще: Варя ревела, ее увели, а сама она (З и н[аи]да И в[а н о в]н а) — нет. Помнит странное соединение мундира с орденами и туфлей — в гробу, помнит звон ножей и вилок, музыку... Помнит, как она подбежала к нему, когда никого не было, и открывает ему глаз левый, думая, что от этого отец ее воскреснет. На щеке у него была слеза. Помнит еще: кладбище. Кладбище почти не отгороженное. Плита на могиле отбитая. Приходят черкешенки, с обнаженной грудью, дают детям (Флоренским) красные яйца, а дети кладут на могилу.— Плиту эту везли по дороге и разбили.

105. Прадед мой Уар Ефимович Соловьев погребен на Ваганьковском или на Даниловском кладбище (на этом последнем могилы Соловьевых, несмотря на все поиски, найти я не мог). М[ожет] б[ыть], там есть запись.

106. Дмитрий и Конкордий Соловьевы, братья моей бабушки, пили шибко, прожигали жизнь. Прасковья Марковна говорила, что они были способные, но прожигали жизнь. Кажется, умерли они рано и холостые.

107. Александр Ив[анови]ч Флоренский, отец мой, шел в Тифлисской гимназии первым учеником, но был выключен перед самым концом учения. Вшестером они побили директора. Им хотели за это дать волчьи паспорта. Папе было тогда 19 лет. Общество вступилось, так как директор был негодяй, и их просто уволили, но с правом поступления в другие учебные заведения. Папа говорил об этом с Елизаветой Владимировной, и Зинаида Ив[анов]на помнит их бурный разговор. Где кончал папа (А[л е к с а н д]р И в[а н о в и ч] Ф[л о р е н с к и й]), она не знает, а думала раньше, ошибочно, что за границей.

108. Странно, что Владимир Ив[анови]ч Флоренский и мой отец, А[л е к с а н д]р И в[а н о в и ч], схожи, но папа не в отца, а в мать, а Вл[адими]р И в[анови]ч — тоже в мать, свою, конечно. С другой стороны, тетя Юлия походила лицом на свою мачеху.

109. Александра Владимировна была очень неласкова. Она старше, много, Елизаветы Владимировны. Елизавета Владимировна льнула к ней.

110. Александра Готлибовна Пекок (Алина) была очень некрасива, но умна. Голос ее — контральто, был

очень красив. Отцу ее вообразилось, что она сделает карьеру в Италии, на родине она хорошо прожила бы. Ей не хотелось ехать за границу, но отец заставлял, мать же только соглашалась.

111. Жена **Чельцова** была купчиха **Прохорова**, брак их был по расчету, так что Чельцов был человек очень богатый. Калиново — имение их — было когда-то благоустроено, имело всякие усовершенствования, а теперь опустилось... Сын его без образования...

1916. *VIII.* Сегодня приехали к нам Зинаида и Лидия Ивановны со Степой, Володей и Леной, дочь<sup>16</sup> Серг[еев] рассказывали, особенно Зинаида Ивановна. Вот наиболее важное:

*Пос[ад]* 112. По ее соображениям, смерть тети Юли была от болезни, которую она получила, оказывается, еще в детстве, от *lues*. Вина за эту болезнь всецело падает на ее отца. А предполагали они, в доме, об этом двойко. Или отец, Ив[ан] Андр[еевич] Ф[лоренский], недоглядел, и Юля заразилась от няньки; или же — сам заразил: в промежутках между двумя браками он жил распущенно. — Я несколько раз переспрашивал Зин[аиду] Ив[анов]ну, так она догадывается или знает. Она твердо заявила, что в этом нет никакого сомнения, — что это достоверно. — Сообщила же мне это она наедине, после некоторого колебания, — после предупреждения, надо ли говорить, — вдруг выпалила. Разумеется, это было для меня в высшей степени неожиданно. Да и дома об этом, наверное, не знали. Но Зин[аида] Ив[анов]на говорила, что мой отец знал. — Но, судя по тому, как терялись врачи определить ее болезнь, я заключаю, что они не знали сути дела.

113. В Алексеевском монастыре у Красных прудов в Москве — возле Ярославского вокзала есть могила Анны Петровны Голубицкой, а ранее бывшей за Столповским \*. Анна Петровна была красавицей и франтихой. Она была близко знакома с семьей Ушаковых. За могилу ходят, так что, следовательно, можно узнать адрес детей г[оспо]жи Голубицкой. Надо узнать его и с ними списаться. Они | **NB** могут многое сообщить.

114. Graf **Orlow-Dawydow** (этого быть не может,

---

\* А[лексан]др Петров[ич] Столповский, полковник, † 19 ноября 1846 г., на 49 г[оду] (Алексеевский женский м[онасты]рь, «Моск[овский] Некроп[оль]», т. 3, стр. 160). Анна Петровна Голубицкая † 5 августа 1861 года. Погребена в Алексеевском Московском монастыре (сообщил Ив[ан] Александр[ович] Пиуновский). 1917.IX.3.



чтобы он был «Давыдовым», по хронологии (отец Владимира Ивановича) был горбатый — уродина и скупой, страшно скупой и вообще нехороший человек. Новосильцова была теткою гр[афа] Орлова-Давыдова.

115. Нескучный сад принадлежал Новосильцовой, она подарила его Государю. Орловы приехали жаловаться на нее. Государь спросил, имеет ли она право дарить. Она ответила, что это ее полная собственность и может подарить кому хочет — может распорядиться как хочет. Ушаков Вл[адимир] Ив[анович] управлял его (?) именьями.

116. Описание имения «Отрады» было в «Историческом Вестнике». Сейчас оно (име- | NB  
ние) принадлежит граф[ам] Орловым.

117. Новосильцова очень любила Владимира Ивановича Ушакова и когда умерла, то оставила ему 10 тысяч. Об этом знал секретарь митроп[олита] Филарета. С ним были знакомы Ушаковы, и Прасковья Марковна часто ходила к нему советоваться и получить совет от митр[ополита] Филарета. В частности, она ходила и пред второю женьтьбою Ив[ана] Андр[еевича] Флоренского узнать, можно ли жениться ему на 2-й жене, которая приходится крестовой сестрой первой. Филарет успокоил ее. — Но возвращаюсь к прежнему. Эти 10 тысяч граф Орлов скрыл, не выдал наследнику. — Покровительство Новосильцовой выразилось и в том, что после смерти Вл[адмира] Ив[анови]ча Ушакова Прасковья Марковна с Елизаветою Владимировною жили в доме Новосильцовой возле церкви св. Димитрия Селунского, на Тверской улице, — жили даром.

Напротив этого дома был дом Тулупова, старосты церкви св. Димитрия Селунского. Тулупов и его жена отличались такою толщиною, что не усаживались вместе в одну карету.

Новосильцова особенно любила Варвару Марковну, сестру Прасковьи Марковны. Характер у нее был плохой, она обижала Вл[адимира] Ив[анови]ча, но превосходно работала разные рукоделия. Новосильцова поддерживала ее, давала ей заказы и потом ее работы дарила императрице Александре Феодоровне — для дочерей императора Николая I.

118. Упомянутая в письме Варвары Ивановны Флоренской (к тете Юле) «Варвара Сергеевна» есть жена

скульптора и (или?) архитектора **Баринова** \* в СПб. Они познакомились с Варв[арой] Иван[овной] по дороге, когда та ехала в Институт (ее отвозила тетя Юля), и полюбили Варвару Ивановну. Варваре Сергеевне очень хотелось детей, долго не было, а потом родились двое, она была очень рада.— «Сушинька», упоминаемая в том же (или тех же) письмах,— это Алина — Александра Готлибовна Пекок. Так звал ее отец, а потом от него переняла и мать.— «Егор Васильевич» — Чельцов. Он был близок Ушаковым и сам по себе, и по жене — **Прохоровой**.— «Елизавета Ивановна» — **Полуянова**. Она была хорошо знакома с Ушаковыми и Флоренскими. Ее сестра — **Любовь Ивановна Качалова** — тоже хорошо знакомая. Они знакомые, собственно, **Прасковьи Марковны**.

119. В письмах **Екатерины Ив[анов]ны Флоренской**, сестры моего отца: «дядя» — вероятно, **Конкордий Уарович Соловьев**, «тетя» — **Прасковья Марковна**.

120. В Посаде Сергиевском жила подруга **Елизаветы Владимировны Ушаковой-Флоренской** — **Надежда Петровна Воздвиженская**. Она была безнадежно влюблена в дядю **Анатолия**. У нее был в Посаде свой собственный дом. Она внучка какого-то известного сенатора. Однажды она приехала, внезапно, к **Елизавете Владимировне Флоренской** и долго смотрела на карточку дяди **Анатолия**, восторгаясь ею. (Дядя **Анатолий** не был, собственно, красив, но был высокий, крупный, белый, очень нравился женщинам и этим делал себе карьеру. Он был эгоист, вообще нехороший человек.) **Надежда Петровна Воздвиженская** — «**Наденька**» — прекрасно знала языки.

121. У **Владимира Ивановича Ушакова** характер был тяжелый. **Вл[адимир] Ив[анович]** был очень упрямый, капризный, гордый. **Елизавета Влад[имиров]на** походила лицом на него, да и характером. **Александра Владимировна** говаривала, бывало, про нее: «Такой же капризный рот, как и у отца!» Для **Вл[адимира] Ив[ановича]** и для нее характерен срезанный подбородок, обличающий упрямство. Этот подбородок виден и на портрете его.

122. **Чельцов** был, собственно, выскочка. Он был сын дьячка. Брат у него был священником в Москве, в церкви у **Гребенской Божией Матери**, на **Лубянской площади**.

\* «**А. Баринов**», пресм[ник] П. Чирков. Петрогр[ад], В[асильевский] О[стров], 17 л[истия], 60. Гранит и мрамор («Весь Петроград» на 1916 г.), отд. II, монументы, столб. 1301) — написать сюда.

123. Дядя Анатолий ел тухлые яйца и ломался. Он вращался в аристократических кругах и старался делать все, что там требовалось. Был у него, например, prie-Dieu — кресло для молитвы. «Я говорила ему (т. е. Зинаида Ивановна): «Пред кем Вы комедию играете — пред Богом!» Он сердился: «Если бы ты была мне не племянницей, я бы на тебя донес губернатору — за распространение вредных идей». (Фатоватый.)

124. Дед мой Ив[ан] Андр[еевич] Флоренский был для своей среды человек передовой. Так, он никогда не дрался и не ругался, хотя все кругом это делало, не брал взятки и в этом отношении даже сражался с ветряными мельницами, ибо решительно все брали взятки. Когда он умер, то все говорили: «Не может быть, чтобы он не оставил состояния; место у него было теплое». Взятки были до того в обычае, что на погребении одного врача (?) офицера (?) вдова его, плача о супруге и восхваляя его, говорила вслух: «Ведь как обо мне заботился, оставил состояние: пропишут, например, больному солдату курицу; ну, а что солдат понимает в курице! Вот ему и заменяет мясом. Мясо-то дешевле, деньги и остаются...» У деда было только одно слово любимое — «каналья». (Это и у отца моего тоже.) — Никого он не убивал никогда, даже насекомых. Вечером, когда раздевался, снимал носки, и если была там блоха, то он плевал туда, кричал: «Ах, каналья, что делает!» — и оставлял ее в покое. Он был очень мягок — был женским началом в семье, а Елизавета Вл[адимиров]на — мужским. Мать, например, воспрещала девочкам шалить — бегать по канавам, т[ак] к[ак] очень пачкали платья, большей частью белые. Он, если увидит, — принесет на руках, собственноручно разденет и дает почистить платья. А мать сердилась.

125. Умирая, дед Ив[ан] Андр[еевич] Ф[лоренски]й говорил жене: «Я не хотел бы умереть. Но все же лучше мне умереть, чем тебе: я не сумею детей поставить на ноги».

126. Жену свою Ел[изавету] Вл[адимиров]ну он очень любил и даже ревновал, но совсем неосновательно, т[ак] к[ак] у нее был спокойный холодный характер и ни при жизни его, ни после у нее не было ни малейшего признака какого-либо увлечения <sup>10</sup>.

(126'). В книге «Простая речь о мудреных вещах» Погодина приводится рассказ, лично сообщенный Е. В. Ушаковой Погодину, об удивительном вещем сне настоятельницы Московского Алексеевского монастыря игумении Антонии.

Е. В. Ушакова рассказывала об этом сне со слов почившей м[атушки] Антонии (Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 18 и 19 веков. Октябрь. М., 1909. «Игумения Антония», стр. 27, прим.). Сон этот м[атушка] Антония видела на 18-м году своей жизни, вероятно, еще будучи в «пансионе», ибо 12-ти лет от рождения она, «вскоре по выходе из пансиона вступила в обитель Бородинскую», а потом делается игуменией Страстного и, затем, Алексеевского монастыря (id., стр. 27 — 28). М[атушка] Антония \* 1822 г. и † 5 окт[ября] 1897.

Упоминаемая здесь Е. В. Ушакова не есть ли Елизавета Владимировна Ушакова, мачеха моего отца? По инициалам совпадает. По годам — тоже, ибо Елизавета Владимировна Ушакова родилась в 1826 г. и † 9 июня 1911 г., 80-ти лет. Училась она в институте. Следов[ательно], она, по годам, могла быть вполне подругой м[атушки] Антонии и та, как подруга, могла сообщить ей виденный ею сон.

Но надо проверить еще по Погодину, нет ли там дополнительных сведений.

1920.VII.2

Нет, мое предположение неосновательно:

при «Сборнике, служащем дополнением к «Простой речи о мудреных вещах» М. П. Погодина (М., 1875) помещены «Прибавления третьего издания «Простой речи о мудреных вещах» к первому и второму», и тут, на стр. 3 — 5, напечатаны 2 письма Е. В. Ушаковой — эта г[оспо]жа пишет: «Брат мой, Преосвященный Леонид...» (bis, на стр. 3). Т[ак] к[ак] Преосв[ященный] Леонид был Краснопевков или Кавелин, то очевидно Е. В. Ушакова — не Ушакова рожденная и не та женщина, к[ото]рая меня интересует.

127. С. Кондаков. «Отрада». Имение графа В. А. Орлова-Давыдова (Московской губ[ернии] Серпуховского уезда).

(«Столица и Усадьба», № 83 — 88. 30 августа 1917 г., стр. 1 — 7.) Описание «Отрады», характеристика основателя этого имения гр[афа] Влад[имира] Григорьевича Орлова, распорядка всей жизни в имении и в доме. Большое число фотографических снимков: а) граф[иня] О. И. Орлова-Давыдова, рожд[енная] кн[язина] Барятинская, с дочерью; б) церковь Успения, фамильная усыпальница графов Орловых; в) гр[аф] Вл[адимир] Гр[игорьевич] Орлов, основатель «Отрады», гравюра Л. Фламенга с портрета работы Лампи; г) вид дома со стороны парка; д) «Архиерейская спальня», акварель Э. П. Детерс; е) большая красная гостиная, акварель Э. П. Детерс; ж) кабинет гр[афа]

А. В. Орлова-Давыдова, ак[варель] Детерс; з) уголок буддара Орлова-Давыдова, id.; и) одна из библиотечных комнат нижнего этажа, id.; i) овальная белая столовая, фот[ография] (плафон работы Брюллова); к) парадная спальня, id.

Стр. 6. «Проводя около полугода в своей Отраде, отстоящей в 80 верстах от Москвы, граф Владимир (Григорьевич) Орлов заботливо окружал дом всевозможными удобствами и держал много прислуги; все пристройки около главного дома постоянно были полны всякого рода секретарями, конторщиками, музыкантами, артистами, из которых большая часть исполняли также служебные обязанности. Несмотря на совмещение должностей, оркестр был настолько хороший, что некоторые из солистов по смерти графа устроились в оркестрах московских театров.

Обыкновенно музыка играла во время стола, а по субботним вечерам в биллиардной устраивались целые концерты, под управлением капельмейстера Гурилева, отца известного композитора.— Кроме музыкантов, между дворовыми людьми находился и свой архитектор, и живописец, был также доморощенный поэт, и даже особо приученный астроном-докладчик, которому вменялось в обязанность уведомлять в определенный час старого графа о появлении на небе той или иной звезды или планеты.— В дворне никогда не было только шутов и дурочек, этой необходимой принадлежности вельможных домов той эпохи. Граф Владимир предпочитал им умную беседу или оживленный спор» (id., стр. 6—7).

128. **И. Грабарь.** Юбилейная выставка Левицкого. 1924. 1822—1922. «Русское Искусство», 1923, № 2—3, стр. 89—92, стр. 92, прим. 1. «Надо отметить еще установку некоторых новых дат, ставшую возможной благодаря выставке: так, исправлена дата на известном портрете **М. А. Львовой**, с «задорно поднятой кверху головой», датированном Дягилевым 1785 годом. В новейшем каталоге Румянцевского Музея эта дата прочтена как 1789; в каталоге выставки, составленном до прибытия портретов Румянцевского Музея, удержана дягилевская дата, и только после внимательного обследования последней цифры выяснилось с полной очевидностью, что у Левицкого стоит **1781**. Кстати, обнаружилась одна любопытная особенность: портрет этот, при перетяжке на новый подрамник, был неправильно набит, и его ось сместилась вверху влево, отчего и получилась эта запрокинутость, вовсе не входившая в расчеты автора. Как трудно полагаться только на глаз, не вынимая картины из рамы!»

1924.  
I.30  
Имя-  
нины  
Васи

Не есть ли эта М. А. Львова та самая М. А. Львова, с которою имел связь прадед мой Уар Ефимович Соловьев? Надо сообразить года, может ли это быть.

Справиться об этом портрете в издании русских портретов Вел[икого] кн[язя] Ник[олая] Мих[айлови]ча.

1918. VIII. 23  
129. Архив Львовых костромских, к которым принадлежали московские, находится теперь, по сообщению Ив[ана] Ник[олаевича] Ельчанинова, у костромских Купряновых, они же московские. У Купряновых был дом в Москве. У Купряновых надо бы спросить, нет ли у нее переписки Марьи Александровны Львовой с Уар Ефимовичем Соловьевым 40-х годов, а также, не знают ли они чего о связи этих лиц и кто урожденная Марья Александровна; не Колокольцова ли? (сама Колокольцова называет себя Колокольцова).

Спросить у Зацепиных (урожденных) Колокольцовых и Михайловых (урожденных) Колокольцовых), романовских помещиков, не знают ли они чего о Марье А[лександров]не Львовой.

(Спрашивал у художника Ник[олая] Ник[олаевича] Купрянова в Москве; он ничего не знает, но обещал навести справки у своей матери,—и конечно, не навел! 1924.I.30.)

Обер-Прокурор Св[ятейшего] Синода при Временном Правительстве в 1917 г. и антицерковный деятель в позднейшее время—Владимир Николаевич Львов— брат графини Варвары Николаевны Бобринской, рожденной Львовой, называвшейся издавна (т. е. до революции) в Москве «товарищ Варвара». Кто знает, м[ожет] б[ыть], они-то и происходят от прадеда моего, Уара Ефимовича Соловьева и Марьи Александровны Львовой. А если так, то у них может храниться переписка Соловьева с М. А. Львовой.

130. Львов Петр Михайлович, архитектор, р[одился] 26 сентября 1778, † 23 апреля 1861. Вдова: Мария Александровна, р[одилась] 14 февраля 1801, † 26 мая 1878. С. Е. А. Каменской (Митрофановское кладбище в СПб.), (Петрогр[адский] Некр[ополь], т. 2, стр. 713). Ср. Руммель, I, стр. 586, n° 73, Петр Мих[айлович] Львов, брянский помещик (1816).

Львова Мария Александровна, жена архитектора, † 28 мая 1874 (Митрофановское кладбище в СПб.), (Петрогр[адский] Некр[ополь], т. 2, стр. 710).

Каменская Екатерина Александровна, дочь майора, † 18

января 1883. С П. М. Львовым (Митрофановское кладбище), (id., т. 2, стр. 313).

Василий Петрович **Львов**, доктор, р[одился] 1 апр[еля] 1823, † 11 ноября 1867. С П. М. Львовым (Митрофановское кладб[ище]), (т. 2, стр. 712).

**Прокофьева** Наталия Петровна, рожд[енная] **Львова**, † 18 августа 1892. С Е. И. Юрьевым и П. Е. Львовым (городское кладбище в Павловске), (Петр[оградский] Некр[ополь], т. 3, стр. 508).

«Щеголевато[стию] ни форм, ни нарядов прекрасный пол в Пензе не отличался, ни даже приятною наружностью. Только в первые дни пребывания моего там, на масленой, две красавицы мелькнули предо мною, как мимолетные видения: одна генеральша **Львова**, урожденная **Колокольцова**, была тут проездом; другая госпожа Бекетова, урожденная Опочинина...» (Записки **Ф. Ф. Вигеля**, изд. «Рус[ский] Архив», М., 1891, ч. I, стр. 218). **Ф. Ф. Вигель** приехал в Пензу в среду 19 февраля на масленой 1802-го года (id., ч. I, стр. 204).



### *Л. И. ФЛОРЕНСКАЯ-СТРУКОВСКАЯ<sup>1</sup>*

«Людмила Ивановна Флоренская-Струковская после продолжительной и тяжелой болезни скончалась в селе Кривошинском, Николаевской волости, Томского уезда. В непродолжительном времени останки будут перевезены для погребения в Минскую губ. и уезд, село Прилуки; о дне отправления из Томска будет сообщено особо, о чем извещает знакомых муж» («Сиб[ирский] В[естник]», 23 дек. 1903 г., № 277).

«Чем ночь темней — тем звезды ярче...»

Недолга была жизнь Людмилы Ивановны, но вся она принадлежала обществу. На самой заре своей юности вышла она на тернистую ниву народного служения... И в редкий ведреный денек, и в сумерки, и в долгие бессонные ночи, и в суровую непогоду самоотверженно несла она свой крест, отдавая меньшему страдающему брату свой труд и знания, борьбу и муку, свою глубокую, горячую любовь...

Душа ее горела дорогим алмазом,  
Раздробленным на тысячи крупиц...

Но, отдавая силы все другим, она не сберегала их для себя, и... жизнь ее порвалась.

Считаем долгом сообщить об этой жизни хотя лишь то немногое, что нам известно. Пусть скажут большее об ней, кто ближе знал ее, кто с ней работал.

Людмила Ивановна Флоренская-Струковская училась в Москве. По окончании Московской Мариинской школы фельдшерниц она, еще лишенная тяжелого жизненного опыта и выдержки, но горячо одушевленная любовью, идет на самую тяжелую, самоотверженную работу в деревню. В голодный 1891 год Л. И. работает на тифозной эпидемии в Самарской губернии, в отряде князя Петра Дмитриевича Долгорукова (средства доставлялись им, а также Л. Л. Толстым, принимавшим участие в отряде) и разделяет при этом участь почти всех членов отряда — переносит сыпной тиф. Следующий 1892 год она работает на холерной эпидемии. Здесь лучшие душевные силы ее должны были выдерживать подчас самые тяжелые испытания, которые обильно доставляла темная и невежественная среда населения, доведенного ужасами эпидемии до отчаяния. Здесь нужно было не только вовремя быть на месте помощи несчастным, но вовремя избегать и столкновений с теми или иными острыми проявлениями народной темноты и отчаяния... Достаточно вспомнить такие, напр[имер], мрачные эпизоды того времени, как «опахивание» деревни от холеры, когда в глухую темную ночь все население деревни, от старого до малого, с горящими факелами в руках, чтобы оградить деревню от беды, совершало мрачную церемонию опаживания деревни бороздой, чтобы не допустить в нее холеру... Вмешательство, убеждения и те или иные воздействия, даже простое появление в такие моменты кого-ниб[удь] из представителей медицинского персонала, к которому местами темнота народная относилась с недоверием и подозрительно, могло кончиться для неопытного неосторожного смельчака весьма трагически... Отдавая свои силы на борьбу с народным бедствием, нужно было обладать в ту тяжелую годину не только горячей любовью к темному меньшему страждущему люду, но и громадным запасом сил, необычайной выдержкой и самообладанием... И все это оказалось у Людмилы Ивановны во время холерной эпидемии 1892 года; она с честью вышла из тяжелого испытания.

1893 год застает ее на той же тернистой ниве служения народу. Она в Сибири и отдает свои силы переселенческому



делу. Она среди переселенцев и служит им, исключая 2-хголичного перерыва \*, до последних дней и минут своей жизни.

Чтобы по достоинству оценить ее деятельность среди переселенцев в первые годы ее служения, необходимо указать на громадную разницу положений, в каком находилось переселенческое дело в то время, до 1897 года, и потом. До 1897 года переселенческое движение шло стихийно и официально полупризнавалось. Тогда почти не было никакой организации, не было и переселенческого управления, образовавшегося в 1897 году, не было той сети питательных переселенческих пунктов, больниц и целого штата медицинского персонала — врачей, фельдшерниц и др., что мы можем наблюдать в настоящее время.

Правда, не хватает многого и сейчас для вполне рационального разрешения переселенческого вопроса, но тогда... положение вещей было таково, что деятельность лиц, отдававших свои силы переселенческому делу, носила характер истинного подвижничества...

Годы 1893 и 94 отличались особенной стихийностью переселенческого движения. Путь этого движения лежал через Тюмень и далее водою на баржах к Томску или Барнаулу. Вот картина, которую можно было наблюдать в 1894 году в Тюмени.

Под открытым небом — 16 тысяч переселенцев. Идет нагрузка двух барж, на каждую из них помещается по 800 человек. При посадке выделяют, оставляя на месте, только заразных больных, некоторые из них умирают тут же на берегу, у всех на глазах; коревых и др[угих] неинфекционных помещают на обеих баржах — их оказывается больше 200 человек.

Обе эти баржи, следующие на буксире, сопровождает одна Людмила Ивановна. Ей дают маленькую аптечку, несколько десятков пудов хлеба, 25 рублей денег на все расходы на обе баржи и отправляют в далекий путь...

Более 2 тысяч верст водного пути по пустынной, унылой Оби, среди суровых и малонаселенных берегов, с убийственной медленностью тянутся переполненные переселенцами баржи, а впереди на туго натянутом канате, изнемогая и тяжело дыша, выбивается из сил небольшой пароход.

---

\* Из которого 1 год она проводит в херсонском земстве, другой учительницей в Смоленской губернии.

дымя своей трубой и судорожно хлопая колесами, как подстреленная птица крыльями...

Водный путь этот, от Тюмени до Барнаула, продолжался целых 28 дней!

Дорогой умерло на баржах более 100 человек, и ей, Людмиле Ивановне, приходилось все время быть тут же, среди умирающих и покойников, среди стонов и горя, отчаяния и слез остающихся. И у нее, подвижницы, хватило сил на все, на непосильный труд, на муки и борьбу... Было дорогой немало и неожиданностей, тяжелых столкновений, требовавших спокойной выдержки, самообладания и силы убедить, уменяя все устроить и уладить...

Так, на одной из пристаней сопровождавший баржи пароходный капитан распорядился было выбросить с баржей покойников-переселенцев на берег. Тяжелая история готова была разыграться... Местные крестьяне, видя попытку капитана выгрузить им на берег покойников, решили этого не допустить, вооружились кольями и не пустили... И вот скромной фельдшерице Людмиле Ивановне, чтобы предупредить кровавую развязку, пришлось вмешаться в дело, распутать все, устроить и уладить так неожиданно созданный конфликт.

Таков был путь, и таковы были тогда условия передвижения переселенцев на баржах водою.

Не одну такую поездку совершила тогда Людмила Ивановна, и не одна только она работала в таких условиях.

Ее сотрудницы живы, и, если до них дойдут эти строки, они, быть может, порасскажут немало интересного об этом недавнем прошлом переселенческого дела.

С проведением Сибирской железной дороги и с упорядочением переселенческого движения Л. И. работает в переселенческой организации, на пунктах — то круглый год, то летними полугодиями — в Челябинске, Омске, Татарке, Оби, Ачинске, в Ольгинском пункте, в Канском, Иркутском. На последнем пункте, уже выйдя замуж и имея сына, она с прежней самоотверженностью целыми днями работает среди переселенцев. Ухаживая за дифтеритными и скарлатинными больными переселенцами, она целыми неделями своего сына-первенца видит только издали через окно...

В 1901 году Людмила Ивановна оставляет службу в переселенческой организации. Но не оставляет дорогого дела служения страждущему люду.

Вместе с мужем своим, И. А. Струковским, получившим новое назначение заведовать водворением переселенцев

в Николаевской волости Томского уезда и губернии, она поселяется в глухой деревне на реке Оби — в селе Кривошеинском. Здесь, уже не состоя на службе, Людмила Ивановна деятельно продолжает заниматься медицинской и иной помощью как переселенцам, окружающим ее поселок, так и вообще ближайшему окрестному населению. Медикаментами ее снабжала ближайшая, в 40 верстах, переселенческая больница Молчановская; последних больных она принимала уже лежа в постели...

Преждевременная смерть Л[юдмилы] Ив[ановны] — роковая ошибка. В сентябре текущего года она обращалась за медицинской помощью в Томск. Профессор N. N. нашел довольно значительных размеров опухоль (по-видимому, киста) в желудке, признал неизбежную операцию и, при согласии больной и ее мужа на последнюю, но при естественном их смущении перед такой операцией, нашел возможным отложить операцию на месяц... Больная с мужем уехала в деревню, рассчитывая через месяц быть в Томске. Вдруг, в промежутке полного перерыва сообщения с Томском, перитонит, затем посильная помощь ближайшего участкового и переселенческого врача, борьба с тяжелым недугом и... роковой исход. Кроме мужа, убитого горем, осталось двое детей, 4 и 2 лет...

Осиротели и многие сотни «малых сих» из народа, которому отдала покойная все свое здоровье и молодость, всю свою недолгую жизнь, но богатую глубокой любовью и самоотверженной работой на пользу ближнего... В этом смысле она поистине достойна того венка, которым наш поэт венчает

Тех, которые мало живут,  
О которых народ замечает:  
«У счастливого недруги мрут,  
У несчастного ж друг умирает...»

Жизнь порвалась, и сердце перестало биться, умевшее так сильно биться за других... Останки покойной временно погребены в глухом поселке Кривошеинском, на высоком берегу Оби пустынной, той самой реки, по которой в начале 90-х годов, почти 10 лет назад, она сопровождала на баржах тысячи переселенцев, быть может вспоминающих порой и поныне своего «ангела-хранителя»...

На могильном холме ее, покрытом снегом, возложен был ближайшей фельдшерницей Молчановской переселенческой больницы венки из пихты. Другой венок возложен на могилу ее мужем с надписью: «Ты не умерла!»

Повторим вместе с убитым горем мужем ее прекрасные слова: «Ты не умерла!»

Твоя душа еще горит алмазом,  
Раздробленным на тысячи крупиц...

*А. Н. Шипицын*



**«БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА  
СВЯЩЕННИКА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО  
НА КНИГЕ: СВЯЩ. Г. С. ПЕТРОВ. БОЖЬИ СВЕЧИ.  
ИЗД. 2-Е С РИСУНКАМИ. СПБ., 1905»**

В этой брошюре изображается в несколько слащавом и сентиментальном тоне жизнь сводной сестры моего отца Людмилы Ивановны Флоренской; по мужу — Струковской<sup>2</sup>.

Первоначально эта брошюра напечатана в «Русском слове» [...] <sup>3</sup>: *В. Артабан*. «Божия свеча».

Более точно о том же лице см. в «Сибирском вестнике», суббота, 3 января 1904 г., № 2, г. двадцатый, *А. Н. Шипицын*: «Л. И. Флоренская-Струковская», а также заметку в той же газете от 23 декабря 1903 г., № 277. Еще см. «Биржевые ведомости», 2-е издание, понедельник, 12 января 1904 г., № 11, год XI второго издания и XXIV — первого издания, *М. Мочульская*: «Живая любовь отошла к живому Богу» («Корреспонденция «Биржев[ых] вед[омостей]» со ст[анции] Кривошеино, Томск[ой] губ[ернии]»). Еще некрологическое объявление в «Сиб[ирском] вестн[ике]», № 13, и статья *Александра (Анастасиевича) Струковского* (шурина покойной): «Памяти Людмилы Ивановны Струковской».

1916.VI.24. *Сергиев Посад.*  
СВЯЩЕННИК ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

# СОЛОВЬЕВЫ, УШАКОВЫ

## РОД МОЕЙ БАБУШКИ АНФИСЫ

Первая жена деда моего Ивана Андреевича Флоренского, моя родная бабушка Анфиса Уаровна Соловьева, в замужестве Флоренская, была дочерью Уара Ефимовича Соловьева. По словам Александры Владимировны Пекок, урожденной Ушаковой, этот мой прадед, Уар Ефимович, был незаконным сыном графа Разумовского. Но как звали графа Разумовского, я доселе не дознался. Есть ли отчество «Ефимович» настоящее у моего прадеда — тоже не знаю; по крайней мере, в обширном исследовании о «Семействе графов Разумовских» А. А. Васильчикова я не нашел Разумовского с именем Евфимий. Но с фамилией Разумовских меня связывает еще одна связь, ибо Кирилл Флоренский, который, по каким-то темным известиям, находится с нами, Флоренскими, в родстве, тайно обвенчал императрицу Елизавету Петровну с графом Кир[иллом] Григ[орьевичем] <sup>1</sup> Разумовским, после восшествия ее на престол, но до венчания на царство, и за это будто бы произведен был в архимандриты Троицкой Лавры и члены Святейшего Синода \*. Странное совпадение, однако вовсе не единственное.

Но возвращаюсь к Уару Ефимовичу. Он был по

---

\* В 1748 г. имелось немалое число жалоб малороссиян, поданных ея имп[ераторскому] величеству на К. Г. Разумовского; «Дело это замечательно по подробностям о браке Елизаветы с (Кир. Григ.) Разумовским, тайно совершенным, по показанию многих из привлеченных к делу лиц, в Петербурге, после восшествия на престол, но до венчания на царство, Кириллом Флоренским, который за это будто произведен был в архимандриты Троицкой Лавры и члены Св. Синода» (А. А. Васильчиков. Семейство Разумовских, ч. I, СПб., 1880, стр. 108). «Ср. выписку другим почерком, вероятно, Феодора Андреева»: «Говорят, будто она (императрица) Елизавета Петровна.— Ф. А.) велела поставить императорскую корону на куполе церкви, в которой она в Москве венчалась с Алексеем Разумовским, и что корона — существует там и до сих пор. Впоследствии Разумовский сжег акт о венчании. Он был человек оригинальный, умный, не честолюбивый, искренний патриот, очень тонкий и в то же время с сильным характером. Эти подробности рассказал мне Пушкин. Он видел в Москве эту церковь. Он говорил про нее с его величеством, который хвалил Разумовского, говорил о сожженном акте и венчании — и прибавил: «Разумовский был благородный человек». — «Записки Смирновой». Сев[ерный] Вести[ик], 1893, апрель, 1, 212.

специальности, «доктором медицины», и, как говорят,— «очень хорошим врачом»; так рассказывали мне семейные предания сводные сестры моего отца<sup>2</sup>. Однако им, как и тетке их Александре Владимировне Пекок, не следует в данном отношении отказывать в доверии: по их свидетельству, Уар Ефимович Соловьев\* был дружен с Владимиром (Ивановичем)<sup>3</sup> Ушаковым, отцом папиной мачехи и дедом сводных сестер моего отца, Елизаветы Владимировны Флоренской, урожденной Ушаковой. Замечу кстати, что этот Ушаков был также в дружбе с композитором Александром Львовичем Гурилевым\*\* (родился в 1802 г., умер в 1858 г.), и, кажется, их дружба возникла на почве общей службы у графа Орлова, именем которого управлял Ушаков и крепостным которого был А. Л. Гурилев. Ноты и рукописи Гурилева достались впоследствии дочери В. Ушакова, мачехе моего отца, и хранились у нее до 1905 года, когда дом, в котором они жили на Пресне, во время Московского восстания подвергся расстрелу, т[ак] к[ак] в верхнем этаже его оказалось гнездо революционеров, и мачеха моего отца, Елизавета Владимировна Флоренская, с дочерьми бежала из дому чуть не через окно, оставив все имущество на произвол судьбы. Тут-то погибло много наших фамильных документов и вещей; тут же сгорели и рукописи Гурилева.

На Гурилеве я остановился, чтобы подчеркнуть музыкальность дома Ушаковых и, следовательно, дружественной с Ушаковыми семьи Соловьевых. Интересы музыкальные преобладали, кажется, над всеми другими. Как обе дочери Вл[адимира] Ушакова, Александра и Елизавета, так и подруги их, а в особенности первой, Анфиса Соловьева, дочь Уара Ефимовича, были отличными музыкант-

---

\* Можно навести справку об Уаре Евфимовиче Соловьеве в учреждении: Врачебная контора. Москва. Возле Иверской, когда пройти на Красную площадь, 1-й дом налево, Казенный дом.

Теперь (1920.IX.11) ее там нет, она перенесена в Городск[ую] управу (?). В Адрес-календарях московских о нем (Уаре Еф[имовиче] Сол[овьеве]) не нашел ничего я.

\*\* Александр Львович Гурилев, «даровитый дилетант, композитор первой половины XIX в. Род. 1802, ум. 1856 г. Принадлежал к плеяде русских романсисто-начала XIX в., в творчестве которых условная мелодичность играла важнейшую роль, гармония же большею частью неизменна и убога. Навязчивые мелодии романсов Гурилева, числом более 200, придали им значительную популярность среди тогдашнего общества. Особенно известностью пользовалась «Матушка голубушка» и «Вьется ласточка». Все его романсы сосредоточены в издании Гутхейля (Большая Энциклопедия Мейера и «Просвещ[ение]», СПб., т. 7, стр. 748).

шами. По словам сводных сестер моего отца, главным образом — Зинаиды Ивановны Флоренской, мать их Елизавета Владимировна «никогда никого не любила; но музыку очень любила и часто плакала над роялем». «Играла она буквально целыми днями». И даже в день, предшествовавший дню смерти, она не прекратила игры. Дед мой увлекся ею именно на почве музыки, а предложение сделал в Нескучном саду (не за музыкой ли опять — таки?).

Сестра ее, Александра Владимировна, была замужем за известным в свое время певцом и профессором пения Пекок, Готлибом Феодоровичем, и совместно с мужем давала концерты, пользовавшиеся успехом; она выступала на них как аккомпаниаторша и как самостоятельная исполнительница. И, скажу кстати, дочь Александры Владимировны, Алина Готлибовна, была весьма известной у нас и за границей, особенно в Италии, певицей, выступавшей под музыкальным псевдонимом *Alina Marini*. Но о ней будет впоследствии. А теперь добавлю в заключение, что и бабушка моя Анфиса также была отличной, по свидетельству Александры Владимировны Пекок, ее подруги и друга, музыкантшей. Мне думается, что это именно она воспитала в музыкальном отношении своего мужа, деда моего, ибо откуда же было иметь музыкальное развитие бедному семинаристу, сыну захолустного и удрученного скудостью костромского дьячка. Это видно и из того, что, очень любя музыку, он, однако, не знал даже азбуки нотной, и только впоследствии его вторая жена, папина мачеха, написала ему нотную азбуку.

Вот атмосфера пения и музыки, которая царила в дружественных домах Ушаковых и Соловьевых. Думается мне, что музыка преобладала там чувствительная, несколько сентиментальная. То, что чувствовал я в Александре Владимировне и в тете Юле, — некоторая чувствительность — весьма хорошо объясняется впечатлениями, которыми питал друг дома — А. Л. Гурилев. Впрочем, надо более вникнуть и в Гурилева, и в музыку того времени для суждения более твердого.

Уар Ефимович Соловьев был женат на **Екатерине Афанасьевне Ивановой**. По словам «бабушки» (так мы привыкли называть ее) Александры Владимировны Пекок, хорошо посвященной в дела соловьевского дома, эта прабабка моя была «из дворян». У нее был брат городничим в г. Клину. Умерла Екатерина Афанасьевна в 1841 году. Сам же Уар Ефимович скончался в [...] <sup>4</sup> году и погребен на

кладбище при Даниловом монастыре в Москве. Надо было отыскать его могилу и списать с нее даты, отчество и т. д. \*

У Уара Ефимовича и Екатерины Афанасьевны Соловьевых детей было трое <sup>5</sup>. Старший, Конкордий Уарович Соловьев, был, вслед за отцом, врачом. Служил он на Кавказе. По словам Александры Владимировны Пекок, он был «талантлив и дамский угодник».

Следующий за ним сын звался Дмитрием Уаровичем Соловьевым. Он тоже служил на Кавказе, но не знаю, по какой части. По-видимому, они рано исчезли из виду московского кружка \*\*.

«Дяди Ваши,— пишет мне о них Зинаида Ивановна Флоренская,— вели очень беспорядочную жизнь, и отец их ими был очень недоволен. Они были товарищами моего отца, и этим объясняется встреча и женитьба последнего на Вашей бабушке Анфисе Уаровне (З. И. путает отчество и пишет — Ивановне). Но было ли это университетским товариществом — не думаю. Помнится, Александра Владимировна говорила, что они оба пили и кутили, и это помешало им наладить так или иначе жизнь, хотя люди они были, говорят, способные. Боюсь соврать, оба ли,— но один, знаю, умер рано, т. е. до второго брака Ивана Андреевича».

Наконец, третьим ребенком была дочь, Анфиса Уаровна Соловьева, в замужестве — Флоренская. «Она была противоположностью моей матери,— т. е. второй жены Ивана Андреевича,— пишет мне Зин[аида] Ивановна,— худенькая, маленькая». Она скончалась 7-го ноября 1850 г. от простуды, в нетопленной квартире в г. Ямполе Подольской губернии, где квартировал полк ее мужа. Александра Владимировна Пекок не могла без слез вспоминать об этой несчастной смерти в «жидовской яме», как она выражалась,

---

\* Не нашел, несмотря на все поиски.

\*\* Кавк[азский] Календ[арь] на 1858 г. Конкордия Уар[овича] Соловьева уже нет, стр. 499. Воен[ные] госпитали. Душ[евский]. Глав[ный] лек[арь] п[адворный] советник] Ив[ан] Андр[еевич] Флоренский. Младш[ий] ординатор лек[арь] Ляудонский. Управ[ляющий] аптекою (... ) К[оллежский] А[ссессор] Фед[ор] Фед[орович] Гомпер. Смотритель, кац[итан] Мих[аил] (... ) Измайлов. Ком (... ) Фед[ор] Вас[ильевич] Трипольский. (... ) К. П. Арсений Троф[имович] Конторов.

Высочайш[им] приказом по воен[ному] ведомству о... чинах гражданских определены на службу... 19-го марта 1867 г. № 12... отставной надворный советник Соловьев в 1-ю конноартиллерийскую батарею Терского казачьего войска лекарем (Военно-Мед[ицинский] журн[ал], ч. 45, ч. ХСХХ. СПб., 1867, май, ч[асть] оф[ициальная], стр. 4).



в неудобстве, полном отсутствии друзей и родственников ее любимой подружки Фисы.

В этом Ямполе была когда-то поклониться праху матери, по окончании института, моя тетя Юля, дочь Анфисы Уаровны, и взяла с могилы своей матери белый гладенький камешек известняка, который всегда хранился у нее в маленьком ящичке верхнего комода, а мне, маленькому, но смотревшему на него с благоговением, показывался в минуты особой близости.

По-видимому, от графа Разумовского в семье Соловьевых было, как рассказывала Александра Владимировна, много драгоценностей, составлявших, по ее убеждению, собственность тети Юли, ее крестницы и воспитанницы. Но ими завладела мачеха, и это послужило одною из причин разрыва между сестрами — Александрюю и Елизаветою Владимировнами, — ссорю, длившуюся до самой смерти, так что Елизавета Владимировна не захотела приехать, будучи в Москве же, даже на погребение Александры Владимировны. Из этих вещей у нас в доме, т. е. у тети Юли, имелось очень немногое. Но и то немногое, что оставалось, было очень тонкой, по-видимому французской, работы, и, вероятно, стоило немало. Помнится мне в особенности полный убор из золота с крупными богемскими гранатами в стиле ренессанс, видимо, старинный, вероятно, елизаветинского времени или около того, и стильный.

Дед мой Иван Андреевич Флоренский женился на Анфисе Уаровне, еще будучи студентом Медицинской Академии, и его будущий тесть Уар Ефимович «вносил реверс 15 тысяч, кажется, необходимый тогда при женитьбе студента. Из этого, я думаю, — пишет мне Зинаида Ивановна Флоренская, — можно вывести заключение, что, во-первых, он был состоятельным и, во-вторых, одобрительно смотрел на брак дочери». Это последнее соображение подтверждается, между прочим, и тем, «что говорил и Ваш дед, — пишет она же об Иване Андреевиче — об отношениях к тестю, всегда порядочных»\*.



---

\* Письмо из Иваново-Вознесенска, полученное 1915.XI.6.

Обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне поискать потомство Уара Ефимовича Соловьева (он был врачом в Москве). Сыновья его Николай, Дмитрий и Конкордий были военными врачами, хотя о Николае верно этого не знаю. Уар Ефимович † в перв[ой] половине XIX века. Мне необходимо отыскать потомство кого-ниб[удь] из них, чтобы списаться по некоторым генеалогическим вопросам. Но искать приходится ошупью. Полагаю, что деды их должны быть военными, а именно в военной среде у меня нет никаких связей.— И еще. В Клинском уезде М[осковской] губ[ернии] были помещики Ивановы, потомство Афанасия Иванова. Родословие двух Афанасьевичей помещено в Московской Родословной книге, т. I. Не знаете ли Вы, как отыскать кого-ниб[удь] из потомства этих Афанасьевичей? Всего Вам доброго. Прошу давать знать иногда о себе, чтобы не утратить Вас из виду. От времени до времени я буду присылать Вам накопившиеся у меня мелочи для Вашего словаря. Всего доброго. Желаю успеха в Ваших трудах и доброго здоровья.

С уважением к Вам

СВЯЩЕННИК ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

1916.VII.21. Сергиев Пос[ад]



1916.X.4 Сер[гиев] Пос[ад]

#### АНФИСА УАРОВНА СОЛОВЬЕВА

О бабушке моей Анфисе Уаровне Соловьевой, жене Ивана Андреевича Флоренского, Катя Хлуденёва, на основании почерка ее в письмах ее, когда она была невестой, сказала следующее:

«Это очень несчастный человек был.— В смысле внешнем или внутреннем?— Внутреннем. Никто не понимал, как есть, внутренней жизни. Не с кем было поговорить. А внешне было все гладко — т. е. казалось. Нервный очень, но сдержанный. Очень мягкий такой, чуткий человек, и от того больше страданий. Он большой был. Скорее к искусствам была способна, чем... Но хотя и науками могла бы

заниматься настойчиво: какая-то настойчивость у нее есть. В силу этого она могла свои душевные состояния скрывать — не то что скрывать, а утешать себя, хоть на время. Мягкая очень, но в то же время какое-то самодурство было. И вот, я бы сказала: очень такой независимый характер, и свободу она любила очень. И потом, она свое мнение часто ставила выше других, но это все выходило так, как будто прирожденное было, т. е. это не приобретенное самонимение.

Какого круга общества? — Если не аристократка по рождению, то аристократка духа. Во всяком случае, и не выродившаяся [...] <sup>1</sup> Сильная натура во всех отношениях. Но здоровье скорее слабое, но так выносливое, терпение величайшее, и для других могла казаться совершенно здоровой.

Вот какая-то тоска с самого чуть не детства, с сознательной поры. Грусть на всем лежит. Самое веселое подергивала грусть. И как будто за каждую радость возмездие [...] <sup>2</sup>. Религиозная. Но это такая... она могла бы никогда не бывать в церкви, она могла бы обходиться без этого вполне, и если ходила, то по традиции только, не по собственному влечению. Очень деятельная натура, ни минуты не пропадало даром. Но вот что? Как-то так: любила она очень другим делать радость и могла все принести в жертву; эта черта [...] <sup>3</sup>, что она за других страдала... Не материальная, а вообще... Она верила в людей, хотя обманывали ее часто в самых [искренних] <sup>4</sup> чувствах. Но это не мешало ей начинать снова и до конца себя отдавать. Она была [настолько чуткая] <sup>5</sup>, что могла насквозь видеть людей и понимать, видеть самые скверные их стороны и за все делать им хорошее, чтобы одолеть их скверные черты.

Нет ли в ней сходства с Анной (т. е. А. М. Флоренской)? Есть, в том, что все думает только о других, а не о себе. Но есть и различия, большие. Несмотря на большую мягкость, характер (у Анфисы Уаровны Соловьевой) какой-то властный. Личность незаурядная. Есть большая глубина в понимании жизни, вещей, смысла всего. Понимала жизнь как-то по-особенному, по-своему. Покорность Провидению, или Судьбе; но иногда какой-то бунт против несправедливости, и тогда выступает [самовнушение, самоубеждение] <sup>6</sup>. Природу она очень любила».



Вопрос об университетских экзаменах принадлежал к числу жгучих вопросов того времени (т. е. шестидесятых годов). М. П. Погодин в «Истории университетских экзаменов» («Русская Газета», 1859 г., № 4, 2—3) писал: «Прозкзаменовав на своем веку не одну тысячу студентов и гимназистов... считаю себя вправе подать свой голос». Далее он рассказывает, как «во время оно, после французов» экзамены производились патриархально, но не было злоупотреблений. «Первое преобразование в экзаменах сделал не ученый совет, а человек посторонний, Д. П. Голохвастов, назначенный в 1831 году помощником попечителя князя Сергея Михайловича Голицына». Экзамены сошли отлично. «Новые экзамены в следующем (т. е. 1832 г.) году поручены были ректору, у которого правою рукою был секретарь, профессор Надеждин—это был человек с большими способностями... Чтобы затмить Голохвастова и показать, что университет может обойтись без него, Надеждин сочинил правила для приема студентов—правила, господствующие до сих пор в наших учебных заведениях. По идее, по теории, они очень хороши, но не соответствовали и не соответствуют нашим приуготовительным средствам.

Слишком коротко знакомый с делом экзаменов и находясь в коротких сношениях с Надеждиным, я сообщил ему свои возражения, проспорил с ним вечеров пять сряду. Профессор Щепкин, также коротко знакомый с Надеждиным, сильно меня поддерживал. Мы старались доказать, что правила не выдержат опыта,—но напрасно. Правила были приняты и введены.

На экзамене, из 300 или более человек, оказались достойными только трое. Я помню их по именам: Иван Тургенев (нынешний писатель), Николай Соловьев (это—брат моей бабушки Анфисы Уаровны Соловьевой, Ник[олай] Уарович Соловьев) и Николай Гори. Всех троих выручили преимущественно языки. Торжество мое было полное, но самолюбие человеческое не любит соглашаться и с очевидностью. Ректор и секретарь стояли упорно на своем, прибегли к исключениям и снисхождениям, вследствие которых принято было студентов сколько следовало, хотя бы и не было правил.

(Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, ч. 17-я,



Отец мой А[лексан]др Ив[анови]ч Флоренский несколько раз говорил Люсе, а кажется — и мне, что у нас (т. е. у него) был дядюшка, у которого был странный характер. Папа говорил также, что дядюшка этот уехал в Америку. Откуда-то у отца моего были сведения, что он живет в Америке. Папа шутил, что в один прекрасный день американский дядюшка заявится к нам. Этот дядюшка и есть Николай Уарович Соловьев.



—

Г. Ф. ПЕКОК

**Пекок, Готфрид (?) Федорович.** Преподаватель Елисаветинского училища в Москве. Адрес его: Пречистенская ч[ась], 3 кв[артал] на Сенном бульваре, в д[оме] Антонова (Адрес-календарь разных учреждений г. Москвы на 1875 г., I, стр. 425).

**Пекок, Готлиб Федорович.** Преподав[атель] 1-й женск[ой] гимн[азии] в Москве: у Смоленск[ого] бульвара в д[оме] Антонова (id., стр. 479).

**Пекок, Готлиб Федорович,** уволен[ный] из мещан г. Либавы. Преподав[атель] 2-й женск[ой] гимн[азии] в Москве: по Смоленскому бульвару в д[оме] Антонова (id., стр. 485).

**Пекок Готлиб Фед[орович],** уволенный из мещан г. Либавы. Преп[одаватель] 5-й женск[ой] гимн[азии] (id., стр. 489).

Он же, учитель императорск[ого] Николаевск[ого] сиротского института, то же (id., стр. 494).

**Пекок Готл[иб] Федор[ович],** урож[енец] г. Кельна, преподав[атель] Александро-Мариинск[ого] Училища, Преч[истенская] ч[ась], 4 кв. у Смоленск[ого] бульвара, по левой стороне, в д[оме] Антоновой (id., стр. 505).

От самого Готлиба Федоровича я слышал неоднократно, что по происхождению их род очень смешанного происхождения: шотландские выходцы, Пекоки присоединили

в состав своей крови кровь испанскую (это я хорошо помню) и немецкую. С очень ранних лет (чуть ли не более 14-ти—?) Готлиб Федорович ушел из дому, побуждаемый страстью к музыке, и странствовал по Германии, а потом заявился в Россию, не зная языка, если не ошибаюсь, в Петербурге прямо к Гензелту, который принял его под свое покровительство. Но Гензелт переселился в Россию из Берлина и поселился в Петербурге лишь в 1838-м году. Это побуждает думать, что знакомство с Гензелтом было завязано еще в Берлине и что переехал-то в Петербург Готлиб Федорович вслед за Гензелтом и, вероятно, побуждаемый его славой, как одного из замечательнейших пианистов и музыкантов-педагогов XIX-го века (\* 1814, † 1890). Как известно, Адольф Львович Гензелт почти всю свою жизнь, причем в одном Петербурге он трудился полвека, «посвятил музыкальной педагогической деятельности, образовав, под своим непосредственным руководством, множество прекрасных пианистов и пианисток и в особенности преподавательниц фортепианной игры подведомственных ему институтов».

Готлиб Федорович Пекок попал — или, по его выражению, «имел счастье быть» в числе его учеников, и притом был одним из любимых: этому самосвидетельству его, может быть, и рискованно было бы верить, если бы не живое доказательство его близости к Гензелту, висевшее у него в гостиной на почетном месте: это лепленный рельефом из красного воска профильный круглый медальон самого Гензелта, исполненный его августейшею ученицею, если не ошибаюсь, Лихтенбергскою, и подаренный Гензелтом Готлибу Федоровичу в знак связи и поощрения. Кроме того, в Гензелте он всегда находил твердую опору и поощрение. Гензелт устраивал его в бесчисленное множество женских учебных заведений, где Готлиб Федорович был преподавателем игры и преимущественно пения; на Гензелта же рассчитывал он, когда столько лет готовил к печати свою, увы, так и не напечатанную «Школу пения».

Понятно, что Готлиб Федорович, столько обязанный Гензелту и к тому же — со своей старой немецкой верностью и благодарностью, питал к Гензелту благоволение беспредельное, не говорил о нем иначе, как в тоне самом повышенном. Видно было, что нет никакого имени, ему более дорогого и им более чтимого, нежели HENSELT, окружавшего на медальоне выпуклыми буквами профиль его учителя и покровителя.

Как известно, имя Гензельта пользовалось в русском обществе огромною популярностью; «выразительностью своей игры и самостоятельностью школы он установил совершенно новую эру в фортепианной области и долгие годы держал под своим обаянием весь наш музыкальный мир и своих учеников по всей России. По замечанию М. А. Балакирева, появление в провинциальном городе ученицы Гензельта уже составляло большое событие». Поняв, что тот огромный сплошной успех, то победное шествие, каковым было артистическое турне супругов Пекоков по Уралу и Сибири... NB (подробнее).



ИЗ РАССКАЗОВ З. И. ФЛОРЕНСКОЙ  
О МОРОЗОВЫХ, УШАКОВЫХ, ФЛОРЕНСКИХ

Пра[сковья] Мар[ковна]<sup>1</sup> эту Nadine<sup>2</sup> не одобряла. Но Пра[сковья] Мар[ковна] никого не осуждала. Она отличалась большой терпимостью к тому, к чему Ел[изавета] Влад[имировна] относилась нетерпимо (...). Она была страшно терпима. А Ел[изавета] Влад[имировна] нетерпима и осуждала даже близких людей. Но Праск[овья] Мар[ковна] даже подписать фамилии [?] не умела. Было и полное отсутствие слуха, а музыку любила. Елиз[авета] Влад[имировна] танцевала и гостила у Енгальчевых. Енгальчев имел какое-то отношение к Елиз[авете] Влад[имировне].



В письмах деда упоминается красавица, это, очевидно, одна из Львовых.



Столповская-Голубицкая Анна Петр[овна]. Столповский — 1-й муж, с кот[орым] она разошлась. Голубицкий ее 2-й муж. Столповский был военный, каж[ется] полковник, богатый. Дети его имели к ней отношение.



Влад[имир] Ив[анович]<sup>3</sup> страшно любил жизнь во всех ее проявлениях. Жизнь его была каторжная. Жизнь ему

отказывала во всем. Он был умен, недурен собой, но жертвовал средствами. Он родился 2-й сын у матери, и мать его не любила, кормил[ца] выкормила. Мать была равнодушна к нему, а дочерей любила. До женитьбы не любила, а потом, когда посыпались наслаждения [?] как из рога изобилия,— полюбила, старалась наверстать.

Жена Евгения Андреевича Лучкова.

† с 8 на 9-е в 23<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ночи октября 1917 г. Умер вовремя — лампада догорела. 2 раза вздохнул — спокойно, не было ничего тяжелого, а просто успокоился. Лицо было спокойное, хорошее.

(Зин[аида] Ив[ановна] звала его игумном — ходил в длинной барашковой шапке.)



Родились Зина[ида] Ив[ановна] и Лид[ия] Ив[ановна] <sup>4</sup> в станице Гребенской под Тифлисом.

У Вл[адимира] Ив[ановича] глаза были очень слабые, глаза у него были **косые** слегка, говорят, он заснул, а отец его своим криком напугал, и после того он стал косить.



У детей Елиз[аветы] Вл[адимировны] — у всех дочерей глаза большие, карие — в мать (у Людмилы Ив[ановны] меняются, но очень темные), у Вл[адимира] Ив[ановича] серо-зеленые, в отца. Лоб был оч[ень] хорош. Сложе[ние] хорошее.

У Ел[ены] Влад[имировны] один глаз (левый) был наполовину серый, наполовину карий (серая половина **наверху** [нижняя?] была половина слабая), правый — карий.



(...) имела какие-то касания к Флоренским. Она была жена командира. Была (...) о браке ее с Ив[аном] Андр[еевичем]: под конец она разошлась с мужем. Брак не состоялся, потому что у Ив[ана] Андр[еевича] не было веры в нее и даже в детей <sup>5</sup>.



## ИВАНОВЫ

### ЗАМЕТКИ О РОДЕ ПРАБАБКИ МОЕЙ ЕКАТЕРИНЫ АФАНАСЬЕВНЫ ИВАНОВОЙ

#### I

На одной из фамильных икон моей бабушки Анфисы Уаровны Соловьевой, по матери — Ивановой, изображены

и святая мученица **Фекла**  
и святая мученица **Екатерина**

Екатерина — вероятно, Ангел моей прабабки, матери Анфисы Уаровны. А Фекла?

Икона эта писанная масляными красками на доске и имеет серебряную рамочку и серебряные венчики. На обратной стороне доски написано чернилами:

«Писанъ 1818 года в Марте мес.».

Чей это автограф?

#### II

В письмах моего деда к невесте Анфисе Уаровне Соловьевой упоминается неоднократно некая **Юлия Сергеевна**. Полагаю, что это ее двоюродная сестра — Юлия Сергеевна **Иванова**, дочь Сергея Афанасьевича Иванова, брата Екатерины Афанасьевны Соловьевой, матери Анфисы Уаровны. Эта Юлия Сергеевна родилась 9 апреля 1820 г. (Родословная книга Дворянства Моск[овской] губ[ернии], т. I, под ред[акцией] Л. М. Савелова, стр. 644). Дедушка писал свои письма в 1843 — 1844 гг. Следовательно, Юлии Сергеевне было тогда 23 — 24 года, т. е. она была в расцвете красоты, — что согласуется с упоминаниями о ней бабушки Анфисы Уаровны.

Как бы выяснить, за кого вышла замуж эта **Юлия Сергеевна Иванова**? (просмотреть Родосл[овную] книгу Моск[овского] Дворянства **Всю, жен[скую]** т. с.).



1917.VII.12. Серг[иев] Пос[ад]¹.

Разговорившись сегодня с Мих[аилом] Вас[ильевичем] Нестеровым о художниках и живописи, я узнал от него, что он был близко знаком со всею семьею Ивановых и даже дружил в дни своей молодости с художником Сергеем Васильевичем Ивановым, его сестрою и другими. Вот что рассказывал М. В. Нестеров:

«Я познакомился с Ивановым в Москве вскоре после смерти их матери (Агриппины Ивановны?), так приблизительно через год после кончины,—она была около 33-х лет тому назад. Как-то сразу его встретили разговорами о покойной матери: «Вот здесь стоял гроб, здесь служили панихиду» и т. п. Помнится мне — осталась с отцом (Василием Николаевичем) большая семья — мальчуган, крошечные девочки лет по 6—7, со стриженными головками.

В семье как-то все бунтовались, уходили, но это было семье так нужно, какое-то свойство семьи. Что-то хорошее, несмотря на бунт, в семье было, приятное. Отец их — высокий, нервный, с длинными ногами. С детьми был в приятельских отношениях. Он был невоздержан насчет женского пола — горничные и т. д., дети возмущались. У сына, Сергея Васильевича, это было несколько и на почве соперничества: и отец и сын были с длинными ногами и охотились вместе за горничными. Но отец был на приятельской ноге с детьми, и они преступали свои права, потому что накрыли отца — ну, и что ж делать. Он был интеллигентского типа, напоминал Родичева — земец с виду. Дожил до глубокой старости, и если теперь не умер, то ему было бы около 80-ти лет.

Сын его Сергей Васильевич, художник, пользовавшийся известностью, передвижник. Им пользовались — вот те, кто свергал Романовых. Его звали «адский поджигатель». Эту кличку, собственно, я пустил — потому что он первым бежал, где что случится: студентов сгонят в Манеж — он бросает этюд и бежит стремглав; забастовка — тоже. «Адский поджигатель» был худой, длинный, некрасивый, но приятный. Ходил всклокоченный. Таким он изображен на

портрете, написанном **Бразом**: там удачно схвачено основное в «адском поджигателе». Он был добрый, был у него талант, но школа ему трудно давалась, формой он совсем не владел, а все отделялся отсебятиной: перо за ухо посадит. И заразили его этими идеями: оплевать, загадить все русское, родное... (передаю приблизительно эти фразы). Весь он в бунте, немыслим без баррикад, и писать его надо на фоне баррикад — немного театральных.

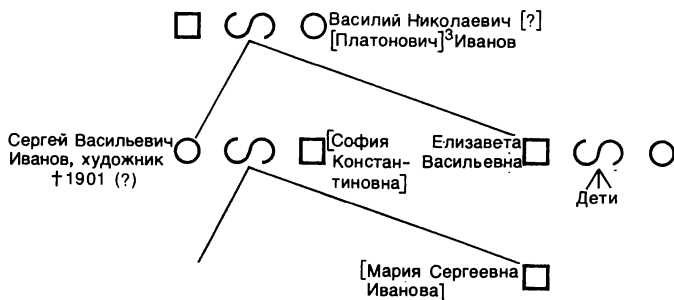
У него было где-то по Савеловской дороге именьице небольшое, возле Васнецова. Когда его хоронили, Виктор Мих[айлович] Васнецов был на отпевании. Сергей Васильевич Иванов помер молодым, приблизительно около 1901-го года<sup>2</sup>. Помер внезапно, от разрыва сердца. Вдруг погнался застрелить какую-то хищную птицу, которая заклевала петуха, схватил ружье — и в сад. В саду с ним сделался припадок от волнения; через несколько часов он умер.

От Сергея Васильевича Иванова осталась жена — маленькая, скромная, застенчивая и с усиками, и двое детей. Жена изредка появляется в художественных магазинах — приносит на продажу картины своего мужа.

Одна из сестер Сергея Васильевича, кажется, **Елизавета Васильевна (?)**. Она издавала или редактировала какой-то журналчик. Замужем, и есть у нее дети, но фамилии ее я не знал, а с нею самую дружил.

Собственно, разгар добрых отношений с Сергеем Васильевичем был у меня в десять месяцев моей женитьбы. Он тогда ежедневно приходил к нам, ему нравилась, по-хорошему, моя жена. Потом началось расхождение. Ему не нравилось мое направление, он прямо это высказывал...

**Сергея Васильевича Иванова** издавали цветные альбомы — у Дадиаро, Аванцо они имеются...» — NB: до бы т ь.



**Мих[аил] Вас[ильевич] Нестеров** и **С. В. Иванов** в годы юности, до школы еще, выпустили альбом путешествий своих, выпустили совместно, хотя путешествовали врозь. Сейчас это издание представляет библиографическую редкость. Позже картины **С. В. Иванова** издавал на больших листах еврейчик **Кнёбель**. В магазине **Гросмана** и **Кнёбеля** в **Петровских линиях** (против ресторана) можно купить эти 1917. репродукции, предназначавшиеся для земских школ и т. п. VII.13 и имеющие в виду оплевать все русское.

**Кнёбель** хорошо знал **С. В. Иванова**, вероятно, знает и жену его. Спросить у него, не скажет ли он чего об **Иванове**, и не даст ли он чего об **Иванове**, и не даст ли адреса его жены.

**С. В. Иванов** как-то затеял спуститься чуть не на плоту по Волге. Купили в **Ярославле** этот плот или эту лодку и компанией отправились, чтобы останавливаться где вздумается и быть свободными. Но у **С[ергея] В[асильевича]** характер был сильный и тяжеловатый. Вышло так, что останавливались, где **С[ергею] В[асильевичу]** вздумается, и делали то, что ему угодно. Это прискучило, и где-то под **Царицыном** все разбежались, так что **С[ергей] В[асильевич]** остался чуть не один на своем плоту.



1920. VI. 24  
ст. ст. В мае 1920 г., будучи в **Москве** у известного офортиста и графика **Василия Николаевича Масютина** (**М., Никитский бульвар, д. 19, кв. 3. Тел. 5.63.24**), я встретился там с молодой девушкой, другом детства **Масютина**, которой предстояли какие-то неприятности в **Чрезвычайке**. По уходе же ее я узнал, что она — дочь художника **Сергея Васильевича Иванова** и что зовут ее — **Мария Сергеевна**. Мать же ее оказалась **Софией Константиновной**.

Адрес их: **Арбат, д. 31, кв. 37**, против военно-окружного суда. Телеф[он] 2.47.21. У них имение возле р[еки] **Яхромы**, около **Влахернской**.



1) «Сергей Васильевич Иванов, живописец, родился в 1864 г., в 1882 поступил в Академию Художеств, но покинул ее в 1884 г. Из работ Иванова, появлявшихся на выставках, можно отметить следующие: «Крестьянин», «Солдат», «Больная», «Мирское детище», «Из острога на допрос», «Этюд», «Забор», «В вагоне IV класса», «Арестант», «Переселенка», «Обратные переселенцы», «В дороге», «Бродяга», «На заработки» и мн[огие] др[угие]. Картины Иванова отличаются публицистическим направлением; он специализировался по изображению униженных и оскорбленных» (Большая Энциклопедия. Т. 10. СПб., 1902, стр. 771).

2) «...для А. Афанасьева суть художественной правды — не во внешних признаках «народности» или «эпохи», а в ясном и простом выражении основной мысли и в отбрасывании мешающих подробностей. Это качество художника становится особенно ясным, если сравнить другую картину его (кроме «У приказных ворот») — «Дурачье», — сказал дьяк» — с находящейся в собрании (А. А. Коровина в Петрограде) картиной С. (В.) Иванова «В приказной избе». Тема — одна, но насколько простота художественного языка афанасиевской картины делает ее утонченнее картины С. Иванова, с ее «болтливостью», перегружением навязчивыми деталями, подчеркиваниями, а главное — иллюстрационной приблизительностью» (Всеволод Воинов. Собрание А. А. Коровина. «Аполлон», 1917 г., № 2—3, стр. 5).

(id., между стр. 22 и стр. 23 — воспроизведение картины С. В. Иванова «В приказной избе».)

3) Обширная статья об Иванове, С. В. — в: Н. П. Собко. Словарь русских художников, т. II, вып. 1. СПб., 1895, столб. 410—419. На стран. 411 — воспроизведение его «Бродяги» (1890 г.). Приводится множество выдержек об Иванове из газет.

«Род. 4 июня 1864 г. в Рузе. Сын колл[ежского] ас[сесора], служившего надзирателем 4 округа Моск[овского] Акцизн[ого] Управл[ения], он, по оконч[ании] курса весной 1882 г. в гипс[овом] фигури[ом] классе Моск[овского]

Уч[илища] живоп[иси] и ваяния, поступ[ил] осенью того же года в Ак[адемию] Худ[ожеств], но, «не желая более продолжать образование» в ней, просил, по переводе в натурн[ый] кл[асс] 12 мая 1884 г., выдать ему в том свидетельство...» (столб. 410).

См. Списки лиц, служивших в Мин[истерстве] Фин[ансов].

САПАРОВЫ. МЕЛИК-БЕГЛЯРОВЫ.  
ПААТОВЫ. ШАВЕРДОВЫ. АЛИХАНОВЫ.  
ШАДИНОВЫ. КН. ЧЕРКЕЗОВЫ

ЗАМЕТКИ О РОДЕ МОЕЙ МАТЕРИ

1916.IX.20

*Переписываю для начала те сведения, которые собрал брат мой Шура; под его диктовку я писал их в Москве 1915.X.11. Но дополняю их некоторыми пояснениями (рассказы Шуры отмечены звездочкой).*

1

Мать моя — Ольга Павловна Сапарова — была при крещении названа Саломией (Саломэ — по-армянски); она — армяно-григорианского исповедания. Родилась она 25 марта 1859-го года в Сигнахе, за 100 верст от Тифлиса. Отец ее, Павел Герасимович Сапаров, умер весной 1880-го года в Тифлисе, вероятно, в мае или в июне. Ему было тогда приблизительно 62 года. Погребен он в Тифлисе, на Ходживанском кладбище, не очень далеко от церкви, напротив от входа. Сперва жил в Сигнахе, а когда маме было 5 лет — переехал в Тифлис. И в Сигнахе и в Тифлисе у него были дома. Вообще он был человек очень богатый, имел, между прочим, шелковую фабрику. Я помню в детстве моток шелка-сырца, хранившийся у тети Юли в комод, оставшийся от этого дедушки. Моток тот мне очень нравился — был как волосики сестры моей Вали. Потом он куда-то исчез, вероятно, сторел в Батуме на пожаре. Пожар на фабрике в связи с происшедшим отсюда разорением был толчком к смерти деда. Он умер до моего рождения, и я видел лишь плохой его портрет, хранящийся у нас в доме.

2\*

Сапаровы — выходцы из Карабаха в XVI в. В Карабахе случилась чума, и они выселились в селение Болнисс Тифлисской губернии со своими крестьянами, спрятав свои крововища и все имущество и бумаги в пещере над рекою

**Инчей**, в верховьях ее, в Елисаветпольской губернии. Тогда их фамилия была еще Мелик-Бегляровы. Когда чума кончилась, почти все Мелик-Бегляровы вернулись в Карабах. Часть же их, а именно три брата, остались в Грузии, в селении Болнисс. От них, по прозвищам трех братьев, произошли три фамилии, родственные между собою: Сапаровых, Паатовых и Шавердовых.

3 \*

Собственно, фамилия Сапаровых происходит от грузинского слова са-п<sup>h</sup>ари, т. е. [...] <sup>1</sup> щит. Это прозвание данная ветвь рода Мелик-Бегляровых получила за какую-то военную услугу, оказанную грузинскому царству. Потом она переселилась в Сигнах. Какой-то из грузинских царей подарил им в Кахетии именование **Карагач**; еще до 1913-го года оно принадлежало Сапаровым. Недавно умер мамин двоюродный брат Иван Сапаров.

3 \*

По слухам, фамилия Сапаровых будто бы переселилась в Венгрию, а потом часть ее вернулась обратно. Говорят, будто в Венгрии до сих пор имеются дворяне Сапаровы, считающиеся не армянами, а настоящими венгерцами \*.

4 \*

Родство отдельных ветвей распавшегося рода Мелик-Бегляровых поддерживалось в дальнейшем браками. Гово-

\* ( Ср.: ) «Столица и Усадьба» (год издания 1, 1 мая 1914 г., № 9, стр. 13 — 16).

#### Австрийское посольство в Петербурге

«Comte Frederic Szapary de Szapar Mura-Szombat et Szichi-Szizet.

Граф Сапари начал свою дипломатическую карьеру как атташе Австрийского посольства в Риме. Перед назначением в Россию он занимал должность начальника иностранного отдела в Министерстве Иностранных Дел в Вене, в Петербург он назначен послом осенью 1913 года. Граф женат на принцессе Виндшигрец, у него четверо детей. Граф большой любитель искусства, большой спортсмен». При статье приложены фотографии-портреты графа Сапари, графини Сапари с дочерью, двоих детей гр[афа] Сапари, группы членов австрийского посольства, и в том числе граф Сапари, посол.

Есть какие-то толки, что граф Сапари представляет собою родственную ветвь Сапаровых, выселившуюся с Кавказа; но, полагаю, эти толки — пустые.



рят, что Сергей дядя (Сергей Теймуразович Мелик-Бегляров), муж нашей тетки Елизаветы — Лизы тети — двоюродный брат ее. Мамина мать София Григорьевна Паатова была в родстве со своим мужем, а нашим дедом, Павлом Герасимовичем Сапаровым. Мелик-Бегляровы женились на трех родственных им и между собою фамилиях: Сапаровых, Шавердовых, Паатовых. Роды Паатовых и Сапаровых славились красотой своих женщин. В Тифлисе до сих пор жива песня, сложенная про мамину двоюродную сестру Нину Шадинову<sup>2</sup>.

5\*

М. Картульян рассказывал Шуре, что отец его рассказывал следующее: его двоюродный дядя Герасим Павлович Сапаров был взят будто бы немцами ребенком за границу для распространения немецкого влияния; за ним будто бы приезжали какие-то родовитые лица. Рассказывают даже, что он учился вместе в университете с Вильгельмом, впоследствии императором и виновником великой войны, и дал ему за что-то пощечину; тогда его выслали из Германии. Он внезапно явился домой, но отец разгневался и будто бы не захотел принять его. Ссора с отцом и послужила толчком к развитию у него туберкулеза (от которого он умер, в 1870-м или 1871-м году, за границей. Кажется, мама была близка с ним. По крайней мере, записная его книжка хранится у мамы.— П. Ф.).

6\*

Павел Герасимович Сапаров был очень влиятельным человеком, одним из самых крупных помещиков. Он был законодателем мод. Братья его были женаты, кажется все,— на француженках. Но дед был и беспечен. Кажется, он был обкраден приказчиком своим, теперь на его деньги ставшим миллионером, Манташевым.

В доме Сапаровых останавливались все знаменитости, приезжавшие в Тифлис. У них же останавливался и шах. По словам Шуры, жил в их доме и академик Абих, но Лиза тетя утверждает, что он нанимал себе квартиру по соседству. Возможно, однако, что эти сведения относятся к разным временам. Кажется, мама поступила на курсы под влиянием Абиха\*.

\* «Ср.» Wien Herm. Abich. Aus Kaukasischen Ländern Reisebriefe. I — II. Вена, 1895.

Главное родословие Мелик-Бегляровых записано в Толышинском Евангелии IX-го века, на первых листах. Евангелие это хранилось в родовой церкви Мелик-Бегляровых на горе Хореке, где до сих пор стоят развалины их замка, но было выкрадено одним крестьянским семейством, которое, распродавая его по листам и показывая за деньги богомольцам, тем живет. Вот почему строгие приказания Католикоса Армянского и даже отлучения от Церкви не были достаточно сильны, чтобы заставить это семейство вернуть церкви ей принадлежащую рукопись.— Есть и еще запись истории Мелик-Бегляровых— в Болнисском Евангелии, хранящемся в церкви этого села.

Все петровские движения на Восток, по словам Шуры (их я оставляю на его ответственности), шли чрез Мелик-Бегляровых. Петр Великий пишет им «брат». Они упустили время, а в свое время могли бы получить титул «светлейших».

Карабахские армяне— собственно, не армяне, а особое племя удины, родственное, быть может, лезгинам; в древности они назывались албанцами, а армяне зовут их ахаване.

Они жили первоначально около озера Гокчи. Теснимые с юга, они переселились в Карабах, вместе с князьками своими, носившими родовое имя Бегларовых, по имени своего легендарного предка Беглара. Но и в Карабахе они держались замкнуто, не смешиваясь с окружающим населением. Этим, между прочим, объясняется, что Мелик-Бегляровы женились на девицах или родственных, или вышеуказанных трех фамилий.

Карабахские армяне сохранили особое наречие и особые нравы.

Титул меликов Бегляровы получили от турецкого правительства.

---

(Посмертное издание писем и записок Абиha, содержащих живое описание Кавказа.)

(Нет ли тут чего о доме Сапаровых, у которых жила Абиh в Тифлисе?)

Мать Сергей-бека Мелик-Беглярова, т. е. Сергей-дяди, мужа Лизы тети, была краденая персианка — ганджинская ханша. У Сергей-дяди и у Маргариты, дочери его, тип лица был именно персидский, а не армянский.

## 11\* и мои сведения

О смерти Маргариты надо отметить следующее. Она все время уезжала от мужа своего, Христофора Александровича Оганьяна, путешествовала по всему свету и собиралась даже эмигрировать в Америку, с чем и уехала в последний раз в Баку. Тут внезапно она заболела, как говорили, — острым нефритом — и скончалась через 2—3 дня, к полной неожиданности для всех. Говорили, что муж отравил ее. Припоминали, что он грозился сделать это, если она уедет от него. Он ее очень любил и ревновал. Лизе тете предлагали выкопать тело ее дочери и начать судебное следствие, но родственники отговорили ее. Христофор Александрович был человек отличный. Однако Лиза тетя почему-то с ним не имела никакого дела по смерти Маргариты, хотя его весьма ценила. Это уклонение от общения и даже полное упоминание о нем весьма странно и наводит на мысль, что Маргарита умерла действительно неспроста. — Маргарита была погребена в Баку в цинковом гробе. Могилы разрыли и гроб перевозили на родовое кладбище Мелик-Бегляровых на горе Хореке, возле имения Хапагай, около села Тольши. Там же погребен и отец ее Сергей Теймуразович Мелик-Бегляров. Этот перевоз гроба был невыносимо тяжел, так рыдала, отчасти ритуально, отчасти искренно, причитала, плакала, кричала вся округа, а везти гроб надо было около 50-ти верст, если не более, на лошадях.

## 12\*

Я от матери унаследовал туберкулезную организацию. Это — сапаровское. У них же туберкулез был завезен из Марселя. Каким-то бархатом были обиты стены в доме Сапаровых, и бархат был из марсельской фабрики, где свирепствовал туберкулез.

И вот теперь последствия этого бархата — многочисленные жертвы туберкулеза во всех семьях, связанных с Сапаровыми.

13

У нашего деда Павла Герасимовича Сапарова была старшая его сестра Татела (Thathéla) Герасимовна Сапарова. Она осталась не замужем и жила в Сигнахе и в Тифлисе, нередко в семье своего племянника Аркадия (Аршака) Герасимовича<sup>4</sup> Сапарова. Впрочем, она была известна больше не под своим именем, а под прозвищем **Мамиды**, что по-грузински значит «тетка». Теперь она, вероятно, умерла.

14

Эта самая **Мамίδα** говорила, что кто-то — не то наш прадед, не то прапрадед — был **пастухом** и пас овец — впрочем, своих собственных. Имел **сто** (100) овец и несколько коров, рассказывала Мамίδα, и пас их. Тамаре запомнилось, что их было именно **сто**.

15

О деде нашем Павле Герасимовиче Сапарове Тамара слышала, что он был человеком с большим вкусом, знал толк в красках, тканях, вещах, умел хорошо одеваться и давать советы другим в этом отношении. Рассказывали ей, что к деду приходили тифлисские аристократические дамы за подобными советами. Он был большим любителем духов, имел какие-то необыкновенные духи; Ремсо тетя рассказывала, как маленькими они, девочки, забирались к своему отцу и таскали духи, так что когда их белье приносили из стирки, оно издавало какое-то необыкновенное благоухание.

16

1917. Сестра моя Гося (Раиса), которая сравнительно хорошо  
VII.31 знает наш *cousinage*<sup>5</sup> по матери, говорит, что она делит всех  
Со слов Люси двоюродных, троюродных и т. д. сестер на два разряда: **розовых** и **желтых**. Розовые — это сапаровского типа, желтые — паатовского. Сама она — «желтая», Люся — «розовая», я — «желтый». Действительно, двоюродные сестры

Паатовы (?) поразительно, как говорят, похожи на Госю — не только цветом кожи, но и манерою держаться, всем *polites*'ом<sup>6</sup>, осанкой, видом...

Если применить терминологию Менделя, то можно сказать, что **розовость** есть доминирующий признак, а желтизна — **рецессивный**. В самом деле, у розовой мамы моей дети родились и розовые и желтые. Следовательно, мама — «промежуточного» типа, но выступает цвет розовый. Следовательно, сапаровская кровь, в этом, по крайней мере, отношении, сильнее паатовской.

Сапаровская розовость связывается, по-видимому, с туберкулезным предрасположением.

По характеру: сапаровская кровь, по-видимому, более деятельная практически, а паатовская — более созерцательная. По Платону, оливковый цвет кожи предугадывает философа. Если так, то понятно, что желтоватые и должны быть созерцателями, а розоватые — практиками. Это следовало бы проверить.

В роде Гиацинтовых — **розовость** опять сочетается с желтизною. Отец Мих[аил] Фед[орович], братья его — Иван и Петр — розовые, дети: Николай, Василий, Анна, Гавриил — розовые; мать (Над[ежда] Петр[овна]) и дети: Александр и Михаил — желтые. Число 2 на 4 соответствует принципам Менделя.



«Различаются два вида окраски (кожи лица): пигментная и кровянистая...» (Р.-А. Рейсс. Словесный портрет. Пер. К. Прохорова. Скл[ад] изд[ания] «Знание». М., 1911 (Петровские линии)). Подобное же см. и в Антропологии (...). Важно выяснить, чему же соответствуют эти два типа окраски.  
1917.VIII.11

Люся говорила мне, что Дамюр, татарин-конюх, росший с детства в доме Сергея дяди Мелик-Беглярова, — сын его незаконный, вероятно, от татарки. Действительно, Дамюр пользовался неограниченным доверием в доме, был почти братски близок к Давиду, сыну Сергея дяди, да и тип его не был татарский, а скорее армянский: Дамюр походил лицом на Давида. Во время татарско-армянских беспорядков Дамюр был личным телохранителем Давида. Но потом что-то произошло. Он предал всех Мелик-Бегляровых и ар-

мян, спасавшихся у них, татарам. Теперь Лиза тетя об имени Дамюра слышать не может.

18

1917.VIII.11

Брат мамы — Герасим Павлович Сапаров — жил в Монпелье, в армянской колонии. Там его хорошо знала семья Минасьянцев. Молодой Минасьянц женился потом на Арфйк.

Отец этого Минасьянца был знаком с братом мамы.

19

В доме деда моего Павла Герасимовича Сапарова, в Тифлисе, околачивался Манташев, тогда бедный, молодой человек, а впоследствии известный закавказский миллионер. Он собирался жениться на одной из дочерей Павла Герасимовича, т.е. какой-либо из моих теток, и даже делал предложение Соне тете, но был отвергнут, как бедный жених. Потом Сапаровы разорились, а Манташев нажился.

20

1917. VIII.21  
Серг  
[и ев]  
Пос  
[ад] Сегодня, 21-го августа 1917 г., получил я письмо от 9-го августа 1917 года из Тифлиса, от служащего в Земском Союзе студента Московской Духовной Академии Или Фаддеевича Донца. Этому своему ученику и приятелю я дал поручение — разыскать на Тифлисском Ходживанском кладбище могилу деда моего Павла Герасимовича Сапарова и списать надмогильную надпись, а также описать вид могилы и ее местонахождение. Вот что пишет И. Ф. Донец:

«Вашего Павла Герасимовича Сапарова нашел, но с большим трудом (и то благодаря одному армянскому священнику, сторожа отказывались).

Вот приметы местоположения на случай вторичного искания: могила находится рядом с навесом над могилами Амировых, недалеко от места упокоения семьи Манташевых и семьи Ашбековых, вблизи чьего-то памятника в виде настоящей кирпичной дачи — прекрасного места и для жилья. Никакого надмогильного памятника нет, кроме плиты, которую я и срисовал со всей точностью.

2 фута  $\frac{1}{8}$  дюйма



5 футов  $3 \frac{1}{2}$  дюйма

5 футов  $3 \frac{1}{2}$  дюйма

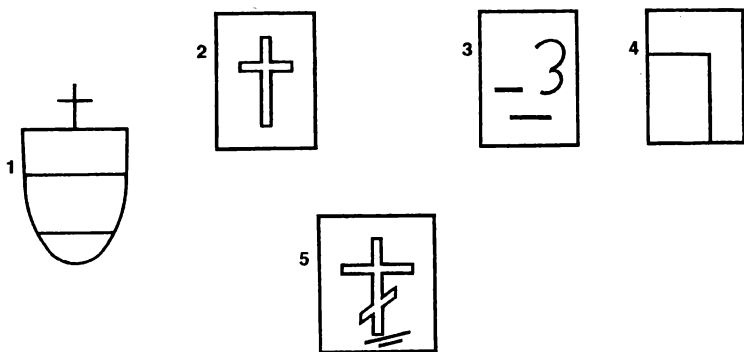
Надпись (армянская),  
тождественная  
надписи русской



Здесь покоится прах  
Павла Герасимовича  
Сапарова  
Скончался 20 мая 1878г.  
на 58 году от рождения

2 фута

Вид могильной плиты П. Г. Сапарова



Расположение могил  
на Ходживанском кладбище

1. Надмогильный крест (железный) на каменном постаменте с надписью:

*Дочь*  
*Павла Сапарова*  
*1861 — 1890*

(Очевидно, это — могила **Варвары Павловны Чрелаевой**, рожденной **Сапаровой**; — тети Вари; — сестрам ее, по понятным причинам, не хотелось писать ее фамилию; а чтобы это умолчание не подвергалось пересудам и толкованиям, они не написали и имени тети Вари, так чтобы для незнающих оставалось неизвестным, какая именно дочь Павла Сапарова погребена здесь. — С в я щ. П. Ф.)

2. Надмогильная плита **Софьи Григорьевны Сапаровой**, скончавшейся 16 января 1866 г. (Это бабушка моя, мать моей матери, рожденная Паатова. — С в я щ. П. Ф.)

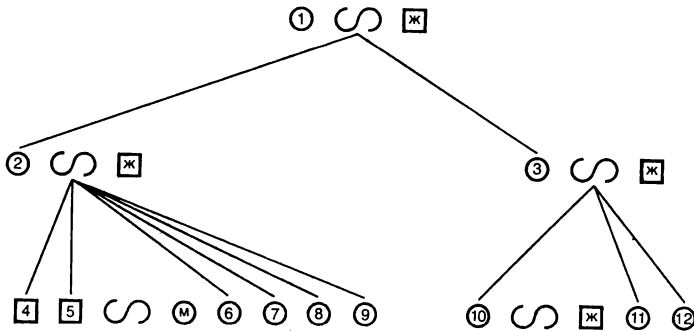
3. Надмогильная плита **Павла Герасимовича Сапарова**, увеличенный рисунок которой дан выше (армянской надписи я не срисовывал, так как было слишком очевидно (особенно по расположению цифр), что она совершенно аналогична русской).

4. Надгробная плита **Амирова** (над могилами Амировых навес на четырех каменных столбах, где живут голуби). (Могилы Амировых никакого отношения к Сапаровым не имеют.)<sup>7</sup>

5. Надмогильная плита **Герасима Павловича Сапарова**, скончавшегося 14 ноября 1869 г., на 24-м году от рождения. (Это — дядя мой, брат моей матери. — С в я щ. П. Ф.)



Мать Сергея дяди была Шавердова (по словам мамы 1919. VIII.25. Вечер При матери моей, приехавшей позавчера в Песад



- ⟨1⟩ Теймураз-бек Фридонович Мелик-Бегляров, полковник русской службы, его главное имение было с[ело] Карачинар.  
 ⟨ж⟩ Шавердова.  
 ⟨2⟩ Сергей-бек, Сергей Теймуразович, † 10 февраля 1905 г.  
 ⟨ж⟩ Елизавета Павловна Сапарова, Мелик-Беглярова, † 22 ноября 1919 г.  
 ⟨3⟩ Александр Теймуразович Мелик-Бегляров.  
 ⟨ж⟩ Варвара Соломоновна Автандилова.  
 ⟨4⟩ Мария, † младенцем.  
 ⟨5⟩ Маргарита, † 1905.  
 ⟨м⟩ Христофор Александрович Оганьян.  
 ⟨6⟩ Давид, холост. \* 1875, † 1913, погребен в Москве на армянском кладбище.  
 ⟨7⟩ † младенцем.  
 ⟨8⟩ Николай.  
 ⟨9⟩ Теймураз («Муразчик»)  
 ⟨10⟩ Николай («Коля»)  
 ⟨ж⟩ Чукасова, полулезгинка.  
 ⟨11⟩ Елена («Эличка»)  
 ⟨12⟩ Елизавета («Лиза»).

Следовательно, по Шавердовой, Сапаровы и Мелик-Бегляровы в свойстве <sup>8</sup>.

1919. *VIII.25* Мать моя говорила, что Александр Богданович Еван-  
гулов нам, собственно, не родственник, а находится лишь  
*Серг* в отношении очень дальнего свойства.— Александр Бог-  
*[ues]* данович всю жизнь мечтал заняться земледелием и, нако-  
*Пос* нец, 60-ти лет продал свой дом в Москве и уехал в Америку;  
*[ад]* там, в Калифорнии, он вскоре умер.

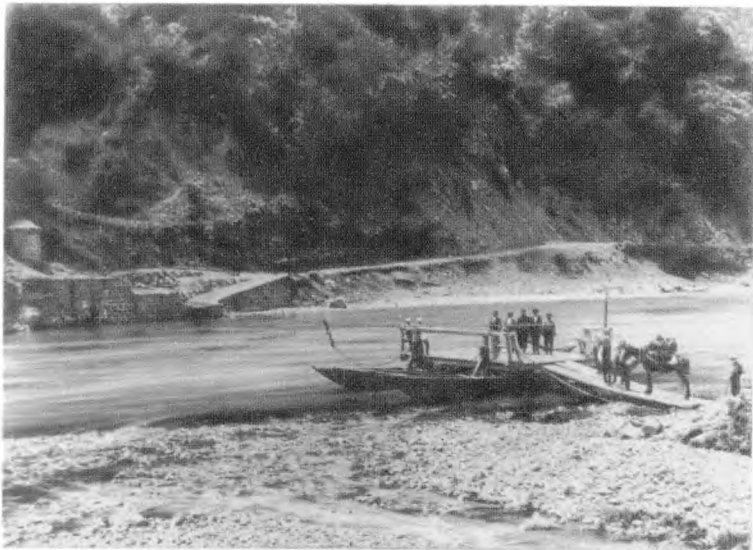
Гося, сестра моя, говорит, что есть две ветви Сапаровых, армянская и грузинская. Обе они, равно как и Мелик-Бегляровы, выселились из Персии, собственно из Персии — не из Персидской Армении.

Лиза тетя (Елизав[ета] Павловна Мелик-Беглярова), по  
*1919.* словам матери моей, выписывала много журналов и усерд-  
*VIII.25* но читала «Вестник Европы», «Современник», «Дело»,  
*Серг* «Отечественные Записки» и др. Она отчасти была проник-  
*[ues]* нута гуманными идеями 60-х годов: лечила крестьян, стара-  
*Пос* лась восстановить, сколько могла, всякую справедливость,  
*[ад]* защитить крестьян от обиды полиции и т. д. В других отношениях шестидесятничество мало ее коснулось. Но на Кавказе 60-е годы дали себя знать, и это движение было не на почве национальной, национализм проявился позже. Напротив, тогда русское влияние было очень сильно: в домах говорили по-русски, читали русскую литературу.

Муж ее, Сергей Теймуразович Мелик-Бегляров † 10 февраля 1905 г., а сама она † в Киеве в ноябре 1920 г.<sup>9</sup>

В воскресенье слушал в гимназии Цветковой репетицию концерта; певица исполнила «Серенаду» и «Форель» Шуберта. Это мне остро напомнило детство мое.

*1920.* У матери моей был хороший голос, и в свое время она  
*VI.1* училась пению. Потом, вероятно, из-за склонности к легоч-  
*Четверг* ным заболеваниям, пришлось это занятие оставить, но мама часто, когда мы были маленькими, пела, и в моих ушах до сих пор стоят звуки ее чистого, ясного голоса. Пела она



*38. Переправа на Ад-  
жарис-Цхали. Фото-  
графия начала XX в.*



*39. Ольга Павловна Фло-  
ренская с детьми Раи-  
сой и Андреем. Начало  
1900-х годов. Тифлис*



40. Ресимия Павловна Коновалова, урожденная Сапарова, с мужем Леонидом Васильевичем Коноваловым. 27 апреля 1908 г. Тифлис



41. Слева направо: Ляля, Тамара и Маруся Сапаровы. 1904 г. Аст-  
рахань. Интернет



42. *София Павловна, урожденная Сапарова, с мужем Николаем Ростопловичем Карамяном и детьми Хамо, Маргаритой и Эльзой. Германия. Начало 1900-х годов*

43. *Слева направо: столыт — Ольга, Александр, Юлия, Елизавета Флоренские; сидят — Ольга Павловна, Александр Ивано-*

*вич Флоренские, Ренсия Павловна Сапарова (?); у ног родителей сидят Раиса и Андрей Флоренские. 1906 г. Тифлис*





44. Слева направо: стоят — С. С. Троицкий, Павел и Александр Флоренские; сидят — Е. П. Сапарова-Мелик-Беглярова, Ю. И., А. И., О. П.

Флоренские, Р. П. Сапарова-Копылова; на первом плане сидят — Андрей, Раиса, Ольга Флоренские.

45. Дом Флоренских в Тифлисе на бывшей Николаевской улице. Фотография 1975 г.





46. Вид Троице-Сергиевой лавры. 1920 г.

47. Дом П. А. Флоренского в Сергиевом Посаде (Загорск). 1937 г.









48. Павел Александрович с женой Анной Михайловной и сестрами Юлией и Ольгой (на руках у Юлии ее дочь Александр). 31 марта 1911 г. Москва

49. Надежда Петровна Гиацинтова, урожденная Рязанова (справа) со своей сестрой

50. А. М. Флоренская (справа) с матерью Н. П. Гиацинтовой и сыном Василием. 8 августа 1911 г. Сергиев Посад



51. *О. А. Флоренская-Троицкая с Флоренским Васей. Около 1914 г. Сергиев Посад*

52. *Е. П. Мелик-Беглярова с Флоренским Васей. 1915 г. (?). Сергиев Посад*



53. *Рисунок шестилетнего Кирилла Флоренского с изображением себя и отца. Подпись Павла Александровича: «1921.XI.27. Кира нарисовал в подарок папе — папу и себя самого».*

54. *А. М. и П. А. Флоренские с сыном Василием. 1915 г. (?). Сергиев Посад*

1901 XI 27

Kuge vagnicfa  
2 vagnicfa vagnicfa  
vagnicfa vagnicfa





55. Анна Михайловна  
и Вася Флоренские  
с Александром Михай-  
ловичем и Катей Ги-  
ацинтовыми. 1916 г. (?).  
Окрестности Сергиева  
Посада или Муранова



56. Анна Михайловна  
Флоренская. 1920-е го-  
ды. Сергиев Посад (За-  
горск)



57. На террасе дома.  
Слева направо: Анна  
Михайловна с сыном  
Микой, Вася, Павел  
Александрович, Кира  
и Ольга. 1922. Сергиев  
Посад



58. Слева направо: судья — Павел Александрович, Вася, Анна Михайловна с Кириллом на руках, Катя Гиацинтова, стоят — Зосима Васильевич Трубачев (первый в ряду), Александр Михайлович Флоренский (четвертый в ряду) с дочерью Ниной Гиацинтовой. 23 мая 1917 г. В саду дома П. А. Флоренского в Сергиевом Посаде



59. Ольга Флоренская в возрасте четырех лет. 1 июля 1922 г. Сергиев Посад



60. *София Ивановна Олева (урожденная Киреевская) с Михаилом Флоренским. Около 1930 г. Снимок сделан в кабинете П. А. Флоренского. Загорск*







61. П. А. Флоренский  
с детьми Михаилом  
и Ольгой у Вифанских  
прудов в окрестностях  
Загорска. 1926 г.

62. А. М. Флоренская  
с детьми. 1927 г. За-  
горск

63. А. М. Флоренская  
с детьми Кириллом,  
Ольгой и Василием.  
1923 г. (?). Сергиев По-  
сад



более всего именно Шуберта. Чаще всего «Серенаду» — «И песнь моя летит с мольбою...». Пела «Форель», но реже. Пела «Лесного царя», тоже Шуберта. Часто пела (...): «Горный поток в чаще лесной...» Также пела часто романс Глинки «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты...». Романс меня занимал, тем более что я его понять не мог: слова «как гений чистой красоты» мне слышались: «Кагени чисто красо ть», — и они мне казались особенно значительными.

26

1920.VII.27. Сер[гиев] Пос[ад]

### К ГЕНЕАЛОГИИ МЕЛИК-БЕГЛЯРОВЫХ

«Недавно еще гористая часть Армении, находящаяся на западной стороне города Гендже (нынешнего Елизаветополья) и Берде, была подвластна нескольким малым владельцам, которые носили название Меликов и платили дань персам. Слово арабское, имеющее одинаковое значение со словом «царь»; но в этом случае под Мелик надо разуметь ленного владельца. Но во время последних войн с Россией Персия лишилась этих областей, и во власти ее остается только участок, граничащий с подвластною туркам частью Армении...» (А. Худабашев. Обзорение Армении в географическом, историческом и литературном отношении. Санкт-Петербург, 1859, стр. 27). (Б[иблиотека] М[осковской] Д[уховной] Ака[демии], 26, 369.)

—

«Мелик, или малик, — арабск. — владетель, господин, царь, правитель, старшина... Крестьяне пользуются землями Меликов по Мюльсадарскому праву». (Н[овый] Энциклопедический Сл[оварь], т. 26. Пг., б. г., столб.) 210.)

—

Имеется Родословная Книга Тифлисской губернии. Сделать там справки, а равно и в Родосл[овных] книгах других Закавказских губерний. Вероятно, все они, в рукописн[ом] виде, хранятся в Тифлисе. Справиться о Мелик-Бегляровых там же в тяжebных земельных делах Сер[гея]

Тейм[уразовича] Мелик-Беглярова в Тифлисс[ом]  
окружн[ом] суде.

27

**Karamiantz.** Verzeichniss der armenischen Handschriften. 1886.

**Karamiantz.** Die Handschriftenverzeichnisse der K. K. Bibliothek zu Berlin. 1813 (?).

28

Когда Ремсо тетя сообщила Новомейским, что собирается выходить замуж за Леонида (Васильевича) <sup>10</sup> Коновалова и советовалась с ним, Северин Феликсович Новомейский сказал, что он хорошо знает Коновалова и что очень хороший человек, и посоветовал выходить за него замуж. Это сообщила мне Соня тетя, со слов Ремсо тети. 1921.VIII.17.

Ремсо тетя испытала за время своей непродолжительной жизни «с Леонидом» полное счастье. Своего мужа она считает верхом совершенства и образцом благородства, чести, преданности дому. Она проникнута русским национализмом, даже преданностью Русской Церкви — по мужу. Она не может говорить о нем без глубокой скорби. Портрет Леон[ида] (Васильевича) Коновалова нарисован Вале́й, сестрой моей, и, кажется, очень похож.

29

1922.III.28. *ст. ст.*

Как-то на днях был у Сони тети. Она, за кофе, долго смотрела на мои руки и заметила, что они совершенно отцовские. Я нарочно переспросил, и она подтвердила, что мои руки точь-в-точь как у моего отца. Соня тетя, Ремсо тетя, Лиза тетя и, кажется, Варя тетя, все чрезвычайно уважали моего отца и очень считались с ним.

30

1924.VI.22. *Сер[гиев] Пос[ад]*

Вчера Ремсо тетя (которая гостит у нас) заметила: «Знаешь, Павля, я все присматриваюсь к лицам на улице

и всюду, но нигде не встречаю такого симпатичного, как было у твоего отца. Все совсем другие лица. О характере я не говорю, характер можно узнать только при близком знакомстве с человеком. Но даже лица такого приятного, как было у папы, нет ни у кого».

31

**Она же о папе**

«Через него же я познакомилась с Леонидом Васильевичем. Леонид Васильевич месяца за три до того потерял жену (2-ую свою жену) и был в полном отчаянии. Он приехал из Карса в Тифлис и хотел подавать в отставку, говоря, что ему теперь ничего не нужно. Он зашел было посоветоваться с папой. Папа уже чувствовал себя плохо, и меня выписали из Парижа. Я только что приехала, когда пришел к нам Коновалов. Я вышла к нему, не зная, кто он, и он попросил повидаться с папой. Я сказала, что он нездоров, но что я сейчас спрошу, можно ли его видеть. Пошла к папе, сказала, что его хочет видеть какой-то военный, и описала его. Папа сообразил и попросил его войти. Так завязалось наше знакомство. Папа уговаривал его перейти на гражданскую службу и обещал дать хорошее место: он тогда был помощником Новомейского. Но ввиду болезни папы перевод Коновалова на гражданскую службу затянулся. Коновалов стал посещать нас. А вскоре мы обвенчались».

32

**Она же, о Давиде и Сергей-дяде**

Сергей дядя был очень необуздан. Он много ел, целый день ничего не делал, и его отношения к женщинам доставляли много тяжелого бедной Лизе тете. Когда приехал из-за границы Давид, в первый же день Сергей дядя за ужином спросил его:

— А много ли у тебя там, за границей, было женщин?

Давид ответил, что вовсе не было.

— Какой же ты после этого мужчина? Какой ты мне сын?

Давид был очень оскорблен этим вопросом и тоном отца. Но Сергей дядя осыпал его насмешками и с этого вечера стал относиться к Давиду враждебно и насмешливо. Он завидовал ему и все делал наперекор. Хозяйствовать ему совсем не давал. Когда Давид делал распоряжения, то

Сергей дядя отменял их; когда посылал рабочих на работу, то через несколько минут Сергей дядя снимал их с работы и отправлял в другое место. Всякое распоряжение сына он встречал насмешками и враждебно.

Давид терпеливо сносил все. Он неоднократно просил отца дать ему в управление самый малый кусок имения, какой он хочет, но уже не мешать ему там; или — поручить ему какую угодно отрасль хозяйства и дать для нее определенных рабочих, но чтобы они были уже подчинены ему. Отец обещал сделать, а потом снова вмешивался и ставил препятствия работе.

Тогда Давид увидел себя вынужденным уехать из Хапга и взять себе место управляющего в чужом имении, возле Дербента. Сергей дядя не делал никаких попыток удержать его, и Давид уехал. Сергей дядя говорил о нем чужим с насмешкою: «Стоило ли давать сыну образование, чтобы он сделался управляющим!»

Давид был хорошим хозяином, работа у него шла успешно, дело быстро налаживалось; Сергей-дядю возбуждала против него зависть. Мой отец говаривал не раз Ремсо тете, что это — обычное явление на Востоке: отец завидует сыну, когда тот подрос, и нередко даже посылает к нему убийц и убивает его.

33 "

*«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ.  
1916—1917»*

1) *Моисей из Каганкатвы*. История кавказских албанцев. Рус. пер. Патканова. СПб., 1862. (Жил в XI в.) (Надо ли?)

2) *Vict Langlois*. Collection des historicus anciens et modernes de L'Armenie. (Paris, 1867—1869. 2 tt.)

3) *Brosset*. Collections d'historicus armeniens. СПб., 1874—76. 2 т.

4) *Эзов*. Внутренний быт древней Армении.

5) *Патканов*. Библиографическое обозрение армянской литературы.

6) *A. Leist*. Litterarischen Skizzen. 1845.

Раффи. Хамсаймеликутюн (о меликах армянских — и в част[ности] о Мелик-Бегляровых).

Карапет Осипович Костаньянц — инспектор Лазаревск[ого] института. Армянский пер., Мясницкая ул., Лаз[аревский] инст[итут]. У него спросить о Мелик-Бегл[яровых] и т. д. об источниках.



*ПИСЬМО ИНСПЕКТОРА ЛАЗАРЕВСКОГО  
ИНСТИТУТА ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ  
К КОСТАНЬЯНЦА СВЯЩЕННИКУ  
ПАВЛУ ФЛОРЕНСКОМУ*

*5 июня 1916. Москва.*

Ваше Высокопреподобие, отец профессор!

Ваше почтенное письмо от 3.VI имел честь получить сейчас. К величайшему моему сожалению, я не в состоянии дать Вам никакие указания по заданному мне Вами слишком детальному, притом малоизвестному, вопросу. Мне кажется, Вам приходится изучить феодальный строй карабахских меликов. Вы найдете богатый материал в актах Кавказ[ского] Археографического общества. К сожалению, не могу указать тома, так как все у меня собрано и заперто и я сегодня же уезжаю на Кавказ. Быть может, для Вас по данному вопросу будет полезно просмотреть алфавитный указатель ценного труда покойного Г. А. Эзова под заглавием «Сношения Петра Великого с армянским народом»; труд этот издан Академиею Наук, кажется, в 1902 году, и Вы можете получить его, если не ошибаюсь, во всякой библиотеке. Там найдете и библиографический указатель.

Еще раз повторяю, что специально по данному вопросу мне ничего не известно. Есть на армянском языке труд арм[янского] писателя Раффи, так называемый «Хамсай Меликутюнисреп [?]», т. е. описание пять меликутюн родов и их (...). Найдете ли Вы там какие-либо указания, не могу сказать. По крайней мере, о меликах Бегляровых есть много чего в книге Раффи, (...) и в книге Эзова.

Прошу принять уверения в глубочайшем почтении, с чем остаюсь Вам покорнейший слуга К. Костаньянц.



«ИЗ ПИСЬМА Н. М. КАРА-МУРЗЫ  
СВЯЩЕННИКУ ПАВЛУ ФЛОРЕНСКОМУ  
5 ЯНВАРЯ 1917 г.<sup>1)</sup>»

Недавно вернулся из поездки в Россию и отвечаю на Ваше письмо: «Хамсай Меликутюн» Раффи не переведена ни на какой язык, и, чтобы извлечь отсюда нужный Вам материал, надо прочесть подлинник. Книга большая, и, не имея досуга, к сожалению, я никак не могу помочь Вам в этом деле.



«Наибольшим успехом пользовалась гипотеза, которая указывала на **карийцев** или вообще на малоарийскую расу» как носителей эгейской культуры\*. Еще недавно эту гипотезу можно было считать господствующей, однако она начинает уступать место другим.



ЗАМЕТКИ К БИОГРАФИИ  
ПАВЛА ГЕРАСИМОВИЧА САПАРОВА

1

Павел Герасимович Сапаров жил в г. Сигнахе и в г. Тифлисе и в г. Нухе. Недвижимое имущество было там и тут. Было также в селении Кахи Закатальского округа; это последнее осталось у Арутюновых-Сапаровых. Было имущество также в Марсели — шелкомотальная фабрика и дом. Павел Герасимович много жил в Марсели.

2

Отец его, Герасим Сапаров, жил в Сигнахе, куда он переселился из местечка Шулавер Борчалинского уезда.

---

\* Главный источник этой гипотезы лингвист Kretschmer, автор труда «Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache». Göttingen, 1896, ср. его же очерк о языке в «Einleitung in der Altertumswissenschaft» prfs. von A. Gercke und E. Norden. Bd. 1. По антропологическим признакам тип древнего населения Крита Luschau называет «армяноидным» или «хеттатским» («Anthropologie von Kreta». В «Zeitschr[ift] f[on] Ethnologie», 1913. Н. III). (В. Бузескул. Древнейшие цивилизации в Европе. «Вестник Европы», 1916. Авг[уст], стр. 102.)



Портрет Герасима Сапарова, кисти тифлисского (?) художника Наһапет-Наһа найден А. А. Флоренским и находится сейчас у Ю. А. Флоренской. Лицо Герасима Сапарова сходно с лицом Павла Герасимовича, но черты лица также и весь облик суше и четче.

Портретист принадлежит к знаменитому роду наследственных художников Наһапет-Наһа из Джульды. После разрушения Джульды род выселился в Эчмиадзин и в Тифлис. Он с XVI века занимался живописью и поэзией. В XVII веке художники этого рода начали расписывать Эчмиадзинский собор в италиянском духе. Они же писали портреты и слагали стихи. В Тифлисе имеется много портретов их работы. Фамилия их означает «патриаршие живописцы», ибо Наһ[ап]ет значит Патриарх, а Наһе — художник, живописец.

### 3

Первоначальное происхождение Сапаровых — из Гюлистана в Карабахе. Они были карабахские беки и одним родом с Мелик-Бегляровыми. А. А. Флоренский даже утверждает, что их фамилия была Мелик-Бегляровы. Из-за чумы, опустошавшей Карабах, и теснимые шуншинским ханом, который тогда укрепился, карабахские беки бежали в селение Болни Дагетхаген Борчалинского уезда. Отсюда они разошлись далее, и Сапаровы, в частности, переселились в м[естечко] Шулавер. Это было при имп[ераторе] Павле I (сообщение Алихановых). Как сказано, выселились родственные фамилии: Мелик-Шахназаровы, Мелик-[...] <sup>1</sup> бовы, Мелик Гасан-Джелаловы. Но настоящая фамилия Мелик-Бегляровых осталась только за тою ветвью, которая продолжала жить в с[елении] Болни. Эта ветвь, по окончании чумы, вернулась обратно в Карабах. Оставшиеся в Болни и вернувшиеся ветви известны под фамилией Мелик-Бегляровых; остальные же получили фамилии новые.

История рода записана в Шулаверском рукописном Евангелии, святыне местного края. Это Евангелие оковано заново Павлом Герасимовичем Сапаровым; оклад безвкусный и дорогой.

Вместо фамилии Мелик-Бегляровы возникла из этой ветви фамилия Сапаровы; данная грузинами. «Сапари» значит «щит» или «защита». Кажется, такое прозвание

было дано за какую-то услугу, оказанную Сапаровыми Грузии<sup>2</sup>.

4

Павел Герасимович Сапаров по торговым делам сносился как с Востоком, так и с Западом. В Тифлисе у него была контора по приему заказов на ценную древесину. Эта контора снабжала лионские фабрики самшитовыми челноками; поставляла тисс, самшит, ореховый наплыв.

Из Персии П. Г. Сапаров вывозил большими верблюжьими караванами шелковые коконы, шерсть, а в Персию возил готовые шелковые ткани французского производства.

Постоянные сношения с югом Франции повели к несчастью. С бархатной обивкой собственного дома, привезенной из Лиона, была занесена туберкулезная зараза, погубившая всю семью. Павла Герасимовича обвиняют в том, что он (будто!) вообще занес на Кавказ туберкулез.

5

В Марсели, как говорят, П. Г. Сапаров сошелся, а потом женился, с Генриеттой Бурбон. Часы золотые с ее монограммой «Н. В.» принадлежали потом Репсимии Павловне Тавризовой, дочери П. Г. Сапарова. От этой своей второй жены, Генриетты, П. Г. имел детей; говорят, в Марсели и сейчас живет семья эта или ее продолжение. Вензель на часах — из рубинов, а на внутренней крышке надпись «*Henriette de Bourbon*».

Возможно, как я слышал, что вторая семья появилась у П. Г. Сапарова еще при жизни первой жены. Повидимому, именно это семейное обстоятельство вызывало в дочерях П. Г. Сапарова желание скрыть всю семейную хронику.

6

П. Г. Сапаров имел страсть к скупке земель и вообще недвижимости. Его владения были таковы:

1. Дом на Петхайнском подъеме в г. Тифлисе, двухэтажный; ныне принадлежит семье Шавердовых.

2. Громадный дом — караван-сарай и склады на Гановской ул[ице] в г. Тифлисе; в том же доме жила семья Сапаровых. Дом этот сгорел еще при жизни П. Г. Сапарова\*.

3. Дом и сады в Саганлуге возле Тифлиса. Ныне принадлежит дочери его сына Тамаре Аркадьевне.

4. Армянское селение Саганлуг под Тифлисом. Это было родовое имение князей Абкази, которое перешло к Сапарову (за долги?). В настоящее время селение это разорено татарами.

5. Дом и сады в г. Сигнахе, где Сапаровы жили до переселения в г. Тифлис.

6. Дом в селении Сакоба под Сигнахом.

7. Очень большое имение Карагач с великолепным домом. До революции 1917 г. этим домом владел Ванно Сапаров, двоюродный брат дочерей П. Г. Сапарова.

8. Вместе с Паатовым, на дочери которого П. Г. Сапаров был женат, он владел всеми эльдарскими нефтяными землями (между Азербайджан и Друзы (?)) и асфальтовыми месторождениями там же. Паатовы и Сапаровы имели подряды на поставку асфальта во все казенные учреждения по Кавказу. Асфальт этих месторождений — известняк, пропитанный сильно окисленной нефтью (по словам А. А. Флоренского).

9. Шелкомотальный завод и сад в Закаталах.

10. Тут же, на площади в Закаталах очень хороший дом. До революции он принадлежал фамилии Сапаровых-Арутиновых, которые частью христиане, частью магометане. Д[окто]р Арутинов в Москве — какой-то брат дочерей П. Г. Сапарова.

Шелкомотальный завод был в последнее время реставрирован и стал действовать. В частности, там оставались хорошие книги и вещи.

11. Сад в с. Кахи.

12. Шелкомотальный завод в г. Нухе.

13. Дом и сады в г. Нухе до сих пор называются «сапаровские».

14. Громадный караван-сарай около почтовой станции

---

\* (Ср.:) Сапаровы. Дом Сапаровых в Тифлисе был на Вельяминовской улице. В пожаре дом сгорел, остался лишь пресс для шерсти в сарае. Поместе с сараем купили после смерти деда Эгизаровы.

У деда была очень большая баранта, вероятно, в 50 000 голов, а м[ожет] б[ыть], и более.

Халдан, около ст[анции] Евлах, которым П. Г. Сапаров владел совместно с Мирзоевым.

15. Контора по принятию заказов на ценную древесину — в Тифлисе.



*ЗАМЕТКИ К ОПИСАНИЮ ХАРАКТЕРА  
ОЛЬГИ ПАВЛОВНЫ ФЛОРЕНСКОЙ*

ОЛЬГА ПАВЛОВНА ФЛОРЕНСКАЯ

1917.VI.21

О матери моей Ольге Павловне Флоренской Катя Хлуденёва, на основании письма ее к Анне 1916.VIII.4, сказала следующее:

«Почерк похож на Ваш, когда Вы пишете неторопливо... Интересный почерк... Этот человек не больной ли туберкулезом или чем-нибудь в этом духе? Художник или музыкант... или какое-то искусство. Математические способности большие. Сила воли большая. Уступчивость в неважном. Желание уйти от окружающей обстановки. Фантазер, но подкладка-то реальная. Нервный. Замкнутый. Характер уживчивый, но только с тем, кто понимает, а так — кажется такой — гордой, что ли. Гордости-то нет, но так — вид такой. Духовное благородство большое. Очень разносторонний. Но это дано природою. А на деле-то не осуществилось очень многое. Очень отзывчивая. Сердце такое — сердце повинуется рассудку подчас или наоборот, как-то так вперемежку. К жизни мало приспособленная, но в важных случаях выход всегда найдет благодаря внутреннему содержанию. Чаше настроение минорное бывает. Но это, так сказать, других-то не тяготит. Или незаметно, или красиво все выходит. Честная, на сознательные сделки с совестью ради какого-либо... не пойдет. Но... не прямо и не окольными путями, а деликатно, политично подходит; а бывает, что сплеча рубит, это смотря в чем. Но умеет разбираться, когда как надо поступить.

Прирожденная деликатность большая очень, но на грубость может грубостью ответить, хотя очень редко.

Она — религиозная не мудрствуя лукаво. Я представляю так, что она верит, и верит без рассуждений. Это ее поддерживает, вера-то, в тяжелые минуты. В критический

момент она обращается к Богу, может быть, она и не отдает себе отчета.

Когда все гладко,— она так... этот вопрос оставляет в сторонке. А так... цепляется за это, как за последнее. Здоровье не особенно хорошее.

Ваш почерк похож на этот (т. е. О. П. Ф л о р е н с к о й) мало, есть общие буквы, видно, что родственные натурь!».

Вот что сообщила Катя Хлуденёва о моей матери на основании интуиции почерка. Говорю интуиции, ибо с приемами графологического анализа Катя совершенно незнакома и не анализирует, а вещает в состоянии, близком к трансу, вглядываясь в рукопись, но ее не читая. Катя Хлуденева не только совершенно не знает моей матери и не видывала ее, но не знала и того, чье письмо дано ей для разбора. Я нахожу, что очень многое отмечено ею весьма правильно и выразительно точно.

СВЯЩ[ЕННИК] П[АВЕЛ] ФЛОРЕНСКИЙ

1917.VI.21. Серг[иев] Пос[ад].



#### ОЛЬГА ПАВЛОВНА ФЛОРЕНСКАЯ

1917.VI.22. Серг[иев] Пос[ад].

Михаила Васильевича Нестерова я просил сегодня сказать несколько слов о моей матери, Ольге Павловне Флоренской, и о моей жене, Анне Михайловне Флоренской,— для детей моих, чтобы сохранить для них впечатление от личности. Вот ответ Михаила Васильевича:

«Мне было бы трудно говорить о своем впечатлении, если бы оно было неблагоприятно. Но я рад, что могу сказать все целиком, потому что впечатление от обеих их, и от Вашей матушки, и от Анны Михайловны, вполне благоприятное. О матери Вашей я знаю меньше, я видел ее только со вчерашнего дня; Анну Михайловну я представляю лучше, видел ее несколько дней здесь.

В матушке Вашей мне нравится ее деликатность. Не знаю, прирожденная это деликатность или манера такая. Нравится ее скромность. Но еще более — деликатность. Она умеет ко всему подойти.

Нравится мне ее молоджавость. Она очень молоджава. Чувствуется, что это скоро может пройти, но еще есть, и это прекрасно.

Чувствуется, что у нее есть что-то свое, заветное,

любимое, чем она дорожит и что носит в душе. Этого заветного она уж не уступит никому. Не уступит и Вам даже, а будет отстаивать. Деликатно, но будет отстаивать. Это хорошо. Пока человек что-то отстаивает и не отступает — в нем живет какая-то искорка, он еще живет. Вот, мне послышалось это в том, что выписываются «Русские Ведомости» — есть привычка умственная, привязанность. Это хорошо».



1917. XII. 28

*После посещения Розановых с П. Н. Каптеревым.*

Профиль моей матери на той карточке<sup>1</sup>, на которой она снята в СПб., когда была невестою, очень напоминает профиль нимфы (?) на сицилийских, а именно сиракузских, монетах. Разница только в подбородке: на сиракузских монетах подбородок большого размера и более резкий, у матери моей он менее массивен и менее выступающий.

В. В. Розанов и жена его Варв[ара] Дмитр[иевна] находят, что на фотокарточке мама моя — «настоящая красавица» и что я похож, поразительно похож на нее и чертами лица, и духовно, но только «Ваша мать красавица, а Вы некрасивы» (В. Дм. Розанова), «Ваше лицо аляповатее» (В. В. Розанов).



«Армянки представляют решительную противоположность (татаркам): ленивые, неповоротливые, у них грех смеяться, грех говорить, грех шутить, все грех; в собраниях их можно услышать полет мух; вместо шуточных и шумных разговоров, которыми татарки одушевляют свои беседы, армянки жеманно сидят по строгому этикету старшинства мужей, и единственное их развлечение составляют четки, которые перебирают и потом почтительно передают той, которой хотят сделать честь; тут открывается спор; предлагающая хочет, чтобы четки были взяты у нее прямо из рук, но получающая слишком вежлива, чтобы допустить себя до такого неприличия; она церемонно ждет, пока положат ей четки в горсть, перебирая зерна до последнего, и передает затем их своей соседке с такими же ужимками, и так далее».

(И. Шопен. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской им-



## ЗАМЕТКИ О РОДЕ МОЕЙ МАТЕРИ

1921. III. 31

Москва

I. Необходимо для моих воспоминаний записать родовые:

- 1) Кониевых — по мужу моей сестры.
- 2) Асатиани — то же.
- 3) Карамьян — по мужу тети Сони.
- 4) Коноваловых и Левандовских — по мужу и жене мужа 1-й.
- 5) Тавризовых.
- 6) Углубить родословн[ую] Мелик-Бегляровых.

II. Сегодня беседовали с Ремсо тетей о Сапаровых; отчасти принимала участие в беседе и тетя Соня.

Сапаровы были очень богаты; они и Мирзоевы считались самыми богатыми в Тифлисе, принадлежали к известной и уважаемой фамилии. Павел Герасимович Сапаров получил почетное потомственное гражданство; бывали они у вел[икого] князя Михаила Николаевича; у них бывали всевозможные высокие особы. Француз Жиль, воспитатель наследника, гостил у них и оставил ценные подарки матери моей матери. Абих академик подолгу жила в доме моего деда. Персидские принцы останавливались у наших — в Сигнахе, а потом в Тифлисе. Из Франции бывали тоже посещения, и один из Бурбонов взял слово с моего деда, что он пошлет своего сына учиться во Францию, что тот и исполнил. У тети Ремсо были золотые часы с рубиновым вензелем, на внутренней крышке которых была надпись «Henri de Bourbon»; но эти часы получила она в подарок от мужа своего Тавризова, а не от Сапаровых. Ученые, путешественники и проч[ие] останавливались у Сапаровых. Но на мой вопрос, почему это было так, почему, собственно, пользовалась семья Сапаровых вниманием и первенствовала, мне до сих пор никто объяснить не мог. Тетя Ремсо вспоминает, как из Персии прибывали к ним во двор караваны верблюдов, нагруженных тюками с сухими фруктами и хлопком, как пригонялась обширная баранта — шерсть посылалась

во Францию. Вспоминает она, как девочками они прятались между тюков и бегали по ним и как, для их удовольствия, верблюдов заставляли становиться на колени и подыматься по команде. Но во двор их почти не пускали — только по субботним вечерам и воскресным утрам, когда многочисленные слуги уходили в церковь и во дворе не было никого. Девочек держали строго и никуда не пускали. Отец их, Павел Герасимович, был, по словам тети, сама воплощенная доброта, в противоположность старшему брату, злому и раздражительному, «злючке», по словам тети Ремсо.

В семье Сапаровых по единогласному указанию всех, кого я ни встречал, была какая-то аристократичность, аристократическая гордость и в связи с этим преувеличенная брезгливость, преувеличенная боязнь вступить за свои права и отстаивать себя. В случаях посягательств, особенно на материальное благосостояние, Сапаровым было свойственно «надуваться», по словам тети, и молча отходить в сторону. В Сапаровых не было чванства и спеси, но было более глубокое, скажу, повышенное чувство собственного достоинства и выделения себя из среды окружающих, тайное признание себя чем-то особенным. Ремсо тетя тоже подтвердила мне, что было в семье Сапаровых ощущение, словно они происхождения гораздо более высокого, нежели это высказывалось и признавалось. Когда Манташев, известный теперь на Кавказе миллионер, присватался к одной из моих теток, то ему не просто отказали, а глубоко оскорбившись и сочтя такой его поступок невероятным нахальством: «Как это мы, Сапаровы, можем выдать свою за какого-то Манташева?!» И вот за этот-то надмен страдали все они, страдаем и мы, за эту *υβρις* <sup>1</sup>.

В частности, пострадал дед, Павел Герасимович: единственный сын его, Аршак, стал социалистом, ходил не иначе как в красной рубашке, проповедовал слугам, чтобы они не вставали при домохозяйине, пропагандировал среди домашних, в том числе 9-летней Репсимэ, притаскивал социалистические брошюрки. По ведению дел и хозяйства не поучал, а отец в этом очень нуждался, особенно после пожара, когда сгорел их тифлисский дом, и в довершение всего женился на дочери пристава, к тому же не армянке, Варваре Александровне Майпариани <sup>2</sup>. Замужество Вари тети — за не армянином и тоже социалистом Чрелаевым, намерение мамы выйти за русского — все это было тяжелыми ударами по гордости. Но моя мать преувеличивает степень негодования своего отца по поводу предполагав-



шегоя ею замужества. Он, по словам Ремсо тети, выражал свое неодобрение только как частное свое мнение и не более. Отец же мой ни разу не был у них, и его дед не видел.

О социалисте Аршаке дяде Ремсо тетя говорит с нескрываемым гневом и осуждением, считая его фальшивым. На мой вопрос, была ли и Варвара Александровна социалистка, тетя резко ответила — была не социалисткой, а аферисткой. Аршак дядя по решительному заявлению тети обобрал своих сестер и «пустил по миру». Поэтому она говорит, что терпеть не могла его семьи и только Тамару и Нину, своих племянниц, «еле переносила», потому что — они — сапаровского вида и духа. Но дочь Тамары — Ирочка, «которую все восторгаются, — сквернейшая Майпариани», и, видимо, тетя против Ирочки уже очень предубеждена. — Еще с тех пор, с 9 лет, тетя поэтому возненавидела социализм и социалистов и считает это ложью и фальшью ради корыстных задних целей.

Но возвращаюсь к вопросу о сапаровской гордости.

Лизу тетю трижды обворовывали в жизни начисто. Точнее сказать — четырежды, ибо началось это с того, что лишил ее наследства Аршак, брат ее. Она, по гордости, замолчала. В следующий раз, когда братья Сергей и Александр Теймуразовичи Мелик-Бегляровы, по кончине отца, делили наследство, то по жребию Александру достался Карачинар, а Сергею — Хапагай, но обстановка дома карачинарского должна была быть поделена пополам, ибо в Хапагае была только земля, но не было ни дома, ни тем более обстановки. Однако Варвара Соломоновна, супруга Александра Теймуразовича, особа ловкая и корыстная, отказалась выдать Сергею и Елизавете Мелик-Бегляровым причитающуюся им часть, и оскорбленная Лиза тетя внезапно уехала в коляске, взяв с собою только носильное свое белье и оставив в Карачинаре даже свои собственные вещи. Уехала, «проглотив», как говорит Ремсо тетя, эту несправедливость, не запротестовав, — и с тех пор в Карачинаре не бывала. Она поехала в Шушу, а потом поселилась по соседству с Хапагаем в селе Талышах в простом крестьянском доме, пока не был выстроен обставленный — очень медленно — дом в Хапагае. Но и с этим домом и обстановкою вышло неладно.



ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА  
П. Г. САПАРОВА

Сохранилась только одна, у тети Сони; а у меня — переснимок с нее. По этой карточке писала акварелью в мае 1924 года портрет П. Г. Сапарова Нина Яковлевна Ефимова, он и оправлен мною — застеклован в Лавре. Способ застекловки придуман мною, равно как и цветы на обороте, а выполнил все о. **Афоний**.

Карточка снята после какого-то раута. Очевидно, аппарат был поставлен слишком низко, и потому именно нижняя часть лица вышла слишком массивной и грузной, что не соответствует действительности. Одежда на П. Г. Сапарове черная, суконная, обшита бархатом по краю. Это древнеперсидская одежда, которую носят в Тифлисе армяне. П. Г. Сапаров ходил обычно в европейском костюме, а в торжественных случаях и к наместнику надевал национальную. Она называется в Тифлисе **ка́ба**, но это грузинское название для всякого платья вообще. Рукава у нее разрезанные, длинные. Она бывает только **черная** у армян. Под него надевается другая одежда, **архалу́х**; он делается либо черным, либо белым; у деда он бывал шелковым. На шее надета лента, красная, с медалями; одна из них — от персидского шаха, а одна есть русская. Пояс надевался мягкий. Оружия при этой одежде обычно не носилось.

О наружности деда:

**Глаза** светло-карие, с серизною.

**Волосы** волнистые, каштановые, светлее моих (т. е. П. Ф.).



ПО РАССКАЗАМ СОНИ И РЕМСО ТЕТИ

1922. III. 16 ст. ст.

Москва

В Кахетии сапаровские глаза и брови были прославлены и воспеты в стихах. В честь Нины Гаспаровны Сапаровой, по мужу Шадиновой, была сложена в народе грузинская песня, начало которой таково:

Мэ ламáзи вар  
Óвель к'валéбши,  
Да газдыли вар  
Пансионéбши.

Я самая красивая есмь  
Между всеми девицами,  
И воспитана я  
В пансионях.

«Воспитана в пансионах» — это значит избранная, потому что в пансионах воспитывались только очень немногие. (Дальше ни тетя Ремсо, ни тетя Соня не могли вспомнить.)<sup>1</sup>

У Нины Г. Сапаровой (Шадиновой) дочери были очень красивые. У сестры ее Черкезовой дочь Дагмара тоже была очень красивая. Кажется, и Нина красивая. Дагмара умерла, была очень красивая, кончила в Институте с шифром и очень гордилась — тем, что она княжна, что красивая, что хорошо кончила Институт.

---

Майпариани<sup>2</sup> жили в Сигнахе напротив Паатовых, деда и бабки моей матери. Дед мой, П. Г. Сапаров, был очень против женитьбы сына Аршака и написал в завещании, что если он женится на грузинке (В. А. Майпариани), то он должен лишиться наследства, но, конечно, знал, что Аршак дядя влюбился в В. А. Майпариани и обручился с нею (Варв[арою] Александр[овною] Майпариани) еще в 7 кл[ассе] гимназии. Перед смертью его отец уничтожил завещание против него и примирился с ним. Варвара Александровна была в молодости похожа на Элю, имела громадные глаза — выпученные. Теперь (1922?) она ослепла. Но у Эли глаза не ее.

---

Мама уехала в Петербург тайком от отца. Одну ее, конечно, ни за что не пустили, не пускали даже в пансион одну. Помогли уехать социалисты, товарищи Аршака, к[ото]рый тоже мальчишкой воображал себя социалистом.

---

Аршак дядя был красивый мужчина, но запущенный. (Впоследствии он весь оброс бородой, все лицо было покрыто волосами, сам же он был очень красный и толстый. Я (П. Ф.) помню его с детства как страшного для себя — красного, толстого, обливающегося потом от тифлисской жары и волосатого.)

---

В 1922 г., в конце года, Хамаек Николаевич Карамьян, сын моей тетки Софьи Павловны Карамьян, рожд[енной] Сапаровой, женился на Любовь Максимовне Лернер. Семья Лернер — из Тифлиса, отец еврейского происхождения, хотя мне неизвестно, чистокровный ли еврей; во всяк[ом] случае, крестился уже отец его, бывший профессором. Мать русская, типичная, по словам Ремсо тети, офицерская дама. Брак этот был большим ударом тете Соне, и, бедная, она много болела, когда он надвигался, а это продолжалось неск[олько] лет. Ник[олай] Ростомович Карамьян, отец Хамо (Хамайка), крайний армянский националист, и всегда твердил, что его сын женится лишь на армянке; тетя Соня, вероятно не без влияния мужа, говорила то же; хотя отчасти тут могли служить тому же примеры несчастных браков иноплеменных, в частности Вари тети. Припадки астмы невероятно мучили тетю Соню, усиливаясь от нервного напряжения. Она потеряла двух дочерей, а сын вел веселую жизнь, в это тяжелое и скорбное время оставил родителей одних,— а в заключение поразил их в самое сердце своим выбором. Семья Лернер неприятная, сестры Любовь Максимовны вели, как говорила Соня тетя, разгульную жизнь, все хотели только удовольствий и роскоши, Любовь Максим[овна] даже травилась, но неудачно, потому что не могла удовлетворить своих прихотей и потребностей к удовольствиям. Иноплеменность, еврейская кровь, крайнее легкомыслие Лернер — все это вместе вызывало глубочайший протест в Соне тете и в Ник[олае] Ростомовиче. Вероятно, с полгода она игнорировала брак сына и не пускала невестку к себе. Но, наконец, в янв[аре] 1923 г. в день своего рождения она пригласила ее к себе, и встретились обе приветливо. Затем Хамо был болен (он живет неск[олькими] этажами ниже родителей), тетя Соня ходила к нему. По-видимому, какое-то, хотя и кислое, примирение состоится... Хамо же твердит, что его дети должны вступить в брач[ные] узы с армянами и армянками, «что он им не позволит иных браков» — совсем как когда-то Нико[лай] Ростомович, отец его.



**САПАРОВЫ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ  
РОДЫ И ЗНАКОМЫЕ**

1) В 1878 дом в Тифлисе Сапаровых был еще цел, не сгорел (Ремсо теть).

2) Наша карточка — Ремсо теть, Давид и я — снята в Бонне 19-го июля 1897 г.

3) Ник[олай] Ростомов[ич] Карамьян. У него — брат Михаил, дядя по матери Гавриил Иванович Туманов. У брата его Александра Ростомов[ича] Карамьяна жена Анна Карповна Мирза-Авакова. Двоюродн[ые] братья Ник[олая] Ростомов[ича] Карамьяна — Варган (†), Арутюн и сестра Анна Мартыновичи Тумановы. У Ник[олая] Ростомов[ича] Карамьяна — братья Александр и Михаил.

3') Ремсо теть похожа на своего отца.

4) У тети Сони альбом — и на кожан[ом] его переплете художник Суреньян написал двух целующихся и в воздухе летящих амуров. Краски красивые, сини, хотя произведение не закончено. В детстве меня оно очень интересовало.

5) Стаховский Владислав Карлович — художник. Его сестра Ядвига Карловна была незамужняя, старая дева; она была пианистка, учительница музыки. Был еще брат-химик; Владислав Карлов[ич] был женат, жена его Ида.

6) Ростом = Рустем.

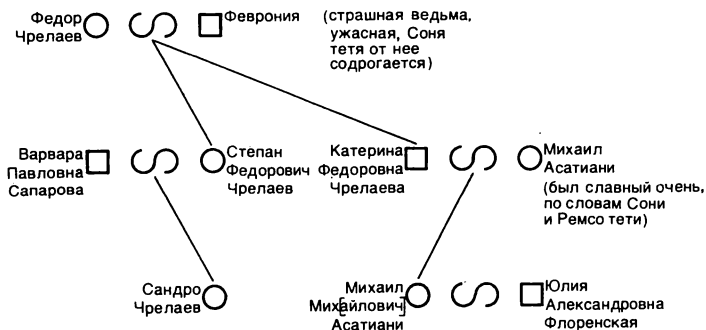
6') Стаховские связаны с Сигнахом. Мать их была из Сигнаха — Семирамида. Отец их, Карл Стаховский, был строгий, «целый» день почти в доме. Была сестра Валентина Карловна Стаховская, хорошенькая.

7) Влад[ислав] Карл[ович] Стаховский юношей поехал в Америку, нанялся там на ферму. Когда пришел наниматься — согласились его взять и говорят: ну, поворачивайся. Тот, не зная, для чего это нужно, повернулся, и ему тут же взвалили на спину мешок — по-американски быстро приспособили к делу.

В Америке он выбился в люди, учился живописи. На руке у Стаховского был потом нататуирован син[ий] якорь, кажется, еще в детстве. (...)

8) Вся родня матери — сигнахская.

9) Алиханова должна знать о родне матери как жившая в Сигнахе.



**П. Н. Петров. История родов русского дворянства. Т. I.** СПб., 1886 (М[осковская] Д[уховная] Ак[адемия]. Сав., 7401).

Стр. 223: «...перечисление княжеских фамилий грузинских в алфавитном порядке, по сведениям архива департамента герольдии. Грузинские княжеские фамилии есть: Абашидзе, Аваловы, Амилахваровы, Амираджибовы, Андрониковы, **Асатиани**, Асланбеговы, Багратионы, Бажибеловы-Меликовы, Баратаевы, Баратовы, Бебутовы, Бектабеговы, Вачнадзе, Гедиановы, Грузинские, Гурамовы, Гуртели, Дадианы, Дадишкалияны, Даудовы, Джеваховы, Джамбакурияны, Джандиеровы, Джорджадзе, Магаловы, Макуловы, Мансвеловы, Мачабели, Меликовы, Миковы, Мингрельские, Орбелияни, Палавандовы, Ранжиевы, Саварселидзеы, Салаговы, Сагиновы, Сертанзиевы, Сидамановы, Сумбатовы, Тумановы, Уцмиевы, Ходжамипасовы, Хидербекеры, Химшиевы, Хохонины, Хубовы, Церетели, Цициановы, Чавчавадзе, **Чилаевы**, **Чолокаевы**, Чхеидзе, Шаликовы, Шервашидзе, Эристовы и Яшвили».

**Асатиани** — Мих[аил] Мих[айлович], бывший муж сестры моей Ю. А. Флоренской.

**Чилаевы** — не ошибка ли вместо **Чрелаевы**. Я слыхивал, что **Чрелаевы** были князьями, но с ссылкой утеряли это достоинство. За **Чрелаевым** была тетка моя, Варвара Павловна Сапарова. Ее сын **Александр**, инженер горный, приятель моего детства. Он же — двоюродный брат М. М. Асатиани.



Казанской Духовной Академии XV курса (1870 — 74 гг.)  
1-й кандидат Асатиани Михаил Иосифович, из Тифлисской

Семинарии, состоял на церковноисторическом отделении, на IV к[урсе] изучал философию. Кандидатское сочинение: «Учение Дарвина о происхождении человека пред судом положительной науки». Состоял смотрителем **Кутаисского** духовного училища с сент[ября] 1874 до дек[абря] 1879 г. 19 дек[абря] 1879 г. был убит одним из преподавателей училища, **Гвиниевым (С. Терновский)**. Истор[ическая] записка о состоянии Казанск[ой] Дух[овной] Академии после ее преобразования. Казань, 1892, стр. 489).



Лазарь Григорьевич Саркисов (троюродный брат моей мамы [?]).

Наполеон Абелович Сукутасов — Тифлис, железнодорожное правление. Написано ему 1916.X.4.

В Москве есть Сапаров — врач («...» и хирург).

Кн[язиня] Черкезова София Каспаровна — двоюр[одная] сестра мамы, рожд[енная] Паатова.

Шадинова Нина Каспаровна — тоже двоюр[одная] сестра, рожд[енная] Паатова. Они родные сестры, первые красавицы<sup>1</sup>.

Жорж Черкезов, кн[язь], хороший.

Сандро (А[лексан]др Чрелаев в Баку), много знает.

Никита Макарович Кара-Мурза — Тифлис, Городская управа (где достать книгу Раффи «Хамоаймеликутюн», только по-русски). Написано ему 1916.X.4.



1) Сигнах, Тамаре Богдасаровне Сапаровой (двоюрод[ной] сестре мамы) — она много знает, глубокая, культурная, учительница. Напис[ал] ей 1917.VII.14.

2) Тер-Авакова, Елизавета Степановна — в Тифлисе (близки к Сапаровым, жили в Сигнахе, далекие родственники Сапаровых), она двоюродная племянница Талико́.

3) Наталия Иосифовна Паатова (жена брата нашей бабушки) — в Тифлисе.

4) В Сигнахе были **Отаровы**, связан[ы] родствен[ными] узами с Сапаровыми.

5) В Тифлисе старушка Алиханова не наша [?].

6) Энфианджианцы (табачники) имеют сведения о семье Сапаровых, но они не родня. Энфианджианец рассказывал про маму.

7) Арутюновы приезжают в М[оскву] учиться, дочка, они женаты.

8) Тамара Кончева подруга кого-то из троюродных сестер.

9) Асатиани Катерина Федоровна, мать М[ихаила] М[ихайлови]ча, в Тифлисе (она знает много, живет в Сигнахе).

«Мамида»<sup>2</sup> говорила, что когда-то, вероятно, наш прапредок был пастухом — имел 100 овец (...) которых он пас.

С нами в каком-то родстве или свойстве князя Гурамовы; (это очень хорошие знакомые Мелик-Бегляровых; когда Гурамов был Елисаветпольским губернат[ором], то бывал у Лизы тети, но в родствен[ных] отношениях не были — по словам Ремсо и тети Сони).



Шавердовы, Ахпатемовы, Сапаровы, Байсаголовы, Евангуловы, Саркисовы, Макертумовы — все эти фамилии в родстве, все они берут свое начало из Болписса (в XVI в. выселились из Карабаха).

Арутюновы. Д[окто]р Арутюнов. Евангуловы. Д[окто]р, городской голова в Тифлисе Хатисов — родственные семьи.

Адрес Арутюновых м[ожно] узнать чрез Светл[ану] Александр[овну] Таирову, Госину подругу.



Александр Иванович Хатисов, тифлисский городской голова и общественный деятель, врач по профессии (?), говорил папе, что он родственник, кажется, троюродный брат моей мамы<sup>3</sup>.

У него был брат инженер; Люся с ним случайно познакомилась в Мюнхене. Он был женат на мюнхенской немке, учительнице литературы, она была старше его, была культурна.



Отчет о состоянии Астраханского Епархиального женского училища за 1915 — 16 уч[ебный] г[од].

15. Учительница французского языка в 4 и 5 параллельных классах, всего 6 уроков, окончившая Женские педагогические курсы Лохвицкой-Скалон в Петрограде, **Н. Шавердова**. На службе при училище с 12 сентября 1914 г. (стр. 5 «Астраханск[ие] Епарх[иальные] Вед[омости]», № 1, 16 янв[аря] 1917 г.).





*«ЗАПИСКА» КОНСТАНТИНУ  
МИХАЙЛОВИЧУ ПОПОВУ <sup>1</sup>*

Глубокоуважаемый Константин Михайлович, мне весьма нужна книга:

*Зубов. Тайны Карабаха* (вероятно, 70-х годов или ранее).

Не найдется ли она у нас в библиотеке?<sup>2</sup> Если есть, то будьте добры прислать мне.

1932.VII.18. С уважением к Вам

*П. ФЛОРЕНСКИЙ.*

## ИЗ СОЛОВЕЦКИХ ПИСЕМ П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ

*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
6 — 13 АПРЕЛЯ 1935 г. № 15*

*Матери Ольге Павловне  
IV.12 (...)*

Сегодня мы угорели, болит голова, и я вспоминаю детство — у меня всегда болела голова, когда мы жили в Батуми, и я не знал, что делать от головной боли. Потом это совсем прошло, и я вообще не знал, что такое головная боль, кроме случаев угара. При случае спроси у Оли страницу, написанную мною на БАМ'е с описанием Батума. Там изображены мои детские впечатления, навсегда закрепившиеся в памяти. Ни одно место не оставило во мне столько теплых воспоминаний, как Батум, старый Батум 80-х годов, когда он был еще неустроенным и жалким. Теперешний Батум — под Ниццу, уже потерял свой аромат и своеобразие, да и море далеко ушло от бульвара. Хорошо помню, как старик Ахмед переносил меня через речку, как собирал я плоды салсапарели. Ясно помню, до полной отчетливости, как папа насаждал сад в Аджарисцхали при инженерной сторожке. Помню ковры фиалок и цикламенов, которые я собирал до иступления. Помню запах папоротников, мне всегда очень нравившийся. Помню громадные букеты азалий и рододендронов, которые мы вставляли вместо фонарей в фонарные гнезда фазтона. Помню болотные незабудки, которые брались с корнем, а потом рассаживались дома на блюдах с водою. Лет 6 тому назад я был в Аджарисцхали и почти не узнал его. Это обстроенный поселок, в котором очень мало поэзии. От сторожки остались одни развалины. Сад заглох и попросту не существует. Мальчики, кажется, не получили от Аджарисцхали никакого впечатления, а Васюшку я едва уговорил сняться на приступках сторожки, бывшей когда-то предметом моих мечтаний. Все проходит, но все остается. Это мое самое заветное ощущение, что ничего не уходит совсем, ничего не

пропадает, а где-то и когда-то хранится. Ценность пребывает, хотя мы и перестанем воспринимать ее. И подвиги, хотя бы о них все забыли, пребывают как-то и дают свои плоды. Вот поэтому-то хоть и жаль прошлого, но есть живое ощущение его вечности. С ним не навеки распрощался, а лишь временно. Мне кажется, все люди, каких бы они ни были убеждений, на самом деле, в глубине души, ощущают так же. Без этого жизнь стала бы бессмысленной и пустою.— Тифлис совсем не оставил во мне радостных впечатлений. После батумской природы он казался мне безжизненным, жара меня угнетала и обессиливала. Когда я, несколько лет тому назад, снова поехал в Тифлис, и при этом в самое пекло, я был крайне удивлен, насколько он приятнее того, что я думал о нем в детстве, а картины природы, например, к Черепашьему озеру, показались величественными и очень живописными. Мы ходили тогда на Черепашье озеро с Георгием. Кстати, напиши, как живёт Лиля со всем своим потомством и что делает Георгий. Ботанический сад, правда совсем переустроенный, увеличенный и разросшийся, стал очень интересным и живописным. Но, пожалуй, особенно живо вспоминается мне наша квартира на склоне Давидовской горы. Ясно вижу столбы деревянные, источенные червями, вспоминается точильщик ножей, меня очень напугавший, вспоминается, как прививали оспу Люсе и мне, как тете Соне делали операцию ноги и выносили таз с окровавленной водой. Впрочем, оспу прививали тогда, очевидно, весьма основательно, т[ак] к[ак] следы прививки до сих пор сохраняются у меня на левой руке. Помню и то, как родилась Люся и как папа показывал ее мне в первый раз. Гимназия, в целом, не оставила во мне никаких радостных воспоминаний, она мне казалась чистою потерей драгоценного времени, элементарною и скучною, хотя, конечно, я многим ей обязан. Но, оглядываясь назад, скажу, что не хотел бы снова пережить ее: единственное содержание за это время было, когда я оставался сам с собою, в природе или за физическими приборами. Целую тебя крепко, моя дорогая мамочка, береги себя и будь здорова.

*«Супруге Анне Михайловне»*  
1935.IV.13 (...)

Сегодня, как и вчера, утром шел снег. Сейчас сижу с художником — даю ему указания, как расцветивать диаграмму, и вспоминаю Анну Семеновну Голубкину<sup>1</sup>. Скольких уж на своем веку я потерял — родных, близких, знакомых. Мне жаль, и было, и есть, что дети мало восприняли крупных людей, с которыми я был связан, и научились от них тому, что

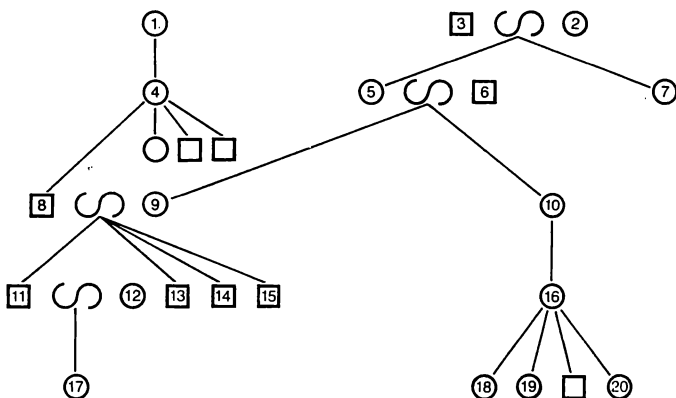
обогатило бы лучше книг. Вот почему я писал, чтобы Вася и Кира постарались научиться чему-нибудь от Вл. Ив.<sup>2</sup>, т[ак] к[ак] такой опыт в жизни едва ли повторится. Но нужно уметь брать от людей то, что в них есть и что они могут дать, и уметь не требовать от них того, чего в них нет и чего дать они не могут. Боюсь, что дети часто подходят к людям как раз наоборот и поэтому получают мало, или ничего не остается от общения.



«ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
22—23 АПРЕЛЯ 1935 г. [№ 16 (?)]»

«Дочери Ольге»

Меня давно интересуют вопросы генеалогические, и в частности о родственных связях писателей, как наглядном доказательстве наследственности и подбора. Я собирал материалы в этом направлении. А сейчас, в «Правде» от 5 апр[еля] 1935 г. № 94 (6340), стр. 4, попались данные о родстве Пушкиных с Гоголями и о связи их с Быковыми<sup>1</sup>. Думаю, тебе интересно будет посмотреть на сделанную на основании этой заметки генеалогическую схему:



- ⟨1⟩ Поэт А. С. Пушкин.
- ⟨2⟩ Вас[илий] Гоголь-Яновский.
- ⟨3⟩ Елизавета.
- ⟨4⟩ Ал[ексан]др А[лексан]др[ович] Пушкин.
- ⟨5⟩ Николай Быков.

«6» Елизавета Васильевна Гоголь-Яновская, любимая сестра писателя.

«7» Николай Васильевич Гоголь, писатель.

«8» Мария А[лексан]дровна Пушкина (\* 1863)

«9» Николай (?) Быков.

«10» Иван Николаевич Быков.

«11» Татьяна.

«12» Инж[енер] Галич.

«13» София. Воспитательница в Полтаве.

«14» Елена. Электромонтер на заводе «Большевик» (Украина).

«15» Мария. Завод (...) в Киеве.

«16» Николай Иванович Быков<sup>2</sup>.

«17» Жора (\* 1929 г.)

«18» Кирилл Быков.

«19» Игорь Быков.

«20» Николай Быков.

По поводу этой схемы мне вспоминается: когда Васюшка был совсем маленький, он приходил смотреть, как я чертил подобные же, смотрит, смотрит, а потом заявит: «Ты, папа, неправильно пишешь». — Почему? — «Потому, что изображаешь девочек квадратиками, а мальчиков кружочками, а надо наоборот, потому что девочки нежные, и их надо изображать кружочками». Советую тебе собирать генеалогические сведения; когда прочтешь где-нибудь или услышишь, то записывай отрывочные сведения. Лучше всего записывать на лоскутках, но чернилом, а не карандашом и складывать их сперва по алфавиту. А более связные сведения следует сразу же переводить в схемы и потом постепенно достраивать эти схемы и дополнять подробностями. Это очень обогащает понимание жизни, а кроме того, постепенно накапливается материал весьма ценный, который всегда пригодится. — На всяк[ий] случай сообщаю тебе, т[ак] к[ак] не уверен в сохранении моих записей, что моего отца звали Александр Иванов[ич], деда Иван Андреевич, прадеда Андрей Матвеевич, прапрадеда Матвей Иванович<sup>3</sup>. Жена деда, мою бабушку, звали Анфиса Уаровна Соловьева, а вторую жену его Елизавета Владимировна Ушакова, у нее была сестра Александра Владимировна, замужем за Готлибом Федоровичем Пеком; Александра Владимировна хорошо относилась к моему отцу и его сестрам — Екатерине и Юлии. Дочь Ал[ексан]дры Вл[адимировны] — Александра Готлибовна Пекок — была известная певица, выступавшая в Милане

под театральным псевдонимом Алина Марини. У моего отца был сводный брат Владим[ир] Ив[анович] и сестры Зинаида, Варвара, и сейчас не могу вспомнить имени четвертой (у меня очень ослабла память). Деда со стороны матери звали Павел Герасимович, а бабушку — София, и опять сейчас не могу вспомнить далее. Все они умерли до моего рождения, и ни бабушек, ни дедушек я в жизни никогда не видел, только мечтал о них в детстве. Суррогатом бабушки была для нас А[лексан]дра Владим[ировна], но и ее я увидел, лишь поступив в Университет; но она вскоре же умерла, к моему огорчению. Зато были у меня тетки, Юлия — со стороны отца, которая меня воспитывала, и мамыны сестры — Елизавета, Варвара, Репсимия и София; из них осталась в живых только последняя. Был еще дядя — Аршак, но в отличие от теток, которых я очень любил, всех, а особенно тетю Юлю, как я называл ее, он был для меня совсем чужим человеком, и я видел его очень немного. Дети тети Лизы умерли, они были близки мне, особенно Маргарита, хотя и гораздо старше меня. Дети тети Вари куда-то исчезли. У Ремсо тети детей не было. Детей тети Сони ты знаешь. Тетя Юля не была замужем. Детей дяди Аршака я знал в детстве, но потом они все исчезли из моего поля зрения, осталась одна Тамара, дочь «Аршак-дяди». Ее сестра Нина обладала замечательным голосом, но умерла вскоре после окончания консерватории (или филармонии, скорее). У нее был красивый серебристый тембр, очень редкий. Дочери Сони тети умерли. Умерли и мои сестры — Валя (Оля) и Гося (Раиса). Наша фамилия в XVIII в. писалась Флоринские и только в XIX в. неправильно стала писаться Флоренские, а еще раньше ее писали Флиоринские, так что некоторые ветви стали писаться Флёринские. Крепко целую тебя, дорогая Оля, поправляйся скорее, слушайся советов. Кланяйся своим товарищам. Еще раз целую тебя.



«ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
27 АПРЕЛЯ — 13 МАЯ 1935 г. № 17»

«Супруге Анне Михайловне»  
V. 4—5 (...)

Хочу записать тебе сон, который еженочно мучил меня в детстве, так что из-за него я боялся ложиться спать. Иду или еду по дороге. Слева скалы, отвесные, нагретые солн-

цем, и по ним ползает множество мелких, только что вылупившихся, красных паучков. Справа же обрыв над большой и быстрой рекой. И я слышу оттуда крики мамы и тети Юли, крики ужаса. Я содрогаюсь, сознавая, что что-то случилось, но не могу броситься им на помощь, не могу пошевелиться и даже слегка тронуться с места, словно прикован. И мне было так ужасно от этого сна, что я никому не смел рассказать о нем, а видел его каждой ночью и даже по нескольку раз. Мне думается, этот сон — отражение случая, когда мама и тетя Юля купались под откосом в Куре, а я, еще в пеленках (мне было 2—3 месяца, вероятно), лежал наверху, скатился и покатился по обрыву. Мама и тетя Юля, как рассказывали мне после, сильно закричали и подхватили меня уже у воды. А еще — это, вероятно, отражение моих головных болей в детстве, самосозерцание мозга (паучки — кровеносные сосуды). — *У. 8.* Меня окружают образы отошедших — Гози, Вали, папы, тети Юли, тети Лизы, Давида, Маргариты, тети Вари и других, одни ясные и близкие, другие словно видимые издали и туманные. Но больше всего думаю о вас, моих дорогих, бедных. *У. 13.* Сегодня, наконец, получил письмо, от мамы (от 14. IV) и твои, № 14 от 26. IV и № 12 от 18. IV. Стало не легче, горько за вас, обидно за Олю. На днях начинаю писать снова. Пока, целую крепко.

*«Дочери Ольге»*

Дорогая Оля, недавно писал я тебе, а теперь хочу продолжить рассказ о наследственности в нашей семье. Очень важно знать, от кого что получил и что именно вообще получил. У каждой наследственной линии есть свое качество или свои качества. Прежде всего по восходящей мужской линии, т. е. по линии Флоренских — Флоринских. Этот род отличался всегда принципиальностью в области научной и научно-организаторской деятельности. Флоринские всегда выступали новаторами, начинателями целых течений и направлений — открывали новые области для изучения и просвещения, создавали новые точки зрения, новые подходы к предметам. Интересы Флоринских были разносторонни — история, археология, естествознание, литература. Но всегда это было познание в тех или иных видах и организация исследования. Мне неизвестно ни одного Флоринского с выраженными художественными способностями в какой бы то ни было области искусства. С другой стороны, у Флоринских было стремление

к самовоспитанию, к духовной тренировке себя. По женской линии отмечу прежде всего Ивановых, род мой прабабушки. Этот род отличался талантливостью и блеском; от него, по-видимому, идет склонность к живописи. По характеру этот род был, сколько я знаю, очень неупорядоченным, в противоположность Флоринским, размашистым, нехозяйственным, богемным. Из него, между прочим, происходит известный передвижник — художник Иванов. Прабабушку мою звали Екат[ерина] Афанасьевна. Она была замужем за Уаром Ефимов[ичем] Соловьевым, врачом. Род Соловьевых, сколько мне известно, был весьма талантлив и блестящ. В записках Надеждина<sup>1</sup> рассказывается о блестящем ответе на университетском экзамене в Моск[овском] унив[ерситете] двух студентов, из ряду выходящих, — Ив[ана] Серг[еевича] Тургенева и К. У. Соловьева. Все три брата моей бабушки, Анфисы Уаровны Соловьевой, блистали в юности, но прожигали свою жизнь и ничего путного не сделали. Семья Соловьевых была музыкальна, бабушка хорошо играла, но еще более сильной музыкантшей были ее близкие родственницы — Елизавета (вторая жена моего деда) и Александра Владим[ировна] Ушакова, всецело поглощенные музыкой. Другом дома был известный романист Гурилев, который все свои произведения пропускал через критику дома Ушаковых и затем Флоренских. Со стороны рода моей матери, а твоей бабушки, наследственность выражается в ярком ощущении материи и конкретного мира. Красота материи и ее конкретность, вот что унаследовали мы от рода моей матери. И еще, мне кажется, связанное с первым — это музыкальность и склонность к живописи, точнее сказать, не к живописи, а к цвету и колориту. — V. 2. Еще о Флоринских — Флоренских. Все они (т. е. вообще говоря) были инициативны, изобретательны, предприимчивы, открывали малые или большие, но новые области для мысли. Но замечательная судьба: никогда никто из них не снимал жатв с засеянных им полей и либо уходил из жизни, либо дело отходило от него, а пользовались жатвою другие, или же вообще никто не пользовался, и она гнила, по крайней мере для своего времени. Как пример: попечитель Казанского учебн[ого] округа проф[ессор] Флоринский, автор «Домашней медицины», сейчас признается родоначальником евгеники, но только сейчас, т. е. лет через 70. (Для других примеров нет места.) А в нашем роде все поколения мечтали об одном: хотя бы под старость зажить тихо, занимаясь



маленьким садиком,—и никому это не удавалось. (Мне почему-то припомнилось, как брат мой Шура в детстве все время насаждал растения, а чуть они начнут прорастать и укореняться, он их вытаскивал и приносил с радостью показывать: «Вот, проросло, принялось!»)

⟨Сыну Кириллу⟩

2.V. Валит снег, на дворе холодно, совсем зима. 8.V. Сегодня днем было дов[ольно] тепло, но к вечеру снег и грязь подмерзли.—Ты пишешь о совпадении предметов наших занятий. Мне это совпадение особенно грустно, т[ак] к[ак] я не могу передать тебе ни накопленный опыт изучения, ни материалов, ни помочь советом. Меня эта беспомощность угнетает более всего. Ведь все, что я приобрел за свою жизнь, приобретал для вас, чтобы вы сделали следующие шаги, шаги по уже проведенной дороге там, где удалось ее проложить. А выходит, прокладывал я ее бесполезно, и она остается без употребления теми, для кого она главным образом предназначалась. В частности, о мерзлоте и о йоде и родственных с йодом вопросах я мог бы дать тебе кое-что такое, чего не найдешь в книгах и чего, вероятно, не услышишь от других.



⟨ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
16—23 МАЯ 1935 г. № 18⟩

⟨Сыну Кириллу⟩

21.V ⟨...⟩

В «Полн[ом] собр[ании] сочин[ений]» Пушкина, т. 5, Гос. Изд. Худ. Литер. М.-Л., 1933, стр. 428, в «Замстках о Шваниче» я нашел интересное сведение: «Четыре брата Орловы (Екатерининские) (потомки стрельца Адлера, пощаженого Петром В[еликим] за его хладнокровие перед плахой) были до 1762 г. бедные гвардейские офицеры, известные буйностью и беспутностью». Род Орловых меня давно интересует. Сведение о происхождении их от Адлера я, кажется, знал, но как-то не учел. Еще меня занимает связь родов Арсеньевых, Разумовских, Васильчиковых, это те елизаветинские деятели и тоже связанные с Орловыми.

Вероятно, много сведений можно было бы получить из архива Орловых-Давыдовых.



«ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
25 МАЯ 1935 г. № 19»

«Дочери Тинатин-Мариш»

Дорогая Тика, получил твое письмо с маком. Хорошо, что начала рисовать цветы. Мак вышел похож. Я сразу узнал его и без твоего объяснения. Когда я был в твоём возрасте и в меньшем, то все время рисовал цветы и отдельные растения и букеты. Эти рисунки я делал для писем и для подарков на праздники, на именины и дни рождений папе, маме, тете Юле и другим. У меня была двоюродная сестра Маргарита, дочь моей тети, а твоей бабушки, Лизы; она была старше меня и показывала, как рисовать цветы.



«ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
27 МАЯ—6 ИЮНЯ 1935 г. № 20»

«Супруге Анне Михайловне»

VI.2. Сегодня опять все то же — вьюга, метель, снег; пейзаж совершенно зимний. Лишь под вечер снег перестал выпадать и на дороге слегка подтаял, так что сделалась грязь. Только что вернулся из Кремля, ходил получать твою посылку — папиросы. Как раз у меня не было никаких ни папиросных, ни махорочных запасов. Но когда вернулся, опять пошел снег. — Вот я все пишу вам про погоду, хотя думается только о вас, но этого не напишешь. Вспоминаю малейшие подробности прошлого, о каждом из вас отдельно. О том, как я ждал Васюшку. Года за три до его рождения как чувствовал, что он где-то есть уже, хотя и сам не знал, где и как. Когда он только что родился, то поглядел на меня, и было ясно, что он узнал меня. Но это было только несколько мгновений, а потом сознательность взгляда исчезла. Припоминаются все его первые движения и проказы. Помнишь, как он спустил в щель пола коробку (...) ных карточек, карточку за карточкой, как старался над этим и торжествовал, что удалось! Припоминаю, как почув-

ствовал Кирилла, в поезде, когда я ехал домой и разговаривал с одним молодым рязанцем. Тебя я почувствовал летом 1905 года, когда возвращался из Тифлиса и, попав не на свой поезд, заехал в сторону, так что пришлось оказаться на маленькой станции и прождать целый день своего поезда в полях и на лугах. Это было 15-го августа. Олечку почувствовал как пришедшую, как идущую взамен Вали, Мика — как идущего взамен Миши, а Тикульку — как саму по себе, как мое утешение. Помнишь, как Кирилл любил кошек и наряжал их и плакал, что у него нет хвоста. Тут живет крупный кот, и я, как посмотрю на него, вспоминаю страсть Киры. Помнишь, как Оля обиделась на меня за янтарь и сказала: тынтарь. Помнишь, как Кирилл возился с Олей и все твердил, что «это» его собственная сестра. Мик особенно припоминается, м[ожет] б[ыть], потому, что пишу для него. Впрочем, пишу, всех имея в виду, и сливаются черты в образе всех, начиная с меня самого в детстве: тут и Вася, и Кира, и Мик. — Помню, раз водил вечером гулять Васю. Идем вдоль забора к Вифании, и вдруг меня поразило ощущение, что я — не я, а мой отец, а Вася — это я, и что повторяется, как папа меня водил. Всех вас чувствую в себе как часть себя и не могу смотреть на вас со стороны. Помнишь, как был пожар в Лавре, Васюшка заволновался и сказал, что перестанет собирать марки (его тогдашняя страсть), если пожар прекратится. Ему, наверно, было менее 7 лет. Дорогая Аннуля, прошлое не прошло, а сохраняется и пребывает вечно, но мы его забываем и отходим от него, а потом, при обстоятельствах, оно снова открывается, как вечное настоящее. Как один поэт XVII века написал:

Die Rose, dein ausser Auge sieht,  
Sie ist von Ewigkeit in Gott gebluht.

— Роза, которую вид[ит] твой внешний глаз, она от вечности процвела в Боге. VI. 4—5. Крепко целую тебя, моя дорогая. Сегодня, наконец, светит солнце.

«Дочери Ольге»  
VI. 5—6. 1935 (...)

Живу воспоминаниями. — Припоминаются малейшие подробности о каждом из вас. Как радовался твоему рождению Е. А. ! Старайся у мамочки узнать о нем, чтобы он остался в твоей памяти, т[ак] к[ак] тебе самой не пришлось его видеть, и он умер вскоре после твоего рождения. Если

когда-ниб[удь] повидаешь Ел[ену] Митр[офановну]<sup>2</sup>, то расспроси о нем, скажи, что я прошу ее дать тебе его образ.—Получила ли ты мой портрет? Он, мне кажется, больше подходит к дяде Шуре, чем ко мне, а мне судить трудно, рисовал же его способный художник, скульптор, впрочем, не портретист.

#### VI. 7 (...)

Сегодня наконец-то получил письма, мамино и твое, из которого узнал о неполучении вами моих пяти. Очень жаль, ведь я старался над ними для вас. Впрочем, м[ожет] б[ыть], и получите часть их, но с опозданием. Ваши письма я получаю, по-видимому, все или большинство, но обычно с опозданием, а последние получил скоро. Отвечаю на твои вопросы пока наскоро. В генеалогических таблицах знак □ означает женщину, знак ○ мужчину, знак ∞ брак, знак ∟ брачную связь не оформленную, линиями соединяются дети с родителями, причем линия упирается в соответствующий знак брака.



#### «ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ 29 АПРЕЛЯ—6 ИЮЛЯ 1935 г. № 23»

«Матери Ольге Павловне»

1935.IV.29. Соловки. № 23. Дорогая мамочка, прежде всего пользуюсь случаем поздравить тебя с наступающим семейным праздником (11 июля)<sup>1</sup>, а также Люсю<sup>2</sup>. Хотя это и преждевременно, однако не знаю, смогу ли написать после, поэтому делаю сейчас (...)

VII.6. Видимо, у каждого рода есть свой закон, от которого не уйдешь. Об этом я размышлял много раз, но на наличном опыте сталкиваешься с подтверждением этого правила и невольно размышляешь снова. Мой прадед был оторван от своей семьи и не имел родственных связей. Умер он молодым, и дед рос без отца. Отец тоже рано осиротел и тоже почти не было у него родственников, кроме тети Юли. Я своего отца видел мало, всегда он был в разъездах. Мои дети все время росли без меня, бывал я дома лишь наездами, а теперь и совсем оторван от них. Вот, пять поколений—и одна и та же участь. Так же—и с книгами. Все поколения любили книги, тратили на них всякую

свободную копейку, ограничивая себя во всем,— и лишились по той или другой причине всего, что успели собрать. И еще. Все поколения любили растительный мир, все мечтали хотя бы под старость заняться садиком, и никому это не удавалось. Род — целое, а не сумма последовательных поколений. Размышлял я об общих свойствах членов нашего рода, даже далеких ветвей его. Избыток инициативы, несистематичность образования у всех вела к малому коэффициенту полезного действия, к несоответствию затраченных усилий и полученных результатов. Во всех областях они открывали новые пути, но открывающие эти пути никогда не пользовались этим открытием, т[ак] к[ак] не доходили до конца. Вероятно, это — следствие отсутствия твердого руководства в семье. Крепко целую тебя, дорогая мамочка, Люсю и Лилю и поздравляю всех вас.



*«ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
12—15 АВГУСТА 1935 г. № 27»*

*«Супруге Анне Михайловне»  
15.VIII (...)*

Часто вспоминаю маленьким Андрея, Госю, Валю, также Шуру и Люсю, особенно первых. Все вспоминаемое относится ко времени за 30—40—45 лет тому назад и даже больше, но стоит живо перед глазами, словно происходит сейчас. Госю и Андрея я много носил на руках, водил их гулять и рассказывал им сказки. С Андреем собирал в Сурами чернику, карабкаясь по кручам, причем на одной руке был Андрей, а на другой большая корзина, с которой ходили на рынок за провизией. Вероятно, Андрей забыл, как это было. Он был тогда мал, от 2-х до 4-х лет. Помню, как он родился, я тогда кончал курс в гимназии. Он, маленький, очень походил на деда, Ивана Андреевича, с новорожденного его я сделал по этому случаю зарисовку, а потом сходство совсем исчезло. Когда кто-нибудь у нас собирался родиться, нас собирали в одну комнату, и мы спали на матрасах, разложенных на полу, так что получалось вроде пикника. А утром нам показывался новый брат или сестра, и мы окружали его при первых купаниях, но боялись дотронуться до него. Университетские годы в памяти гораздо бледнее, как и все позднейшее, кроме

относящегося к тебе и к детям. Как будто, кроме вас, никого и ничего за это время у меня не бывало. Крепко целую тебя, дорогая. Надеюсь, ты теперь уже не скучаешь, так как дети вернулись домой<sup>1</sup>.



«ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
15—18 НОЯБРЯ 1935 г. № 37»

«Матери Ольге Павловне»  
15.XI (...)

Иногда, к сожалению редко, по радио передаются романсы Шуберта: «И песнь моя...» и др. Тогда с необычайной живостью мне вспоминается, как ты их пела, и эти воспоминания связываются с Батумом. Замечательно, что из батумских впечатлений особенно ярки первые, когда мы жили у полотна железной дороги и переезда, недалеко от батареи. Ясно вижу перед собою балкон, домик, который построил на нем папа, семью актеров, живших во дворе, контрабандистов-фальшивомонетчиков, которые внезапно сбежали. Как ясно припоминается мой «охотничий» костюм, магазин Триандопуло, мыло тридас, венецианские бусы, пристань и т. д. Мельчайшие подробности стоят перед глазами, как будто были сегодня. Более позднюю жизнь в Батуми тоже помню хорошо, но все-таки не так ясно.— Крепко целую тебя, дорогая мамочка. Передай мой привет Люсе и тете.

«Сыну Кириллу»  
1935.XI.17—18. Соловки.

Дорогой Кирилл, недавно я узнал персидское, т. е. исходное, произношение имени Кир: это Сирус, наше же Кир получило от греческого Κῆρος. А т[ак] к[ак] Кирилл происходит от Кир, то твое имя правильнее произносить Сирилл. Впрочем, я раньше знал это, но позабыл. Дарий по-персидски Дарá. Имя поэта надо произносить Ферда<sup>ou</sup>си́, после «д» звук промежуточный между о и а (говори быстро оаоаоа... и тогда научишься), соединенный в дифтонг (двугласную) с кратким ъ. Слово же Кирилл по-персидски неприлично (...) — Меня давно занимает вопрос о происхождении фамильных наименований, а именно от чего происходит развитие фамильных суффиксов и что оно

означает. Особенно характерно это различие в западном крае и на Украине, где суффиксы значительно разнообразнее, чем на севере. Недавно мне удалось получить кое-какие пояснения по этому вопросу. Оказывается, что фамильный суффикс указывает на порядковый номер колена, считая от родоначальника фамилии. Но это, конечно, относится к первым коленам. Некоторый родоначальник получает прозвище, в именительном падеже, обычно существительного. Например, **Ясень**. Сыновья его называются уже не Ясени, а **Ясенчуки**. Окончание **чук** указывает на 2-е колено. В 3-ем колене фамильное название будет уже не Ясенчуки, а **Ясенки**: Ясенко — значит внук Ясеня. Если, далее, род попадал в шляхту, то Ясенки становились в 4-м колене, **Ясинские**, и далее последующие колена назывались так же. Это общая схема в отдельных случаях видоизменялась: развитие фамильного названия останавливалось ранее и застревало на промежуточной стадии. Было бы очень интересно проверить, насколько правильна и если правильна, то насколько обща такая схема. Но какая-то общая, хотя и не всеобщая схема развития должна быть, и надо ее выяснить.



*«ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
5—7 ДЕКАБРЯ 1935 г. № 40»*

*«Супруге Анне Михайловне»*

1935.XII.5, Соловки, № 40. Дорогая Аннуля, легкие морозцы сменяются по-прежнему оттепелями. Лежит снег, но покров немощный. Часты ветры. В общем же впечатление, как будто мы — на много градусов южнее Москвы. Как-то на днях (2.XII) видел во сне папу. Кто-то забрался к нам в квартиру, грозит опасность, а папа спит, и я никак не могу разбудить его. Нет никаких признаков пробуждения, хотя явно, что папа жив. Я проснулся с тревогою и почувствовал, что мало его вспоминаем. А вы, наверное, и совсем не вспоминаете о нем.

*«Сыну Михаилу»*

Не помню, тебе или Оле писал я о происхождении фамилий на Западе. А теперь — об именах на Востоке. Часто приходится встречаться с именами сложными, содержащими в своем составе Шах, Хан, Бег и т. д. Я давно

заметил, что этого рода составные части ставятся иногда перед собственно именами, иногда же — после него, но не мог узнать, произвол ли это или что-нибудь значит. Теперь узнал, по крайней мере в отношении Персии. Шах, Хан, Бег и т. д. перед именем есть просто имя и не указывает на социальное положение его носителя. Шах Махмед, Хан Али, Бег Омар и т. д. может принадлежать кому угодно. Если же составные части поставлены после имени, то носитель такого имени есть сын человека с определенным соц[иальным] положением или сам обладает им. Шах — нечто вроде мелкого вассального владетеля, Хан — помещик, Бег — дворянин (т. е. приблизительно так), Задэ — судья, Муфти — из духовенства высокого ранга и т. д. Иначе говоря, такие имена содержат нечто вроде титула, стоящего после имени. В клинописи это делалось иначе: перед именем ставился «детерминатив», т. е. знак, указывающий на должность, сан, чин и т. п., но при чтении не произносился; существовали детерминативы вещей различных категорий, явлений и т. д. Крепко целую тебя, дорогой. Не унывай. Без тебя я очень скучаю и постоянно думаю о тебе.

«Сыну Василию»

Дорогой Васюшка, получил твое письмо. Ты спрашиваешь меня о письме Наташи<sup>1</sup>. Но я ведь получил только одно письмо, и трудно высказывать установившееся мнение по единичному впечатлению, а заниматься литературным разбором того, что не предназначено в литературу, как-то нехорошо: не люблю его анатомировать, равно как и рассматривать лицо по отдельным чертам — предпочитаю ждать, пока впечатления сами собой сложатся в цельный образ. Скажу только в настоящий момент: раз Наташа вошла в нашу семью, я и отношусь, правда заочно, к ней, как к своим детям, и потому хотел бы, более того, считал бы правильным, чтобы она писала, когда найдет время и желание. Кстати, до получения ее письма я написал ей, но не знаю, получила ли она мое письмо. Сообщи.





«ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
17 ЯНВАРЯ 1936 г. [№?]»

«Наталии Ивановне, супруге сына Василия»

Дорогая Наташа, подводя баланс всевозможным сообщениям, которые могут обрадовать или огорчить, я давно уже пришел к прискорбному выводу, что нельзя ждать ни нулевого, ни положительного итога. Бесконечно много возможностей получить удар — огорчений и печалей, но что-то не находится таких известий, которые доставили бы положительную радость. Но в этом балансе я не учел одной возможности. Анна Михайловна сообщила мне о предстоящей возможности стать дедом. Это известие меня волнует и радует, оно — единственное, приносящее нечто новое, а не лишшающее того, что уже есть, или, в лучшем случае, сохраняющее блага, которые остались. Приношу Вам свои поздравления по этому случаю и надежду, что Вы будете достаточно благоразумны и станете оберегать себя и наше будущее от опасностей и случайностей. Но, увы, новое благо — и еще более тревог и забот! Жизнь моя идет по-прежнему, много хлопот и работы, но нет ощущения достаточной плодотворности от затрачиваемых усилий. Поэтому устал. Отсутствие питающих впечатлений, при невозможности сосредоточиться в самом себе, ведет к опустошению, и чувствую, как глупею с каждым днем. Впрочем, задачи жизни переданы теперь вам, детям, собственные выполнить нет условий, так что, может быть, и лучше поглупеть совсем. Берегите себя. Целую Васю и желаю Вам всего хорошего.

П. ФЛОРЕНСКИЙ



«ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
10—14 МАРТА 1936 г. № 52»

«Дочери Ольге»  
III.10—11 (...)

Еще прочел я недавно «Воспоминания» художника-акварелиста Соколова и воспользовался ими для составления генеалог[ической] таблицы рода Соколовых с его многочисленными представителями изобразительных искусств, Брюлловых, Бруни и др. Это — одна из многочисленных иллюстраций генетики (учения о наследственности) и исторического

значения биологически передаваемых свойств — мысль, которая меня занимает десятки лет, хотя совсем специально у меня не было возможности заняться ею <sup>1</sup>. Мое глубокое убеждение, что если бы люди внимательнее относились бы к свойствам рода как целого и учитывали бы наследственность, которая в данном возрасте может и не проявляться ярко, но скажется впоследствии, то были бы избегнуты многие жизненные осложнения и тяжелые обстоятельства. Но люди, особенно в молодости, думают самоуверенно, что можно обойти законы природы и сделать, как им самим хочется в данный момент, нередко по прихоти или капризу, а не так, как это вытекает из природы вещей, — в данном случае — из элементов наследственности, ген, материально присутствующих в нашем теле и никуда из него не удалимых. И за свое нежелание вдумываться, изучать и вникать, за свой каприз потом жестоко расплачиваются, к сожалению, не только собою лично и своею личною судьбою, но и судьбою своих детей. Античная трагедия построена вся на этом понимании, ибо в основе трагической завязки лежит там не проступок данного человека, а его «трагическая вина», т. е. вина, содержащаяся в самом его существе, не в злой воле, т. е. в неправильном рождении, в недолжном сочетании генов. Да иначе трагедии и не возникло; если человек согрешил и несет естественное возмездие за свой грех, то можно его жалеть, но нельзя не испытывать нравствен[ного] удовлетворения, что грех не остался безразличным и безнаказанным. Трагическое же как таковое возникает от зрелища несоответствия между возмездием и проступком или поступком, причем за свой поступок человек отвечать не может, но совершил его в силу своих наследственных свойств и расплачивается поэтому за роковую вину предков. Греческая трагедия — самая поучительная, самая глубокая и самая совершенная часть мировой литературы. У меня от нее было чувство абсолютного совершенства: лучше быть не может и не нужно — достигнут идеал. Вот почему после греков трагедии в собственном смысле уже не наблюдалось и не могло быть: задача выполнена, решена; конечно, больше решать ее нечего.



«Наталии Ивановне, супруге сына Василия»

Дорогая Наташа, получил одно Ваше письмо. Надеюсь, что Вы бережете себя и ребеночка. Как я писал уже Вам, я сердечно рад его существованию и чувствую, что люблю его. Жаль мне только, что не увижу его собственными глазами. Но Вы впоследствии скажете ему, что его дед любил его, когда его еще не было под солнцем. Но было бы грустно, если бы Ваши занятия музыкой прекратились надолго. Очень неудобно, что у Вас нет инструмента дома — и для упражнения и для радости. В моих бумагах была составлена мною по рассказам родословная Вашей семьи. Попросите кого-нибудь из наших переписать ее, чтобы она была и у Вас. Я считаю, что знать прошлое своего рода есть долг каждого и приносит много пользы для самопознания и исправления или предупреждения возможных ошибок в жизни, т[ак] к[ак] дает возможность учесть свои прирожденные склонности, способности и слабости. Мне же в особенности хочется, чтобы Ваши дети были вооружены этим материалом самопознания — конечно, в будущем, которое наступит еще не скоро. Сообщите мне, когда собирается появиться на свет маленький.



«ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
8—10 АПРЕЛЯ 1936 г. № 56»

«Супруге Анне Михайловне»

Об имени<sup>1</sup> для Васи и Наташи я не писал, потому что меня не спрашивали, а навязывать свое мнение не хочу. Очень трудно об этом вопросе говорить вообще, не конкретно. Ведь имя само по себе не дает хорошего или плохого человека, оно — лишь музыкальная форма, по которой можно написать произведение и плохое и хорошее. Имя можно сравнить с хрией, т. е. способом распределения и соотношения основных частей и элементов сочинения, но не именем создается тема сочинения или качество его. А далее, необходимо рассуждать, отходя от конкретных условий времени, места, среды, пожеланий и т. д., и делать вывод о пригодности или непригодности имени к этим условиям. Положительное имя, т. е. без внутренних над-

ломов и осложнений, но зато и без вдохновения, Андрей. Горячее имя, с темпераментом и некоторою элементарностью, Петр. Из коротких имен, на границе с благою простотою, Иван. Извилистое и диалектичное, с соответственными противоречиями и динамикой,—Павел. Тоже по своему сложное, но с уклоном к вычурности и искусственному, бескровному подходу к жизни, завивающееся около случайных явлений,—Феодор. Огненное по возможности и очень духовное имя по своей природе, но могущее в неподходящих условиях давать тяжеловесность и неуклюжесть (как рыба на суше или, точнее, как намокшая птица),—Михаил. Александр — самое гармоничное имя, имя великих людей, но становящееся претензией, если нет сил заполнить ее надлежащим содержанием. Алексей — близко к Ивану, но с хитрецей, несколько себе на уме. Приятное имя, но не из высших, Роман. Георгий дает активность, в лучшем случае объективно направленную на высшие цели, в худшем — на устройство собственных жизненных дел; Николай — тоже активность, но несколько элементарно устремленную; имя хорошее в отношении помощи окружающим, так сказать, помощи ближайшей. Сергей — имя тонкое, но неск[олько] хрупкое, без стержня, и Сергею требуется какая-то парность, без этого он не может развить полноту своих энергий. Люблю имя Исаак, но у нас оно связано с ассоциациями, которые затрудняют жизненный путь. Славянских-скандинавских имен брать, мне кажется, не следует. Они пахнут чем-то выдуманым, каким-то маскарадом под «истинно русское». Кроме того, они по молодости недостаточно обмяты, вероятно, малоустойчивы и, во всяком случае, плохо изучены и распознаны — Всеволод, Олег, Игорь, Святослав, Ярослав. Я предпочел бы имя надежное, испытанное и существенное. Женских имен вообще мало. Лучшее, конечно, — Мария, самое женственное, равновесное и внутренне гармоничное, доброе. На втором месте стоит Анна, тоже очень хорошее, но с неуравновешенностью, преобладанием эмоций над умом. Юлия — имя капризное и взбалмошное, с ним очень трудно. Елена — неплохо, но с хитрецей. (Анна соответствует Иоанну.) Наталия — честное имя, но жизнь трудная. Варвара — взбалмошное благородство, демонстративное великодушие, преувеличенная прямота, жизнь Варвары трудна по собственной вине. Нина — легкое имя, женственное, слегка легкомысленное, т. е. скорее неглубокое. Пелагея — кроткое имя. В Дарье распорядительность, не совсем женственное.

В Валентине — мужские черты, к женщине очень неидущие. Прасковья — внутренняя строгость, имя хорошее, но скорее монашеское. София — распорядительность, организацион[ные] способности и в связи с этим привычка стоять над другими, окружающими. Вера — имя трагическое, с порывами к самопожертвованию, но обычно ненужному, выдуманному из разгоряченного воображения. Ну, всех имен не переберешь. Для мальчика, если не иметь в виду каких-либо специальных условий и желаний, я остановился бы на Михаиле, или Петре, или Иване, для девочки на Марии, Софии или Анне. Да, еще из мужских имен доброкачественное Адриан, спокойное и солидное имя, без надломов, но неглубокое. При выборе трудность в решении вопроса, чего хотеть: сравнительно спокойного, ровного существования, но без внутреннего блеска, или рисковать на глубину и возможную силу, но с возможными срывами и неудачами.



«ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
27 АПРЕЛЯ — 4 МАЯ 1936 г. № 59»

*«Супруге Анне Михайловне»*

И.З. Сегодня и вчера слушал по радио романсы Гурилева и Алябьева и погрузился в воспоминания о прошлом. Романсы эти написаны во времена моей бабушки Анфисы Уаровны и второй жены деда Ивана Андреевича Елизаветы Владимировны, бывшей подругою и родственницей первой. Анфиса Уаровна была музыкальна, а Елизавета Влад[имировна] — хорошей музыкантшей. Они обе пели и играли, и романсы эти создавались возле бабушек. Относительно Алябьева не знаю, а Гурилевы, отец и сын, романист, был другом семьи, постоянно бывал в доме прадеда и деда, принося с собой для первоначального просмотра вновь написанные вещи. Их там проигрывали, пели, обсуждали. Один из романсов Гурилева был посвящен Елиз[авете] Влад[имировне], но рукопись сгорела на Пресне в 1905 г. Сестра Елиз[аветы] Влад[имировны] — Александра Влад[имировна] — была превосходной музыкантшей и разъезжала по всей России со своим мужем — певцом Готлибом Федоровичем Пекоком, которого ты раз видела уже совсем старым. А[лександр]дра Вл[адимировна] была покровительницей моего отца и очень дружила с Анфисой

Уаровной. Дочь Пекоков Александра Готлибовна, которую называли Алина, была близка с тетей Юлей. Получила прекрасное вокальное образование у своего отца, профессора пения, завоевала себе большой успех на сцене и затем, по настоянию отца, уехала прославляться в Италию. И прославилась — как певица Scala в Милане под псевдонимом Алины Марини, но в Россию уже не вернулась, мать ее всю жизнь терзалась, ожидая ее с лета на зиму и с зимы на лето в течение 20 — 25 лет, — так и умерла, не увидев дочери. Как было тяжело видеть страдания и ожидания бабушки Алекс[андры] Владимировны и сознавать, что дочь ее не возвращается и не едет вовсе не случайно; но всю жизнь она переписывалась с матерью. — Крепко целую тебя, дорогая Аннуля. Вот куда завели меня эти романсы, в горе и страдания. Времена меняются, отстраиваются, разрушаются и снова отстраиваются дома и улицы, проходят моды и появляются новые, проводятся телефон, трамваи, метрополитен и троллейбусы, а страдания остаются все те же — были есть и будут, и не помогут против них удобства и технические совершенствования. Поэтому надо быть бодрым и жить в работе, принимая удары как неотъемлемую принадлежность жизни, а не как неожиданную случайность.



*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
1 — 7 ИЮНЯ 1936 г. № 64*

*«Дочери Ольге»*

Дорогой Олень, ты совсем забыл своего папу. Но папу еще ничего, а я боюсь, что ты, по своему обычаю, предаешься какому-нибудь одному увлечению, в шорах идешь к нему и не воспринимаешь окружающего. Это очень грустно и плохо, прежде всего для тебя самой. Мудрость жизни — в умении пользоваться прежде всего тем, что есть, и (в) правильной оценке каждого из явлений сравнительно с другими. В данном случае я имею в виду мамочку, братьев, Тику и других близких. Школа и все, с ней связанное, мимолетный эпизод в жизни. Товарищеская среда сегодня есть, а завтра рассеется, и все забудут друг о друге. Так бывает всегда. И тогда можешь оказаться в пустоте. Ведь товарищеская среда потому перетягивает к себе все внима-

ние, что товарищеские отношения, в сущности, безответственны, каждый отвечает сам за себя, и каждый занят своими интересами. Поэтому в ней легко. Но эта легкость есть легкость пустоты, а все подлинное требует усилия, работы и несет ответственность. Зато доставшееся с усилием, действительно внутренне проработанное, остается на всю жизнь. Того, что может дать родной дом, не даст потом никто и ничто, но надо заработать это, надо самой быть внимательной к дому, а не жить в нем, как в гостинице. Может быть, я ошибаюсь и преувеличиваю твое состояние, я был бы рад ошибиться. Но смотри сама, если в моих словах есть хоть частичное указание на неправильную оценку тобою окружающего, то потом ты будешь горько раскаиваться в ошибке, которую уже не исправишь.

### *«Дочери Тинатин-Марии»*

Здесь, в одиночестве, я часто возвращаюсь мыслию ко временам своего детства, и образы моих младших братьев и сестер сливаются с Вашими. Особенно памятен Гося и Андрей. Андрей родился в 1899 г., когда я был в 8 классе гимназии, Гося «на» 3—4 года раньше. Поэтому я нянчил их, особенно когда студентом приезжал на летние каникулы домой, водил гулять по лесным тропкам, горам и зарослям, а больше, впрочем, не водил, а носил на руках. Гося заставляла меня рассказывать ей сказки, и я сочинял их часами. Собирали растения, ягоды. Почему-то особенно запомнилось мне, как я тащил в Сураме Андрея по крутой «тропинке» в гору за черникой. У меня в руках была большая корзина с ручкой и Андрей. Лезть приходилось, продираясь сквозь заросли и подтягиваясь руками за кусты. Все склоны Сурамских гор покрыты черникой — но не северной черникой, растущей мелкими кустиками, а крупными кустами, на переходе к настоящим деревьям. На более удобном месте я спускал с рук Андрея, ставил корзину на ветки и принимался за сбор черничной ягоды. Самым трудным было возвращение домой, т[ак] к[ак] корзина была полна, а Андрей раскисал от жары и подъема, хотя и не поднимался собственными ногами. А раньше, когда я был значительно моложе и мы обычно ездили в (...), по несколько раз в день я бегал в парк по грибы. Парк был небольшой, но мне казался таинственным и жутким. Почему-то я никак не мог освоиться с его расположением, а м[ожет] б[ыть], и не хотел портить себе чувство беспредельного таинственного пространства. Но каждый раз

я входил в этот парк, как в заповедный девственный лес и, найдя несколько грибов, спешил убежать с замиранием сердца. Особенно занимали меня заросли папоротников, легких, сырых, с их особым таинственным запахом. Свои грибы я чистил и тут же жарил — либо прямо на плите, шляпкою вниз и насыпав щепотку соли на внутреннюю сторону гриба, либо на сковородке, с мясом. Мне казалось, что грибы все недожарены и что недожаренными грибами отравляются; а кроме того, на Кавказе грибы своеобразны, и ими действительно часто отравляются. Поэтому я пережаривал свои грибы почти до сухости и ел одновременно с наслаждением и страхом. У тети Лизы, где было много фруктов, я принимал меры против заболевания (мне было 7 лет, и я почти всегда, как потом Васюшка, ходил с расстроенным желудком): принимал впрок изрядную дозу мятных капель. Вообще, с тех пор как помню себя, т. е. чуть не с 1 года, я привык возиться с душистыми и лекарственными веществами, с ядовитыми растениями, с различными химическими соединениями, и удивительно, как со мною ни разу не случилось какой-либо беды, несмотря на опасность моих опытов. Вероятно, это объясняется большой привычкой с детства обращаться со всякими веществами и моею осторожностью. — Крепко целую тебя, дорогая Тика. Кланяюсь твоему Буське.



ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
4—5 ИЮЛЯ 1936 г. № 66

*«Супруге Анне Михайловне»*

Относительно поездки Мика я тебе писал неск[олько] раз. Повторю: считаю полезным, чтобы он приучался к работе и растил в себе интерес к делу в таком возрасте, когда формируется личность на всю последующую жизнь. Наша родовая природа такова, что мы можем успешно работать лишь там, где надо работать творчески и пионерски. Все мои предки, по прямым и по боковым линиям, были пионерами. Кроме того, наше мышление не отвлеченное, а конкретное, опирающееся на непосредственное наблюдение и опыт. Микю надо обогатить впечатлениями природы и ее жизни, без этого книжное изучение у него не пойдет успешно. Повторяю, нашей мысли не свойственен академизм и формализм. Да и Кире полезно участие в работе



Мика, не только с точки зрения успешности работы, но и большей осторожности в путешествии. Да, часть писем послана на адрес мамы, боюсь, что они застрянут у нее в квартире. Несколько раз я посылал Мику стихи, доходят ли они до Вас и доходят ли до Вашего сознания? Ведь они автобиографичны и генобиографичны, т. е. передают основные свойства нашего родового мышления (*γενος* — род); поэтому мне хотелось бы, чтобы Вы видели в них не просто стихи для развлечения, а итоги жизненного опыта, которые могут быть полезны как направляющее начало в работе и жизни (...). Хочется закрепить (это из другой области) нечто о папе. Когда я был в Тифлисе, опасность, по утверждению врачей, миновала, и мне было сказано, что я могу спокойно ехать, вернуться к своим студенческим обязанностям. Поехал. Сажу раз у себя в комнате, за большим столом перед окном. Было светло еще. Пишу. Как-то утратилось сознание, где я нахожусь, забылось, что я далеко от Тифлиса и что я вырос. Рядом со мною, слева, сидит папа и внимательно смотрит, как это бывало нередко, когда я учился в гимназии, ничего не говорит. Было так привычно для меня, что я не обращал особого внимания, только чувствовал себя хорошо. Вдруг я сообразил, что я ведь не в Тифлисе, а в Посаде, поднял голову и посмотрел на папу. Вижу его вполне ясно. Он взглянул на меня, видимо, ждал, чтобы я понял, что это он и что это удивительно, и когда убедился, то внезапно его образ побледнел, как бы выцвел, и исчез — не ушел, не распался, а стал очень быстро утрачивать реальность, как ослабляемый фотографический снимок. Через несколько часов я получил телеграмму из (...) о кончине папы<sup>1</sup>. — Знаешь, усопших я ощущаю гораздо живее, чем знакомых, с которыми расстался, — кроме Вас, домашних. Знакомые всплывают как бледные тени, а умершие ощущаются изнутри.



*«ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
7—9 ИЮЛЯ 1936 г. № 67»*

*«Сыну Василию»*

1936.VII.7. 4 ч[аса] ночи. № 67. Соловки. Дорогой Васюшка, вчера вечером получил письма — твое и Наташи. Поздравляю тебя с сыном<sup>1</sup>. Мне, конечно, очень радостно, что это произошло при нашей с мамою жизни. Ты, я, мой

отец и дед росли и родились уже без дедов, а кроме тебя — и без бабушек, и в детстве я часто думал с горечью, почему у меня нет ни дедушки, ни бабушки. А у твоего сына есть два деда, две бабушки и три прабабушки (а может быть, четыре? не знаю). Поэтому будет кому его баловать, и он будет вправлен в паз времени, если выразиться по-шекспировски («Время вышло из своих пазов», — говорит Гамлет). Быть в пазе времени очень важно для понимания жизни и правильного ее направления<sup>2</sup>. (...)

*«Наталии Ивановне, супруге сына Василия»*

1936.VII. 7 — 8. Дорогая Наташа, поздравляю Вас с рождением сына. Надеюсь, теперь Вы оправились совсем и чувствуете себя хорошо. Прóсите написать о своем впечатлении от семейного события. Но какое же у меня может быть впечатление, кроме чувств: я ведь знаю о событии лишь из писем и смотрю на него Вашими глазами. Могу лишь сказать, что я весьма рад вообще и в частности благополучному исходу. Мальчик родился примерно в то же время, что и Вася (25-го мая, а Вася 21-го)<sup>3</sup>, но, очевидно, решил выждать 4 дня, чтобы родиться в особенно хороший день. Конечно, малыша я очень люблю, но ничем не могу быть ему полезен. Хочу дать только один совет. Пусть с первых же дней он получает наилучшие впечатления от мира. Большая ошибка думать, что эти «бессознательные» впечатления безразличны. Именно они, больше, чем какие-либо другие, слагают основу личности, ложась первыми камнями ее фундамента. Знаете основной закон психофизики — Вебера — Фехнера: ощущение (добавлю — и впечатление) пропорционально логарифму раздражения. Или: произведение из замечаемого изменения ощущения на уже имеющееся раздражение пропорционально приросту раздражения. Поэтому, когда никакого раздражения еще почти не было, прирост ощущения велик при малом добавочном раздражении. И «пустяк» поэтому воспринимается как откровение. Но весь вопрос в том, какого рода откровения будет получать от мира малыш. Нужно, чтобы они были прекрасные, чистые и светлые. Тогда они станут коренными образами всего облика и на них станут наращиваться, выкристаллизовываясь, родственный материал. Может случиться, вообще говоря, и обратное, и этого надо опасаться и оберегаться. Что же именно следует давать малышу для первого питания? В соответствии с известным мне духом рода можно наметить пищу наиболее

подходящую. Это: музыка, но высшего порядка, т. е. Бах, Моцарт, Гайдн, пожалуй, Шуберт, который хоть и не глубок, но здоров и ясен. Затем цветы. Надо обращать внимание малыша на цветы, то есть показывать ему их и привлекать внимание. Далее: зелень, воду, вообще стихии. Далее: небо, облака, зори. Далее: произведения изобразительных искусств, хотя бы в репродукциях. Надо, чтобы с первых же часов жизни он привыкал вживаться в природу и в лучшие проявления человеческого творчества. Не смущайтесь, что он будет будто чужд показываемому: это только кажется. Он будет восприимчив, но не сумеет проявить свое восприятие. Но позже вы сами убедитесь, что эти впечатления не миновали его, и они скажутся, так или иначе, самым явным образом. (...)

Возвращаюсь к маленькому. Вы пишете об его черных или темных волосах и темно-серых глазах. По ни то, ни другое в таком возрасте еще ничего не говорит относительно будущего. Эти первые волосики сменяются, и весьма часто, окрашенными в совсем иной цвет, равным образом и глаза изменяют цвет в раннем возрасте. При случае сделайте отпечатки с его рученок: закоптить бумагу, положить на стол и наложить ручку, слегка прижав. Тогда на копоти отпечатаются линии. А затем отпечаток закрепляется, для чего бумагу опускают плашмя в спиртовой раствор, очень слабый, какой-либо смолы, а в крайнем случае и просто в спирт. Будет поучительно иметь отпечаток линий ручки, когда он подрастет, для сравнения. У меня в бумагах был где-то отпечаток рук Васи, было бы интересно сравнить их между собою. Я, вероятно, впадаю в детство, общество взрослых, всегда меня тяготившее, становится совсем невыносимым, и приемлемо только общество детей (которого у меня здесь нет) да подростков. Поэтому мне особенно хотелось бы иметь маленького возле себя и грустно, что его не вижу. — Всего хорошего, приветствую Ваших родителей и всех Ваших. Дайте бумагу на испытание для акварели Вл[адимиру] Ан[дреевичу]<sup>4</sup>.

П. ФЛОРЕНСКИЙ.



«Дочери Ольге»

Дорогой Олень, сейчас полчетвертого, сижу под вой ветра (почти самый сильный, говорят, 10 баллов), и вспоминается мне один батумский вечер, когда мне было, вероятно, 4 1/2 года. Мы жили у проходившей тогда через город железной дороги, почти рядом с батареей, в доме Айвазова. Меня почему-то очень привлекали масляные краски, тогда как акварельные казались чем-то хорошо знакомым и изведанным. Папа (мой) достал несколько тюбиков и по моей просьбе стал писать на плоском морском белом камне. Что? — Конечно, цветы. Тогда я признавал только рисунки цветов. Мой заказ был изобразить венок из незабудок и куриной слепоты. Было уже поздно, когда начали: он писал, а я сидел рядом и смотрел. Изображение было мелкое и требовало много времени. Тетя Юля (моя тетя) много раз пыталась отправить меня в постель, но папа оставлял, видя, что мне не хочется. Тетя говорит: «Смотри, как бы сон не улетел». Я выглянул в окно и увидел какую-то искру, вероятно от паровоза. Тетя: «Ну вот, это и был твой сон, он улетел». Я хотя и испугался немножко, но вместе с тем был доволен: раз сон улетел, то, значит, и ложиться незачем, все равно сна уже не вернешь. Так мы сидели с папой до глубокой ночи, наверно часов до 2-х, пока папа не закончил венка. Живо припоминается мне этот случай, словно было вчера, а не более полвека тому назад. Прошное не прошло, оно вечно сохраняется где-то и как-то продолжает быть реальным и действовать. Это ощущаю на каждом шагу, воспоминания стоят перед глазами ясными и отчетливыми картинами. И теряются границы, где собственно мой отец, где я сам, где вы все, где маленький. Границы личности только в книгах кажутся четкими, а на самом деле все и всё так тесно переплетено, что раздельность лишь приблизительная, с непрерывными переходами от одной части целого к другой. И я теперь хоть и далеко от вас, но с вами, всегда. Целую тебя, дорогая. Не забывай, пиши. Кланяйся бабушке.

«Сыну Кириллу»

1936.XI.24. № 81. Соловки

Дорогой Кирилл, постоянно вспоминаю тебя и о тебе. Как хотелось порадовать тебя чем-нибудь или облегчить твою работу. И знаешь почему? — Из-за воспоминаний.

У меня такое свойство: бодро и беззаботно смотреть на будущее, рассчитывая на творчество самой жизни, не планируя и не загадываясь далеким будущим; но прошлое меня ужасает. Да, буквально приводят в содрогание редкие случаи, которые вспоминаются, которые давно минули, и минули благополучно. Но они стоят перед глазами и жгут, как раны души. Проходят годы, много годов. А память о таких случаях не только не сглаживается, но как будто еще обостряется. Вот припоминается, как ты выпил целый пузырек Васиных (...) капель с коричневым маслом и какой-то сладостью, влез на дерево и в возбуждении стал кричать петухом, — как я тебя едва снял оттуда, отпаивал магнизией и носил в земскую больницу. Еще вспоминается, как мы ходили на охоту, ты изнемог и не шел уже, я боялся, что замерзнешь, и нес тебя на спине — это по Деулинской дороге. Еще — как ты чуть не упал в яму с водой в Лаврском саду, когда мы шли ночью по скользкой грязи. Помнишь, как ты сделал себе папиросу из какой-то трухи и весь опалился? Вспоминаются твои уходы на охоту — и как становится беспокойно, хотя ты давно вернулся. Еще вспоминается, как ты болел в детстве, все тело чесалось от какой-то непонятной, вероятно нервной, причины, и никак тебе не могли помочь. Беспокоюсь о твоих путешествиях, прошлого и этого года. Всякие такие случаи стоят перед глазами, даже когда работаю и весьма занят. Отчасти это потому, что мои мысли — только о вас, если говорить о глубине сознания. Вспоминаю с ужасом, как ты родился. Было исключительно холодно, я был болен, отвезти маму в больницу не мог, вез ее дядя Саня. И потом тебя привезли, по сильному морозу. Сколько возможностей для несчастья и как мало — для благополучия! Жизнь напоминает мне тоненькую свечку, горящую при бурном шторме. Скорее удивительно, что ее не задувает мгновенно, чем то, что она все-таки не гаснет всегда, во всяком случае. Теоретически в этом надо видеть наглядное доказательство, что жизнь в целом сильнее всех стихий мира. Это, впрочем, не очень утешительная истина, хотя и весьма важная в общем миропонимании: ведь любим мы не жизнь вообще и не в целом, а в частности и в части, определенное существо, и гибель его не оправдывается сохранением жизни вообще. Но помнишь «Филиписка», как ты говорил раньше? Только «Филиписк» и успокаивает. Или ты забыл свои сны?



«Сыну Кириллу»

1937. I. 8 — 9. № 87. Соловки. Дорогой Кирилл, сегодня у нас выходной день (наши не совпадают с вашими, т[ак] к[ак] у нас 7-дневный круг), я решил отоспаться за многие бессонные ночи. Но странный был сон, м[ожет] б[ыть], потому, что небо ясно и ветра нет, м[ожет] б[ыть], по дню: несколько раз засыпал, и всякий раз видел дорогое и любимое, однако тревожно. Видел свою мать с маленькими, причем образы моих братьев и сестер, когда они были маленькими, сливались с Вашими, в том же возрасте. Мать свою видел не в теперешнем виде, а в давнем, батумском, когда она была еще молода. Ее считали очень красивой. Помню, в Батуми был инженер Орлов; жена его считалась очень красивой. На бульваре, куда нас водили гулять, между няньками постоянно возникал спор, «какая барыня «красивше» — Флоренская или Орлова. Кажется, первенство оставалось за мамой, но у нее был недостаток, она не любила нарядности и одевалась весьма скромно, в духе 70-х годов, а М-те Орлова тратилась на туалеты и ходила во всем необыкновенном. Один из ее аттракционов (для меня) была ее шляпа — сплошь покрытая чучелами колибри. Само слово «колибри» приводило меня в детстве в холодный восторг и вызывало священный трепет. Ведь оно связывалось с представлением о тропических странах, которыми я бредил, о морских путешествиях, о запахе необыкновенных растений. И вот, на голове сплошные колибри. Впрочем, сама М-те Орлова мне чем-то весьма не нравилась, не могу понять — чем именно, и я ей этого не нравящегося не прощал даже ради колибри. — Мне так хотелось, чтобы у нас в доме было колибри, что я приставал к родителям, чтобы они завели дома шляпу хотя бы с одним колибри. Мама на это никак не шла, по своему ригоризму и скромности. Тетя Юлия, меня баловавшая, решила уступить. Мы пошли вместе с нею покупать чучело. Дело было вечером, осенью. Выбирали, выбирали, наконец выбрали. Продавец завернул чучело очень нежно в бумагу и предупредил, чтобы несли осторожно, чтобы не помять птичку. Шести, конечно, захотел я сам, единственный заинтересованный в нем. Нес двумя пальцами за кончик пакета. Приходим домой — оказывается, пакет снизу развернулся и птичка упала. Так ее и не нашли. Я очень плакал, но

делать было нечего и денег на вторую птичку у нас не было.— Потом видел я сегодня во сне своего отца. Он был печальный и одинокий. Говорил, что живет совсем один, что все отошли от него и забыли его, что одному ему трудно справляться. И как-то, не могу вспомнить как именно, эти упреки направлены не столько на нас, детей, сколько на вас, внуков. М[ожет] б[ыть], тут, во сне, вспыхнула моя тайная мысль и печаль, что вы растете, не вспоминая деда, а он как любил бы вас и как радовался бы вам. Очень нехорошо, и в отношении его, и для вас самих. Бабушки, обе, не любят говорить о наших отцах, потому что им печально вспоминать о прошлом. Мама твоя не говорит, потому что сама не знала их, и ей, пожалуй, нечего сказать. Но дело вашей активности восстанавливать конкретные штрихи ото всех понемногу, чтобы сделать дедов близкими себе и живо представлять их и почаще вспоминать. Это и ваш долг и ваш расчет, ибо жить с пустотою в прошлом скучно и некультурно. Маминого отца Мих[аила] Фед[оровича]<sup>1</sup> я не знал, но мне представляется он очень приятным и доброкачественным. Когда хоронили дядю Мишу, то могилу вырыли для него так близко от отцовской, что гроб сбоку обнажился. Я спустился в могилу, поцеловал гроб и взял щепочку от него на память. Но вы должны собрать себе, пока можно, как сумеете больше рассказов о нем и о прошлом от бабушки и от моей мамы—о моем отце. Спрашивайте также тетю Люсю, Лилю, если она приедет, и всех. Много могла бы рассказать баба Соня, но ее, кажется, нет в Москве.

1937. I. 11—12. Видно, мои мысли только с вами. Сегодня я опять видел вас во сне, необыкновенно живо, и опять маленькими, и опять Ваши образы сливались с образами моих братьев и сестер, когда те были маленькими. Чувствую, что меня ничто уже, само по себе, не интересует и только как-нибудь соотносясь с вами подвигает мысль.



«ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
20 АПРЕЛЯ 1937 г. № 98»

«Наталии Ивановне, супруге сына Василия»

Дорогая Наташа, радуюсь успехам маленького, но, к сожалению, получаю сведения о нем с большим опозданием,

а он, вероятно, растет и развивается заметно с каждой неделей. Скоро заговорит. Давно ли был таким Вася! Мне представляется, что это было 2 — 3 года тому назад, а вот теперь и Павлик собирается заговорить. Жизнь пролетает, как сновидение, и ничего не успеваешь сделать за мгновение жизни. Поэтому надо обучаться искусству жизни — самому трудному и самому важному: насыщать каждый час существенным содержанием и помнить, что он никогда не повторится.



«ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
11—13 МАЯ 1937 г. № 99»

«Супруге Анне Михайловне»  
1937.V.11 (...)

Наша водорослевая эпопея на днях кончается, чем буду заниматься далее — не знаю, м[ожет] б[ыть], лесом, т. е. хотелось применить в этой области математи[ческий] анализ. Окончание работ по водорослям естественно: ведь в моей жизни всегда так — раз я овладел предметом, приходится бросать его по не зависящим от меня причинам и начинать новое дело, опять с фундаментом, чтобы проложить пути, по которым не мне ходить. Вероятно, тут есть какой-то глубокий смысл, если это повторяется на протяжении всей жизни — наука бескорыстия, но все же это утомительно. Если бы собирался жить еще сто лет, то такая судьба всех работ была бы лишь полезна, но при краткости жизни она лишь очистительна, а не полезна. Впрочем, в Коране сказано: «Ничего не случается с человеком, что не было бы написано на небесах». Очевидно, обо мне написано быть всегда пионером, но не более. И с этим надо примириться. Пишу же об этом не столько для себя, как для детей: уроки рода должно усваивать и осознавать, чтобы использовать свою жизнь, приспособляясь к ожидаемому и наиболее вероятному. Моя мысль и забота всецело с Вами, и хочется передать Вам опыт жизни и размышлений.

«Дочери Ольге»  
1937.V.13 (...)

Секрет творчества — в сохранении юности. Секрет гениальности — в сохранении детства, детской конституции на всю жизнь. Эта-то конституция и дает гению объективное



восприятие мира, не центрированное, своего рода обратную перспективу мира, и потому оно целостно и реально. Иллюзорное, как бы блестяще и ярко оно ни было, никогда не м[ожет] б[ыть] названо гениальным. Ибо суть гениального мировосприятия — проникновение в глубь вещей, а суть иллюзорного — в закрытии от себя реальности. Наиболее типичны для гениальности: Моцарт, Фарадей, Пушкин — они дети по складу, со всеми достоинствами и недостатками этого склада.

Еще раз перечел твое письмо и никак не могу вспомнить, чем тебя огорчил. Во всяком случае, огорчен этим сам. Ты не понимаешь чувство отца, которому хочется, чтобы дети его были не просто безукоризненны, но и представляли собою высшую ценность. Не для других, а для себя надо быть такими, но неважно, как о вас будут думать другие: быть, а не казаться. Иметь ясное, прозрачное настроение, целостное восприятие мира и растить бескорыстную мысль — чтобы под старость можно было сказать, что в жизни взято все лучшее, что усвоено в мире, все наиболее достойное и прекрасное и что совесть не замарана сором, к которому так льнут люди и который, после того как страсть прошла, оставляет грубое отвращение. Крепко целую тебя, дорогая.

С

## ЗАВЕЩАНИЕ

МОИМ ДЕТЯМ: АННЕ, ВАСИЛИЮ  
И КИРИЛЛУ И ОЛЕЧКЕ<sup>2</sup> —  
НА СЛУЧАЙ МОЕЙ СМЕРТИ.

1917.IV.11

*Серг[иев] Пос[ад]*

1. Прошу вас, мои милые, когда будете хоронить меня, — приобщиться Св[ятых] Таин в этот самый день, а если уж будет никак нельзя, то в ближайшие дни. И вообще прошу приобщаться вскоре после смерти моей чаще.

2. Обо мне не печальтесь и не скорбите по возможности. Если вы будете радостны и бодры, то мне этим доставите успокоение. Я всегда буду с вами душою, а если Господь позволит — буду часто приходить к вам и смотреть на вас. Но вы уповайте на Господа и на Его Пречистую Матерь и не печальтесь.

3. Самое главное, о чем я вообще прошу вас, — это чтобы вы помнили Господа и ходили пред Ним. Этим я говорю все, что имею сказать. Остальное — либо подробности, либо второстепенное. Но этого не забывайте никогда.

4. Не забывайте рода своего, прошлого своего, изучайте своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их памяти.

1917.V.8. Старайтесь записывать все, что можете, о прошлом рода, семьи, дома, обстановки, вещей, книг и т. д. Старайтесь собирать портреты, автографы, письма, сочинения печатные и рукописные всех тех, кто имел отношение к семье, к роду, знакомых, родных, друзей. Пусть вся история рода будет закреплена в вашем доме и пусть все около вас будет напитано воспоминаниями, так чтобы ничего не было мертвого, вещного, неодухотворенного.

5. Дома, библиотеки, вещей не продавайте, без самой крайней нужды. Главное же мне хотелось бы, чтобы дом оставался долго в нашем роде, чтобы под крылом Преп[одобного] Сергия вы, и дети, и внуки ваши долго-долго имели крепость и твердую опору.

*1917.VII.6. Серг[иев] Пос[ад]*

6. Мое убеждение — что роду нашему должно иметь представителей у Престола Божия. Мое чувство — что тысячи вразумлений Божиих и тысячи подстерегающих враждебных глаз направляют наш род к одной цели — не изменять назначенному нам стоянию в олтаре Господнем. Отказ от этого стояния, бегство олтаря поведет к тяжелому року над нашим домом.

Мне думается, то тяжелое, что пережил наш род, начиная от деда, есть следствие уклонения от олтаря Господня. Пусть же в каждом поколении хоть один будет иерей, лучше всего — как я, т. е. иерей для себя, иерей ради службы Божией, имеющий ремеслом что-нибудь особое! Подумайте об этом, сыны мои!

7. Мне думается, что задачи нашего рода — не практические, не административные, а созерцательные, мыслительные, организационные в области духовной жизни, в области культуры и просвещения. Старайтесь вдуматься в эти задачи нашего рода и, не уклоняясь от прямого следования им, по возможности твердо держаться присущей нам деятельности.

8. Не ищите власти, богатства, влияния... Нам не свойственно все это; в малой же доле оно само придет, — в мере нужной. А иначе станет вам скучно и тягостно жить.

*1919.VI.26. Серг[иев] Пос[ад], ст. ст.*

9. Дети мои милые. Это время революции было так тяжело, как только можно было себе представить; было — и есть, и Бог знает, сколько еще продлится. Эпидемические болезни, голод, невероятная дороговизна, бесправие, возможность всякого насилия — все, что только можно представить себе тяжелого, не отсутствовало кругом нас. Но Милосердие Божие, Покров Пречистой Девы и Помощь Преподобного Сергия, а также молитвы Иеромонаха Исидора и Епископа Антония, а может быть — и Архимандрита Пимена — не оставляли нас, и великим чудом мы не терпели недостатка, хотя по человеческому разумению должны были бы тысячу раз умереть от голода, холода

и болезней, а также претерпеть все виды насилий. Милые мои дети, Господь хранил нас, мы не оставались без Его Покрова. Не забывайте никогда, прошу вас и завещаю вам, этого времени вашего детства и всегда обращайтесь за помощью к Господу, Божией Матери, угоднику Божию Сергию, а еще святым Николаю Чудотворцу, преподобному Серафиму и своим Ангелам. Обращайтесь с горячею просьбою и мольбою о помощи к друзьям и покровителям нашего дома Иеромонаху Исидору и Епископу Антонию и Архимандриту Пимену. Не забывайте этого, помните, опытами многими убедился я, убедились мы в действительности молитв и просьб к ним. И еще раз скажу, не забывайте их, милые мои, обращайтесь к ним с каждою нуждою, помните, что в лице их вы имеете домашних покровителей, знавших нас и любивших нас и заботившихся о нас при жизни своей.

### 1920.VI.3

10. Мои милые, в это тяжелое время друзья и знакомые много помогали нам, и без помощи их нам не выжить бы. Многие проявляли доброту и внимание, нами не заслуженные. И вы, мои хорошие, будьте всегда в жизни добры к людям и внимательны. Не надо раздавать, разбрасывать имущество, ласку, совет; не надо благотворительности. Но старайтесь чутко прислушиваться и уметь вовремя придти с действительной помощью к тем, кого вам Бог пошлет как нуждающихся в помощи. Будьте добры и щедродательны.

Когда же вам самим будет плохо, то воззовите к Богу, обратитесь к святым угодникам — к Николаю Чудотворцу, к преп[одобным] Сергию и Серафиму, обратитесь [к] покровителям нашего дома, о которых я говорил вам уже. Верьте, мои милые, что я говорю по многому опыту,— они не оставят вас без помощи.

Много-много раз я убеждался в действительности молитв к ним и не бывал не услышан, когда просил их. И вот, мои родные, мои родимые, никогда не забывайте молиться и обращаться за помощью к небесным покровителям. Из друзей же, помогавших нам, в особенности назову: Нат[алию] Алекс[андрову] Киселеву, Софию Сергеевну Тучкову, Софию Ив[ановну] Огневу, некоторых моих учеников по Академии.

11. Мои милые, грех, который особенно тяжело было бы мне видеть в вас, это зависть. Не завидуйте, мои дорогие, никому. Не завидуйте, это измельчает дух и опошляет его.

Если уж очень захочется что иметь, то добывайте и просите Бога, чтобы было желаемое у вас. Но только не завидуйте. Мещанство душевное, мелочность, дерзкие сплетни, злоба, интриги — все это от зависти. Вы же не завидуйте, утешьте меня, а я буду с вами, и сколько можно мне будет, буду молить Господа о помощи вам.

И еще — не осуждайте, не судите старших себя, не пересуживайте, старайтесь покрывать грех и не замечать его. Говорите себе: «Кто я, чтобы судить, и знаю ли я внутренние побуждения, чтобы осуждать?» Осуждение рождается большей частью из зависти и есть мерзость. Воздавайте каждому должное почтение, не заискивайте, не унижайтесь, но и не судите дел, которые вам не вручены Богом. Смотрите на свое собственное дело, старайтесь сделать его возможно лучше, и делайте все, что делаете, не для других, а для себя самих, для своей души, стараясь из всего извлечь себе пользу, назидание, питание души, чтобы ни одна минута вашей жизни не утекала мимо вас без значения и содержания.

*Москва. 1921. III. 19 — 20. Ночь  
у В. И. Лисева.*

†

*Суббота под воскресенье*

12. Милые мои детки, тоскует мое сердце по вас. Когда вы вырастаете, то узнаете, как тоскует отцовское и материнское сердце по детям. И тоскует оно по моей бедной маме, которая сидит одинокая и к которой нет сил приблизиться внутренне. Много-много хочется написать мне вам. Приходят вереницы мыслей и чувств, но нет ни времени, ни сил записывать. Вот одно, что особенно настойчиво просит к записи:

Привыкайте, приучайте себя все, чтобы ни делали вы, делать отчетливо, с изяществом, расчлененно; не смазывайте своей деятельности, не делайте ничего безвкусно, кое-как. Помните, в «кое-как» можно потерять всю жизнь, и напротив, в отчетливом, ритмическом делании даже вещей и дел не первой важности можно открыть для себя многое, что послужит вам впоследствии самым глубоким, м[ожет] б[ыть], источником нового творчества. Почему-то в этом отношении я спокоен за Олечку и отчасти за Киру и более всего опасаясь, что мой первенчик Васенька оплошает и будет жить спустя рукава. Дай Господи, чтобы это было не так. Но опасаясь, что Вася выйдет в своего дядю Шуру.

И еще.

Кто делает кое-как, тот и говорить научается кое-как, а неряшливое слово, смазанное, не прочеканенное, вовлекает в эту неотчетливость и мысль. Детки мои милые, не позволяйте себе мыслить небрежно. Мысль — Божий дар и требует ухода за собою. Быть отчетливым и отчетным в своей мысли — это залог духовной свободы и радости мысли.

*1922.VIII.14.*

Давно хочется мне записать: почаще смотрите на звезды. Когда будет на душе плохо, смотрите на звезды или на лазурь днем. Когда грустно, когда вас обидят, когда что не будет удаваться, когда придет на вас душевная буря — выйдите на воздух и останьтесь наедине с небом. Тогда душа успокоится.

*1923.III.19 ст. ст. Перед отъездом в Москву.  
Великий Понедельник*

Милое мое дитяtko Мик, ты все болеешь, не выходя из болезней и страданий. Не вини свою маму, мое родное; она страдала и страдает больше твоего — время твое мучит тебя. Да будет вовеки над тобою, мой ясный ангел, Покров Матери Божией! Знай, что мы любим тебя всею душою и плачем над тобою, мой сыночек родной. Живи на радость себе и всем, Господь да хранит тебя, дитяtko.

# СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

## РОДОСЛОВНЫЕ РОСПИСИ

### РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ КОСТРОМСКОЙ ВЕТВИ ФЛОРЕНСКИХ И РОДСТВЕННЫХ ЕЙ РОДОВ

Составлена по четырем таблицам, выполненным П. А. Флоренским: 1) «Родословие священно-церковнослужителей церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Пречистенского Погоста Костромской епархии» (1920.VIII.22 ст. ст.); 2) «Родословие нашей ветви рода Флоренских» (ок. 1911 — 1914 гг.); 3) «Родословие нашей ветви, костромской, Флоренских» (ок. 1914 — 1915 гг.); 4) «Родственные связи Ушаковых, Морозовых и Флоренских».

«Родословие священно-церковнослужителей церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Пречистенского Погоста Костромской епархии» П. А. Флоренский составил на основании клировой ведомости 1795 г.

Выписка из клировой ведомости 1795 года:

«№ 48 по порядку церквей. 1795 г. марта дня Костромской еп[архии] ведомства Юрьевецкаго дух[овнаго] Правления Надеевской округи дворцовой Коряковской волости села Пречистенскаго Погосту трехдействительной приходской церкви Рождества Богородицы священно-церковнослужителей по силе... указа Ея И[мператорскаго] В[еличества] от 23 июня 1794 г. дали с списку о написанных на последней 1782 г. ревизии священно-церковнослужителях и семействе их с показанием из этого числа разными случаями убыльных и после ревизии вновь рожденных и прибыльных по самой истине без всякой утайки, а буде потом впредь обличены явимся или по свидетельству надежну, что кого-либо утаили, но повинны положенному по указом штрафу без всякаго милосердия.

1. Диакон Афанасий Иванов (ему в 1782 г. было 50, а в 1794 г. 63 г.), у него жена Параскева Иванова (ей в

1782 г.—48 л.), Кусской вол. с. Хоробраго попова дочь. У них дочь Матрона (ей в 1782 г.—18 л.), выдана замуж в замужество за подканцеляриста Нижнего земского суда г. Юрьевца.

2.

3. Диакон Матвей Афанасьев (ему в 1782 г.—25 л., в 1794 г.—38 л.) произведен на убылое место тоя ж церкви из дьячков. У него жена Ксения Матвеевна (ей в 1782 г.—21 г., а в 1794 г.—34) тоя ж волости с. Нежитина дьяконова дочь. У них дети Андрей (ему в 1794 г.—8 л.), Мария (ей—4 г.).»

Примечание П. А. Флоренского:

«Вероятно, Флоренские нашей костромской ветви Коряковской волости. Если это так, то родословие далее должно идти так: у Андрея Матвеевича, моего прадеда, дети Надежда, Иван, Ольга, Василий; Иван Андреевич—мой дед.

Итак, под вопросом: 1) был ли Матвей Афанасьев сыном Афанасия Иванова? 2) Был ли Андрей Матвеев отцом деда моего Ивана Андреевича?

В подтверждение последнего может быть отмечено, что в с. Борисоглебском ни Андрея Матвеева, ни Матвея в качестве духовных по ревизии в 1752 и 1794 гг. не значится, т. е., значит, они были в Борисоглебском людьми пришлыми. Вероятно, Андрей Матвеев взял кого-ниб[удь] в с. Борисоглебском с местом».

### ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

1. Иоанн (кон. XVII в.—нач. XVIII в.). Дети № 2.

### ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

2. Афанасий Иванов, диакон (р. 1732, † ок. 1794). «В 1794 г. еще жив, но, вероятно, в этом же году умер (?). Диакон ц[еркви] в с[еле] Пречистенском Погосте Коряковской волости Надевской округи» ... 1 \*

Жена. Параскева Иванова (р. 1734). «Дочь священника с. Хороброго Кусской волости». Дети №№ 3, 4.

### ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

3. Матвей Афанасьев, диакон (р. 1757). «Дьячок

\* Здесь и далее подобными цифрами указывается № отца потомков по мужской линии. (Примеч. составителей.)



- ц[еркви] в с[еле] Пречистенский Погост; в 1794 г. при той же ц[еркви] значится диаконом на убылом месте, вероятно, своего отца» ..... 2
- Жена. Ксения Матвеева (р. 1761). «Дочь диакона с[ела] Нежитина Коряковской волости Надеевской округи». Дети №№ 5, 6.
4. Матрона Афанасьева (р. 1764)..... 2
- Муж. «Подканцелярист Нижнего земского суда г. Юрьевца».

#### ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

5. Андрей Матвеевич, дьячок (р. 1786, † ок. 1826 — 1829). «Дьячок Христорожественской церкви села Борисоглебского Костромской губ[ернии] Макарьевск[ого] у[езда]» ..... 3
- Жена. Васса Тимофеевна (р. 1791, † 3 декабря 1850). «С 1838 г. живет у своего зятя диакона на погосте Пречистенском в 5 в[ерстах] от Борисоглебского. † 3 декабря 1850 г. от старости, погребена 7 декабря свящ[енником] Арк[адием] Ив[ановичем] Белоруковым и прислуживавшим дьячком Евгением Гроздьевым». Дети №№ 7, 8, 9, 10.
6. Мария Матвеевна (р. 1790) ..... 3

#### ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

7. Надежда Андреевна (р. 1813, † 1851). Вышла замуж в «1830 (или в конце 1829 г.) году, ибо в 1829 г. она упоминается при † матери, отца в 1830 г. уже нет. Детей не было»..... 5
- Муж. Климент Макарьевич Георгиевский, диакон (р. 1807). «Диакон села Пречистенский погост Макарьевского у[езда] Костромской губ[ернии]».
8. Иоанн Андреевич Флоренский (р. (?) сентября 1815, † 11 ноября 1866). «День Ангела — 23 сент[ября], на зачатие Иоанна Крестителя». «В 1829 г. за ним оставлено дьячковское место в ц[еркви] Христорожественской села Борисоглебского». «В 1829 г. обучается в высшем отд[елении] Луховского уездн[ого] уч[илища]». «В 1834 г. обучается на высшем отд[елении] Костромской сем[инарии]». «Окончил семинарию Костромскую в 1836 г.». «В 1836 г. поступил в Московскую медико-хирург[ическую] Академию» ... 5

Жена 1. Анфиса Уаровна Соловьева (р. 30 марта 18 (?), † 7 ноября 1850, в Ямполе). «День Ангела 27 июля». См. также родословную роспись Соловьевых. Дети №№ 11, 12, 13, 14.

Жена 2. Елизавета Владимировна Ушакова (р. 1830, † 9 июня 1911). «Имянины 5 сент[ября]». Вступила в брак с И. А. Флоренским 24 августа 1854 г. Скончалась «в Москве, в ночь, погребена в Алексеевском м[онасты]ре». См. также родословную роспись Ушаковых. Дети №№ 15, 16, 17, 18, 19.

9. Ольга Андреевна (р. 1821). «В 1834 за ней оставлено дьячковское место в Христорожд[ественской] ц[еркви] села Борисоглебского» ..... 5

10. Василий Андреев (р. 1825). «Не он ли окончил семинарию (Вас. Андр. Фл.) Костромскую в 1846 г. по перв[ому] разр[яду] (?). В 1834 обучается в Костр[омском] Дух[овном] уч[илище]» ..... 5

### ШЕСТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

11. Екатерина Ивановна Флоренская (р. 29 апреля 1845, «в 5 часов утра, † в январе, 1—3-го 1860 года или в сам[ом] конце дек[абря] 1859»). «День Ангела 24 ноября» ..... 8

12. Виктор Иванович Флоренский (р. 1846) ..... 8

13. Юлия Ивановна Флоренская (р. 24 июня 1848, † 20 мая 1894). Родилась «в 3 часа пополуночи, т. е. в ночь с 23-е на 24-е. 16 июля день ее Ангела». Любимая тетка П. А. Флоренского, которая оказала большое влияние на него в детстве ..... 8

14. Александр Иванович Флоренский (р. 30 сентября 1850, † 22 января 1908). Родился «в 10 ч[асов] пополудни, в субботу под воскресенье». «22 октября день Ангела (по записи деда), а праздновался 23 ноября». Учился во Владикавказской классической гимназии, перевелся в 1-ю Тифлисскую. В 1880 году окончил институт инженеров путей сообщения. К 1908 году — помощник начальника Кавказского округа путей сообщения, действительный статский советник, 4-й класс ..... 8

Жена. Ольга (Саломия) Павловна Сапарова (р. 25 марта 1859, † 30 октября 1951). Вступила в брак с А. И. Флоренским 20 августа 1880 г. См. также родословную роспись Сапаровых. Дети №№ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

15. Варвара Ивановна Флоренская ..... 8  
 Муж. Понафидин. Дети №№ 27, 28.
16. Лидия Ивановна Флоренская ..... 8
17. Зинаида Ивановна Флоренская (р. ок. 1862).  
 После кончины сестры Людмилы Ивановны Флоренской († 10 декабря 1903) вступила в брак с ее мужем И. А. Струковским ..... 8
18. Людмила Ивановна Флоренская (р. 27 октября 1864, † 10 декабря 1903). Фельдшерница ..... 8  
 Муж. Иван Анастасиевич Струковский (р. 1 июня 1866). «Минск[ой] губ[ернии] Минск[ого] у[езда] с[ела] Прилуки, сын священника». Чиновник особых поручений Переселенческого управления; земский начальник в Минской губернии. Дети №№ 29, 30. После смерти Людмилы Ивановны Флоренской-Струковской вступил во второй брак с ее родной сестрой З. И. Флоренской.
19. Владимир Иванович Флоренский (р. 5 сентября (?), † 8 октября 1917) ..... 8  
 Жена. Евгения Андреевна Лучкова. Дети № 31.

#### СЕДЬМОЕ ПОКОЛЕНИЕ

20. Павел Александрович Флоренский, священник (р. 9 января 1882, † расстрелян 8 декабря 1937). «Имянины 29 июня». Родился «среда, вечером, часов около 7». Ниже приписано красными чернилами: «В субботу (под воскресенье)». Подобные приписки у отца, Александра Ивановича, и у сына, Василия Павловича, Флоренских. П. А. Флоренский видел в этом символический знак преемственности ..... 14  
 Жена. Анна Михайловна Гиацинтова (р. 31 января 1883, † 18 марта 1973). Родилась «к вечеру, часов в 5. Имянины 2 февраля». Ее отец был из крестьян, управляющий в селе Кутловы Борки Сапожковского уезда Рязанской губернии. Вступила в брак с П. А. Флоренским 25 августа 1910 г. Дети №№ 32, 33, 34, 35, 36. См. о ней: *Игумен Андроник (Трубацев)*. «Голубка бедная моя...» // Литературный Иркутск. 1989. Октябрь. С. 14 — 15.
21. Юлия Александровна Флоренская (р. 1 июля 1884, † 27 сентября 1947). «Родилась в 8 часов утра, воскресенье. Имян[ины] 16 июля». Врач-психиатр. Имела печатные труды. Скончалась от инсульта (упала на улице, сутки или двое была в больнице) ..... 14

Муж. Михаил Михайлович Асатиани. Врач-психиатр. Разошелся с Ю. А. Флоренской. Дети № 37.

22. Елизавета Александровна Флоренская (р. 7 мая 1886, † 16 февраля 1959). Родилась «в четверг». Художница, педагог .....

14

Муж. Георгий Григорьевич Кониев (Кониашвили) (р. 4 апреля 1883, † 11 марта 1967). Дети № 38. Отец Г. Г. Кониева — Григорий Безантович Кониев, мать — Варвара Иосифовна Дегаташвили. Во время первой мировой войны на русско-турецком фронте брат его, «капитан Александр Григорьевич Кониев первый вошел со своими дружинами в Эрзерум. Удостоен передачи ордена св. Георгия 4-й степени из собственных рук его императорского величества» (Наши герои // Искры. Иллюстрированный художественно-литературный журнал. 1916. 6 марта. № 11. С. 8. Там же помещена его фотография). От второго брака Г. Г. Кониашвили имел детей: Александр, Константин, Иван, Михаил, Елена, Анна, Тамара.

23. Александр Александрович Флоренский (р. 7 марта 1888, † 1937 (?)). Родился «ночью (?)». «Им[янины] 23 ноября». Геолог-минералог, искусствовед. Среди его воспитанников — геолог Е. К. Устиев. Репрессирован. Скончался в концлагере в Магаданском крае. В некоторых мемуарах, посвященных «лагерной теме», А. А. Флоренского путают с П. А. Флоренским (см.: Савченко Б. А. Колымские мизансцены. М., 1989. С. 11) .....

14

24. Ольга Александровна Флоренская (р. 19 февраля 1890, † 2 октября 1914). Родилась «ночью, к утру. Имянины 11 июля». В семье ее звали «Валя». Художница, поэтесса. Некоторое время в ранней юности была близка к кругу Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, затем под влиянием П. А. Флоренского отошла от них .....

14

Муж. Сергей Семенович Троицкий (р. 8 августа 1881, † 2 октября 1910). Родился «в 5 часов утра в субботу». Сын священника церкви в честь Воскресения Словоущего в с. Толпыгине Нерехтского уезда Костромской губернии. В 1903 г. поступил в Московскую духовную академию, здесь познакомился с П. А. Флоренским и стал одним из самых ближайших его друзей. «Письма к Другу», из которых состоит книга священника Павла Флоренского «Столп и утвержде-

ние Истины» (М., 1914), были обращены именно к Троицкому. С 3-го курса (осень 1905 г.) Троицкий жил в Московской духовной академии в одной комнате с Флоренским. Был секретарем студенческого философского кружка. В мае 1907 г. окончил Московскую духовную академию и был назначен преподавателем русского языка в 1-ю тифлисскую гимназию. 6 июля 1909 г. вступил в брак с сестрой П. А. Флоренского Ольгой. 2 октября 1910 г. С. С. Троицкий был убит. Его зарезал психически ненормальный ученик 5-го класса, 17-летний Шалва Тавдгеридзе, который по постановлению педагога был исключен из гимназии за хроническую неуспеваемость. Убийство учителя явилось своеобразной мстостью на почве национальной вражды (см.: Сборник, посвященный памяти С. С. Троицкого. Тифлис, 1912).

25. Раиса Александровна Флоренская (р. 16 апреля 1894, † 5 сентября 1932). Родилась «в 3 или 4 часа дня. Имя[ины] 5 сент[ября]. В семье ее звали «Госька» или «Гося». Художница, училась во Вхутемасе, в 1922 г. вошла в литературно-художественное объединение «Маковец». Скончалась от туберкулезного менингита в г. Загорске. Могила на заброшенном Кокуевском кладбище. См.: Каталог выставки «Автопортрет в русском и советском искусстве». Государственная Третьяковская галерея. М., 1977; *Трубачева М.* Из наследия Р. Флоренской // Московский художник. 1981. 23 октября. № 43. С. 4; Декоративное искусство. 1982. № 3; *Иеромонах Андроник (Трубачев)*. Вечер в Московской Духовной Академии // Журнал Московской Патриархии. 1984. № 5. С. 27; *Ковтун Е.* Раиса Флоренская. Живопись, графика (буклет выставки). Л., 1986; П. А. Флоренский и Р. А. Флоренская во Вхутемасе и «Маковце»: Каталог выставки. М., 1989

14

26. Андрей Александрович Флоренский (р. 1 декабря 1899, † 14 июля 1961). Родился «рано утром, после восх[ода] солнца. Имя[ины] 30 ноября». Военный морской инженер. Скончался «от сердца» в больнице. См. о нем: Оружие победы. 2-е изд. М., 1987 (глава II «Морская артиллерия»; портрет на с. 93) .....

14

Жена. Антонина Александровна Григорьева (р. 27 сентября 1903, † 7 сентября 1979). Дети №№ 39, 40, 41.

27. Татиана Понафидина, дочь В. И. Флоренской (15) и Понафидина.

28. Ксения Понафидина, дочь В. И. Флоренской (15) и Понафидина.

29. Стефан Иванович Струковский (р. 1 ноября 1899), сын Л. И. Флоренской (18) и И. А. Струковского.

30. Владимир Иванович Струковский (р. 21 января 1901), сын Л. И. Флоренской (18) и И. А. Струковского. «Скульптор».

31. Елена Владимировна Флоренская (р. 21 апреля 1900) .....

19

### ВОСЬМОЕ ПОКОЛЕНИЕ

32. Василий Павлович Флоренский (р. 21 мая 1911, † 5 апреля 1956). Родился в «4 ч. 20 м. вечера, в субботу под воскрес[енье]. Имя[ины] 30 января». Доцент Московского нефтяного института имени И. М. Губкина, геолог .....

20

Жена. Наталия Ивановна Зарубина (р. 15 сентября 1909). Дети №№ 42, 43, 44, 45, 46.

33. Кирилл Павлович Флоренский (р. 14 декабря 1915, † 9 апреля 1982). Родился «в 12 ч. 21 м. пополудни, в понедельник. Имя[ины] 11 мая». Ученик В. И. Вернадского, геохимик, исследователь Тунгусского метеорита, один из основателей сравнительной планетологии. Его именем назван кратер на обратной стороне Луны. Много работал в области охраны памятников. Публикатор трудов В. И. Вернадского и П. А. Флоренского. См. о нем: Памяти К. П. Флоренского // Геохимия. 1982. № 8. С. 1214 — 1215; К. П. Флоренский (1915 — 1982) // Историко-астрономические исследования. Вып. 20. М., 1988. С. 227 — 309 .....

20

Жена. Зинаида Сергеевна Кейвсар (24 октября 1916, † 6 октября 1989). Биолог. Дети № 47, 48, 49.

34. Ольга Павловна Флоренская (р. 21 февраля 1918). Родилась в «3 ч. 55 — 57 мин[ут] утра, в четверг. Имя[ины] 11 июля». Ботаник .....

20

Муж. Сергей Зосимович Трубачев (р. 26 марта 1919). Сын протоиерея Зосимы Васильевича Трубачева (р. 24 декабря 1893, † 26 февраля 1938), ученика П. А. Флоренского, по Московской духовной академии, и Клавдии Георгиевны Санковой (р. 5 ноября 1899, † 2 ноября 1982). Их брак венчал отец Павел Флоренский. Заслуженный деятель искусств Карельской АССР. Дирижер, церковный композитор. Автор ряда работ о П. А. Флоренском: Музыкальный

мир П. А. Флоренского // Советская музыка. 1988. № 8. С. 81 — 99; № 9. С. 99 — 103; «Только в Моцарте... защита от бурь». П. А. Флоренский и М. В. Юдина // Музыкальная жизнь. 1989. № 13. С. 23 — 26; № 14. С. 19 — 21. Дети №№ 50, 51, 52.

35. Михаил Павлович Флоренский (р. 26 октября 1921, † 14 июля 1967). Геолог, специалист в области бурения скважин. Погиб на Камчатке ..... 20

Жена. Евгения Ивановна Лапина (р. 30 ноября 1921). Дети №№ 53, 54.

36. Мария-Тинатин Павловна Флоренская (р. 11 октября 1924). Химик ..... 20

37. Александра Михайловна Асатиани (р. 1910, † 1911), дочь Ю. А. Флоренской (21) и М. М. Асатиани. В семье ее звали «Шурка», «Аля». Скончалась «от брюшного тифа». «Имян[ины] 23 апреля».

38. Ольга Георгиевна Кониева (Кониашвили) (р. 2 ноября 1913), дочь Е. А. Флоренской (22) и Г. Г. Кониева.

Муж 1. Дидим Варламович Махарадзе (р. ок. 1908). Дети № 55.

Муж 2. Давид Николаевич Иванишвили (р. 3 мая 1908, † 10 октября 1985). Дети № 56.

39. Александр Андреевич Флоренский (р. 11 сентября 1926, † 1 мая 1957). Скончался от астмы. У него был приемный сын ..... 26

40. Леонид Андреевич Флоренский (р. 18 августа 1933) ..... 26

Жена. Донара Николаевна Смокотина (р. 23 марта 1934). Воспитана в детском доме. Имя — сокращение «дочь народа». Дети № 57.

41. Наталия Андреевна Флоренская (р. 12 сентября 1939) ..... 26

Муж 1. Олег Иванович Кузнецов (р. 1936). Дети № 58.

Муж 2. Геннадий Григорьевич Никеев (р. 17 июля 1934). Дети № 59.

### ДЕВЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

42. Павел Васильевич Флоренский (р. 7 июня 1936). Доктор геолого-минералогических наук, доцент Московского нефтяного института имени И. М. Губкина. Работает в области охраны памятников культуры и экологии. Публикатор и исследователь творчества П. А. Флоренского ..... 32

43. Иван Васильевич Флоренский (р. 30 ноября 1937). Геолог ..... 32
44. Наталия Васильевна Флоренская (р. 1939, † 1939)..... 32
45. Татьяна Васильевна Флоренская (р. 11 сентября 1940). Геолог ..... 32
46. Мария Васильевна Флоренская (р. 19 марта 1942). Геолог ..... 32
47. Кира Кирилловна Флоренская (р. 29 декабря 1941). Биолог ..... 33
48. Владимир Кириллович Флоренский (р. 6 января 1947). Геолог ..... 33
49. Александр Кириллович Флоренский (р. 5 декабря 1948). Геолог ..... 33
50. Ольга Сергеевна Трубачева (р. 15 июня 1947), дочь О. П. Флоренской (34) и С. З. Трубачева. Музыкальный педагог (фортепиано).
51. Мария Сергеевна Трубачева (р. 1 июля 1951), дочь О. П. Флоренской (34) и С. З. Трубачева. Искусствовед.
52. Александр Сергеевич Трубачев (р. 7 ноября 1952), сын О. П. Флоренской (34) и С. З. Трубачева: В монашестве Андроник (1981), иеродиакон (1981), иеромонах (1982), игумен (1986). Историк-архивист (1975), кандидат богословия (1984), доцент Московской духовной академии (1989). Насельник Троице-Сергиевой лавры. Наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря (с 1990). Исследователь и публикатор творчества П. А. Флоренского.
53. Юлия Михайловна Флоренская (р. 23 августа 1947). Врач ..... 35
54. Елена Михайловна Флоренская (р. 29 октября 1952). Врач ..... 35
55. Ирина Дидимовна Махарадзе (р. 27 января 1931), дочь О. Г. Кониевой (38) и Д. Махарадзе.
56. Марина Давидовна Иванишвили (р. 17 мая 1962), дочь О. Г. Кониевой (38) и Д. Н. Иванишвили. Скульптор.
57. Мария Леонидовна Флоренская (р. 6 августа 1958). ..... 40
58. Александр Олегович Флоренский (фамилия по матери) (р. 6 октября 1960), сын Н. А. Флоренской (41) и О. И. Кузнецова. Художник.
59. Анна Геннадиевна Никеева (р. 6 февраля 1974), дочь Н. А. Флоренской (41) и Г. Г. Никеева.



## РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ СОЛОВЬЕВЫХ

За основу взяты таблицы «Соловьевы» и «Родословие моей бабушки Анфисы», составленные П. А. Флоренским около 1915—1916 годов.

### ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

1. Уар Ефимович Соловьев. Врач, жил в Москве. По семейному преданию, был незаконным сыном графа Разумовского, но какого — уточнить не удастся. В каком родственном отношении к У. Е. Соловьеву был некий Соловьев, служивший в 1812 году во 2-м Егерском полку, П. А. Флоренскому установить не удалось (см. Предисловие к родословной росписи Ивановых).

Жена Екатерина Афанасьевна Иванова († 1841 (?). Клинская дворянка. Ее отец — Афанасий Иванович Иванов († 10 марта 1840), дед — Иоанн Иванов (см. о них в родословной росписи Ивановых). Дети №№ 2, 3, 4, 5.

### ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

2. Николай Уарович Соловьев. «В 1832 г. поступил в Московский Университет с большим успехом. Товарищ И. С. Тургенева»..... 1

3. Дмитрий Уарович Соловьев ..... 1

4. Конкордий Уарович Соловьев († 1857 (?). «В 1834 г. поступил в Московский Университет сторонним слушателем. Товарищ Ив[ана] Андр[еевича] Флоренского, † 1857 (?). По Кавказскому Календарю за 1857 г. — он коллежск[ий] ас[ессор], главный лекарь военно-временного госпиталя Средне-Егорлыцкого»... 1

5. Анфиса Уаровна Соловьева (р. 30 марта, † 7 ноября 1850 в Ямполе). ..... 1

Муж. Иван Андреевич Флоренский (р. 15(?) сентября 1815, † 11 ноября 1866). Это был его первый брак, от которого родился сын Александр Иванович Флоренский (р. 30 сентября 1850, † 22 января 1908) (см. родословие Флоренских).

## РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ УШАКОВЫХ И РОДСТВЕННЫХ ИМ РОДОВ

Составлена по таблицам, выполненным П. А. Флоренским: «Родственные связи Ушаковых, Морозовых и Флоренских (1915—1924, см. родословную роспись Морозовых); а также родословным графов Орловых, Орловых-Давыдовых, Новосильцевых, Ушаковых.

### ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

1. Иван Никитич Орлов (конец XVII—начало XVIII). (Иван Иванович—по Орлову-Давыдову; Биографический очерк графа Вл. Гр. Орлова. Т. 1. СПб., 1878. С. 7). «Начал службу в стрелцком войске, потом находился в войсках Петра Великого и оставил двух сыновей: Никиту и Григория». (*Долгоруков П.* Российская родословная книга... Ч. 4. СПб., 1857. С. 437). Дети № 2.

### ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

2. Григорий Иванович Орлов (конец XVII—начало XVIII), второй сын И. Н. Орлова. «Генерал-майор и новгородский губернатор, женат был на Лукерии Ивановне Зиновьевой и оставил пять сыновей, возведенных в день коронавания императрицы Екатерины, 22 сентября 1762 года, в графское Российской империи достоинство». (*Долгоруков П.* Российская родословная книга... Ч. 4. СПб., 1857. С. 437—438) ..... 1

Жена. Лукерия Ивановна Зиновьева (конец XVII—начало XVIII). «По преданию, «страдала умоповреждением». «Русский Архив», 1908, II, стр. 305. «Это, м[ожет] б[ыть], отразилось на ее сыне князе Г. Г. Орлове, на одном из ее внуков и на одном из праправнучат». (*П. Бартенева*, стр. 305, пр[им]. 1)». Оба они [т. е. Г. И. Орлов и Л. И. Зиновьева] погребены в М[оскве], в Георгиевской церкви на Малой Никитской, что и значится на большой овальной медной доске. Дети № 3.

### ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

3. Владимир Григорьевич Орлов (р. 8 июля 1743, † 28 февраля 1831). Граф с 22 сентября 1762. Генерал-поручик и директор Академии наук. Погребен в От-

раде (см.: Долгоруков П. Российская родословная книга... Ч. 4. СПб., 1857. С. 437 — 438; Письма графа В. Г. Орлова // Архив Воронцова. С. 178, 275) ..... 2  
Жена. Елизавета Ивановна Стакельберг (р. 1741, † 7 сентября 1817). Погребена в Отраде. Дети № 4.

#### ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

4. Граф Григорий Владимирович Орлов (р. 1778, † 23 июня 1826). Сенатор. «Глухой». «Горбатый». От брака с графиней А. И. Салтыковой детей не имел. (Долгоруков П. Российская родословная книга... Ч. 4. СПб., 1857. С. 437 — 438). Приписка П. А. Флоренского: «Ср. «Зап[иски] Вителя», I, 157». По предположению П. А. Флоренского, у Г. В. Орлова были незаконнорожденные дети от сожительницы, некоей Ушаковой: Владимир, Николай, Андрей (см. №№ 5, 6, 7) ..... 3  
Жена. Графиня Анна Ивановна Салтыкова (р. 1777, † 5 октября 1824). Бездетна.

#### ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

5. Владимир Иванович Ушаков (начало XIX), внебрачный сын графа Г. В. Орлова и Ушаковой. Относительно его отчества П. А. Флоренский высказал следующее предположение: «Иван — крестный отец?» ..... 4  
Жена. Матрона Александровна, по первому мужу Морозова, «девичья фамилия ее неизвестна» (см. родословную роспись Морозовых). Дети №№ 8, 9, 10, 11.  
6. Николай Иванович Ушаков (XIX) внебрачный сын графа Г. В. Орлова и Ушаковой. «Учитель рисования в Екатерининском институте». «Он друг Матроны» ..... 4  
7. Андрей Иванович Ушаков (XIX), предположительно также внебрачный сын графа Г. В. Орлова и Ушаковой. «Кол[лежский] ас[ессор], рисовальщик, учитель при Академии Художеств, из воспитанников ее, при Александре I. (Сборник имп. Русск[ого] Ист[орического] О[бществ]а, т. 62. СПб., 1888, стр. 376. Азбучн[ый] указ[атель] русских деятелей, помещенных в Биографическом Слов[аре].) Имется брат (?). Не есть ли это брат Влад. Ив. Ушакова, деда моих теток Флоренских?» ..... 4

## ШЕСТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

- |   |   |
|---|---|
| 8. Виталий Владимирович Ушаков .....  | 5 |
| Жена. «Китайка в Кяхте». Дети №№ 12, 13.  |   |
| 9. Анатолий Владимирович Ушаков .....   | 5 |
| Сожительница. Логгинова. Дети № 14.   |   |
| Жена. Баронесса Надежда де-Тейльс. Дети №№ 15, 16, 17.  |   |
| 10. Александра Владимировна Ушакова (р. 19 апреля). «Имянины 21 апреля» .....   | 5 |
| Муж. Готлиб Федорович Пекок. Дети № 18.   |   |
| 11. Елизавета Владимировна Ушакова (р. 1826, † 9 июня 1911). «24-х лет вышла замуж (24 августа 1854 г.), † 80-ти лет, в 1911 г., 9 июня в ночь. Знач[ит], род[илась] 1826» .....  | 5 |
| Муж. Иван Андреевич Флоренский (р. сентябрь 1815, † 11 ноября 1866). С Е. В. Ушаковой он вступил во 2-й брак после смерти первой жены А. У. Соловьевой († 7 ноября 1850). См. далее об их детях в родословной росписи Флоренских. |   |

## СЕДЬМОЕ ПОКОЛЕНИЕ

- |   |   |
|---|---|
| 12. Серафим (Серафима (?) Витальевич Ушаков ..  | 8 |
| 13. Валентина (Валентин (?) Витальевна Ушакова  | 8 |
| 14. ... Анатольевич Ушаков. Дети № 19 .....   | 9 |
| 15. Митрофан Анатольевич Ушаков. Женат .....  | 9 |
| 16. Лидия Анатольевна Ушакова. Была замужем. «Жила в Выгорках Симбирск[ой] губ[ернии] и в Симбирске» .....  | 9 |
| 17. Антонина Анатольевна Ушакова. Была замужем. «Жила в Выгорках Симбирск[ой] губ[ернии] и в Симбирске». Дети № 20 .....  | 9 |
| 18. Александра Готлибовна Пекок. Дочь А. В. Ушаковой (10) и Г. Ф. Пекок. «Ее звали Александриной, Алиной. Певица, гл[авным] обр[азом] в Scala в Милане. Выступала под театральн[ым] именем Alina Magini». Была замужем, имела детей в Италии. |   |

## ВОСЬМОЕ ПОКОЛЕНИЕ

- |  |     |
|--|-----|
| 19. ... .. Ушакова. Была в незаконной связи с «NN, великим князем», в браке за «каким-то князем» | 14. |
| 20. Неизвестный ребенок А. А. Ушаковой (17) († до 11 декабря 1915).                              |     |

21; 22. Неизвестные дети А. Г. Пекок (18) в Италии.

## РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ МОРОЗОВЫХ

Роспись составлена по таблице, выполненной П. А. Флоренским после 1924 года, и черновика в ней, выполненного 11 декабря 1915 года в Сергиевом Посаде. Окончательный вариант таблицы имеет заглавие: «Родственные связи Ушаковых, Морозовых и Флоренских. Составлена на основании письма З. И. Флоренской (Струковской), полученного 1915. XII. 11».

### ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

1. Иван (?) Морозов, родоначальник Морозовых. Дети № 2.

### ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

2. Марко Иванович (?) Морозов. «Об отчестве см. у Орлова-Давыдова ... гр[афа] Орлова». ..... 1  
Жена. Матрона Александровна, по первому мужу Морозова († 1834). «Девичья фамилия ее неизвестна». Скончалась, «когда Лизе было 8 лет» (т. е. Елизавете Владимировне Ушаковой). Отец Матроны Александровны — Александр. У него была также еще одна дочь «красавица», которая вышла замуж за «крестьянина». Дети №№ 3, 4, 5, 6. Вторично М. А. Морозова вышла замуж за В. И. Ушакова (см. родословную роспись Ушаковых).

### ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

3. Прасковья Марковна Морозова ..... 2  
4. Варвара Марковна Морозова. «Умерла молодой, 16-ти лет, на 17-м». ..... 2  
5. Марк Маркович Морозов. Дети №№ 7, 8, 9, 10. ..... 2  
6. Иван Маркович Морозов. «Пьяница». Дети №№ 11, 12. .... 2

### ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

7. Марина (?) Марковна Морозова. Скончалась в детстве (?). ..... 5

8. Василий Маркович Морозов. «Васенка». Скончался в детстве. ....	5
9; 10. Мещане в Серпухове. ....	5
11; 12. Мещане в Серпухове. ....	6

## РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ КЛИНСКИХ ДВОРЯН ИВАНОВЫХ

Роспись составлена по нескольким таблицам, выполненным П. А. Флоренским: 1) «Соловьевы»; 2) «Родословие моей бабушки Анфисы»; 3) «Род клинских дворян Ивановых, из которого происходила моя прабабка (1916.V.30). Таблица эта построена гипотетически: а именно, на основании отчеств (Афанасьевичи), фамилии, хронологии и указаний на Клинское дворянство и на то, что у моей прабабушки был брат «городничий в Клину», я соединяю ветви, каждая из трех из коих дана отдельно. Первая ветвь известна из сообщений Александры Владимировны Пекок, а две другие — из «Родословной книги дворянства Московской губернии, т. I, под ред. Л. М. Савелова, стр. 644 и 650 (дела о дворянстве их подняты особо — в 1824 и в 1854 гг.)».

Несоотнесенными остались упоминания в «Родословной книге...» Ивановых и Соловьевых за 1812 год, выписанные П. А. Флоренским: «1812. Ивановы. 1-й Егерский полк, 2-й Егерский полк, 4-м пехотинским... — Московского ополчения (один из них д[олжен] б[ыть] из нашей родни) (достать формуляр[ный] список в Лефортовск[ом] Моск[овском] отд[елении]».

1812. Соловьевы. 2-й Егерский полк. Соловьев (тоже)».

Следует обратить внимание также на гипотетичность происхождения художника С. В. Иванова (№ 21) от В. Н. Иванова (№ 13).

### ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

1. Иван Иванов (2-я половина XVIII) — родоначальник клинских дворян Ивановых. Дети № 2.

### ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

2. Афанасий Иванович Иванов († 10 марта 1840). Вероятно, к нему относится следующая выписка, сде-

ланная П. А. Флоренским: «Помещик Иванов жил в сельце Василёве Селинской волости, в 3-х верстах от села Селинского, в 10-ти верстах от г. Клина Клинского у[езда] Моск[овской] губ[ернии]». Погребен «Мо-сква, Ваганьково (Моск[овский] Некр[ополь]».) Дети №№ 3, 4, 5 .....

1

### ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

3. Екатерина Афанасьевна Иванова (†1841). «Клинская дворянка», прабабушка П. А. Флоренского .....

2

Муж: Уар Ефимович Соловьев. По семейному преданию, внебрачный сын одного из графов Разумовских. От брака Е. А. Ивановой и У. Е. Соловьева родились Николай, Дмитрий, Конкордий и Анфиса (†7 ноября 1850) — жена Ивана Андреевича Флоренского (р. сентябрь 1815, †11 ноября 1866). См. родословные росписи Флоренских и Соловьевых.

4. Сергей Афанасьевич Иванов (р. 1789, † до 1852). «Сергей Афанас[иевич] из двор[ян], р. 1789, в служ[бе] 1805, кол[лежский] рег[истратор] 1809, прапорщ[ик] 1812, кампания 1812, увол[ен] 1816, кол[лежский] сек[ретарь] 1818, титул[ярный] сов[етник] 1821, увол[ен] 1828, засед[атель] Клинск[ого] Земск[ого] суда 1830 — 32. Помещик Клинского у[езда] с. Василёво, 28 душ. Ж[ена] дочь тит[улярного] сов[етника] Мария Максим[овна]» — выписка П. А. Флоренского из «Родословной книги дворянства Московской губернии». Т. I. С. 644 .....

2

Жена. Мария Максимовна († после 1852). «Дочь тит[улярного] сов[етника], в 1852 г. она еще проживала в с. Василёве».

«1) Особы, проживающие в городе и селениях Клинского уезда Иванова Марья Максимовна. Тит[улярная] сов[етница] в с. Василёве (стр. 42). Указатель селений и жителей уезда Московской губернии], составлен К. Нистремом. М., 1852; (Лаврск[ая] библиот[ека] IX/5948).

2) Селения Клинского уезда. Васильёво, сельцо 1-го стана Ивановой Марьи Макс[имовны] (тит[улярная] сов[етница], проживает постоянно), крестьян 48 душ м. п. и 50 ж. п., 11 дворов, 88 верст от стол[ицы], 8 от уездн[ого] гор[ода] по Волоколамской дороге (id.,

стр. 433)»—выписка П. А. Флоренского. Дети №№ 6, 7, 8, 9, 10.

5. Николай Афанасьевич Иванов (р. 1800, † после 1866). «Николай Афанас[иевич], из двор[ян], р. 1800, в служ[бе] гардемарином 1817, лейтен[ант] 1826, кампания 1828—1829, кап[итан]-лейтен[ант] 1837, орд[ен] св[ятого] Георгия 4—1844, уволен кап[итаном] 1844. Ж[ена] Надежда Федоровна, † до 1850»—выписка П. А. Флоренского из «Родословной книги дворянства Московской губернии». Т. I. С. 644. «Алфавит воен[ных] и гражд[анских] чиновников, не служащих в Москве... Иванов Николай Афанас[иевич], капитан 2-го ранга, Яуз[ская] ч[асть], 4 кв[артал], на Верхней Николо-Болван[ской] ул[ице], д[ом] Дмитриевой (стр. 47. Памятн[ая] Моск[овская] кн[ижка] на 1866 г., ч. II)»—выписки П. А. Флоренского ..... 2

Жена. Надежда Феодоровна († до 1850). Дети №№ 11, 12, 13, 14.

#### ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

6. Николай Сергеевич Иванов (р. 8 мая 1813, † после 1866). «Алфавит воен[ных] и гражд[анских] чиновников, не служащих в Москве. Иванов Николай Сергеев[ич], кол[лежский] секр[етарь], Яуз[ская] ч[асть], 5 кв[артал], в 3-м Гончарном пер[еулке] соб[ственный] дом (стр. 46. Памятная Московская книжка на 1866 г., ч. II)»—выписка П. А. Флоренского ..... 4

7. Юлия Сергеевна Иванова (р. 9 апреля 1820) ... 4

8. Августа Сергеевна Иванова (р. 29 июля 1822) ... 4

9. Александра Сергеевна Иванова (р. ок. 1822—1827) ..... 4

10. Иван Сергеевич Иванов (р. в апреле 1827), «мир[овой] судья в Клинск[ом] у[езде]».

«Иван Серг[еевич], р. в апр[еле] 1827, в служ[бе] 1847, прапорщ[ик] 1849. Венгерск[ая] кампания 1849, штаб[ной] капитан 1853, уездный судья Клинского у[езда] 1862—1868, участковый мировой судья Клинского у[езда] 1869. Ж[ена] дочь майора Евгения Касьян[овна] Любарская»—выписка П. А. Флоренского из «Родословной книги дворянства Московской губернии». Т. I. С. 644 ..... 4



Жена Евгения Касьяновна Любарская, «дочь майора». Дети №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20.

11. Иван Николаевич Иванов (р. 19 июня 1832).  
Юнкер 1850 ..... 5

12. Александра Николаевна Иванова (р. 21 августа 1835) ..... 5

13. Василий Николаевич Иванов (р. 19 января 1837). «Василий Никол[аевич], р. 19 янв[аря] 1837, в служ[бе] 1883. Участ[ник] в Крымской кампании 1854, увол[ен] подпоручик 1857. Ж[енат] с янв[аря] 1864, Агриппина Иван[овна], Валдайская помещ[ица]» — выписка П. А. Флоренского из «Родословной книги дворянства Московской губернии». Т. I. С. 650 ..... 5

Жена. Агриппина Ивановна, «валдайская помещица». Дети №№ 21, 22, 23, 24.

14. Елизавета Николаевна Иванова (р. 31 декабря 1838) ..... 5

#### ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

15. Мария Ивановна Иванова (р. 21 декабря 1860) 10

16. Елена Ивановна Иванова (р. 14 мая 1863) ..... 10

17. Николай Иванович Иванов (р. 16 марта 1865) 10

18. Касьян Иванович Иванов (р. 10 июля 1867) ... 10

19. Екатерина Ивановна Иванова (р. 6 сентября 1869) ..... 10

20. Юлия Ивановна Иванова (р. 19 сентября 1871) 10

21. Сергей Васильевич Иванов (р. 4 июня 1864, † 3 августа 1910). Родился в Рузе. Известный художник-передвижник. Включение С. В. Иванова в роспись — гипотеза П. А. Флоренского, так как в «Родословной книге дворянства Московской губернии» он не упоминается среди детей В. Н. Иванова. Не упоминается также и сестра Сергея Елизавета, о которой говорил П. А. Флоренскому М. В. Нестеров 12 июля 1917 года (замужняя, есть дети, редактировала «какой-то журнальчик»). Кроме того, даты рождения Сергея (4 июня) и ближайшей по «Родословной книге...» сестры Надежды (16 октября) также заставляют предполагать неточность каких-то фактов. Однако опровержение гипотезы П. А. Флоренского требует столь же подробной другой родословной С. В. Иванова ..... 13

Жена. София Константиновна (по сведениям П. А. Флоренского от 24.VI.1920 ст. ст.). Дети №№ 25, 26.

22. Надежда Васильевна Иванова (р. 16 октября 1864). «Пошла в актрисы» ..... 13

23. Николай Васильевич Иванов (р. 11 апреля 1866) «был владельцем имения «Михайловского» Троицкой волости Клинского уезда. Около 1915 г. продал его кн. Енгальчеву, а сам переселился в Самарскую губ[ернию], Бузулукский у[езд], где поступил в земские начальники. Кажется, там имеется у него имение. Адресовать в Бузулукский уездный Съезд. Написать ему, 1917. VI. 30. Посм[отреть] «Списки служащих по Мин[истерству] Ин[остранных] Дел», там есть по-служн[ые] списки. Ч. II» ..... 13

24. Мария Васильевна Иванова (р. 29 мая 1868) .. 13  
Приписка П. А. Флоренского в конце росписи Ивановых по «Родословной книге дворянства Московской губернии»: «(Справиться в депут[атском] Моск[овском] Собр[ании] об их адресе и о деле, есть ли оно)».

### ШЕСТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

25. Мария Сергеевна Иванова (по сведениям П. А. Флоренского от 24.VI.1920 ст. ст.). ..... 21

26. Второй ребенок С. В. Иванова (по сведениям М. В. Нестерова от 1917.VII.12). ..... 21

### РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ САПАРОВЫХ И РОДСТВЕННЫХ ИМ РОДОВ

За основу росписи взяты таблицы, составленные П. А. Флоренским: 1) «Сапаровы. 1921. IV. 1 н. ст. Москва. На основании поправок и сообщений Сони и тети Ремсо проверили эту таблицу и нашли ее верной». 2) Три черновых варианта родословной таблицы П. Г. Сапарова. Некоторые уточнения в датах и дополнительные сведения взяты из родословий других родов, отдельных записей и устных сообщений.

## ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

1. Герасим Сапаров. Дети №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7.

## ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

2. Мариам Герасимовна Сапарова ..... 1  
Муж. Арутюнов, «заведовал шелкомотальной фабрикой деда моего». Дети №№ 8, 9.
3. Богдасар Герасимович Сапаров ..... 1  
Жена. Талико Саркисовна, «она в родстве с Шавердовым сиграхским». Дети №№ 10, 11, 12.
4. Гаспар (Каспар) Герасимович Сапаров. В некоторых предварительных вариантах родословных таблиц П. А. Флоренский ошибочно считал его Паатовым, а его жену — Шавердовой ..... 1  
Жена. Екатерина Ениколопова, «сиграхская». Дети №№ 13, 14, 15, 16, 17.
5. Петр Герасимович Сапаров «† от туберкулеза». 1  
Жена. Ярова, «из туберкулезной семьи; † от туберкулеза». Дети №№ 18, 19, 20.
6. Татэла Герасимовна Сапарова, «† в Тифлисе или Сиграхе. Ее звали обычно «Мамида», т. е. тетка». 1  
Муж. Калабеков. Дети №№ 21, 22.
7. Павел Герасимович Сапаров (р. 1820, † 20 мая 1878). Дату его смерти П. А. Флоренский выяснил, вероятно, лишь в начале 20-х годов. До этого он считал, что П. Г. Сапаров скончался в мае или в июне 1880 года. П. Г. Сапаров родился, «вероятно, в Сиграхе. Сперва жил в Сиграхе, а приблизительно в 1864 году (когда маме было лет 5) переехал в Тифлис». «Погребен в Тифлисе, на Ходживанском кладбище, не очень далеко от церкви, направо от входа» ..... 1  
Жена. София Григорьевна Паатова († 16 января 1866). Скончалась, «когда матери моей было 7 лет, а тете Соне было 5 дней или 2 недели». Дети №№ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

## ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

8. Григорий Арутюнов, сын М. Г. Сапаровой (2) и Арутюнова.
9. Артем Арутюнов, сын М. Г. Сапаровой (2) и Арутюнова. Дети № 31.

10. Иван Богдасарович Сапаров († 1912), «убит в 1912 г. в с. Карагаче садовником. Много незаконных детей, женат не был (он жил с женою садовника)». ... 3
11. Евгения Богдасаровна Сапарова ..... 3  
 Муж. Карганов, «чиновник суд[ейский (?)], детей не было».
12. Тамара Богдасаровна Сапарова, «незамужняя; хромая; учительница» ..... 3
13. Мака Гаспаровна Сапарова ..... 4  
 Муж. Георгий Григорьевич Амбарданов. Дети №№ 32, 33.
14. Мария Гаспаровна Сапарова ..... 4  
 Муж. Маркарьян, «нотариус в Нухе».  
 «Н. Е. Румянцев. Труды первого Всероссийского съезда по экспериментальной педагогике в С[анкт]-Петербурге с 26 по 31 декабря 1910 г. Изд. бюро съезда. 1911. СПб. Ц. 2 р.  
 Члены съезда: Маркарьянц, студ[ент] Лейпц[игского] унив[ерситета] (стр. 562).  
 Маркарьянц В. К., докт[ор] медиц[ины] (стр. 562).  
 Делегированы на съезд: от Лейпцигского института экспериментальной педагогики Т. К. Маркарьянц (стр. 3).  
 Стр. 9: его приветствие от имени Меймана и Вундта и проч.  
 Стр. 163—4: его возражения проф. А. Ф. Лазуревскому и стр. 171: ответ ему П. О. Эфрусси.  
 Стр. 292—301: Доклад его «Работоспособность взрослых и детей в различные часы дня». Стр. 301—307; прения по докладу. Стр. 310—311: его замечания о практич[еской] полезности эксперимент[альных] работ—выписка П. А. Флоренского.
15. Нина Гаспаровна Сапарова ..... 4  
 Муж. Николай Алексеевич Шадинов. В одной из черновых записей между 20.IX.1916 и 1.IV.1921 указывается, что «все дети умерли от туберкулеза». См. родословную роспись Шадиновых.
16. София Гаспаровна Сапарова ..... 4  
 Муж. Князь Черкезов. Дети №№ 34, 35, 36.
17. Александр Гаспарович Сапаров. «Сандро». «Его очень баловали, на спине носили в школу, вышел он взбалмошный». Был женат. Дети № 37 ..... 4
18. Николай Петрович Сапаров. «† убит». «Он

- был ревнив. Она [жена Меликова] подослала убийцу, его нашли на берегу Куры убитым кинжалом». ..... 5
- Жена. Меликова «артистка». Дети № 38.
19. Михаил Петрович Сапаров ..... 5
- Жена. Мария Мириманова. Дети №№ 39, 40.
20. Дария Петровна Сапарова. «† от туберкулеза». 5
- Муж. Вахтанг Джалалов, «землемер».
21. Мелик Калабеков (†), сын Т. Г. Сапаровой (6) и Калабекова.
22. Нина Калабекова, дочь Т. Г. Сапаровой (6) и Калабекова. «Нино».
23. Анна Павловна Сапарова (р. до 1845). Скончалась «рано, маленькой. Когда моей матери было 7 лет (1866 г.), ее уже не было в живых» ..... 7
24. Герасим Павлович Сапаров (р. 1845, † 14 ноября 1869). Холостой. Жил за границей. «Простудился на пароходе. Его выслали из Марселя как больного». Скончался за границей от туберкулеза легких на 24-м году от рождения ..... 7
25. Елизавета Павловна Сапарова (р. 23 июня 1854, † 22 ноября 1919). Вышла замуж за С. Т. Мелик-Беглярова в 1871 году. Кончину ее П. А. Флоренский сначала датировал как «† в ноябре 1920 г. в Киеве», а впоследствии уточнил дату на 22.XI.1919. В ноябре 1920 года в Киеве скончался муж Р. П. Сапаровой (29) Л. В. Коновалов. Может быть, Е. П. Сапарова и Л. В. Коновалов были в Киеве вместе, тогда дату смерти Л. В. Коновалова следовало бы перенести на ноябрь 1919 года ..... 7
- Муж. Сергей Теймуразович Мелик-Бегляров († 10 февраля 1905). См. далее о детях в родословной росписи Мелик-Бегляровых.
26. Аркадий Павлович Сапаров (р. ок. 1854 — 1859, † до 1921). «Аршак». Скончался в Астрахани ..... 7
- Жена. Барвара Александровна Майпариани. «Имеритинка из села Багдад». Дети №№ 41, 42, 43, 44, 45, 46.
27. Ольга Павловна Сапарова (р. 25 марта 1859, † 30 октября 1951) ..... 7
- Муж. Александр Иванович Флоренский (р. 30 сентября 1850, † 22 января 1908). См. далее о детях в родословной росписи Флоренских.

28. Варвара Павловна Сапарова (р. 1861, †11(?) апреля 1891). В первом браке была замужем за С. Ф. Чрелаевым, «с ним она разошлась и была в незаконном браке с Шио Давидовичем (...)». Скончалась В. П. Сапарова «от туберкулеза, хоронили ее в вербное воскресенье». Вербное воскресенье в 1891 г.— 14 апреля. «Погребена рядом с отцом («дочь Павла Сапарова»).

Муж 1. Стефан Федорович Чрелаев († январь 1917). Скончался С. Ф. Чрелаев «в янв[аре] 1917 г. от разрыва сердца». Дети №№ 47, 48.

Муж 2. Шио Давидович. Дети № 49.

29. Репсимия Павловна Сапарова (р. 29 июня 1865, † ранее 30-х гг.). Ее звали также «Репсимэ», «Ремсо тетя» ..... 7

Муж 1. Тавризоз, «у него была также жена», «умер очень скоро после брака».

Муж 2. Коновалов Леонид Григорьевич († ноябрь 1920). «Он был уже дважды женат; первую женою его была Левандовская, сестра директора частной гимназии Левандовского». Скончался «в ноябре 1920 г. в Киеве, расстрелян, генерал». Предположения о кончине его в 1919 году см. в сведениях о Е. П. Сапаровой (25).

30. София Павловна Сапарова (р. 6 января 1866, † 1939). «Родилась «с 5 на 6». «Чахоточная». Погребена на Ваганьковском кладбище ..... 7

Муж. Николай Ростомович (Романович) Карамьян (Карамьян) († 1930). «Деловой список в члены Национального Комитета Московской Армянской Колонии, рекомендуемой беспартийной группой, стоящей исключительно на платформе реальной политики защиты национальных интересов [27 мая/9 июня 1918 года]. ...18 Карамьян Николай Ростомович». Погребен на Ваганьковском кладбище. Дети №№ 50, 51, 52.

#### ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

31. Александр Артемович Арутюнов, сын А. А. Арутюнова (9).

32. София Григорьевна Амбарданова, дочь М. Г. Сапаровой (13) и Г. Г. Амбарданова.

Муж. Аполлон Сулоцкий, «казачий офицер». Дети №№ 53, 54, 55, 56.

33. Константин Григорьевич Амбарданов, сын М. Г. Сапаровой (13) и Г. Г. Амбарданова.
34. Маргарита Черкезова, дочь С. Г. Сапаровой (16) и князя Черкезова.
35. Георгий Черкезов, сын С. Г. Сапаровой (16) и князя Черкезова.
36. Дагмара Черкезова, дочь С. Г. Сапаровой (16) и князя Черкезова.
37. ... Александровна Сапарова ..... 17
38. ... Николаевна Сапарова ..... 18
39. ... Михайловна Сапарова. Замужем за «казачьим офицером в Сибири» ..... 19
40. ... Михайловна Сапарова. .... 19
41. Елена Аркадьевна Сапарова. Вышла замуж за рабочего, «полугрузин, полурусский». .... 26
42. Тамара Аркадьевна Сапарова. Дети № 57. .... 26
- Муж 1. Иван Константинович Джапаридзе.
- Муж 2. Лев Эмилиевич Арманд. «Полуполяк, полужанцуз». Известная революционерка «Инесса Арманд — жена двоюродного брата Льва Эмилиевича Арманд, мужа Тамары». В материалах П. А. Флоренского есть вырезки: сообщение о похоронах И. Арманд: Коммунистический труд, 1920. 12 сентября. № 168; статья к 10-летию со дня смерти: *Крупская Н.* Инесса Арманд // Правда. 1930. 24 сентября. № 264/4709.
43. Нина Аркадьевна Сапарова. Скончалась до начала 20-х годов «от туберкулеза». .... 26
44. Павел Аркадьевич Сапаров. Был женат. Дети № № 58, 59. .... 26
45. Екатерина Аркадьевна Сапарова († 1916). «Ляля». Скончалась «от туберкулеза». .... 26
46. Мария Аркадьевна Сапарова. «Маруся». «Психическая больная». .... 26
47. София Степановна Чрелаева, дочь В. П. Сапаровой (28) и С. Ф. Чрелаева. «Соня. Ее крестная — Соня тетя. Ее отдали к бабушке М. М. Асатиани — и она (...) — от этой бабушки убежала («) Соне тете ... (...)»
48. Александр Степанович Чрелаев, сын В. П. Сапаровой (28) и С. Ф. Чрелаева. «Сандро. Двоюродный брат М. М. Асатиани».
49. Василий Шиевич... — сын В. П. Сапаровой (28) и Шие Давидовича, «Васико».

50. Хамаек Николаевич Карамян (р. 1891, † ок. 1937 — 1939), сын С. П. Сапаровой (30) и Н. Р. Карамяна. «Хамо». В 1922 году женился на Л. М. Лернер. Репрессирован, скончался в лагере. Когда умирала его мать, С. П. Сапарова (30), ей для успокоения сказали, что ее сына, Х. Н. Карамяна, выпустили, и он едет домой.

Жена. Любовь Максимовна Лернер (р. 27 апреля 1902, † 23 февраля 1985). «Лилиш». «Семья из Тифлиса, отец еврейского происхождения, мать русская». Дети № 60.

51. Маргарита Николаевна Карамян († 19 декабря 1916), дочь С. П. Сапаровой (30) и Н. Р. Карамяна. «Грета». Скончалась «от туберкулеза в Ялте».

52. Елизавета Николаевна Карамян († 1920), дочь С. П. Сапаровой (30) и Н. Р. Карамяна. «Эльза». Скончалась «от туберкулеза».

#### ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

53. ... Аполлонович Сулоцкий, сын С. Г. Амбардановой (32) и А. М. Сулоцкого.

54. Борис Аполлонович Сулоцкий, сын С. Г. Амбардановой (32) и А. М. Сулоцкого.

55. Вера Аполлоновна Сулоцкая († до 1921), дочь С. Г. Амбардановой (32) и А. М. Сулоцкого. Скончалась «от тифа».

56. Мария Аполлоновна Сулоцкая, дочь С. Г. Амбардановой (32) и А. М. Сулоцкого. «Маруся». «Поехала на художественные курсы в Москве».

57. Ирина Львовна Арманд (р. 5 января 1916, † 29 октября 1988), дочь Т. А. Сапаровой (42) и Л. Э. Арманд.

Муж. Николай Федорович Дементьев († 1982). Отчим Е. К. Устиева, воспитанника А. А. Флоренского (см. родословную роспись Флоренских, № 23).

58. ... Павлович Сапаров ..... 44

59. ... Павлович Сапаров ..... 44

60. Константин Хамаевкович Карамян (р. 22 ноября 1925, † 6 ноября 1990), сын Х. Н. Карамяна (50) и Л. М. Лернер. Художник. Дети №№ 61, 62, 63.

Жена. Лидия Сергеевна Лапутина (р. 2 августа 1955). Дети №№ 64, 65.



## ШЕСТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

61. Алексей Константинович Карамян (р. 24 апреля 1948), сын К. Х. Карамяна (60).

62. Иван Константинович Карамян (26 апреля 1963), сын К. Х. Карамяна (60).

63. Петр Константинович Карамян (р. 14 августа 1964), сын К. Х. Карамяна (60).

64. Захар Константинович Карамян (р. 3 ноября 1978), сын К. Х. Карамяна (60) и Л. С. Лапутиной.

65. Александра Константиновна Карамян (р. 1 сентября 1985), дочь К. Х. Карамяна (60) и Л. С. Лапутиной.

### РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ ПААТОВЫХ И РОДСТВЕННЫХ ИМ РОДОВ

Составлена на основании двух таблиц, составленных П. А. Флоренским. Первая таблица — «Род бабушки моей С. Гр. Паатовой» — менее полная по родственным линиям, но в ней содержатся данные, которые вошли в роспись по лицам. Вторая таблица — наиболее выверенная: «Паатовы. Исправлено по сообщениям тети Ремсо и Сони. 1921.IV.1 н. ст. Москва. 1921.IV.1 н. ст. (III. 19 ст. ст.). Тетя Ремсо и тетя Соня проверяли эту таблицу и нашли ее «верной, дополнив тем, что написано карандашом».

### ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

1. Григорий Паатов. Вместе с женой Калинкой «жили в Сигнахе, у них там была своя усадьба». «Соня тетя дразнила их Гиго — Кало».

Жена. Калинка. Дети №№ 2, 3, 4, 5, 6.

### ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

2. Алексей Григорьевич Паатов, «старший сын». Был женат. Дети №№ 7, 8, 9 ..... 1

3. Егор Григорьевич Паатов. «Жил в Закаталах или Нухе» ..... 1

4. Иосиф Григорьевич Паатов. «Кажется, младший брат». «Жил в Сигнахе, потом в Тифлисе; занимался подрядами, разорился и застрелился» ..... 1

Жена. Наталия Осиповна. «Она сигнахская». Дети № 10.

5. Наталия Григорьевна Паатова. Ее линия в родословной, записанной в 1921 году, приписана карандашом, как тогда только выясненная ..... 1  
 Муж. Нубаров. Дети № 11.
6. София Григорьевна Паатова († 16 января 1866) 1  
 Муж. Павел Герасимович Сапаров (р. 1820, † 20 мая 1878). См. далее эту линию в родословной росписи Сапаровых.

### ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

7. Георгий Алексеевич (?) Паатов († 1905). Предположительно сын А. Г. Паатова (2). «Убит в Баку татарами». Дети № 12 ..... 2
8. Ольга Алексеевна Паатова ..... 2
9. Тамара Алексеевна Паатова ..... 2
10. София Осиповна Паатова. «Курсистка-медика в Москве» ..... 4
11. София Нубарова, дочь Н. Г. Паатовой (5) и Нубарова.  
 Муж. Александр Алиханов. Дети №№ 13, 14, 15, 16.

### ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

12. Егор Георгиевич Паатов ..... 7
13. Мария Александровна Алиханова, дочь С. Нубаровой (11) и А. Алиханова.
14. Наталия Александровна Алиханова, дочь С. Нубаровой (11) и А. Алиханова.
15. Нина Александровна Алиханова, дочь С. Нубаровой (11) и А. Алиханова.
16. Георгий Александрович Алиханов, сын С. Нубаровой (11) и А. Алиханова.

### РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ МЕЛИК-БЕГЛЯРОВЫХ И РОДСТВЕННЫХ ИМ РОДОВ

Составлена по таблицам П. А. Флоренского: 1) «Мелик-Бегляровы (1924.VI.21. Со слов Ремсо тети. Сергиевский Посад)»; 2) «Мелик-Бегляровы (со слов Сони и Ремсо тети. 1921.III)»; 3) «Мелик-Бегляровы (после 1915 г.)».

## ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

1. Бегляр. Дети №№ 2, 3, 4, 5.

## ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

2. ... Беглярович (?) Мелик-Бегляров. Дети № 6 ... 1
3. Фридон Беглярович (?) Мелик-Бегляров. Дети №№ 7, 8, 9 ..... 1
4. ... Беглярович (?) Мелик-Бегляров. Дети № 10 1
5. ... Беглярович (?) Мелик-Бегляров. Дети № 11 1

## ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

6. Шамир-хан Мелик-Бегляров, предполагаемый сын Мелик-Беглярова (2). По другой версии (менее достоверной), Шамир-хан был сыном Ф. Б. Мелик-Беглярова. Дети №№ 12, 13 ..... 2
7. Бегляр-бек Фридонович Мелик-Бегляров ..... 3  
Жена. Елизавета Карповна Хубова. «Тифлисская». Ее сестра — настоятельница армянского монастыря в Тифлисе. Дети №№ 14, 15, 16, 17, 18.
8. Фридон Фридонович Мелик-Бегляров ..... 3  
Жена. Наталия Ениколопова. «Тифлисская». Дети №№ 19, 20.
9. Теймураз-бек Фридонович Мелик-Бегляров (р. ок. 1803, † 1878 или 1879). «Подполковник русской службы». В других источниках — полковник. Его главное имение было Карачинар ..... 3  
Жена. Шавердова. «Из Сигнаха». «Родственница тети Талико». По некоторым данным — краденая персиянка, гянджинская ханша. Дети №№ 21, 22, 23.
10. Бейук-бек Мелик-Бегляров ..... 4  
Жена. Джаваира. «Карабахская армянка». Дети №№ 24, 25.
11. Александр Мелик-Бегляров. Дети №№ 26, 27, 28 ..... 5

## ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

12. Павел Шамирович Мелик-Бегляров. «Кавказский Календарь на 1846 год». Изд. 2-е. СПб., 1846. Стр. 166: «Управление Наместника Кавказского. Исполняющий должность переводчика грузинского

и армянского языка — дворянин Павел Шамирович Мелик-Бегляров». «Кавказский Календарь на 1869 год». Тифлис, 1868. Стр. 10: «Двор Е[го] И[мператорского] Выс[очества] Вел[икого] Кн[язя] Михаила Николаевича. VII кл[асс], К[нязь] Св[етлейший(?)]. Павел Шамирович Мелик-Бегляров». «Кавк[азский] Кал[ендарь] на 1874 г.». Стр. 28: «Чиновник особ[ых] поруч[ений] VI кл[асса] при Е[го] И[мператорского] В[ысочества] Наместн[ике] Кавказск[ом] в Бакинской бековой комиссии с[татский] с[оветник] Павел Шамирович Мелик-Бегляров» ..... 6

13. Луарсаб Шамирович Мелик-Бегляров. «Кавказский Календарь на 1869 год». Тифлис, 1868. (...) Стр. 25: «Тифлисская городская полиция. 2-й полицейский отдел, младший полицмейстер Н[адворный] с[оветник] Луарсаб Шамирович Мелик-Бегляров». «Кавк[азский] Кал[ендарь] на 1874 г.». (...) Стр. 31: «Тифлисск[ая] городск[ая] полиция, 2-й полиц[ейский] отд[ел], младший полицмейстер К[нязь] Св[етлейший(?)]. Луарсаб Шамир[ович] Мелик-Бегляров» ..... 6

14. Джамшуд-бек Беглярович Мелик-Бегляров. «Кавказский Календарь на 1869 год». Тифлис. 1868. (...) Стр. 35: «Елисаветпольский окружной суд. Елисаветпольский мировой отдел. Переводчик Г[убернский] с[екретарь] Джамшуд-бек Беглярович Мелик-Бегляров». «Кавк[азский] Кал[ендарь] на 1874 г.». (...) Стр. 52: «Мировой отд[ел] Елисаветпольск[ого] окружн[ого] суда, Тертерский отдел, секр[етарь] и переводчик Г[убернский] с[екретарь] Джамшуд-бек Мелик-Бегляров». Дети № 29 ..... 7

15. Григорий Беглярович Мелик-Бегляров. «Неудавшийся офицер штабс-капит[ан]». «Был весьма (...), кавалер, женился на своей хлебопекле с завязан[ным] ртом. Была легкомысленного поведения» ... Жена. «Крестьянка. Своя хлебопекля». 7

16. Герасим Беглярович Мелик-Бегляров. «Военный врач» ..... 7

Жена. Наталия Бебутова. «Княжна». Дети №№ 30, 31, 32, 33.

17. Иосиф Беглярович Мелик-Бегляров. «Присяжный поверенный». «Кавк[азский] Кал[ендарь] на 1874 г.». (...) Стр. 46: «Секретарь Бакинск[ого] окружн[ого] суда канд[идат] права Иосиф Бегляров[ич] Мелик-Бегляров» ..... 7

- Жена. Анна Ивановна Амбрумова. «Армянка. Отец ее псих[ический] больной, безумие (?). Сестра ее вышла за знаменитого армянского деятеля». Бездетны. «Кавк[азский] Кал[ендарь] на 1914 г.». Стр. 294: «Мелик-Беглярова Анна Ивановна, член Елисаветпольск[ого] местн[ого] правления женск[ого] благотворительн[ого] о[бществ]а (жена Иосифа Бегляровича Мелик-Беглярова)».
18. Тальш-бек Беглярович Мелик-Бегляров ..... 7  
Жена. Мария Лазаревна Лазарева. Дети №№ 34, 35, 36.
19. Елизавета Фридоновна Мелик-Беглярова. «Рябая, с бельмами на глазах. В Елисаветполе (?)». ..... 8
20. Иосиф Фридонович Мелик-Бегляров ..... 8  
Жена. Марта (Матикó) Ехианц (Шхиян (?). «Поразительно грациозна». Дети №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.
21. Сергей-бек Теймуразович Мелик-Бегляров († 10 февраля 1905) ..... 9  
Жена. Елизавета Павловна Сапарова (р. 23 июня 1854, † 22 ноября 1919). Родная сестра О. П. Сапаровой, матери П. А. Флоренского, то есть его тетка («Лиза тетя»). См. Родословную роспись Сапаровых. «Кавк[азский] Кал[ендарь] на 1914 г.». (...) Стр. 419: «Мелик-Беглярова Елизавета Павловна (с. Тальш, Елисавет[польской] г[убернии]) — член Кавказского Кустарн[ого] Комитета (тетя Лиза, Лиза тетя)». Дети №№ 44, 45, 46, 47, 48, 49.
22. Ольга Теймуразовна Мелик-Беглярова ..... 9  
Муж. Михаил Фридонович Мелик-Шахназаров. «Помещик». «Земск[ий] про(...)», ходил в воен[ной] форме. Детей не было».
23. Александр-бек Теймуразович Мелик-Бегляров († до 1915). «Пом[ощник] уездн[ого] нач[альника]». «Кавк[азский] Кал[ендарь] на 1874 г.». (...) Стр. 47: «Делопроизводитель (...) советник губернск[ого] правления К[оллежский] р[егистратор] Александр Теймуразович Мелик-Бегляров ..... 9  
Жена. Варвара Соломоновна Автандилова. «Тифлисская». Дети №№ 50, 51, 52.
24. Аршак Беокович Мелик-Бегляров. Был женат, «бездетен» ..... 10
25. Арустам Беокович Мелик-Бегляров ..... 10  
Жена Меликова («м[ожет] б[ыть] Амбарданова»). «Елисаветпольская». Дети №№ 53, 54, 55, 56, 57.

26. Александр Александрович Мелик-Бегляров. «Кавк[азский] Кал[ендарь] на 1914 г.». (...) Стр. 101: «Мелик-Бегляров Александр Александрович, учен[ый] архив[ист] 3-го строительн[ого] отд[ела] го- родской Тифлисской управы» .....	11
27. Иосиф Александрович Мелик-Бегляров .....	11
28. Елизавета Александровна Мелик-Беглярова .. Муж. Долуханов.	11

### ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

29. Бирюза Джамшудовна Мелик-Беглярова. «Была больна kleптоманией» .....	14
Муж. Асрибеков. «Шушинец (?)»	
30. ... Герасимовна Мелик-Беглярова .....	16
31. ... Герасимович Мелик-Бегляров .....	16
32. ... Герасимович Мелик-Бегляров .....	16
33. ... Герасимович Мелик-Бегляров .....	16
34. Репсимэ Тальшковна Мелик-Беглярова .....	18
Муж. Матоян. «Доктор» «(Анксабрыглей (?))».	
35. Српуй Тальшковна Мелик-Беглярова .....	18
36. ... Тальшкович Мелик-Бегляров. «Не хотел учиться, в Лазар[евском] (...)» .....	18
37. ... Иосифович Мелик-Бегляров .....	20
38. ... Иосифович Мелик-Бегляров .....	20
39. ... Иосифович Мелик-Бегляров .....	20
40. ... Иосифович Мелик-Бегляров .....	20
41. ... Иосифович Мелик-Бегляров .....	20
42. ... Иосифович Мелик-Бегляров .....	20
43. ... Иосифович Мелик-Бегляров .....	20
44. Маргарита Сергеевна Мелик-Беглярова (р. 1872, †(?)). «Маргарита р., когда Лизе тете было 18 лет». В 1906 г. вышла замуж за Х. А. Оганьяна. По другим сведениям, скончалась в 1905 г. ....	21
Муж. Христофор Александрович Оганьян.	
45. Мария Сергеевна Мелик-Беглярова (р. ок. 1873, † ок. 1877). Скончалась «4-х лет от черной оспы; заразилась от горничной больно́й, которую отделили; но девочка была очень добрая, все ходила разговари- вать с горничной, заразилась и †. Она была очень добрая, очень красивая, с большими черными глаза- ми» .....	21
46. Давид Сергеевич Мелик-Бегляров (р. 1875, † 1913). «В Москве, холост, бездетный; погребен на Московском армянском кладбище» .....	21

47. Теймураз Сергеевич Мелик-Бегляров (р. после 1875, «† младенцем») .....	21
48. Николай Сергеевич Мелик-Бегляров (р. после 1875, «† младенцем») .....	21
49. ... Сергеевич Мелик-Бегляров («† младенцем») .....	21
50. Николай Александрович Мелик-Бегляров. «Коля». «Кавк[азский] Кал[ендарь] на 1914 г.». (...) Стр. 435: «Мелик-Бегляров Н. А. — член Елисаветпольск[ого] губ[ернского] комит[ета] «виноградства и земледелия». («Коля», племян[ник] Лизы тети и Сергея дяди)» .....	23
Жена. Чукасова. «Полулезгинка».	
51. Елена Александровна Мелик-Беглярова. «Эличка» .....	23
52. Елизавета Александровна Мелик-Беглярова. «Лиза» .....	23
53. Федор Арустамович Мелик-Бегляров. «Федя».	25
54. ... Арустамович Мелик-Бегляров .....	25
55. ... Арустамович Мелик-Бегляров .....	25
56. ... Арустамович Мелик-Бегляров .....	25
57. ... Арустамович Мелик-Бегляров .....	25

## РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ ШАДИНОВЫХ И РОДСТВЕННЫХ ИМ РОДОВ

В основу росписи положена таблица, составленная П. А. Флоренским, со следующим примечанием: «Шадиновы (Шадиновы — от Шад-Эддинг, персидск[ого] происхожд[ения]). 1922.Х.17 с. с. (со слов Ольги Дмитриевны Форш и с дополнений из таблицы Сапаровых)». В черновике имеются следующие записи: «Родство с Мих. (...) Лорис-Меликовым. Шахназаровы. Кн. Туманов. Машо Зорабовна Гурамова, двоюродная сестра Нина Шадинова. Ее мать. (...) Шадинов».

### ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

1. Абрам Шадинов. «Шадиновы — от Шад-<sup>А</sup> Эддинг, персидского происхождения». Дети №№ 2, 3, 4.

## ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

2. (...) Абрамовна Шадинова .....	1
Муж. Князь Герасим Сумбатов. Дети № 5.	
3. Григорий Абрамович Шадинов. Дети №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11 .....	1
4. Алексей Абрамович Шадинов. Дети №№ 12, 13, 14 .....	1

## ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

5. Княжна Нина Герасимовна Сумбатова, дочь Шадиновой (2) и князя Г. Сумбатова.	
Муж. Константин Виссарионович Комаров. Его брат Д. В. Комаров был женат на Н. Г. Шадиновой (6), двоюродной сестре его жены Н. Г. Сумбатовой (5).	
6. Нина Григорьевна Шадинова .....	3
Муж. Дмитрий Виссарионович Комаров. «Генерал-лейтенант лейб-егерского полка, начальник XIX дивизии, начальник Среднего Дагестана». Дети № 15.	
7. Александр Григорьевич Шадинов, убит братом Авелем .....	3
8. Михаил Григорьевич Шадинов. «Убил себя, убив Авеля» .....	3
9. Авель Григорьевич Шадинов. «Убил Александра и убит» братом Михаилом .....	3
10. Мария Григорьевна Шадинова .....	3
Муж. Ананов.	
11. Анна Григорьевна Шадинова .....	3
Муж. Иван Флоринский, «адъютант кн. Долгорукова Аргутинского».	
12. Николай Алексеевич Шадинов .....	4
Жена. Нина Гаспаровна Сапарова, внучка Герасима Сапарова. «Двоюродная сестра моей матери» — то есть О. П. Сапаровой (Флоренской). В одной из черновых записей между 20.IX.1916 и 1.IV.1921 указывается, что «все дети умерли от туберкулеза». Дети №№ 16, 17, 18, 19.	
13. Иосиф Алексеевич Шадинов, «военный» .....	4
14. Елизавета Алексеевна Шадинова .....	4



## ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

15. Ольга Дмитриевна Комарова (Форш, р. 16 мая 1873, † 17 июля 1961), дочь Н. Г. Шадиновой (б) и Д. В. Комарова. «Писательница, художница». Трояродная сестра П. А. Флоренского. См. о ней комментарий к главе IV «Религия».

Муж. Борис Эдуардович Форш. «Ученый, генерал-жандарм, французский гугенот de Forges». Дети №№ 20, 21, 22.

16. Мария Николаевна Шадинова ..... 12

Муж. Князь Черкезов. «Пасынок Софьи Черкезовой». (См. родословную роспись Сапаровых).

17. Георгий Николаевич Шадинов, «† от порока сердца» ..... 12

18. Нина Николаевна Шадинова ..... 12

Муж. «Мануфактурщик в Тифлисе».

19. Тереза Николаевна Шадинова ..... 12

## ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

20. Дмитрий Борисович Форш. Сын О. Д. Комаровой (Форш) (15) и Б. Э. Форша. «Математик, хол[ост]».

21. Тамара Борисовна Форш, дочь О. Д. Комаровой (Форш) (15) и Б. Э. Форша, «матем[атичка], химичка, дев[ица]».

22. Надежда Борисовна Форш, дочь О. Д. Комаровой (Форш) (15) и Б. Э. Форша, «дев[ица]».

## КОММЕНТАРИЙ

---

Тексты печатаются по рукописям П. А. Флоренского, хранящимся в архиве семьи Флоренских. Во всех случаях, где это было возможно, сохранены пунктуационные особенности подлинника, авторские неологизмы, а также некоторые написания, отражающие литературную и произносительную норму эпохи.

### ДЕТЯМ МОИМ. ВОСПОМИНАНЬЯ ПРОШЛЫХ ДНЕЙ

#### *1. Раннее детство*

Заглавие дано главе подготовителем текста на основании подготовительных материалов. Возможно, сам Флоренский первоначально предполагал озаглавить эту главу «Уединенный остров», но так как в главу были введены подзаголовки, то это заглавие стало восприниматься как первый подзаголовок. К первой главе присоединен раздел «Впечатления таинственного», написанный 1 июня 1919 г. Первоначально раздел «Впечатления таинственного» предполагался, вероятно, как самостоятельная глава, построенная не хронологически, а тематически (подобно главе пятой «Особенное»). Но в таком виде раздел написан не был, поэтому мы присоединяем его к первой главе «Раннее детство». В разделе «Впечатления таинственного» продолжают темы первой главы, а также намечаются темы, развитые в главах второй «Пристань и бульвар» и четвертой «Религия».

Ранее данная глава публиковалась: Литературная учеба. 1988. № 2. С. 147—158.

<sup>1</sup> Далее в оригинале оставлено чистое место. О поездке О. П. Сапаровой в Петербург см. в главе четвертой «Религия». В подготовительных материалах к главе «Раннее детство» имеется отрывок, описывающий это событие (см. «Дополнения», с. 252).

<sup>2</sup> В оригинале заглавие отсутствует. Дано подготовителем текста.

<sup>3</sup> Далее в оригинале не дописано, оставлено чистое место и ниже приписано: «(Стихи Брюсова)». Приводим стихотворение В. Я. Брюсова «Звезда», которое предположительно соответствует данному месту. Стихотворение подобрано С. З. Трубачевым.

## ЗВЕЗДА

В дни юности, на светлом небе,  
Признал я вещую звезду,  
И принял выпавший мне жребий,  
И за моей звездой иду.

И в темном мире, год за годом,  
Меня кружит и водит Рок,  
Я видел пред эдемским входом  
Огнем пылающий клинок;

Я слепнул в нестерпимом блеске  
Воздвигнутых Содомом зал;  
Я грустной повести Франчески  
В стране, где нет надежд, внимал...

Зачем же в лабиринт всемирный  
Тяну я дальше нить свою?  
Кому я ладана и смиры  
И злата — царский дар таю?

Не даст ответа светоч горний...  
Ад пройден, и за мной Эдем...  
И все спокойней, все покорней  
Иду я в некий Вифлеем.

1906 [«Все наневы»]

(*Брюсов В.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 556 — 557.)

Ср. также из письма Флоренского В. В. Розанову, которое вошло в труд Флоренского «У водоразделов мысли»: «Ни ночью, ни днем не раскроется душа. И не хотелось бы умирать в эти жуткие часы. А отойти бы, как и родился: на закате. И когда возьмусь отсюда, пусть тот, кто вспомнит мою грешную душу, помолится о ней при еле светлой заре, утренней ли, вечерней ли, но тогда, когда небо бледнеет, как уста умирающей. Пусть он помолится на умирающем закате или на восходе, при еще изумрудном прозрачном небе. Тогда трепещет «киного бытия начало». Тогда ликует новая жизнь». *Флоренский П. А.* Соч. Т. 2. У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990. С. 18.)

<sup>1</sup> Флоренский был крещен 9 октября 1882 г. в Тифлисской Мтацминдской Давидовской церкви.

<sup>2</sup> В оригинале оставлено чистое место. Предполагаемый год проставлен подготовителем текста.

<sup>3</sup> В оригинале оставлено чистое место. Предполагаемая дата проставлена подготовителем текста. Из основного текста «Воспоминаний» не очень ясно, что слова «в Евлахе мы прожили всего года полтора...» относятся ко всему пребыванию семьи Флоренских в Евлахе, то есть с зимы 1880 г. Но это очевидно из другого отрывка, где Флоренский говорит: «Я уехал оттуда [т. е. из Евлаха], когда мне было лишь несколько месяцев».

<sup>7</sup> Далее в оригинале оставлено чистое место. Заглавие последующего отрывка в оригинале отсутствует. Дано подготовителем текста.

<sup>8</sup> См.: Книга пророка Иезекииля, гл. 1, 15 — 21. «Многоочитые» колеса были из «топаза» золотистого цвета. Такой цвет соответствует колесам видений пророка Даниила, которые были «пылающий огонь». (Книга пророка Даниила, гл. 7, 9.)

<sup>9</sup> Согласно *Анаксимандру*, светила и солнце есть сгустки воздуха, имеющие вид ободов колес и наполненные огнем. Эти обода имеют отверстия, через которые испускают огонь как бы струей молнии.

<sup>10</sup> Ноумен — умопостигаемая основа, в отличие от являющегося в чувственном восприятии феномена. *Ноуменальный огонь* — по Гераклиту, лежащий в основе всех вещей и постигаемый лишь умом.

<sup>11</sup> Имеется в виду понятие URGRUND, содержащееся в сочинениях немецкого мистика Якова Бёме (1575 — 1624).

<sup>12</sup> См.: Гёте «Фауст». Слова Мефистофеля:

Я эту тайну нехотя открою.  
Богини высятся в обособленьи  
От мира, и пространства, и времен.  
Предмет глубок, я трудностью стеснен.  
То — Матери.

...Их мир — незнаем,  
Нехожен, девственен, недосягаем,  
Желаньям недоступен...

Когда увидишь жертвенник в огне,  
Знай, кончен спуск, и ты на самом дне.  
Пред жертвенником Матери стоят,  
Расхаживают, сходятся, сидят.  
Так вечный смысл стремится к вечной смене  
От воплощенья к перевоплощенью.  
Они лишь видят сущностей чертеж  
И не заметят, как ты подойдешь.

(Гёте И.-В. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2 / Пер. Б. Л. Пастернака. М.: Художественная литература, 1976. С. 233, 234, 236.)

<sup>13</sup> Ср. стихотворения Ф. И. Тютчева (подобраны С. З. Трубачевым):

## ДЕНЬ И НОЧЬ

На мир таинственный духов  
Над этой бездной безымянной,  
Покров наброшен златотканый  
Высокой волею богов.

День — сей блистательный покров —  
День, земнородных оживленье,  
Души болящей исцеленье,  
Друг человек и богов!

Но меркнет день — настала ночь;  
Пришла — и с мира рокового  
Ткань благодатную покрова,  
Сорвав, отбрасывает прочь...

И бездна нам обнажена  
С своими страхами и мглами,  
И нет преград меж ей и нами —  
Вот отчего нам ночь страшна!

1839

\* \* \*

Как океан объемлет шар земной,  
Земная жизнь кругом объята снами.  
Настанет ночь — и звучными волнами  
Стихия бьет о берег свой.

То глас ее: он нудит нас и просит...  
Уж в пристани волшебный ожил челн;  
Прилив растет и быстро нас уносит  
В неизмеримость темных волн.

Небесный свод, горящий славой звездной,  
Таинственно глядит из глубины, —  
И мы плывем, пылающею бездной  
Со всех сторон окружены.

1830

\* \* \*

О чем ты воешь, ветер ночной?  
О чем так сетуешь безумно?..  
Что значит странный голос твой,  
То глухо жалобный, то шумно?

Понятым сердцу языком  
Твердишь о непонятной мюке —  
И роешь и взрываешь в нем  
Порой неистовые звуки!..

О, страшных песен сих не пой  
Про древний хаос, про родимый!  
Как жадно мир души ночной  
Внимает повести любимой!

Из смертной рвется он груди,  
Он с беспредельным жаждет слиться!..  
О, бурь заснувших не буди —  
Под ними хаос шевелится!..

1836

<sup>14</sup> *Круксова трубка* — трубка типа гейслеровой с большей степенью разрежения. При этом характер явлений в трубке совершенно изменяется. Изобретена английским физиком и химиком Вильямом Круксом (1832 — 1919). Наблюдающийся в трубках явления он пытался объяснить существованием там четвертого, «лучистого состояния вещества». См. об этом: *Крукс У.* Лучистая материя, или четвертое состояние тел. Новгород, 1889.

<sup>15</sup> *Трубки Гейслера* (Гейслера) — стеклянные трубки разнообразной формы, содержащие различные разреженные газы. В противоположные концы трубок впаивали платиновые проволочки, между которыми происходил разряд. Наружные концы соединялись с каким-либо источником тока. Служили для изучения свечения, сопровождающего электрический разряд в разреженных средах.

<sup>16</sup> *Мейер Йозеф* (1796 — 1856) — немецкий издатель и промышленный деятель. Издал «*Meyers Conversations-Lexikon fur die gebildeten Ständen*». 1840 — 1855: В 43 т. *Мейер Юлиус* (1826 — 1909) — сын Йозефа Мейера, издатель. Издал «*Neue Conversations-Lexikon fur alle Stande*». 1857 — 1860: В 15 т.; а также «*Meyers Conversation-Lexikon*». 1885 — 1890: В 16 т. Какой из этих энциклопедий пользовался Флоренский, неясно.

<sup>17</sup> См. картину русского художника К. А. *Сомова* (1869 — 1939) «*Вечер*» (1902), хранящуюся в Государственной Третьяковской галерее.

<sup>18</sup> Существуют скульптурные изображения *Артемиды Эфесской* со множеством сосцов, как бы изображающей Мать Изобилия. О выступлении против христиан в Ефесе в защиту Артемиды во время пребывания там Апостола Павла см.: Деяния Апостолов, гл. 19, 23 — 40.

<sup>19</sup> Большая энциклопедия. СПб., б. г. Т. 14.

<sup>20</sup> *Молох* — почитавшееся в Палестине, Финикии и Карфагене божество, которому приносились человеческие жертвы, особенно дети. В этом смысле Молох приравнен Губителю.

<sup>21</sup> Природа творящая, созидаящая (*лат.*) в отличие от *natura naturata* — природа творимая, созданная. Термины философии Бенедикта Спинозы (1632 — 1677).

<sup>22</sup> В оригинале оставлено чистое место. Предполагаемое количество лет проставлено составителем текста. Мы исходим из того, что более ранний период детства относился к жизни в Тифлисе (от полугода), а более поздние впечатления в части «*Религия*» приурочены к шестилетнему возрасту.

<sup>23</sup> Струя, текущая по рукам,  
миновать как сможет Даная? (*лат.*)

*Овидий.* *Метаморфозы.* II, 117.

## II. Пристань и бульвар (Батум)

Текст подготовлен по машинописному авторскому оригиналу, представляющему вторую или третью редакцию. Датировки приводятся по авторской рукописи первой редакции. Из 1-й редакции дополнен и послед-

ний раздел «Изобилие», который не вошел в машинописный оригинал, вероятно, потому, что не был закончен. Подзаголовок «Отрывок из автобиографии. Батум» был внесен Флоренским, возможно, в связи с тем, что он готовил данную часть воспоминаний к публикации как отдельный отрывок. На одном из машинописных экземпляров имеется запись Флоренского, позволяющая приблизительно определить время завершения работы над последней редакцией (второй или третьей): «Милой мамуле о папе. Сергиев Посад. 1923.III.27. Второй день Пасхи».

Ранее данная глава (без отрывка «Изобилие») публиковалась в кн.: Прометей: Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». М., 1972. Т. 9. С. 138—148; Вестник русского христианского движения. Париж, 1972. № 106. С. 183—200.

<sup>1</sup> Подзаголовок «Море» внесен подготовителем текста. В рукописном оригинале часть «Пристань и бульвар» следует после отрывка «Яды», датированного 1 июня 1919 г. Первая датировка, встречающаяся в части «Пристань и бульвар», — 1920.V.14.

<sup>2</sup> Клясться словами учителя (*лат.*). Употребляется в значении: слепо следовать авторитетам, некритически относиться к усвоенному.

<sup>3</sup> Фурье Жан Батист Жозеф (1768—1830) — французский математик. Член Французской академии (с 1826 г.). Почетный член Петербургской академии наук (с 1823 г.). Разработал учение о представлении функций в виде тригонометрических рядов (*ряды Фурье*).

<sup>4</sup> Здесь Флоренский говорит о глубоких детских истоках идей аритмологии, пронизывающих все его творчество. Понятие аритмологии было введено Н. В. Бугаевым (1837—1903) и понималось им как учение о разрывных функциях. Н. В. Бугаев полагал, что на основах аритмологии должно быть перестроено все мирозерцание (философия и наука) и действие человека. Проблема прерывного в естествознании волновала Флоренского еще в гимназии. Он совершил синтез идей аритмологии Н. В. Бугаева и теории множеств Георга Кантора. Развитием идей аритмологии посвящены следующие работы Флоренского: «Идея прерывности как элемент мирозерцания». (Введение к этой работе опубликовано С. С. Демидовым и А. Н. Паршиным: Историко-математические исследования. М.: Наука, 1986. Вып. 30); Об одной предпосылке мировоззрения // Весы. 1904. № 9; О символах бесконечности. (Очерк идей Г. Кантора) // Новый путь. 1904. № 9. О сходстве музыки Баха с морем говорил и Бетховен: «...ему следовало бы носить имя не Бах (ручей), а Меер (море)...» (Если бы Бетховен вел дневник... Отбор и монтаж документов, а также связующий текст Ференца Бродски. Будапешт; Издательство Корвина, 1966. С. 255.)

<sup>5</sup> Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ, математик, физик, историк, юрист, языковед. Флоренский имеет в виду следующее место работы Лейбница «Начала природы и благодати, основанные на разуме»: «Всякая душа знает бесконечное, знает все, но

смутно. Когда я прогуливаюсь по берегу моря и слышу сильный шум, который оно производит, я слышу отдельные шумы каждой волны, из которых складывается этот общий шум, но не различаю их; так и наши смутные восприятия суть результат впечатлений, производимых на нас всем универсумом. То же самое и в каждой монаде. Один Бог имеет отчетливое познание всего, ибо Он источник всему». (*Лейбниц Г.-В. Соч.:* В 4 т. М.: Мысль, 1982. Т. 1. С. 410.)

<sup>6</sup> *Гофман Эрнест Теодор Амадей* (1776—1822) — немецкий писатель, композитор, художник. В сказке «Золотой горшок. Сказка из новых времен» студенту Ансельму на кусте бузины являются «золотисто-зеленые змейки». (См.: *Гофман Э.-Т. Избранные произведения:* В 3 т. М.: Художественная литература, 1962. Т. 1.)

<sup>7</sup> *Вронченко Михаил Павлович* (1801—1855) известен своими переводами европейской классики. Перевел «Фауста» Гёте: Фауст: Трагедия. Соч. Гёте. Перевод первой и Изложение второй части. СПб., в привилегированной типографии Фишера, 1844.

<sup>8</sup> *Милль Джон Стюарт* (1806—1873) — английский философ, логик и экономист. *Бен Александр* (1818—1903) — английский психолог и философ. Оба они представители «плоского» позитивизма, сводящего все многообразие мира к явлению. Пафос позитивизма направлен против поиска явлению и за ним метафизической «глубины».

<sup>9</sup> *Рёскин Джон* (1819—1900) — английский писатель, теоретик искусства, идеолог прерафаэлитов. Его романтический протест против наступления буржуазной цивилизации включал в себя призыв к возрождению средневековых ремесел. (См.: *Гобсон А. Джон Рёскин как социальный реформатор* / Пер. с англ. П. Николаева. М.: Издание К. Т. Солдатенкова, 1899.)

### III. Природа

Текст подготовлен по машинописному авторскому оригиналу. Датировки и уточнения приводятся по рукописному оригиналу, представляющему собой диктовку Флоренского, записанную С. И. Огневой.

Ранее данная глава публиковалась в кн.: Вестник русского студенческого христианского движения. Париж; Нью-Йорк, 1971. № 100. С. 230—254; № 101—102. С. 247—274; Литературная Грузия. 1985. № 9. С. 76—105; № 10. С. 64—97 (с редакционными кушюрами); Вопросы литературы. 1988. № 1. С. 158—161 (отрывки).

<sup>1</sup> См.: Тимей, 52 в. В кн.: *Платон. Сочинения.* Т. 3(1). М.: Мысль, 1971. С. 493.

<sup>2</sup> Стыдливость (*фр.*).

<sup>3</sup> Вид удава.

<sup>4</sup> «Надо дать ему стакан сладкой воды» (*фр.*).

<sup>5</sup> «Бедняга, он очень нервен» (*фр.*).



<sup>6</sup> «Обозрение двух миров» (*фр.*); этот журнал читали в детстве в семье Е. и С. Трубецких; см. также примеч. 14 к главе «Особенное».

<sup>7</sup> «Немецкое обозрение» (*нем.*).

<sup>8</sup> «Всеобщая история Лависса и Рамбо» (*фр.*). Курс всеобщей истории начал выходить выпусками с 1893 г. Французские историки Эрнст Лависс (1842 — 1922) и Альфред Рамбо (1842 — 1905) выработали план «Всеобщей истории» и стояли во главе издания. Существуют русские переводы «Всеобщей истории».

<sup>9</sup> См. об этом: *Священник П. А. Флоренский. Столп и утверждение Истины*. М.: Путь, 1914. С. 162 — 165.

<sup>10</sup> Тема первой части 5-й симфонии Бетховена, о которой сам Бетховен говорил: «Так судьба стучится в дверь».

<sup>11</sup> *Хладни* Эрнст Флоренц Фридрих (1755 — 1827) — немецкий ученый, член многих научных учреждений, в том числе член-корреспондент Императорской академии наук в Санкт-Петербурге (с 1794 г.). Изучал колебание пластинок, посыпанных мелким песком, под действием звука. На пластинках возникали правильные фигуры, называемые хладниевыми фигурами.

<sup>12</sup> От *sachet* (*фр.*) — изящно отделанные подушечки, наполненные смесью засушенных душистых растений. Кладутся в белье и бумаги, чтобы придать им аромат.

<sup>13</sup> См. примеч. 9 к главе «Пристань и бульвар».

<sup>14</sup> Здесь имеется в виду приверженность графа Л. Н. Толстого к простоте патриархального быта крестьян.

<sup>15</sup> Нежные цветы (*фр.*).

<sup>16</sup> Слова из стихотворения Я. П. Полонского «Солнце и Месяц»:

«Отчего так светит Месяц?» —  
Робко он меня спросил.

(*Полонский Я. П.* Полное собрание стихотворений: В 5 т. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1896. Т. 1. С. 12.)

<sup>17</sup> Вероятно, имеется в виду песня Шуберта «Поток» («Der Strom»).

<sup>18</sup> Ср.: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». (Мф. 12, 36 — 37.)

<sup>19</sup> От греч. *glossa* — язык и *lalia* — болтовня, пустословие; особый вид расстройства речи, произнесение бессмысленных сочетаний звуков, сохраняющих некоторые признаки связной речи (темп, ритм, структуру слога и т. п.). Понятие использовалось некоторыми поэтическими течениями конца XIX — начала XX в. для обозначения ситуации, когда за видимой субъективностью, хаотичностью, бессмысленностью, фантастичностью, заумностью поэтической речи кроется объективное, глубокий смысл. Андрей Белый, например, писал: «За образной субъективностью импровизаций моих скрыт вне-образный, несубъективный их корень». (*Андрей Белый. Глоссалалия. Поэма о звуке*. Берлин: Эпоха, 1922. С. 9.)

<sup>20</sup> «Тот, кто вне математики произносит слово «невозможно», не считается с благоразумием». Эти слова принадлежат Андре Мари Амперу (1775—1836), французскому физика и математику.

<sup>21</sup> От *cannelures* (*фр.*) — вертикальные желобки на колонне или пилястре, представляющие в разрезе либо сегмент круга (дорический ордер), либо полное полукружие (ионический и коринфский ордера).

<sup>22</sup> Полнота жизни (*лат.*).

<sup>23</sup> *Porto franco* (*итал.*) — порт, пользующийся правом беспошлинного ввоза заграничных и вывоза местных товаров.

<sup>24</sup> *Feluca* (*итал.*), фулука (*араб.*) — лодка; небольшое беспалубное судно с косым четырехугольным парусом для рыболовства и перевозки грузов.

<sup>25</sup> Холодная вежливость (*лат.*).

<sup>26</sup> Неточная цитата: «Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние». (Песнь, 2, 13.)

<sup>27</sup> Иногда Аполлон отождествлялся с солнцем, а его стрелы — с солнечными лучами. Отсюда описания и изображения Аполлона с серебряным луком и золотыми стрелами.

## VI. Религия

Текст подготовлен по машинописному авторскому оригиналу. Датировки и уточнения (см. особенно примеч. 31 о последнем абзаце) приводятся по рукописному оригиналу, представляющему собой диктовку Флоренского, записанную С. И. Огневой.

Ранее глава публиковалась в кн.: Вестник русского студенческого христианского движения. Париж; Нью-Йорк, 1971. № 99. С. 49—84; Литературная учеба. 1988. № 2. С. 158—176.

<sup>1</sup> От *resignation* (*фр.*) — безропотное смирение, полная покорность. Противоположность резиньяции — протест.

<sup>2</sup> От *fatum* (*лат.*) — рок; мировоззрение, рассматривающее каждое событие и каждый человеческий поступок как неотвратимую реализацию изначального предопределения, исключающего свободный выбор и случайность.

<sup>3</sup> *Космологическое доказательство бытия Божия* от ограниченности и случайности наблюдаемых предметов, на основании принципа, что все, что бывает, должно иметь причину, ведет к заключению о бытии Существа безусловного, то есть такого, бытие которого независимо ни от каких условий и утверждается само в себе, иначе вся совокупность условного бытия не имела бы изначальной причины.

<sup>4</sup> Огюст Конт (1798—1857) — французский философ, основатель позитивизма. Свою задачу он определял так: создать при помощи правильного обобщения фактов («объективный метод») из частных наук путем их систематизации положительную философию, а затем, через применение «субъективного метода», превратить ее в положительную религию. Первая

часть задачи выполнена, как полагал Конт, в «Курсе положительной философии» (1830—1842 г. В 6 т.). Вторую часть задачи призвана решить «Система позитивной политики» (1851—1854 г. В 4 т.). Здесь вместо Бога Конт вводит Великое Существо (le Grand Être), которым является единое человечество. «Позитивная вера» связана с признанием этого Существа. «Позитивный культ» удостоивал почитанием Великое Существо, которое воплощается прежде всего в почитании лиц женского пола: матери, жены, дочери. Позитивистский лунный календарь имел 13 месяцев, во главе которых стояли «позитивные святые»: Моисей, Гомер, Аристотель, Архимед, Цезарь, апостол Павел, Карл Великий, Данте, Гуттенберг, Шекспир, Декарт, Фридрих II Прусский, Бипа. «Позитивная религия» заменила теологию социологией, христианский культ Единого Троичного Бога — культом человечества. См.: *Соловьев Вл.* Конт // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1895. Т. 31.

<sup>5</sup> *Фрей Вильям* (псевдоним Владимира Константиновича Гейнса) — русский писатель (1839—1888). Будучи капитаном генерального штаба, эмигрировал в 1868 г. в Северную Америку, где основал земледельческую ферму на коммунистических началах. После распада коммуны переселился в Англию.

<sup>6</sup> *Фюстель де Куланж* (1830—1889) — знаменитый французский историк. В труде «La cité antique» (1864 г. — русский перевод «Античный город». М., 1867; М., 1895), согласно своей концепции, дает синтез развития гражданской общины античного мира от семьи через город-государство до всемирной державы.

<sup>7</sup> Почитание предков (*лат.*).

<sup>8</sup> Благочестивый, праведный (*лат.*).

<sup>9</sup> Почитание детей (*лат.*).

<sup>10</sup> Юлия Ивановна Флоренская скончалась 20 мая 1894 г., когда Павлу Флоренскому было 12 лет.

<sup>11</sup> *Ксендз* — католический священник.

<sup>12</sup> *Пастор* — духовный руководитель в протестантской общине.

<sup>13</sup> *Мулла* — духовный руководитель в мусульманской общине.

<sup>14</sup> *Раввин* — духовный руководитель в иудаистской общине.

<sup>15</sup> *Иезид*, или езид, — от древнеперсидского Ezd — Бог; последователь секты, по всей видимости, зороастризма, которая была распространена среди курдов Турции, Ирана и Армении. Секта отличалась замкнутостью, а посему и таинственностью.

<sup>16</sup> *Розанов Василий Васильевич* (1856—1919) — русский философ и писатель. Автор книг «О понимании» (1886), «Сумерки просвещения» (1899), «Религия и культура» (1899), «Семейный вопрос в России» (1903), «В мире сего и нерешенного» (1904), «Темный Лик. Метафизика христианства» (1911), «Люди лунного света. Метафизика христианства» (1913), «Уединенное» (1912), «Опавшие листья» (1913, 1915), «Апокалипсис нашего времени» (1917—1918) и др.

<sup>17</sup> Шекспир В. Отелло/ Пер. П. И. Вейнберга// Полное собрание сочинений Виллиама Шекспира в переводе русских писателей. 3-е изд. Под ред. Н. В. Гербеля. СПб., 1880. Т. 3. С. 406.

<sup>18</sup> Ср.: Гёте. Фауст:

Лишь символ — все бренное,  
что в мире сменяется...

Гёте И.-В. Фауст/ Пер. Н. Холодковского. Пг., 1914. Т. I. С. 434.

<sup>19</sup> Гюйо Жан Мари (1854—1888) — французский философ-позитивист. Основная его мысль заключается в идее жизни как общего плодотворного начала, на котором зиждется все: социология, искусство, мораль, религия; жизнь включает в себе стремление к распространению и совершенствованию. В книге «L'irreligion de l'avenir» (1887 г. — русский перевод «Безверие будущего». СПб., 1908; «Иррелигиозность будущего». М., 1909) Гюйо писал, что истинным источником происхождения религиозных верований является стремление социальной жизни к расширению сферы человеческого общения не только на всех живущих на земле, но и на те существа, которыми мысль человека населила небо.

<sup>20</sup> Здесь: возврат к предкам.

<sup>21</sup> Абиx Герман Вильгельмович (1806—1886) — ученый-геолог, почетный член Академии наук.

<sup>22</sup> Комаров Дмитрий Виссарионович — генерал-лейтенант лейб-егерского полка, начальник 19-й дивизии, начальник округа Среднего Дагестана. Дворянский род Комаровых происходил от поручика Саввы Дмитриевича Комарова (1789), имевшего сыновей полковников Виссариона и Владимира. Этот род Комаровых внесен во II часть Родословной книги Воронежской и Витебской губерний. Известны братья Д. В. Комарова — Константин, генерал-лейтенант и комендант Варшавской крепости (женат на княжне Нине Герасимовне Сумбатовой, двоюродной сестре Н. Г. Шадиновой); Александр, генерал от инфантерии, в 1883—1890 гг. начальник Закаспийской области, автор ряда этнографических трудов по Дагестану. А. В. Комаров собирал материалы по археологии и этнографии, передал обширную палеонтологическую коллекцию из Дагестана в Кавказский музей, коллекцию восточных монет — в Эрмитаж.

<sup>23</sup> Шадинова Нина Григорьевна (в замужестве Комарова) была двоюродной сестрой Николая Алексеевича Шадинова, мужа Нины Гаспаровны Сапаровой. Нина Гаспаровна (Шадинова) — двоюродная тетка П. А. Флоренского.

<sup>24</sup> Форш Ольга Дмитриевна, в девичестве Комарова (1873—1961) — русская советская писательница, дочь Д. В. Комарова и Н. Г. Шадиновой, троюродная сестра П. А. Флоренского. Автор книг: «Дети земли» (1910), «Горячий цех» (1926), «Сумасшедший корабль» (1931), «Ворон» (1933); исторические романы: «Одеты камнем» (1924—1925), «Радищев» (1923—1939), «Михайловский замок» (1946).

<sup>25</sup> О. П. Сапарова уехала в Петербург в 1878—1879 гг. По семейному

преданию, завернувшись в бурку Аршака, Ольга ночью покинула дом, усакав на лошади. Бурка эта долго хранилась в семье как своеобразная реликвия.

<sup>26</sup> От *irradiare* (лат.) — сиять, испускать лучи; в оптике кажущееся увеличение размеров светлых фигур на черном фоне по сравнению с темными фигурами равной величины на белом фоне (положительная иррадиация или при малых яркостях фона обратная картина — отрицательная иррадиация).

<sup>27</sup> «Оставь его» (фр.).

<sup>28</sup> «Оставь ее» (фр.).

<sup>29</sup> См.: Гёте И.-В. Фауст/ Пер. М. П. Вронченко. СПб., 1844.

Ср. перевод Б. Л. Пастернаком слов Мефистофеля:

Я — части часть, которая была  
Когда-то всем и свет произвела.  
Свет этот — порожденье тьмы ночной  
И отнял место у нее самой.

(Гёте И.-В. Собр. соч.: В 10 т. М.: Художественная литература, 1976. Т. 2. С. 51.)

<sup>30</sup> Висковатов В. А. Из жизни растений. Сост. по Вагнеру и др. СПб., 1880.

<sup>31</sup> Последний абзац ошибочно попал в текст первоначальных публикаций третьей части воспоминаний «Природа». (См.: Вестник русского студенческого христианского движения. Париж; Нью-Йорк, 1971. № 101—102. С. 247; Литературная Грузия. 1985. № 9. С. 105; № 10. С. 64.)

## V. Особенное

Первая редакция данной главы была написана в октябре — ноябре 1916 г., вторая — в июне — июле 1920 г., то есть непосредственно после написания первоначальной редакции главы «Пристань и бульвар». Обе эти редакции можно считать первоначальными. Промежуточная редакция (беловая запись С. И. Огневой) нам неизвестна. Третья редакция, по которой печатается текст, представляет машинопись, правленную автором. Исправления и дополнения (в частности, датировки) приводятся по авторской рукописи, на которой стоит пометка: «(2-я ред.)». Вполне вероятно, что обрыв текста главы связан не с незавершенностью, а с утратой предполагаемой промежуточной редакции в записи С. И. Огневой.

Ранее данная глава публиковалась: Литературная учеба. 1988. № 6. С. 117—135.

<sup>1</sup> Прафеномен (нем.) — одна из центральных идей Гёте. Первоявление — конкретно существующее явление, в котором воплощено сущее, всеобщее. Именно первоявление помогает соприкоснуться с Богом. «Я не спрашиваю, — сказал Гёте, — имеет ли это высшее существо рассудок и разум, но я чувствую, что оно само есть рассудок, что оно само есть разум. Все творения им проникнуты, и человек в такой степени, что может

отчасти познавать высшее». (Из «Разговоров с Гёте» И.-П. Эккермана. Запись от 23 февраля 1831 г. // В кн.: *Гёте И.-В. Избранные философские произведения*. М.: Наука, 1964. С. 487.) Флоренский в духе развитого им символизма сближает прафеномены Гёте с миром идей Платона: «Тут, во храме, вся эта преувеличенность, смягчаясь, дает силу, недостижимую обычным изобразительным приемам, и в лице святых мы усматриваем тогда, при этом церковном освещении, лики, т. е. горние облики, живые явления иного мира, первоначала. Urphaenomenon,— сказали бы мы вслед за Гёте. В храме мы стоим лицом к лицу перед платоновским миром идей, в музее же мы видим не иконы, а лишь шаржи на них». (*Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусства* // Маковец. 1922. № 1. С. 31.)

<sup>2</sup> Термин в духе Платонова учения о познании. Платон учил, что душа человека в скрытом от актуального сознания виде обладает знанием сути вещей. Опыт лишь внешним образом помогает выявлению, актуализации, «припоминанию», узнаванию этой сути. Таким образом, познание есть воспоминание, «припоминание».

<sup>3</sup> См.: *Кант Иммануил*. Соч.: В 6 т. Т. 3. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1964. С. 307: «Тем не менее когда мы те или иные предметы как явления называем чувственно воспринимаемыми объектами (Sinnenwesen, Phänomen), отличая при этом способ, каким мы их созерцаем, от их свойств самих по себе, то уже в самом нашем понятии [чувственно воспринимаемого объекта] заключается то, что мы как бы противопоставляем этим чувственно воспринимаемым объектам или те же самые объекты с их свойствами самими по себе, хотя мы этих свойств в них и не созерцаем, или же другие возможные вещи, которые вовсе не объекты наших чувств, и мы рассматриваем их как предметы, которые мыслит только рассудок, и называем их умопостигаемыми объектами (Verstandeswesen, Noumena)».

<sup>4</sup> По Флоренскому, имеславие есть такое миропонимание, при котором одновременно признается самостоятельная реальность сущностей, «иссводимость вещи к ее явлению», и то, что «явлением в самом деле объявляется сущность», вследствие чего явление, энергия сущности именуется тем же именем, что и сущность. Данная трактовка имеславия тесно связана с учением Флоренского о символе (см. примеч. 8). Термин «имеславие» исторически восходит к афонским спорам начала XX в. о природе Имени Божия. Богословскую позицию имеславия Флоренский выражал следующей формулировкой: «Имя Божие есть Бог и именно Сам Бог, но Бог не есть ни Имя Его, ни самое Имя Его. [...] Таким образом, формулою утверждается, что Имя Божие, как реальность, раскрывающая и являющая Божественное Существо, больше самой себя и божественно, мало того — есть Сам Бог,— Именем в самом деле, не призрачно, не обманчиво являемый; но Он, хотя и являемый, не утрачивает в Своем явлении Своей реальности, — хотя и познаваемый, не исчерпывается познанием о Нем,— не есть имя, т. е. природа Его — не природа имени, хотя бы даже

какого-либо имени, а Его собственного, Его открывающего Имени». («Имеславие как философская предпосылка» — В кн.: *Флоренский П. А.* Соч. Т. 2. У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990. С. 300—301.) В афонских спорах Флоренский поддержал имеславцев в пафосе борьбы за реализм против имманентизма, позитивизма и кантианства, но значительно углубил философскую предпосылку имеславия. Флоренский считал, что «верующему и неверующему, православному и иудею, живонисцу и поэту, естествоиспытателю и лингвисту — всем есть нужда в ясности познания учения о сущности и энергиях, потому что только ею решается основной вопрос о познании в соответствии с естественным способом мыслить всего человечества». (Там же. С. 304.) Общую философскую основу имеславия Флоренский указывал в самых различных учениях, которые по своему конкретно-историческому и религиозному содержанию зачастую находились в противоборстве: античный идеализм (платонизм), неоплатонизм, средневековый реализм, паламизм, Гёте, афонское имеславие. Такой подход к имеславию как философской предпосылке в дальнейшем развивал и А. Ф. Лосев, который называет паламитов «византийским платонизмом» на том необычном основании, что здесь дан «полновесный ответ на платонизм, т.е. и свой, так сказать, платонизм». ...Если, по Лосеву, нет никаких оснований для объединения платонизма и православия на уровне мифологии, то это не мешает им во многом совпадать в области чистой диалектики. (*Гототиповили Л. А.* Ранний Лосев// Вопросы философии. 1988. № 7. С. 140.)

<sup>5</sup> Широкое религиозно-философское течение поздней античности и средневековья, возникшее в п. э. Для *гностицизма* характерны попытки проникнуть в сокровенную сущность мира и человека, выражая ее в отвлеченных мыслительных схемах.

<sup>6</sup> Философское течение, возникшее в 30-х гг. XIX в., пытающееся всякое подлинное знание представить как знание, сообщаемое позитивными (положительными) науками. Позитивизм отрицал право существования философии, как имеющей самостоятельный предмет исследования, оставляя ей только задачу упорядочения, классификации научного знания.

<sup>7</sup> Критика *отвлеченной метафизики* характерна для многих русских мыслителей, начиная с критики Гегеля А. С. Хомяковым. Сюда относятся и «живая истина» И. В. Киреевского, и книга В. С. Соловьева «Критика отвлеченных начал», и «конкретный идеализм» С. Н. Трубецкого, и «конкретный спиритуализм» Л. М. Лопатина, и «конкретный идеал-реализм» Н. О. Лосского и др. К этой традиции принадлежит и Флоренский, назвавший свой метод философствования «конкретной метафизикой». (См.: *Флоренский П. А.* Мнимости в геометрии... М.: Поморье, 1922. С. 68).

<sup>8</sup> *Символизм* Флоренского, возможно, общее название типа его философии. В отличие от других теоретиков русского символизма (Андрей

Белый, Вяч. Иванов и другие) Флоренский выдвигал на первый план онтологическую, объективную природу символа. Приведем здесь одно малоизвестное определение символа из многих дававшихся им: «Бытие, которое больше самого себя, — таково основное определение символа. Символ — это нечто, являющее собою то, что не есть он сам, большее его и, однако, существенно через него объявляющееся. Раскрываем это формальное определение: символ есть такая сущность, энергия которой, сращенная или, точнее, срастворенная с энергией некоторой другой, более ценной в данном отношении сущности, несет таким образом в себе эту последнюю». (Флоренский П. А. Имеславие как философская предпосылка// Цит. по рукописи: *Иеромонах Андроник (Трубочев)*. Священник Павел Флоренский. Личность, жизнь и творчество. (Теодицея и антроподицея). Московская Духовная Академия, 1984. С. 128; а также в кн.: *Флоренский П. А. Соч. Т. 2. У водоразделов мысли*. М.: Правда, 1990. С. 287.) По Флоренскому, язык, слово и имя — символичны. Они суть «энергия рода человеческого или отдельного лица, которая содержанием своим имеет энергию познаваемой реальности, ими определяемой». (Там же. С. 128.) Далее Флоренский обсуждает антиномическую природу символа: «Антиномичная природа символа, которая проявляется в том, что символ, с одной стороны, **сверхчеловечен**, а с другой — **человечен**». (Там же. С. 162.)

Антиномическая природа символа обуславливает двоякого типа опасности для творца символов: символы, произвольно субъективно творимые, могут либо увести от реальности, от жизни, либо «присосаться к жизни и душить ее»: «Не только оживающий портрет (Гоголь) или отделившаяся тень (Андерсен), но и материализовавшаяся схема науки, вроде, например, «*Systeme du Monde*», «*Kraft und Stoff*» или общественного класса, самоопределившись, могут присосаться к жизни и душить ее». (Флоренский П. А. Наука как символическое описание.— В кн.: *Флоренский П. А. Соч. Т. 2. У водоразделов мысли*. М.: Правда, 1990. С. 121.) Необходимо «кособым усилием все время держаться сразу и при символе и при символизиремом». (Там же. С. 120.) «Право на символотворчество принадлежит лишь тому, кто трезвенной мыслью и железом железным пашет творимые образы на жизненных пахитях своего духа». (Там же. С. 121.) В коллективной работе по составлению «*Symbolarium*», или «Словаря символов», задуманного в начале 20-х гг., Флоренский так оценивает современный ему символизм и его представителей: «Для них был вполне чужд исторически-сравнительный метод выяснения символических образов и законоположений, и отсутствие в этой области строго научной методологии привело их в действительности к псевдосимволическим, чисто литературным приемам, которыми в конечном счете и было скомпрометировано самое понятие «символизма». (Предисловие к «*Symbolarium*» (Словарь символов)/ Памятники культуры. Новые открытия. 1982. Л.: Наука, 1984. С. 103.) Задачу издания он видит в следующем: «Против этих индивидуальных выявле-



ний неопределенных мистических волнений и умонастроений должен быть выдвинут строго научный метод обследования символического наследия, оставленного нам прошлыми культурами и живого еще в современности, дабы с полной отчетливостью могла быть поставлена проблема уяснения и, может быть, практического применения зрительно-графического способа выражения понятий». (Там же. С. 103—104.) Эта работа предваряет поиски системы символов, столь характерные для XX в. См.: например, C. G. Jung. *Symbolik des Geistes*. Zurich, 1953.

<sup>9</sup> Течение философской мысли, идущее от Иммануила Канта (1724—1804). В главе «Критики чистого разума», называемой «О схематизме чистых рассудочных понятий», Кант ставит «вопрос, как возможно подведение созерцаний под чистые рассудочные понятия, то есть применение категорий к явлениям». (*Кант Иммануил*. Сочинения: В 6 т. Т. 3. М.: Мысль, 1964. С. 221.) Флоренский, пользуясь кантовской терминологией, как бы переворачивает вопрос: речь идет уже не о применении категорий к явлениям, а, наоборот, о применении знания о конкретном явлении даже не к рассудочной деятельности, а к самому сверхчувственному, ноуменальному миру. Явление оказывается больше себя самого, тем самым становясь символом, символизируя мир ноуменального. Символизм Флоренского близок идее прафеномена Гёте. (См. примеч. 1.)

<sup>10</sup> Флоренский учился на математическом отделении физико-математического факультета Московского университета в 1900—1904 гг. (См.: *Иеродиакон Андроник (Трубачев)*. К 100-летию со дня рождения священника Павла Флоренского // *Богословские труды*. Сб. 23. М., 1982. С. 266—267.)

<sup>11</sup> Работа «Идея прерывности как элемент мирозозерцания» была начата Флоренским в 1900 г., когда он был студентом первого курса. В 1904 г. первая часть этой работы была представлена профессору Л. К. Лахтину и получила оценку «весьма удовлетворительно» (высшая тогда оценка). Тогда работа напечатана не была. Опубликовано лишь «Введение» к ней. (См.: *Историко-математические исследования*. Вып. 30. М.: Наука, 1986.)

<sup>12</sup> *Дю-Буа Реймон* Эмиль Генрих (1818—1896) — немецкий физиолог. Помимо специальных работ опубликовал целый ряд своих речей, произнесенных при различных торжественных событиях. К таковым принадлежит и речь о Гёте, изданная в виде брошюры: *Goethe und kein Ende...* Leipzig, Veit K<sup>o</sup>, 1883.

<sup>13</sup> Журнал «*Природа*» выходил в России с 1912 г. Скорее всего, Флоренские выписывали журнал «*Природа и люди*», выходивший в Петербурге с ноября 1889 г. по апрель 1918 г. (издатель — П. П. Сойкин, редактор — С. С. Груздев, а с февраля 1918 г. — Я. И. Перельман). В журнале печатались биографии деятелей науки и культуры, знаменитых путешественников и изобретателей. Большим успехом среди юношества пользовались приключенческие и фантастические романы, повести,

рассказы, описания путешествий, полярных и других географических экспедиций. В «Научном отделе» регулярно публиковались краткие очерки по всем отраслям естествознания: физике, химии, ботанике, зоологии, минералогии, астрономии и др. В «Отделе текущих известий» давались сведения о новейших открытиях и изобретениях, об успехах естествознания и т. п.

<sup>14</sup> Французский естественнонаучный журнал, популяризирующий достижения науки. Издавался с 1872 г. Гастроном Тиссандье.

<sup>15</sup> См.: Э.-Т.-А. Гофман. Собр. соч. СПб.: Издатель Г. Ф. Пантелеев, 1896. Т. 2. С. 23.

<sup>16</sup> См.: Сочинения А. С. Пушкина. Полное собрание в одном томе/ Издание Ф. Павленкова, исполненное под ред. А. М. Скабичевского. СПб., 1887.

<sup>17</sup> Стихи из «Пира во время чумы». (Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. 3-е изд. М.: Наука, 1964. Т. 5. С. 419.)

<sup>18</sup> *Ливингстон* Дэвид (1813—1873) — английский путешественник по Африке. Изучал богословие и медицину. В 1840 г. стал миссионером. Совершил ряд длительных путешествий по Южной и Центральной Африке. Исследовал бассейн реки Замбези, озеро Ньяса, открыл водонад Виктории, озеро Ширва, Бангвеулу и реку Луалабу, вместе с Г. Стэнли исследовал озеро Танганьика.

Русские переводы XIX в. книг о нем:

*Давид Л. и Чарлз Л.* Путешествие по Замбези и открытие озер Ширва и Ниасса (1858—1864). СПб., М.: Изд-во М. О. Вольф, 1867. Т. 1—2; Путешествия Дэвида Ливингстона по Внутренней Африке. С описанием замечательных открытий в Южной Африке, совершенных с 1840 по 1856 год / Пер. с нем. 2-е изд. СПб., М.: Изд-во М. О. Вольф, 1868; Последнее путешествие Ливингстона по Африке. С портретом автора, рисунками и картами. СПб.: Издание А. Н. Якоби, 1876.

<sup>19</sup> *Стэнли* Генри Мортон (настоящее имя и фамилия — Джон Роуллендс, 1841—1904) — американский путешественник по Африке. Целью его первого путешествия были поиски пропавшего Ливингстона. Вместе с ним исследовал озеро Танганьика. Дважды пересек Африку.

Русские переводы XIX в. его книг и книг о нем:

*Стэнли Г.* Как я нашел Ливингстона. СПб., 1873. Ч. 1—2; *Стэнли Г.* Мои чернокожие спутники и диковишные их рассказы. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1894; *Стэнли Г.* Иллюстрированный очерк его путешествий и открытий. СПб.: Тип. Суворина, 1890.

<sup>20</sup> *Кук* Джеймс (1728—1779) — английский мореплаватель; руководил тремя кругосветными плаваниями.

Русские переводы XVIII—XIX вв. его книг и книг о нем:

Путешествие в южной половине земного шара и вокруг него, учиненное в продолжение 1772, 73, 74 и 75 годов английскими королевскими судами «Резолюцию» и «Адвентюр» под начальством капитана Иакова

Кука/ С французского перевел Логгин Голенищев-Кутузов. СПб.: В тип. Морского шляхетского кадетского корпуса, 1796—1800. Ч. 1—6; *Горн В.* Джеймс Кук, великий мореплаватель: Биографический рассказ для юношества. СПб., М., 1874.

<sup>21</sup> Кант развил гипотезу о происхождении небесных тел солнечной системы из первоначального рассеяния элементов материи по всему мировому пространству в сочинении «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755). (См.: *Кант Иммануил.* Сочинения: В 6 т. М.: Мысль, 1963. Т. 1.)

*Лаплас Пьер Симон* (1749—1827) — знаменитый французский математик и астроном. В книге «Exposition du Systeme du Monde par M. le marquis de Laplace» (1796. В 2 т.) разработал аналогичную Кантовой гипотезу на основе закона всемирного тяготения Ньютона. (См.: *Лаплас Пьер Симон.* Изложение системы мира/ Пер. В. М. Васильева. Л.: Наука, 1982. С. 324—331. (Серия «Классики науки»).

<sup>22</sup> *Ньюком Саймон* (1835—1909) — американский астроном. Важнейшие его работы посвящены изучению движения больших планет, определению астрономических постоянных и составлению каталогов точных положений звезд. Числовые значения астрономических постоянных прецессии, нутации и абберации, полученные Ньюкомом, были приняты в качестве международных на Парижской международной астрономической конференции в 1866 г. (См. описание сентябрьской кометы 1882 г. в кн.: *Нилус С. А.* «Близ есть, при дверях. О том, чему не желают верить и что так близко». 4-е изд. Сергиев Посад, 1917. С. 3—7.)

<sup>23</sup> *Лайель Чарльз* (1797—1875) — английский геолог-эволюционист. Его труды посвящены реконструкции истории Земли на началах актуализма — принципа, полагающего, что с древнейших времен и до наших дней не действует никаких других причин, кроме тех, что действуют ныне.

<sup>24</sup> *Геккель Эрнст* (1834—1919) — немецкий естествоиспытатель, последователь Дарвина. Большую известность получили его книги и статьи, посвященные популяризации эволюционной теории.

Все перечисленные Флоренским ученые были представителями эволюционизма, характерного для науки XIX в. Эволюционизм перешагнул границы науки и стал господствующим мировоззрением. Одно из направлений философского и научного поиска Флоренского — стремление к преодолению этого господства.

<sup>25</sup> Извне, с внешней стороны (*лат.*).

<sup>26</sup> Философское учение, по которому все многообразие мира произошло не творческим действием Бога, а через самозарождение и дальнейшее развитие от простейших форм к сложным.

<sup>27</sup> Синоним «механицизм» — философское учение, по которому жизнь природы и общества происходит согласно законам механической формы движения материи.

<sup>28</sup> *Гофман Э.-Т.-А.* Собр. соч. СПб.: Издатель Г. Ф. Пантелеев, 1896. Т. 3. С. 177.

<sup>29</sup> Чудотворчество (*греч.*). Различают «черную» и «белую» магию, смотря по тому, к каким силам — адским, бесовским или природным, космическим — прибегает маг. Со средних веков в магии формируется направление, тождественное умению производить при помощи физических, механических и химических средств такие действия, которые могут привести в недоумение людей несведущих. Это направление не связывает себя с вызовом потусторонних сил и, как оно считает, фактически сводит-ся к фокусу.

Христианство резко противостоит не только «черной», но и «белой» магии. Запретность «белой» магии основывается на том, что человеку предлагается безблагодатный путь воздействия на силы природы, которая с грехопадения Адама находится в поврежденном состоянии. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих: потому что тварь покори-лась суеце не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стонет и мучится доньше». (Рим. 8, 19—22.)

<sup>30</sup> Здесь и на последующих страницах Флоренский развивает важную для него тему о присутствии «чудесного» (сверхъестественного) в явлениях реальности и о возможности магии, магических действий, вызывающих проявления сверхъестественного. Общие позиции его философского символизма, родственного, как он неоднократно указывал, мирозерцанию античной Греции, закономерно приводили его к признанию сферы «чудесного» и магического. (Ср.: «Античный философ... необходимым образом является апологетом алхимии, астрологии и магии»// *Лосев А. Ф.* Античный космос и современная наука. М.: Изд. автора, 1927. С. 229.) Однако признание сферы «чудесного», магического, исходя из предпосылки философского символизма, отнюдь не означает главенства этой сферы в жизни и в мировоззрении. Именно поэтому Флоренский в «Воспоминаниях» показывает органическую связь шарлатанства и оккультизма, обманного фокуса и магии. (См. также примеч. 33.)

<sup>31</sup> Течение, связанное с особой практикой общения с потусторонним миром (приемы медиумизма, столоверчение и т. п.). В середине XIX в. возникает новая волна спиритизма, зародившаяся в США. Первую группу явлений спиритизма составляют явления, совершаемые медиумом (приподнимание и вращение стола при паложении на него рук, писание и рисование рукою медиума, автоматический разговор в состоянии транса). Вторую группу составляют явления, совершающиеся в присутствии медиума, но без его непосредственного участия (стуки, передвижение мебели, появление света, голосов, музыкальных звуков, материальных фигур и проч.). В России первые спиритические сеансы проходили в начале 1870-х годов. Спиритизм нашел здесь и противников (см.: *Материалы для суждения о спиритизме.* Издание Д. Менделеева. Спб., 1876) и поклонников (см.: *Аксаков А. Н.* Разоблачения: История медиумической комиссии. Спб., 1883).

<sup>32</sup> См.: Иллюстрированная история суеверий и волшебства от древности до наших дней / Сост. д-р Лемани, директор психофизической лаборатории в Копенгагене; Пер. с нем. д-ра Петерсона. М.: Издание магазина «Книжное дело», 1900. С. 412—413.

<sup>33</sup> От *occultus* (лат.) — тайный, сокровенный; собирательный термин, обозначающий совокупность воззрений о скрытых таинственных (оккультных) силах человека и природы, с которыми возможно вступить в общение посредством магических действий. Оккультные силы обычно игнорируются наукой и философией. Впервые термин *philosophia occulta* был употреблен в XVI в. Агриппой Неттесгеймским. Основной метод оккультизма — метод аналогии. Оккультизм — понятие более широкое, чем теософия, спиритизм, магия и т. п., которые вместе с другими тайными науками — каббалой, алхимией, астрологией и т. п. — составляют лишь отдельные отрасли оккультизма. По мнению оккультистов, наука экзотерична, ибо исследует внешнюю сторону событий, оккультизм эзотеричен, ибо исследует внутреннюю, тайную суть событий и высших слоев бытия, доступную узкому кругу посвященных (аденты, иллюминаты, инициаты), главным источником знания является откровение. Носителями оккультных воззрений нового времени являются масоны (розенкрейцеры, иллюминаты и др.), теософы, антропософы и т. п. Флоренский резко отрицательно относился к распространившимся в России оккультно-магическим движениям, труды которых, как писал он, «сдва ли у кого будет охота перечитывать» (*Флоренский П. А. Отзыв о кандидатском сочинении студента LXVI курса МДА Михаила Семенова на тему «Типы современных оккультических движений в России: (Анализ и критическая их оценка)» // Богословский вестник. 1912. Т. 1. № 3. С. 326*). Успехи оккультической мистики, которую Флоренский называл «скверной ересью», он связывал с «невнимательным» чтением священником заклинательных молитв во время крещения (под «внимательным» чтением святитель Симеон Фессалоникийский разумет повторение их чуть ли не до девяти раз). «Большинство исследователей не отдают себе отчета, что оккультическая мистика вовсе не есть только учение, а есть прежде всего деяние, действие, практика; теория же вырастает уже на почве практики. Вот почему, будучи слабой и ничтожной в своем учении, этого рода мистика заразительна, сильна и опасна как непосредственное переживание. Вот почему гг. спиритуалисты и пр. тщательно хоронят концы в воду, когда дело идет о их практике, и бывают неумеренно болтливы в своем учении, которым, кстати сказать, вовсе особенно не дорожат». (Там же. С. 327.) Практика сектантских по природе оккультно-спиритуалистических кружков, по мнению Флоренского, есть **оргастические радения**, а наукообразные исследования, ведущиеся там, не более как внешнее занятие перед профанами. (См.: *Иеромонах Андроник (Трубачев)*. Священник Павел Флоренский. Личность, жизнь и творчество. (Теодицея и антроподицея.) Московская Духовная Академия, 1984. Рукопись. Приложение ко

2-й части. С. 25—26.) Сходную критику оккультизма мы встречаем у иеромонаха Серафима (Роуза) (1934—1982). См.: *Rose S. Celestial signes. Platina (Cal.)*, 1979.

<sup>34</sup> Ср.: Леманн, указ. в примеч. 32 соч. С. 13: «Если верят в существование демонов, т. е. низших духов, помощь которых в том, чего иным способом нельзя достигнуть, можно купить или вынудить, то вполне естественно, что в таком случае станут пробовать, нельзя ли добиться этой помощи. Всякий постуок, являющийся результатом такого мнения, есть магия».

<sup>35</sup> Из «Фауста» Гёте: «*Mephistopheles. Blut ist ein ganz besondrer Saft*».

**Перевод Н. Холодковского:**

«Кровь — сок совсем особенного свойства». (*Гёте. Фауст. Т. 1. Пер. Николая Холодковского. Пг.; Издание А. Ф. Девриена, 1914. С. 55.*)

**Перевод Б. Пастернака:**

«Кровь, надо знать, совсем особый сок». (*Гёте. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2: Фауст / Пер. Б. Пастернака. Художественная литература, 1976. С. 62.*)

**Перевод М. Вронченко:**

«Кровь есть особенность» \*. (С. 780.)

\* Точнее: «Совершенно особый сок». (С. 240.)

(Соч. Гёте. Спб., 1844.)

<sup>36</sup> Философское учение или позиция, где утверждается не только автономное существование духовного (ноуменального), но и возможность его свободных проявлений в эмпирической деятельности, не подчинявшихся естественным законам, но, напротив, подчиняющих их себе.

<sup>37</sup> Многозначное у Флоренского понятие, в которое он вкладывает смысл, отличный от общепринятого. Критику им магии в общепринятом смысле см. в примеч. 33. Понимая магичность предельно широко, Флоренский полагал, что «магическим» будет «всякое воздействие воли на органы тела»: «...граница тела может суживаться, почти до исключения из тела большей части его объема, а может и расширяться неопределенно далеко. Магия в этом отношении могла бы быть определенной как искусство смещать границу тела против обычного ее места. В сущности же говоря, всякое воздействие воли на органы тела следует мыслить по типу магического воздействия. Взятие пищи рукою, поднесение ко рту, положение в рот, разжевывание, глотание, не говоря уж о переваривании пищи, выделении слюны, желудочных соков, усвоения пищи и дальнейшего ее обращения в теле,— все эти действия магические, и магическими называю их не в общем смысле таинственности или сложности их совершения, а в точном смысле явления ими воли, хотя местами и подсознательной, по крайней мере, у большинства». (*Флоренский П. А. Органопроекция // Декоративное искусство СССР. 1969. № 12(145). С. 40.*)

В таком предельно широком понимании элементы магии как орудия воздействия есть во всякой деятельности человека: сакральной (имсна),

мировоззренческой (термины, понятия), хозяйственной (применение орудий техники), художественной (звуковые и зрительные образы). Но деятельность человека приобретает магический характер только тогда, когда выходит за пределы применяемых ею средств. Флоренский считал народное мировоззрение магическим именно в таком смысле, поскольку народ не просвещен церковностью и не развращен «интеллигентщиной». На почве такого магического мировоззрения вырос платонизм. (*Флоренский П. А. Общечеловеческие корни идеализма // Богословский вестник. 1909. Т. 1. № 2.*) Открытие Флоренским символически-магической природы народного мифа А. Ф. Лосев назвал подлинно новым, внесенным им «в мировую сокровищницу различных историко-философских учений, старающихся проникнуть в тайны платонизма». (*Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. С. 680.*)

Магичность символа, в том числе слова, выявляется в учении о магичности слова, под которой следует понимать наличие в нем ряда естественных сил и энергий, свойственных ему по причине самого его строения, то есть неустранимых, с помощью которых человек имеет возможность воздействовать на мир тварный, как на живой организм. (См.: *Иеромонах Андроник (Трубачек). Священник Павел Флоренский. Личность, жизнь и творчество (Теоидица и антроподица). С. 20—26.*) Необходимо учитывать, что полная характеристика символа, по Флоренскому, включает в себя антиномичность и синергетизм: магичности слова противостоит мистичность слова; в слове, в символе встречаются энергии познающего и познаваемого. В «Воспоминаниях» Флоренского речь идет лишь о магической стороне слова.

<sup>38</sup> Ср.: «В доме его не было зеркал, и если на отведенной ему квартире оставались зеркала, то закрывались простынями. «Помилуй Бог,— говорил он,— я не хочу видеть другого Суворова». (Домашние привычки и частная жизнь Суворова: Из записок отставного сержанта Ивана Сергеева, находившегося при Суворове шестнадцать лет безотлучно // Маяк, журнал современного просвещения, искусства и образованности в духе народности русской. Издатель С. Бурачек. Т. 1. Спб.: В тип. Императорской Академии наук, 1842. С. 106.)

<sup>39</sup> Ср.: «Говорили также, что в самый день смерти Павел, взглянув на себя в зеркало, сказал: «Мне кажется, как будто у меня сегодня лицо кривое!» Этот факт верен, и вот как Кутузов мне рассказывал о нем: «Мы ужинали вместе с императором; нас было 20 человек за столом; он был очень весел и много шутил с моей старшей дочерью, которая в качестве фрейлины присутствовала за ужином и сидела против императора. После ужина он говорил со мною, и, пока я отвечал ему несколько слов, он взглянул на себя в зеркало, имевшее недостаток и делавшее лица кривыми. Он пошеялся над этим и сказал мне: «Посмотрите, какое смешное зеркало, я вижу себя в нем с шестью на сторону». Это было за полтора часа до его кончины». (Из записок графа Ланжерона // Царсубийство 11 марта 1801 г.: Записки участников и современников. Спб., 1907. С. 151.)

<sup>40</sup> Гофман Э.-Т.-А. Собр. соч. Т. 7: Житейская философия Кота Мура. С отрывками из биографии Иоганна Крейсlera / Пер. М. А. Бекетовой. Спб., 1899. С. 120—121. Выделения в тексте сделаны Флоренским.

<sup>41</sup> Томсон Уильям, лорд *Кельвин* (1824—1907) — английский физик. Его вихревая теория — это попытка дать чисто кинетическое объяснение неделимого, но все же протяженного атома. По Томсону, атом есть вихревое кольцо, которое сохраняет неделимость, определенную форму и проявляет известную упругость.

<sup>42</sup> *Катушка Румкорфа*, или спираль Румкорфа, — индукционный аппарат, усовершенствованный немецким ученым Генрихом Румкорфом (1803—1877).

<sup>43</sup> Аксиомы, или законы движения Ньютона (*лат.*).

<sup>44</sup> После этих слов в машинописном оригинале следует: «... только принци...» — далее обрыв текста, вероятно, одного-двух предложений.

<sup>45</sup> *Бёклин* Арнольд (1827—1901) — швейцарский живописец, представитель стиля модерн.

<sup>46</sup> Другое написание — Аванцо. Имсея в виду художественный магазин Аванцо на Кузнецком мосту.

<sup>47</sup> Текст машинописного оригинала третьей редакции обрывается на слове «действи...». Продолжение приводится по тексту рукописного оригинала второй редакции.

<sup>48</sup> На этом текст рукописного оригинала второй редакции обрывается.

## VI. Наука

Текст подготовлен по рукописному оригиналу, представляющему собой запись С. И. Огневой под диктовку П. А. Флоренского. Оригинал правлен автором; другие редакции неизвестны. В оригинале название данной главы отсутствует, оно дано подготовителем текста.

Ранее данная глава публиковалась: Литературная учеба. 1988, № 6. С. 135—146.

<sup>1</sup> В 1898—1899 гг.

<sup>2</sup> К середине 20-х годов работы Флоренского сосредоточиваются в области электротехники и материаловедения. В 1924 г. вышел один из основных его трудов: «Диэлектрики и их техническое применение. Ч. 1: Общие свойства диэлектриков». В основание этого труда положены названные в этой главе экспериментальные исследования.

<sup>3</sup> *Фарадей* Майкл (1791—1867) — английский физик. В юности завел записную книжку, куда записывал все, что его интересовывало. Эта привычка не покидала его всю жизнь. Аналогично поступал и Флоренский. Некоторые свои работы Фарадей публиковал под названием, начинавшимся со слов «Экспериментальные исследования»: «Experimental Researches in Electricity» (Т. 1—3, 1844—1847—1855); «Experimental Researches in Chemistry and Physics» (1859).



<sup>4</sup> *Беккерель* Антуан Сезар (1788—1878) — французский физик. С 1829 г. член Парижской Академии наук, с 1838 г. — ее президент. Основные исследования Беккереля относятся к флюоресценции и фосфоресценции, термоэлектричеству, магнитным свойствам веществ, теории гальванических элементов и электропроводимости вещества.

<sup>5</sup> *Петрушевский* Федор Фомич (1828—1904) — русский физик. В 1865 г. занял кафедру физики в Петербургском университете. Петрушевскому принадлежит один из первых систематических курсов по электромагнетизму: «Экспериментальный и практический курс электричества, магнетизма и гальванизма» (1876). Один из инициаторов организации Русского физического общества и первый его председатель (с 1872 г.). После слияния этого общества с химическим (1878) до 1901 г. бессменный председатель физического отделения Русского физико-химического общества. С 1891 г. — главный редактор отдела точных и естественных наук Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Им написан «Курс наблюдательной физики». Т. 1—2. 2-е изд. Спб., 1874.

<sup>6</sup> «Курс физики» Жанена.

<sup>7</sup> *Мушкетов* Иван Васильевич (1850—1902) — русский геолог и географ. Его труд «Физическая геология» (1888—1891) был единственным для своего времени по полноте изложения и теоретическому уровню.

<sup>8</sup> *Иностранцев* Александр Александрович (1843—1919) — русский геолог, автор труда «Геология. Общий курс». Спб., 1912—1914.

<sup>9</sup> *Иовелль* Вильям (1794—1866) — английский ученый. Ему принадлежит труд «History of the inductive sciences» (1837), переведенный на русский язык: *Узвелл Вильям. История индуктивных наук от древнейшего и до настоящего времени* / Пер. с 3-го англ. изд. М. А. Антоновича и А. Н. Пыпина. Т. 1—3. Спб.: Русская книжная торговля, 1867—1869.

<sup>10</sup> *Розенбергер* Иоганн Карл Фердинанд — немецкий историк науки. Известен своей книгой: «Die Geschichte der Physik in Grundzügen von Dr. Ferdinand Rosenberger». 3 Bd. Braunschweig, Fr. Vieweg und Sohn, 1882—1890. Русский перевод: *Розенбергер Фердинанд. Очерк истории физики с синхронистическими таблицами по математике, химии, описательным наукам и всеобщей истории* / Пер. с нем. под ред. И. М. Сеченова. Ч. 1—3. Спб.: К. Риккер, 1883—1894. Этот перевод переиздан: *Розенбергер Ф. История физики* / Пер. с нем. И. Сеченова, вновь проверенный и переработанный В. С. Гохманом; Предисл. С. Ф. Васильева. Ч. I и II, ч. III. Вып. 1 и 2. М.; Л., 1933—1936.

<sup>11</sup> Журнал, издававшийся в Петербурге с апреля 1894 г. по май 1903 г. Основатель и первый редактор-издатель М. М. Филиппов, а с 1898 г. — П. П. Сойкин. Первоначально журнал был посвящен точным и естественным наукам. С октября 1896 г. программа издания значительно расширяется. Вводятся отделы: «Обществоведение и статистика», «История литературы», «История культуры и искусства». С 1902 г. был введен «Отдел беллетристики». «Научное обозрение» помещало научные

статьи, хронику русской науки, обзоры журналов и т. п. Многие статьи иллюстрировались рисунками, чертежами, фотоснимками. Как научный журнал возобновлен редактором-издателем В. В. Битнером и издавался в Петербурге в 1911—1912 гг.

<sup>12</sup> См. примеч. 43 к главе «Особенное».

<sup>13</sup> *Лагранж* Жозеф Луи (1736—1813) — французский математик и механик. В трактате «Аналитическая механика» (1788) в основу статики положил общую формулу, являющуюся принципом возможных перемещений, а в основу динамики — общую формулу, являющуюся сочетанием принципа возможных перемещений с принципом Д'Аламбера.

<sup>14</sup> *Д'Аламбер* Жан Лерон (1717—1783) — французский математик и философ. В 1743 г. в «Трактате о динамике» впервые сформулировал общие правила составления дифференциальных уравнений движения любых материальных систем, сводя задачи динамики к статике (принцип Д'Аламбера).

<sup>15</sup> *Кауфман* Вальтер (1871—1947) — немецкий физик. Исследовал отклонения частиц катодных лучей в магнитном поле (1896—1898). Первый экспериментально доказал (1902) зависимость массы электрона от его скорости.

<sup>16</sup> *Эйнштейн* Альберт (1879—1955) формулирует постулат общей теории относительности в 1916 г. так: «Общие законы природы должны быть выражены уравнениями, справедливыми во всех координатных системах, то есть эти уравнения должны быть ковариантными относительно любых подстановок (общековариантными)». См.: Основы общей теории относительности // Альберт Эйнштейн и теория гравитации. М.: Мир, 1979. С. 152.

<sup>17</sup> За и против (*лат.*).

<sup>18</sup> См. статью Флоренского «Итоги», написанную в 1922 г.: «...большая часть этой цивилизации, коль скоро разрушена система, само собою в небольшое число поколений забудется или останется в виде пережитков, может быть, ритуального характера, но ни к чему не обязывающих, — как какой-нибудь брудершафт, пережиток причащения кровью друг друга. Но основное русло жизни пойдет мимо того, что считалось еще так недавно заветным сокровищем цивилизации». (Флоренский П. А. Итоги // Эстетические ценности в системе культуры: Сб. научных статей. М.: Институт философии АН СССР, 1986. Ротапринт. С. 131—132.)

<sup>19</sup> Английский текст в 1-м акте, 5-й сцене: «The time is out of joint...» (*Шекспир Уильям*. Гамлет. Избранные переводы // М.: Радуга, 1985. С. 50.) Флоренский приводит перевод Н. Кетчера по изданию: Драматические произведения Шекспира. М., 1873. Ч. 7. С. 125. Близкий перевод дал А. Кронеберг: «...пала связь времеч!» (*Шекспир Уильям*. Гамлет. Избранные переводы. С. 245.) Ср. перевод М. Лозинского: «Век расшатался...» (Там же. С. 360.); перевод Б. Пастернака: «Разлажен жизни ход...» (Там же. С. 476.) Трагедии Шекспира посвящена работа Флоренского «Гамлет», напи-

санная в 1905 г. (Опубликована: Литературная учеба. 1989. № 5. С. 135—153.)

<sup>20</sup> Описанная Флоренским ситуация, сложившаяся в физике в конце XIX в., отмечена не только им. «В свое время между студентом Планком и профессором Жолли имел место примечательный разговор. Планк, намеревавшийся посвятить себя теоретической физике, спросил, что думает об этом его профессор. Жолли считал, что с открытием закона сохранения энергии физика как наука в основном себя исчерпала. Он воскликнул: «Молодой человек, зачем вы хотите испортить себе жизнь? Ведь теоретическая физика уже закончена, дифференциальные уравнения решены, остается рассмотреть отдельные частные случаи... Стоит ли браться за такое бесперспективное дело?» Впрочем, в то время так думали многие, даже мудрый Дж. Дж. Томсон, президент Королевского общества. В речи, произнесенной буквально за несколько дней до конца века, уже после открытия радиоактивности, рентгеновских лучей и им самим электрона, Томсон заявил, что наука вошла в спокойную гавань, разрешила все кардинальные вопросы, осталось лишь уточнять детали». (Кляуз Е. М. Макс Планк // Макс Планк. Единство физической картины мира. М.: Наука, 1966. С. 250.)

<sup>21</sup> *Ельчанинов* Александр Викторович (1881—1934) — учился во 2-й тифлисской гимназии в одном классе с П. А. Флоренским и В. Ф. Эрном. Поступил в Петербургский университет, после окончания которого был оставлен для научной работы по кафедре истории. Под влиянием Флоренского поступил в Московскую духовную академию. Курс обучения был прерван отбыванием воинской повинности на Кавказе. Отслужив в армии, в академию Ельчанинов не вернулся, увлекшись педагогической деятельностью. После революции эмигрировал во Францию, где в 1926 г. принял священство. Его духовником был отец Сергей Булгаков. Воспоминания А. В. Ельчанинова о Флоренском изданы: *Ельчанинов А.* Епископ-старец: (Воспоминания о епископе Антонии Флоренсове) // *Путь* (Париж). 1926. № 4. С. 157—165; *Ельчанинов А.* Из встреч с П. А. Флоренским (1909—1910) // *Вестник Русского христианского движения*. Париж; Нью-Йорк, 1984. № 142. С. 68—78.

<sup>22</sup> См.: *Флоренский П.* Об электрических и магнитных явлениях земли // *Известия Русского астрономического общества*. Сиб., 1900. Вып. 8. № 4—6. С. 108—109. В конце заметки указано: «Тифлис, 17 января 1899 г.». Там же, на с. 103—107 ст.: *Флоренский П.* Опыт воспроизведения туманных пятен. В конце заметки указано: «Тифлис, 28 февраля 1899».

<sup>23</sup> *Карпентер* Эдуард (1844—1929) — английский поэт и публицист. Ему принадлежит книга: «Civilisation: its Cause and Cure and other Essays». L., 1903. Существует русский перевод: *Карпентер Эд.* Цивилизация, ее причина и излечение и другие статьи / Пер. И. Ф. Наживина. Сиб.: И. Ф. Наживин. 1906. Эта книга включала в себя статью «Modern science», которую перевел С. Л. Толстой. Перевод с предисловием Л. Н. Толстого

был опубликован в журнале «Северный вестник», 1898, № 3. В том же году статья вышла отдельным изданием с ошибочным указанием переводчика: Современная наука / Пер. гр. Л. Н. Толстого. М.: М. В. Ключиц, 1898. Ошибка была исправлена в следующем издании: I. Современная наука: Критический очерк Эдуарда Карпентера / Пер. С. Л. Т. П. Предисловие Л. Н. Толстого. М.: Посредник, 1911.

<sup>24</sup> Слова в квадратных скобках внесены подготовителем текста для ясности. В оригинале имеются зачеркнутые обрывки: «но несмотря», «не могла остановить», которые свидетельствуют, что данное место нуждалось в редактировании.

<sup>25</sup> По всей видимости, Флоренский имеет в виду следующее место из книги В. В. Розанова «Уединенное»:

«Каждая моя строка есть священное писание (не в школьном, не в «употребительном» смысле), и каждая моя мысль есть священное слово.

— Как вы смеете? — кричит читатель.

— Ну вот так и смею,— смеюсь ему в ответ'я.

Я весь «в Провидении»... Боже, до чего я это чувствую». (Розанов В. Избранное. Мюнхен, 1970. С. 53.)

См. также у Розанова: «Почему я думаю, что каждое мое слово есть истина? Оно есть истина в отношении моей души, его сказавшей...» (ЦГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 224. Л. 10.)

<sup>26</sup> Имеется в виду растение семейства пасленовых *Physalis Alkekengi*; его чашечка при плодах велика и ярка, в просторечии ее называют «фонарик».

<sup>27</sup> Пропуск в тексте.

<sup>28</sup> По-видимому, Флоренский имеет в виду плод семейства баобабовых дуриан (*Durio zibethinus*). Плоды эти, величиной с человеческую голову, растут на высоких деревьях в лесах Малайского полуострова и Зондских островов. Сочная мякоть дуриана действительно очень вкусна (вкус взбитых сливок с привкусом малины); но, чтобы насладиться ее вкусом, необходимо претерпеть своеобразный запах, смесь аромата роз и фиалок с запахом чеснока и т. п. (См.: *Гунтер Франке и др.* Плоды земли / Пер. с нем. М.: Мир, 1979. С. 184—185; *Цингер А. В.* Занимательная ботаника. 4-е изд. Л.: Молодая гвардия, 1934. С. 75—76.)

<sup>29</sup> Ср.: Деяния Святых Апостолов, гл. 9, 4: «Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» Данное место ярко свидетельствует о том, что Павел Флоренский восходил к тому же духовному типу, что и апостол языков Павел. (Ср.: *Флоренский П. А.* Имена. Павел // Социологические исследования. 1989. № 6. С. 139—150.)

## VII. Обвал

Текст подготовлен по рукописному оригиналу, представляющему собой запись С. И. Огневой под диктовку П. А. Флоренского. Оригинал правлен автором; другие редакции неизвестны. В оригинале название данной главы отсутствует, оно дано подготовителем текста.

Ранее данная глава публиковалась: Литературная учеба. 1988. № 6. С. 147—159.

<sup>1</sup> *Бергсон* Анри (1859—1941) — французский философ. Через человека у Бергсона проходит путь «жизненного порыва» («elan vital»), который является первичной реальностью. «Жизненный порыв», жизнь отличны и от материи, и от духа, которые порознь суть продукты распада жизни.

<sup>2</sup> *Амиель* Анри Фредерик (1821—1881) — швейцарский поэт и моралист, профессор философии и эстетики Женевского университета.

<sup>3</sup> Иллюстрированный литературно-художественный журнал. Издавался ежемесячно в Спб. с 1899 по 1904 г. Редакторы С. П. Дягилев и А. Н. Бенуа. Орган художественного объединения «Мир искусства». (См.: *Корецкая И. В.* «Мир искусства» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890—1904. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М.: Наука, 1982. С. 129—178.)

<sup>4</sup> Научный, литературный и политический журнал. Издавался ежемесячно в Москве в 1880—1918 гг.

<sup>5</sup> *Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1866—1941) — русский писатель. Журнал «Мир искусства» с № 1 за 1900 г. начал публикацию его работы «Лев Толстой и Достоевский», приуроченной к 20-летию со дня смерти Достоевского и к 50-летию творческой деятельности Толстого. Вторая часть работы «Религия Л. Толстого и Достоевского» печаталась в журнале в 1901 г. Первое издание книги «Толстой и Достоевский» вышло в 2 т. в Спб. в 1901—1903 гг.

<sup>6</sup> См.: Роберт Дель *Оуэн*. Спорная область между двумя мирами. Наблюдения и изыскания в области медиумических явлений / Пер. с англ. К. Полянского. Спб.: Тип. В. С. Балашова, 1881.

<sup>7</sup> Старинный струнный клавишный инструмент в форме небольшого рояля. При нажии клавиш приводится в движение ряд деревянных тычинок с наконечниками, которые ударяют по струнам. На каждую клавишу приходится по одной струне. Перышки, приклеенные к клавишам, заставляют вибрировать струны. Объем клавиатуры редко превышал три октавы.

<sup>8</sup> В рукописном оригинале оставлено чистое место, вероятно, потому, что год рождения Александра Александровича Флоренского в различных источниках и записях указывается то 1888, то 1890. Принимаем годом его рождения 1888, как указано в разделе «Семья вашего деда» (глава «Раннее детство»).

<sup>9</sup> Имеется в виду геометрический метод построения «Этики» Бенедикта Спинозы (1632—1677), где, как в «Началах» Евклида, положения философской системы логически выводятся в виде теорем из набора аксиом и постулатов.

<sup>10</sup> Волоокая (*зреч.*). Этот эпитет указывает на зооморфное прошлое Геры. В жертву Гере приносили коров. В Аргосе Геру изображали в виде коровы. (См.: Мифы народов мира: Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1980. Т. 1. С. 276.)

<sup>11</sup> Далее в рукописном оригинале оставлено чистое место (1—5 строк).

<sup>12</sup> Людовик XVI (*фр.*, 1754—1793) — король Франции, казненный во время Великой французской революции. Во время его правления получает распространение классицизм, который во Франции называют «а la grecque» (стиль Людовика XVI). Этот стиль связан с раскопками в Геркулануме (1738) и Помпеях (1748), с трудами Винкельмана и других ученых, воспевавших античное искусство.

<sup>13</sup> Гумбольдт Александр Фридрих Генрих (1769—1859) — немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. Автор монументального труда «Космос» (1845—1857), представляющего собой свод знаний первой половины XIX в. Русский перевод: Космос: Опыт физического мироописания Александра фон Гумбольдта. Ч. 1 / Пер. с нем. Николая Фролова. М., 1848; Ч. 2 / Пер. с нем. Николая Фролова. М.: В типографии Александра Семена, 1851; Ч. 3. Отдел 1 / Пер. с нем. [и предисл.] Матвея Гусева. М., 1853; Ч. 3. Отдел 2 / Пер. с нем. Матвея Гусева. М., 1857; Ч. 4—5 / Пер. с нем. Якова Вейнберга. М., 1863. В России труд выдержал три издания.

<sup>14</sup> Городенский М. Н. — учитель физики во 2-й тифлисской гимназии.

<sup>15</sup> Тит Ливий (59 до н. э. — 17 н. э.) — римский историк, автор «Римской истории от основания города».

<sup>16</sup> Мах Эрнст (1838—1916) — австрийский физик и философ. Целью науки, по Маху, является не механическое объяснение, а описание на основе принципа экономии мышления. Такое понимание науки вело к отвержению механического миропонимания, которое Флоренский называет «механической мифологией». Отвергнув реальность механических моделей, Мах отвергает и всякую реальность, лежащую вне ощущений. Что же импонировало Флоренскому в этой концепции науки как «упрощенного и упорядоченного описания»? Разрушение с этих позиций, несколько столетий господствовавших, а посему и слишком самоуверенных, претензий на механическое объяснение как единственно возможное. Но далее Флоренский за Махом не идет. Для Маха физика есть экономическое описание, для Флоренского она — символическое описание, причем в символах сочетается и свободное творчество нашего духа, и сама реальность. (См.: Флоренский П. А. Символическое описание// Феникс. Кн. 1. М.: Изд-во «Костры», 1922.)

<sup>17</sup> *Шопенгауэр* Артур (1788—1860) — немецкий философ.

<sup>18</sup> «*Исповедь*», или «Вступление к неапечатанному сочинению», Л. Н. Толстого написана после его «второго рождения», как он называл происшедший во второй половине 1870-х годов перелом в его мирозерцании. В июле 1882 г. состоялось постановление духовной цензуры, запрещавшее появление «Исповеди». К этому времени майский номер журнала «Русская мысль» с «Исповедью» был уже отпечатан. По словам Н. Н. Бахметьева, секретаря «Русской мысли», «для выпуска майской книжки «Русской мысли» «Исповедь» пришлось вырезать под очень бдительным наблюдением инспектора типографии, который, печатая вырезанные листы, препроводил их для уничтожения в Главное управление по делам печати. Впоследствии мне приходилось встречать у некоторых лиц. В Петербурге эти вырезки из «Русской мысли». Оказалось, что Главное управление по делам печати выдало их нескольким высокопоставленным лицам, отказать в просьбе которым оно не могло. Осталось и в редакции «Русской мысли», и у меня лично несколько корректурных оттисков «Исповеди» в верстаных листах и в гранках, некоторые даже с поправками автора. С них в свое время снимались многочисленные копии, которые затем в гектографированном или литографированном виде расходились по всей России. В Петербурге существовал кружок студентов, специально занимавшийся таким издательством, и за три рубля за экземпляр. В Петербурге, Москве и других городах можно было иметь сколько угодно оттисков «Исповеди». В Петербурге главный склад этого издания помещался в квартире тестя одного из товарищей министра внутренних дел, того именно, который заведовал тогда жандармской частью. Несомненно, что нелегальным путем «Исповедь» разошлась в числе, во много раз большем, чем распространила бы ее «Русская мысль», печатавшаяся тогда только в трех тысячах экземпляров». (Н. Б.-в. Л. Н. Толстой и цензура в 80 годах// Новое время. 1908. № 11694 от 1 октября. — Цит. по работе: *Гусев Н. Н.* «Исповедь». История писания и печатания// *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957. Т. 23. С. 522.) Любопытно, что в нелегальном издании «Исповеди» принимал участие тогдашний студент В. И. Вернадский, который вспоминал: «Пользуясь тем, что мы издавали лекции, наш кружок участвовал в издании литографированной «Истории революционного движения в России» Туна. Издавали также «Исповедь» и другие произведения Л. Н. Толстого. («Прометей-15». Молодая гвардия, 1988. С. 36.) Флоренский мог прочесть «Исповедь» именно в одном из нелегальных изданий.

<sup>19</sup> Одна из книг Ветхого Завета — «Книга Екклесиаста, или Пророковника».

<sup>20</sup> Флоренскому могли быть известны следующие книги и статьи:

*Васильев В.* Буддизм, его догматы, история и литература. Ч. I: Общее обозрение. Спб., 1857 (Ч. II не вышла); Ч. III. История буддизма в Индии. Соч. Даранаты / Пер. с тибетского. Спб., 1869.

*Лесевич В.* Буддийский катехизис// Русская мысль. 1887. № 8.

*Минаев И.* Буддизм: Материалы и исследования. Спб., 1887.

Буддийский катехизис/ Пер. с нем. Т. Будкевича. Харьков, 1888.

*Леопардов Н.* Краткое изложение учения Будды, составляющего индийскую религию. Киев, 1889.

*Ольденберг Г.* Будда. Его жизнь, учение и община/ Пер. П. Николаева. 2-е изд. М., 1891.

Сутта-Нипата. Сборник бесед и поучений. Буддийская каноническая книга. Пер. с пали д-р Фаусбёллем. Русск. пер. и предисл. Н. И. Герасимова. М., 1899.

Буддийские сутты. Пер. с пали проф. Рис-Дэвиса. С примеч. и вступ. статьей. Русск. пер. и предисл. Н. И. Герасимова. М., 1900.

<sup>21</sup> В лекционном курсе для студентов Московской духовной академии «Культурно-историческое место и предпосылки христианского миропонимания», прочитанном осенью 1921 г. в Москве, Флоренский так рассказал о формировании своего мировоззрения в это время (студенческая запись):

«Обыкновенно личные мотивы чрезвычайно приближают то, о чем идет речь. Поэтому и я сейчас хочу рассказать вам из своей биографии. Когда стало образовываться мое мировоззрение, ход моих мыслей приблизительно был таков. Я родился и вырос в вере в научное мышление. Другого мышления, кроме него, я не знал, и в него именно была вера, то есть признание его как чего-то саморазумеющегося, так что все то, что находится вне его, заведомо есть ложь. Но затем, когда я стал замечать в нем ряд неувязок и трещин и в то же время у меня началось более глубокое подхождение к жизни — преимущественно мистического характера, то у меня появилось черное настроение, подобное тому, какое изображено в «Фаусте» вначале. Вместе с тем в это же время я столкнулся с сочинениями Льва Толстого. Но меня привлекала не догматическая их сторона. Догматическое учение Льва Толстого — наивная и невежественная болтовня на богословские темы. Я говорил, что если уж искать догматы, то лучше искать их, конечно, в Церкви, а не у Толстого; но конечно, и там не искал. Особенно привлекала меня его «Исповедь». Если исключить конец, который тенденциозно написан в позднейшее время, то это — лучшее сочинение апологетического характера, которое надо бы всячески распространять. Оно действует, как взрыв тяжелого огромного снаряда, и сразу уничтожает благодушное отношение к жизни. Появляется дилемма: или искать, найти Истину, или же умереть от жажды к Ней, умереть не только телесно, но и в более глубоком смысле, метафизически, хуже самоубийства. Поэтому «Исповедь» надо всячески рекомендовать, так как от нее не может быть ничего, кроме пользы. Собственное разочарование плюс действие сочинений Толстого — и я впал в величайшее внутреннее отчаяние. Это состояние продолжалось приблизительно год. Но в душе была тайная вера, что не может быть, чтобы Истины не было, что познание Ее невозможно, ведь иначе смерть, боролся духовный инстинкт,



что умирать не хочется — разумеется духовное умирание. А если для жизни необходимо знать Истину, а с другой стороны, ведь было же у сотни поколений, живших раньше меня, у моих предков какое-то прикосновение к Истине, — так как не могу же я быть настолько самоуверен, чтобы думать, что мне одному только дастся Истина и что те люди, миллионы, жили хуже скотов, то, следовательно, или я ничего не получу в результате своих поисков, или же они что-то имели. А так как я не могу допустить, что я все время буду находиться в этой черной дыре, то, следовательно, Истина всегда дана была людям, и Она не есть плод научения какой-нибудь книги, не рациональное, а нечто гораздо более глубокое построение, внутри нас живущее. — то, чем мы живем, дышим, питаемся. А все те или иные способы выражения Ее могут быть ценны или вредны. Но это — уже надстройка над Ней, нечто вторичное. Следовательно, все построения прояснить мыслителей были причастны Истине, раз человечество состояло из людей, а не из скотов. Так, я не могу допустить, чтобы только у меня было чистое ядро, а у них — только видимость, шелуха. А раз все эти построения, с одной стороны, не шелуха, а с другой — все они имеют значение временное, то это есть сразу, в одно и то же время и одежда, и тело, и шелуха, и ядро, и не оно, и оно, и больше чем оно. Все эти учения были символами, истинными для их творцов, а для других — мертвой одеждой, и потому впрямую вредны. Понятие символа — что всякое живое миропонимание, которое нам нужно для себя, друзей, семьи, а не для кабинета, кафедры и так далее, все это может быть только символичным.

Не может быть метафизики внешней по отношению к центру нашей жизни, которая приводила бы к Истине. Может быть только такая, которая происходит от самой Истины, отправлялась бы от нашего переживания Истины, так как нельзя от сложения фактического материала получить Истину, а если бы Она случайно получилась, то мы не могли бы Ее узнать. Методы определяются целью. И обладание этой целью делает нас различными по духовной структуре. Строй мышления определяется целью, для которой мы живем, зависит от строя духовной жизни, от того центра, к которому она обращена. Формы строя мышления есть комплекс законов, фазы человечности и нашего состояния, которое преходяще. «Познаете Истину, и Истина свободит вы», свободит от рабства самому себе — объективизм законов мышления. Дух, познавая Истину и смотря на себя со стороны, перерастает самого себя, и если это раньше представлялось непонятным, то становится ясным на другой ступени. Не может быть метафизики и науки самодовлеющей: они отправляются от предмета веры, который существует и в научной мысли.

## ДОПОЛНЕНИЯ

В «Дополнения» собраны первоначальные замыслы, планы и отдельные тексты 1916—1921 годов, не вошедшие в окончательный состав «Воспоминаний», а также одно из писем Флоренского 1899 г. Весь этот материал значительно обогащает основной текст и, кроме того, дает понятие о более общем замысле Флоренского, оставшемся неосуществленным. Тексты первоначальных редакций, переработанные Флоренским стилистически или расширенные, в «Дополнения» не включены.

### *Из первоначальных замыслов и планов*

Собрано из черновых записок (чернила, карандаш). Очень многое поддается прочтению лишь предположительно.

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

### *К главе I «Раннее детство»*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Данные три слова записаны, вероятно, рукой супруги Флоренского Анны Михайловны (рожд. Гиацинтовой).

### *К главе II «Пристань и бульвар (Батум)»*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Пропуск в тексте.

### *К главе III «Природа»*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

### *К главе IV «Религия»*

<sup>1</sup> Текст «Мое первое знакомство с богословием» впервые опубликован по рукописи Флоренского: Литературная учеба. 1988. № 2. С. 175—176.

<sup>2</sup> При первой публикации ошибочное прочтение: «В Батуме».

<sup>3</sup> Полностью публикуется впервые по рукописи Флоренского. Первые два абзаца впервые опубликованы: Литературная учеба. 1988. № 2. С. 175.

<sup>4</sup> Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

### *К главе V «Особенное»*

Оба текста впервые опубликованы по рукописи Флоренского: Литературная учеба. 1988. № 6. С. 159—161.

### *К главе VI «Наука»*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> «Жизнь Иисуса» (имеется в виду издание: *Ренан Э. Жизнь Иисуса* / Пер. О. А. Крыловой. Спб.: Изд. Н. Глаголева, 1907).

<sup>2</sup> В другом месте Флоренский называет его Владиславом (см. с. 403).

<sup>3</sup> Об этом знакомстве Флоренский упоминает также в «Автобиографии» 1927 г. «Учился я во 2-й Тифлисской классической гимназии. Класс наш считался выдающимся, и из него вышло довольно много деятелей (упомяну Д. Бурлюка, И. Церетели, Л. Розенфельда (Каменев) и др.)». (Наше наследие. 1988. № 1. С. 75.) Одна из юношеских записных книжек Флоренского содержит подробные записи обо всех, кто учился с ним во 2-й тифлисской гимназии в 5-м классе 1-го отделения в 1897—1898 гг. Приводим сводные данные:

**Аршев** Армаис Николаевич — армянин, григорианин. **Асатиани** Михаил — грузин, православный. **Буйнов** Михаил — русский, православный. **Ворожебский** Владимир — русский, православный. **Габинов** Ваган — армянин, григорианин, 15 июля 1880 г., в Тифлисе. Место жительства — Армянский базар, № 11, дом Нариманова. **Гамбаров** Саркис — армянин, григорианин. **Григорьев** Александр — русский, православный. **Гургенов** Николай Иосифович — армянин, католик. Место жительства — под Давидом, Тауминовский пер., № 6, собственный дом. **Доброхотов** Николай Степанович — русский, православный. **Евангулов** Гаррегин — армянин, григорианин. **Ельчанинов** Александр Викторович — русский, православный, 1 марта 1881 г. в г. Николаеве Херсонской губернии, именины 30 августа. Место жительства — Николаевская, № 63 (около католической церкви). **Жобá** Альборнс — француз, лютеранин. **Зумбулидзе** Кирилл — грузин, православный. **Каланторов** Бежан — армянин, григорианин. Место жительства — Садовая ул. (Сололаки), № 50а, собственный дом. **Кандуралцв** Григорий — армянин, григорианин. **Кеснер** Александр — немец, православный. **Кипиани** Вахтаг Михайлович — грузин, православный. **Коцебов** Александр — русский, православный. **Краткий** Владимир — немец, лютеранин. **Лазарев** Георгий — грек, православный. **Лобачевский** Виктор — русский, православный. **Николаев** Георгий — русский, православный, 16 мая 1880. **Парсаданов** Арташет — армянин, григорианин, 26 августа 1881 в Тифлисе. Место жительства — Графская ул., № 16 (против 1-й женской гимназии). **Пицца** Густав — немец, лютеранин, 1879. **Розенштейн** Яков Львович — еврей, 31 марта 1882 (83?), в Тифлисе. **Розенштейн** Моисей Львович — еврей, 4 апреля 1881 в Петербурге. Место жительства обоих — Реутовская ул., № 6, дом Аргутинского. **Салагов** Фома — грузин, православный, декабря 1878. **Стасенко** Валентин — русский, православный. **Соколовский** Анатолий — поляк, православный, 10 октября 1880. Место жительства — Николаевская, № 56. **Флоренский** Павел — русский, православный, 9 января 1882, в местечке Евлах (около Елизаветноля). Место жительства — Александровская, № 23 (левый звонок). **Фрей** Виллиам — англичанин (американец). Место жительства — 1-я женская гимназия, дверь направо. **Френ** Сергей —

немец, лютеранин. Местожительство — пассаж Кроша, № 9. Худатов Владимир — армянин, григорианин (учит православный Закон Божий), 25 января 1882 в Тионетах. Местожительство — Николаевская, 61. Шах-Малиев Митаил (?) — татарин, магометанин, 19 января 1877 в Елизаветполе (в деревне около Елизаветполя). Шенгер Евгений — православный, 19 марта 1882. Эминов Александр — армянин, григорианин. Эрн Владимир — швед, православный».

К «Списку учеников V-го класса 1-го отделения» в одном месте сделана приписка: «1898 г. VI класс» — и в данном списке приписаны две фамилии: «Пирра Мосхисецен; Розенко». Остается предположить, что или Д. Бурлюк и П. Церетели учились хотя и в одном классе с Флоренским, но в другом отделении, или же вообще в другом классе. Что касается Л. Б. Розенфельда (Каменева), то сам он писал: «В Тифлисе в 1901 г. Каменев окончил 2-ю гимназию». (Деятели Союза Советских Социалистических Республик и Октябрьской революции: Автобиографии и биографии. Изд. «Энциклопедического словаря Гранат». (1927). Репринтное издание. М., 1989, стб. 161.)

### *К главе VII «Обвал»*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Письмо сохранилось в юношеской тетради для копий писем Флоренского, которую он сам вел. В одной из записей Флоренский указывал, что написал письмо Л. Н. Толстому, однако неизвестно, дошло ли оно и был ли ответ.

<sup>3,5</sup> Эти два отрывка общего характера отнесены к данному разделу условно, как характеризующие всецелость, глубину внутренней перемены Флоренского.

<sup>2,4,6</sup> На этом текст обрывается.

## ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Свод генеалогических материалов о своих предках, собранный Флоренским, представляет зерно той «особой работы, уже научного характера», о которой он упоминает в самом начале «Воспоминаний». Ни как единое целое, ни как систематизированный материал эта работа не была завершена, и ныне мы располагаем лишь разрозненными текстами Флоренского. Если ранее, при работе самого Флоренского, эти тексты были переходным звеном от первоисточников к исследованию, то ныне они уже превратились в собственно первоисточник. Композиция «Генеалогических исследований» принадлежит составителям, хотя в их построении мы старались опираться на замысел Флоренского. В данное издание включены лишь основные генеалогические материалы, собранные Флоренским, в дальнейшем они будут дополняться. Обращаем внимание на то, что

«Генеалогические исследования» издаются почти без комментариев: примечания включают в себя лишь текстологические сведения и указания на некоторые фактические неточности. Комментирование материалов «Генеалогических исследований» Флоренского должно быть осуществлено при последующих изданиях.

### **ГЕНЕАЛОГИЯ. АВТОБИОГРАФИЯ**

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

### **ФЛОРЕНСКИЕ**

В начале данного раздела приводятся источники обобщающего характера («Антропологическая характеристика П. А. Флоренского», «О фамилии нашего рода»), затем материалы располагаются в хронологическом порядке. Сведения об отдельных представителях рода располагаются в порядке старшинства. Этой же схемы мы придерживаемся и при описании других родов. Некоторые исключения в расположении материала сделаны ради лучшего восприятия его как единого и последовательного повествования.

### **АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА П. А. ФЛОРЕНСКОГО 6 НОЯБРЯ 1917 г.**

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Пропуск в тексте.

<sup>2</sup> Пропуск в тексте.

<sup>3</sup> Пропуск в тексте.

<sup>4</sup> Пропуск в тексте.

### **О ФАМИЛИИ НАШЕГО РОДА. 7—8 НОЯБРЯ 1915 г.**

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Доброе потомство и славная жизнь (*лат.*).

<sup>2</sup> Не в цветущем состоянии (*лат.*).

<sup>3</sup> Рука берущего (*лат.*).

<sup>4</sup> Запись обрывается.

### **ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО В. В. РОЗАНОВУ 10 АВГУСТА 1909 г.**

В этом и последующих письмах В. В. Розанову Флоренский приводит основанные на семейных преданиях факты, которые впоследствии были им уточнены или исправлены в соответствии с документированными источниками. Но значение этих писем от этого не снижается, так как главное в них — подход к идее рода как целого, к выяснению свойств рода и его назначения. Кроме того, эти письма, как и некоторые другие публикуемые материалы, отражают не окончательный итог исследований,

а определенный этап и тем дают возможность выяснить творческий метод Флоренского.

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Прадед Андрей был не священником, а дьячком.

<sup>2</sup> Впоследствии Флоренский указывал на грузинское происхождение фамилии Сапаровых — щит, защита (убежище), см. с. 374, 391.

*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО В. В. РОЗАНОВУ  
15 НОЯБРЯ 1909 г.*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО В. В. РОЗАНОВУ  
28 МАЯ 1910 г.*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Здесь две неточности, исправленные впоследствии: дед Иван был сыном дьячка Андрея.

<sup>2</sup> Принципиальная ошибка: «Логика» Аристотеля (греч.).

*ПИСЬМО СВЯЩЕННИКА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО В. В. РОЗАНОВУ  
26—30 ОКТЯБРЯ 1915 г.*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Рок, судьба (лат.).

*НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ФЛОРИНСКИХ И ФЛОРЕНСКИХ.  
5 ДЕКАБРЯ 1915 г.*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

*ПИСЬМО СВЯЩЕННИКА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО  
ХРИСТОФОРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ. 28 ФЕВРАЛЯ 1916 г.*

Публикуется впервые по черновику Флоренского.

<sup>1</sup> Фамилия не установлена.

<sup>2</sup> Обрыв текста.

*ПИСЬМО СВЯЩЕННИКА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО  
В. Л. МОДЗАЛЕВСКОМУ. 22 МАЯ 1916 г.*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского. Оригинал находится: Отдел рукописей Центральной научной библиотеки УССР. III, № 34583.

*ЗАПИСКА О «РАДЗИВИЛЛОВСКОЙ ЕЛИ».*  
23 МАЯ 1916 г.

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

*ПРИМЕЧАНИЯ К РОДОСЛОВИЮ ФЛОРЕНСКИХ.*  
1915 г.

Примечания впоследствии были уточнены.  
Публикуются впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Прадед Андрей скончался приблизительно в 1826—1829 гг.

*АНДРЕЙ ФЛОРЕНСКИЙ (МОЙ ПРАДЕД).*  
1915—1916 гг.

Подборка объединена из отдельных материалов.  
Публикуется впервые по рукописям Флоренского.

<sup>1</sup> Семейное предание рассказывает о том, что один из предков рода Флоренских, Михайло Флоренко, был предводителем малороссийских казаков. Во время войн России с Польшей он был захвачен русскими, и голову его насадили на кол (устное сообщение К. П. Флоренского).

*ИВАН АНДРЕЕВИЧ ФЛОРЕНСКИЙ.*  
1915—1916 гг.

Подборка объединена из отдельных материалов.  
Публикуется впервые по рукописям Флоренского.

*АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ФЛОРЕНСКИЙ*

«Послужной список» публикуется впервые по машинописной заверенной копии № 13918 от 3 июля 1906 г. Тифлисской Канцелярии наместника его императорского величества на Кавказе.

*БЕСПОРЯДОЧНЫЕ ЗАМЕТКИ ОБ ОТЦЕ МОЕМ*  
*АЛЕКСАНДРЕ ИВАНОВИЧЕ ФЛОРЕНСКОМ.* 1916—1918 гг.

Переписанные заметки переплетены Флоренским в отдельную тетрадь.  
Публикуются впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> В оригинале сведения о лицах вписаны в родословную схему; в данном издании эти сведения помещены под номерами.

<sup>2</sup> Заметки «Наши батумские знакомства» присоединены к данному тексту.

<sup>3</sup> Заметки «В Тифлисе» присоединены к данному тексту.

<sup>4</sup> Заметки «Знакомые, товарищи и приятели моего отца» присоединены к данному тексту.

<sup>5</sup> Заметки «Карапетовы» присоединены к данному тексту.

<sup>6</sup> Заметки о Веденеевых, Худадовых, Евангуловых присоединены к данному тексту.

<sup>7</sup> Заметки о Ельчаниновых, Ланге-Поздеевых, Шабуровых присоединены к данному тексту.

<sup>8</sup> Заметки «Сомовы» присоединены к данному тексту.

<sup>9</sup> Заметки о Флоринах, «В Батуме» присоединены к данному тексту.

<sup>10</sup> Продолжение записей в тетради.

<sup>11</sup> Античный город (фр.).

*БЕСПОРЯДОЧНЫЕ ЗАМЕТКИ К БИОГРАФИИ  
ЛЮБИМОЙ ТЕТИ МОЕЙ ЮЛИ  
(ЮЛИИ ИВАНОВНЫ ФЛОРЕНСКОЙ). 1916—1918 гг.*

Переписанные заметки переплетены Флоренским в отдельную тетрадь.  
Публикуются впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Пропуск в тексте.

<sup>2</sup> Пропуск в тексте.

*РАССКАЗЫ ЛИДИИ ИВАНОВНЫ, ЗИНАИДЫ ИВАНОВНЫ  
И ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ФЛОРЕНСКИХ.  
1916—1924 гг.*

Переписанные заметки переплетены Флоренским в отдельную тетрадь.  
Публикуются впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Пропуск в тексте.

<sup>2</sup> Пропуск в тексте.

<sup>3</sup> Не закончено.

<sup>4</sup> Пропуск в тексте.

<sup>5</sup> Не закончено.

<sup>6</sup> Пропуск в тексте.

<sup>7</sup> Пропуск в тексте.

<sup>8</sup> Ошибка: Людмилы Ивановны.

<sup>9</sup> Вероятно, Алябьева.

<sup>10</sup> Этой заметкой кончаются записи рассказов от 24—25 июня и 16 августа 1916 г. Следующие заметки (№ 126'—130) — это выписки Флоренского 1918—1924 гг. из различных источников.

*Людмила Ивановна Флоренская-Струковская*

Подборка объединена из отдельных материалов.

Библиографическая заметка публикуется по рукописи Флоренского впервые.

<sup>1</sup> Текст некролога из газеты «Сибирский вестник», 3 января 1904 г. № 2. С. 2.



<sup>2</sup> Рассказ «Божья свеча». С. 3—28.

<sup>3</sup> Пропуск в тексте.

## **СОЛОВЬЕВЫ, УШАКОВЫ**

*РОД МОЕЙ БАБУШКИ АНФИСЫ. 1915—1916 гг.*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> В рукописи несколько раз ошибка: Алексеем Григорьевичем.

<sup>2</sup> Пропуск в тексте; отчество вставлено составителем.

<sup>3</sup> В рукописи описка: Елизаветы Владимировны.

<sup>4</sup> Пропуск в тексте.

<sup>5</sup> Ошибка: четверо.

*ИЗ ПИСЬМА СВЯЩЕННИКА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО  
И. М. КАРТАВЦЕВУ 21 ИЮЛЯ 1916 г.*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

*АНФИСА УАРОВНА СОЛОВЬЕВА. 4 ОКТАБРЯ 1916 г.*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Пропуск в тексте. В черновике вероятно такое чтение: «Во всяком случае, и не выродившийся еще тип».

<sup>2</sup> Пропуск в тексте. В черновике вероятно такое чтение: «Радоваться не (...)».

<sup>3</sup> Пропуск в тексте. В черновике вероятно такое чтение: «Эта жертва была для других, но она в самой (...)».

<sup>4</sup> Пропуск в тексте. Восстановлено по черновику.

<sup>5</sup> Пропуск в тексте. Восстановлено по черновику.

<sup>6</sup> Пропуск в тексте. Восстановлено по черновику.

*НИКОЛАЙ УАРОВИЧ СОЛОВЬЕВ. 1916 г.*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

*Г. Ф. ПЕКОК. [1916 г.]*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

*ИЗ РАССКАЗОВ З. И. ФЛОРЕНСКОЙ О МОРОЗОВЫХ,  
УШАКОВЫХ, ФЛОРЕНСКИХ. 1918 г.*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Вероятно, Прасковья Марковна Морозова.

<sup>2</sup> Вероятно, баронесса Надежда де-Тейльс. Ср.: «Рассказ Л. И., З. И. и В. И. Флоренских», № 83.

<sup>3</sup> В. И. Флоренский, сын И. А. Флоренского от его второго брака с Е. В. Ушаковой.

<sup>4</sup> З. И. и Л. И. Флоренские, дочери И. А. Флоренского от его второго брака с Е. В. Ушаковой.

<sup>5</sup> Ср.: «Рассказы Л. И., З. И. и В. И. Флоренских», № 73.

## **ИВАНОВЫ**

### **ЗАМЕТКИ О РОДЕ ПРАБАБКИ МОЕЙ**

**ЕКАТЕРИНЫ ФАНАСЬЕВНЫ ИВАНОВОЙ. 1916 — 1917 гг.**

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

**ИВАНОВЫ (ПО РАССКАЗАМ М. В. НЕСТЕРОВА).  
1917—1920 гг.**

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> В беловике рукописи на полях дата: «1912.VII.12». Считаем дату 1912 ониской, которая произошла в результате механического переписывания Флоренским собственной неясной черновой записи. Следующая дата на беловике — «1917.VII.13». Год 1917-й — время интенсивного общения Флоренского с М. В. Нестеровым, когда в мае художник написал двойной портрет «Философы» (священник Павел Флоренский и С. Н. Булгаков).

<sup>2</sup> С. В. Иванов скончался 3 августа 1910 г.

<sup>3</sup> В генеалогическую схему в квадратных скобках внесены имена, которые Флоренский узнал в мае 1920 г.

**СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИВАНОВ. 1917 г.**

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

**САПАРОВЫ, МЕЛИК-БЕГЛЯРОВЫ. ПААТОВЫ, ШАВЕРДОВЫ.  
АЛТИХАНОВЫ. ШАДИНОВЫ. КНЯЗЬЯ ЧЕРКЕЗОВЫ.  
ЗАМЕТКИ О РОДЕ МОЕЙ МАТЕРИ. 1916—1924 гг.**

Собрание набело переписанных и впоследствии дописываемых сведений по родословию в единой тетради. В качестве авторских примечаний к тексту использованы отдельные записи.

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Пропуск в оригинале. В соответственном месте текста «Заметки к биографии П. Г. Сапарова» имеется примеч. О. Г. Кониашвили: «Сапари — убежище, пари — щит».

<sup>2</sup> См. текст «По рассказам Сони и Ремсо тети», с. 400—402.

<sup>3</sup> Более принято написание фамилии: Арманд.

<sup>4</sup> Ошибка: Аркадия (Аршака) Павловича.

<sup>5</sup> Двоюродные, троюродные и т. д. братья и сестры (*фр.*).

<sup>6</sup> Изящностью, тонкостью, художественностью (*лат.*).

<sup>7</sup> Последнее предложение, вероятно, пояснение Флоренского, подобное тем, которые он писал в скобках и подписывал инициалами.

<sup>8</sup> В оригинале сведения о лицах вписаны в родословную схему; в данном издании эти сведения помещены под номерами. Некоторые уточнения Флоренский вписал в позднейшие годы.

<sup>9</sup> Позднейшая приписка; более точной следует, вероятно, считать дату кончины Е. П. Мелик-Бегляровой 22 ноября 1919 г.

<sup>10</sup> В рукописи дважды описка в заметке 28: Леонида Григорьевича.

<sup>11</sup> На этом рукопись обрывается.

#### *БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ. 1916 — 1917 гг.*

Публикуются впервые по рукописи Флоренского. См. также «Записка К. М. Попову. 18 июля 1932».

<sup>1</sup> Ответ на письмо Флоренского от 6 октября 1916 г.

#### *ЗАМЕТКИ К БИОГРАФИИ ПАВЛА ГЕРАСИМОВИЧА САПАРОВА [ок. 1923 г.]*

Судя по почерку, правописанию, чернилам и бумаге, рукопись предположительно можно отнести к началу 1920-х годов (ок. 1923 г.).

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Пропуск в тексте.

#### *ЗАМЕТКИ К ОПИСАНИЮ ХАРАКТЕРА ОЛЬГИ ПАВЛОВНЫ ФЛОРЕНСКОЙ. 1916 — 1917 гг.*

Объединены в один раздел составителем.

Публикуются впервые по рукописи Флоренского.

#### *ЗАМЕТКИ О РОДЕ МОЕЙ МАТЕРИ. 1921 — 1924 гг.*

Публикуются впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Заносчивость, гордость, спесь, гордое обращение (*греч.*).

<sup>2</sup> По замечанию О. Г. Кониашвили, ее девичья фамилия Майшариани. См. также примеч. 2 к тексту «По рассказам Соци и Ремсо тети».

#### *ПО РАССКАЗАМ СОНИ И РЕМСО ТЕТИ. 1922 — 1923 гг.*

К первой записи от 16.III.1922 (ст. ст.) Флоренский сделал дополнения (поставлены в скобках), вероятно, в 1923 г., когда был записан рассказ о Х. Н. Карамьяне.

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Примечание О. Г. Кониашвили: «Песня эта отнюдь не ария трубадура, а сочинена какими-нибудь мастеровыми и очень дурного тона».

<sup>2</sup> Примечание О. Г. Кониашвили: «Фамилия Майпариани по происхождению сванская. Скорее всего, из нижней Сванетии, что подтверждается дупоглазостью — так как там очень было распространено заболевание зубом».

## САПАРОВЫ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ РОДЫ И ЗНАКОМЫЕ

Различные черновые заметки и выписки (чернила, карандаш) объединены составителем.

Публикуются впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Сестры София Каспаровна и Нина Каспаровна — дочери Каспара (Гаспара) Герасимовича Сапарова (у Флоренского два раза описка: рожд[енная] Паатова).

<sup>2</sup> «Мамида», то есть тетушка, Татэла Герасимовна Сапарова.

<sup>3</sup> В материалах о Сапаровых, собранных Флоренским, есть вырезка газетной статьи, в которой упоминаются А. И. Хатисов (городской голова), Шавердов (работник городской управы). См.: Кучук. Письма с Кавказа // Московские ведомости. 1916. 23 августа. № 194.

*ЗАПИСКА КОНСТАНТИНУ МИХАЙЛОВИЧУ ПОПОВУ.  
18 ИЮЛЯ 1932 г.*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Попов Константин Михайлович — студент LXI курса Московской духовной академии (1891 — 1895), библиотекарь МДА с 17 сентября 1898 г. по 1919 г., составитель лучших систематических каталогов библиотеки МДА, издатель исторических документов, библиотекарь Сергиевского филиала Румянцевского музея (библиотеки) с 1919 по 1933 г., консультант библиотеки МДА в 1947 — 1954 гг. Скончался 19 декабря 1954 г. «К. М. Попов снискал себе всеобщее уважение и среди библиографов своей эпохи был, по определению С. А. Волкова, едва ли не самым всесторонне образованным эрудитом. В вопросах библиографии это был незаменимый человек. Он был поистине живой энциклопедист разных сведений в этой области. Даже самые эрудированные профессора прибегали к его помощи, чтобы сразу же получить нужную справку и указание... Он был также своего рода живой летописью прошлых времен Академии. Многочему он был свидетель, остальное знал или из книг, а чаще всего из рассказов бывших профессоров, которые он бережно хранил в своей памяти». (См.: *Игумен Феофилакт (Моисеев)*. Библиотека Московской Духовной Академии: Исторический очерк // Московская Духовная Академия. 300 лет (1685 — 1985). М., 1986. С. 259.)

<sup>2</sup> После закрытия Московской духовной академии в 1919 г. библиотека «на правах филиала Румянцевского музея существовала и действовала. Формально книги (за исключением религиозных) выдавались только на-

учным работникам и преподавателям городских школ. Но Константин Михайлович радушно принимал и бывших профессоров Академии, и бывших ее студентов, и лаврских монахов, живших в городе или его окрестностях. Некоторые профессора приезжали даже из Москвы, чтобы иметь возможность пользоваться фондом библиотеки. Временем ее закрытия можно считать 1933 г., когда библиотека была передана в Москву (Климентовский пер., 7)». (Там же. С. 258.)

## *ИЗ СОЛОВЕЦКИХ ПИСЕМ П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ*

Большинство писем Флоренского из Соловецкого лагеря особого назначения адресовано его жене Анне Михайловне. Сохранение писем — в основном ее заслуга. Писать из лагеря разрешалось три-четыре раза в месяц: одно основное письмо и два-три дополнительных (в зависимости от «поведения заключенного»). Флоренский вел общую нумерацию писем, чтобы можно было проследить их сохранность. Каждое, как правило, содержит несколько самостоятельных писем — жене, сыновьям, дочерям. Чтобы каждый мог читать свое письмо отдельно, текст на листе (двойная страничка из тетради в клетку) для каждого адресата писался на двух сторонах и страничку можно было разрезать на полоски. (См.: *Флоренский П. В.* Предисловие к публикации. Павел Флоренский. Письма из Соловков // Наше наследие. 1988. № 4. С. 115.) Однако совершенно очевидно и единство каждого письма, обращенного к семье как целому, поэтому мы даем общий заголовок «Из письма семье...», а внутри текста вводим подзаголовки, поясняющие, к кому обращена данная часть письма.

### *ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ 6—13 АПРЕЛЯ 1935 г. № 15*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> *Голубкина* Анна Семеновна (1864—1927) — скульптор; в 20-е годы дружила с Флоренским и его семьей.

<sup>2</sup> Имеется в виду Вернадский Владимир Иванович (1863—1945), академик. Переписывался с Флоренским в 20-е годы, писал ему в Соловецкий лагерь. (Архив АН СССР. Ф. 518. Оп. 3. № 1730.) Публикации: Письма П. А. Флоренского и В. И. Вернадского // Былое. Париж, 1985. Т. 1. С. 272—293; *Семенова С. Г.* Семья идей // Знамя. 1988. № 3. С. 185—201; Переписка В. И. Вернадского с семьей Флоренских // Вопросы истории естествознания и техники. 1988. № 1. С. 80—98.

С 1935 г. до мобилизации на фронт в 1942 г. у В. И. Вернадского работал сын Флоренского Кирилл, которому Вернадский писал на фронт. (Архив АН СССР. Ф. 518. Оп. 3. № 1729.) Публикации: *Федоров Р. М.*

«Так хочется работать!»: Переписка академика и солдата // Правда. 1985. № 80; *Шутова Т. А.* «Свое Вы сделали»: Из военной переписки В. И. Вернадского и К. П. Флоренского // Природа и человек. 1986. № 5. С. 36—39.

*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ*

22—23 АПРЕЛЯ 1935 г. № 16 (?)

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Сведения о лицах, расположенные в письме Флоренского в схеме, помещаются в данной публикации под номерами.

<sup>2</sup> *Быков* Николай Иванович (1885—1939) — заведующий Сковородинской мерзлотной опытной станцией на БАМЛИАГе, где Флоренский работал 10 февраля — 17 августа 1934 г. Исследования научной группы станции, в которую входил Флоренский, легли в основу книги: *Быков Н. И., Каптерев П. Н.* Вечная мерзлота и строительство на ней. М., 1940.

<sup>3</sup> Описка: Матвей Афанасьевич.

*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ*

27 АПРЕЛЯ—13 МАЯ 1935 г. № 17

Впервые опубликовано: *Флоренский Павел.* Письма из Соловков // Наше наследие. 1988. № 4. С. 121—124; Отрывки: Северный комсомолец. 1989. 20—26 мая. № 21. С. 9—10; *Иеродиакон Андролик (Трубачев).* Основные черты личности, жизнь и творчество священника Павла Флоренского // Журнал Московской Патриархии. 1982. № 4. С. 12.

<sup>1</sup> Ошибка памяти, имеются в виду воспоминания М. П. Погодина.

*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ 16—23 МАЯ 1935 г. № 18*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ 25 МАЯ 1935 г. № 19*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ 27 МАЯ—*

*6 ИЮНЯ 1935 г. № 20*

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Епископ Антоний (Флоренсов) родился 27 августа 1847 г., скончался 20 февраля 1918 г. (ст. ст.). Епископ Антоний был духовником Флоренского в 1904—1918 гг., благословил его на семейную жизнь. Их духовная близость усугублялась предположительным дальним родством: «Как-то на днях я познакомился с одним замечательным, хотя малоизвестным лицом. Это — лишенный епархии епископ Антоний, личность очень интересная и высокая. На меня же лично он произвел двойное впечатление;

потому что манерами, лицом и даже голосом очень похож на тетю Юлю. Вдобавок к этому его фамилия «Флоренсов», и я думаю, тут может быть какое-нибудь родственное сходство». (Из письма Флоренского матери 3 марта 1904 г.; см.: *Иеродиакон Андроник (Трубачев)*. Епископ Антоний Флоренсов — духовник священника Павла Флоренского // Журнал Московской Патриархии. 1982. № 10. С. 65.) «Флоренсовы были ранее Полянинными и получили свою новую фамилию «в честь дядей своих, профессоров Казанского Университета». Полагаю, что речь идет о проф. М. В. Флоренском, так что Флоренсов — сродни Флоренским, а стало быть — и нам, Флоренским. Какое-то родство с нами в Преподобном Антонии все всегда, с первого знакомства, чуялось в нем, но я не стал его расспрашивать о его родословии». (Из записей Флоренского 25 апреля 1918 г. См.: *Иеродиакон Андроник (Трубачев)*. Епископ Антоний Флоренсов — духовник священника Павла Флоренского // Журнал Московской Патриархии. 1982. № 9. С. 75.)

<sup>2</sup> *Григорова* Елена Митрофановна (скончалась в конце 1960-х годов), духовная дочь епископа Антония Флоренсова, а после его кончины — священника Павла Флоренского.

*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ*  
29 ИЮНЯ—6 ИЮЛЯ 1935 г. № 23

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Имеется в виду день памяти равноапостольной Ольги, 11 июля ст. ст. (24 июля н. ст.) — именины Ольги Павловны Флоренской и ее дочери Ольги (Вали).

<sup>2</sup> Имеется в виду день памяти мученицы Иулии девы, 16 июля (29 июля н. ст.) — именины сестры Юлии.

*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ*  
12—15 АВГУСТА 1935 г. № 27

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Вероятно, имеются в виду сыновья Василий и Кирилл, вернувшиеся из геологической экспедиции.

*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ*  
15—18 НОЯБРЯ 1935 г. № 37

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ*  
5—7 ДЕКАБРЯ 1935 г. № 40

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Флоренская Наталия Ивановна (рожд. Зарубина, родилась 15 сентября 1909 г.), супруга Василия Павловича Флоренского; вступили в брак в 1935 г.

*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ*  
17 ЯНВАРЯ 1936 г. [№ (?)]

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ*  
10—14 МАРТА 1936 г. № 52

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Рассуждения Флоренского восходят к его работам «Смысл идеализма» (Сергиев Посад, 1915), «Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях» (Социологические исследования. 1988. № 1).

*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ*  
25 МАРТА 1936 г. [№ (?)]

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ*  
8—10 АПРЕЛЯ 1936 г. № 56

Впервые опубликовано: *Флоренский Павел. Письма из Соловков // Наше наследие. 1988. № 4. С. 124—127; отрывки: Северный комсомолец. 1989. 27 мая—2 июня. № 22. С. 9—10.*

<sup>1</sup> Речь идет о выборе имени для ожидаемого ребенка Василия и Наталии. Рассуждения Флоренского восходят к его работе «Имена» (1923—1926), см.: Вопросы литературы. 1988. № 1; Социологические исследования. 1988. № 6; 1989. № 2—6; 1990. № 2—5; Опыты: Литературно-философский альманах. Сб. 1. М., 1990.

*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ*  
27 АПРЕЛЯ—4 МАЯ 1936 г. № 59

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ*  
1—7 ИЮНЯ 1936 г. № 64

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

*ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ*  
4—5 ИЮЛЯ 1936 г. № 66

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Флоренский Александр Иванович скончался 22 января 1908 г.



ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
7—9 ИЮЛЯ 1936 г. № 67

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Флоренский Павел Васильевич родился 7 июня 1936 г.

<sup>2</sup> Ср. работу Флоренского 1905 г. «Гамлет» (Литературная учеба. 1989. № 5).

<sup>3</sup> Даты приводятся по старому стилю.

<sup>4</sup> Фаворский *Владимир Андреевич* (1886—1964) — художник, в 20-е годы дружил с Флоренским и его семьей.

ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ 22—24 НОЯБРЯ 1936 г. № 81

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
5—15 ЯНВАРЯ 1937 г. № 87

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Гиацинтов *Михаил Федорович* — крестьянин (родился в ноябре 1850 г., скончался 31 июля 1893 г.), управляющий имением в селе Кутловы Борки Сапожковского уезда Рязанской губернии.

ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
20 АПРЕЛЯ 1937 г. № 98

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

ИЗ ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ  
11—13 МАЯ 1937 г. № 99

Впервые опубликовано: *Флоренский Павел*. Письма из Соловков // Наше наследие. 1988. № 4. С. 127—128; отрывки: *Иеродиакон Андроник (Трубачев)*. К 100-летию со дня рождения священника Павла Флоренского (1882—1943) // Богословские труды. Сб. 23. М., 1982. С. 274; Из писем П. А. Флоренского семье об А. С. Пушкине и литературе // Вопросы литературы. 1988. № 1. С. 157—158; *Трубачев С. З.* Музыкальный мир П. А. Флоренского // Советская музыка. 1988. № 9. С. 99; Северный комсомолец. 1989. 3—9 июня. № 23. С. 9—10.

## ЗАВЕЩАНИЕ. 1917—1923

Публикуется впервые по рукописи Флоренского.

<sup>1</sup> Завещание начато 11 апреля 1917 г. не случайно. После Февральской революции Московская духовная академия, где преподавал

Флоренский, подверглась разгрому как «консервативно-реакционное учреждение». 13 марта 1917 г. командированный обер-прокурором Святейшего синода профессор Б. В. Титлинов провел в МДА ревизию, а 9—10 апреля туда прибыл обер-прокурор Святейшего синода В. Н. Львов, впоследствии обновленческий антицерковный деятель. Цель его прибытия — удаление из учебного заведения ректора епископа Феодора и ближайших к нему профессоров, что вскоре и было проведено. Епископ Феодор был уволен 1 мая, а священник Павел Флоренский 3 мая был освобожден от обязанностей редактора «Богословского вестника». Все эти события для Флоренского были значительны не своей внешней стороной, а видимым началом гонения на Церковь и наступлением новой эпохи истории России, когда «никто не сможет и не должен быть уверен, что с ним будет на следующий день».

<sup>2</sup> Анна — супруга, Василий, Кирилл, Ольга — дети, имена которых Флоренский дописывал в «Завещании» по мере рождения детей.

## РОДОСЛОВНЫЕ РОСПИСИ

Родословные росписи составлены на основании сведений, собранных П. А. Флоренским. Большую часть сведений он помещал в родословные таблицы. В разных вариантах таблиц находятся дополняющие друг друга сведения. Даты рождения и смерти одного и того же лица в источниках иногда указываются по-разному по незнанию или потому, что было принято уменьшать возраст женщин. Все сведения были сопоставлены, по возможности выверены, дополнены собственными разысканиями составителей, систематизированы и переведены из родословных таблиц в родословные росписи. Необходимо заметить, что в родословных росписях мы не всегда придерживались строгих генеалогических правил, в частности включали продолжение рода по некоторым женским линиям в основную роспись, хотя род приобретал уже другую фамилию. Такое построение родословных росписей вызывается тем, что: 1) в данном издании они призваны раскрыть прежде всего родственные связи и в соответствии с этим дать справочный материал; 2) именно так были построены родословные таблицы Флоренского; 3) материала для построения самостоятельных родословных росписей родственных родов пока собрано недостаточно; 4) желающий легко может выстроить данную родословную роспись по строгим правилам генеалогии, для этого достаточно не учитывать боковых ветвей и произвести соответствующую перенумерацию.

## ТЕКСТЫ НА ОБОРОТЕ ФОТОГРАФИЙ

11. Текст на обороте:

«Папа и тетя Юля (Александр Иванович и сестра его Юлия Ивановна Флоренские). Копия с фотографического снимка, доставленного мне близкой знакомой отца — Ольгой Христиановной Павлович. Подлинник сделан в Петрограде. Против подлинника копия слегка увеличена. Подлинник снят в фотографии К. Андерсона (С.-Петербург), на альбуминной бумаге.

*СВЯЩЕННИК ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ*

Копия 1915.XII.21. Сергиев Посад (таких копий заказано полдюжины + 1 пробная карточка)».

15. Текст на обороте:

«Брату-другу на добрую память от сибиряка-переселенца. 7 января 1899 г., с. Прилуки».

16. Тексты на обороте:

«Владимир Иванович Ушаков, отец Елизаветы Владимировны Флоренской, рожденной Ушаковой, мачехи моего отца Александра Ивановича Флоренского, и близкий друг моего прадеда Уара Ефимовича Соловьева. Владимир Иванович Ушаков управлял имениями гр. Орлова [...] и жил в Серпуховском имении его «Отрада».

«Этот рисунок есть увеличенная линейно [...] копия, исполненная в августе месяце 1916-го года художником города Александра Д. Д. Лавровским с портрета-миниатюры, тоже сделанного венецианским карандашом братом Владимира Ивановича Ушакова — [...] Ивановичем Ушаковым, бывшим преподавателем рисования в Екатерининском Институте. Подлинник принадлежит Зинаиде Ивановне Флоренской, внучке Вл. Ивановича Ушакова, сводной сестре моего отца.

*СВЯЩ. П. ФЛОРЕНСКИЙ. 1916.VIII.19*

*Сергиев Посад».*

31. Текст на обороте:

«Георгий Алексеевич Паатов. Двоюродный брат моей матери Ольги Павловны Флоренской (Санаровой). Зарезан в 1905 г. во время татарско-армянской резни в Баку, на улице. (Был на водах и проехал...) Получено от тети Соии 1921.III.19 (IV.1) в г. Москве вечером».

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

---

<b>Абашидзе, кн.</b>	404
<b>Абих (Abich)</b>	
Герман Вильгельмович	132, 375, 376, 397, 490
<b>Абкази, кн.</b>	393
<b>Абрумова Анна Ивановна</b>	475
<b>Аванс (Аванцо)</b>	185, 369, 502
<b>Аваловы, кн.</b>	404
<b>Автаңдилова Варвара</b>	
Соломоновна	383, 399, 475
<b>Агрипина Ивановна</b>	368, 463
<b>Адлер</b>	415
<b>Айвазов</b>	42, 44, 259, 318, 434
<b>Аксаков А. Н.</b>	498
<b>Аксаков И. С.</b>	17
<b>Алабина Татьяна Алексеевна</b>	309
<b>д'Аламбер Жан Лерон</b>	193, 504
<b>Александр</b>	459
<b>Александр Невский, вел. кн.</b>	33
<b>Александр I, имп.</b>	296, 319, 457
<b>Александр II, имп.</b>	128, 331
<b>Александр III, имп.</b>	232, 247
<b>Александра Феодоровна, имп.</b>	343
<b>Александровский Федор</b>	334
<b>Алихановы</b>	373, 391, 520
Александр	472
Георгий Александрович	472
Мария Александровна	472
Наталья Александровна	472
Нина Александровна	472
<b>Алябьев Александр</b>	
Александрович	339, 427, 518
<b>Амбарданов Георгий</b>	
Григорьевич	466, 468, 469
<b>Амбарданов Константин</b>	
Григорьевич	469
<b>Амбарданова София</b>	
Григорьевна	468, 470
<b>Амисль Анри Фредерик</b>	217, 507
<b>Амилахваровы, кн.</b>	404
<b>Амираджибовы, кн.</b>	404
<b>Амиран</b>	221, 222, 226, 230

<b>Амировы</b>	380
Амиров	382
Ампер Андре Мари	87, 488
Амфитсаторов А. В.	338
Анаксимаандр	32, 482
Ананов	478
Андерсен Ханс Кристиан	330, 494
Андерсон	318
Андерсон К.	529
Андрей Матвеевич (Андрей Матфиев), прадед П. А. Флоренского	28, 279, 283, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 411, 446, 447, 517
<b>Андрониковы, кн.</b>	404
<b>Андросовы</b>	28, 151, 257, 259, 308
Ваня	185, 254, 309
Василий Иванович	79, 308
Мария Николаевна	309
Соня	185, 186, 253, 309
Антоний, епископ	441
Антония, игуменья	345, 346
Антонович М. А.	503
Арешев Армаис Николаевич	513
Аристов Павел	293
Аристотель	489, 516
Арманд Инесса	469
Арманд Ирина Львовна	399, 470
Арманд Лев Эмильевич	469, 470
Арпольди Владимир Митрофанович	55
Арсеньевы	415
Арутюнов	393
Арутюнов	406
<b>Арутюновы</b>	405, 406
Арутюнов	465
Александр Артемович	468
Артем	465, 468
Григорий	465
<b>Арутюновы-Сапаровы</b>	390
Архимед	489
<b>Асатиани, кн.</b>	397, 404
Александра (Шурка, Аля)	Михайловна 453
Катерина Федоровна	406
Михаил Иосифович	405
Михаил	404
Михаил Михайлович	251, 404, 406, 450, 469, 513
Асланбегова, кн.	404
Асрибеков	476
Арфик	318, 380
Афанасий Иванов	360, 445, 446
Афанасьев А.	371
Афинский, священник	331
о. Афоний [Вишняков]	400
Афросимов	334
Ахмет (Ахмед)	103, 104, 105, 113, 114, 235, 408

<b>Ахпатовы</b>	406
<b>Ашбековы</b>	380
<b>Багратионы, кн.</b>	404
<b>Бажибеловы-Маликовы, кн.</b>	404
<b>Байсаголовы</b>	406
Балагьян (Балагьянц, Балугьян) Самуил Агаевич	262, 263, 324
Балакирев М. А.	365
Балашов В. С.	507
<b>Баратаевы, кн.</b>	404
<b>Баратовы, кн.</b>	404
Баринов А.	344
<b>Барсуков (Андрей Николаевич?)</b>	261, 262, 263
<b>Бах Иоганн Себастьян</b>	52, 80, 81, 433, 485
Бахметьев Н. Н.	509
<b>Бебутовы, кн.</b>	404
Наталья	474
<b>Бегларовы</b>	376
Бегляр	473
Бекетова (урожд. Опочинина)	349
Бекетова М. А.	502
Беккерель Антуан Сезар	192, 503
Бёклин Арнольд	185, 502
Бекляров	389
<b>Бектабеговы, кн.</b>	404
Белоруков Александр Михайлович	287
Белоруков Аркадий Иванович	447
Белый Андрей	487, 493—494
Беляев Иоани	290
Бёмс Яков	32, 482
Бенуа А. Н.	507
Бергсон Анри	217, 507
Березин Илья Николаевич	253
Бертильон Альфонс	268
Бесо (Виссарион)	247, 313, 314
Бессель	317
Бестужев-Рюмин К. Н.	16
Бетховен Людвиг ван	70, 80, 146, 147, 313, 339, 485, 487
Бех Стефан, о. иеродиакон	300
Битнер В. В.	504
<b>Блаватские</b>	305
Блаватский	305
Елена Петровна (урожд. Ган)	303, 304, 305
<b>Бобрицкая Варвара Николаевна. См.: Львова Варвара Николаевна</b>	
<b>Богдановы</b> (Викентий Карлович?)	332
София	332
Богдасаров	255
Болотов В. В.	282
Борис, кн.	289

Браз Иосиф Эммануилович	369
Бродски Ференц	485
Брокгауз К. П.	273, 489, 503
Броун-Секар Шарль	310
Бруни	423
<b>Брюловы</b>	423
Карл Павлович	343
Брюсов В. Я.	480
Бугаев Н. В.	485
Будкевич Т.	510
Бузескул В.	390
Буйнов Михаил	513
Булгаков Сергей, протоиерей (Булгаков С. Н.)	9, 505, 520
Б(улич) С.	273
Бурачек С.	501
де Бурбон Генриетта (Henneritte de Bourbon)	392, 397
<b>Бурбоны</b>	397
Бутми-де Кауман Георгий Василье- вич	310
Бурлюк Д. (отец)	261, 262
Бурлюк Давид (сын)	261, 513, 514
<b>Быковы</b>	410
Иван Николаевич	411
Игорь	411
Кирилл	411
Николай	410
Николай	411
Николай Иванович	411, 524
Бэн (Бен) Александр	60, 486
Вагнер	491
Вагнер В. А.	338
Варвара Сергеевна [Барينو́ва]	343, 344
Варламов Александр Егорович	339
<b>Вартпатриковы</b>	316
Василий Шиосвич (Васико)	469
<b>Васильчиковы</b>	415
Васильев В.	509
Васильев В. М.	497
Васильев С. Ф.	503
Васнецов Виктор Михайлович	369
Васса Тимофеевна, прабабка П. А. Флоренского	28, 287, 290, 291, 292, 293, 447
Вахтен (?)	336
<b>Вачнадзе, кн.</b>	404
<b>Веденевы</b>	313, 518
Боря	313
Евгений Львович	313
Нина (?)	313, 314
Люся (Ольга?)	314
Вейнберг П. И.	490
Вейнберг Яков	508
Вернадский Владимир Иванович	410, 452, 509, 523

Вигель Ф. Ф.	349, 457
Вильгельм, имп.	375
Висковатов В. А.	148, 491
Войков Ф. М.	275, 276
Воздвиженская Надежда Петровна (Наденька)	344
Вознесенский, священник	340
Воинов Всеволод	371
Волков С. А.	522
Вольф М. О.	321, 496
Воробьев Владимир Егорович	221, 261, 262, 263
Ворожбский Владимир	513
Воронцов	457
<b>Воскресенские</b>	338
Марья Петровна	338
Нила Петровна	338
Вронченко Михаил Павлович	58, 486, 491, 500
Габинов Ваган	513
Гайди Франц Йозеф	80, 433
Гаке (Гааке)	302, 303
Галич	411
Галкин А.	273
Гамбаров Саркис	513
Гамкрелидзе И. Е.	243
<b>Ганы</b>	305
Алексей Егорович, барон	305
Вера Петровна	305
Елена Андреевна. См.: <i>Фадеева Елена Андреевна</i>	
Елена Петровна. См.: <i>Блаватская Елена Петровна</i>	
Гвинесев	405
Гегель	493
<b>Гедиановы, кн.</b>	404
Гейнс Владимир Константинович	498
Гейслер (Гейслер)	34, 484
Геккель Эрст	165, 497
Гензельт Адольф Львович	332, 364, 365
Георх IV	221
Георгиевский Климент Макарьевич	447
Георгий Александрович, цесаревич	223
Гераклит	482
Герасимов Н. И.	510
Гербель Н. В.	490
Гершензон Михаил Осипович	259
Гёте Иоганн Вольфганг	32, 69, 117, 124, 157, 158, 159, 263, 482, 486, 490, 491, 492, 493, 495, 497, 500
Гехтман Г. Н.	243
<b>Гиацинтовы</b>	379
Александр	379
Анна Михайловна (Анна, Аннуля)	12, 37, 287, 294, 300, 361, 379, 394, 395, 412, 416, 417, 419, 421, 423, 425,



	427, 428, 430, 438, 440, 449, 512, 523, 528
Василий	379
Гавриил	379
Иван	379
Михаил	379
Михаил Федорович	379, 437, 527
Надежда Петровна	379
Николай	379
Петр	379
Гиляров-Платонов	331
Гиппиус Зинаида Николаевна	450
Глинка Михаил Иванович	82, 83, 339, 385
Гобсон А.	486
Гоголи	410
Гоголь Николай Васильевич	280, 411, 494
Гоголь-Яновская Елизавета Васильевна	411
Гоголь-Яновский Василий	410
Гоготишвили Л. А.	493
Голенищев-Кутузов Логгин	497
Голицын Сергей Михайлович	362
Голохвастов Д. П.	362
Голубицкий	365
Голубицкая Анна Петровна	342, 365
Голубкина Анна Семеновна	409, 523
Голубцов	305
Голубцовы	301
Гольд	333
Гомблян	332
Гомер	489
Гомпер Федор Федорович	358
Горбачевич Осип	334
Горн В.	497
Горн Николай	362
Городенские	307
Иван Николаевич	307
Михаил Николаевич	240, 262, 263, 307, 508
Гофман Эрнст Теодор Амадей	53, 161, 166, 175, 176, 248, 486, 496, 502
Гохман В. С.	503
Грабарь Игорь Эммануилович	347
Гранат	514
Григорова Елена Митрофановна	418, 525
Григорьев Александр	513
Григорьева Антонина Александровна	451
Гроздьев Евгений	447
Гросман	370
Груздев С. С.	495
Грузинские, кн.	404
Губкин Иван Михайлович	452, 453
Гулишамбаров Рубен	311
Гулишамбаров Семен	311

Гулишамбаров (Гулишамбаров)	306, 308, 310, 311
Степан Иосифович	
Гулишамбарова Зинаида	
Стефановна	310
Гулишамбарова Наталия	
Григорьевна	310
Гумбольдт Александр	
Фридрих Генрих	240, 508
Гурамовы, кн.	404, 406
Гурамов	406
Машо Зорабовна	477
Гургенов Николай	
Иосифович	513
Гуриели, кн.	404
Гурилевы	81, 332, 333, 335, 427
Гурилев (Л. С.)	333, 335, 339, 347
Александр Львович	339, 356, 357, 414, 427
Гусев Матвей	508
Гусев Н. Н.	509
Гуттенберг	489
Гухтель	356
Гюго Виктор Мари	313
Гюйо Жан Мари	127, 490
Дагаташвили Варвара	
Иосифовна	450
Дадиановы, кн.	404
Дадишкалияны, кн.	404
Дамюр	379, 380
Даниловская София	311
Данте	489
Дарвин Чарлз Роберт	163, 165, 479
Даргомьжский Александр	
Сергеевич	339
Даудовы, кн.	404
Дациаро	369
Девей	168
Девриец А. Ф.	500
Декарт	489
Дементьев Николай	
Федорович	470
Демидов С. С.	8, 485
Детерс	347
Дерфельдт Антон Антонович	339
Джаваира	473
Джалалов Вахтаг	467
Джамбакурияны, кн.	404
Джандиеровы, кн.	404
Джапаридзе Иван	
Константинович	469
Джеваховы, кн.	404
Джемс (?)	263
Джорджадзе, кн.	404
Диккенс	69
Добринская	331

Доброхотов Николай Степанович	513
Долгоруков Петр Владимирович	294, 305, 307, 456
Долгоруков Петр Дмитриевич	350
Долгоруков-Аргентинский, кн.	478
Долуханов	476
Домбровский Рихард	334
Донец Илия Фаддсевич	380
Достоевский Федор Михайлович	68, 69, 70, 221, 507
Дунаев А. Г.	22
Дунаев Б. И.	273
Дурново	334
Душетский	358
Дьяченко	253
Дэви Гемфри	222
Дюбуа Рсймон Эмиль Генрих	159, 495
Эмиль Генрих	159, 495
Дягилев С. П.	347, 507
Евангулов Гаррегин	513
<b>Евангуловы</b>	406, 518
Александр Богданович	306, 314, 315, 384
Коля	314, 315
Евклид	508
Евлахович	253
Екатерина II, имп.	456
Елена [Быкова?]	411
Елизавета	410
Елизавета (Васильевна?)	369, 463
Елизавета Петровна, имп.	277, 355
<b>Ельчаниновы</b>	518
Александр Викторович	201—206, 251, 505, 513
Женя	316
Иван Николаевич	284, 348
Николай Викторович	316
<b>Енгальчевы</b>	329, 330, 340, 365
Енгальчев, кн.	330, 365
Енгальчева (А. Н.?), кн.	329, 339
Енгальчев Парфений, кн.	330
Ениколопова Екатерина	465
Ениколопова Наталия	473
Еништа	332
Ефимова Нина Яковлевна	400
Ефрон И. А. (Эфрон)	273, 489, 503
Ехианц Шхиян(?) Марта (Матико)	475
Ешевский	334
Жанен	192, 503
<b>Желиховская.</b> См.: <i>Ган Вера</i> <i>Петровна</i>	304, 305
<b>Желиховские</b>	305
Желиховский Владимир Иванович	28, 304, 305, 331

Жилинские	309
Жиль	397
Жоба Альоронс	513
Жолли	505
Жора [Быкова?]	411
Зарубина Наталия Ивановна	422, 423, 425, 431, 432, 437, 452, 526
Заруцкий	289
Зацепины (урожд. Колокольцовы)	348
Згурский А.	326
Зиновьева Лукерия Ивановна	456
Зубов	407
Зумбулидзе Кирилл	513
Иван (?)	457
Иванишвили Давид Николаевич	453, 454
Иванишвили Мария Давидовна	454
Иванов	314
Иванов	312
Иванов Вяч.	494
Иванова Лёсла	314
Ивановы	82, 330, 360, 367, 368, 414, 455, 460, 464, 520
Августа Сергеевна	462
Александра Николаевна	463
Александра Сергеевна	462
Василий Николаевич	368, 369, 460, 463
Елена Ивановна	463
Елизавета Николаевна	463
Иван (Иоани)	460
Иван Николаевич	463
Иван Сергеевич	462
Касьян Иванович	463
Катерина (Екатерина) Афанасьевна	28, 329, 331, 335, 336, 357, 358, 367, 414, 455, 461, 520
Мария Васильевна	464
Мария Ивановна	463
Мария Максимовна	461
Мария Сергеевна	369, 370, 464
Матрона	446, 447
Надежда	463
Надежда Васильевна	464
Надежда Федоровна	462
Николай Афанасьевич	462
Николай Васильевич	464
Николай Иванович	463
Николай Сергеевич	462
Сергей Афанасьевич	367, 461
Сергей Васильевич	368—371, 414, 460, 463
София Константиновна	369, 370, 464
Юлия Ивановна	463
Юлия Сергеевна	367, 462
Измайлов Михаил	358

Иларион	273
Иловайский Дмитрий Иванович	331
Иностранцев Александр Александрович	503
Иоанн	446
Иовель Вильям	192, 503
Исидор, иеромонах	441, 442
Калабеков	465, 467
Калабеков Мелик	467
Калабекова Нина (Нино)	467
Каланторов Бежан	513
Калинка	471
Каменская Екатерина Александровна	348
Кандуралов Григорий	513
Каут Иммануил	143, 154, 156, 243, 492, 495, 497
Кантор Георг	485
Каптеревы Н. Ф.	301 323
Павел Николаевич	273, 323, 338, 396, 524
Кара-Мурза Александра Ивановна	312
Кара-Мурза Никита Макарович	390, 405
Карамьяны (Карамяны) Александр Ростомович	397 403
Александра Константиновна	471
Алексей Константинович	471
Елизавета Николаевна (Эльза)	316, 470
Захар Константинович	471
Иван Константинович	471
Константин Хамаев	470, 471
Лидия Сергеевна. См.: <i>Лапутина Лидия Сергеевна</i>	
Любовь Максимовна. См.: <i>Лернер Любовь Максимовна</i>	
Маргарита Николаевна (Грета)	470
Михаил <Ростомович>	403
Николай Ростомович (Романович)	402, 403, 468, 470
Петр Константинович	471
София Павловна. См.: <i>Сапарова София Павловна</i>	
Хамаев Николай Павлович (Хамо)	402, 470, 521
Карапетовы	312, 518
Александр (?) Никитич	312
Елена (Леля) Никитишна	312, 313
Екатерина (Катя) Никитишна	312
Никита (Миртич) Александрович (?)	312, 313
Николай (Коля) Никитич	312, 313

Карганов	446
Карл Великий	489
Карлович Я.	273
Карпентер Эдуард	207, 240, 243, 266, 505, 506
Картавцев И. М.	360, 519
Картульян М.	375
Кауфман Вальтер	193, 504
Кацари	327
Качалова Любовь Ивановна	344
Кентон	51
Кеспер Александр	513
Киевсар Зинаида Сергеевна	452
Кизбоб (?) Александр	251
Кипиани Вахтанг Михайлович	251, 261, 513
Киревский И. В.	493
Киселева Наталия Александровна	337, 442
Клюкин М. В.	506
Кляус Е. М.	505
Кнёбель	370
Книгин Менелай Васильевич	293
Ковтун Е.	451
Козлов М. Е.	22
<b>Комаровы</b>	490
Александр В.	490
Виссарион	490
Владимир	490
Дмитрий Виссарионович	133, 478, 479, 490
Константин Виссарионович	478, 490
Нина Григорьевна. См.: <i>Шадинова Нина Григорьевна</i>	
Ольга Дмитриевна	133, 477, 479, 490
Савва Дмитриевич	490
Комаров В.	304
<b>Кониевы (Кониашвили)</b>	397
Александр Георгиевич	450
Александр Григорьевич	450
Анна Георгиевна	450
Георгий Григорьевич	409, 450
Григорий Безантович	450
Елена Георгиевна	450
Елизавета Александровна. См.: <i>Флоренская Елизавета Александровна</i>	
Иван Георгиевич	450
Константин Георгиевич	450
Михаил Георгиевич	450
Ольга Георгиевна	453, 454, 518, 521
Тамара Георгиевна	450
<b>Коноваловы</b>	397
Леонид Васильевич (?) (Григорьевич?)	386, 387, 467 521
Конт Огюст	488, 489
Конторов Арсений Трофимович	358

Корецкая И. В.	507
Коровин А. А.	371
Костаньянц Карапет Осипович	389
Кочнева Тамара	406
Коцебов Александр	513
Краснопевков (Кавелин) Леонид	346
Краткий Владимир	513
Крукс Вильям	34, 484
Крупская Надежда Константиновна	469
Крушевский Николай Вячеславович	273
Крылова О. А.	513
<b>Крыштафовичи</b>	246, 309, 312, 314
Ксения Матвеевна, жена Матвея Афанасьевича, прабабка П. А. Флоренского	446, 447
Кузнецов Олег Иванович	453, 454
Кук Джемс	138, 163, 496, 497
де Куланж Фюстель	119, 120, 323, 489
Купреянов Николай Николаевич	348
<b>Купряновы</b>	348
Кутузов Михаил Илларионович	501
Кучук	522
Лависс Эрнст (Lavisse)	69, 487
Лавровский Д. Д.	529
Лагранж Жозеф Луи	193, 504
<b>Ладыженские</b>	334
Лазарев Георгий	513
Лазарева Мария Лазаревна	475
Лазуревский А. Ф.	466
Лайелль Чарльз	165, 497
<b>Ланге</b>	316
<b>Ланге-Поздеевы</b>	518
Александр Семенович	316
Анна Семеновна	316
Мария Семеновна	316
Ланжерон, гр.	501
Лавина Евгения Ивановна	453
Лаплас Пьер Симон	165, 497
Лапутина Лидия Сергеевна	470, 471
Лахтин Л. К.	495
<b>Левандовские</b>	397
Левандовская	468
Левандовский	468
Левцкий Дмитрий Григорьевич	347
Лейбниц Готфрид Вильгельм	52, 485, 486
Леманн	168, 499, 500
Ленц Роберт	169, 170, 171, 247
Леопардов Н.	510
Леонтович Феофан	275

<b>Лепешковские</b>	336
Лермонтов Михаил Юрьевич	84
<b>Лернеры</b>	402
Любовь Максимовна (Лилиш)	402, 470
Лесевич В.	510
<b>Лефевры</b>	313
Либрович С. Ф.	321
Ливий Тит	240, 508
Ливингстон Дэвид	163, 469
<b>Лилесвы</b>	147, 148, 149
Лилесва (мать)	148
Жсня	147, 148
Саша	147, 148, 150
Лихачев Дмитрий Сергеевич	10
Лихуды	273
Лисовский	289
Лихтенбергская, принцесса	364
Лобачевский Виктор	513
Логгинов Михаил	337
Логгинова	337
Лозинский М.	504
Лоцатин Л. М.	493
Лорис-Меликов Михаил	477
Лосев Алексей Федорович	493, 498, 501
Лосский Николай Осуфриевич	493
<b>Луккевич Владимир</b>	
Валерианович	261, 262, 263
Лучкова Евгения Андреевна	366, 449
Львова М. А.	347, 348
Львова Мария Александровна	331, 335, 336, 348
<b>Львовы</b>	335, 336, 348, 365
Варвара Николаевна	
(товарищ Варвара)	348
Василий Петрович	349
Владимир Николаевич	348, 528
Мария Александровна	348
П. Е.	349
Петр Михайлович	348, 349
<b>Любарская Евгения</b>	
Касьяновна	462, 463
Людовик XIII	132
Людовик XVI (Louis XVI)	233, 508
Ляудонский	358
<b>Магаловы, кн.</b>	404
<b>Майпариани</b>	401, 522
Варвара Александровна	398, 399, 401, 467, 521
<b>Макертумовы</b>	406
<b>Макуловы, кн.</b>	404
Малицкий Н.	271
<b>Маневеловы, кн.</b>	404
<b>Манташевы</b>	380
Манташев	318, 375, 380, 398
Мария [Быкова?]	411
Мария Антуанетта	132
Мария Матвеевна, дочь Матвея	
Афанасьевича	446, 447



Мария Павловна	314
Маргарита	261, 263
Маркаръян (Маркаръянц В. К.(?), Маркаръянц Т. К.(?))	466
Маркс А. Ф.	487
Масютин Василий Николаевич	370
Матвей (Матфий) Афанасьевич, прапрадед П. А. Флоренского	283, 411, 446, 524
Матоян (Доктор, Аиксабрыгглей)	476
Мах Эрнст	242, 508
Махарадзе Дидим Варламович	453, 454
Махарадзе Ирина Дидимовна	454
Мачабели, кн.	404
Мгебров Леван Яковлевич	306, 307
Мгебров Николай Леванович	307
Медведев С.	273
Мейер Йозеф (Meуer J.)	35, 163, 484
Мейер Юлиус	356, 484
Мелик-Бегларовы	30, 131, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 383, 384, 385, 389, 391, 397, 406, 467, 472, 520
Александр	473
Александр Александрович	476
Александр-бек Теймуразович	30, 383, 399, 475
Анна Ивановна. См.:	
<i>Абрумова Анна Ивановна</i>	475
Арустам Бсюкович	475
Аршак Бсюкович	473
Бегляр-бек Фридонович	473
Бсюк-бек	473
Бирюза Джамшудовна	476
Герасим Бегларович	474
Григорий Бегларович	474
Давид Сергеевич (Датико)	27, 39, 41, 379, 383, 387, 388, 403, 413, 476
Джамшуд-бек Бегларович	474
Елизавета Александровна	476
Елизавета Александровна (Лиза, Эличка)	383, 377
Елизавета Павловна См.: <i>Сапарова Елизавета Павловна</i>	475
Елизавета Фридоновна	476
Иосиф Александрович	474, 475
Иосиф Бегларович	474
Луасарб Шамирович	27, 377, 383, 412, 416, 476
Маргарита Сергеевна	383
Мария Лазаревна. См.:	
<i>Лазарева Мария Лазаревна</i>	383
Мария Сергеевна	383, 477
Николай Александрович (Коля)	383, 477
Николай Сергеевич	475
Ольга Теймуразовна	475

Павел Шамирович	473, 474
Ренсимэ Талышковна	476
Сергей-бек Теймуразович (дядя Сергей)	27, 30, 252, 263, 375, 377, 379, 384, 385—386, 387, 399, 467, 475, 477
Српуи Талышковна	476
Талыш-бек Беглярович	475
Теймураз Сергеевич (Муразчик)	383, 477
Теймураз-бек Фридонович	30, 252, 383, 473
Федор Арустамович (Федя)	477
Фридон Беглярович (?)	473
Фридон Фридонович	473
Шамир-хан	473
<b>Мелик Гасан-Джелаловы</b>	391
Мелик-Назарьянц (Мелик-Азарьянц)	
Анна Семеновна. См.: <i>Ланге-Позде-</i> <i>ева Анна Семеновна</i>	
<b>Мелик-Шахназаровы</b>	391
Михаил Фридонович	475
<b>Меликовы, кн.</b>	404
Меликова, жена Н. П. Сапарова	467
Менделеев Дмитрий Иванович	192, 498
Мендель Грегор Иоганн	379
Мережковский Дмитрий Сергеевич	221, 450, 507
<b>Миковы, кн.</b>	404
Миллер	261
Милль Джон Стюар	60, 486
Минаев И.	510
<b>Минасянцы</b>	380
Минасянц	318, 380
<b>Мингрельские, кн.</b>	404
Мирза-Авакова Анна Карповна	403
<b>Мирзоевы</b>	397
Мериманова Мария	467
Митинский, протоиерей	282
Михаил Николаевич, вел. кн.	397, 474
<b>Михайловские (братья)</b>	251, 261
<b>Михайловы (урожд.</b> Колокольцовы)	348
Модзалевский Вадим Львович	284, 285, 516
Монастырский (или Монастырев)	326
<b>Морозовы</b>	365, 445, 456, 457, 459, 519
Варвара Марковна	343, 459
Василий Маркович (Васенка)	460
Иван Маркович	459
Марина (?) Марковна	459
Марк Маркович	459
Марко Иванович (?)	459
Матрона Александровна	

(Матрена)	336, 457, 459
Иван (?)	459
Прасковья Марковна	328, 341, 343, 344, 365, 459
Моцарт Вольфганг Амадей	80, 85, 309, 313, 339, 433, 439, 453
Мушкетов Иван Васильевич	192, 503
Надежда Андреевна, дочь Андрея Матвеевича	287, 291, 292, 293, 446, 447
Надеждин, проф.	362
Наживин И. Ф.	505
Наһаһет-Наһа	391
Некрасов Павел Алексеевич	336
Нерсес	246, 318
Нестеров Михаил Васильевич	368, 370, 395, 463, 464, 520
Неттестеймский Агриппа	499
Нигрицкий Алексей	271, 272
Никеев Геннадий Григорьевич	453, 454
Никеева Анна Геннадиевна	454
Никита	456
Никитá	79
Николаев Георгий	513
Николаев П.	486, 510
Николай I, имп.	343
Николус С. А.	497
Нистрем К.	461
Новиков Н. И.	334
<b>Новомейские</b>	28, 232, 233, 247, 309, 383
Ева (Эва)	233, 247, 309
Мари(ь)я Сергеевна	232, 233, 234, 247, 248, 309
Северин Феликсович	233, 247, 309, 320, 386, 387
Феликс (Феля)	233, 247, 309
<b>Новосильцевы (Новосильцовы)</b>	336, 456
Новосильцов	340
Новосильцова	343
Нубаров	472
Нубарова София	472
Ньюком Саймон	163, 497
Ньютон Исаак	184, 228, 497, 502
Овидий	484
Оганьян Христофор Александрович	377, 383, 476
Огнева София Ивановна	442, 486, 488, 491, 502, 507
Оленина д'Альгейм М. А.	83, 84
Ольга Андреевна, дочь Андрея Матвеевича	287, 291, 292, 293, 446
Ольденберг Г.	510
Орбелияни, кн.	404
<b>Орловы</b>	343, 346, 415, 456
Орлов, гр.	529
Владимир Григорьевич, гр.	332, 333, 346, 347, 456, 457
Григорий Владимирович, гр.	
(Орлов-Давыдов) (Глухой, Горбатый)	333, 342, 343, 457
Григорий Иванович	456
Г. Г.	456
Иван Никитич (он же —	

Иван Иванович по Орлову-Давыдову)	456
<b>Орловы-Давыдовы</b>	340, 416, 455
Орлов-Давыдов В. А.	346
Орлова-Давыдова О. И.	346
<b>Орловы (или Орловские)</b>	246, 261, 309
Орлова (или Орловская)	256, 318
Коля	246(?), 261, 318
Оля	318
Островский	333
<b>Отаровы</b>	405
Оуэн Роберт Дель	221, 507
<b>Паатовы</b>	373, 374, 375, 379, 393, 401, 471, 520
Алексей Григорьевич	471, 472
Георгий Алексеевич (?)	471, 529
Григорий	393, 471
Егор Георгиевич	472
Егор Григорьевич	471
Иосиф Григорьевич	471
Наталья Григорьевна	472
Наталья Осиповна (Иосифовна)	405, 471
Ольга Алексеевна	472
София (Софья) Григорьевна	29, 375, 382, 412, 465, 472
София Осиповна	472
Тамара Алексеевна	472
Павел I, имп.	175, 391, 501
Павленков Флорентий Фёдорович	162, 262, 496
Павлович Ольга Христиановна	529
<b>Палавановы, кн.</b>	404
<b>Панафидины</b>	337
Варвара Ивановна	338
Ксения	339, 452
Татяна	339, 451
Панафидин	337, 449, 451, 452
<b>Пантелеевы</b>	496
Г. Ф.	496, 497
Панченко	309, 310
Параскева Ивановна	445, 446
Парсаданов Арташет	513
Парягин А. Н.	485
<b>Пассеки</b>	144, 246, 250, 309, 311
Пассек (отец)	102
Катя	311
Маруся	311
Шура	311
Пастернак Борис Леонидович	482, 491, 500, 504
Патти Аделаида (Аделина)	79, 80
Пекок Готфрид (?) Федорович	363
<b>Пекоки</b>	30, 325, 327, 334, 363, 365, 428

Александра Владимировна. См.: <i>Ушакова Александра Владимировна</i>	
Александра Готлибовна (Александрина, Алина, Алина Марини, Аліпа Magini, Сушицька)	79, 325, 328, 333, 341, 344, 357, 411, 412, 459
Готлиб Федорович	318, 328, 333, 334, 357, 363, 364, 411, 427, 458, 519
Пекоки Готлибы Федоровичи	363
Передерия Григорий Петрович	301
Перельман Я. И.	495
Петерсон	499
Петр I Великий	187, 376, 415, 456
Петр Николаевич, вел. кн.	204
Петров	327
Петров Григорий Спиридонович	339
Петров П. Н.	404
Петровский Алексей Сергеевич	300
Петрушевский Федор Фомич	192, 503
Никок	318
Пимен, архимандрит	441, 442
Пирра Густав	513
Пирра Моххисецен	514
Пискунов	317
Планк Макс	505
Платон, архимандрит	273
Платон, философ	66, 159, 379, 486, 492
Погодин М. П.	345, 346, 362, 524
Покровский Александр Евлампиевич, священник	332
Половинкин Сергей Михайлович	8, 22
Полоцкий Я. П.	487
Полуянова Елизавета Ивановна	344
Полянский К.	507
Понов Константин Михайлович	407, 521, 522, 523
Преображенский Василий Алексеевич	293
Прокофьева Наталия Петровна	349
Прохоров	180, 311
Прохоров К.	379
Прохорова Люся	311
<b>Прохоровы</b>	336
Прохорова	342, 344
<b>Пушкины</b>	410
Александр Александрович	410
Александр Сергеевич	17, 63, 83, 84, 85, 161, 336, 410, 415, 439, 496, 527
Мария Александровна	411

Шыпин А. Н.	503
<b>Радван-Фиоринские</b>	285
<b>Радзивиллы</b>	284
<b>Разумовские, гр.</b>	282, 355, 415
Разумовский	355, 359
Алексей	355
Кирилл Григорьевич	282, 355
<b>Рамбо Альфред (Rambeau)</b>	69, 487
<b>Раффи</b>	389, 390, 405
<b>Ранжиевы, кн.</b>	404
<b>Рейнгардт Н. В.</b>	259
<b>Рейсс Р.-А.</b>	268, 379
<b>Рембрандт Харменс ван</b>	
Рейн	234
<b>Ренан Жозеф Эрнест</b>	262, 513
<b>Рёскин Джон</b>	60, 486
<b>Рид Томас Майн</b>	263
<b>Риккер К.</b>	503
<b>Рис-Дэвис</b>	510
<b>Родичев Ф. И.</b>	368
<b>Розалия Матвеевна</b>	318
<b>Розенберг Иоганн</b>	
Карл Фердинанд	192, 503
<b>Розенко</b>	513
<b>Розенфельд (Каменев)</b>	
Лев Борисович	264, 513, 514
<b>Розенштейн Моисей Львович</b>	251, 513
<b>Розенштейн Яков Львович</b>	251, 513
<b>Розановы</b>	396
Варвара Дмитриевна	282, 396
Василий Васильевич	128, 212, 276, 278, 279, 280, 396, 481, 489, 506, 515, 516
<b>Романова София (Софья)</b>	95, 246
<b>Руммель</b>	305
<b>Румянцев Н. Е.</b>	466
<b>Саварселидзеы, кн.</b>	404
<b>Савелов Л. М.</b>	15, 16, 17, 367, 460
<b>Савченко Б. А.</b>	450
<b>Сагиновы, кн.</b>	404
<b>Саже. Эмилия</b>	221
<b>Салагов Фома</b>	513
<b>Салаговы, кн.</b>	404
<b>Салтыкова Анна Ивановна</b>	457
<b>Санкова Клавдия</b>	
Георгиевна	452
<b>Сапари, гр.</b>	374
<b>Сапаров</b>	405
<b>Сапаровы (Сарпаровы)</b>	131, 132, 133, 253, 277, 373, 374, 375, 376, 377, 380, 382, 383, 384, 391, 392, 393, 397, 398, 403, 405, 406, 448, 464, 472, 475, 477, 479, 520, 522
<b>Александр Гаспарович</b>	
(Сандро)	466
<b>Анна Павловна</b>	467
<b>Аркадий (Аршак) Павлович</b>	

(Аршак дядя)	27, 133, 134, 398, 399, 401, 411, 467, 491, 520
Богдасар Герасимович	465
Варвара Павловна (Варя тетя)	27, 382, 386, 398, 402, 404, 413, 468, 469
Гаспар (Каспар)	
Герасимович	465, 522
Герасим	390, 391, 478
Герасим Павлович	375, 380, 382, 467
Дария Петровна	467
Евгения Богдасаровна	466
Екатерина Аркадьевна (Ляля)	28, 469
Елена Аркадьевна (Эля)	27, 401, 469
Елизавета (Елисавета) Павловна (Лиза тетя)	27, 30, 34, 37, 64, 76, 93, 131, 188, 248, 252, 260, 263, 317, 375, 377, 380, 383, 384, 386, 387, 399, 406, 412, 413, 416, 430, 467, 475, 476, 477, 521
Иван Богдасарович (Вано)	374, 393 (?), 466
Мака Гаспаровна	466, 468, 469
Мариам Герасимовна	465
Мария Аркадьевна (Маруся)	28, 469
Мария Гаспаровна	466
Михаил Петрович	467
Николай Петрович	466
Нина Аркадьевна	28, 81, 399, 411, 469
Нина Гаспаровна (Каспаровна)	375, 400, 401, 405, 466, 478, 522
Ольга (Саломия, Саломэ) Павловна (Ольга, баба Оля)	27, 28, 29, 64, 299, 302, 319, 373, 383, 394, 395, 408, 418, 420, 436, 478, 480, 490, 491, 521, 529
Павел Аркадьевич	28, 469
Павел Герасимович	29, 30, 131, 133, 157, 316, 318, 373, 375, 378, 380, 381, 382, 390, 391, 392, 393, 394, 397, 398, 400, 401, 411, 464, 465, 468, 472, 520, 521
Петр Герасимович	465
Репсимия Павловна (Раиса, Ремсо тетя, Репсимэ)	27, 30, 101, 132, 238, 252, 269, 315, 318, 378, 386, 388, 392, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 411, 464, 467, 468, 471, 472, 520, 521
София Гаспаровна (Каспаровна)	405, 469, 479, 522
София Григорьевна. См.: <i>София Григорьевна Паатова</i>	
София Павловна (Соня тетя)	27, 30, 31, 41, 42, 64, 69, 80, 81, 246, 248, 318, 380, 386, 397, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 409, 411, 437, 464, 465, 468, 469, 470, 471, 472, 520, 521, 529

Галико Саркисовна	465
Тамара Аркадьевна	27, 378, 393, 399, 411, 469, 470
Тамара Богдасаровна	405, 466
Татэла Герасимовна (Thathéla) (Мамида)	378, 406, 465, 467, 522
<b>Сапаровы-Арутюновы</b> (Арутюновы-Сапаровы)	390, 393
<b>Саркисовы</b>	406
Лазарь Григорьевич	405
Семешников В. П.	334
Семенникова Варвара	
Николаевна	261
<b>Семенниковы</b>	261
Семенов Михаил	499
Семенова С. Г.	523
Сенковский Осип (Юлиан)	
Иванович	253
Серафим (Роуз), иеромонах	500
Серашевский	253
Сергеев Иван	501
Сергий Радонежский	441, 442
<b>Сертанзиевы</b> , кн.	404
Сеченов Иван Михайлович	252, 503
<b>Сидамановы</b> , кн.	404
Скабичевский А. М.	496
Сковорода Григорий Саввич	282
Скотт Вальтер	112, 263
Скрябин Александр	
Николаевич	78
Смокотинина Донара	
Николаевна	453
Собко Н. П.	371
Сойкин П. П.	495, 503
Сократов	309
<b>Соколовы</b>	423
Соколов	423
Соколовский Анатолий	513
Солдатенков К. Т.	486
Соловьев	455
Соловьев Владимир Сергеевич	489, 493
Соловьев Сергей Михайлович	273
<b>Соловьевы</b>	82, 336, 337, 340, 341, 355, 356, 357, 359, 414, 448, 455, 460, 461, 518
Анфиса Уаровна (бабушка Анфиса)	28, 81, 322, 328, 329, 330, 339, 355, 356—357, 358, 359, 360, 361, 362, 367, 411, 414, 427, 448, 455, 458, 460, 461, 518
Дмитрий Уарович (Димитрий)	332, 341, 358, 360, 455, 461
Екатерина (Катерина)	
Афанасьевна. См.: <i>Иванова</i>	
Катерина Афанасьевна	
Конкордий Уарович	330, 331, 332, 341, 344, 358, 360, 414, 455, 461



Николай Уарович	360, 362, 363, 455, 461, 519
Уар Ефимович	28, 329, 333, 341, 348, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 414, 455, 461, 529
<b>Сомовы</b>	518
Валентин Иванович	317
Иван Осипович	317
Константин Андреевич	35, 317(?), 484
Нина Ивановна	317
Осип (Оня) Иванович	317
Соия	318
София Константиновна	370, 464
Софья, царица	273
Сперанский М. М.	282
Спиноза Бенедикт	38, 484, 508
Стапельберг	
Елизавета Ивановна	333, 457
Старилов	332
Стасенко Валентина	513
<b>Стаховские</b>	403
Валентина Карловна	403
Владимир	310
Владислав Карлович (Станислав ?)	248(?), 264, 309, 403
Ида	403
Карл	403
Семирамида	403
Ядвига Карловна	403
Столповская-Голубицкая Анна Петровна. См.: <i>Голубицкая Анна Петровна</i>	
Столповский Александр	
Петрович	342, 365
Суворин	496
Суворов Александр Васильевич	176, 501
<b>Струковские</b>	327, 338, 339
Александр Анастасьевич	354
Владимир Иванович	342, 452
Иван Анастасьевич	12, 339, 352, 449
Стефан Иванович (Степа)	12, 342, 452
Сулоцкий Аполлон	468, 470
Сулоцкий Борис Аполлонович	470
Вера Аполлоновна	470
Мария Аполлоновна (Маруся)	470
Солженицын Александр	
Исаевич	21
Стрижев А. Н.	22
Стэнли Генри Мортон	
(Джон Роулендс)	163, 496
Сукач Виктор Григорьевич	22
Сукитасов Наполеон Абелович	405
<b>Сумбатовы, кн.</b>	404
Сумбатова	316
Герасим	478
Нина Герасимовна	490

Сундукьянцеч Мария Семеновна	316
Суреньян	403
Сытин Иван Дмитриевич	273
Тавдгеридзе Шалва	451
<b>Тавризовы</b>	397
Тавризов	397
Таирова Светлана Александровна	406
Талико тетья	405, 465 (?), 473
Тарханов Иван Романович, кн. (Тархан-Моуравов)	307
Татьяна	411
<b>де-Тейльсы</b>	337
Барвара	336, 337
Игнатий Антонович	334
Надежда (Nadine), баронесса	336, 337, 365, 458, 519
<b>Тер-Авакова Елизавета Степановна</b>	405
Терновский С.	405
<b>Тизенгаузены</b>	307
Анна Владимировна	307, 314
Лена	314
Тит Ливий	508
Титлинов Б. В.	528
Титов Ф., священник	275, 276
<b>Тихомиров Александр Львович</b> (архимандрит Тихон)	300
Тиссандье Гастон	160, 496
Толстой Лев Львович	350
Толстой Лев Николаевич	207, 221, 243, 244, 262, 264, 487, 505, 506, 507, 509, 510, 514
Толстой Сергей Львович	505, 506
Томсон Дж. Дж.	505
Томсон Уильям, лорд Кельвин	177, 502
<b>Третьяковы</b>	337
Александр Иванович	337
Анна Ивановна	337
Николай Иванович	337
Павел Петрович	337
Триандопуло	180, 181, 255, 420
<b>Трипольский Федор Васильевич</b>	358
Троицкий Сергей Семенович	300, 301, 450
Трубецкие Е. и С.	69, 487
Трубецкой С.	493
<b>Трубачевы</b>	
Александр Сергеевич (Трубачев Андроник)	8, 10, 21, 22, 449, 451, 454, 494, 495, 499, 501, 525, 527
Зосима Васильевич	452
Мария Сергеевна	8, 21, 22, 451, 454
Ольга Сергеевна	454

Ольга Павловна. См.:	
Флоренская Ольга Павловна	
Сергей Зосимович	21, 22, 452, 454, 480, 482, 527
Тудунов	343
<b>Тумановы, кн.</b>	404
Туманов	477
Анна Мартиновна	403
Арутюн	403
Вартан	403
Гавриил Иванович	403
Мария Александровна	309
Тургенев Иван Сергеевич	362, 455
Тучкова София Сергеевна	442
Тютчев Федор Иванович	84, 482
Устиев Е. К.	450, 470
<b>Уцмиевы, кн.</b>	404
Ушакова Е. В.	345, 346
<b>Ушаковы</b>	328, 332, 333, 335, 336, 337, 340, 342, 343, 344, 355, 356, 357, 365, 414, 445, 448, 456, 459, 518, 519
Ушакова	457
Александра Владимировна (Саша)	285, 286, 325, 327, 328, 332, 333, 334, 336, 337, 341, 344, 355, 356, 357, 358, 359, 411, 412, 414, 427, 428, 458 337, 344, 345, 458
Анатолий Владимирович	337, 344, 345, 458
Антонина Анатольевна	334, 458
Андрей Иванович	458
Валентина (Валентин?)	
Витальевна	458
Виталий Владимирович	458
Владимир Иванович	327, 328, 333, 337, 338, 339, 343, 344, 356, 457, 459, 529
Елизавета Владимировна (Лиза)	326, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 357, 359, 365, 366, 411, 412, 427, 448, 458, 459, 520, 529
Лидия Анатольевна	334, 336, 458
Митрофан Анатольевич	336, 458
Николай Иванович	338, 457
Серафим (Серафима?)	
Витальевич	458
Уэвилль	240
Фаворский Владимир Андреевич	433, 527
<b>Фадеевы</b>	305
Андрей	304
Елена Андреевна (Ган, Зина- ида Р-ва)	304
Ростислав Андреевич	304, 305
Фарадей Майкл	192, 222, 439, 502
Фаресов А. И.	259
Фаусбёлль	510
Федоров Р. М.	523

<b>Феодор, епископ</b>	528
<b>Феофилакт (Моисеев), игумен</b>	522
<b>Федоров Н. Ф.</b>	323
<b>Филарет, митрополит</b>	277, 279, 286, 343
<b>Филиппов Алексей</b>	293
<b>Филищов М. М.</b>	503
<b>Фильд</b>	332
<b>Фишер</b>	486
<b>Флёринские</b>	412
<b>Флиоринские</b>	274, 285, 411
<b>Флоренко Михайло</b>	517
<b>Флоренские</b>	10, 11, 14, 20, 26, 39, 264, 270, 271, 272, 274, 277, 282, 284, 285, 291, 327, 328, 331, 338, 339, 341, 344, 355, 365, 366, 412, 414, 445, 446, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 467, 470, 480, 481, 495, 515, 516, 517, 519, 525
<b>Флоре(и)нская</b>	336
<b>А. А.</b>	285
<b>Авраамий</b>	283
<b>Александр Александрович (Шура)</b>	27, 144, 221, 226, 230, 270, 299, 315, 373, 375, 376, 415, 418, 419, 443, 450, 470, 507
<b>Алексей Андреевич</b>	453
<b>Александр Иванович</b>	27, 28, 286, 291, 296, 300, 319, 320, 321, 322, 328, 330, 331, 341, 363, 411, 448, 517, 526, 529
<b>Александр Кириллович</b>	454
<b>Александр Олегович</b>	454
<b>Андрей Александрович</b>	27, 270, 299, 419, 429, 451
<b>Анна Михайловна. См.:</b>	
<i>Гиацинтова Анна Михайловна</i>	
<b>Варвара Ивановна (Варя)</b>	11, 12, 332, 337, 338, 339, 341, 343, 344, 412, 449, 451, 452
<b>Василий Андреевич (Василий Андреев) Вас[илий]</b>	
<b>Марк[ович]</b>	286, 287, 291, 292, 293, 294, 338, 446
<b>Василий Павлович (Вася, Васёк, Васюшка, Васенька)</b>	10, 24, 27, 40, 88, 408, 410, 411, 416, 417, 422, 423, 425, 430, 431, 432, 433, 435, 437, 438, 440, 443, 449, 452, 525, 526, 528
<b>Виктор Иванович</b>	448
<b>Владимир Иванович</b>	327, 328, 329, 330, 339, 341, 342, 365, 366, 412, 449, 518, 519, 520
<b>Владимир Кириллович</b>	454
<b>Евгения Андреевна. См.:</b>	
<i>Лучкова Евгения Андреевна</i>	

Екатерина Ивановна	286, 295, 332, 344, 411, 448
Екатерина Дмитриевна	271
Елена Владимировна	342, 366, 452
Елизавета Александровна (Лиля, Елисавета)	27, 144, 270, 299, 315, 409, 419, 437, 450, 453
Елизавета Владимировна См.: <i>Ушакова Елизавета Владимировна</i>	
Иван	272
Иван Андреевич (Иоани) (дед Иван)	28, 157, 270, 283, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 302, 305, 321, 322, 324, 328, 329, 330, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 342, 343, 345, 355, 358, 359, 360, 366, 411, 419, 427, 445, 446, 447, 458, 461, 516, 517, 520
Иван Михайлович (Флоринский?) (в монашестве Иннокентий)	271, 283
Иван Васильевич	454
Зинаида Ивановна	11, 325, 327, 328, 329, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 345, 357, 358, 359, 365, 366, 412, 449, 459, 518, 519, 520, 529
Кира Кирилловна	454
Кирилл	355
Кирилл Павлович (Кира, Кирилл)	24, 410, 415, 417, 420, 430, 434, 436, 440, 443, 452, 524, 525, 528
Леонид Андреевич	453
Лидия Ивановна	11, 327, 331, 333, 335, 340, 342, 366, 449, 518, 519, 520
Людмила Ивановна	330, 335, 339, 340, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 366, 449, 452, 518
М. Ф.	525
Мария Васильевна	454
Мария Леонидовна	454
Мария-Тинатин (Тинатин-Мария) (Тика)	416, 417, 428, 429, 430, 453
Мельхисседек	283
Митрофан	283
Михаил Павлович (Михаил, Мик)	24, 417, 430, 431, 444, 453
Наркисс	283
Наталья Андреевна	453, 454
Наталья Васильевна	454
Наталья Ивановна. См.: <i>Зарубина Наталья Ивановна</i>	
Николай	271, 272
Николай Иванович	282, 283
Ольга Александровна (Валя)	27, 270, 299, 386, 412, 413, 419, 450, 451, 525
Ольга Павловна (Олень, Ольга, Олечка, Оля)	24, 408, 410, 412, 413, 417, 421, 423, 434, 438, 525, 528

Орест	283
Павел Александрович (о. Павел, Павел, Павлик, Павля, Павел-Савел, священник Павел Флоренский)	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 72, 103, 115, 175, 215, 252, 264, 276, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 294, 299, 354, 360, 382, 386, 389, 390, 395, 401, 407, 408, 410, 412, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 423, 425, 427, 428, 430, 431, 433, 434, 436, 437, 438, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455-457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 471, 472, 475, 477, 479, 480, 481, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 529
Павел Васильевич о. Петр	8, 10, 21, 22, 438, 453, 523, 527 282, 283
Раиса Александровна (Гося, Госька, Раиса)	27, 299, 316, 378, 379, 384, 406, 412, 413, 419, 429, 451
Татьяна Васильевна	21, 22, 454
Тим[офей] Дм[итриевич]	283
Федор Никитыч	271
Юлия Александровна (Люся)	27, 36, 38, 39, 40, 45, 58, 95, 96, 103, 105, 106, 107, 140, 141, 169, 186, 251, 254, 259, 270, 299, 309, 311, 315, 325, 363, 378, 379, 391, 404, 406, 409, 418, 419, 420, 437, 449, 450, 453, 525
Юлия Ивановна (Иулия Ивановна, тетя Юля)	27, 30, 31, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 62, 63, 68, 71, 76, 79, 81, 91, 92, 95, 101, 106, 112, 116, 121, 137, 141, 148, 151, 152, 162, 181, 185, 186, 187, 188, 217, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 263, 270, 285, 286, 302, 311, 317, 324, 325, 326, 327, 331, 332, 340, 341, 342, 343, 344, 357, 359, 404, 434, 436, 448, 489, 518, 529
Юлия Михайловна	454
Флоренские-Галичи	285
Флоренские-Струковские	336
Флоренские-Флоринские	413
Флоренсовы (Полянины)	525
Антоний, епископ	8, 505, 524, 525
Флорентинский	337
Флорентинский Владимир	
Николаевич	338
Флоринские	13, 270, 271, 272, 273, 274, 282, 283, 284, 305, 412, 413, 414, 516
Флоринский	273
Флоринский	
Авраамий (Авраам) (он же: Авраам Флиоринский; он же: Авраам Флиоринский)	274, 275, 276, 283

Анна (Федоровна)	305
Дмитрий	272
Иван	271, 272
Иван	478
Кирилл	282, 283
Николай Никитыч (Флоренский?)	271
Петр	272
Федор	271, 272
<b>Флоринские-Галичи</b>	284, 285(?)
<b>Флоринские-Флоренские</b>	414
<b>Флорины</b>	309, 518
Анатолий Викторович	309, 310, 317
Варя	317
Катя	317
Любовь Ивановна (Сергеевна?)	309
Мария Викторовна	309, 317
Николай Викторович	309, 317
Форш Борис Эдуардович	479
Форш Дмитрий Борисович	479
Форш Надежда Борисовна	479
Форш Ольга Дмитриевна. См.: <i>Комарова Ольга Дмитриевна</i>	
Форш Тамара Борисовна	479
Франке Гунтер	506
Франклин Бенджамин	179
Фрей Виллиам	513
Фрей Вильям (Владимир Константинович Гейнс)	259, 489
Френ	264
Френ Владимир Николаевич	251, 264
Френ Сергей Николаевич	264, 513
Фридрих II, Прусский	489
Фролов Николай	508
Фурье Жан Батист Жозеф	51, 485
Хатисов Александр Иванович	406, 522
<b>Хидербекеры, кн.</b>	404
<b>Химшиевы, кн.</b>	404
Хладни Эрнст Флоренц Фридрих	487
Хлуденева Катя	287, 288, 294, 295, 321, 322, 326, 360, 394, 395
<b>Ходжамипасовы, кн.</b>	404
Холодковский Н.	490, 500
Хомяков А. С.	493
Хоружий С. С.	22
Хорьков Володя	313
<b>Хохотины, кн.</b>	404
Христофор Алексеевич	283, 516
<b>Хубовы, кн.</b>	404
Елизавета Карповна	473
Худабашев А.	385
<b>Худадовы</b>	121, 315, 518

Владимир	251, 261, 262, 314, 315, 514
Иван Алексеевич (Вапо)	306, 315
Маша	314
Николай Алексеевич	306, 314, 315
Шура	314
Цезарь	489
<b>Церетели</b> , кн.	404
Церетели И. (П?)	513, 514
Цингер А. В.	506
<b>Цициановы</b> , кн.	404
<b>Чавчавадзе</b> , кн.	404
Чарльз II.	496
<b>Чельцовы</b>	335, 336
Александра Егоровна	335
Василий Егорович	335, 336
Егор Васильевич	335, 336, 342, 344
Ченурковский Е. М.	268
<b>Черкезовы</b> , кн.	404, 520
Черкезов, кн.	466, 469
Черкезов, кн.	479
Георгий	469
Дагмара	401, 469
Маргарита	469
<b>Чилаевы</b> , кн.	404
Чирков П.	344
<b>Чоколаевы</b> , кн.	404
<b>Чрелаевы</b>	404
Александр Степанович (Сандро, Сандру)	39, 404, 405, 469
Варвара Павловна.	
См.: <i>Сапарова Варвара     Павловна</i>	
Катерина Федоровна	404
София Степановна	469
Стефан Федорович	398, 404, 468
Феврония	404
Федор	404
Чукасова	383
<b>Чхеидзе</b> , кн.	404
<b>Шабуровы</b>	316, 518
Елена	316
Николай Георгиевич	316
Тамара	316
Шавердов	406
Шавердова Н.	522
<b>Шавердовы</b>	373, 374, 375, 392, 406, 520
Шавердова, жена Мелик-Беглярова	
Т.-б. Ф.	383, 473
<b>Шадиновы</b>	373, 466, 477, 520
Абрам	477
Авель Григорьевич	478
Александр Григорьевич	478
Алексей Абрамович	478
Анна Григорьевна	478



Гсоргий Николаевич	479
Григорий Абрамович	478
Елизавета Алексеевна	478
Иосиф Алексеевич	478
Мария Григорьевна	478
Мария Николаевна	479
<b>Михаил Григорьевич</b>	478
Николай Алексеевич	466, 478, 490
Нина Григорьевна	133, 478, 479, 490
Нина Николаевна	479
<b>Шаликовы, кн.</b>	404
<b>Шахназаровы</b>	477
Шах-Малиев Митаил (?)	514
Шекспир Уильям	69, 117, 123, 132, 263, 489, 490, 504
Шенгер Евгений	514
<b>Шервашидзе, кн.</b>	404
Шидловская	309
Шио Давидович	468, 469
Шипицын А. Н.	339, 354
Ширков	332
Шнауберт Николай	334
Шопен И.	396
Шопенгауэр Артур	243, 509
Шписс	333
Штиглиц	252, 325
Шуберт Франц	82, 384, 385, 433, 487
Шульгин	332
Шутова Т. А.	524
Щепкин, проф.	362
<b>Эгизаровы</b>	393
Эдельман	334
Эзов	389
Эйнштейн Альберт	504
Эккерман И.-П.	492
Эминов Александр	514
<b>Эристовы, кн.</b>	404
Эри В. Ф. (Володя)	93, 251, 505, 514
Эфрусси П. О.	466
Юдина М. В.	453
Юрьев Е. И.	349
Яворский Иван	334
Якоби А. Н.	496
Янкель	149, 248
Ярова	465
Яхонтов Николай Николаевич	305
<b>Яшвили, кн.</b>	404
Abich	375
Brosset	388
Cercke A.	390
Karamiantz	386
Kretschmer	390
Langlois Vict	388
Lavisse	69

Leist	388
Louis XVI	233
Luschau	390
Meyer	35, 484
Norden E.	390
Rambeau	69
Rose S.	500
Rosenberger	503
Szapar Frederic de Szapar Mura-	
Szombat et Szichi-Szizet	374
Yung C. G.	495

*СВЯЩЕННИК ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ*

*ДЕТЯМ МОИМ*

*ВОСПОМИНАНЬЯ ПРОШЛЫХ ДНЕЙ*

*ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*

*ИЗ СОЛОВЕЦКИХ ПИСЕМ*

*ЗАВЕЩАНИЕ*

*Заведующая редакцией Н. Буденная*

*Редактор И. Геника*

*Художник А. Бобров*

*Художественный редактор И. Сайко*

*Технический редактор Л. Беседина*

*Корректоры Ю. Черникова, Н. Кузнецова*

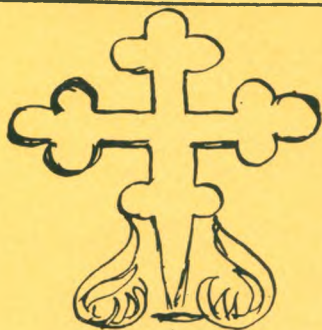
**ИБ № 4357**

Сдано в набор 26.06.90. Подписано к печати 22.11.91. Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Бодони». Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,42. Усл. кр.-отт. 31,84. Уч.-изд. л. 31,18. Тираж 50 000 экз. Заказ 1005. С-19.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва. Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика». Полиграфическая фирма «Красный пролетарий», 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

2 фута 1/8 дюйма



— надписанная  
— мадественная  
— надписи вусей —

Здесь похоронен  
Прахъ Павла Гера-  
симовича Сапарова.  
Скончался 20 мая  
1878 г. на 58 году  
отъ рожденія.

2 фута

5 футовъ 3 1/2 дюйма

5 футовъ 3 1/2 дюйма

Видъ похоронки и имени П. Г. Сапарова.

